

Скитания  
в ночи

И нитка,  
встрое  
скрученная

Каменная  
страна

**АЛЕКС  
ЛА  
ГУМА**

В конце  
сезона  
туманов

Время  
сорокопута



















**ALEX  
LA  
GUMA**

*A walk  
in the night*

1962

*And  
a threefold  
cord*

1964

*The stone  
country*

1967

*In the fog  
of the seasons'  
end*

1972

*Time  
of the butcherbird*

1979



**АЛЕКС  
ЛА  
ГУМА**

*Скитания  
в ночи*

---

*И нитка,  
второе  
скрученная*

---

*Каменная  
страна*

---

*В конце  
сезона  
туманов*

---

*Время  
сорокопута*

---

*Перевод с английского*



Москва  
«Радуга»  
1984

ББК 84.6Юж

Л12

Послесловие А. СОФРОНОВА

- Л12      **Ла Гума А.**  
Скитания в ночи: Сборник. Пер. с англ.; Послесл.  
А. Софронова. — М.: Радуга, 1984. — 624 с.

Настоящий сборник посвящен 60-летию со дня рождения крупнейшего современного южноафриканского писателя и общественного деятеля Алекса Ла Гумы. Издание включает в себя произведения, уже известные советскому читателю по ранним публикациям. «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная», «Каменная страна», «В конце сезона туманов», «Время сорокопута» — все эти повести проникнуты болью за судьбу коренного африканского населения в ЮАР; автор ставит серьезные и злободневные проблемы сегодняшнего дня своей родины, где царит бесчеловечный режим апартеида.

Л  $\frac{4703000000-431}{030(01)-84}$  без объявления

ББК 84.6Юж

И (ЮАР)

Все произведения, включенные в сборник, кроме отмеченного в содержании знаком \*, опубликованы на языке оригинала до 1973 года.

© Составление и послесловие издательство «Радуга», 1984

© Перевод на русский язык издательство «Прогресс», 1975, 1980



Скитания  
в ночи



ПЕРЕВОД С. ГУТЕРМАНА. РЕДАКТОР С. КУГИНА

*Посвящается  
Тайрису, Гогсу и Италиану*

Я дух, я твой отец,  
Приговоренный по ночам скитаться,  
А днем томиться посреди огня,  
Пока грехи моей земной природы  
Не выжгутся дотла.\*

*Шекспир. Гамлет. Акт I. Сцена 5*

1

Молодой человек соскочил с подножки автобуса, подъезжавшего к остановке у моста Касл-бридж, и очутился в самой гуще нескончаемого потока машин, двигавшихся из пригородов в этот предвечерний час. Лавируя между легковыми машинами, автобусами и огромными грузовыми фургонами, грохочущими по мостовой, и не обращая внимания на окрики и проклятия водителей, он добрался до тротуара, остановился возле живой изгороди, за которой была общественная уборная, и закурил.

Мимо, толкая его, проходили спешившие домой рабочие — первые струйки людского потока, который вот-вот хлынет в сторону Гановер-стрит. Юноша смотрел сквозь толпу пешеходов, словно не замечая ее, и все внимательнее прислушивался к накопившему в душе чувству гнева, подобно тому как человек прислушивается к начинающейся зубной боли, то и дело нажимая кончиком языка на больной зуб.

Многоголосый шум толпы, урчание моторов, грохот грузовиков сливались в сплошной общий гул, но он почти не слышал его. Возмущение и нестерпимая обида где-то глубоко внутри все продолжали нарастать в нем и причиняли боль, словно назревающий нарыв.

На юноше были застиранные джинсы, некогда бледно-голубого цвета, сплошь в старых и совсем еще свежих масляных пятнах — более темных и особенно заметных на грубых швах, — посаженных только сегодня во время работы на металлопрокатном заводе. Джинсы были с

---

\* Перевод М. Лозинского.



медными заклепками и такие длинные, что штанины приходилось подворачивать дюймов на шесть. Поверх старой рубашки цвета хаки была надета поношенная, сильно потертая кожаная куртка с косыми карманами и вязаными манжетами. На ногах туфли типа мокасин с кожаными ремешками, продетыми через союзки до самых носков. Когда-то, видимо, ярко-рыжего цвета, туфли эти от времени превратились в грязно-коричневые и потрескались у подъема. Ремешки на туфлях в некоторых местах пооборвались.

Парень был среднего роста и хорошо сложен. Волосы черные, густые, выющиеся — но не очень мелко, гладкая кожа на лице — серовато-коричневого цвета. Приглядевшись внимательнее, можно было заметить синеву на его щеках, вокруг подбородка и над верхней губой — следы торопливого бритья. У него были темно-карие, почти черные глаза с мутноватыми белками и слегка выдающаяся вперед верхняя губа. Руки — мускулистые, кисть — большая, с набухшими венами. Широкие, крепкие, похожие на ракушки ногти были обведены черной каемкой — это въелось машинное масло и грязь. Руки его, как и лицо, были коричневые, а ладони — розовые, с небольшими бело-желтыми бугорками мозолей. Его темно-карие глаза смотрели сейчас сурово и угрюмо.

Не докурив сигареты, он швырнул ее через изгородь в сад, внутри которого находилась общественная уборная. В этом саду, тщательно возделанном благодаря неустанным заботам городского муниципалитета, были устроены небольшие террасы и разбиты клумбы со множеством цветов, кактусов и других растений.

Сойдя с тротуара, юноша снова попал в поток машин и, лавируя между ними, стал переходить дорогу, направляясь в кафе португальца на углу перекрестка.

Перед входом в кафе под широким, выступающим вперед балконом, как обычно, околачивались бездельники. Они покуривали, позевывали, переговаривались, кого-то поджидали. Некоторые из них столпились перед окном, сплошь заклеенным красочными афишами с объявлениями о танцах, концертах, встречах по боксу и других состязаниях, обсуждая данные каждого борца и боксера или толкуя о популярных джаз-оркестрах. Майкл Эдонис — так звали юношу — с трудом протиснулся сквозь толпу и вошел в кафе.

Внутри было душно и чадно от горящего масла, сала и табачного дыма. Посетители, сидевшие в кабинах или за общим длинным деревянным столом в центре зала, обедали или просто болтали. С потолка свисали пожелтевшие от времени липучки, усеянные мухами. Пол был грязный от пролитого кофе, жирных пятен и растоптанных окурков; на стенах — бесчисленные метины: следы грязных спин, обтирающих стены, и таких же грязных рук. Кафе выглядело убого, во всем чувствовалась запущенность, хотя и поддерживалась некоторая видимость уюта, созданного здесь для нескончаемого потока бродяг, безработных или просто бездельников; для слуг, освободившихся от работы, и жителей пригородов, которым негде было поесть, кроме этого места; для рабочих, завернувших сюда по пути домой, и водителей такси. За всегдатыми кафе были также представители «дна», жившие по ту сторону Касл-бриджа: сутенеры, проститутки, торговцы наркотиками, мелкие гангстеры, унылые или воинственные на вид головорезы.

Майкл Эдонис обвел глазами посетителей и увидел Виллибоя, сидевшего за столом посреди зала. Виллибой был смуглый, темнокожий, курчавый как барашек парень. Волосы свои он зачесывал острой челкой на лоб. На нем был спортивный пиджак, надетый поверх желтой рубашки, на шее висел крестик с распятием, который он носил скорее из пристрастия к украшениям, чем к религии. У него были глаза с желтоватыми белками и крупные белые зубы; во всем его облике было что-то вызывающее небрежное, словно он чрезвычайно гордился тем, что уже дважды отбывал срок за драку: первый раз в исправительном доме для малолетних преступников, второй — в тюрьме.

Заметив приближающегося к нему Майкла Эдониса, он осклабился, показывая свои крупные зубы, и сказал: — Здорово, приятель!

Виллибой, расправившись со своим бифштексом, закуривал в этот момент сигарету.

— Привет, — угрюмо ответил Майкл Эдонис, садясь напротив.

Они не были близкими друзьями, но их роднил мир нищеты, преступности и насилия, в котором оба вращались и аванпостом которого было это кафе.

— Выше голову, парень! Бери пример с меня — никогда не унываю! Что нового?

— Опять без работы. Вышвырнули с завода, — ответил Майкл Эдонис.

— За что?

— Сказал пару теплых слов одной белой сволочи. Мастеру.

— Ох уж эти белые! А как это вышло?

— Белый ублюдок! Пусть скажет богу спасибо, что я его не потрянул как следует. Он на это давно напрашивался. Если кто в уборную пойдет, начинает рычать. О Иисус! По нему, хоть в штаны клади, а отлучаться ни на минуту не смей. Так вот он сегодня на меня набросился, когда я туда пошел, а я послал его к черту.

— Да, — сказал Виллибой. — Вот и работай на белых! Они всегда так. Нет уж, черта с два я стану работать на белого джона. Да и на цветного тоже. Ну ее к дьяволу, эту работу! Работа, работа, работа! А на что она сдалась? Нет, друг, это не по мне.

Подошел официант-суахили\*, с темнокожим, лоснящимся от пота лицом, в белом переднике, залитом яичным желтком. Майкл Эдонис, заказав бифштекс с жареной картошкой и томатного соку, повернулся к Виллибою:

— Ну и рассвирепел же он! Обозвал меня наглым черным ублюдком. Я ответил, что он белое дерьмо, а он позвал директора, и они сунули мне мои деньги и велели убираться. Ну ничего! Я еще до него доберусь!

— Да, старина... Я вот не работаю. И еще никогда не работал. Можно прожить и без работы. Не умер же я с голоду! Работа! Да ну ее в болото!

— Я еще до него доберусь, — повторил Майкл Эдонис. Официант принес бифштекс на тарелке с выщербленными краями; на ней же, сбоку, лежало несколько больших кусков хлеба. Угрюмо и молча Майкл принялся за еду. Виллибой встал, подошел к музыкальному автомату и сунул в щель шестипенсовую монету. Майкл хмуро жевал, чувствуя, как к его гневу против мастера начинает примешиваться и раздражение против этого парня, который так легко относится к жизни.

Грянула музыка, покрывая гул голосов, и Виллибой остался у радиолы, следя за диском, крутившимся под прозрачным стеклянным колпаком.

---

\* Суахили — основное население прибрежной полосы Восточной Африки (принадлежит к негроидной расе). — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

Покидая меня, моя крошка  
Дала мне мула прокатиться...  
Покидая меня, моя крошка  
Дала мне мула прокатиться...

Майкл Эдонис продолжал есть, повторяя про себя снова и снова: «Погоди же, белая сволочь! Погоди! Я еще доберусь до тебя!» Гнев, казалось, усиливал его аппетит, и он с жадностью глотал пищу. Когда он пил кофе из толстой треснувшей чашки, в кафе вошли трое и, окинув взглядом комнату, направились в его сторону. На одном из них был темно-синий в полоску костюм и коричневая шляпа с высокой тульей. Ввалившиеся щеки, выступающие скулы и заостренный костлявый подбородок придавали его темнокожему, землистого цвета лицу золотушный вид. Двое других — совсем еще молодые ребята — были одеты в новенькие костюмы, какие носят в тропиках: пиджак и галифе; на обоих были яркие галстуки. Густые волосы ребят блестели от бриллиантина, а на их юных, тронутых желтизной лицах уже лежала печать порока. На пальце у одного был перстень с изображением черепа и костей. В глазницах у черепа блестели дешёвые красные камни, и парень все время вертел перстень, словно желая привлечь к нему внимание. Они пододвинули стулья и уселись рядом с Майклом.

— Здорово, Майки! — сказал парень в полосатом костюме.

— Привет!

— Как дела?

— Меня уволили.

— Вот черт, значит, и у тебя дело дрянь?

Парень говорил так, словно у него было что-то не в порядке с горлом: его высокий надтреснутый голос дребезжал, как ослабевшая струна гитары.

Парень с перстнем сказал:

— Мы ищем Сокиса. Не видел его?

Парень в полосатом костюме, которого звали Фокси, добавил:

— Предстоит одно дельце сегодня ночью. Хотим, чтобы он постоял на стрёме.

— Зачем ты ему рассказываешь? — сказал парень с перстнем, глядя на Фокси. У парня с перстнем было худощавое, оливкового цвета лицо с пушком на верхней губе и неестественно желтые белки.



— Он о'кэй, — ответил ему Фокси. — Майки — свой парень. Правда ведь, Майки?

— Я о ваших делах болтать не стану, ребята, — ответил Майкл Эдонис. Он вынул из кармана своей кожаной куртки пачку сигарет и пустил ее по кругу. Все взяли по одной.

Закурили. Третий, тот, кто до сих пор молчал, сказал:

— А почему бы не попросить его помочь нам? Если, как говоришь, он о'кэй, мы можем обойтись и без Сокиса. — Парень этот, со шрамом через всю правую щеку, выглядел очень юным и в то же время жестоким.

Майкл промолчал.

— Майки — парень порядочный, — сказал Фокси, ухмыляясь и не выпуская изо рта сигареты. — Не то что вы, чертовы бандюги.

— Ладно, — сказал парень со шрамом. — Если увидишь Сокиса, скажи, что мы его ищем.

— А где он вас найдет? — спросил Майкл.

— Он знает где, — сказал Фокси.

— Ну ладно, потопали, старина! — позвал его парень со шрамом.

— Пока, Майки! — сказал Фокси, поднимаясь из-за стола.

— Пока!

— Счастливо, друг! — сказал парень со шрамом.

Они направились к выходу, и Майкл проводил их взглядом до двери. «Эти ребята на все способны», — подумал он. Гнев его, вызванный увольнением с работы, понемногу стихал, и он чувствовал себя уже лучше. Он взял со стола счет и направился к стойке, чтобы расплатиться.

За окном толпа пешеходов уже лавиной катила по направлению к Гановер-стрит: шли домой рабочие, населяющие квартал, известный под названием Шестой район. Переполненные автобусы с висящими на подножках людьми медленно ползли по Касл-бридж.

Лениво покуривая, Майкл Эдонис наблюдал через окно за потоком людской толпы, провожая взглядом обтянутые чулками женские ножки, и смутный шум и грохот уличного движения лишь изредка доносился до него. Где-то впереди, в верхней части улицы, уже зажглись огни неоновых реклам — бледные на фоне предвечернего неба, они вспыхивали и гасли, гасли и вспыхивали, и сно-

ва вспыхивали, и снова гасли. Он шагнул через порог кафе и очутился в людском потоке, двигавшемся в сторону Шестого района, мимо витрин с обувью, бельем, кока-колой и сигаретами.

Радиола умолкла, и Виллибой, обернувшись, поискал глазами Майкла, но того в кафе уже не было.

## 2

В музыкальных магазинах еще вовсю крутили пластинки, их звуки сливались в сплошной рев, так что невозможно было отличить одну мелодию от другой.

В дверях магазинов, которые тянулись по обеим сторонам улицы, стояли их владельцы — евреи, индийцы и греки — в ожидании последних покупателей, любезно встречая каждого запоздавшего. Овощами и фруктами тоже еще торговали на улице, лоточники в белых куртках зазывали покупателей, расхваливали свой товар и, размахивая пакетами из грубой оберточной бумаги, выкрикивали, что сбавят цену, — день подходил к концу. На автобусной остановке была давка, и сходящим пассажирам буквально силой приходилось прокладывать себе путь. На тротуарах под балконами, около зеркальных витрин, у дверей домов стояли по двое, по трое молодые бездельники, наблюдая за потоком людей, куривая, переговариваясь, отпуская шутки и язвительные замечания по поводу царящей вокруг суматохи. А на полмили вокруг — реклама, реклама, реклама:

*Кока-кола. Купите, пока не поздно! Ювелиры. Самая модная галантерея. Если вы не пообедали у нас, оба останетесь голодными. Роскошные автобусы доставят вас на большой пикник в Райскую долину. Чай. Кофе. Сигареты. Пробовали ли вы наши молочные коктейли? Бильярдный клуб. Герб Рокингема. Ваши рекомендации — руководство для нас. Салон мод.*

Майкл Эдонис лениво двигался по тротуару в людском потоке, который все больше заполнял улицу и вытягивался, словно разматываемая лента. Из музыкального магазина неся громкий пронзительный голос певца:

Настанет скоро день,  
Тебя я брошу, детка...

Джазовая музыка, записанная на плоских шеллаковых пластинках, на судах пересекала Атлантический океан, чтобы здесь через репродукторы над дверями музыкальных лавок оглушающим потоком обрушиваться на головы людей.

Майкл остановился перед большой витриной, разглядывая выставленные в ней гитары, банджо, мандолины, запасные детали к патефону, медиаторы, струны, электрические утюги, штепсельные вилки, адаптеры, всевозможные японские целлулоидные куклы и репродукции с изображениями ангелов и Христа в терновом венце и с каплями крови — похожими, скорее, на следы губной помады — на розовом лбу.

В дверях магазина показался толстяк с полными, гладкими, лоснящимися щеками.

— Желаете что-нибудь купить, сэр? — спросил он.

— Нет, хозяин, — ответил Майкл и выплюнул окуроч на тротуар; к окурку тотчас же бросились двое сопливых босоногих мальчишек в лохмотьях и, отталкивая друг друга, пытались завладеть им, чтобы сделать пару затяжек.

Кто-то произнес у него над ухом:

— Здорово, Майки!

Обернувшись, он увидел знакомого парня, неожиданно выросшего за его спиной.

— Хэлло, Джо!

Джо был невысоким парнем, трудно было определить, сколько ему лет: грязь, глубоко въевшаяся в кожу лица, скрывала его возраст как нечто ценное, забытое под тряпьем в лавке старьевщика. У него были карие, добрые и кроткие, как у собаки, глаза, и весь он пропах потом, грязной одеждой (которую не снимал и ночью) и морскими водорослями. Его обтрепанные брюки были продраны на коленях, правда, дыры он умудрился сколоть булавками. Брюки были такие грязные и засаленные, что их первоначальный цвет невозможно было даже угадать. На нем был какой-то немыслимый, весь в дырах дождевик, доходивший ему почти до пят. На груди плащ был сколот булавкой, и из-под него выглядывала грязная нательная рубаха. Под стать одежде были у Джо и опорки.

Никто не знал, откуда Джо родом, да и вообще о нем никто ничего не знал. Казалось, он появился в Шестом районе так же неожиданно, как вылезает из-под поло-

вицы таракан. Большую часть времени он проводил в гавани, подбирая рыбу, выброшенную за ненадобностью рыбаками или рыболовами-любителями, или бродил по пляжам близ берега, отыскивая ракушки и разных моллюсков. У него было странное влечение к дарам моря.

— Как дела, Джо?

— О'кэй, Майки.

— Чем сегодня занят?

— Да вот иду в гавань. Днем пришел «Йорк Касл».

— Да?

— Ты любишь моллюсков, Майки? Я принесу тебе много.

— Отлично, Джо!

— Знаешь, вчера мне на взморье попалась здоровенная морская звезда. Большущая! Только она была мертвая и воняла.

— Да, хорошо, брат, что ты не притащил ее в город. А то бы муниципалитет надавал тебе по шее за это дело.

— Я слышал, они собираются пускать на пляжи только белых, — сказал Джо.

— Да, я читал про это в газетах. Сволочи!

— Если так пойдет, скоро никуда хода не будет.

— Наверно, — сказал Майкл.

Они шли теперь вместе по улице.

— Хочешь выпить, Джо? — предложил Майкл, хотя знал, что тот не пьет.

— Нет, Майки, спасибо.

— Ну, тогда пока!

— Пока, Майки!

— Эй, а ты уже ел?

— Да... нет... нет еще, — сказал Джо, робко и смущенно улыбаясь и осторожно ступая своими рваными башмаками по неровному, побитому тротуару.

— О'кэй, вот держи шиллинг. Купи себе чего-нибудь. Рыбы с жареной картошкой, что ли.

— Спасибо, Майки.

— Ладно. Пока, Джо!

— До свидания!

— Не забудь про моллюсков! — крикнул Майкл ему вдогонку, зная, что Джо все равно забудет.

— Я принесу, — сказал Джо, оборачиваясь с улыбкой и поднимая руку в знак приветствия. Он, по-видимому, почувствовал, что Майкл знает о его забывчивости, и с



жаром добавил: — Я не забуду! Вот увидишь. Я не забуду.

Потом он двинулся дальше, волоча за собой подол своего изодранного плаща, похожего на пробитое пулями и изрубленное саблями знамя, только что вынесенное с поля боя.

Майкл повернул в сторону бара и увидел двух полисменов, шедших ему навстречу. На них были плоские фуражки, рубахи и брюки защитного цвета, отливающие гляncем портупей и ремни, а на боку висели тяжелые пистолеты в кобуре... Тяжелые, застывшие, словно высеченные из розового льда лица и холодные, бесстрастные глаза — жесткие и блестящие, как голубые стекляшки. Они медленно и решительно плечо к плечу шагали по тротуару, не сбиваясь с курса и уверенно разрезая встречный поток, точно эсминцы морские волны.

Майкл повернул было в сторону, чтобы обойти их, но они искусно, как бы случайно, отрезали ему путь прежде, чем ему удалось ускользнуть.

— Куда торопишься, парень?

Голос говорившего был жесткий и сухой, как скрип стальной пружины. Губы у него были тонкие, потрескавшиеся, и над ними — чуть заметный светлый пушок. На его узком лице с высокими скулами играл легкий румянец, брови были густые, рыжие, ресницы белесые. У него был длинный, разделенный надвое подбородок, на нем назревал небольшой прыщ, выделявшийся красным пятном на бледной коже.

— Иду домой, — ответил Майкл, глядя на бляху на ремне полисмена. По опыту он знал, что нужно уставиться в какую-нибудь одну точку на их форме: на пуговицу на кармане или на гладкую поверхность офицерского ремня, но никогда нельзя смотреть им в глаза, ибо это расценивается как неуважение к властям. Только уж очень храбрые или очень глупые осмеливались смотреть прямо в глаза «закону», тем самым бросая ему вызов или ставя под сомнение его авторитет.

Второй полисмен, заложив за пояс большие пальцы, сдержанно, чуть заметно улыбался. Скорее это было легкое движение губ, а не улыбка. Тыльные стороны его ладоней, лежавших на ремне, были широкие и белые, и на них отчетливо выступали бледно-голубые вены, кожа была покрыта целой чашей крошечных, густо растущих рыжих волосков. Пальцы у него были толстые, с

крупными суставами, ногти — четко очерченные, розовые, блестящие; видно было, что за ними тщательно ухаживают.

Зычным грубым голосом он спросил:

— Где у тебя дагга\*?

— Я не курю ее.

— Ну-ка, парень, выверни карманы! Да побыстрей! — приказал первый полицейский.

Майкл начал медленно освобождать карманы, не глядя на полицейских и при каждом движении повторяя по себе: «Буры поганые, буры поганые...» Кое-кто из прохожих останавливался посмотреть, что происходит, но, встретив на себе холодный блеск стеклянных глаз полицейских, торопился дальше. Майкл вынул из карманов измятую, почти пустую пачку сигарет, деньги, оставшиеся от тех, что он сегодня получил на фабрике, грязный носовой платок, кусок заваливавшейся в кармане жевательной резинки с серыми, налипшими на нее крошками.

— Где ты стащил деньги? — В вопросе не было шуток. Тон был суровый и грозный, и металлический голос полицейского напоминал скрежет напильника.

— Я не крал их, баас. (И про себя: «Поганый ты бур!»)

— Ладно, живо убирайся! И больше чтобы здесь духу твоего не было! Понял?

— Да. («Поганый ты бур!»)

— «Да»? А дальше? Ты кому так отвечаешь!

— Да, баас! («Дерьмо ты этакое, бур поганый, с поганым пистолетом и с поганой рыжей башкой!»)

Они оттолкнули Майкла в сторону, и один из них, проходя мимо, двинул ему локтем в бок.

Майкл опять спрятал все в карманы. Чувство обиды, гнева и какой-то безнадежности снова нарастало в нем, мучая, как нарыв.

3

Толкнув перед собой дверь на свободных петлях с рекламным изображением пива на стеклах, Майкл вошел в бар. В нос ударил запах спирта и табачного дыма. Зал

---

\* Дагга (или марихуана) — наркотик.

был переполнен людьми, окончившими работу. Почти все столики были заняты. У стойки выстроились в ряд мужчины. Они пили, курили и болтали друг с другом. Через дверной проем виден был следующий небольшой зал, где шла оживленная игра в дарт. Кто-то громко рассказывал: «Нет, брат, думаю, меня на эту удочку не поймаетеш...» Майкл подошел к стойке и втиснулся между плотным мужчиной в поношенном коричневом костюме и человеком с жалким, изможденным лицом пьяницы. Вокруг гудели голоса, но вот кто-то завел спор не то о боксе, не то о футбольном матче, и гул перерос в настоящий рев.

Бар этот, как и все бары на свете, был местом дебатов и дискуссий, обмена мнениями и взглядами, яростных споров и решения различных проблем. Это был форум, парламент, фонтан мудрости и сточная яма всякого вздора и чепухи. Это было прибежище для потерянных и отчаявшихся, место, где трусы и малодушные черпали мужество и храбрость из стаканчиков и, опираясь на блестящую полировкой поцарапанную стойку красного дерева, искали в ней опору и поддержку против гнетущего бремени своего жалкого и никчемного существования. Это было место, где люди, отчаявшиеся и утратившие иллюзии, на какое-то время вновь обретали надежду, где обдумывались добрые дела и замышлялись убийства.

За стойкой прислуживали двое цветных — молодые парни в курточках из альпаги — и лысый еврей, которого все называли мистер Айк. Каждого посетителя он встречал с флегматичным добродушием, которое располагало к своеобразной заискивающей фамильярности.

Один из парней за стойкой, оторвавшись от дела, сказал:

— Хэлло, Майки!

— Хэлло, Смайлинг!

Мужчина с изможденным лицом повернулся к Майклу и тоже поздоровался. Но Майкл не ответил на его приветствие.

— Полпинты белого, — сказал он молодому бармену.

В ожидании своего бокала он зажег сигарету и стоял, опершись о стойку и поставив одну ногу на перекладину над стоком, устроенным в полу. Мысли его снова вернулись к инциденту с полицией, а потом и к стычке с мастером, в результате которой его вышвырнули с рабо-

ты, и снова ярость закипела в его сердце. «Гады проклятые!» — твердил он про себя.

Мужчина в коричневом костюме посмотрел на него и спросил:

— Кто сегодня пришел первым? Не знаешь?

— Не знаю.

— Восемнадцатый номер, — сказал человек с изможденным лицом.

— Бог ты мой! А я поставил два шиллинга на девятнадцатый. Черт меня дернул! Ведь я даже во сне видел восемнадцатый, а взял и поставил на девятнадцатый, думал, он выиграет.

Он начал подробно рассказывать свой сон, но его, кажется, никто не слушал.

Майкл отхлебнул немного вина из стакана и почувствовал, как по всему телу разливается тепло. Потом залпом выпил остальное. Сладкая, чуть кисловатая жидкость согрела желудок, приятное тепло постепенно растеклось по всему телу, и у него слегка закружилась голова. Он заказал еще полпинты, но не дотронулся до вина, оставив стакан в сторону. Гнев его начал утихать, и, глядя на себя в зеркало, висевшее над стойкой, он мысленно сказал смотревшему на него оттуда молодому темноглазому парню с коричневым лицом, на котором успела за день отрасти щетина, и с сигаретой, прилипшей к губам: «Ничего, старший монтер! Все в порядке. Ты парень сильный и выносливый. Самый крепкий парень во всей Тоскане». Он говорил это своему отражению в зеркале, пока позади него не распахнулась дверь и в бар не вошел Фокси с теми же парнями в тропических костюмах — словно специально для того, чтобы вернуть его на землю из мира фантазии.

Они огляделись по сторонам и, увидев Майкла, подошли к нему.

— Ну как, не видел Сокиса? — спросил парень со шрамом.

— Нет, приятель, — ответил Майкл.

— Да, здесь его нет, — сказал Фокси, шаря глазами вокруг. — Пошли, ребята, отсюда.

— Передай ему, что мы его ищем, ладно? — сказал парень со шрамом. Он явно покуривал даггу: белки у него были желтые, а зрачки — расширенные.

— Хорошо.



Они вышли, и дверь долго раскачивалась после их ухода. Мужчина в коричневом костюме сказал:

— Это блатные. Бесшабашный народ.

— Я видел, они околачивались возле Порожек, — сказал человек с изможденным лицом, которого звали мистер Грин. — Парень с метиной на лице в прошлом году сидел в колонии для малолетних. Я знаю его семью. Хендриксы. Они живут на Чепел-стрит.

— Держу пари, они здесь что-то вынюхивали, — сказал мужчина в коричневом костюме.

— Они просто искали своего приятеля, — сказал Майкл. — Парня по имени Сокис.

— Нет, друг, не нравятся мне эти молодчики.

Майкл взял свой бокал, выпил вино до дна, но его вдруг стало мутить, закружилась голова. Он оперся о стойку, подождал, пока пройдет тошнота, и закурил новую сигарету. Человек с изможденным лицом все это время цедил джин, запивая его лимонным соком, и язык у него начал уже заплетаться. Он громко рыгнул и судорожно проглотил слюну.

— Полегче, ты, — сказал с раздражением Майкл, — этак ты тут все заблужешь.

Грин икнул и пробормотал «виноват», вытирая рот грязным носовым платком.

Бар был переполнен. Табачный дым висел в воздухе серой волнистой завесой, и люди, сидевшие в дальнем конце зала, казались какими-то призраками, проступающими сквозь утренний туман; голоса звучали глухо и сливались в сплошное монотонное жужжание. Дверь безостановочно ходила взад и вперед, и через нее непрерывно входили и выходили посетители. Солнце уже зашло, и в баре, и в витринах, и на вывесках, и вдоль всей улицы зажглись огни. В несмолкаемом шуме все отчетливее становился звон стаканов.

Вошел мужчина в кожаной куртке и клеенчатой, с острыми углами фуражке, на которой был прикреплен значок водителя такси. Он втиснулся между Майклом и Грином. Из-под козырька фуражки выглядывало лукавое, улыбающееся лицо с карими и живыми, как тараканы, глазами. Он улыбнулся Майклу, показав желтые от табака зубы, и сказал:

— Как дела, Майки?

— Ничего. Как у тебя?

— Тоже ничего. Сегодня утром пришел американс-

кий корабль. Весь день возил по городу этих янки. Все больше по борделям. У этих пижонов денег полны карманы. Вот они и тратят их на девок.

— Да. Хотел бы я устроиться работать на пароход. Может, попал бы в Штаты.

— Ага, там, должно быть, красота... Можно пойти в любой ночной клуб и потанцевать с белой девочкой. Там ведь, наверно, нет цветного барьера...

— Я читал, как они там повесили негра на улице, в этой Америке. Белые это сделали, — икнув, вмешался в разговор Грин.

— Чего? — переспросил Майкл Эдонис.

— Читал на днях в газете. Несколько белых вытащили негра из дому и повесили прямо на улице. Сказали, что он не так посмотрел на какую-то женщину — снахальничал вроде.

— Ну, мы не негры, — сказал Майкл. И тут же подумал о мастере Скофилде и о полиции, и ярость снова зашевелилась в нем, как плод в материнском чреве, и он с неожиданной злостью добавил: — Во всяком случае, их белые лучше наших, держу пари.

— Везде они одинаковые, — сказал водитель такси, хлебнув из бокала и вынимая сигарету.

— Плевать я хотел на этих белозадых ублюдков, — сказал Майкл и мрачно уставился на свой стакан.

— Это уже политика, — сказал Грин. — Бросьте вы эту политику! — Он был уже пьян.

— Это все из-за капиталистической системы, — сказал таксист. — Я слышал про это на митинге на площади Грэнд-Пэрейд. Белые поступают так потому, что существует капиталистическая система.

— А что это за чертовщина такая — капиталистическая система? — спросил Майкл. — Что это значит — капиталистическая система, про которую ты говоришь?

— Боюсь, я не сумею этого толком объяснить, — ответил водитель такси, нахмурившись. — Но я слышал, как об этом говорили умные ребята на Грэнд-Пэрейд. Они говорили, что сегрегация — это из-за системы.

— Хм!

— Бросьте вы политику, — снова сказал Грин. — Все эти джоны побывали в России. — Он опять икнул, и из его дряблого рта брызнула слюна.

— Ну и что? А чем плоха Россия? — сказал таксист. — Что ты знаешь о России?

— Давай лучше выпьем — и к черту политику, — сказал Грин.

— Послушай-ка, папаша, — сердито сказал таксист. — Если чего не знаешь, не болтай зря, попридержи язык.

— О'кэй, приятель, о'кэй, — глуповато ухмыляясь, ответил Грин. — Только то, что я сказал про того негра в Штатах, чистая правда.

— Да, старик, — сказал таксист. — Я тоже раз видел, как одного малого прикончили прямо на улице. Я это дело хорошо помню. Мне довелось увидеть, как зарезали Флиппи Исаакса. Помнишь Флиппи? — спросил он Майкла. — Он был взломщиком да и другими делами не брезговал. Схватил два года. Так вот, сидит себе Флиппи в тюрьме, и вдруг доходит до него слух, что его девочка спуталась с Кулли Ричардсом. Помнишь Кулли? — снова спросил таксист, обращаясь к Майклу. — Он работал здесь, на Гановер-стрит, в мясной лавке. У мясника Эмина. Да, так вот, Флиппи, значит, сидит себе за решеткой, а его девочка в это время гуляет с Кулли, и Флиппи все узнает. Флиппи это, конечно, не понравилось. А парень он был отчаянный, настоящий головорез. Да... Так вот, он прямо взбесился, когда услышал про Кулли и свою девочку. Потом, значит, он выходит на волю и прямо со своими шмотками — на Гановер и вызывает из лавки Кулли. Кулли выходит, а Флиппи ему: «Слышал я, ты тут с моей крошкой путался, приятель? Здорово вы тут с ней позабавились, а?» Кулли ничего не ответил, стоит себе и смотрит на него. Кулли и сам был не робкого десятка и тоже бандит порядочный. Так вот, стоит он, значит, и смотрит на Флиппи с таким безразличным видом. Ну, Флиппи тогда совсем осатанел и выхватил нож. Уж не знаю, где он его взял, только это был обыкновенный перочинный ножик. Увидев нож, Кулли тоже пришел в ярость и бросился в лавку. Там он схватил резак. Дьявольски длинный. Вот такой примерно, — таксист вытянул перед собой руки и развел их, чтобы показать, какой длины был нож. — Потом, — продолжал он, — Кулли выбегает из лавки с перекошенным от злобы лицом и — прямо на Исаакса. Резак у него был такой, что им только людей и резать. Наверняка с фут длиной и острый как бритва. Ты видел эти резаки у мясников, Майки? Вот, вот. Такими только и резать людей. Ну, он его и полоснул по животу. Прямо через рубаш-

ку. Ч-черт, Флиппи так и сел на тротуар и схватился за живот, а кишки у него вываливаются наружу, и кровяща так и хлещет во все стороны и стекает в кювет. Лицо у него все посинело. Так он сидел и все пробовал запихнуть кишки обратно. — Таксист сделал глоток из стакана, чтобы промочить горло, и продолжал: — Я думаю, у Кулли, должно быть, это был припадок бешенства. Не думаю, чтобы он сделал это нарочно. Он просто одурел, когда увидел у Флиппи нож. Хотя это и был совсем маленький ножик. Так или иначе, он сам дьявольски испугался. Он смотрел на Флиппи: тот так и сидел, стараясь удержать свои кишки, а они все вываливались. И тут Кулли сел рядом с Флиппи и стал ему помогать. Сидел так, тряся весь и все пытался затолкать Флиппи кишки внутрь, будто вываливающееся белье в узел. Видели бы вы эту сцену. Потом кто-то догадался вызвать «скорую помощь», и тут же прискочила полиция. Флиппи уже кончался, когда его увозили в карете. А Кулли не говорил ни слова. Стоял как вкопанный, пока полицейские не надели ему наручники и не посадили в фургон. Он получил пять лет, кажется.

— Это все равно не то, что негра повесили белые, — сказал Грин, когда таксист кончил свой рассказ. — А что вот делать, когда белые вешают негров, а?

— Ладно, умница, помолчи, — сказал водитель. — Уж больно ты много знаешь.

— Ничего я не знаю. А все-таки, что делать, когда негров вешают на улице?

Пока водитель рассказывал всю эту историю, Грин продолжал накачиваться и теперь был совершенно пьян.

— Как быть, если негров на улице вешают, а?

— Да отвязись ты, чучело! — сказал таксист и повернулся к нему спиной.

— Ну, — сказал Майкл, — если бы кто-нибудь стал путаться с моей девочкой, я бы сделал то же, что и Флиппи.

— Чтобы я сел за решетку из-за какой-то шлюхи! — возмутился таксист. — Никогда!

— Мужчина есть мужчина, — сказал Майкл. Он был тоже немного пьян и испытывал небывалый прилив храбрости после выпитых четырех стаканов вина. — Какой же уважающий себя парень позволит другому красть свою девочку?

— А пошел ты со своими девочками, — сказал таксист. — Ладно, мне пора.

Он снял фуражку, заглянул внутрь, потом надел ее снова и тщательно приладил на голове, глядясь в зеркало, висевшее на стене за стойкой.

— Ну пока, дружище!

— Пока! — сказал Майкл. В голове шумело, и его слегка поташнивало. Он проводил взглядом таксиста, когда тот выходил: двери чуть скрипнули и потом еще некоторое время мягко раскачивались назад и вперед. С улицы донесся звук заводимого мотора и вслед за тем шуршание шин по асфальту.

Майкл прислонился к стойке, повернув голову к Смайлингу — юноше бармену. Он попросил еще одну пинту белого вина и выпил ее в два глотка, поперхнувшись на втором. Но он тут же оправился и почувствовал, как тошнота сменяется приятным теплом, ударившим в голову. Он поставил стакан на стойку и закурил. Потом встал и, оставив позади завесу табачного дыма и окутавшие зал винные пары, пробрался к выходу, толкнув перед собой дверь.

4

На улице его обдало прохладой — кожу стало даже покалывать. От свежего воздуха и яркого света фонарей и витрин у него закружилась голова, и ему пришлось постоять немного на месте. Постепенно это ощущение прошло: голова перестала кружиться, словно карусель, замедляющая ход и наконец замирающая вовсе. Вдоль улицы по обеим ее сторонам тянулись огни фонарей, витрин и неоновых реклам, переливаясь и ярко сверкая, точно нитки поддельных драгоценностей. Мимо, задев его плечом, прошел какой-то человек и завернул в бар. Дверь закачалась, и из бара донесся гул голосов, похожий на отдаленный рокот прибора. По городу гулял бриз, развевая висячие вывески и гоня обрывки бумаги, которые в желтом электрическом свете казались какими-то серыми духами, стремительно удирающими с улицы. Люди толпой шли по тротуарам. Кое-кто топтался у витрин, словно чего-то выжидая.

Майкл Эдонис подтянул до конца молнию на своей кожаной куртке, сунул руки в косые карманы и перешел

на другую сторону улицы. От хмеля мысли его стали дерзкими. «Черт с ними со всеми! — думал он. — Я их не боюсь. Ни подлеца Скофилда, ни полицейских, ни всей этой сволочи. Плевать я на них хотел, пошли они к черту!» И в то же время сердце щемила какая-то тоска и храбрость сменялась жалостью к себе — вроде того, как на рекламном щите поверх старой афиши наклеивается новая.

Он свернул с залитой огнями Гановер-стрит на другую улицу и зашагал мимо длинной вереницы убогих, ветхих домишек с поломанными оградами, мимо потрескавшихся, облупленных стен, мимо высоких унылых тенементов\*, торчавших в сумерках, будто остовы зданий в разбомбленном квартале, мимо пустырей и заросших бурьяном участков земли, где когда-то стояли дома, мимо глубоких гулких подъездов, похожих на порталы покинутых замков. На улице между набитыми доверху мусорными ящиками как угорелые носились ребяташки и стреляли друг в друга из деревянных пистолетов. У некоторых подъездов стояли или сидели люди, они тихо и лениво переговаривались между собой при тусклом свете быстро угасавших сумерек, напоминая измученных, превратившихся в тени жителей города, пораженного чумой.

На углу улицы под фонарем стояли Фокси и двое парней в тропических костюмах. Они курили, и один из них выплюнул окурочек на тротуар. Они видели, как Майкл Эдонис переходил улицу, но не сдвинулись с места и не сказали ни слова.

Майкл завернул в подъезд высокого узкого тенементата. Там он жил. Когда-то, давным-давно, дом этот имел вполне приличный вид и был даже красив. За долгие годы почерневшая от грязи и пыли викторианская лепка сверху и по бокам широких парадных дверей во многих местах потрескалась, а кое-где отлетела вовсе. Пол в подъезде был выложен белыми и черными плитами в шахматном порядке, но множество ног, проходивших по нему, а также грязь и мусор так их отделали, что теперь пол стал похож на тело, пораженное какой-то отвратительной кожной болезнью. Вдоль одной стены в подъезде тянулся ряд мусорных ящиков, и запах испорченных фруктов, отбросов пищи, застоявшейся воды и гниения

---

\* Тенемент — многоквартирный дом.



со страшной силой ударял в нос. Какая-то кошка цвета помоев пыталась вытащить из мусорного ящика остатки рыбьей головы.

Майкл остановился перед лестницей, ведущей наверх, наблюдая за кошкой. Она пыталась выдернуть лапой рыбью голову, но та была придавлена мусором, разбитой бутылкой и старым башмаком. Понаблюдав немного, Майкл решил помочь кошке и носком ботинка столкнул на пол кучу мусора, мешавшего ей достать голову. За головой потянулся еще целый клубок внутренностей, и всю эту массу кошка поволокла к дверям, оставляя за собой на полу мокрый темный след.

— Играешь с кошечками?

Майкл обернулся и глянул вверх: на лестничной площадке остановилась девушка, спускавшаяся вниз.

— Привет, Хэйзл. Я бы охотнее поиграл с тобой, — сказал он, ослабившись.

— В самом деле? — иронически спросила она.

Девушка быстро сошла вниз и остановилась на первой ступеньке, улыбнувшись и показав при этом дырку в верхнем ряду зубов. Ее большой рот, намазанный кроваво-красной жирной помадой, казался на ее темнокожем лице настоящей раной. Жесткие, как проволока, выющиеся волосы были схвачены на затылке обрывком какой-то грязной ленты — пародия на прическу «конский хвост». Фигура ее под платьем казалась ничем не примечательной, за исключением небольших, крепких, торчащих вперед грудей. На ногах у нее были надеты новенькие желтые кожаные туфельки без каблуков, производившие в этом месте впечатление чего-то ценного, выброшенного на помойку.

«А хороши у нее под кофтенкой яблочки», — подумал Майкл и сказал:

— Куда собралась, милая крошка?

— В кино. Только кто это тебе «милая крошка», интересно? — скептически смерила она его взглядом.

— Ладно, не «милая крошка». Что сегодня идет?

— Что идет? «Люби меня в этот вечер». В «Метро».

— Ерундовый фильм! Я вчера ходил в «Лаун». Показывали «Налетчика».

— Ну, это не то. Мне такие картины не нравятся. Там, говорят, в конце он умирает.

— А вам, девчонкам, лишь бы про поцелуи!

Он полез в карман своей кожаной куртки, вытащил

пачку сигарет, щелчком вытолкнул две сигареты и протянул пачку девушке. Его рука немного дрожала. Взглянув на него с улыбкой, она сказала:

— Ты, кажется, сегодня хватил немного?

— У меня неприятности, — сказал он, нахмурившись.

— Заливаешь свое горе?

— Может быть. — При упоминании о неприятностях он снова почувствовал себя гонимым и на мгновение поддался этому чувству, испытывая даже какое-то наслаждение от жалости к самому себе и думая при этом: «Я еще до вас доберусь, сволочи! Вспомните вы меня».

Девушка взяла сигарету, а он вытянул вторую из пачки прямо губами, нащупывая в это время в карманах спички. Он чиркнул спичкой, поднес ее девушке — пламя плясало между его пальцами — и потом прикурил сам.

Девушка сказала:

— Ну, мне пора отчаливать.

— Ч-черт! Подожди немножко, еще рано.

— Нет, мальчик. У меня еще нет билета.

Она вызывающе прошествовала мимо него, покачивая бедрами, улыбаясь и придерживая рукой зажатую в губах сигарету. Он попытался схватить ее за руку, но она, смеясь, ловко увернулась от него и выбежала через широкие двери подъезда на улицу. А он остался один и только смотрел ей вслед.

— А, дьявол! — громко произнес он и, взбираясь по лестнице, продолжал ругаться, чувствуя новый прилив ненависти к своим обидчикам.

Лестница была старой и черной от грязи, и древние дубовые перила были выщерблены и шатались. Лампочки висели без колпаков, просто в патронах, они отбрасывали бледный свет, обнажая огромные пятна сырости и плесени на потолке и куски голых обшарпанных стен. Где-то наверху играло радио, передавали латиноамериканскую музыку, и приглушенные нежные звуки банджо и гитары плыли в воздухе, пропитанном извечным запахом стряпни, мочи, плесени и застоявшегося табачного дыма. Где-то истошно кричал младенец, закатываясь, наверно, от голода, а может быть, оттого, что у него болел живот, где-то истерически хохотал мужчина. На лестнице гулко отдавались шаги, и в трубах глухо рокотала вода. От каждой лестничной площадки тянулся похожий на туннель тускло освещенный коридор с двумя рядами дверей и общей уборной в конце — слов-

но караульной будкой; пол перед уборной был вечно сырой от постоянно расплескиваемой воды. Слегка запыхавшись — сказывалось выпитое вино, — Майкл поднялся на самый верхний этаж. Звуки радио раздавались теперь где-то под ним — исполнялась чувствительная песенка о лаванде и тенистых аллеях... Непрерывно вопил ребенок.

Дверь уборной в конце коридора открылась, и из нее, цепляясь за дверь, выбрался какой-то человек. Держась за стену и дыша со свистом, напоминающим визг пилы, человек стал пробираться к одной из дверей. Он был стар и нетвердо держался на ногах, и вдобавок ему мешали сползшие штаны. Рубаха была не заправлена и болталась у колен, как ночная сорочка. Точно исполинский краб, он медленно пробирался вдоль стены и хрипло дышал.

Майкл постоял немного у входа в коридор, наблюдая за ним, потом двинулся дальше. Старик услышал шаги и поднял голову.

— А, это ты, мой мальчик? Здравствуй, Майкл! — сказал он по-английски высоким, надтреснутым, задыхающимся старческим голосом.

При свете горевшей под потолком лампочки его землистого цвета одутловатое лицо казалось желтовато-голубым. Испещренная багровыми прожилками прыщавая кожа свисала складками. Полуприкрытые дряблые воспаленные веки и большой, в красных прожилках нос картошкой (когда-то он был орлиный) делали его лицо похожим на морду одряхлевшей ищейки. Голова у него была почти вся лысая, и клочки грязно-серых волос прилипали к костлявому розоватому черепу, точно чахлые растеньица к размытой скале.

— Как дела, сынок?

— Ничего, — ответил Майкл, угрюмо глядя на старика.

Этот старый ирландец, умиравший теперь от алкоголизма, диабета и старости, когда-то был актером. Он играл в театрах Англии, Южной Африки и Австралии. Он участвовал в двух войнах. Теперь он, отравленный алкоголем и еще чем-то, чего не знали ни Майкл, ни он сам, превратился в одинокую, всеми забытую и брошенную развалину. Много житейских бурь пронеслось над его головой, пока, разбитый и беспомощный, он не очутился в этом убогом тенементе, словно обломок корабля, вы-

брошенный на чужой берег; здесь он и дожидался теперь своей смерти.

— Помоги мне, Майкл, — сказал старик, тяжело дыша. — Дай-ка мне руку, сынок.

— Ну вот еще! — сказал Майкл. — До стульчака-то сам добрался, сумеешь дойти и назад.

— Это невежливо, Майкл. Ты, видно, не в духе. Знаешь что, пойдем посидим у меня. Выпьем. Ты ведь не прочь, сынок, выпить, а? У меня еще осталась бутылочка. Вчера получил свою стариковскую пенсию.

— Не нуждаюсь я в твоём вине. У меня у самого есть деньги, я могу на свои выпить, понял?

— Господи, да разве дело в деньгах? — прохрипел старик. — Все неприятности на земле из-за денег. Пойдем ко мне, Майкл. Пойдем, сынок. Дай руку своему дядюшке.

— Какой ты мне дядюшка? У меня нет белых дядюшек, — сказал Майкл, однако взял его высохшую руку и, не очень заботясь о деликатности обращения, потащил старика к его двери.

— Спасибо, сынок. Белый, не белый — какая разница! Моя жена — мир праху ее — была цветной, а какая это была замечательная женщина, — сказал старик, берясь за круглую ручку двери и толкая ее вперед. Он был основательно пьян, и от него разило дешевым вином, потом и какой-то кислятиной.

В комнате было жарко, и, казалось, сюда совсем не поступал воздух — точно это был склеп, а не жилье. У одной стены стояла старая железная кровать, застланная грязной простыней, а рядом — стул без спинки, который служил столом и на котором стояла пепельница с отбитыми краями, полная окурков и горелых спичек, и толстый стакан, липкий от крепкого красного вина. В углу стоял ветхий низенький шкафчик, над которым висело треснувшее, засиженное мухами зеркало; на шкафчике лежала небольшая стопка потрепанных книг, словно специально для того, чтобы собирать пыль. В другом углу стояла целая батарея пустых бутылок, похожая на составленные в кучу кегли.

Старик с трудом дотащился до постели и повалился на нее, задыхаясь и раздирая костлявыми пальцами с багрово-синими ногтями свою впалую грудь, стараясь отдышаться.

Майкл Эдонис неуклюже протиснулся к окну и через просвет между пыльными вылинявшими занавесками глянул на улицу. За грязными стеклами толпились крыши города, образуя темную беспорядочную грудку, там и сям усеянную грязно-желтыми кляксами электрического света. Гановер-стрит протянулась лентой тусклых огней через весь Шестой район, и далеко впереди вдоль берега моря маячили застывшие в небе краны.

Майкл отвернулся от окна. Головная боль от выпитого вина усиливала гнев и досаду.

Старик наливал вино в липкий стакан, и горлышко бутылки в его дрожащих руках дребезжало о край стакана, красная жидкость расплескивалась и стекала с его сжюченнх пальцев.

— На, Майкл, бери, сынок, — прокудахтал он, хрипло дыша. — Ничего так не согревает наше сердце, как стакан доброго вина.

Он протянул стакан, рука его тряслась, расплескивая вино, и Майкл в неожиданном припадке злости выхватил у него из рук стакан, залпом выпил вино и швырнул стакан старику на колени. Густое сладкое вино вызвало у него приступ тошноты и чуть не пошло обратно, но усилием воли он старался перебороть позыв, уставившись на старика, сидевшего на кровати, пока не почувствовал, что новая горячая волна начинает приливать к голове.

— Ты не в духе, — дрожащим голосом произнес старик, наливая себе стакан до краев. Он выпил вино, измазав при этом свой щетинистый подбородок, и его передернуло. Потом старик поднял голову, посмотрел на Майкла и сказал: — В жизни все надо принимать как должное. Что с тобой случилось?

— А, пошел ты знаешь куда...

— Ну-ну, сынок, не следует так говорить. У всех у нас свои неприятности.

— Да, особенно у тебя. Какие у тебя, к черту, неприятности!

— Господи боже мой! Да разве у меня нет своих неприятностей?! — захныкал вдруг старик. — Я старый, больной человек, и нет никого на свете, кто позаботился бы обо мне. — Слезы жалости к самому себе выступили на его потухших глазах с воспаленными красными веками, и он смахнул их грязной, худой, узловатой рукой, похожей на клубок жил. — Погляди на меня. Ведь было

время, когда и я что-то значил в жизни. О господи! Ведь и я что-то значил...

Майкл закурил сигарету и сквозь кольца дыма смотрел на старика. Потом он сказал:

— Какого дьявола ты скулишь? У тебя нет никаких забот, старая белая кляча!

— Нет забот? Нет забот? У всех у нас есть какие-то заботы, — хныкал старик. Он помолчал с минуту, стараясь успокоиться, потом потряс перед носом Майкла тонким, как прутик, пальцем и сказал: — Все мы несем свой крест. И что от того, что я белый! Ведь вот я — нищий и убогий, и разве помогает мне то, что я белый? Я был актером. Боже мой! Я выступал в Англии и Австралии, я играл с госпожой Кларой Брайт. О, это была великая женщина! Великая актриса! — Он заплакал, слезы потекли из его красных, воспаленных глаз. И он снова потянулся к бутылке. — Мы похожи на тень отца Гамлета, — сказал он, успокаиваясь. — Когда-то я играл тень отца Гамлета. Это было в Лондоне.

— Ты и впрямь похож на паршивого духа, старое пугало, — с ожесточением сказал Майкл. Внезапно он выхватил из рук старика бутылку и поднес ее ко рту. Сделав большой глоток, он поперхнулся и рыгнул, отнимая горлышко от губ. Голова закружилась, и опять зашумело.

Старик сказал:

— Только не прикончи всю, мальчик. Оставь немного старому дядюшке Дафти. — Он судорожно рванулся к бутылке, но Майкл, ухмыльнувшись и испытывая злобство, держал ее так, чтобы старик не мог до нее дотянуться.

— Что, хочешь глотнуть, дядюшка Дафти?

— Дай, сынок! Ну дай же, не мучь своего старого папашу.

— Ты мне не папаша, старое пугало.

— Дай мне выпить, дай, сынок!

— Что это ты тогда начал болтать про тени? Я люблю рассказы о привидениях, — смеялся над ним Майкл, чувствуя, что все больше пьянеет.

Он помахал бутылкой перед старым, изможденным лицом с багровыми прожилками, желтыми зубами и дряблым ртом и увидел, как на мокрых глазах старика снова появились слезы.

— Знаешь что, — с надеждой прохныкал старик, —

давай я почитаю тебе стихи. Ты должен меня послушать. В свое время я что-то значил в жизни, чем-то я был.

Он хотел прокашляться, стал давиться и проглотил мокроту. Потом начал: «Я... я дух, я твой отец, приговоренный ночью...» Он сбился, потом овладел собой и начал снова, театрально жестикулируя руками — тощими, как у скелета: «Я дух, я твой отец, приговоренный по ночам скитаться, а... а днем томиться посреди огня, пока грехи моей земной природы... природы не выжгутся дотла... Но...» Он замолчал, улыбнулся Майклу и потом взглянул на бутылку.

— Это мы, мы, мальчик мой, Майкл. Мы — духи, приговоренные по ночам скитаться. Это слова Шекспира.

— Чушь! — сказал Майкл и снова отхлебнул из бутылки. — Какие там, к черту, духи! — Он злобно посмотрел на старика сквозь плывший перед глазами красный туман, который, все больше сгущаясь, до неузнаваемости искажал торчавшее перед ним лицо.

— Майкл, сынок. Оставь капельку своему старому дядюшке, — молил старик, протягивая руки к бутылке.

— Ты мне не дядюшка, старый ублюдок! — вскипел Майкл. — Белые гады! Ты мне ответь, имеет право человек сходить в проклятый клозет? Разве могут прогнать за это с работы? Имеет право человек пройти по улице и не получить пинка в зад от этой вонючей полиции?

— Ну-ну, Майкл. Я не знаю, о чем это ты говоришь. Боже, спаси мою душу! Оставь мне капельку этого старого винца, мой мальчик.

Старик попытался встать.

— На, подавись своим паршивым вином, — сказал Майкл и, держа бутылку за горлышко так, что вино полилось по руке, с силой ударил по костлявому пятнистому черепу с жалкими кустиками волос. Старик издал короткий нечеловеческий звук, похожий на крик дикого гуся, и повалился навзничь на кровать.

## 5

Где-то внизу глухо звякнула цепочка, и вода хлынула и потекла по трубам с затихающим шипением. Издалека доносились звуки радио — играли румбу.

Майкл смотрел на голубоватое восковое лицо старика, уставившееся на него пустыми стеклянными, словно у куклы, глазами.

— О Иисус! — произнес Майкл и стремительно отвернулся к противоположной стене. Его вырвало прямо на стену, и он припал к ней ладонями, ощущая во рту кисловатый вкус вина и непереваренной пищи. Он стоял так, дрожа как в лихорадке, и его рвало до тех пор, пока желудок не стал совершенно пустым. Его ладонь, облитая вином, оставила на стене большой красноватый след. У ног валялась бутылка, она треснула у основания, когда выпала у него из рук.

Пошатываясь от головокружения, он попытался выпрямиться и вдруг сразу отрезвел от ужаса, охватившего его. Он снова устался на лежавшего поперек кровати старика и громко сказал:

— Боже, я не хотел этого! Я не хотел убивать этого проклятого старика. — Он вытер рот тыльной стороной ладони и, почувствовав на ней вино, насухо вытер ее о свои джинсы. В голове забурлил целый поток мыслей. «Беда. Вот беда! Не хотел я этого. Лучше мне уйти отсюда. Закон не любит, когда белые так кончают. Ч-черт, я ведь этого не хотел. Надо уйти, пока кто-нибудь не вошел. Никто не должен меня здесь видеть, не был я здесь, и все, не был я здесь... — Он поглядел на распластанную фигуру — она походила на поваленное ветром пугало. — А! Не должен он был жить здесь с нами, цветными».

Его трясло, будто от холода, и он двинулся к двери, пошатываясь и держась одной рукой за стенку. Он повернул ручку и, приоткрыв дверь, выглянул в коридор. Его собственная комната была немного дальше по коридору. Лестничная клетка жила привычными звуками: по радио теперь передавали спокойную, плавную музыку — играл струнный оркестр; кто-то смеялся, где-то глухо отдавались шаги, какая-то женщина бранилась, и мужской голос огрызался в ответ, пока она не смолкла; и откуда-то издали в общий шум тенементы врывались звуки уличного движения.

«Вот я и побывал в гостях», — подумал Майкл, шагнул в пустынный коридор. Он тихо притворил за собой дверь и потом почти побежал к своей комнате, словно за ним неотступно двигался призрак старика. Он толкнул свою дверь и, проскользнув в комнату, резко и быстро запер дверь изнутри. Голова у него болела, и во рту был кисловатый привкус.



Констебль Раальт сидел, развалившись, в углу кабины патрульного фургона и лишь краем уха слышал радио, вмонтированное в приборный щиток. Искажаемый динамиком монотонный голос проводил инструктаж полицейских. Почти все мысли Раальта сосредоточились на предмете, не имеющем отношения к службе. «Ч-черт, скоро я совсем одурею от всей этой чепухи, — думал он. — Ладно, хватит с меня! Если она не перестанет, я предприму что-нибудь серьезное».

Фургон стоял на темной улице, и то место, где она пересекала залитую огнями Ганöver-стрит, напоминало выход из пещеры. Раальт пошарил в кармане своего мундира и вытащил смятую пачку сигарет. Там оставалась последняя, он взял ее, а пустую пачку скомкал своими толстыми пальцами и щелчком выбросил через окно кабины на улицу. Он зажег сигарету, затянулся и опять вернулся к своим мыслям. «А ведь передо мной был пример ее мамы. Не удивительно, что и она оказалась шлюхой. Но я был достаточно глуп, чтобы не подумать об этом. Теперь-то уж она у меня не отвертится. Потаскушка несчастная! Нет уж, хватит!»

Он думал о своей жене, и это злило его. Сдвинув портупею, он почесал грудь. На рубашке не хватало одной пуговицы. Он хотел пришить ее сегодня перед тем, как идти на службу, но промешкал и не успел. Он пришивал себе пуговицы сам и сам себе чинил одежду, нередко ему приходилось самому выполнять и всякую другую домашнюю работу, и сейчас это подливало масло в огонь. Когда он женился на ней, она была прехорошенькой, но теперь начала расплываться, и это тоже раздражало его. Так он сидел в углу кабины, распаляя себя и упиваясь своим гневом.

Водитель патрульной машины, облокотившись на баранку, внимательно слушал радио. Его мысли целиком были поглощены тем, что передавалось, и он, казалось, забыл о присутствии Раальта, развалившегося рядом. Это был молодой нервный парень, всегда очень ревностно относившийся к соблюдению устава. Это тоже раздражало Раальта, но он старался не подавать виду, если не считать такой маленькой демонстрации игнорирования устава, как курение на посту.

Через некоторое время инструктаж полицейских по радио кончился, и полисмен-водитель, выпрямившись, сказал:

— Я думаю, нам следует продолжать объезд. Вам не кажется, что мы уже достаточно долго стоим на месте?

Раальт вынул изо рта сигарету, зевнул и сказал:

— О' кэй, приятель. Поехали, если ты еще не сыт по горло этой идиотской ездой. А мне, признаться, уже надоело следить за этими вонючими готтентотами. Двигай!

Он старался говорить небрежно, чтобы скрыть от водителя свою злость, но она все же проглядывала, как проглядывает порой из-под защитной окраски сталь.

Водитель нажал на стартер, включил передачу, и машина свернула с обочины, направляясь в конец улицы — туда, где было освещено.

## 7

Юноша по имени Виллибой размышлял: «Надо бы стрельнуть у него пару шиллингов. Я сейчас на мели, а он сегодня как раз получил монеты. Майкл неплохой парень, он не откажет. Чертовски хочется выпить!»

Он знал, где живет Майкл Эдонис, и направился в сторону его дома.

Фокси с двумя приятелями стоял возле ярко освещенной витрины магазина и увидел приближающегося Виллибоя. Мимо по асфальту прошуршал, скорее даже прошипел автобус, словно выпуская воздух из баллонов. Летний вечер был ясный и теплый, и только легкий бриз предвещал зюйд-ост. Парень с перстнем сказал:

— Что ж, мы так и будем весь проклятый вечер гоняться за этой чертовой куклой Сокисом?

— Ничего, отыщется, — сказал Фокси. — Спросим Виллибоя — вон он идет. Может, он его видел.

Они подождали, пока Виллибой приблизится, и парень с перстнем сказал:

— Здорово! Не попадался тебе Сокис?

— Нет, приятель, — ответил Виллибой.

— Если увидишь, передай, что мы его ищем. Скажи, что мы зайдем за ним в клуб. Пусть ждет нас там.

— О' кэй.

— Ладно, пошли к клубу. Можно и там околачивать, — сказал парень со шрамом, обращаясь к Фокси и второму приятелю.

— Верно, пошли! — согласился парень с перстнем.

Они помахали Виллибой и зашагали вдоль улицы.

«Эх, надо было попробовать прокатиться за их счет, — подумал Виллибой, направляясь в противоположную сторону. — Уж больно выпить хочется». Он сунул руки в карманы и побрел по тротуару, низко опустив плечи. Он шел мимо освещенных витрин с пирамидами фруктов, с ярлычками цен, с безголовыми и безрукими манекенами, задрапированными в запылившиеся ткани. У витрин толпились зеваки. Прилипнув лицом к стеклу и тыча в него рукой, они оставляли грязные пятна — целые коллекции отпечатков пальцев. В темном подъезде тенементы — между фруктовой лавкой и обувным магазином — целовалась парочка; их лица словно склеились, и они тесно прижимались друг к другу посреди наваленных в кучу грязных жестянок и сломанных корзин из-под бананов.

У входа в дом, где жил Майкл Эдонис, стоял тучный, обрюзгший мужчина в засаленной фуфайке и рылся в карманах своих обтрепанных брюк, отыскивая спички. Взглянув на Виллибоя, поднимавшегося по разбитым ступенькам к входу, он попросил:

— Дай, пожалуйста, спичку.

Виллибой остановился и протянул коробку спичек. Мужчина кивком поблагодарил, чиркнул спичкой и поднес ее к замусоленному окурку, зажатому в его потрескавшихся губах. Под черной щетиной проглядывала кожа землистого цвета, неровная, бугристая. От него несло перегаром.

Где-то выше в сыром брюхе тенементы играло радио, и Виллибой поднимался вверх по выдавшей виды лестнице под бурный темп буги-вуги, мимо застывших в тишине коридоров, где в тупиках стояли уборные, словно спрятавшись от безнадёжного будущего.

Электрическая лампочка на последнем этаже непрерывно мигала, но не гасла, настойчиво цепляясь за жизнь и как бы отказываясь подчиниться царившему здесь всюду распаду.

Виллибой направился по коридору, тускло освещенному мигающим светом, и остановился у комнаты Майкла Эдониса. Он нажал на дверь, она оказалась запертой. Тогда он подергал круглую ручку, негромко окликая хо-

зяина. Никто не отвечал. Он снова подергал ручку, потом выругался и повернул назад. Но, сделав несколько шагов к лестнице, вдруг передумал: может быть, тот старый белый бедняк ссудит ему пару грошей. И он направился в комнату ирландца.

Виллибой тихо постучал в дверь.

— Эй, мистер Дафти!

Он приложил ухо к двери. Потом стукнул громче и снова позвал. Ответа не последовало. Тогда он повернул ручку и, заглянув внутрь, увидел, словно в страшном фильме, серовато-лиловое лицо старика с устремленными на него широко раскрытыми глазами, застывшее в мертвенном оскале желтых гнилых зубов.

## 8

Грязь на полу в тенементх скапливается быстро. Ее приносят на подошвах ботинок, и она забивает все щели в щербатых половицах. Там, где кто-нибудь прольет воду, образуются лужи, в них тоже сыплется пыль с потолка или с одежды — если ее трясут на лестнице. Когда лужи высыхают, на их месте остаются огромные черные пятна. Упадет крошка на пол или прольется капля жира — на них тут же наступают, разносят грязь дальше, и образуются новые ловушки для пыли, которая здесь постоянно носится в воздухе. Пыль скапливается везде: на плохо пригнанных стыках покоробившихся досок; на розетках и барельефах викторианской лепки; на отсыревшей и потрескавшейся от дождей и жары штукатурке. Не только в сезон дождей жизнь здесь — сплошное тление: появляется плесень и бактерии устраивают настоящую вакханалию. В жаркие, душные дни от сырости новые вещи блекнут, портятся и истлевают. Запахом гнили и разложения пропитаны все тенементы — обиталища бедняков.

В темных углах и невидимых щелях, в зловонной духоте и сырости таинственно двигаются, шуршат, копошатся насекомые и паразиты: черви и слизняки, крысы с тусклыми глазками, грязными лапами и шерстью, тараканы в блестящих коричневых панцирях и пауки, похожие на крошечных серых чудовищ, — огромная армия маленьких тварей, несущих на своих тоненьких ножках или в присосках смертельную заразу.

В одной из комнат тенементы на железной кровати лежал, уставившись в потолок, Фрэнки Лоренцо. Когда-то потолок был белым, но теперь он превратился в серый, краска потрескалась и облупилась, и весь он был засижен мухами. Доски на потолке покособились и разошлись, и между ними образовались темные щели, через которые в комнату летели мусор и пыль всякий раз, когда кто-нибудь взбирался на крышу дома. По углам комнаты и на карнизах висела паутина. Но Фрэнки Лоренцо сейчас ничего этого не замечал. Он устал, был раздражен и озабочен чем-то.

На нем была фуфайка и старые вельветовые штаны. Фуфайка была темной от пота и пыли, а штаны лоснились от долгой носки, и в швах, там, где ворсистая ткань еще не вытерлась, набилась угольная пыль. У него был угрюмый вид—человек, обремененный тяжелой работой, неоплаченными счетами и кучей малолетних детей. Старый шрам над левым глазом белой метиной выделялся на его темнокожем щетинистом лице. Шрам этот остался у него после драки, случившейся много лет назад, — кто-то стукнул его бутылкой. Под фуфайкой скрывалась могучая грудь. Руки у него были крепкие и мускулистые, шея — кряжистая. В уголках его чувственного рта и под темными, глубоко посаженными глазами въелась угольная пыль, которую никогда не удавалось отмыть до конца, сами же глаза под нависшими бровями были мягкие, ясные и чистые, как у младенца. Он лежал, закинув свои могучие, мозолистые, огрубевшие от непосильной работы руки за голову. От него исходил запах здорового немытого мужского тела и табака.

Несколько минут назад жена объявила ему, что она опять беременна, и теперь он пытался решить, хорошая это или плохая новость.

У противоположной стены на узенькой кровати спали четверо его детей. Накрытые одним старым, полинявшим и пропитанным потом одеялом, они чинно, вытянувшись в струнку, лежали вальетом на этом узком, прогнувшемся ложе по двое с каждой стороны, напоминая части какой-то картинки-головоломки. Сейчас они тихо и мирно спали, но пройдет немного времени, и они начнут ворочаться, метаться во сне, пинать друг друга ногами и проснутся, жалуясь и хныча. А пока они спали: на одном конце кровати — два мальчика с открытыми ртами, на другом — две девочки с жесткими, завивающимися спиралькой

волосами, заплетенными в тугие косички; под головой у них были тонкие подушки без наволочек, в грязных полосатых чехлах.

Пятый ребенок сидел на коленях у матери и с шумом сосал через соску подслащенную воду из бутылки от имбирного лимонада. Грэйс, жена Фрэнки Лоренцо, посадила его к себе на колени в надежде, что малыш не раскричится и не потревожит покоя мужа. У нее было еще довольно молодое лицо, сохранившее следы былой красоты, однако сама она сильно располнела от частых родов. Лицо ее было озарено добротой и смирением и напоминало лица святых; в ее темных и глубоких, как колодцы, глазах одновременно светились и печаль и радость.

«Говорят, что дети — богатство бедняков, — размышлял Фрэнки Лоренцо. — Вам нечего жрать самим и нечем кормить детей, зато вы богаты детьми. У богачей денег — куча, а детей — раз, два и обчелся, а ведь еды у них хватило бы на десятерых. Мы не можем прокормить и одного, а плодим по восемь-девять — каждый год по одному. О Иисус!»

Вслух он сказал:

— Опять? И зачем это тебе нужно?

— Это не моя вина, — возразила она.

— Ну, конечно, не твоя!..

— Выходит, я одна во всем виновата? А больше никого виновных нет?

Он вскочил на кровати и злобно крикнул:

— Бог ты мой, да могла же ты что-то сделать! Выпить чего-нибудь. Ну там пилюли какие, что ли...

— А может, это ты перестанешь думать о своем проклятом удовольствии каждую ночь? — вспылила она в ответ.

— Я имею на это право, скажешь нет?!

— Да, это все, о чем ты думаешь. О своих правах.

Она тихо заплакала, крепко прижав к себе ребенка, сидевшего у нее на коленях. Дети проснулись и выглядывали из-под рваного одеяла.

Фрэнки откинулся на кровати и снова уставился в потолок. Грэйс тихонько всхлинула, и он почувствовал себя немного пристыженным. Ему захотелось сделать для нее что-нибудь хорошее, необыкновенное. Он смотрел на нее своими глубокими мягкими глазами и очень хотел сказать ей сейчас что-нибудь ласковое, но не мог найти нужных слов и вместо этого лишь тер рот тыльной

стороной ладони. Он понимал, что обидел ее, и любовь к ней внезапно вспыхнула в нем с небывалой силой. У него защекоталось в горле. «Я устал, — подумал он, — оттого и злюсь». Он был грузчиком в порту и работал как дьявол. Сейчас он почувствовал раздражение и против самого себя.

Грэйс сидела на стуле и смотрела на Фрэнки сквозь слезы, застилавшие ей глаза. Любовь к мужу тоже переполняла ее сердце.

Она хрипло сказала:

— Фрэнки...

— Все в порядке, Грэйс. Все в порядке. Прости, что я накричал на тебя, — мягко сказал Фрэнки. Он был смущен и не смотрел в ее сторону.

— Правда, Фрэнки?

— Да. Правда. — Он кашлянул так, словно что-то мешало ему в горле, и повторил: — Все в порядке. Все в порядке, девочка. Да. Все в порядке. — И потом с притворной резкостью добавил: — Как насчет чаю, а?

— Ты... ты не поддержишь малыша?

— Конечно. Почему же нет?

Между кроватями на столе, застланном газетой, стояли кастрюльки и примус. Грэйс передала Фрэнки ребенка, взяла со стола кастрюлю и направилась в уборную, чтобы взять там воды из-под крана.

9

Виллибой резко захлопнул дверь. Крик ужаса застрял у него в горле, и он стоял как вкопанный с перекошенным от страха лицом.

В эту минуту из комнаты, расположенной напротив комнаты Майкла Эдониса, вышла женщина. В руках она держала кастрюлю. Довольно молодая, лицо немного поблекшее, а фигура, видно, испорчена частыми родами. Она подозрительно посмотрела на Виллибоя и сказала:

— Эй, ты что тут делаешь?

Виллибой в испуге резко повернулся, стремглав бросился к лестнице и пулей помчался вниз, перепрыгивая через три ступеньки и на каждом повороте натываясь на перила. Женщина в это время подошла к комнате старика.

Она постучала в дверь и окликнула:

— Дядюшка Дафти! Дядюшка Дафти!

Не получив ответа, она повернула ручку и заглянула внутрь. Кастрюля выпала у нее из рук. Пронзительный женский крик догнал Виллибоя, когда он был уже на последних ступеньках. В вестибюле он налетел на грузного мужчину, того самого, которому давал спички, и чуть было не сбил его с ног. Тот крепко выругался, но Виллибой стремглав пронесся мимо полных до краев мусорных ящиков и, выскочив из подъезда, помчался по темной улице, тускло освещенной электрическими фонарями.

«Уж одного этого достаточно, чтобы толкнуть мужчину на убийство,—мысленно говорил себе констебль Раальт, сидя рядом с водителем в кабине патрульного фургона.—Я свернул бы ей шею, этой суке, да только грех убивать свою жену. Ну а разве то, что она делает, не грех? Но погоди же! Если я тебя когда-нибудь поймаю, ты у меня ответишь за все сразу».

Он покосился на водителя, сидевшего рядом. У того было юное лицо с пухлыми девичьими щеками и светлоглазые глаза. Раальт его раздражал и даже пугал немного, тем не менее он все время старался сломать барьер, выросший между ними, и быть как можно приветливее и общительнее. Вот и сейчас, пытаясь завязать разговор, он произнес:

— Сегодня спокойный вечер, а?

— Спокойный,—ответил Раальт. —Только я бы предпочел, чтобы что-нибудь случилось. Вот если бы мне попался кто-нибудь из этих бушменских ублюдков, я бы ему с удовольствием отвернул его поганую башку.

Он почувствовал некоторое облегчение, избрав для своей ярости другую, незнакомую жертву. В то же время мысль о мщении жене приносила ему наслаждение, а водитель и не подозревал обо всем этом и только видел, как кипит злобой его спутник, и от этого еще тоскливее становилось у него на душе.

— Нет, чем спокойнее, тем лучше,—возразил он. —Я не люблю неприятностей. По мне, так пусть хоть все эти готтентоты перережут друг друга, лишь бы я тут был ни при чем. Скорее бы отдежурить — и домой. Вот и вся моя забота.



Гроыхая по булыжной мостовой, машина медленно проехала по темной улице мимо рядов ветхих, точно изъеденных проказой домов, мимо ночных закусовых, тускло светившихся в темноте, и свернула на залитую огнями Гановер-стрит. «Надо бы подать рапорт о переводе на какой-нибудь другой участок, подальше от Раальта», — вертелось в голове у водителя. Ему не нравился Раальт. Было в Раальте что-то такое, что заставляло его все время нервничать, когда они вместе дежурили; по временам он внушал ему чуть ли не страх. Водитель был молод и очень дорожил своим положением и службой в полиции. «Этот тип из тех, что бесчестят нас, белых, — размышлял он. — Со своим презрением к этим готтентотам и кафрам он может дойти до того, что опозорит всю нашу расу. Он может сотворить с кем-нибудь из этих черномазых что-нибудь такое, что нанесет ущерб нашему престижу. Его бы следовало назначить в какой-нибудь белый район, где у него было бы меньше возможностей выкинуть что-нибудь недостойное».

— Останови-ка здесь, — сказал Раальт, и водитель затормозил. Машина застыла у обочины. Водитель выглянул из окна и увидел, что они стоят против закрытого на ночь магазина тканей.

Не говоря ни слова, Раальт выпрыгнул из машины, хлопнув дверцей. Потом он заглянул в кабину и сказал:

— Подожди меня здесь, парень.

Он стоял спиной к уличным фонарям, и от этого глаза его казались твердыми и блестящими, как зеркальные стекла.

— Хорошо, — ответил водитель и придвинулся к окну, чтобы было удобнее наблюдать за Раальтом. Тот сделал несколько шагов по тротуару и подошел к двери рядом с магазином, над которой красовалась вывеска: «Клуб веселых парней». «Хотелось бы мне знать, какой параграф устава он собирается сейчас нарушить?» — подумал про себя водитель.

Констебль Раальт толкнул входную дверь и очутился перед лестницей с обшарпанными цементными ступеньками. На них валялись окурки, горелые спички и прочий сор. Ступеньки вели наверх, там помещался клуб, завсегдатаями которого были разного рода бездельники, темные личности и их прихвостни. Поднявшись по лестнице, Раальт остановился перед коричневой дверью со вшпунченными, пузырящимися филенками. Он подергал ручку

и, обнаружив, что дверь заперта, с силой постучал ладонью по филенке.

В узкой пыльной комнате за дверью двое мужчин играли в снукер\* на столе, обитом зеленым сукном; с потолка свешивался большой абажур; на другом столе компания играла в кости, внимательно наблюдая, как подпрыгивают и отскакивают костяшки; и наконец, за третьим столом четверо мужчин молча, сосредоточенно резались в карты. Со стен, сфотографированные в самых различных позах—анфас и в профиль,—смотрели кинозвезды: крупная пышная полураздетая блондинка сверкала ослепительной улыбкой из-под царапин на глянцевой поверхности литографии. Тщетно красочная табличка призывала посетителей пользоваться пепельницами—пол был весь усыпан окурками и пеплом. В комнате, пропитанной резким запахом дагги, висел, как туман, табачный дым, и достаточно было просто сделать несколько глубоких вдохов, чтобы закружилась голова, как от легкого опьянения.

Когда в дверь постучали, игроки, как лиса, почуявшая приближение охотника, подняли головы и глаза их быстро и настороженно устремились туда, откуда раздался стук. Мужчины за бильярдным столом прервали игру и, опершись на кии, закурили, нарочито небрежно пуская дым,—надо произвести впечатление людей, которым нечего бояться. В это время от стола, где шла игра в кости, отделился невысокий мужчина с оливковой кожей, в некогда белой рубашке и сером вязаном шерстяном жилете и направился к двери.

У него был круглый живот, торчавший из-под ремня вперед, как у беременной женщины, круглое плоское лицо и толстые серые губы с зажатой сигаретой в углу рта. Белая полоска сигареты, казалось, делила на две неравные части правую сторону его лица. Левую сторону пересекал проглядывавший из-под щетины и тянувшийся от виска до подбородка старый ножевой шрам. Можно было подумать, будто мясник начал разделять его лицо, как тушу, на части, да так и не закончил. У него был покатый лоб и небольшие круглые карие глаза—жесткие и решительные.

Он отодвинул задвижку, приоткрыл дверь и заглянул в просвет, но тут же отступил назад.

---

\* Снукер — вид бильярдной игры.

— Здравствуйте, мистер Раальт!—приветствовал он входящего в комнату констебля.

В комнате нависла тяжелая тишина, за которой присутствующие старались укрыться, как за непроницаемой броней. Раальт криво усмехнулся — неприятно, словно бритвой полоснул по лицу. Он взглянул на человека с оливковой кожей, закрывавшего дверь, и с издевкой спросил:

— Как бизнес, Чипс?

— Так себе, мистер Раальт, так себе, — ответил человек с оливковой кожей, опустив веки, словно заслонки, и продолжая держать во рту сигарету, подрагивающую при каждом слове.

— Вынь-ка сигарету изо рта, когда говоришь со мной,—сказал Раальт.

— О'кэй, мистер Раальт, о'кэй,—ответил Чипс и, вынув изо рта сигарету, бросил ее на пол и наступил на нее своим большим башмаком. Глаза его из-под опущенных век смотрели твердо и спокойно поблескивали, как шляпки патронных гильз с пистонами-зрачками, и на его толстых серых губах застыла усмешка. Он произнес, словно ни к кому не обращаясь: — Баас Раальт всегда изволит шутить. Всегда изволит шутить.

Раальт задержал на нем взгляд, поднял правую руку и тыльной стороной ладони наотмашь ударил человека с оливковой кожей по губам. Отчеканивая каждое слово, он проговорил:

— Ты не смеешь надо мной смеяться, молодчик. Я с тобой в детстве в лошадки не играл. Понял?

Человек с оливковой кожей не шелохнулся, только голова его чуть дернулась от удара и в уголке рта появилось светлое пятнышко крови. Остальные в напряженном молчании наблюдали за происходившим.

— Да, баас,—без тени смирения, с явной издевкой в голосе сказал Чипс, и Раальт ударил его снова, и теперь кровь потекла по подбородку тонкой кривой струйкой.

— Ты, верно, воображаешь себя важной персоной, шпана!—сказал Раальт.

Человек с оливковой кожей поднял свою толстенную руку, вытер рот, взглянул на ладонь, испачканную кровью, и неторопливо вытер ее о грязную штанину. Затем так же медленно и небрежно порывлся в заднем кармане брюк и вытащил полный кулак грязных смятых кредиток. Он отсчитал пять фунтов, положив остальные

обратно, тщательно их разгладил, сложил лицевой стороной вверх, затем аккуратно согнул их пополам и протянул Раальту.

Ни слова не говоря, Раальт взял их у него, сунул в верхний карман мундира и застегнул клапан, пристально глядя на притихших людей в серой от дыма комнате. Потом сказал:

— Ваше счастье, ублюдки, что это мой участок.—И, обращаясь к Чипсу, добавил:—А ты смотри у меня! Вздумаешь что-нибудь скрыть—плохо будет!

Тот не ответил, и Раальт спросил:

— Ты слышал, что я сказал?

— Да, баас, —чуть заметно улыбнулся Чипс, прищурив глаза цвета темной меди. Кровь в углу рта и на подбородке стала засыхать.

Он открыл дверь и пропустил Раальта, тот спустился вниз по цементным ступенькам и вышел на улицу. Оливковый человек снова закрыл дверь на задвижку. Он прошел мимо бильярда, возле которого двое мужчин, не глядя на него, снова стали натирать мелом кии, мимо четверки, возобновившей игру в карты, и направился к тому столу, где снова собралась компания и новый игрок бросал кости, приговаривая: «Ну же, крошка, ложись как надо! Ложись как надо!»

10

Майкл Эдонис лежал в темноте на железной койке и услышал, как кто-то дергает дверную ручку. Окно его комнаты выходило на улицу. Бледные отблески горевших внизу фонарей дрожали на высоких оконных стеклах, слабый свет пробивался сквозь темноту, и давно не стиранные занавески казались застывшими в воздухе призраками. Оклеенные обоями грязные стены были почти неразличимы в темноте, а потолок и вовсе невидим. Дверь задребезжала снова, и кто-то из коридора тихо окликнул его.

По телу забегали мурашки, словно его вдруг окунули в холодную воду. «Что за дьявол там стучит? Какого черта они не уходят? Я не сдвинулся с места... Это не имеет ко мне никакого отношения. Ведь я не хотел убивать этого старого идиота. Не хотел. Нет, это не полиция. Те бы стучали как сумасшедшие, а то и дверь бы высадили.

Но какого черта они не уходят? Почему они не оставят меня в покое? Я хочу, чтобы меня оставили в покое. К дьяволу их всех, и этого старика тоже. В конце концов, зачем ему жизнь?! Черт с ним и со всеми остальными! Может, пойти и все рассказать? Чушь собачья. Знаешь, что с тобой сделает полиция? У них ведь нет никакой жалости к нам, темнокожим. Они тебя повесят—уж это точно. Господи, нас уже давно всех повесили. Для чего им полиция? Чтобы душить нас. Ты думаешь, они станут тебя слушать? О Иисус! Этот старик ведь тоже был белый. И зачем только он поселился здесь, среди нас! Черт с ним! Я ведь не собирался его прикончить. Не хотел я этого. Ладно, парень. Он уже мертв, а ты жив. Ну и живи. Да, живи, чтобы тебе все время давали коленкой под зад, чтобы тебя лягали копытом в живот, пока тебя тоже не прикончат и не выбросят на свалку, как они выбросили тебя с работы. К черту их всех! Всю эту сволочь».

Дрожа всем телом, он начал шарить по карманам, отыскал сигареты и закурил. Пламя от спички осветило лицо с синими кругами под глазами, выхватило из темноты скулы. Дверь перестали дергать, и он услышал удаляющиеся по коридору шаги. Он затянулся и выпустил в темноту струйку дыма.

«Надо бы подыскать себе хорошую девочку,—думал он.—Жениться на ней и завести семью. Довольно я потаскался на своем веку. Может, попробовать с девчонкой, которую встретил на лестнице? На ней жениться? Чушь собачья! Уж если я возьму себе девочку, то хорошенькую, очень хорошенькую. С мягкими волосами и с кожей такой, чтобы чувствовать, какие у нее нежные щечки; и чтобы каждый вечер возвращаться домой, а там тебя ждет обед; чтобы по пятницам приносить ей получку, а она выделит тебе карманные деньги, и ты можешь сходить в кабачок пропустить пару стаканчиков, а еслихватишь лишнего, она о тебе позаботится. Смешно, ведь есть такие типы, что вечно жалуются—получку, вишь, приходится отдавать! Бог мой, да будь у меня жена, я бы отдавал ей все до последнего пенни без сожаления. Только, конечно, надо, чтобы моя жена была из тех славных девочек, что не очень-то пилят и всегда рады доставить мужу удовольствие, никогда ему ни в чем не отказывая...»

Он резко подскочил на кровати, услышав раздавший-

ся в коридоре женский вопль, и его обожгла мысль: «Господи! Они нашли этого старого ублюдка!» Женщина снова пронзительно вскрикнула, хлопнула дверь, закричал мужчина, потом захлопали еще двери, по лестнице и по коридору затопали ноги, и несколько человек заговорили сразу. В коридоре стоял шум, и мужской голос снова и снова повторял: «Что за чертовщина! Что за чертовщина! Что за чертовщина!»

Майкл медленно слез с кровати и потом вдруг решительно шагнул к двери, выронив изо рта сигарету, от нее во все стороны посыпались красные искры. Он хотел было выскочить из комнаты, но через минуту овладел собой и, держась за ручку, прильнул к двери и стал прислушиваться. Его бросило в жар, потом в холод, мысли в голове проносились с бешеной быстротой.

Там, в коридоре, собралось много людей, и шум голосов покрывал истерический крик женщины: «...старика. Я видела, кто это сделал! Я видела, кто это сделал! Этот головорез...» Мужской голос велел ей замолчать, и Майкл подумал: «Как она могла видеть? Ничего она не видела. Врет она. Мы были одни. Никого рядом не было. Как она могла меня увидеть? Врет она, проклятая шлюха! Врет она!»

Снова заговорил мужчина, и остальные притихли. До слуха Майкла доносились слова: «...лучше вызвать полицию... нет... «скорая помощь» уже ни к чему... ведь он уже мертв... полицию... зачем неприятности...» Кто-то еще что-то сказал, и мужчина повысил голос: «Господи, да ведь, если мы не сообщим, эта проклятая полиция весь дом возьмет под подозрение. Что я, полицию не знаю, что ли! Меня, слава богу, четыре раза в суд таскали».

Снова поднялся гам, и опять заговорил мужчина, в голосе его слышались горделивые нотки—ведь он знаком с правосудием. Опыт придавал его суждениям авторитетность. Потом опять загладели все сразу, шум голосов усилился, но в комнате, за дверью которой притаился в страхе Майкл Эдонис, теперь уже нельзя было разобрать слов. Через некоторое время шум начал затихать—словно отдаляющийся рокот моря, потом послышался топот ног, спускавшихся по лестнице, и наконец на верхнем этаже тенементы наступила мертвая тишина.

Майкл отпустил дверную ручку. Ладонь его была мокрой от пота. Хмель прошел, и сейчас в голове что-то беспрестанно стучало. С сильно бьющимся сердцем он

подошел к окну, став сбоку, и, приподняв край занавески, начал всматриваться в темноту. На улице, подернутой дымкой от света уличных фонарей, было тихо и спокойно. Вдоль серых тротуаров зияли черные пасти подъездов, и окна, в которых горел свет, были похожи на желтые бумажные прямоугольники, вклеенные в черный картон. Далеко впереди над крышами низких строений неоновые огни бледным светом окрашивали небо, и казалось, что над городом в неурочное время встает заря.

Потом Майкл увидел, как из подъезда тенементы на тротуар и мостовую выплеснулась толпа людей и с минуты кружилась, как в водовороте. Люди столпились вокруг мужчины без пиджака, в мешковатых серых фланелевых брюках. Свет падал на его макушку, делая лысину похожей на шрам. Мужчина размахивал голыми по локоть руками и что-то говорил. Толпа вокруг слушала молча, и лишь изредка кто-нибудь вставлял замечание. Тогда мужчина вскидывал руки и принимался опять жестикулировать, словно произносил речь. Так они спорили несколько минут, потом от толпы отделился другой мужчина, быстро зашагал по улице и вскоре скрылся в темноте.

Майкл, чувствуя себя уже совершенно трезвым, размышлял хладнокровно. «Если они позовут полицию, фараоны, чего доброго, перетаскают. Тогда мне лучше убраться отсюда. На кой шут мне нужно, чтобы меня допрашивали? Пошли они к черту! Ну что за народ! На что им сдалась эта проклятая полиция? Что она им когда хорошего сделала? Стоит кому-либо из них немного выпить и попасться на улице фараонам, те его так отделают, что мать родная не узнает. Господи, ну что за люди! Этот сукин сын, что разглагольствует там, внизу, много о себе понимает. Что ему надо, этому умнику? Какое ему дело до того старого пугала? Что тот для него сделал? К черту всю эту шваль! Так и норовят всадить тебе нож в спину».

Он еще некоторое время понаблюдав за толпой внизу, потом опустил занавеску и подошел к двери. Повернув ключ, он осторожно приоткрыл дверь. В коридоре было пусто. Дверь старика казалась голой и застывшей, как могильный камень. Майкл вышел из комнаты и тихо притворил за собой дверь. Осторожно ступая, он дошел до лестницы и посмотрел в пролет. Где-то все еще играло радио, и мягкие, сладкие, как сироп, звуки скрипок за-

полняли все вокруг. Он медленно стал спускаться вниз, все время прислушиваясь, пока не оказался на первом этаже, здесь он быстро повернул в другой конец коридора. Грязное окно выходило в глухой, запущенный переулочек и находилось над самой крышей примыкавшего к тенементу низкого строения — бывшей котельной. Майкл вылез через окно на крышу и оттуда спрыгнул в заваленный мусором и всяким хламом двор. Спотыкаясь о битый кирпич, куски дерева и скользкую от помоев и плесени рухлядь, он пробирался мимо мусорных ящиков и сваленных в кучу отбросов к выходу. Переулочек замыкала стена, так что волей-неволей Майкл должен был выйти на свою улицу, где собралась толпа. Люди стояли довольно далеко от угла и были заняты пересудами. Майкл, быстро выскочив из переулочка, круто повернул в противоположную сторону и зашагал прочь. На другой стороне улицы, наискосок от тенемента, стояли Фокси и двое его приятелей. Они видели, как Майкл Эдонис вынырнул из переулочка и исчез в темноте, и парень со шрамом на лице сказал:

— Никак это Майкл, а?

— Д-да...—уклончиво ответил Фокси и, обращаясь к парню с перстнем, сказал:—Сходи-ка посмотри, что там расшумелись эти дьяволы?

Парень с перстнем лениво отделился от компании и побрел к толпе, собравшейся перед тенементом. Парень со шрамом сказал:

— Куда, ей-богу, мог подеваться этот Сокис? Похоже, что мы так и проищем его весь этот проклятый вечер.

— Появится,—успокаивающе сказал Фокси, не глядя на него. Он смотрел в сторону толпы.—Интересно, что там стряслось?

11

Огромный лоскут облака, с трудом перевалив в темноте через Столовую гору, зацепился, словно ища опоры, о скалы; потом бриз, дувший с юго-востока, разорвал его в клочья, и облако бесследно исчезло. В тенементах измученные зноем и духотой люди, ощутив ветерок, проникавший сюда через щели в полу и разбитые стекла, начинали ворочаться в своих постелях. Те, кто не могли



уснуть, сидели у окон или в подъездах и посматривали в сторону горы, высившейся за крышами, жадно ловя каждое дуновение ветра и надеясь, что он задует наконец по сильнее. Бриз нес затхлые запахи из коридора в коридор, из комнаты в комнату, во все закоулки этого царства нищеты, пока бесчисленное множество запахов — застоявшейся воды, кухни, гниющих овощей, масла, рыбы, сырой штукатурки и сырого дерева, нестираных занавесок, людских тел, мочи, дешевых духов и ладана, пряностей и плохо вымытой посуды, домашних животных — не слилось в один, к которому принохивались и теперь едва различали ко всему привыкшие обитатели этого мира ужасающей тесноты и бедности.

Виллибой брел по узкой глухой улице Шестого района, держась, как всегда, в тени. «Плевать, я тут вовсе ни при чем, — со злостью подумал он. — Не могут же они сказать, что это я. Я ведь его нашел мертвым». Но он уже кое-что повидал в жизни. Он успел на собственном опыте узнать, что такое вероломство, предательство, что достаточно малейшего подозрения, чтобы подвергнуться преследованию. Этот опыт точно ржавчина разъел броню его доверия к людям и веры в справедливость и превратил его в существо бесприютное и неприкаянное. Он был ничем — бездомным, бродягой, жертвой той жестокой, мрачной жизни, в которой всегда находятся козлы отпущения, если вдруг нарушается ее привычное течение. И он пристрастился к тем средствам, которые, казалось, помогали сваривать швы на разъеденной броне и в которых он черпал свою удачу, необходимую, как ему казалось, в его стараниях вернуться к той битве, что была под силу лишь храбрецам. И сейчас он тоже жаждал прибегнуть к этому средству.

В переулке, середина которого была вымощена булыжником, а остальную часть занимали каменные ступеньки подъездов, расположился дом с высокой верандой, через которую можно было пройти на другую улицу. У входа на неосвещенную веранду на ветхом плетеном стульчике сидел привратник — дряхлый, похожий на тень старик.

Он увидел Виллибоя, неожиданно появившегося в лимонном свете уличного фонаря, узнал его, внутренне чуть расслабился, но внешне продолжал сохранять официальный вид — так он старался отмежеваться от мира парий, к которому они с Виллибоем принадлежали. Он

гордился своей должностью привратника в публичном доме — положение, в какой-то степени поднимавшее его над болотом, в которое втоптана зависимая, нищенствующая бедность.

— Здорово,—сказал Виллибой, поднявшись по каменным ступенькам, ведущим на веранду.

Старик промывал в ответ что-то неопределенное, так что трудно было понять, то ли он приветствует гостя, то ли велит убираться. Глаза у старика были тусклые и влажные — как зерна гравия в сточной канаве.

— Открыто?

— Да,—нехотя ответил старик.—Ждем матросов.

Он даже не шелохнулся, когда Виллибой шагнул вперед, к двери. Его дело было предупреждать о появлении опасности.

Он тут же вернулся к своим стариковским мыслям, а Виллибой вошел в дом.

На веранде и в передней было темно, но сквозь кружевные занавески в конце коридора из гостиной проникал свет. Пол был покрыт блестящим линолеумом с геометрическим орнаментом. Посредине находился низкий столик с большой глиняной вазой — в ней были яркие бумажные цветы на проволоке. У одной стены стояли большая новая радиолa и сервант, где за стеклом виднелись две вазы и чайный поднос с изображением королевской фамилии. Обои на стене были старые, но рисунок на них — какие-то похожие на капусту цветы и ленточки — еще не выгорел. У другой стены стоял диван, обитый парчой, и два таких же кресла по углам.

Не успел Виллибой войти в комнату, как со стороны кухни послышались шаги и в дверях появилась женщина: высокая, ширококостная, с суровыми чертами лица и маленькими темными глазками—два неярких пятнышка на коричневом песчанике. Волосы ее были небрежно схвачены в пучок на затылке, в ушах болтались огромные золотые серьги, а рот был кричаще намалеван яркой помадой. Силы ей было не занимать: руки длинные, ладони широкие. На толстых пальцах сверкали кольца.

Ее маленькие глазки подозрительно уставились на Виллибоя, и она резко спросила:

— Ну? Чего тебе нужно?

Виллибой заулыбался было, но под строгим взглядом потерял всю свою напускную храбрость и с робким глуповатым видом сказал:

— Здравствуйте, мисс Джипси. Мисс Джипси, я думал, может, вы отпустите мне немножко в кредит этого... Ну, вы знаете чего...

Он поднял руки и нарисовал ими в воздухе бутылку.

— Когда это кончится? — воскликнула мисс Джипси.—Видно, решили, что я только для того и существую, чтобы вас поить, лодыри несчастные? Вот нахлебники!

— Но я ведь уплачу, мисс Джипси! Провалиться мне на этом месте! Как только получу деньги, сразу уплачу.

— Как только получишь? Скажи лучше, как только снова кого-нибудь ограбишь.

— Ну, мисс Джипси, клянусь,—снова занял Виллибой.—Вы же знаете меня, а?

— Ладно уж,—сказала Джипси.—О'кэй. Но если ты не скоро уплатишь—смотри!

— Спасибо,—заулыбался Виллибой.—Спасибо, мисс Джипси. Вы настоящий друг!

Женщина ушла снова на кухню, а Виллибой присел на стул. Потом она возвратилась с бутылкой дешевого вина и поставила ее на сервант вместе со стаканом. Она сказала:

— И не рассиживайся тут весь вечер. Я жду гостей.

— О'кэй, мисс Джипси.—Виллибой откупорил бутылку и налил полный стакан. Он выпил его залпом и почувствовал, как крепленое, неразбавленное вино на мгновение обожгло желудок и горячей волной разлилось по всему телу. Слегка закружилась голова, но он тут же выпил второй стакан, и это ощущение сразу прошло.

Женщина больше не показывалась, и он пил в одиночестве, с наслаждением чувствуя, как вино опьяняет его.

Он выпил уже почти всю бутылку, когда на улице раздался шум подъезжающей машины, слышались громкий говор и смех. Потом открылась входная дверь и по коридору кто-то затопал. Раздвинулись занавески, и в комнату ввалились трое мужчин и три молодые женщины.

Двое мужчин—белолицые, а третий—очень смуглый, с иссиня-черными волосами, блестящими и волнистыми, и с тоненькими черными усиками. У одного из белых были рыжие, красиво вьющиеся волосы. Мужчины были одеты в щеголеватые пиджаки свободного покроя с широкими плечами и рубашки поло.

Одна из девушек сразу же подскочила к радиоле и

поставила пластинку. Смуглый моряк дожидался ее, а две другие девушки уселись на диване со своими спутниками.

Одна из них посмотрела на Виллибоя и спросила:

— Как жизнь, дружок?

— Ничего, Нэнси, ничего,—сказал он, улыбаясь в ответ.

Он не смотрел на мужчин и мрачно думал о том, что ей-то уж никак не следовало бы здесь находиться.

Кожа у нее была золотисто-коричневого цвета, и яркое платье оттеняло ее внешность, так что, взглянув на нее раз, хотелось смотреть на нее снова и снова, и тогда вы окончательно убеждались, что она прекрасна. Прекрасны были и ее темные глаза, и скорбные линии рта, и мягкие изгибы ее уже не девственного юного тела.

— Ты выглядишь сердитым,—сказала она Виллибою и, обращаясь к рыжеволосому моряку, пояснила:—Это мой старый приятель.

— Гм... ага,—произнес, ослабившись, моряк.

Потом в комнату выплыла Джипси и, улыбаясь, сказала:

— Хэлло, джентльмены. О, вы доставили моих девочек домой!

Моряки встали с дивана и пожали ей руку; смуглый моряк, который в это время танцевал с девушкой, остановился на минуту, чтобы сделать то же самое. Партнерша его сказала:

— Принеси нам бутылку бренди, Джипси.

— Сию минуту,—сказала Джипси. Она засмеялась и, обращаясь к мужчинам, добавила:—Будьте как дома, мальчики.

Музыка прекратилась, и черноволосый моряк, выпустив из объятий свою девушку, усадил ее в кресло и сказал что-то по-испански, та хихикнула, хотя ровным счетом ничего не поняла. Она устроилась поудобнее в кресле, а он присел на подлокотник, обняв ее одной рукой за шею. Виллибой угрюмо наблюдал за ними.

Джипси вернулась с бренди и наполнила стаканы, выстроив их в ряд на столике. Все чокнулись и выпили, и девушки, задохнувшись от крепкого вина, засмеялись. «Держу пари, она настаивает эту дрянь на табаке»,—подумал Виллибой.

— Ну а ты, кутила, не выпьешь с нами?—обратился к нему, ухмыляясь, рыжеволосый матрос.

Виллибой взглянул на него. Физиономия рыжего двинулась у него в глазах, и он почувствовал, что пьян.

— У меня есть свое, парень,—ответил он с достоинством.

Он потянулся к своей бутылке и налил себе. Руки его слегка дрожали.

— Тебе бы лучше подождать. Не спеши,—сказала Нэнси.

— Для меня это ерунда,—хриплым голосом возразил Виллибой. — Что я, по-твоему, баба?

— Эй, парень, здорово ты лакаешь эту дрянь,—покровительственным тоном сказал другой моряк, сидевший на диване.

Виллибой угрюмо посмотрел на него и спросил:

— Откуда ваша бражка? Из Штатов?

— Да, старик,—ответил моряк.—Вот это Рэд, а меня зовут Джордж. Рэд из Чикаго—есть такой городок. Полагаю, вы все слышали о Чикаго, а?

— Да,—сказал Виллибой.—Гангстеры.

— Правильно, парень. Это ты верно сказал. А я, я из Нижней Луизианы. Это на самом Юге.

— Южная Америка?

— Нет, парень. Это южная часть Северной Америки, понял?

Виллибой этого не понял и переключил свое внимание на того, который говорил по-испански:

— А он кто? Сесар Ромеро?

Говорящий по-испански моряк поднял голову и, нахмурившись, пронзил его взглядом, а Джордж засмеялся и сказал:

— Нет, это не Сесар Ромеро, это Рэй Ибарра. Он пуэрториканец, но родился в Нью-Йорке.

— Так он не американец?—спросил Виллибой, чувствуя себя сконфуженным.

— Конечно, американец, — сказала девушка, сидевшая рядом с Джорджем.—Не будь таким ослом.

Все засмеялись. Рэд привлек к себе девушку, которую звали Нэнси, а пуэрториканец из Нью-Йорка начал ласкать свою девушку, сидевшую в кресле. Все они выпили еще, и снова вошла Джипси. Мужчины улыбнулись ей, и Джордж сказал:

— Привет, крошка!

Она улыбнулась ему в ответ.

— Лучше с моими девочками будьте поласковее, вот что!

— Разумеется, мэм,—отозвался Рэд. Он улыбнулся Нэнси и погладил ее по голове.

Виллибой был пьян и зол, что над ним посмеялись, и сказал хозяйке:

— Послушайте, Джипси, почему вы разрешаете девочкам путаться с этими скотами? Они же иностранцы.

— Что? Ты что мелешь?—повернулась к нему Джипси.

— Эти молодчики портят наших девочек.

— А тебе что за дело? Какого черта тебе надо?

— Мне не нравится, что они портят наших девочек,— снова сказал Виллибой, уставившись на мужчин.— К черту их!

— Оставь его в покое, Джипси,—вмешалась Нэнси.

— Занимайся-ка своим делом,—оборвала ее Джипси, поворачиваясь снова к Виллибою. — Кто дал тебе право болтать о моих гостях?

— Гостях,—насмешливо улыбнулся Виллибой, глядя на матросов и чувствуя, как в нем закипает злость.—А кто им дал право путаться с нашими девочками?!

Моряки притихли и смотрели на него. Они не понимали, что говорит Виллибой—он говорил на африкаанс,—но чувствовали в его тоне враждебность.

— Видали!—вскипела Джипси.—Хватает же наглости! Прийти напиться в долг да еще оскорблять моих настоящих клиентов.

— Ладно, я за свое вино уплачу. А они пусть подавятся своим вонючим бренди. Я не желаю пить их вонючее бренди, не...

— Держись-ка потише, парень,—резко оборвала его Джипси.— Не то я тебя отсюда живо выставлю. Не умеешь вести себя в приличном обществе!

— Ладно, Джипси, ладно,—сказал Виллибой и взглянул на матросов.—Пожалуйста, пусть портят наших девочек!

— Успокойся, дружок,—ласково сказала Нэнси. — Все в порядке, мальчик. Только успокойся. Хочешь еще выпить?

— Нет,—сказал Виллибой.—Зачем ты путаешься с ними, Нэнси? Брось их!

— Он просто немного пьян,—сказала Нэнси Рэду.— Он ничего плохого не думает.

— Почему вы не вышвырнете вон этого грубияна? Это же мразь!—сказала девушка, которая была с пуэрториканцем.

— Заткнись!—бросил ей Виллибой.—Сама-то ты кто?

— Послушай, ты!—сказал пуэрториканец, взглянув на него.—Не смей так разговаривать с дамой!—Он поднялся и, глядя в упор на Виллибоя, направился к нему.

Матрос, которого звали Джордж, тоже встал и остановил пуэрториканца:

— Ну-ну, Рэй! Не стоит затевать драку, старина!

А Джипси сказала:

— Я не хочу неприятностей. У меня приличное заведение.

— Тогда велите ему проваливать отсюда, — бросил пуэрториканец. Вид у него был мрачный и угрожающий.

— Ну-ка, убирайся отсюда, — приказала Виллибою Джипси.—Ты пьян и скандалишь.

Пропустив мимо ушей ее слова, Виллибой устоял на моряка. Он был пьян и лез на рожон.

— Иди, иди, Виллибой,—сказала Нэнси.—Приходи завтра утром.

— Этот молодчик не имеет права так со мной разговаривать,—проворчал Виллибой, продолжая сверлить взглядом матроса.

— Уходи-ка лучше, малый,—сказал ему пуэрториканец.

Внезапно Виллибой бросился на него, и тот невольно отступил, но Джипси обхватила Виллибоя за плечи прежде, чем он успел что-либо сделать. Виллибой вырывался, но Джипси была женщиной сильной и крепко держала его. Девушки завизжали, и двое других матросов, вскочив с дивана, угрожающе двинулись на Виллибоя. Он пришел в бешенство и отшвырнул от себя Джипси с такой силой, что она ударилась прямо о столик и опрокинула его; недопитая бутылка и стаканы со звоном полетели на пол.

— Сволочи, убью!—закричал Виллибой, хватаясь за карман пиджака.

— Берегитесь, у него нож!—воскликнула Джипси, и все увидели острый кухонный нож, зажатый в его руке.

— Виллибой! Не надо, дружок!—выкрикнула Нэнси.

Моряк по имени Джордж отскочил в сторону, схватил валявшуюся на полу бутылку из-под бренди и швырнул ее в Виллибоя. Он тоже был пьян, рука его дрожала.

ла, бутылка пролетела над головой Виллибоя и разбилась о стену, оставив пятно на обоях. Виллибой кинулся на него с ножом, но наткнулся на опрокинутый столик и чуть не упал, а в это время Джипси, как заправский боксер, ловко нанесла ему удар в ухо. Он рухнул лицом прямо на столик, выронил нож и застонал. Пуэрториканец шагнул вперед, намереваясь ударить его ногой, но Джипси резко сказала:

— Не смейте! Оставьте его!

Пуэрториканец отошел назад, выругавшись по-испански.

В это время хлопнула входная дверь, в коридоре слышались торопливые шаги и голос старика привратника:

— Что такое? Что случилось?

Он вбежал в комнату и остановился, в испуге раскрыв рот и выпучив глаза.

Джипси взглянула на него и ехидно сказала:

— Ну и чертовски же быстро ты являешься! Молодчина, нечего сказать!

Старик посмотрел на Виллибоя, валявшегося на полу возле поломанного столика и осколков разбитых стаканов, и спросил:

— Что он натворил, Джипси?

— Разбуянился и стал с ножом на гостей кидаться. Надо его выкинуть отсюда.

— Только осторожно, а то ему больно, — сказала Нэнси.

— Смотрите-ка! Заботится о нем, словно это ее муж! — съязвила Джипси.

— Я давно его знаю. Он всегда такой милый!

Рэд обнял ее и сказал:

— Не надо волноваться, крошка.

Старик просунул руки Виллибою под мышки, выволок его из комнаты и потащил по коридору к выходу. Каблуки Виллибоя противно скрипели, царапая линолеум. Джипси нагнулась, подняла с пола нож и положила его на сервант.

— Попадет он когда-нибудь в беду с этим ножом, — сказала она. — А теперь, девочки, уберите-ка здесь. Эти проклятые сколли\* всегда причиняют неприятности различным людям!

---

\* Сколли — хулиганы (англ. жаргон).



— Поставьте пластинку,—сказала одна из девушек, Джордж засмеялся:

— От этой славной потасовки мне захотелось выпить. Что, если вас побеспокоить насчет новой бутылочки, мэм?

— Пожалуйста,—ответила Джипси.—Это будет стоить еще двадцать пять шиллингов.

На веранде старик тяжело опустил Виллибой на пол. Он запыхался оттого, что тащил обмякшего парня по коридору, и сердито проворчал:

— Чертова работа. Будь она проклята!

В гостиной снова заиграла радиолка. Виллибой стал понемногу приходить в себя, он приподнялся и сел, потирая распухшее ухо. Щурясь, он взглянул на привратника и сердито спросил:

— Это ты меня стукнул, гад?

— Это, должно быть, хозяйка тебе поднесла. Она бьет не хуже, чем лошадь лягает. Славный у нее удар! Я раз видел, как она одному матросу все передние зубы вышибла. Так что проваливай-ка лучше отсюда, парень.

Виллибой с минуту молча смотрел на него, затем вдруг перекатился к краю веранды, и его вырвало прямо на тротуар. Он лежал там еще немного, часто и тяжело дыша. Потом поднялся, пошатываясь, спустился по ступенькам и, нетвердо ступая, побрел по окутанной мраком улице.

12

Водитель первым увидел толпу:

— Что там происходит?

Его слова вывели Раальта из оцепенения.

Потом водитель слегка нажал на акселератор, и машина медленно подкатила к толпе.

Раальт, которого все это время одолевали мрачные мысли о жене, при виде толпы почувствовал некоторое облегчение: это отвлечет его немного. Не успел фургон остановиться, как он стоял уже на подножке, его холодные серые глаза скользили по толпе, переходя с одного лица на другое, словно линзы фотокамеры.

Люди столпились у входа в тенement, чуть поодаль на тротуаре и прямо на мостовой. Когда подъехала машина, стоявшие на мостовой отпрянули назад, к краю

тротуара. При появлении представителей власти на лицах отразилась покорность, все боязливо потупились. Несколько человек незаметно скользнули в тень, подальше от света уличного фонаря — у них, видно, не было особого желания вступать в контакт с людьми, чьи пистолеты на боку казались придатками тела, лица — отлитыми из металла, а сердце и внутренности — не более как электронным устройством, управляющим роботами.

— Эй вы, что случилось? — расколол тишину голос Раальта.

Толпа задвигалась, заволновалась — точно рябь пошла по озеру. Еще мгновение — и она расступилась, вперед вышел тучный, обрюзгший мужчина.

— Ну, чего испугались? — громко сказал он, оборачиваясь к толпе. — Языки присохли? Не можете толком ответить? — Он посмотрел на Раальта и заискивающе улыбнулся. — Там, наверху, мертвый. Похоже на убийство, баас.

Констебль Раальт пристально посмотрел на него и сказал:

— Что за черт! А ты, молодчик, откуда знаешь, что похоже и что не похоже на убийство?

Грузный мужчина снова подобострастно улыбнулся и, переминаясь с ноги на ногу, ответил:

— Мне кажется, я видел, кто это сделал, констебль.

— Ого! Видел? А как твое имя, приятель?

— Джон Абрахамс, баас.

Кто-то в толпе выкрикнул:

— Эй ты, пятая колонна! — И серые стеклянные глаза Раальта опять скользнули по толпе, останавливаясь на каждом лице.

Толпа снова задвигалась и загудела, все смотрели теперь в сторону Абрахамса. Чувствуя на себе враждебные взгляды, он глупо и виновато заулыбался и, повернувшись к толпе, сказал:

— Должны же мы помогать закону, а?

— Конечно, — отозвался какой-то человек, глядя на него и не обращая внимания на полицейских, — мы должны ему помогать. Как он помог Нуртджи.

— При чем тут Нуртджи? — нахмурился Абрахамс.

— Сам знаешь при чем. За то, что человек малость выпил, его схватили, посадили в каталажку и целую ночь чертей из него выколачивали. Ни одного зуба во

рту не оставили. А когда притащили в суд, заявили, что, мол, сопротивлялся при аресте, и суд ему за это еще припаял. Так что давай, приятель, помогай им!

— Ну а кто ему велел напиваться?—отмахнулся Абрахамс и, повернувшись к констеблю Раальту, сказал:— Не слушайте их, баас. Я верю в закон и порядок.

— О-о!—чуть насмешливо протянул Раальт, улыбаясь.—Ты веришь в закон и порядок? Это очень хорошо, приятель.—Он посмотрел на водителя и сказал: — Он верит в закон и порядок!—И снова Абрахамсу:—Тэ-экс, посмотрим, как ты веришь в закон и порядок. Давай рассказывай!

Абрахамс взглянул на свои башмаки, переступил с ноги на ногу и, расплывшись в улыбке, начал:

— Значит, так, баас. Стою я, значит, здесь в подъезде с бычком в зубах, то есть с окурком, а тут в дом идет этот мошенник, и я прошу у него огня, и он дал мне спичку и потом потопал наверх, а я все тут стою, все это время, а потом я услышал женский крик, и тут вниз по лестнице несется этот бандюга и чуть не сбивает меня с ног, и потом я увидел, как он сломя голову удирает по улице.—Он сделал паузу, чтобы перевести дух, и затем продолжал:—Дальше, значит, я иду наверх, и все эти люди—они здесь живут—тоже идут наверх, и там мы видим этого мертвого старика.—Закончив, Абрахамс с какой-то жалкой и комичной гордостью обвел глазами толпу: люди отвернулись, и он, словно желая стряхнуть с себя их враждебность, передернул плечами и снова обратился к констеблю Раальту:—Видите, баас, что за народ? Ну и ну!

Констебль Раальт не выразил готовности вступить с ним в обсуждение этого вопроса и, не поворачивая головы, сказал водителю:—Надо пойти взглянуть. Ты пойдешь с нами,—приказал он Абрахамсу.—Остальные могут проваливать отсюда к чертям!

Расталкивая толпу, констебль направился к входу в тенемент, за ним—водитель, замыкал шествие Абрахамс. Толпа снова сомкнулась, некоторые отважились последовать за полицейскими и Абрахамсом, бормоча, что, уж во всяком-то случае, они тут живут.

«Пусть бы они здесь все перебили друг друга, лишь бы это произошло не в мое дежурство. Паршивая история»,—с отвращением думал водитель полицейского фургона, поднимаясь по грязной, вонючей лестнице на

самый верхний этаж и посылая в душе всех их, включая и Раальта, к черту. Однако он был рад, что сейчас с ним Раальт, так как сам он новичок в полиции и совсем недавно работает в этом районе, а население здесь не очень-то считалось с авторитетом властей. Он был не уверен, что сумел бы сам разобраться в деле, которое и впрямь походило на убийство.

Они добрались до верхнего этажа, и водителю показалось, будто он попал в какую-то зловонную яму, его чуть не стошнило. Он услышал, как Раальт зарычал на увязавшихся за ними людей; кто-то ухитрился даже проскочить вперед и жестами указывал на дверь. Горевшая вполнакала тусклая лампочка светила так слабо, что тени людей казались какими-то пятнами.

Водитель вошел в комнату вслед за Раальтом, люди сзади попытались протиснуться за ними, но он обернулся и раздраженно крикнул:

— А ну-ка вон отсюда! Держитесь подальше!

Вонь ударила в нос, и он взглянул на синеватое мертвое лицо старика на кровати.

— О Иисус!—вырвалось у него.

Раальт подошел к кровати и заглянул в лицо мертвеца, изучая его, но не прикасаясь. Ему впервые приходилось рассматривать труп таким образом, но он хотел произвести на водителя впечатление опытного полицейского волка. Вместе с тем вид трупа вызывал в нем гадливое чувство. Выпрямившись, он буркнул водителю:

— Похоже, что его ударили по голове.

— Это работа для детективов,—сказал водитель, с отвращением оглядывая комнату.—Я свяжусь с участком.

— Чего ты торопишься, приятель? — спросил констебль Раальт.—Мы ведь тут патрулируем, не так ли?

— Так, конечно, только этот случай для ребят из розыска, — ответил водитель, не глядя на него.

Раальт сказал:

— Ни один убийца на моем участке не скроется от меня! Ни один!

Глядя снова на труп, водитель сказал:

— Белый ведь. Зачем понадобилось белому жить в таком месте?—Он отвернулся от мертвеца и снова обвел глазами комнату, морща нос от запаха спирта и гнили.

Раальт ничего не ответил. Расстегнув клапан кармана, он вытащил записную книжку. Потом взглянул на

свои ручные часы и начал что-то записывать. Водитель нетерпеливо проговорил:

— Лучше я пойду и дам радиogramму в участок.

Констебль оторвал от книжки свои стеклянные глаза, несколько секунд молча смотрел на него и потом, усмехаясь, сказал:

— Очень хорошо. Валяй к своему милому передатчику и радируй, чтобы они прислали детективов. Заодно передай им мой привет и наилучшие пожелания. И поздравления с рождеством.

Водитель быстро взглянул на него, покачал головой и вышел. Констебль Раальт принялся снова что-то записывать. Из головы у него не выходила мысль: «Интересно, что она сейчас делает, эта проклятая шлюха? Я ей голову оторву, если только поймаю на чем-нибудь». Раальт кончил писать и направился к двери. Он уже притерпелся к запаху кислятины и гнили в комнате, и теперь он был для него не хуже, чем прокуренный воздух или запах дезинфекции в помещении полицейского участка.

Люди, столпившиеся в коридоре возле лестничной площадки, пристально следили за констеблем: одни с беспокойством, другие—со скрытой дерзостью во взгляде; у всех у них были усталые, изможденные, огрубевшие лица. Они увидели вперившиеся в них жесткие и холодные, как металл, свинцово-серые глаза под рыжеватыми бровями.

— Ну-с, — строго проговорил полицейский,—так где та женщина, которая якобы кричала?

Люди, стоявшие в коридоре и на лестничной площадке, молча смотрели в сторону, и констебль Раальт подумал: «Не любят нас эти ублюдки; они никогда не любили и едва терпят нас здесь. Держу пари, кое-кто из этих вот с удовольствием всадил бы в меня нож».

— Ну чего уставились?—насмешливо улыбнулся он.— Кричала она или не кричала?

Джон Абрахамс издал короткий смешок.

— От них вы слова не добьетесь, баас. Вы ведь знаете, в чем тут загвоздка.

— Нет, я не знаю, в чем тут загвоздка. Ты мне скажи, в чем тут дело.

— Но, баас...

— Ладно, ладно, приятель. Кстати, как зовут-то тебя?

— Джон Абрахамс, констебль. Я уже говорил баасу. Раальт записал себе в книжку его фамилию и адрес.

— А как фамилия того? — спросил он, кивком головы указывая на комнату, где лежал мертвец.

— Мистер Дафти, — ответил Абрахамс.

— Дафти? Что это за имя такое? Как оно пишется?

— Не знаю, баас, — ответил Абрахамс. — Знаю только, что мы звали его мистер Дафти.

— Дафти, — повторил Раальт. — Ну и имечко! У этого чертова народца всегда какие-то дурацкие имена. — Но тут он вспомнил, что покойник не цветной, а белый, и спросил: — Что он тут делал, как он попал сюда?

— Он долго здесь прожил, — отвечал Абрахамс. — Он получал пенсию, а раньше был на войне. Я сам слышал, как он про войну рассказывал. — И, усмехнувшись, добавил: — И еще пил он как дьявол.

Раальт уставился на него, и Абрахамс, опустив глаза, стал смотреть себе под ноги.

— Та-ак, — произнес Раальт, после того как записал имя старика в свою записную книжку, не особенно заботясь об орфографии. — Скажи-ка мне теперь, как выглядел тот парень, что пробежал мимо тебя?

Но прежде чем Абрахамс успел ответить, из толпы раздался голос Фрэнка Лоренцо:

— Ты уже достаточно сказал, Джонни.

Констебль Раальт поднял голову и взглянул на Фрэнка Лоренцо, серые глаза его смотрели мрачно и сурово.

— Послушай, ты, — заговорил он, отчеканивая каждое слово. — Тебе, видно, поговорить захотелось? Мало ты наболтал там внизу, на улице? Хочешь, чтобы я тебя арестовал за запугивание свидетеля и попытку оказать противодействие правосудию?

Фрэнк Лоренцо не совсем понял смысл этих громких слов, но почувствовал в них угрозу. Однако он не отвел глаз от смотревшего на него в упор констебля, пока жена не дернула его за рукав и не стала умолять:

— Фрэнки, ну, пожалуйста, не впутывайся ты в беду! Вспомни... вспомни...

— Ладно, — угрюмо произнес Фрэнк Лоренцо. — Ладно. — Он встретился взглядом с Абрахамсом и отвел глаза в сторону.

— Мерзавец! — бросил ему констебль Раальт и сно-

ва повернулся к Абрахамсу: — Ну, давай рассказывай дальше.

— Видите ли, баас... — заколебался Абрахамс, чувствуя себя как-то беспокойно и неуверенно. — Дело в том, баас, что я... я его плохо разглядел.

— Вот как? — с металлом в голосе произнес констебль. — Значит, ты его плохо разглядел? А кого же ты хорошо разглядел?

— Это, баас, был совсем еще юный парнишка. Один из тех молодых шалопаев, что вечно торчат на перекрестках. Я не могу точно сказать...

Неодобрительные и враждебные взгляды стоявших вокруг людей оказали свое действие, и скоро от напускной храбрости Абрахамса не осталось и следа. Он потоптался на месте, поглядел себе под ноги и потрогал пальцем нижнюю губу, пытаясь хоть кое-что сохранить от сознания собственной важности, которая стремительно пропадала на глазах.

— Слушай, ты! — сказал ему Раальт. — Одно из двух: либо ты сейчас все выложишь, либо явишься в суд и там все расскажешь судье. Понял? Так что выбирай!

Джон Абрахамс совсем пал духом и, не заботясь больше ни об отношении к себе соседей, ни о поддержании своего достоинства, быстро заговорил:

— Это был еще совсем молодой парнишка. В желтой рубашке и спортивном пиджаке, и у него были курчавые волосы. Это все, что я видел, баас, клянусь богом! Это все. — Он беспомощно посмотрел вокруг себя и выкрикнул: — Должен же я был рассказать, что видел, ну?

Толпа хранила молчание, и констебль Раальт, записывавший его показания, снова подумал: «Они нас ненавидят. Да черт с ними! Мне на них наплевать! Во всяком случае, ни один готтентот не уйдет от меня безнаказанно. Чтобы в мое дежурство скрылся убийца — шалишь! Желтая рубашка и волосы как у пуделя? Типичный готтентот. И я отыщу его, даже если для этого мне придется переловить всех черных ублюдков в желтых рубашках».

Глаза его сузились, и он сказал с яростью:

— Ол райт, Абрахамс! Останешься здесь ждать детективов. Все остальные могут убираться к чертям!

— Позвольте и мне уйти, баас, — жалобным тоном произнес Абрахамс.

— Тьфу ты, господи! Я ведь сказал — останешься

ждать детективов! — прикрикнул на него констебль. А про себя подумал: «Детективы! Что я, без них не справился бы? Привязался ко мне этот мальчишка со своими детективами!»

Он вперил глаза, похожие на кусочки серого металла, в толпу, и она стала убывать, медленной тонкой стружкой стекая по лестнице вниз. Фрэнк Лоренцо еще раз взглянул на Абрахамса и сплюнул на пол. Потом повернулся и пошел по коридору, жена — за ним. Раальт сунул свою записную книжку обратно в карман и пристегнул клапан. Он должен был дожждаться прибытия детективов. И снова тяжелые думы о жене захлестнули его.

## 13

Майкл Эдонис вошел в маленькое индийское кафе и увидел Джо; тот сидел за столиком, накрытым дешевой скатеркой, и что-то ел.

Кафе привлекло внимание Майкла сразу же, как только он попал в этот тихий, унылый переулочек с обшарпанными, потрескавшимися стенами домов и разбитым тротуаром. Майкл уже около часа бродил по улицам, и ему захотелось присесть где-нибудь отдохнуть. Завидев тусклый свет в кафе, где за грязным стеклом на витрине высились горки шариков кэрри\* и индийских глазированных фруктов, он направился к нему, точно сбившийся с курса корабль, заметивший землю после долгого и безнадёжного плавания по океану. Раздвинув редкие бамбуковые шторы, он увидел сидевшего за столом Джо. За стеклянной буфетной стойкой, набитой засохшими булочками, дремал старый бородатый индеец с полуоткрытым ртом, выпачканным бетелем, борода его дергалась при каждом вздохе. Больше в кафе никого не было.

Джо взглянул на Майкла и улыбнулся. Он ел кэрри, ловко набирая и отправляя еду в рот кончиками сложенных щепоткой пальцев. Крошки падали на его старый, изодранный плащ, и на нем появлялись все новые и новые масляные пятна.

— О! Майки! Что-то ты поздновато, — сказал Джо.

---

\* Кэрри — индийское блюдо из риса с пряностями.



Майкл Эдонис сел напротив и, хмурясь, ответил:

— Да и ты не рано. Слушай, а где ты, черт возьми, живешь?

Джо пожал плечами и, улыбаясь, неопределенно махнул рукой. Под ногтями у него была грязь, и от него пахло рыбой.

— Где придется, — ответил он. Потом с той же улыбкой, но уже несколько застенчиво добавил: — Я взял себе кэрри на шиллинг, что ты дал мне. Старый Мавр берет по шиллингу за порцию. Хочешь?

— Я уже ужинал, — сказал Майкл и закурил. Курил он молча, насупившись.

— А что ты бродишь по улицам, Майки? У тебя что-то болезненный вид.

— Я не болен. У меня неприятности.

Только теперь старик индеец проснулся. Он подошел к столу и, вытирая руки о грязный, засаленный фар-тук, спросил:

— Поесть хочешь?

— Нет, — сказал Майкл. — Принеси кофе.

— Кофе нет. Чай.

— Давай чай.

Старик подошел к кухонному окошечку в задней стене и что-то сказал.

Майкл снова вытащил сигареты. Он посмотрел на Джо. Тот набил полный рот и зачавкал, по углам рта стекал желтый соус.

— У всех у нас бывают неприятности, — философски заметил он. — Правда ведь?

— У тебя? Неприятности? — сказал Майкл, насмешливо глядя на него. — Какие у тебя неприятности?!

Неожиданно он почувствовал какую-то странную гордость от того, что с ним случилось. У него было ощущение, будто он единственный человек, когда-либо совершивший убийство, и ему казалось, что все люди должны смотреть на него, как на какую-то диковинку. Ему безумно хотелось, чтобы его стали расспрашивать: как это произошло, что он при этом чувствовал, что толкнуло его лишить человека жизни. Но открыть свою тайну было опасно. Ее нужно было либо навсегда схоронить в себе, либо согласиться понести наказание. Вопрос о том, справедлив или несправедлив был его поступок, для него сейчас не существовал. Важно было то, что он совершил нечто такое, что возвышало его над другими, он чувст-

вовал себя как нищий, который вчера еще просил милостыню, а сегодня вдруг оказался наследником крупного состояния. И то, что он не мог во всеуслышание заявить о своем только что приобретенном новом статусе, настолько раздражало его, что он даже почувствовал зависть к этому чудаковатому парню, который при желании мог открыто говорить о своих делах.

— Какие, к черту, у тебя неприятности! — грубо отрезал Майкл.

В это время бамбуковые шторы раздвинулись и в кафе вошел Фокси и двое парней в своих щеголеватых тропических костюмах. Увидев Майкла и Джо, они подошли к их столику, с презрением взглянули на оборванного парня, но тут же позабыли про него, и, обратившись к Майклу, Фокси сказал:

— Мы все еще ищем этого ублюдка Сокиса. Не попадался он тебе?

— Нет, приятель, — ответил Майкл.

Парень со шрамом сплюнул на пол и сказал:

— Весь вечер гоняемся за этой собакой. Надо бы найти кого-нибудь другого постоять на стрёме.

— Хочешь обтяпать одно дельце? — спросил Фокси.

— Какое?

— Да плюнь ты на него, — вмешался парень с перстнем.

— Нам нужен человек — поддержать свечку, пока мы будем работать, — ответил Фокси, пропустив мимо ушей замечание парня с перстнем. — Подзаработаешь малость.

— А ну его к чертям, кто он такой? — спросил тот же парень, презрительно глядя на Майкла Эдониса.

«Интересно, сколько человек ты отправил на тот свет?» — с чувством извращенной гордости подумал Майкл и, пристально глядя на парня с перстнем, ухмыльнувшись, спросил:

— А что ты обо мне знаешь?

В разговор вмешался парень со шрамом:

— Это, видно, парень свой.

— Ну так как, Майки? Пойдешь с нами? — спросил Фокси.

Майкл снова взглянул на парня с перстнем и спросил:

— А как этот?

— Ничего, — улыбаясь, ответил Фокси. — Он просто немного упрям, и только. А так он неплохой парень.

— Что ж, — соображал Майкл, потирая щетину на подбородке, — что ж, может быть. Я еще не знаю. Подумаю.

Он почувствовал радость — Фокси доверяет ему, но он все еще колебался.

Фокси пожал плечами:

— Мы идем сейчас в клуб. Больше мы не будем гоняться за этим Сокисом. Ну его в болото. Так что мы будем в клубе. Приходи туда, если надумаешь. Ты ведь остался без работы. А с нами сможешь раздобыть немного монет. А потом, может, и совсем пристанешь к нам. — И, повернувшись к своим спутникам, он добавил: — Я знаю Майки давно. Он парень что надо, ребята.

Старый индеец вернулся с чашкой чаю, которую заказал Майкл, и поставил ее на стол. Чай выплеснулся на блюдце. Жуя бетель, старик посмотрел на вновь пришедших парней.

Парень со шрамом на лице обернулся к нему и сказал:

— О'кэй, баас. Мы сейчас уходим. Нам ничего не нужно. — Затем он снова посмотрел на Майкла. Когда старик ушел, он сказал: — Мы видели легавых возле твоего дома. Они вошли внутрь. Там, говорят, какого-то бродягу пришили или что-то в этом роде.

— А еще мы видели, как ты высочил из переулка, — сказал парень с перстнем, злорадно ухмыляясь.

Майкл поднял на него глаза и вдруг почувствовал, что он в ловушке. Вот сейчас бы заявить им о своем превосходстве над ними, с их мелкими делишками. Но смешанное чувство страха и осторожности брало верх и заставляло держать рот на замке. Ему не нравился этот парень с перстнем, и ему хотелось сказать этому пижону, что он, Майкл, — зверь теперь покрупнее его, но вместо этого он улыбнулся, глядя в его порочные глаза, и сказал:

— Ну а дальше что? Какое это имеет отношение к тому вонючему делу?

Фокси протянул руку и похлопал Майкла по плечу:

— Майки — порядочный парень. Не то что вы, шпана! Он школу кончил. Верно ведь, Майки?.. Ну, потопали, ребята, — позвал он своих спутников.

Они направились к выходу. У дверей Фокси остановился и, обернувшись к Майклу, с улыбкой сказал:

— Будь спокоен, Майки. С нами не пропадешь. А на полицию нам... Так приходи.

Он помахал рукой и скрылся за бамбуковыми шторами.

Джо покончил со своим ужином и, взглянув на Майкла, спросил:

— О чем они говорили, Майки? Что за ерунду несли насчет полиции возле твоего дома?

— Не знаю, — ответил Майкл, он разозлился. — Откуда, черт побери, мне знать. Я ведь сказал им, ты что, глухой?

— Послушай, Майки, — сказал Джо очень серьезно и в то же время с какой-то неловкостью. — Послушай, может, у тебя большие неприятности? Побольше моих? Я уже тебе говорил: у всех у нас свои неприятности. Но эти джоны не помогут тебе выпутаться из них. Они сами по уши увязли. Ты только добавишь себе еще кучу неприятностей. Не знаю, как бы тебе объяснить, но, если ты пойдешь с ними, ты снова попадешь в беду. Как и эти бродяги. Они, может, тоже сначала попали в небольшую беду и выпутались из нее. Только как? Нажив себе новую. И так без конца: чтобы уйти от одной неприятности, наживают себе новую, а неприятностей все прибавляется и прибавляется. Ч-черт, не знаю я, как это...

Ему стало грустно оттого, что он не может как следует выразить свою мысль.

Майкл нахмурился и спросил:

— Откуда ты-то все знаешь? У тебя-то какие неприятности?

Джо устался в тарелку, она блестела, точно вымытая — так чисто, все до последней крошки он с нее подбрал, — и сказал смущенно:

— Не знаю. Нет у меня ничего и никого. Ни дома, ни семьи, ни пристанища. Может быть, это и есть неприятности? Или это не то?

— А где же твоя семья? — спросил Майкл и отхлебнул чай, который успел уже остыть.

— Я и сам не знаю где. Когда-то мы жили на Принц-Лэйн, давно-давно. Я, ма, мой отец, и моя сестренка Мэри, и мои маленькие братишки Исаак и Мэтти. Но однажды отец ушел из дому и больше не возвращался. Просто вышел однажды утром из дому, и больше мы его никогда не видели.

— На кой черт он сделал это?— спросил Майкл.— Почему он так поступил?

— Не знаю. Он никогда нам ничего не говорил. Просто вышел тем утром из дому, и больше мы его уже не видели.

Покачив головой и насупившись, Джо уставился в тарелку. Потом сказал:

— Не знаю. Может быть, у него тоже были неприятности: он не мог найти никакой работы. Он долго был без работы, и мы часто сидели голодные. Мы с братишкой Мэтти стали по утрам ходить по домам и выпрашивать под дверями корку черствого хлеба. Иногда добрые люди давали нам остатки своего ужина. Но на всех нас этого никогда не хватало. Ма никогда не притрагивалась к еде, а все делила между нами, детьми. А тут мы еще задолжали за квартиру, и скоро ма получила письмо, что мы должны съехать. Владелец слал письмо за письмом, приказывая нам убираться из дому, а потом какие-то ублюдки пришли с бумагой прямо к нам в дом, и выбросили все наши пожитки на тротуар, и закрыли дверь на замок, и сказали: если мы опять заберемся в дом, нас всех посадят за решетку.

Джо больше не казался беззаботным. Он как-то сразу постарел и посерьезнел.

— Ма села прямо на тротуар возле нашего скарба и заплакала. Долго сидела она так и плакала. Потом сказала: «Ну, малыши, придется нам вернуться в деревню и остаться там с бабушкой». В общем, продала она всю нашу рухлядь торговцу старой мебелью, а потом они уехали.

— Они?— переспросил Майкл.— Ну а ты?

— Я? Я не поехал. Я сбежал, как только услышал, что они собрались в дорогу. Просто взял и сбежал, как мой отец.— Джо поднял глаза на Майкла и продолжал: — Я с самого начала не собирался туда ехать. В деревню. Что туда ехать, что сбежать — одно и то же. Какой смысл туда ехать? Зачем? Чтобы опять пришли какие-нибудь ублюдки с бумагой и велели убираться к чертям, потому что у тебя нечем уплатить за аренду; и чтобы лавочник тебе сказал: или уплати, или ты больше ничего не получишь? И опять сиди голодный, и опять переезжай куда-нибудь, где все начнется сначала? Нет, друг, — снова покачал головой Джо. — Это не дело. Я решил: лучше уж остаться и голодать здесь на одном

месте. Здесь нет-нет да и раздобудешь чего-нибудь заморить червячка. Да, мой отец — тот вот сбежал. А мне не очень-то хотелось бежать...

Майкл внимательно посмотрел на него. Он чувствовал какую-то неловкость в присутствии этого парня. Он никогда раньше не слышал, чтобы Джо говорил так много и так серьезно, как сейчас, и ему очень хотелось знать, правда ли все это или парень морочит ему голову. Он взял со стола чашку. Чай совсем остыл.

— Хочешь чая? — смущенно спросил он Джо.

— Нет, спасибо, друг. Я сыт.

Майкл поставил чашку и вытащил сигареты. Он сунул пачку Джо и грубовато сказал:

— На, покури.

Джо покачал головой, мягко и застенчиво улыбнувшись.

— Нет, спасибо, — сказал он. — Я, знаешь, не курю. — Потом, снова посерьезнев, сказал: — Ты не должен идти с этими гангстерами, Майки. Брось их, этих гангстеров.

— Тебе-то что? — спросил Майкл со смешанным чувством злости и смущения. — Тебе-то что?

— Ничего, я так. Плохие они ребята.

— А, ч-черт! — выругался Майкл и поднялся. Он подошел к стойке, за которой дремал старый индеец, и достал деньги. Он почувствовал на себе взгляд этого оборванного парня и, уплатив за чай, не оборачиваясь, вышел из кафе.

Над городом раскинулась ночь — точно притаился гигантский зверь. Желтоватый туман, поднимавшийся от уличных фонарей, легкой дымкой застилал брюхо этого зверя, но не мог подняться еще выше, чтобы поглотить всю его усеянную звездами красновато-фиолетовую шкуру. Город внизу был похож на пестрое одеяло, сшитое из красных, серых и белых лоскутов, с грубыми черными швами — в тех местах, где темнота соединяла между собой разноцветные куски. Вдоль набережной высились и причудливо переплетались длинные силуэты мачт, рангоутов и кранов, напоминая скелеты каких-то доисторических животных.

Виллибой шел по улице; по одну сторону тянулась огромная глухая стена пакгауза, а по другую — ряд одноэтажных домишек, обнесенных деревянными заборчиками. В некоторых окнах горел свет, и из какого-то дома неслись звуки радио. Виллибой шел, глубоко засунув руки в карманы брюк и так оттянув их в стороны, что они напоминали бриджи. Голова у него раскалывалась на части. Ему было обидно, что с ним так обошлись в притоне, у этой Джипси. Он сжимал от злости кулаки в карманах и думал: «Так унижить человека! Да как они посмели?! Где еще они могли бы так обойтись с человеком! Ладно, сволочи! Не на такого напали. Погодите, я еще рассчитаюсь с вами!»

Мучило его и сознание своего ничтожества. Всю свою юность он мечтал стать важной птицей среди гангстеров. Он видел, как другие ребята чего-то достигали, приобретали влияние в воровском мирке их квартала, а он все оставался на задворках. Сидя за восемь пенни в кино на галерке, он с завистью глядел на лихих головорезов, носившихся перед ним на экране, и мечтал вот так же мчаться, куда пожелаешь, в шикарном черном лимузине и отдавать приказы наемным убийцам. И когда изображение на экране гасло и в зале зажигался свет, а он, смешавшись с толпой возбужденных зрителей, двигался к выходу из огромного, окутанного табачным дымом кинематографа, он особенно остро ощущал свое ничтожество. Он выработал особую блатную походку, носил кричащие рубашки и брюки-дудочки, претенциозно зачесывал волосы острой челкой на лоб. Он подумывал даже о том, чтобы как-нибудь проколоть себе ухо и повесить золотую серьгу. Но при всем этом он продолжал оставаться существом безвестным и незначительным, частью серой, безликой толпы, таким незаметным, как пятно на грязной стене.

Виллибой свернул в темную и тихую улицу и увидел, что кто-то движется по тротуару ему навстречу. Это был мужчина, явно выпивший: он шел пошатываясь и его заносило то в одну, то в другую сторону.

Когда он столкнулся лицом к лицу с Виллибоем, он остолбенел. Нижняя челюсть у него отвисла, и изо рта потекла слюна, налитые кровью глаза широко раскрылись от страха. Человек попробовал отскочить в сторону, намереваясь бежать, но непослушные ноги не двигались с места, он пошатнулся и чуть было не упал. Виллибой

схватил его за лацканы пиджака, и он в ужасе вскрикнул.

— Привет, старина!— сказал Виллибой.— Даешь пять шиллингов, а?

— Ни-ничего у меня нет, парень. Ни-ни гроша...— в страхе задышавшись, проговорил мистер Грин. Он испугался, а вдруг парень вздумает вытащить нож.

— Брось, друг, дурака валять. Давай пять шиллингов!

— Пусти ты меня, пожалуйста! Пусти!— Грин попытался вырваться, но Виллибой крепко держал его за лацканы, потом вдруг ловко сбил с ног, и тот растянулся на тротуаре.

— Пожалуйста, не трожь меня! Не трожь!— выкрикнул Грин.

Виллибой злобно пнул его под ребра, и он взвизгнул больше от страха, чем от боли. Потом чужие руки обшарили его карманы, а он дрожал, распластавшись на земле.

— Эх ты! Дерьмо собачье! Ни шиша у тебя нет. Ублюдок голоштаный!

— Было бы, разве я бы не дал?— захныкал Грин.— Пусти ты меня, парень!

— погоди! Мне пришла в голову прекрасная мысль — чикнуть тебя!— свирепо проговорил Виллибой.— Вот я тебя сейчас и чикну!

— Пожалуйста...

— Ладно. Убирайся вон. Дуй к своей бабе и детишкам!

Виллибой еще раз пнул Грина ногой и отступил в сторону. Тот, охая, с трудом поднялся на ноги. Потрясение и страх отрезвили измученного Грина, и теперь он, спотыкаясь, спешил поскорее убраться отсюда. Виллибой шагнул к нему, тот снова пронзительно вскрикнул от ужаса и пустился наутек. Виллибой смотрел ему вслед, пока он не исчез в темноте. Затем Виллибой повернул в другую сторону.

Он дошел до конца улицы и, завернув за угол, увидел патрульную полицейскую машину. Она медленно проезжала между рядами закрытых магазинов и тускло освещенных тенементов. Свет фар настиг его в тот момент, когда он в нерешительности остановился на тротуаре.



Майкл Эдонис был уже почти в конце улицы, когда услышал за собой топот ног. Его догонял Джо. Один ботинок Джо, пока он бежал, развязался, и шнурок хлестал по асфальту. Догнав Майкла, Джо, запыхавшись, проговорил:

— Майки! Послушай, Майки...

Майкл продолжал свой путь по темной улице, даже не взглянув на него, и лишь подумал: «Ну что тебе еще нужно? Ты что, теперь всю жизнь будешь приставать ко мне, чучело гороховое?»

Где-то впереди запели.

— Майк,— сказал Джо.— Майк, может, это не мое дело. Может, это меня не касается, но, знаешь, ты мне как брат. Понимаешь, я не могу не думать о тебе. Боже, да ведь... да ведь ты мне даже деньги давал, чтобы я поел. Не так-то много людей давали мне деньги. Понимаешь? Редко это случается. Чаще всего мне приходится думать, как бы раздобыть что-нибудь без денег.

Он снова тяжело задышал, потому что Майки ускользнул шаг и он едва поспевал за ним. Он говорил торопливо, словно боясь, что у него не хватит времени высказать все, что он хотел.

— Послушай, Майки,— продолжал он,— ты не знаешь этих ребят. Они занимаются нехорошими делами. Я слышал. Насчет девушек тоже. Я слышал насчет дочери миссис Каннимейер. И еще они пускают в ход ножи. Это шайка бандитов, Майки, и они плохо кончат. Они уже были в колонии для малолетних, по крайней мере один из них. Я не помню, какой точно. Но они заташат и тебя в беду, Майки. Они воры и взломщики, и я слышал, что они зарезали двоих каких-то ребят из их же компании. Боже! Я не хочу, чтобы ты кончил, как они, Майк. Ну их к черту! Лучше уж голодать. Они убьют кого-нибудь, и их повесят, Майки. Ты ведь не хочешь, чтобы тебя повесили?

Майкл внезапно остановился и посмотрел на Джо.

— Какого черта тебе надо? Что ты тащишься за мной, как паршивый пес?— злобно спросил он.— Какое тебе дело до меня?

— Пожалуйста, Майки,— сказал Джо. Вид у него был такой, что он вот-вот заплачет.— Я ведь твой друг.

Человек ведь имеет право позаботиться о другом человеке. Боже, разве все мы не люди?!

— Да пошел ты к черту!— крикнул Майкл.— Пошел к черту! Оставь меня в покое.

Он круто повернулся и опять зашагал вперед по улице. Джо остался стоять, глядя вслед удаляющемуся Майклу; лицо его сморщилось, и на глаза навернулись слезы.

«Размазня проклятая, слюняй!— думал Майкл, сворачивая на другую улицу.— Тоже мне благодетель выискался! Чертова bestия!»

Еще несколько кварталов — и перед ним вырос клуб. Клуб находился на нижнем этаже, когда-то там размещался магазин. За матовым стеклом слышен был стук бильярдных шаров, из-под двери выбивалась узкая полоска света. Над головой нависал старый балкон.

Майкл дернул дверь, она оказалась запертой. Он подождал. Дверь отперли изнутри, приоткрыли, и в просвете показалось золотушное лицо Фокси.

— А, Майки!— воскликнул Фокси и широко распахнул дверь, впуская его.— Это хорошо, что ты наконец решился, друг. Я рад.

В помещении клуба двое приятелей Фокси играли в бильярд. Один из них снял пиджак. Когда вошел Майкл, парни как по команде подняли головы. Парень с перстнем оперся о свой кий. В глубине комнаты на старом продавленном диване с вылезшими наружу пружинами спал еще какой-то человек, он хрипло дышал, приоткрыв рот. В комнате сильно пахло табачным дымом и марихуаной, которую в этих краях называют даггой, и запахи эти смешивались с вонью от лужи под грязной раковиной в углу.

Майкл остановился посреди ярко освещенной комнаты и, засунув руки в карманы своей кожаной куртки, глядел на парней. Фокси запер дверь и подошел к нему.

— Ну вот, раз Майки пришел, пусть этот Сокис катится к черту! Правда, Майки?

— Пожалуй,— ответил Майкл.

— Есть у нас одна работенка, которую мы собираемся проверить попозже. Сокис должен был поддержать свечку, пока я и эти двое будем работать. Но он не явился, так что пусть теперь пеняет на себя. Значит, идешь с нами, Майки, да?

— Конечно, приятель.

— Майки — отличный парень, — улыбнулся Фокси своим друзьям, похлопав Майкла по плечу. — Вот увидите. Он теперь останется с нами надолго.

Парень с перстнем отложил в сторону кий и порылся в карманах. Он вытащил книжечку папиросной бумаги и, отделив два листочка, спрятал ее опять в карман. Затем он тщательно разгладил листочки и, смочив конец одного из них, аккуратно склеил их в длину. Он работал с тщательностью хирурга, выполняющего сложную тонкую операцию. Он согнул бумагу так, чтобы посередине получилась продольная канавка, и бережно держал ее в одной руке, зажав между большим и средним пальцами, в то время как указательный палец покоился в углублении, не давая бумаге распрямиться. Другой рукой он достал из кармана маленький цилиндрический пакетик из плотной оберточной бумаги и высыпал часть содержимого в согнутый листок. Это была дагга. Он равномерно распределил ее по всей длине канавки. Затем он вытащил сигарету, расщепил ее ногтем большого пальца и, высыпав табак на даггу, стал старательно смешивать их, не просыпая при этом ни крошки. После этого он ловким движением пальцев свернул длинную сигарету и, проведя языком по краю бумаги, заклеил ее. Плотнo сжав кончик сигареты, он любовно провел по ней пальцами снизу вверх, разглаживая ее и придавая ей окончательную форму. После этого закрутил другой ее кончик, взял в рот и зажег.

Он сделал две глубокие затяжки и выпустил через ноздри две одинаковые длинные струйки дыма. Потом взглянул на Майкла и сказал:

— Затянешься?

Другой парень, все это время гонявший шары, нагнулся в этот момент для удара, но так и не сделал его. Застыв в этой позе, словно в кадре внезапно остановившейся киноленты, он не сводил глаз с Майкла.

— Затянись разок, приятель! — снова предложил парень с перстнем.

— Что ж, давай! — сказал Майкл, глядя ему прямо в глаза и протягивая руку.

Он глубоко затянулся. На минуту ему показалось, что земля уходит из-под ног и стены валятся на него, но потом он ощутил какую-то необычайную легкость в голове. Он сделал еще одну затяжку и вернул сигарету парню.

— А ну-ка, бильярдисты-морфинисты!— неожиданно вмешался Фокси.— В эту игру играем по очереди. Сейчас мой черед.— Он сделал несколько затяжек, после чего сигарета перешла к парню со шрамом, затем Фокси сказал:— Теперь давайте потолкуем о деле. У нас есть машина, поведет ее Тойер.— Обогнув бильярдный стол, он прошел в дальний конец комнаты и, схватив спавшего на диване человека за плечо, стал трясти его:— Вставай, вставай, ублюдок! Да очнись же ты!

Человек пробурчал что-то сквозь сон и попытался повернуться на другой бок, но Фокси начал шлепать его по лицу. Человек открыл глаза и испуганно забормотал:

— Что такое? Случилось что-нибудь?

— Вставай-ка! Вставай! Надо поговорить о деле.

Мужчина протер глаза и спросил:

— Сокис появился?

— Нет. Мы нашли другого парня. Майки. Вот он.

Тойер встал, вышел на середину комнаты и поглядел на Майкла.

— Здорово, приятель,— сказал он.

— О! Как поживаешь?— отозвался Майкл и неожиданно хихикнул. Он чувствовал себя необыкновенно счастливым после дагги.

В это время парень со шрамом, стоявший у бильярдного стола, быстро проговорил:

— Что это?

Все обернулись и посмотрели на него. Он держал кий под мышкой, точно ружье, и прислушивался.

— Какого еще черта?— проворчал Фокси.

— Вроде кто-то выстрелил,— сказал парень со шрамом.

— Ты что бредишь, зануда! Кто выстрелил? Где выстрелил?— разозлился Фокси.

— Звук был такой, будто кто пальнул из револьвера,— ответил парень.

Фокси подошел к двери, отпер ее и вышел на улицу, немного постоял на тротуаре, прислушиваясь и всматриваясь в темноту. Затем он вернулся и снова запер дверь.

— Ну, и как ты думаешь, что это?— спросил он, обращаясь к парню со шрамом.— Наверняка киношка. Ковбои или гангстеры пуляют.

— Может быть,— ответил тот.— Я услышал выстрел — ну и сказал.

Вдруг все они насторожились: звуки на улице напо-

минали приглушенные выстрелы, раздававшиеся за несколько кварталов отсюда, в другой стороне.

Позднее снова послышался сухой, резкий звук пистолетного выстрела.

16

Водитель полицейского фургона был рад, что они выбрались наконец из этого зловонного тенемента и возвратились к патрулированию. В то же время его немного раздражал угрюмый вид констебля Раальта, который и сейчас терзался мрачными размышлениями о своей жене. «И надо же было мне попасть в патруль с этим типом, — думал он. — Теперь терпи его всю ночь. У него, видимо, какие-то нелады дома. Но какое мне дело до его ссор с женой? И вообще, какое это имеет отношение к службе, к дежурству? Оставил бы свои семейные дразги дома. В таком состоянии он может наделать глупостей, а мне вовсе не улыбается быть втянутым в какую-нибудь историю. Как он вел себя там, в том доме! Насмеялся, важничал перед этими готтентотами. Вот так и теряешь их уважение. С ними надо держаться хитрее. Их надо дрессировать, как собак, чтобы они уважали нас! Если чересчур их лупить, они могут накинуться, пустить в ход зубы. Надо уметь держать их в руках. Вот отец — тот умеет с ними обращаться. Просто удивительно, как здорово он управляет с ними на ферме! У него там куча этих готтентотов. Работают себе в садах и на виноградниках, он и горя с ними не знает. Никогда никаких неприятностей. Дает им немного вина, возит по субботам вечером в город, они и довольны».

Он вспоминал длинный, ухабистый путь через широкие плодородные фермерские поля: грузовик трясется в сумерках по проселочным дорогам, волоча за собой длинный черный хвост клубящейся пыли; в кузове шумят рабочие с фермы; на темнеющем пурпуре неба загораются первые звезды, и вокруг стрекочут сверчки.

Как-то раз один из работников свалился за борт, и им пришлось остановиться. Он поцарапал лицо и плечи о гравий и немного ошалел от испуга, и отец закричал на него: «Разрази тебя гром, проклятый!» Остальные негры наблюдали за всем этим из кузова и смеялись. Иногда он подшучивал: кое над кем из них насчет их

жен, дочерей, возлюбленных, и они всегда смеялись, называя его «ёнг баас» — молодой хозяин, — и даже не думали обижаться. Время от времени ему приходило в голову, что неплохо бы переспать с одной из этих «мейдэ» — девчонок, но он никогда не занимался этим. Он считал, что это может повлечь за собой плохие последствия: если дело раскроется, это ляжет позорным пятном и на него самого, и на всю семью, и на всех белых. Была одна девушка в городе, которая ему очень нравилась и которой он изредка писал. Он еще не разобрался, любит ли ее, а так как он считал себя юношей серьезным, то не желал бросаться очертя голову в ее объятия и жениться до тех пор, пока не будет абсолютно уверен в своих чувствах к ней.

Она была красива: высокая и смуглая; у нее были коротко подстриженные белокурые завитые волосы, веселые глаза и изумительно длинные ноги. И, вспомнив ее, он почувствовал легкое возбуждение. Однако ему не очень-то хотелось влипнуть с женитьбой вроде Раальта, хотя он и считал, что она не из тех женщин, которые способны причинить мужчине зло. Он размышлял, стоит ли ему писать ей и стараться закрепить их отношения... Внезапно его мысли были прерваны резким голосом Раальта:

— Остановись-ка, приятель!

— А?! — отозвался водитель, вздрогнув от неожиданности и безотчетно нажимая на тормоза.

— А ну-ка, взгляни! Видишь того чертова готтентота в желтой рубашке? Не тот ли это, кого мы ищем?

Констебль Раальт уже открывал дверцу, намереваясь выскочить из машины, когда водитель, взглянув вперед, увидел через ветровое стекло темнокожего парня, ослепленного фарами и застывшего на месте. Ему бросились в глаза незнакомое темное лицо, короткие курчавые волосы, желтая рубашка, и беспорядочные мысли замелькали у него в голове: желтая рубашка; работники с фермы; готтентоты; грузовик; надо написать ей; эта желтая рубашка; желтая рубашка; молодой головорез в желтой рубашке; баас... Но тут констебль Раальт, выскочивший из машины, крикнул:

— Эй ты, дьявол! Ни с места!

Водитель быстро выпрыгнул из машины, хлопнув дверцей, и увидел, что Раальт приближается к парню. Парень стоял на краю тротуара, широко расставив ноги

и слегка разведя руки в стороны: он оторопел от неожиданного появления полицейского фургона.

Потом водитель увидел, как парень внезапно пригнулся — Раальт был уже совсем близко, — а затем его тело резко выпрямилось, словно отпущенная пружина, и он стремглав бросился бежать по улице.

— Стой, эй!.. Стой, молодчик! — заорал Раальт и рванулся за ним.

Водитель изо всех сил бросился вдогонку. Парень был уже далеко впереди. Он мчался как угорелый, петляя на ходу, его подгонял страх; и вдруг водитель с ужасом увидел, что Раальт расстегивает кобуру.

Он догнал Раальта и хрипло крикнул:

— Нельзя, не надо, не стреляйте!

Но констебль уже вытащил револьвер, раздался неприятный сухой треск, и вверх взметнулся оранжево-желтый язычок пламени.

Парень вдруг резко рванул в сторону и побежал вниз по узкому переулку. Когда же полицейские добежали до угла, они увидели лишь его спину, мелькавшую далеко впереди; парень мчался, перепрыгивая через кучи отбросов и перевернутые мусорные ящики. Констебль Раальт остановился и прицелился снова, но водитель крикнул, запыхавшись: «Не стреляйте! Мы поймаем его и так. Не выпускайте его из виду, а я возьму машину и перережу ему путь».

Раальт успел заметить, что парень, добежав до конца переулка, свернул на большую улицу. Он обернулся к водителю. Адским пламенем показались водителю огоньки, плясавшие в его глазах. Словно выплевывая слова, Раальт проговорил:

— Ол райт, приятель, бери-ка свою машину, и посмотри, удастся ли тебе его поймать.

Водитель бросился назад к патрульной машине, голову сверлила одна мысль: «Нельзя, чтобы он стрелял. Он псих и черт знает что может натворить. Нельзя разрешать ему стрелять. Господи, не дай ему выстрелить».

В конце переулка Раальт снова остановился. Оглядел улицу, но парня и след простыл. Он побежал дальше.

У него было натренированное дыхание опытного спринтера, и он знал, что обычно эта публика не выдерживает долгой погони. «Этот дьявол, возможно, выдохся после такого напряжения и где-нибудь укрылся», — ре-

шил Раальт. Он уже не бежал, а шагал по улице, пристально оглядывая дома по обеим ее сторонам.

На улице стали собираться люди, привлеченные выстрелами, но Раальт ничего не замечал. Вокруг раздавались крики, смех, ругань, язвительные замечания в его адрес, но Раальт продолжал идти вперед, глаза его без устали шарили по домам. Сейчас он был охотником, выслеживающим дичь.

На середине улицы он обнаружил еще один переулок и остановился. Процессия зевак, двигавшаяся за ним, тоже остановилась. В руках у Раальта все еще был револьвер, и в первый раз за все это время он повернулся к толпе и заорал, размахивая револьвером:

— Вы, ублюдки, держитесь-ка подальше! А то заработаете...

После этого он снова, не обращая ни на кого внимания, стал осматривать переулок. Тупик упирался в глухую оштукатуренную стену какого-то дома. Перед ней громоздилась целая куча всякого хлама: негодные ящики и коробки для упаковки, поломанная мебель и разорванные матрацы и, конечно, мусорные корзины. Констебль Раальт вынул фонарь и, держа его в левой руке, осветил переулок. По обеим его сторонам тянулись дома. Раальт зашагал дальше.

Он понимал, что парень в желтой рубашке не мог уйти далеко за те несколько минут, которые прошли с тех пор, как они потеряли его из виду, и что он, вероятно, прячется где-то рядом. Возможно, он притаился в одном из переулков. Надо осмотреть их один за другим. Потом Раальт услышал подозрительный шорох, доносившийся с крыши над его головой. Он направил фонарик вверх и злорадно осклабился.

Раальт стал взбираться на кучу мусора, громоздившуюся почти по самые крыши домов, расположенных по обеим сторонам тупика. Позади него, в начале переулка, где толпился народ, закричали, предупреждая беглеца об опасности. Констебль выругался про себя, на мгновение обернувшись к толпе, и продолжал быстро карабкаться вверх. Он отшвыривал ногой старые коробки, трухлявые доски, и весь этот хлам разлетался в стороны. Вдруг он вспомнил про водителя — куда же тот запропастился, но это его не очень озаботило: он предпочитал охотиться в одиночку и не любил, когда ему мешали. Возбравшись на мусорную кучу, он подтянулся вверх,



чтобы заглянуть за парапет. Но не увидел там ничего, кроме неровного настила крыши, зонтов дымовых труб и желобов, слабо освещенных луной и уличными фонарями.

Виллибой лежал плашмя, вниз лицом, прижавшись всем телом к жесткой неровной кровле. Сквозь одежду он чувствовал шероховатое гофрированное железо крыши, подбородок упирался во что-то холодное, металлическое. Голова его раскалывалась от боли, и во рту был какой-то кисловатый привкус. Он все еще не мог отдышаться после того, как дико несясь по улицам, а затем карабкался на крышу, и грудь его тяжело вздымалась. Вокруг стоял кошачий запах. Но он ничего этого не замечал, скованный ледяным страхом, засевшим глубоко внутри.

До этого ему не раз приходилось удирать от полиции, но еще никогда не случилось того, что сегодня: в него никогда еще не стреляли,— и он испугался. Внезапно он вздрогнул, лицо его сморщилось в темноте, и на глаза навернулись слезы. «Почему они гонятся за мной? — думал он. — Что я им сделал? Я ничего не сделал. Ничего не сделал. Почему они хотят поймать меня?»

Он лежал в темноте, скованный ледяным страхом, который был холоднее, чем железо крыши, чем ветер, гуляющий над городом.

Он снова подумал: «Ну что я им сделал? Я же никогда ничего не делал». И вдруг ему представилась мать. Она стоит перед ним и кричит: «Ах ты, паршивец! Опять не слушаешься!»

Ему было семь лет... он продавал газеты. Младший киоскер заплатил ему несколько пенсов из тех денег, что он выручил от продажи, и он, вместо того чтобы отнести деньги домой, купил большой пакет рыбы с жареной картошкой. В тот день он не ел с самого утра. Утром он съел только миску овсяной каши, без молока и сахара конечно, да кусок черствого хлеба и потому к вечеру страшно проголодался. Он вернулся в их убогую комнатушку, и от него пахло рыбой. Мать ударила его по лицу, не получив денег, которые он заработал, и закричала: «Ах ты, ублюдок несчастный!» Она била его долго-долго, пока лицо его не вспухло от ударов. Он заплакал. Мать всегда била его за малейшую провинность, и он знал, что она вымещает на нем злобу за те побои, что

ей самой приходилось переносить от его отца. Отец почти каждый вечер возвращался домой пьяный и бил и его и мать тяжелым кожаным ремнем. Мать забивалась в угол комнаты, воя от боли и униженно прося пощады. Расправившись с матерью, отец принимался за Виллибоя, но тому иногда удавалось улизнуть из дому, и возвращался он лишь поздней ночью, когда отец уже пьяно храпел и мать, наплакавшись, тоже забивалась сном.

И теперь, когда он лежал на крыше, в его ушах звучал голос матери: «У-у, мерзкий гаденыш!»

Он поднял руку и вытер слезы. «Надо удирать, — сказал он себе, — надо удирать. Не хочу, чтобы меня подстрелили. Пожалуйста, не надо в меня стрелять!»

Он лежал неподвижно и прислушивался к доносившимся до него звукам. Где-то внизу шумела толпа. Люди переговаривались, что-то кричали. Но он не слышал слов. Он напряженно всматривался в конец выступа, который пересекал крышу прямо перед ним, — оттуда может появиться полисмен. И тут он услышал скрип ботинок, ступающих по рифленому железу. Ужас охватил его, и он еще сильнее прижался к холодному металлу. «Этот полицейский где-то рядом. Выжидает. Зачем они гонятся за мной? Я ведь ничего не сделал. Нельзя мне трогаться с места, — говорил он себе. — Как только побегу, они погонятся за мной. Я ведь ничего не сделал. Пойду и сдамся им. Да? Пойди. Они поотбивают тебе печенки. Ты думаешь, они гнались за тобой по всем этим улицам и крышам для того, чтобы после всего взять да и отпустить тебя? Нам, несчастным ублюдкам, достается со всех сторон. Если не от полиции, так от кого-нибудь еще. Всегда найдется негодяй, который лягнет тебя так, что не поднимешься. Что же это за дьявольщина такая?» — думал он с горечью. Потом он услышал шаги полисмена. Тот споткнулся о железо, ощупью пробираясь вперед, и Виллибой, вскочив в испуге, метнулся в дальний конец крыши.

Выжидая, пока парень чем-нибудь не обнаружит себя, констебль Раальт притаился за старой, сгнившей бочкой для воды. Он знал наверняка, что тот где-то рядом. Констебль решил действовать наверняка и потому ждал: рано или поздно парень выдаст себя. Жертва была в ловушке, и Раальт был вполне уверен, что охота

закончится успешно. Он притих в темноте, удовлетворенно улыбаясь в предвкушении добычи.

Чуть правее от бочки, за которой он спрятался, находилась голубятня. Оттуда доносились мягкие воркующие звуки и запах голубиного помета. Внизу на улице глухо рокотала толпа. На мгновение он вспомнил, что так и не знает, куда подевался водитель, но быстро отогнал эту мысль, так же как и все остальные, и хладнокровно сосредоточился на том, что ему предстоит здесь, на крыше. Чуть погодя он решил, что надо продвинуться вперед. Он не зажигал фонаря: это преследование в темноте щекотало ему нервы. Он шагнул вперед и наткнулся лицом на туго натянутый провод, служивший здесь веревкой для белья. Это заставило его отступить, и он споткнулся о выступ на рифленном настиле крыши. Он злобно выругался, нырнул под провод и вдруг увидел силуэт цветного, выскочившего из-за выступа, за которым он укрывался, и бросившегося бежать по крыше.

Раальт метнулся за ним, выстрелив на ходу. Из дула револьвера вырвалась яркая вспышка, и пуля ударившись о водосток, запела. Грохоча ботинками, Раальт бежал по крыше. Внизу раздался рев толпы, какая-то женщина пронзительно вскрикнула. Раальт тяжело бежал, перепрыгивая через выступы и низко пригнув голову, чтобы не наткнуться на бельевые веревки. Тут он увидел, как парень повис на мгновение на краю дальней стены и вдруг пропал из виду.

Виллибой прыгнул на асфальт, и толчок от неловкого прыжка мучительно отозвался во всем теле — все в нем словно задребезжало. Он вскрикнул от нестерпимой боли в ноге. Потом, преодолевая ее, пошатываясь, вышел на середину улицы. Толпа расступилась перед ним. И вдруг он увидел, как люди, окружавшие его, разбегаются в стороны и прямо на него несется патрульный фургон. Услышав пронзительный скрежет тормозов внезапно остановившегося фургона, Виллибой с лицом, искаженным от страха и отчаяния, повернулся и увидел, как констебль ловко спрыгнул с той самой крыши, где только что был он. В ужасе он застыл на месте. Потом, увидев, что один из полицейских движется на него спереди, а другой подходит сзади, он пригнулся, как обезумевшее от страха и готовое ринуться на преследователей животное.

ное, и иступленно закричал на того, кто был с пистолетом:

— Ты... бур! Ты... бур!

На голову констебля Раальта, словно поток нечистот, обрушился град ругательств. Виллибой судорожно потянулся к карману, в котором обычно носил остро наточенный кухонный нож. Но прежде чем его рука успела дотянуться до кармана и он смог убедиться, что ножа там нет, констебль Раальт выстрелил.

Пуля угодила прямо в цель, тело парня дернулось, и он закружился на месте, широко раскинув руки и поворачиваясь на носках, словно балерина.

## 17

Толпа снова взревела, и рев ее разбился о стены окружающих домов. Толпа заколебалась на мгновение и затем ринулась вперед, но тут же под холодным черным зевом пистолета с глухим ропотом отхлынула назад. Ропот напоминал грозный шум океана, мечущегося в шторме и бьющегося о камни прибрежных скал.

— Выродки проклятые! Пристрелили парня, как скотину какую.

— Они только и знают, что стрелять.

— Насмерть?

— Откуда мне знать?

— Подвиньтесь-ка, я хочу посмотреть.

— Пристрелили его, как скотину, даже глазом не моргнули.

— Ладно, придет день, им еще это вспомнится. Увидите.

— Кто он, интересно?

— Не знаю. Какой-то босьяк. Они гнались за ним.

— Должно быть, один из этих хулиганов. От них никому нет покоя. У него был нож?

— Подстрелили бедного парня — и хоть бы хны. Глазом не моргнули.

— Это все, что они знают. Стрелять в наших людей.

— Подвинься-ка, приятель. Мне, может, тоже охота взглянуть.

— Бросьте вы толкаться!.. У-ух, эти ублюдки!

То было урчание темной воды, разрушающей гранит-

ные утесы, всасывающейся в залитые песком расселины, размывающей наносы ила.

Водитель перепугался. Срывающимся голосом он произнес:

— Зачем вам понадобилось стрелять? Мы и так бы его поймали. Я мог схватить его сзади.

— Что с тобой, Эндрис? Разве ты не полицейский? Чего ты перетрусил? — отмахнулся от него констебль Раальт.

Глаза у него в темноте были жесткие и серые, как два камешка, и рот кривился.

Водитель посмотрел на парня. Тот лежал на мостовой и громко стонал, держась рукой за то место, куда попала пуля; под ним уже образовалась лужа крови, растекающаяся по асфальту.

— Господи, — проговорил водитель, — надо бы вызвать карету «скорой помощи».

— Карету? — глумливо переспросил констебль Раальт. — На черта она нужна? Отвезем этого сукина сына в участок. Там его подлатают. Не так уж страшно он ранен.

— Я думаю, все-таки лучше вызвать карету «скорой помощи», — нервно настаивал водитель. Казалось, он вот-вот заплачет.

Вдруг Виллибой пронзительно вскрикнул.

— Ой, мама! Мама! — кричал он все громче. — Больно мне. Ой, мама моя, мама!

Толпа с рычанием снова подалась вперед и снова отступила под тяжелым, угрожающим дулом пистолета констебля Раальта. Кто-то запустил в него пустой консервной банкой, и она, описав кривую над многочисленными головами, ударилась о крыло полицейского фургона.

— Эй вы, ублюдки проклятые! — закричал Раальт, размахивая револьвером. — Хотите, чтобы я и вас пристрелил?!

Водитель снова беспокойно обратился к Раальту:

— Послушайте, давайте уедем отсюда! Надо ехать. Едем!

Он опять взглянул на раненого парня. Его желтая рубашка спереди потемнела от крови, на пиджаке тоже была кровь. Он потерял сознание, и при свете ночных фонарей его застывшее лицо казалось жутким; кожа так плотно обтянула скулы, что это юное, почти детское ли-

цо, сплошь покрытое капельками пота, казалось невероятно изможденным.

— Господи,— снова заговорил водитель,— надо торопиться. Нужно взять его поскорее отсюда. Говорю вам: надо вызвать карету!

— К черту карету!— огрызнулся Раальт.— Погрузим его в фургон и отвезем в участок. Пусть там с ним и решают, с этим вонючим готтентотом!

— Надо ехать,— нетерпеливо повторял водитель.— Не нравится мне эта толпа.

— Толпа?— презрительно фыркнул Раальт.— Стадо вонючих обезьян! Ладно, приятель, давай-ка сунем это дерьмо в фургон. Бери его за ноги.

Водитель быстро нагнулся и взял парня за лодыжки. Он нервничал, и ему не терпелось как можно скорее убраться отсюда. Раальт, грубо схватив Виллибоя за воротник пиджака, приподнял его тело. В другой руке констебля все еще был револьвер, и он не спускал глаз с толпы, продолжавшей взволнованно гудеть. Водитель тоже поднял парня, и они понесли его к фургону; безвольное, обмякшее тело провисло, точно пустой куль.

Толпа вокруг опять заволновалась, зашумела и подалась вперед, и водитель мысленно воззвал к богу, чтобы Раальт снова не вздумал пустить в ход оружие. «От этого идиота всего можно ожидать,— думал он.— Зачем он подстрелил этого мальчишку? С ума, что ли, сошел? Теперь не оберешься неприятностей...»

Они открыли дверцы фургона и сунули в кузов обмякшее тело парня. В спешке, думая лишь о том, чтобы поскорее уехать, водитель торопливым, резким движением закинул ноги Виллибоя так, что тело его перевернулось и ударилось об пол фургона. Виллибой застонал.

Они захлопнули дверцы и пошли к кабине. Не выпуская из рук револьвера, Раальт следил за толпой.

Водитель первым вскочил в кабину, судорожно нащупал зажигание и дернул передачу. Рядом констебль Раальт, сунув револьвер в кобуру, застегивал ее. Фургон рванулся вперед, на толпу. Водитель все еще боялся и нервничал, машина, подпрыгивая, двигалась резкими толчками, и люди с шумом разбегались в разные стороны. Толпа снова зароптала. По металлическому кузову забарабанили кулаки, и град камней обрушился на фур-

гон, водитель наконец пришел в себя, и машина медленно и плавно поехала вперед, прокладывая себе путь сквозь людскую массу.

18

«Опять, негодник, не слушаешься?» — крикнула на него мать и так ударила по лицу, что боль пронзила все тело. Он стоял у дверного косяка их убогой, запущенной комнатухи, потирая короткопалой ногой другую ногу, и горько плакал, утирая нос рваным, замусоленным рукавом рубашки.

В фургоне была непроглядная тьма, сюда не проникал ни единый звук — лишь только легкий шум мотора. Под щекой — что-то холодное, металлическое, и он вспомнил крышу, но он не знал, что это такое, и не пытался узнать. Он не мог шелохнуться, даже нос, из которого текло, не вытер — он просто не в силах был это сделать.

Стоило ему шевельнуться — и его тотчас же начинало тошнить, голова дико кружилась и он терял сознание, будто проваливался в глубокий сон. Он лежал неподвижно, скованный болью, отдававшей во всем его теле. Это была тупая, ноющая боль, она вибрировала в нем вместе с вибрацией машины. Была еще другая боль — в лодыжке, но эту боль он ощущал как-то отдельно.

Он хотел встать и отправиться домой, но решил, что туда идти не стоит: отец опять начнет его колотить. Лучше пойти в клуб «Нарцисс» и сыграть в бильярд или выпить. Да, надо выпить. Без бильярда можно и обойтись. Голова разламывается от боли. До чего же тяжело похмелье! И эта странная тупая боль внутри. Она словно перекачивается там взад и вперед, вверх и вниз — будто выскочивший из гнезда тяжелый подшипник бьет по цилиндру.

Сквозь тупую боль он ощущал что-то холодное у щеки, и это раздражало его. Он повернул голову: надо выяснить, что это такое. Оказалось, одна из металлических полос, которыми обшит пол фургона. Но прежде чем Виллибой успел разобраться в этом, он чуть было не задохнулся от горечи, подкатившей к горлу. Рот наполнился желчью... Он попытался сесть, но не смог. Его вырвало, и от этого острая боль, точно копьём, пронзила все

его тело. Он изогнулся, вскрикнул и потерял сознание...

Патрульный фургон снова катит по ГанOVER-стрит мимо запертых магазинов с освещенными вывесками, ценниками в витринах и полуободранными рекламами, над которыми тянутся ряды убогих квартирок за матовыми стеклянными дверями, с ветхими, кое-как подлатанными балкончиками. Машина едет мимо пивных, где уже погашен свет; мимо зияющих чернотой подъездов тенементов; мимо кафе, откуда из-за тонких шторок струится слабый свет; мимо павильонов с сатураторами, где последние запоздалые посетители пьют прямо из бутылок, прислонившись к стойкам с мраморным верхом и к рекламным стендам; мимо переулков, где почти на каждом углу курят и гогочут кучки молодых бездельников, и смех их замирает и сменяется молчаливым переглядыванием в темноте при виде приближающейся полицейской машины; машина катит мимо неоновых, не гаснущих всю ночь реклам, призывающих снова и снова: *«Пейте кока-колу! Пейте кока-колу!»*

Констебль Раальт пошарил по карманам и обнаружил, что у него не осталось ни одной сигареты.

— Остановись-ка около португальца, приятель! Я куплю сигареты, — сказал он водителю.

— Боже мой, — сказал водитель, — да где у нас время покупать сейчас сигареты. Надо поскорее доставить этого парня в участок.

— Брось, приятель, у нас еще уйма времени. Ведь ублюдок пока еще не умер. Ничего с ним не станется. Готтентоты — живучий народ... Останови возле этого воющего кафе.

Водитель покачал головой. Он беспокоился, нервничал и немного трусил, но знал, что спорить с Раальтом бесполезно.

— Хорошо, отвечать будете вы, — сказал он, как бы полностью снимая с себя вину за все, что случилось и еще может случиться.

Констебль Раальт покосился на него и усмехнулся, презрительно скривив рот. Водитель снова покачал головой, не глядя на Раальта, но все же замедлил ход и остановил машину против кафе.

— Только не очень долго, — сказал он, отвернувшись, чтобы не встретиться взглядом с Раальтом. Он слышал, как тот вышел из машины, хлопнул дверцей и, направляясь к кафе, затопал по тротуару.



От легкого толчка при остановке Виллибой пришел в себя. Он очнулся со смутным ощущением в носу запаха бензина и выхлопных газов. Запах вызвал у него новый приступ рвоты, и тело его сотрясалось до тех пор, пока его всего не вывернуло наизнанку и из глаз не полились слезы. Он зарыдал, и при каждом судорожном вздохе нестерпимая боль пронизывала живот. Он схватился рукой за то место, где боль была самой мучительной, и ощутил под пальцами липкую влагу, пропитавшую одежду, потом нащупал рану... И только теперь, кажется, он впервые осознал, что с ним случилось.

— Помогите! Господи, помогите мне. Мама, мама!.. Господи Иисусе, спаси меня. Спаси меня! Я умираю! Умираю! Спасите меня! Спасите! Господи, помоги. Помоги мне. Прошу тебя. Помоги мне. Помогите мне!

Его пронзительные крики разбивались о металлические стенки фургона. Кожаный ремень отца свистел в воздухе, хлестал по ногам и пояснице, жгучей болью терзая все тело.

Констебль Раальт вошел в кафе. Здесь было тихо, посетителей не очень много. Они сидели кое-где в кабинках или за длинным столом, занимавшим середину зала. Навстречу вошедшему поднялись головы и тут же снова опустились к щербатым чашкам с отбитыми ручками, к запотевшим, со льда бутылкам с напитками и черствым пончикам. Какой-то таксист читал вечернюю газету и даже не взглянул на вошедшего Раальта. Тучный хозяин кафе, стоявший за стойкой, вытер мраморную доску и кивнул констеблю.

— Привет! — проговорил Раальт, улыбаясь и сдвигая на затылок фуражку. — Попрошу вас — пачку сигарет.

Тучный мужчина бросил на прилавок пачку сигарет и спросил:

— Как дела, господин констебль?

— Да вот, — отвечал Раальт, — вечная возня с этим паршивым хулиганьем.

Он надорвал пачку, щелчком выбил оттуда сигарету, сунул ее в рот и поискал спички. Португалец — владелец кафе — пододвинул к нему коробку спичек на прилавке, и он зажег сигарету и затянулся.

— Да. Одни неприятности от этих хулиганов, — сказал тучный хозяин. — Но я, знаете, выхожу из положения просто. У меня здесь под стойкой для них чу-

десное угощение — дубинка! Специально держу. У меня они не забалуют. Как-то на днях заходит сюда вечером один из этих подонков... — И он принялся рассказывать об одном недавнем происшествии.

Но не успел он закончить, как дверь отворилась и в кафе вошел водитель полицейского фургона. На юном лице был написан испуг и смятение. Он подошел к Раальту.

— Послушайте, нам нужно скорее ехать. Этот парень... — заговорил он прерывающимся голосом.

— Что вы так спешите? — спросил хозяин, положив на стойку свои жирные руки.

— У нас в фургоне один из этих чертовых головорезов. Везем его, — ответил Раальт и повернулся к водителю: — Что ты так расстраиваешься, приятель?

— Послушайте, Раальт, — сказал водитель. — Этот парень... Нам нужно поскорее доставить его в участок, слышите?

— А, черт! — злобно выругался Раальт.

— Минутку, джентльмены, — примиряюще обратился к ним тучный португалец. — Не желаете ли по бутылочке кока-колы?

Виллибой постепенно свикался с болью. Она была уже не такой сильной и острой. Но теперь ему стало холодно, и он очень хотел, чтобы мать не поскупилась еще на одно одеяло — надо же ему согреться. Дождь хлестал по окнам их комнаты, и Виллибой на полу дрожал от холода под своим тоненьким рваным одеялом. На кровати громоздились тела отца и матери, спавших вместе. Один раз мать проснулась и, повернув к сыну голову, крикнула, чтобы он перестал скулить.

— Мне холодно, ма, — пожаловался он, но ответа не последовало.

Бред помог забыть о боли. Больше он ее уже не чувствовал. Но его руки и пальцы, казалось, одеревенели. Даже когда он проводил ими по телу, они ничего не чувствовали. Пальцы были какие-то толстые, разбухшие, безжизненные. Ему было трудно что-нибудь разглядеть в кромешной тьме фургона, и это тоже тяготило его, и в голове все время стоял какой-то противный пронзительный звон.

— Мы для них презренные ублюдки, и они вечно го-

нят и пинают нас, — сказал он вслух и удивился тому, как громко и отчетливо прозвучал его голос.

Он силился хоть что-нибудь разглядеть в темноте, но он уже навсегда расстался со способностью видеть. Глаза оставались открытыми, но они ничего не видели. Потом рот его внезапно наполнился кровью, и на какой-то миг он почувствовал солоновато-кислый вкус — это было последнее, что он ощутил перед тем, как жизнь окончательно покинула его.

19

После полуночи стало прохладнее. Бриз подул с юго-востока и гнал горячий воздух прочь из города. Но на небе еще ярко светили звезды; они трепетно мерцали, и их было так много, что казалось, они заполнили все небо. В сточных канавках Шестого района шуршали на ветру обрывки бумаги, и на окнах истекающих потом тенементов тихо колыхались грязные занавески. На продавленных кроватях и на тесных лестничных площадках спящие люди заворочались во сне, почувствовав, что повеяло прохладой. Если бриз продержится — к утру можно ожидать доброго летнего зюйд-оста.

Тихо скрипнули матовые застекленные двери клуба, и Фокси лениво прокомментировал:

— Н-да, к утру он, видно, задует.

— Нам и самим пора дуть отсюда, — сказал парень с перстнем. — Не торчать же здесь всю ночь.

— Ладно, ладно, — сказал Фокси. — Сейчас пойдем. — Он взглянул на Тойера и спросил: — Ты уверен, что машина в порядке?

— Конечно, в порядке, — ответил Тойер. У него был сонный вид, и он громко зевнул. — Что ей сделается? Стоит себе на месте.

— Ладно, тогда дунули! — Фокси улыбнулся Майклу и, подмигнув, спросил: — Ты готов, дружище?

— Разумеется. Не знаю только, как эта трусливая шпана.

— Это кто трусливый? — отозвался парень со шрамом на лице и угрюмо добавил: — Пошел ты знаешь куда?..

— Убирайся сам туда, — улыбаясь, ответил Майкл и направился к двери.

Вслед за ним вышли остальные. Фокси выключил свет и запер дверь. На тротуаре он присоединился к ним и, остановившись, сказал, глядя на небо:

— Да, к утру, наверно, задует.

Из-под плинтуса в темной комнате осторожно выполз таракан. Остановившись, он задвигал своими тоненькими усиками, определяя во мраке, нет ли на пути помех. Не обнаружив ничего серьезного, таракан двинулся вперед, пересекая комнату и преодолевая незначительные препятствия — щели между половицами. Неожиданно путешественник наткнулся на что-то липкое и попробовал эту смесь на полу в комнате убитого старика. Тело старика вынесли, и комната была опечатана полицией. Таракан был теперь здесь один на один с запахами разложения и смерти. Он немного помедлил возле липкой массы на полу, потом вдруг где-то скрипнула половица, и перепуганный таракан бросился наутек, издавая легкий царапающий звук. Через некоторое время в комнате снова все затихло, и таракан вернулся.

На нижнем этаже в своей комнате лицом к стене лежит Джон Абрахамс. Он не может уснуть, он недвижно устался в голую грязную стену. Он не разделся и ощущает запах пота, исходящий от его грязной одежды и от его жирного, дряблого, давно не мытого тела. Он тупо повторяет себе: «Разве это тебе поможет — идти против своего народа? Разве это тебе поможет?» Он снова и снова думает... Мысль эта, как навязчивая идея, опять и опять возвращается к нему, и он без конца твердит про себя: «Разве это тебе поможет? Разве это тебе поможет?»

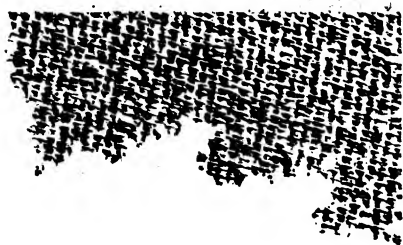
А где-то в звездной темноте юноша по имени Джо одиноко шагает к морю. Он встретит зарю, вдохнет запах океана, войдет в прохладную, ласковую воду, низко склонится над ее журчащей зеленой поверхностью и будет всматриваться в нее, различая темные стебли водорослей, колышущиеся и изгибающиеся в отмелях, словно чьи-то нежные, манящие руки.

И в заводях у скал он будет изучать таинственную

жизнь морских обитателей, любоваться красотой прозрачных морских звезд и анемонов и будет слушать немолчный шум волн, разбивающихся о гранитные твердыни утесов.

Фрэнки Лоренцо спит на спине и мирно похрапывает. Рядом с ним лежит жена, Грэйс. Она не спит, с нетерпением ожидая рассвета и чувствуя, как в ней зарождается новая жизнь.

И нитка,  
второе  
скрученная



ПЕРЕВОД А. МАРТЫНОВОЙ. РЕДАКТОР  
И. БЕРНШТЕЙН

На северо-западе сгущались облака, сначала похожие на хлопья ваты, гонимые по небу напористым ветром, потом — на клубы серого дыма и в конце концов — на вздыбленные под самую высь крепостные валы с бастиянами. Мрачная стена тянулась через весь горизонт, и солнце уже не сияло, а только угадывалось в бледном свечении за серой пеленой. И море было серое и свинцовое. Оно лениво колыхалось, как тяжелое полотнище на утихающем ветру. Осень рано пришла в тот год, а за ней и зима, и небо затянуло тяжелыми тучами, грозившими земле дождем. На взморье, в парках и на фермах с деревьев уже опали листья, и только по склонам и на вершинах гор, тянувшихся вдоль моря, зеленым по серому еще проступали сосны, смоковницы и редкие дубы, и земля упрямо хранила здоровый темно-коричневый цвет.

Первый дождь просеялся из туч морозящим туманом и остался лежать влажной пеленой на земле, на скамейках бульваров и на отвесных гладких стенах зданий, асфальт улиц и дорог почернел от него. Потом этот первый дождь прошел, оставив после себя только холодную сырость в воздухе и обещание вернуться.

Настал июль, и набрякшие тучи походными колоннами двинулись на землю с океана; подгоняемые окриками резкого ветра, они брели, прихрамывая, со стертymi ногами, через все небо в наступление на твердыню гор. Какое-то время горы сдерживали их, и дожди опустошали только побережье, и завеса их разбивалась о колючие вершины. На флангах дождь падал в море. Высокий, об-



лаченный в серое туман отрезал горы от неба и всего остального мира и зловещим знамением повис над землей.

Потом дожди пробили бреши в линии обороны и стали делать вылазки на пригороды, налетая и снова отступая, — по утрам на окнах стыли струйки влаги и сырость лежала на бетоне шоссе, убежавшего на север, мокро блестели широкой дугой изгибающиеся рельсы железнодорожных путей.

За городом земля принимала дождь и поглощала его, впитывая влагу и все темнея, пока не стала совсем черной. Земля утоляла жажду ливнями, а потом, пресытившись, размякла и, когда человек ступал на нее, поддавалась под ним, и в грязи оставались кривые борозды от его подошв или, если он шел босой, круглые лунки, где он давил пяткой и подушечкой ступни, и отдельно, совсем маленькие, от пальцев его ног.

Жители, ютящиеся в убогих хижинах и лачугах вдоль государственного шоссе, по обеим сторонам железнодорожных путей и на песчаных пустырях, тревожно следили за небом, не сводя глаз с северо-запада, где за горой нависли разбухшие от влаги тучи. И когда разразились дожди, забарабанив по крышам, рабочие потащили домой подхваченные где придется коробки из гофрированного картона, листы ржавой жести, обрезки оцинкованного железа, чтобы спешно залатать прохудившиеся кровли. Этот хлам укладывали на крышах и прижимали камнем потяжелей, чтобы не снесло ветром.

Дети играли среди луж на раскисшей земле, месили пальцами босых ног податливую жидкую грязь. И: Слушай, ну и повезло мне, ты только подумай — полную жестянку битума я получил за пять монет! Ясное дело, налево. Битум — это как раз то, что надо, не пропускает воду. Окунуть в него мешковину, и затыкай щели и дыры. Похоже, этот год собирается быть дождливым, а? Надо полагать, что так. Старуха уже жалуется на свой ревматизм. А по мне, пусть льет сколько влезет, мне бы только была жестянка пива в холодный день, а так — плевать я хотел. Слушай, парень, я помню, однажды лило двадцать суток подряд, без перерыва, ей-богу. Арви обещался притащить домой гудрону. Он работает как раз рядом с муниципалитетом. Знаешь что, не нравится мне вон та дыра, Джонни, ты бы заделал ее, чем сидеть

сиднем, штаны протирать. «Дождик, лить тебе не лень, возвращайся в другой день», — пели дети.

Небо нависло тяжелое и серое, загородив солнце, дневной свет померк, на смену ему пришли противоестественные, сырые сумерки. Снова брызнул дождь и, окропив мир, приостановился ненадолго, а потом хлынул на землю целыми потоками. Постепенно его перестало лихорадить, он выровнялся и зарядил в размеренном, устойчивом темпе, непроглядный, холодный, серый.

## 2

Шум воды, протекавшей сквозь кровлю, разбудил Чарли Паулса. Под порывами ветра дождь косо хлестал по лачуге, свистя и барабанив в стены из рифленого железа, поливая крышу. Ветер с ревом, будто в ярости, швырял дождь на дом и тут же, отпрянув, уносился прочь, свистя в облупившемся мокром железе.

Чарли Паулс заворочался на своей продавленной, с растянутой сеткой железной кровати, он спал, закрыв лицо согнутой левой рукой и подложив под локоть другую. Слыша в полусне шум ливня за стеной, он, не просыпаясь, натянул на плечи старое армейское одеяло. Но сразу же снова повернулся, рука соскользнула с лица, ударилась обо что-то тыльной стороной, он забормотал во сне и тут, всплыв из глубин забытья, сквозь шум дождя снаружи отчетливо различил другие звуки: в комнату с потолка протекала вода.

Вначале это было редкое, нерешительное покапывание по дощатому полу; потом капли глухо зачастили, сливаясь в струйки. Чарли открыл глаза, зевнул, вытер с подбородка слюну. Тьма окружала его густым мраком наглухо замурованного склепа, и он лежал в этой тьме и слушал, как каплет с потолка вода.

И еще в комнате стояли разные запахи. Запах пота, и запах нестираных одеял, и запах непроветриваемых постелей совсем рядом, и где-то в отдалении — тяжелый запах стряпни, застарелой сырости и мокрого железа. Но он не внюхивался, он слушал, как падает на пол вода. В другом углу комнаты на такой же железной кровати метался, дергался во сне и проклинал кого-то его брат Рональд.

Чарли сел в постели, и старое армейское одеяло, соскользнув с плеч, упало на поднятые колени. Он спал в одном нижнем белье, почти не чувствуя холода. Протерев глаза, он скоро привык к темноте и стал понемногу различать очертания предметов в комнате: вон дергается во сне долговязый Рональд, вон темнеет квадратная громада шкафа и еще одна кровать, на которой спит Йорни.

Чарли дотянулся левой рукой до ящика из-под яблок, служившего ему ночным столиком, пошарил — книжка без обложки, сигареты — и нащупал спичечный коробок. Он чиркнул спичкой и осмотрелся при свете ее слабенького дрожащего пламени, трепетавшего на вечно гуляющем в доме сквозняке, который тянул из бесчисленных щелей; вглядевшись в полумрак, различил лужицу воды, растекавшуюся на полу у обшарпанного, с разбитым зеркалом и сорванными петлями шкафа. Спичка догорела, он зажег другую и опустил босые ступни на пол.

Половицы под ногами были холодными. Чарли встал, наклонил голову, чтобы не задевать потолок, и пошел к полке на противоположной стене комнаты, прикрывая ладонью горящую спичку, поднял стекло фонаря «летучая мышь», выкрутил и зажег фитиль. Когда фитиль занялся, он потряс спичкой, затушил ее и бросил на пол.

Опять налетел ветер и обрушил на дом новую лавину дождя, нахлестывавшего по железу какую-то минуту, и опять метнулся в сторону и понесся прочь, сопровождаемый глухим дребезжащим перестуком.

Чарли подкрутил фитиль, фонарь разгорелся ровным ярким пламенем и осветил всю комнату и коричневое лицо Чарли, выхватив из темноты его широкие скулы и подбородок, закругленный и твердый, как носок армейского ботинка. Впалые щеки покрывала черная щетина, и глубокие складки, словно в скобки, заключали крупный, насмешливый и чувственный рот. Лоб у него был широкий и низкий, далеко вперед набегали густые курчавые волосы. На правой скуле чернела родинка. А глаза были темно-карие, цвета каштанов, они мерцали в свете лампы, глазные яблоки отливали желтизной.

Он поставил лампу и, пошарив взглядом по тесной, как коробка, комнатушке, нашел четырехгаллонный, весь во вмятинах бидон для керосина. Он перенес его туда, где на полу под течью растекалась лужа. По дороге за-

дел бидоном о железную кровать, на которой спал Рональд, и от звона жестянки тот проснулся.

Рональд рывком поднялся и сел на кровати, прислонившись спиной к картонной перегородке, отделявшей их от кухни, — все это одним испуганным стремительным движением, громко вскрикнув: «А? Что это? Что?»

Чарли поставил бидон на пол под течь. Шум шлепавшихся в лужу капель внезапно сменился барабанной дробью, когда капли застучали по железу, а затем постепенно перешел в монотонное позвякивание.

Чарли сказал, возвращаясь к своей кровати:

— Извини, парень, я тебя разбудил. Чертова крыша протекла.

Под его сильным телом старые скрипучие половицы, прогибаясь, ходили ходуном. Он опустил на кровать и сидел, задумавшись, в своем заношенном белье. Другой брат, Йорни, спал лицом к стене под старым, распотрошенным стеганым одеялом, виднелась лишь одна его коротко остриженная голова. Дождь со свистом хлестал по дому.

Рональд не лег, он протирал сонные глаза. Чарли потянулся за коробкой сигарет, вытащил одну, прикурил. Крохотное оконце между их кроватями сотрясалось под порывами сильного косого дождя.

— Сладкий сон приснился? — спросил Чарли, пуская дым через нос и поглядывая на Рональда. И улыбнулся, обнажив сильные крупные желтоватые зубы. — Ты, парень, так барахтался, будто у тебя там под одеялом эта самая Сюзи Мейер, ей-богу.

— Что? Ну чего тебе? — пробормотал Рональд, вытаращив глаза на старшего брата. — Ничего мне не снилось. Какого черта тебе от меня надо?

Чарли ухмыльнулся.

— Не мне, чудак, Сюзи Мейер.

— Ну а что тебе дала Сюзи Мейер? — запальчиво спросил Рональд. Он почувствовал, что краснеет, и сердито уставился на Чарли.

— Женился б ты на ней, хоть сны бы не мучили, — сказал Чарли. Ему нравилось дразнить Рональда.

Рональд громко и отчетливо произнес:

— Слушай, ты. Слушай, jong, малый. Оставь меня в покое. Понятно?

Чарли ответил, пуская дым:

— Малыша разбудишь.

Он показал большим пальцем туда, где спал Йорни.  
— Ну а чего ты тогда привязался ко мне? — возмутился Рональд. — Вечно придирается, придирается.

— Да брось, — сказал Чарли и скользнул под одеяло, но оперся на локоть, чтобы можно было курить. — С тобой просто шутят. Никто не виноват, что ты лезешь в бутылку, стоит кому-нибудь упомянуть про эту Сюзи Мейер. — И он исподтишка хмыкнул.

Рональд сердито смотрел на брата, ожидая, что тот еще скажет. Ветер стих, и слышался только шум дождя и звон падающих в бидон капель. Чарли посмотрел туда, где протекал потолок, и буркнул:

— Надо будет утром заделать.

Рональд облегченно вздохнул и улегся обратно в ложбину своего продавленного тюфяка, но не сводил с Чарли из-под краешка одеяла угрюмого настороженного взгляда.

— Ветер затихает, — заметил Чарли.

Малыш Йорни забормотал во сне и заворочался под лохмотьями, оставшимися от стеганого ватного одеяла. Чарли посмотрел на будильник, стоящий на полке у дальней стены.

— Скоро вставать. — Он перевел взгляд на окно, квадратное отверстие, вырезанное в стене и заделанное куском грязного стекла. Там, за пеленой дождя, лежал мир, черный и мокрый. Пламя «летучей мыши» и маслянистая гарь от нее слегка согревали воздух, и Чарли решил не тушить лампу. Он докурил сигарету, а окурок придавил на полу у постели.

Он громко зевнул и сказал с притворной серьезностью:

— А здесь и здесь, — он показал, — у нее, между прочим, все как надо, это точно.

Рональд этого ожидал. Он взревел, нащупал у кровати ботинок и пустил им в Чарли. Ботинок пролетел через комнату, чуть не задел фонарь, но Чарли, небрежным жестом подняв руку, отбил его в воздухе, и он с глухим стуком упал на пол.

Рональд снова сидел на постели и свирепо смотрел на Чарли. У Рональда были широко раскрыты глаза и от волнения подергивались щеки. Он крикнул, чуть не плача:

— Лучше перестань, слышишь! Я тебя предупреждаю, лучше прекрати это.

Чарли, нахмурившись, сказал:

— Ну ладно, хватит. Ты чуть пожара не наделал.

— А ты... говорят тебе... прекрати это! — захлебываясь, прокричал Рональд.

На другой половине, за стенкой, скрипнула и запела пружинная кровать, будто сломанная арфа, и раздался голос матери:

— Ну что там у вас происходит, мальчики? Вставайте или лежите тихо, но не беспокойте отца.

— Хорошо, ма, хорошо! — прокричал в ответ Чарли. — Тут у нас крыша потекла, и мне пришлось подставить посудину, я искал жестянку. — Он сидел на краю кровати.

— Тише, не беспокойте папеньку, — с ухмылкой сказал Рональд. — Наш папенька заслужил отдых. Дрыхнет все дни напролет.

Чарли потянулся к спинке кровати, там висели его джинсы. Он сказал:

— Оставь старика в покое. Пусть он *kegel*\* отдыхает. Никто тебе не давал права так о нем говорить.

Он просунул ноги в штанины и встал, подтягивая и расправляя джинсы на поясе.

— Ух, — сказал Рональд, — подумаешь.

Чарли покончил с пуговицами на джинсах и затянулся старым, потрескавшимся армейским ремнем.

— Никто тебе не давал права говорить об отце в таком тоне, — повторил Чарли.

Он продернул ремень через медную пряжку, попал дырочкой на шип и конец заправил в хомутик. Потом снова сел на кровать и, нагнувшись, стал искать ботинки.

— Липни лучше к своей Сюзи Мейер.

— Опять, да? — грозно сказал Рональд.

— Ладно, приятель, забудем, — усмехнулся Чарли. — Забудем. С тобой пошутить нельзя. — Он всунул ноги в башмаки и притопнул, затем положил ногу на ногу и принялся шнуровать их. — Похоже, дождь решил передохнуть, — сказал он. И посмотрел в окно. По стеклу еще сбегали одинокие капли, но темнота за ним уже растворялась в сером. — Ну не забавно ли, — сказал Чарли. — А? Мне на работу не надо, а я все равно первым встал, не то что ты, вечно валандаешься до послед-

---

\* Старик (африкаанс).

ней минуты. Держу пари, в проходную прибежишь на полусогнутых.

Рональд сказал:

— Стану я торопиться из-за этой паршивой работенки, будь она проклята совсем.

— Они тебя выставят на улицу, парень.

— Ну и что, меня с ней не венчали, найду другую, только и всего.

Чарли открыл рот, чтобы сказать кое-что насчет венчания и Сюзи Мейер, но передумал и только засмеялся.

— Твое дело, — сказал он.

Младший, Йорни, тоже проснулся и смотрел на них из-под своего стеганого одеяла опухшими от сна глазами.

— Эй вы, — захныкал он. — Чего вы здесь расшумелись, типы?

Рональд огрызнулся:

— Ну, ты, слюнявый...

— Поспи еще, pikkie, поспи, малыш, — вмешался Чарли. — Еще рано.

Он закурил новую сигарету, коробку положил в карман, поднялся и пошел к двери. Дождь уже успокоился и не хлестал больше, а лишь постукивал по рифленому железу стен. Чарли был высокого роста. У него были широкие плечи и широкая грудь человека, привыкшего к физическому труду. Мускулы бугрились и переливались под его заношенной фланелевой фуфайкой. Его тень метнулась по стене над кроватью Рональда, как черный призрак, боящийся света. Чарли прошел к двери в своих старых ботинках, с сигаретой, свисающей из уголка широкого подвижного рта, — дымок вился вверх по скуле, и, чтобы он не попадал в глаз, Чарли прищурился.

Он повернул голову и еще раз пристально оглядел потолок. Распрямленные коробки и листы прессованного картона, которыми он был обшит, покособились и рябили потеками с прошлой зимы, а там, где ночью открылась новая течь, по картону расплзались черные очертания целого материка сырости. Капли воды медленно набухали и нехотя отрывались и падали вниз в подставленную под течь жестянку.

«Это на том краю, где отошел лист цинка, — сказал себе Чарли, рассматривая пятно. — Похоже, что дождь притих, пожалуй, успею починить». Он вынул сигарету

изо рта и стряхнул пепел в бидон на полу. Там уже набралось воды пальца на три.

Рональд сказал, все еще сидя на кровати:

— Тьфу, будь оно проклято! В такой дождь человек должен тащиться на работу.

Он принялся одеваться, продрогший и злой на весь мир.

### 3

Чарли открыл дверь и вышел в темную кухню. Зажег спичку, отыскал второй фонарь. Он висел на балке под прогнувшимся от сырости картонным потолком. Чарли зажег фонарь, и пламя высветило в кухне побитые, с закопченными днищами кастрюли, висящие в ряд над старой железной печкой, лезвие кухонного ножа, подвешенного сбоку к столу на обрывке засаленного шнура, продетого в отверстие на конце рукоятки, металлическую крышку треснувшей сахарницы на посудной полке.

Пол в кухне прогибался и стонал под тяжестью Чарли. Дождь стучал в дверь, совсем как человек перед тем, как войти. В кухню выходила и другая дверь — из комнаты родителей. Из-за тоненькой, вылинявшей занавески, повешенной в проеме вместо двери, слышался шорох, скрип кровати и глухой звук поправляемой на ногу ударом об пол туфли.

Потом голос матери позвал:

— Чарлз, это ты? Растопи печку, сынок.

Оттуда же донесся надрывный, бурлящий мокротой старческий кашель.

— Есть такое дело, ма, — отозвался Чарли.

Он подошел к наружной двери, отодвинул засов и распахнул ее. Ветер швырнул ему в лицо сноп мелких брызг, и он невольно отступил с порога, поеживаясь от холодной сырости. Дождь обдал порог, брызнул в кухню. Он шел теперь уже не сплошной непроглядной стеной, а падал отдельными мелкими, стремительными каплями. Чарли зажал сигарету в кулак и выглянул за дверь. Холода он уже не чувствовал, он вообще быстро приспосабливался к сменам температуры. Только грудь подернуло гусиной кожей.

Небо было густо-черное, и лишь к горизонту, далеко за темными очертаниями лагун и деревьев, просвечивала



серым, в цвет помоев, узкая размазанная полоса над дальними, еще не различимыми горами. И как бы в подтверждение приближавшегося рассвета где-то среди лагун петух прокричал властное кукареку. Мир булькал и бультахался во тьме. Прокричал второй петух, третий... Пронзительным лаем залилась собака.

Чарли щелчком отшвырнул окурок в мокрую темень, проследил, как он красной точкой мелькнул в воздухе и, описав дугу, исчез. Потом закрыл дверь, зажег еще одну спичку и бросил ее через конфорку в железную плиту. Пламя охватило бумагу под щепой и тщательно положенными поверх кусками угля. Плита замурлыкала спросонок и затем тихонько загудела. Чарли переставил эмалированную кастрюльку с водой с края плиты на конфорку и ушел обратно в комнату.

Рональд уже оделся. На нем были брюки в обтяжку, старый свитер с оленем на груди и мягкая кожаная куртка. Он зачесывал волосы перед треснувшим, засиженным мухами зеркалом на дверце платяного шкафа. Умывать-ся было не принято.

— Дождь все идет? — спросил он и положил щетку на полочку — просто ящик из-под помидоров, прибитый к деревянной подпорке стены, — рядом с запыленной баночкой густого зеленого бриолина и скелетом пластмассового гребешка с приставшими к последним зубьям-ребрам высохшими останками волос.

— Да, — сказал Чарли, — да, — и сел к себе на кровать. Долго стоять в комнате пригнувшись было трудно. — Но не очень сильный. Так, немного моросит. Я думаю, чуть погода совсем перестанет.

— Откуда это ты знаешь, что перестанет? — спросил Рональд с ехидной ухмылкой. — Откуда это ты только знаешь такую кучу вещей о том, когда дождь перестанет и сколько он еще будет идти? Ты и впрямь умный малый, верно?

— А я и не говорю, что знаю, — ответил Чарли. Он сидел, опершись локтями о колени, свесив крупные тяжелые кисти рук. — Кто говорит, что я знаю? Просто я так думаю. Тоже мне. — Он взглянул на Рональда и усмехнулся: — Это ты у нас умник. И все-то тебе не слава богу. И с погодой не так, и с этой Сюзи Мейер.

Рональд бросил взгляд в его сторону. Он начищал ботинки плетеной щеткой, ставя на край табуретки сначала одну ногу, потом другую.

— С чего это ты взял насчет Сюзи Мейер? Снова начинаешь, да?

Чарли засмеялся.

— Валяй, валяй, надраивай, замечательно они будут выглядеть, когда ты припустишься за автобусом.

Рональд был франтоватый малый.

— Ладно, это, кажется, мое дело, верно? — бросил Рональд. Он положил сапожную щетку на платяной шкаф и пошел на кухню.

— Поесть готово? — слышался оттуда его недовольный голос.

А голос матери отвечал:

— Подождешь немного. Прежде всего я бы поздоровалась.

— В таком случае здравствуйте, — проворчал Рональд и повысил голос: — Почему человек вечно должен дожидаться своей жратвы?

— Что это ты такой раздражительный? — прикрикнула на него мать. — Ишь важный какой стал.

Чарли хмыкнул. Затем поднялся, подошел к платяному шкафу, открыл скрипучую дверцу и вытащил из стопки белья свою старую защитного цвета рубашку. Встряхнул ее, она развернулась, натянул через голову и, на ходу заправляя в вылинявшие джинсы, тоже пошел на кухню.

#### 4

Рональд сидел на скамейке у стены за выскобленным дощатым столом и жадно глотал из эмалированной щербатой миски горячую овсянку. Кухня, как и весь дом, была маленькой и тесной, и перемещались в ней с осторожностью, по очереди, чтобы разойтись и не столкнуться чего. Скамейка и несколько ящиков, таких, чтобы они могли свободно задвигаться под стол, служили сиденьями, а по стенам висели закопченные сковороды и кастрюли. Стены были из старого рифленого железа, изнутри кое-как выкрашенного. Они держались на деревянных подпорках, наворованных или принесенных со свалки. За дверью висел старый календарь с изображением веснушчатого голубоглазого мальчика с золотыми кудряшками, ласкающего неизвестной породы щенка со счастливой собачьей физиономией. Картинка называлась «Прятели», но под-

пись вместе с названием мебельного магазина, выпустившего календарь, была замазана коричневой краской. Потолок, обшитый картоном, разбух и провис, и, чтобы не задеть его, мужчинам приходилось пригибать голову. Он был черный и заплесневел от сырости. Во всем доме стоял запах плесени, но его давно перестали замечать.

Рональд уткнулся в тарелку и мрачно поглощал свой завтрак. Свет от лампы бросал блики на его напوماженную голову. Он во многом еще был подростком, трудный возраст отражался в ожесточенном взгляде карих глаз, в презрительной ухмылке рта и в дерзкой отваге его затаненных мыслей, злобных, как цепные собаки.

Чарли сказал, входя в теплую кухню и вдыхая запах горящих дров и булькавшей на огне овсяной каши:

— Доброе утро, ма. Опять потекла эта чертова крыша.

— Придется тебе ею заняться, — сказала мать, не поворачиваясь от плиты. — В нашей комнате тоже сыро. — И Рональду: — Ты бы поторапливался. Пропустишь первый автобус. — И снова Чарли: — Дом, того и гляди, рухнет. Не знаю, что и делать, отец-то совсем болен.

— Болен, — передразнил Рональд, выскребая из миски остатки каши и поднимаясь. — Он болен уж черт-те с каких пор.

— Ты все-таки придержи язык, когда об отце говоришь, — оборвала его мать.

Чарли посмотрел на своего младшего брата.

— Молчал бы, если нечего сказать. Не ты этот дом строил, не ты его чинишь, не тебе и говорить.

— Придирайся, — огрызнулся Рональд, хватая со стола пакет с бутербродами. — Вечно придираются, придираются, придираются...

— А ну замолчи, чертенок! — прикрикнула мать и пригрозила ему разливательной ложкой. — Замолчи и отправляйся на работу.

Рональд сунул за пазуху пакет с бутербродами и стал пробираться к двери. Нахмурившись, он встал к ним спиной, долго возился с задвижкой, пока наконец не распахнул дверь. Завеса мелкого дождя заполоскалась перед ним покрывалом из жидкого кружева.

— Только и знаете, что придираются, — сказал он, шагнул в посеревшую уже темноту и хлопнул за собой дверью.

— Просто не знаю, что с ним будет, — сказала мать, смахивая с лица прядь волос. На лбу остался след от руки, вымазанной в овсянке. — Отец наш совсем плох, и Каролина не сегодня завтра разрешится. А ему все тынтрава.

— Да ничего. Ронни хороший парень, — сказал Чарли. — Он еще исправится, ма, вот увидишь. — Он улыбнулся ей. — Ну, ладно, пойду взгляну, как там сегодня наш старик.

Он прошел за занавеску в другую комнату. Пламя свечного огарка, стоявшего на хромом комоде, накренившемся на неровном полу, дрожало от сквозняка и бросало неверный свет на убогую обстановку. На широкой, прогнувшейся, дребезжащей от каждого движения кровати из-под вороха старого тряпья виднелась голова старшего Паулса. Огарок высвечивал белки его глаз и отражался в медном шарике на спинке кровати.

Когда-то, очень давно, папаша Паулс был сильным высоким мужчиной, но теперь от него остался один скелет, детский рисунок человечка. Его темное лицо бороздили следы от схваток с нуждой и болезнью, высохшее и опустошенное лицо, череп, обтянутый тонкой кожей, чудовищная маска, грубо и наспех вырезанная из куска коричневого, в глубоких трещинах дерева. Костлявые колени вздымались под одеялом двумя острыми горными пиками и подергивались, будто горы било землетрясением; и весь он дрожал мелкой дрожью от лихорадки и сквозняка, тянувшего из щелей и старых дыр от гвоздей, которыми были испещрены стены. Ввалившийся беззубый рот был открыт, а впалая грудь kloкотала и посвистывала, будто чайник на огне. Старик весь дергался, как страшная заводная игрушка.

Чарли остановился в ногах кровати и тихо спросил:

— Ну как, отец?

Ввалившиеся глаза обратились к нему, и губы беззвучно зашевелились, совсем как у выброшенной на берег рыбы. Больной старик цеплялся негнущимися пальцами за отвесную скалу жизни из последних отчаянных усилий.

Чарли сказал:

— Отдыхай, отец. Лежи, отдыхай.

Он подмигнул старику, повернулся и вышел.

— Старик плох, — сказал он, возвращаясь в кухню. Он сел за стол. Ему пришлось согнуться, чтобы уместить

свое крупное тело в таком маленьком пространстве. — Сколько еще этот дождь собирается лить, ма, как ты считаешь?

— Бывает, что дней восемь, — сказала мать. — Похоже, будет скверная зима. Отцу тяжело придется. Может, он съест сегодня хоть немного овсянки. Уже почти ничего не может есть, бедняга. — Она вздохнула. — Многих он доконает, как зарядит, этот дождь. Ты бы посмотрел крышу. — Она поставила перед ним полную тарелку дымящейся овсяной каши.

— Взгляну, — сказал Чарли, принимаясь есть. Он подал на ложку с кашей. — Может быть, еще и нет ничего страшного.

— Если б только Ронни взялся за ум. Совсем от рук отбился. Дерзит, вечно всем недоволен, грубить стал. Он и отца расстраивает, а разве его можно волновать.

— Он еще исправится, ма.

— Он попадет в беду. Вот посмотришь, мы еще хлебом с ним горя.

— А, да он еще молокосос. Девчонка у него завелась, вот и все. Сюзи Мейер.

— Я, — сказала мать, перемешивая в кастрюле остатки каши. — Да, я уже о ней наслушалась. Миссис Апполлис говорила, у Сюзи был ребенок от женатого человека. Подумать только. И крутит она со всеми без разбора. Она мне не нравится, вот что я скажу. Хоть бы он и вправду не спутался с ней.

— Ну, может, она не такая уж и плохая, ма, — сказал Чарли, посыпая себе кашу сахаром. — Многие приносят в подоле, не она одна.

— Скажите, какой нашелся! — рассердилась матушка Паулс. — У тебя все хорошие. «Не такая плохая», Замечательная! По тебе, что ни возьми, все ладно. «Все приносят». Вырастишь своих, тогда узнаешь. — Она вытерла руки о грязное кухонное полотенце. — И не выгребай весь сахар. Это у нас до пятницы.

Чарли улыбнулся, поднося ложку ко рту.

— Ладно, ма. Хорошо. Успокойся.

Дождь свистел и хлестал по дому. На востоке небо бледнело, медленно наливаясь тусклым, безжизненным светом; робко разбавляло серым черное, как будто острое утро тихо кралось мимо часовых обложного дождя.

В комнате больного скрипела и сотрясалась кровать, и из-за занавески послышался стон. Чарли сказал, тщательно выскребая ложкой тарелку:

— Совсем плох старик.

— Пойду покормлю его овсянкой, — сказала мать. — Ему бы надо, конечно, супу. — Она пошла к плите, сняла с огня облупившийся эмалированный кофейник и поставила на стол. Чарли подождал, пока она налила ему в чашку кофе. Мелкий дождь стучал по стене и, звеня, стекал с крыши. В детской вода с металлическим призвуком полилась в бидон, поставленный под капель.

— Похоже, стихает, — сказал Чарли. Он потянулся за сахаром.

— Одну ложку, — сказала ему мать. — Будем надеяться. Ты бы заделал крышу-то, пока совсем не провалилась.

Сгорбившись на деревянном ящике за столом, Чарли размешал сахар, медленно поднес чашку к губам, подул на кофе, осторожно отхлебнул, снова подул и тихонько поставил чашку на треснувшее блюдо. Матушка Паулс сидела на скамейке у плиты, откинувшись к стене, закрыв глаза, словно о чем-то мечтала.

Чарли снова поднял чашку и стал пить, слушая, как шумит за стеной дождь. До него доносился откуда-то издалека резкий шелест листвы на деревьях, будто ветер трепал афиши на щитах.

Он поставил чашку, пошел к двери, открыл ее. Шелест листвы стал сильнее, и в кухню ворвался холодный ветер. Он сорвал с карниза капли воды и швырнул их через дверь в кухню, дунул на лампу, и тени заплясали на закопченных стенах.

Матушку Паулс обдал поток холодного воздуха, и она открыла глаза.

— Что? Что случилось? — проговорила она.

— Смотрю, не кончился ли дождь, — сказал Чарли.

— Закрой дверь, — сказала мать.

Над темным и грязным двориком, над черными лужами, на которые падал из двери слабый желтый свет, над верхушками старых смоковниц, над сбившимися в кучу лачугами, нагроможденными по всему пустырю, — над всем этим на небе проглядывало белесое пятно, постепенно расплывавшееся, будто течь на прохудившейся крыше вселенной. Дождь перестал, но ощущение его, как угроза, еще висело в воздухе.

На задворках кричали петухи, коричневая овчарка-полукровка по кличке Сторож вприпрыжку вынырнула из рассветного мрака, насквозь мокрая, будто после купания, и ворвалась в кухню.

— Прогони собаку и закрой дверь, — проворчала мать. — Она тут наследит по всему полу.

— Пошел, Сторож, пошел, — сказал Чарли, похлопав собаку, и закрыл за ней дверь. — Скорей бы уж рассветало, — продолжал он. — Хочу управиться с крышей, пока снова не польет.

Собака оставила на полу кухни грязные следы.

Чарли пошел к себе в комнату, протиснулся в дверь, которая открывалась только наполовину из-за платяного шкафа. Младший, Йорни, посмотрел на него из-под одеяла, под которым он съежился на своей раскладушке. На двери с внутренней стороны висел желтый армейский плащ. Чарли снял его, просунул руки в рукава, запахнулся. Надел свою старую суконную кепку.

С потолка уже почти не текло, зато по нему чуть не в половину комнаты расползлось мокрое, неправильной формы пятно.

Чарли долго смотрел на него нахмурясь и затем, громоздкий и неуклюжий в желтом клеенчатом дождевике, выбрался из комнаты.

## 5

Папаша Паулс построил этот дом давным-давно, еще когда они с матерью перекочевали в город из деревни. Мать была беременна Каролиной, а Рональд ковылял сопливым мальчишкой, цеплялся за ее подол и вечно скулил, как ушибленный щенок. Отец арендовал участок, один из немногих еще не занятых на этом песчаном пустыре, как раз застраивавшемся в те годы жалкими лачугами, которые выскакивали тогда, как болячки на ноге, на этой полосе земли, вытянутой вдоль шоссе-дороги.

Такие же, как они сами, приютили мать и Рональда, пока отец с Чарли жили в палатке из натянутых одеял, охраняя семейные пожитки и сколачивая дом. Фредерик Паулс работал отчаянно, надо было успеть построить хижину прежде, чем матери придет время рожать, и до того, как зарядят дожди. Но они с Чарли так и не успели, и Каролина родилась в курятнике, другого места люди,

которые их приютили на первое время, им предложить не могли.

Отец и Чарли рылись на свалках, выпрашивали, а ночами потемней и воровали материалы для дома. Они за несколько миль таскали листы ржавого рифленого железа, доски, планки, куски картона и все, что могло понадобиться для сооружения лачуги: распрямленные канистры из-под горючего, рекламирующие фабричную марку автомобильного масла (это пошло на стены дома), ржавые закорюченные гвозди, которые Чарли выдергивал из старых досок на свалке среди мусора и выпрямлял молотком на камне; тряпье для заделки щелей и дыр, обрывки проволоки и вощеной бумаги, коробки, обрезки жести и обрывки провода, фанерные ящики и две железнодорожные шпалы. Самой потрясающей находкой оказалась печь. Она была найдена на куче щебня, вся покрытая ржавчиной, с продырявленными боками, всего с двумя конфорочными кольцами, без дверки и дымовой трубы. Отец с Чарли погрузили ее на самодельные салазки и волоком протащили четыре мили по дороге до самого участка. Чарли очистил печь от ржавчины, а отец сделал из листа жести и двух канистр новую дымовую трубу. Сосед, вызвавшийся им помочь, приволок откуда-то несколько побитых огнеупорных кирпичей.

Отец с Чарли — время от времени им помогали и другие обитатели трущоб, цветные и черные, — залили четырехгаллонные жестянки бетоном и дали ему схватиться. А тогда расположили их по углам квадрата, и на них настелили пол кухни и спальни. Некоторые доски для настила оказались слишком короткими, и их пришлось наращивать. Сколачивали внахлест и, пока не привыкли, на полу долго спотыкались. Потом возвели стены — мозаику из старого оцинкованного железа и распрямленных жестянок из-под бензина, прибитых и прикрученных к подпоркам где гвоздем, где проволокой, — с квадратным отверстием, оставленным под окно в спальне. Отец выпросил кухонную дверь у компании, занимавшейся неподалеку сносом домов, и ухитрился даже заодно заполучить дверную раму для спальни вместе с несколькими наличниками.

Как только кухня была готова, они и перебрались, вместе с плитой, конечно, которую водрузили на добытые соседом огнеупорные кирпичи. И уже потом заканчивали другую комнату.



Пришла зима, бетонные опоры осели в расквашенном грунте, и дом скосбочился. А к тому времени, когда закончили спальню, стало еще хуже — казалось, две половины вот-вот отвалятся друг от друга. Но папаша Паулс сколачивал их, сбивал, скручивал проволокой и неустанно молил бога, чтобы его постройка уцелела.

Крыша была приколочена гвоздями, а для большей прочности они придавили ее тяжелыми булыжниками. В самом конце отец даже смастерил маленький навес над кухонной дверью, которая была единственным входом в дом, а железнодорожная шпала пошла на ступеньку. В конечном счете как их дом ни кряхтел и ни скрипел, как ни стонал, словно мученик на кресте, а устоял перед лицом непогоды, а потом и вовсе прирос к земле с упорством древних развалин.

Когда Рональд и Чарли подросли и в хижине стало тесно, к кухне пристроили еще одну комнату, и тогда все сооружение приобрело вид настоящего карточного домика: дунь — и развалится. Крылечко в кухню незаметно как-то само собой исчезло.

И теперь, ступив за порог, Чарли, громадный в желтом клеенчатом дождевике, сразу почувствовал под ногами раскисшую, хлюпающую грязь. В воздухе еще висела мокрая дымка, но уже не моросило.

Он повернул голову и крикнул в кухню:

— Дождь перестал, ма!

Небо над головой все больше светлело, и вокруг вырисовывались, появляясь из темноты, знакомые предметы: чахлое тутовое деревце, и колья покосившейся изгороди вокруг дворика, и лужа посредине, и жидкая, поблескивающая от света из окна грязь. Дальше среди мокрых фиговых деревьев жались, припадая к побуревшему от влаги песку, другие лачуги. Там и сям, как глаза призраков на кладбище, мерцали их огоньки. Тонким подвывающим голосом залилась собака, и резкий хор подхватил и понес хриплое крещендо навстречу наступающему дню.

Чарли пошел вокруг дома, с трудом вытягивая ноги из грязи и оставляя за собой глубокие следы, тотчас наполнявшиеся бурой водой, вдоль мокрой покосившейся стены из кусков жести, вкривь и вкось пришитых планками, и завернул на извилистую, утонувшую в грязи улочку между двумя беспорядочными рядами ободранных лачуг. Одни сбились в кучу, будто искали друг у друга спа-

сения от холода, а другие держались в стороне — бедные, но гордые, каждая посреди собственного болотца.

По сыкотной улочке уже двигались люди, шлепая по вязкой грязи и спотыкаясь, вобрав голову в плечи под серой угрозой, нависшей с неба. Они брели в сторону пригородного шоссе, где уже ждали автобусы, чтобы везти их до города или заводских окраин.

Мужчина и девушка пробирались мимо дома Паулсов, обходя рытвины и лужи. Девушка была в высоких резиновых сапогах. Мокрые сапоги блестели.

Мужчина приветствовал Чарли, помахав намокшим пакетом с завтраком:

— Эй, Чарли, привет, старина. Дрянь погодка, а?

— Ja, — отозвался Чарли через изгородь. — Теперь, надо полагать, зачистит... — Он выругался.

— Доброе утро, Чарли, — окликнула его девушка из-под капюшона. Она куталась в старое шерстяное пальто, влажное от промозглого утреннего тумана.

— Привет, Марджи.

Они захлюпали дальше по слякоти, а Чарли обогнул лачугу и остановился у задней стены. Здесь крыша опускалась, он мог дотянуться до нее руками. Бетонный устой, в который упиралась балка пола, ушел вниз в мягкую почву, и между ним и повисшим углом дома зияла пустота. Чарли снова обошел вокруг лачуги, вернулся во двор, где у пустого курятника валялись старые козлы для пилки дров.

Здесь, на задах, стояла еще одна лачуга — большой контейнер-клеть для перевозки легковых автомобилей, установленный в нескольких дюймах над землей на деревянных колодах. Чарли и муж Каролины Альфред купили и привезли его на грузовике старого Янни Исаакса из самого города. Они выломали несколько планок, получился вход, эти же планки пошли на дверь. Она не очень плотно закрывалась, и, чтобы не было сквозняка, на ночь ее завешивали изнутри старыми мешками. Крышу они покрыли толем. Чарли достал немного краски, и Альфред помалыриничал, как умел. Правда, на весь контейнер краски не хватило, и там, где она кончилась, осталась незакрашенная часть слова «Детройт».

Чарли перетащил козлы к задней стене, оттуда было легче забраться на крышу дома Паулсов. Он придвинул их вплотную, поставил ногу на перекладинку, пробуя, выдержат ли они. Затем, убедившись, что выдержат,

рывком оттолкнулся от земли, ухватившись руками за край крыши, подтянулся, неловкий в своем желтом балахоне, перекинул тело на кровлю дома, и все это быстро, чтобы под его весом не успела покоситься хлипкая лачуга.

Была минута, когда показалось, будто угол дома качнулся под ним. «О господи, — в отчаянии подумал он, — сейчас вся эта штука рухнет».

Но она выдержала со скрипом, только прогнулась под ним. И тогда он двинулся дальше со всей осторожностью, четвероногое в желтом дождевике, под мохнато-серым небом, прогибающимся от обременившей его влаги. Чарли рассматривал проржавевшие остатки кровли. Железо прогнило, отслоилось кусками ржавчины и в одном месте отошло во всю длину листа. Он прополз туда, с ужасом ощущая, как под его весом трещит прогнувшая жесь, и подумал: «Вот черт, тут нужен целый кусок железа».

Потом он так же слез с крыши, чувствуя, как его жилище дрожит и сотрясается, будто в лихорадке, и спрыгнул в раздавшуюся под ним жирную грязь. Из-за угла выглянула мать.

Чарли сказал:

— Пойду схожу к старине Мостерту, посмотрю, не найдется ли у него какого-нибудь хлама на крышу.

К крыше над головой он относился серьезно.

Он еще постоял у ржавой, рыжей стены их дома и, когда резким порывом ветер зашуршал по желтому плащу, подумал, только бы снова не нагнало дождя.

6

Вряд ли это можно было назвать улицей, даже переулком; просто измызганная, разбитая проселочная колея, петляющая как попало, вкривь и вкось, по целому лесу лачуг, хижин, будок и хибар; лабиринт щелей между лоскутной мозаикой дворов; корчащееся поле сражения; покрытое раскисшей грязью и переплетением ржавой колючей проволоки, искореженного железа, покосившихся кольев, прутьев, веток и всякого пришедшего в негодность ошестинившегося хлама, обрывков и обрезков, острых, как акульки зубы, — всего того, что пошло на со-

оружение изгородей вокруг утопающих в жидком месиве клочков земли.

По одной стороне поселка, отделяя его настоящим крепостным валом от собственно предместья, бугрилась хребтом вымершего чудовища городская свалка, и резкий сырой ветер трепал его чешую из обрывков истлевшей бумаги, стружек, кухонных отходов, консервных банок и всякой не поддающейся описанию гнили. А сверху на него взирало тоскливо серое небо.

Пробираясь этим вязким лабиринтом, Чарли украдкой поглядывал вокруг, как лиса, опасаящаяся ловушки. Время от времени он поднимал руку, приветствуя кого-нибудь за забором. В развалинах вокруг него шевелилась жизнь: глухо стучал топор по сырому дереву, визгливый голос распекал непослушное чадо. Отчаянно полоскалось на ветру мокрое белье, будто выцветшие флаги, оставшиеся после какого-то празднества; депутация дворняжек разнюхивала за хужиной какую-то таинственную приманку. И над всем этим висел плотный, тяжелый запах плесени, прелой мешковины, дождя, стряпни, курятников и шатких будок, отхожих мест, накрепившихся над лужами омерзительной жижи, совсем как пьяные над собственной блевотиной.

За обвисшей проволочной изгородью, на пустыре, размытом и перепаханном дождем и усеянном грязными клочками газетной бумаги, Чарли остановился. Он услышал свое имя, оглянулся и увидел у старой коновязи компанию парней.

Он сразу повернул к ним. Он зашагал неторопливо, вразвалку и тут же заметил, что их разговор, стихая по мере его приближения, иссяк, как вода в дырявой бадье. В нем шевельнулось любопытство и подозрение, но он все-таки улыбнулся, показав желтые квадратные зубы, блеснувшие в давно не бритой щетине.

Их стояло пятеро — целая коллекция огородных пугал, чучела, набитые трухой нищеты, наряженные в неописуемую рвань, бывшую когда-то куртками, штанами и головными уборами; двое босиком, с крепкими, заскорузлыми от грязи ногами, искавшими тепла в жидком месиве, люди с лицами без возраста, черные потухшие головешки.

Чарли сказал:

— Noit men, привет всей компании. Я слышал, кто-то упомянул мое имя?

Четверо с настороженными ухмылками обернулись к пятому. Пятый стоял по ту сторону коновязи и оглядывал Чарли Паулса недобрый взглядом. Несмотря на холод, он был без пиджака.

— И не думал о тебе говорить, Чарли, — сказал тот. Синяя сырая рубаша плотно прилипла к его мускулистым плечам. Это был крепкий, широкий в кости парень, но над поясным ремнем у него уже нависало брюшко, алкоголь разъедал его изнутри.

— Тогда все в порядке, — сказал Чарли. — Я просто спрашиваю, только и всего. — Он поскреб щетину на подбородке. — Ну а вы как, ребята, в порядке?

— Я, Чарли, конечно, да, — промычали четверо. Они смущенно переминались с ноги на ногу и поглядывали на толстого крепыша.

— Ладно, если уж тебе так хочется знать, — проговорил тот неожиданно с наглой усмешкой, но не очень решительно. — Мы говорили о твоём брате. Об этом сопляке Ронни.

Остальные протестующе забубнили хором:

— Эй, Роман, старик, никто не говорил... Мы ничего не говорили. Это ты зря, Роман, слышишь? Пошли. Ничего мы такого не говорили, это точно. — И они захлопали по грязи, отодвигаясь подальше от греха и оставляя Романа одного у коновязи.

— Ну, а чего вы тогда всполошились? — спросил Чарли, переводя взгляд с одного на другого. — В чем дело, а? — И Роману: — Ну и что Ронни?

— Ничего, — сказал Роман. — Просто ты ему брат. А я просто говорю, пусть этот Ронни лучше не пристаёт к моей девушке. Понятно?

— К какой девушке? — переспросил Чарли. — Ты, между прочим, мог бы сказать это Ронни сам. Верно?

— О'кэй. Но, может быть, ты все-таки передашь ему? Скажи, пусть он лучше держится подальше от Сюзи. — Роман смотрел на Чарли дерзким взглядом, в нем были вызов и презрение.

Чарли покачал головой и хмыкнул:

— Из-за всякой... беспокоиться. И не подумаю.

Черный соседский кобель подлетел к ним, повертелся вокруг столбов коновязи, оставил на каждом отметину и помчался дальше. Чарли посмотрел ему вслед. Потом он услышал, как Роман сказал: «Мое дело предупредить».

Он повернулся к Роману, громоздкий, неуклюжий в своем желтом дождевике.

— Эй, парень, — сказал он. — Мне не нравится твой тон. Понятно? «Предупредить»! Какие там еще предупреждения? Насчет чего это ты предупреждаешь?

— Насчет Сюзи. Это моя девчонка, — сказал Роман. На Чарли смотрело твердое, изрытое оспой лицо, похожее на глыбу выветренного песчаника. — Я только предупреждаю тебя, что этот сопляк сам нарывается на неприятность.

— Слушай, — сказал Чарли. В нем закипало раздражение. — Никаких предупреждений я передавать не буду. И тебя предупреждаю: оставь Ронни в покое. Понял? — Он сказал это спокойно и подумал: «Этот тип ищет ссоры, и, если он начнет задираться, придется снять дождевик».

— Это ты мне грозишь! Думаешь, я тебя боюсь? — сказал Роман, распаляясь.

— А, иди ты... — бросил Чарли. Он решил прекратить разговор. Он повернулся, чтобы уйти, но Роман обежал коновязь и бросился за ним с криком: «Нет, погоди! Что, трусил?..»

Чарли остановился вполуповорот к Роману и посмотрел на него поверх топорщившегося на плечах дождевика. Приятели Романа, хлюпая по грязи, подвинулись поближе и не спускали с них немигающих, вороватых и по-вороньи настороженных глаз. Каждый понимал, что Роман полезет драться. Чарли улыбнулся. Роман напоминал ему соседского кобеля, готового загрызть соперника из-за приглянувшейся суки.

— Ага, друг, смыться задумал? Нет, позволь, — наседал Роман.

Чарли сказал, поворачиваясь к нему лицом:

— Кто это смывается? Ну-ка повтори!

— Нечего мне грозить! — Роман знал, что на него смотрят. Над калитками, над заборами вокруг пустыря стали показываться физиономии. Люди, как собаки по мойку, пронюхали близкую драку.

— Ну и что дальше? — поинтересовался Чарли. — Захотел и пригрозил.

— Ты и твой братец, — зло ухмыляясь, сказал Роман, не желая уклоняться от первоначальной темы, — считаете, что можете просто взять и увести у человека женщину?

— Ты что, в уме? — сказал ему Чарли. — Ведь она тебе вроде не жена? У тебя есть своя жена. А вообще иди и объясняйся с Ронни насчет ваших девок. Не со мной.

— Ах, теперь ты прицепился к моей жене? — взвился Роман. — Лучше прикуси язык, ублюдок.

И как нападающая сторона, выискивавшая лишь повод для начала боевых действий, Роман решил, что теперь разговоры можно кончать, и двинулся на Чарли — голова втянута в плечи, руки в локтях согнуты и прижаты к груди, кулаки стиснуты.

— Ну, сейчас я тебя разделаю, приятель. А потом и до братца очередь дойдет. — Он грязно выругался.

Чарли сказал:

— Оставь его в покое, понятно? И вообще полегче, как бы тебя самого не разделали. — Он отступил и, не сводя глаз с Романа, расстегнул крючки на плаще.

Зрители вокруг возбужденно заорали:

— Воды! Разливать их!

А женский голос с другой стороны пустыря крикнул:

— Ды вы что, с ума сошли, драться, вы что, skollies, хулиганье?

Чарли швырнул дождевик одному из зрителей.

Роман больше не стал медлить. Пританцовывая, он ринулся вперед, сделал ложный выпад левой рукой и метнул вперед сжатую в кулак правую. Чарли подставил локоть, принял удар и резко отшвырнул его руку прочь. Он увернулся и от ноги Романа, норовившего угодить ему в пах, а сам лихорадочно вспоминал приемы бокса, которым его когда-то учили в школе при миссионерском клубе.

Он с размаху ударил Романа в живот и почувствовал, как его кулак ушел во что-то мягкое, как тесто. Чарли услышал, как тот стал хватать ртом воздух. Они скользили по грязи, пытаясь найти под ногами точку опоры. Роман дрался, как все хулиганы, без правил, полагаясь на грубую силу и грязные уловки. У Чарли перед глазами мелькал его круглый череп, твердый, как пушечное ядро, тупо скошенные плечи с мягкими подушками колыхавшегося мяса на руках от локтей и выше. Наконец Чарли поймал и зажал обе руки Романа и тут же отвел в сторону лицо, как раз вовремя, потому что тот рывком головы пытался таранить его в подбородок. А вокруг них вопили, стонали и приплясывали от возбуждения многочисленные зрители.

Чарли отпустил его, отошел и нанес ему сбоку сильный удар по почкам, еще один — в обвисший жирный живот и тут же отпрянул назад. Грязь засасывала ботинки, не давала оторвать ноги от земли.

Роман затряс головой, рот вытянулся розовой буквой «О», обрисованной черными губами, судорожно хватая воздух. Он выругался, топчась в грязи, затем рванулся вперед через размешанный в жижу пяточок, отделявший их друг от друга, по-бычьи нацеливаясь головой в Чарли. Тот опять попытался ударить в живот, промахнулся и, прежде чем успел развернуться, чуть не полетел навзничь от сокрушительного удара, которого никак не ожидал.

Он замахал руками, чтобы сохранить равновесие, но все-таки не удержался и упал. Хорошо еще, что успел вытянуть руки, а то угодил бы лицом прямо в грязь. Он упал на бедро, ладонью уперся в землю и снова еле-еле успел отклонить голову: нога в тяжелом ботинке метила ему в челюсть. Чарли поймал ее и, рывком вскочив на ноги, опрокинул Романа наземь. Толстяк плюхнулся во всю длину, подняв грязные брызги, и долго не мог встать, лягаясь и проклиная весь свет в неистовой ярости.

Чарли отошел на шаг в сторону, тяжело дыша, чертыхаясь на грязь под ногами, и смотрел, как поднимается Роман. И снова они, как терьеры, описывали круги один возле другого. Чарли исхитрился и двумя, один за другим, короткими ударами в живот заставил Романа раскрыться. И успел нанести ему тяжелый удар прежде, чем тот, подскочив, обхватил его руками. Черная, коротко стриженная голова тараном рванулась на него, метя в лицо, но он увернулся, почувствовав только, как округлое темя, твердое, как автомобильная крышка, скользнуло по скуле. От боли на глазах выступили слезы. Минуту он почти ничего не видел.

И тут внезапно налетел дождь. Он захлестнул пустырь, запнулся, помедлил, хлестнул еще и понесся дальше. Он изрыл поляну, оставив после себя воронки в грязи там, где не затопил ее лужами, и ушел, оставив наверху плоское защитно-серое небо.

Роман, задыхаясь, прорычал:

— Стой, погоди, парень... бой не кончен.

Он хватал ртом воздух и не находил его, будто заживо замурованный в могиле. Табак и алкоголь преврати-



ли его в задыхающуюся тушу. Он снова пошел на приступ, скользя по коричневому месиву. Чарли встретил его градом мелких, стремительных и точных ударов. Пора было кончать эту драку. Он ударил под дых — заросшее щетиной лицо Романа перекосилось от боли. Роман бросился на него, но Чарли увернулся, выбрал момент и ударил. Тот, казалось, совсем выдохся. Он дышал ртом, у него помутнели глаза. Он сделал вид, что силы оставляют его, затряс головой, бессильно уронил руки. Чарли сделал шаг вперед и тут же ложный выпад назад, когда Роман, рассчитывая, что ему удалось обмануть противника беспомощной позой, вдруг ожил и всем телом рванулся вперед. Он промахнулся и, потеряв равновесие, закачался. Тут Чарли и нанес ему сильный короткий и стремительный удар снизу в подбородок, от которого заныли суставы пальцев. Роман хрюкнул, громко выдохнул. Он почувствовал, будто у него, как пустой орех, треснула и рассыпалась голова. Хор болельщиков на пустыре куда-то отдалился. Затем силы и вправду оставили его разом, будто свет погас, и он неуклюже опустился в грязь, плюхнувшись щекой прямо в лужу.

Зрители встретили победу истощенным воем. Они бесновались, никто не стоял на месте. Чарли повернулся, тяжело дыша, вытирая со лба пот, и искал глазами, кому он дал подержать свой дождевик. В двух шагах от него уже боксировал с воображаемым противником мальчишка в рваной рубаше и штанах выше щиколоток. «Вот так, а? — радостно тараторил он, посылая в воздух удары. — Раз-два, раз-два. Правда? Правда, вот так, а?» Чарли вытер грязь со своих джинсов.

— Скажите ему, пусть оставит моего брата в покое. Понятно? Больше мне с ним делить нечего.

Но на него никто не взглянул — все столпились над поверженным Романом.

Влажный ветерок дул с ровной силой. Он подхватывал запахи поселка — устоявшуюся плесень и зловоние выгребных ям, аромат плодородной земли и опавших листьев — и нес их дальше. Небо над головой возводило свои крепости из гранитно-серых туч и швырялось угрозами обрушиться новым дождем.

По раскисшей дорожке между кривыми рядами лачуг неслась ватага ребятишек: они подталкивали друг друга, скакали на одной ножке по прямой и вокруг собственной оси, вопили, хохотали, торжествовали — эти маленькие привидения с водянисто-серыми лицами и бесцветными глазами нищеты. Руки, похожие на свободно сочлененные трубки-конструкции, покачивались, балансировали, колотили напоенный сыростью воздух, а ноги чавкали по черной грязи, будто лакали и не могли насытиться этим омерзительным месивом. Вокруг ребятишек скакала и в унисон их визгу пронзительно заливалась собачья компания.

В центре этой своры мальчишек и дворняжек брела, раскачиваясь из стороны в сторону и оглашая округу пьяным хохотом, женщина, жалкая пародия на женский род, — словно дешевую куклу, манекен, проваливавшуюся бог весть сколько времени в сточной канаве, вытащили, набили тряпками, обрядили в балахон из половой тряпки, вставили испорченный механизм, завели и пустили гулять по улице.

Дети смеялись и передразнивали ее, дергали за изорванную, висевшую клочьями одежду, бросали в нее грязью и удирали с проворством обезьян, когда она взмахивала руками, пытаясь схватить их.

— Пьяная Рия. Пьяная Рия, — распевали ребятишки.

— Ай-я-я, пьяная Рия. Пьяная Рия.

Страшная, как ведьма, женщина шла пошатываясь и поминутно спотыкалась, плюхалась в грязь и поднималась под градом комков грязи, ругаясь, хохоча, визжа, плача, делала нетвердой походкой несколько шагов и снова падала.

— Пьяная Рия, пьяная Рия.

В дверях лачуг показывались взрослые и кричали детям, чтобы они немедленно шли домой, бранили за непослушание, а затем и сами начинали хохотать над пьяными ужимками женщины.

— О боже, Рия опять за свое.

— Ай-я-я, пьяная Рия.

— Ну и как, Рия? Далеко ты собралась?

— Перестаньте, замолчите, невоспитанные дети. Ха-ха-ха.

— Пьяная Рия, пьяная Рия.

— Ну не позор, а? Нет, вы только взгляните на нее. Ха-ха-ха.

— Пьяная Рия. Пьяная Рия. Пьяная Рия.

Хохоचा и насмехаясь с беспечной детской жестокостью, толпа мальчишек двигалась вниз по улочке. Временами они бросались врассыпную, когда пьяная женщина замахивалась на них, осыпая ругательствами, или спотыкалась о подставленную ногу. Растрепанные волосы висели клочьями мокрой и грязной пакли, от ее платья несло самогоном и блевотиной, она сквернословила, и плакала, и смеялась над самой собой голосом, похожим на предсмертный хрип.

8

Чарли Паулс свернул на тропинку к шоссе. У крохотной лачужки, просто будки, он увидел женщину. Она стояла, прислонившись к кривому, в сучках столбу, на котором висела калитка. От столба начиналась изгородь из обрывков проволоки, кое-как скрученных вместе и натянутых на вбитые в землю ободранные колья. Проволока тянулась поверх кольев, а так как не было двух одинаковых, она прыгала вверх и вниз какой-то чудовищной диаграммой. Крохотный участок порос сорняками, грязно-зелеными, жавшимися к земле. Ворчливо поклеывая землю, среди них бродили мокрые рябые куры. Лачужка была низкая, ниже соседних хижин, с крышей из таких же, как и везде вокруг, распрямленных жестянок и обрезков ржавого кровельного железа. Чарли увидел женщину сразу же, как только свернул на тропинку, и направился к ней.

На брюках и рубаше у него еще осталась грязь, и он на ходу, осторожно перебираясь через залитые бурой водой колеи, отряхнул джинсы, потер в руках те места, где грязь налипла лепешками. Хоровод дворовых псов самых невероятных расцветок настороженно кружил вокруг суки — та огрызалась и рычала на всех них по очереди. Чарли шел и думал: «Чертов Ронни, он еще нарвется на крупную неприятность, если не возьмется за ум!» Чарли перекинул желтый дождевик через руку, а свободной рукой счищал с себя грязь. Он слегка дрожал от холода и еще не прошедшего возбуждения после драки. Но когда он подошел к женщине, он уже улыбался, довольный встречей.

— Где это ты разгуливал, Чарли? — спросила она его

от калитки. — Посмотри на себя. Ты весь в грязи. Ты что, поскользнулся?

— Доброе утро, Фрида. Как дела? — сказал Чарли, продолжая счищать с себя грязь. — Да вот, собрался в этот гараж, вон туда, к Мостерту. — Он очистил одежду от комьев грязи, но пятна остались. — Нет, не упал. Так, ничего.

Фрида сказала, чуть заметно улыбнувшись ему:

— Ты стал редкий гость, а?

И он, как мог безразличней, ответил:

— Занят был. Ну а у тебя как, Фрида?

— Так, помаленьку, — сказала она и добавила: — Зашел бы уж и отмыл грязь как следует.

Чарли сказал:

— А, ничего, сойдет.

Он улыбнулся ей. «Красивая женщина», — подумал он. Она была полная, но приятной полнотой, и под замызганным, застиранным халатом угадывалась высокая грудь и крутые бедра. На груди халат был засален. У Фриды были густые брови и широкое доброе лицо с полными мягкими губами, а жесткие черные волосы она затягивала на затылке цветным лоскутком.

Потом она заметила опухшую ссадину у него на скуле.

— Да ты посмотри на свое лицо! Ты что, подрался с кем-нибудь? — И тут же участливо спросила: — Ты и вправду подрался? Идем, заходи. Я тебе дам мазь, смажешь.

— Да будет тебе, ничего страшного, — сказал Чарли, но вошел за ней в покосившуюся калитку и, взглянув на ее крепкие ноги и линии сильных бедер, вырисовавшихся под халатом, с удовольствием подумал о тех временах, когда он оставался в этой лачуге на всю ночь. Муж у нее погиб — его сшиб грузовик два года назад, — и у Чарли было подозрение, что она теперь всерьез рассчитывает, что он женится на ней.

Двое оборвышей, тщательно жевавших на пороге толстые ломти хлеба, посторонились, давая им пройти.

Женщина сказала:

— Идите играйте, дети. — И они поднялись, медленно дожевывая, и исчезли в траве вместе с курами.

Чарли пошел вслед за женщиной, пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку. Он спросил:

— Ты что, сегодня не работаешь, Фрида? — и, переступив порог, осторожно выпрямился.

— Ты ведь знаешь, я работаю три дня в неделю, — сказала она. — Сейчас принесу воды. Подожди немного. Посиди пока.

Чарли сказал:

— Я тут тебе напачкаю, если сяду. Я постою. Надо бы сначала счистить эту грязь.

Комната была низкая, тесная, как и в большинстве остальных лачуг. Горбатый пол из унавоженной и утрамбованной земли был покрыт дешевым линолеумом, который давно протерся, особенно на буграх. Занавеска, свисавшая с протянутой между стенами веревки, делила комнату на две половины. В одном углу к стене прислонился дешевенький кухонный шкаф, а за ним столик, заставленный посудой. Там же стоял примус и большой металлический бидон для воды, которую приходилось носить от коммунальной колонки.

Между Чарли и занавеской стоял старый овальный стол, под ножку которого была подложена чурка, а на столе красовалась до ужаса безобразная гипсовая ваза, краска потрескалась, и местами по ней пошли грязно-белые царапины, будто струпья на теле чесоточного. Старый шаткий деревянный диванчик у стены, напротив кухонного шкафа, довершал обстановку комнаты. А над ним, с железного костыля, вбитого в стену, висела запыленная рамка с грубо раскрашенной фотографией, с которой смотрели Фрида в подвенечной фате и мужчина с озадаченным, нелепо желтым лицом, точками усов, будто ему под нос насыпали щепоть черного перца, и в полосатом воротничке — ее покойный муж. В уголок рамки был вставлен моментальный снимок: Фрида уже постарше, улыбающаяся, шла по улице с хозяйственной сумкой в руке. В комнате тепло пахло кухней, бумагой и мылом. Чарли стоял у стола и смотрел мимо ржавой лампы, свисавшей с картонного потолка — картон наделили прямо на шести, державшие кровлю.

Он сказал:

— Не стоит зря тратить воду, девочка.

Желтый дождевик так и оставался висеть у него на руке, а сзади, через дверь, в комнату заглядывало небо, провисшее от тяжести дождевых туч.

Она принесла железный тазик с водой, которую нацедила из бидона на столе, и он снова уставился на ее свободно покачивающиеся бедра и колышущуюся под халатом полную грудь и улыбнулся ей.

— Я вправду соскучился по тебе, Фрида, — сказал он. Она поставила тазик на стол и сказала:

— Garp, поди ты. Поэтому никогда и не зайдешь?

Она стояла рядом, одной рукой захватив то место на рубашке Чарли, где еще оставались пятна от грязи, и, нагнувшись, смывала их, и он вдыхал запах ее тела. От нее веяло теплом и чуть-чуть потом, и он чувствовал у себя на шее ее горячее дыхание. Фрида отжала в миску намоченные места на рубашке и сказала:

— Чего ты ввязался в драку? Нашел удовольствие драться на улице, вот уж...

Он посмотрел на нее и сказал немного даже с гордостью:

— Они цеплялись к моему брату. Должен же человек заступиться за собственного брата или нет?

Она отмыла грязь с рубашки и нагнулась к его джинсам, и, опустив глаза, он увидел две гладкие коричневые в голубых жилках округлости ее груди. Он положил ей руку на спину, обнял за плечи, но она, выпрямившись, отодвинулась от него. Глаза у нее заблестели. Она сказала совсем тихо:

— Ну-ну, не будь таким горячим, уж больно ты скор на руку.

Он не чурался такого рода тем и ответил улыбаясь:

— О Фрида, ты, бывало, сама мне показывала, где что лежит.

— Заткнись, — сказала она, и под ее темной кожей разлился румянец. — Ты воображаешь, что можешь ходить сюда, когда тебе вздумается, а потом носу не казать, развлекаться где-то?

Она пошла к шкафу, а он спросил:

— Завела себе нового дружка? А, Фрида? — В его голосе прозвучало беспокойство.

— За кого ты меня принимаешь? — бросила она через плечо рассерженно. Она отыскала тубик с вазелином и отвинтила колпачок.

Чарли сказал примиряюще:

— Ну ладно, bokki, деточка, ладно. Я ничего такого не хотел сказать, чего ты сердишься.

На улице неожиданно потемнело, и хлынул дождь. Они слышали, как он зачастил по крыше и с шумом припустился по дорожкам вокруг дома. Дети вбежали в дверь и смотрели на дождь с порога, зажав в руках недо-еденные корки. Фрида озорно улыбнулась Чарли, зная,

что присутствие детей разрушило все планы, которые у него могли быть на ее счет.

В лачуге было тепло и сухо. Стены изнутри были обшиты листами картона от бакалейной тары и обклеены полосками бумаги с типографской свалки, так что, сидя в тепле от примуса, можно было сколько угодно читать обрывки реклам и разглядывать цветные этикетки.

— Дай-ка мне, — сказал Чарли, протягивая руку за тюбиком. — Я сам. Что я тебе, маленький? — Он взглянул на нее нахмурившись и потом кивнул на завесу дождя за дверью. — Мне еще предстоит добираться до этого гаража. Надо подыскать что-нибудь на заплатки для крыши. — Он поморщился от боли, когда стал смазывать ссадину на лице.

Фрида сказала:

— Я хотела попросить тебя починить примус. Он плохо горит. Горит-горит — и погаснет.

Чарли пошел к столику, взял примус, потряс у себя над ухом. Одна ножка давно отпаялась, и, чтобы примус не падал, Фрида что-нибудь подкладывала под него.

— Наверно, засорился, — сказал он. — Загляну в следующий раз, посмотрю.

Он поставил его — примус накренился.

Фрида сказала:

— Подожди немножко, пока дождь перестанет. Присядь, ты теперь чистый.

Он ухмыльнулся.

— Ты действительно хочешь, чтобы твой Чарли присел?

Она сложила на груди свои полные гладкие руки и сказала певучим голосом, кокетливо отводя глаза:

— Поступай как знаешь.

Он снова ухмыльнулся и сел на диванчик, а она, вдруг что-то вспомнив, повернулась к нему спиной, открыла кухонный шкаф и достала с полки плоскую флягу. Она посмотрела ее на свет, и Чарли увидел, что бутылка почти наполовину полная.

Фрида сказала:

— Вот. Смотри, что я даже приберегла для тебя. Все думала, зайдешь как-нибудь. Вот и стоит здесь все время, тебя ждет... — Она взяла с полки толстый стакан.

Чарли расплылся в улыбке.

— О-го-го, Фрида, деточка, козочка. Вот это ты здорово придумала.

— Я принесла это от миссис еще несколько недель назад, нашла на столе у хозяина. У них хватит, не обеднеют.

Она поставила бутылку и стакан на стол.

— Садись рядышком, bokkie, — сказал Чарли.

Но она только улыбнулась и, отойдя к двери, встала рядом с детьми, наблюдая, как хлещет дождь.

— Похоже, надолго зарядил, — сказала она. — Теперь пойдет хлестать.

— Да нет, он переменный, пойдет-пойдет — и перестанет, — авторитетно заявил Чарли, отвинчивая пробку. — Тем дождям еще рано.

Она повернулась, прислонилась к дверному косяку и, скрестив руки на груди, смотрела на Чарли.

— Бывает, что он хлещет и две недели подряд.

Чарли налил себе немного в стакан.

— Ничего так не согревает кровь, как капелька крепкого, а? — Игриво подмигнул ей. — Налить тебе на донышко?

— Ты же знаешь, что я не пью.

— Да ладно, крошка. Ну давай по одной, а?

— Не валяй дурака. Пей себе.

Он улыбнулся и оглядел ее. Она вскинула голову и отвернулась, а он засмеялся, когда она отвернулась и стала смотреть на серую стену дождя.

— Gesondheid, будьте здоровы. — И он залпом выпил. Коньяк обжег его, согрел желудок, и он почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. Он достал сигарету и закурил. Налил себе еще и сказал с искренней благодарностью: — Очень мило с твоей стороны, Фрида, поднести человеку стаканчик. Хороший коньяк держит белый босс.

— Я так и думала, что ты как-нибудь зайдешь.

Он улыбнулся.

— Знаешь, как условимся? Я вот оставлю немного в бутылке, а как приду в следующий раз, допью.

Она насмешливо хмыкнула.

— Вот увидишь, — уверил ее Чарли, — приду. И вообще мы станем теперь чаще видаться, Фрида. — Он поднял стакан и сказал: — Удачи, Фрида.

За дверью шумел и плескался дождь. Со вторым стаканом проснулось желание, и Чарли смотрел на женщину, счастливо улыбаясь, и не подавлял в себе этого желания, распускаявшегося внутри пышным цветом. Он



стал вспоминать ночи, которые провел с ней за этой занавеской. Дети жались на пороге и смотрели на дождь, и он подумал: «Вот черт, надо же...» Но тут он почувствовал к ней что-то большее, чем желание, и это мешало ему.

Фрида отвернулась от двери.

— Не смейте выходить под дождь, слышите? — сказала она детям, и, когда она подошла ближе, Чарли порывисто подался к ней и схватил ее за руку.

— Фрида, Фрида, — засмеялся он, чувствуя легкое опьянение от двух выпитых стаканов. Другая рука сама потянулась к полной, округлой ягодице, но Фрида увернулась от него.

— Чарлз! — Она кивнула в сторону двери. — Дети. — Она потерла запястье, где остались следы от его железных пальцев. — Какой ты грубый.

Он стоял, а изнутри его точил червь желания, точил и не отпускал.

Он сказал прерывистым голосом:

— Ну пойдем, слышишь. — И выругался. — Ну, пожалуйста.

— За кого ты меня принимаешь? За одну из своих потаскух?

— Моих потаскух? Каких это моих, bokkie, козочка? Что ты говоришь?! — Он рассмеялся. Дети оглянулись и захихикали, подталкивая друг друга.

— Можно послать их за водой, или к бакалейщику, или... еще куда-нибудь, — шепнул он.

— Нет. — Голос у нее был твердый, и он подчинился, зная, что она не из таких и что она и раньше не просто так отдавалась ему. Он улыбнулся ей и почувствовал, как грубое желание отпустило его и погасло, подобно сгоревшей спичке, оставив только легкий, приятный туман в голове.

Она стояла, касаясь бедром овального столика, и задумчиво чертила на тусклой поверхности какие-то знаки, и Чарли стал надевать свой желтый дождевик. Он пристально посмотрел на нее, перевел взгляд на безобразную, в трещинах гипсовую вазу для цветов и сказал:

— Значит, побережешь для меня этот глоточек, да? — Он вдруг заметил, что давно не слышит дождя. — Ну ладно, — сказал он. — Поспешу-ка я лучше к старине Мостерту.

Он тихонько похлопал ее по плечу, просто так, по-

дружески, и она поняла, не отвела его руку, а только чуть слышно сказала:

— Теперь не пропадешь на целую вечность?

Он сказал:

— Я мигом вернусь. Клянусь богом. Вот увидишь.

Они вместе дошли до двери, и он еще помялся, прежде чем нырнуть наружу, затем решился и уже из-за порога крикнул: — Пока, Фрида! — и заспешил по затопленной дождем тропке.

Серое застывшее небо нависло, разбухшее от сырости, и все пространство между мокрыми лачугами отсвечивало целым архипелагом луж. Чарли торопился, он ощущал приятное тепло под желтым дождевиком и не обращал внимания на то, что, пока он пробирался по этой трясине, набрал полные башмаки воды.

Фрида смотрела ему вслед, пока он не исчез. Тогда она вернулась в комнату, взяла бутылку с коньяком, там его оставалось еще на два пальца, и убрала в шкаф. Взяла миску с грязной водой, выплеснула воду за дверь и, прихватив стакан, отнесла все это на кухонный столик и поставила к грязной посуде.

Дети потянулись к двери, и она сказала им:

— Смотрите только, не промокните.

Они стремглав бросились на улицу, а она принялась мыть посуду и тут неожиданно для самой себя вдруг пожалела, что, пока здесь сидел Чарли, шел дождь.

## 9

Шоссе разматывалось от города черной влажной полоской изоляционной ленты, наклеенной на местность, извиваясь в тех местах, где лента как бы отстала от сырой поверхности земли. Станция обслуживания и гараж стояли как раз за одним из таких извилистых поворотов, где лента дороги, выйдя из предместья, пробиралась сквозь живую изгородь камедных деревьев, зеленых смоквиц и акаций.

Подобно одинокому блокгаузу на границе, она стояла на опушке темно-зеленого леса и казалась заброшенной, покинутой гарнизоном, оставленной на произвол судьбы на самом краю вражеской территории. Конечно, Джордж Мостерт, владелец станции обслуживания и гаража, неотлучно находился здесь, однако вряд ли его

можно было принять за гарнизон, скорее, он был похож на последнего солдата, который вызвался либо получил приказ стоять в одиночку в заслоне. Засилье новых, современных станций обслуживания, которых что ни год становилось все больше в городе и окрестностях, вконец подорвало его предприятие, и поток машин на север проносился мимо него стороной, их баки были уже полны, и их баллоны подкачаны, а водители, направлявшиеся в город, тем более не обращали на него внимания — у них все было рассчитано до конца пути.

Так она и торчала здесь, на излучине дороги, грязно-белым пятном, подобно забытому флагу никому не нужной и давно капитулировавшей крепости. Спереди площадку для обслуживания обегал полукружьем закапанный маслом въезд и шеренга рекламных щитов и стендов с целой батареей выставленных напоказ запыленных бутылок со смазочными материалами. Смотровая яма под подъемником была полна черной как смоль воды, а сам подъемник покрылся толстым слоем вековой жирной грязи. Стены всего сооружения выглядели так, будто какой-то великан захватал их масляными пальцами.

Двор станции был невелик, его почти весь занимала груда старых покрышек в углу за крохотной стеклянной будочкой конторы перед крохотным темным гаражом. Стекла конторы были такие грязные, что казались матовыми, а на них — целая коллекция дактилоскопических отпечатков, способная свести с ума любого детектива. Там и сям пестрели старые рекламы, этикетки и наклейки, предлагающие разные сорта бензина и смазочных материалов возможным клиентам и давно устаревшие новинки — их детям.

Побелка на стенах станции была давным-давно вытерта стихиями и неосторожными водителями. Историю гибели можно было прочесть в царапинах, оставленных на стенах бамперами и крыльями машин, в высохших масляных пятнах, подобных лужам застывшей крови на теле убитого, в побитых, с обтрескавшейся эмалью табличках-указателях и на выгоревших, обтрепанных полотнищах реклам — этих щитах и флагах, развешенных по стенам как последний вызов обреченных.

Ибо Джордж Мостерт оставался на посту среди развалин своего дела; почему — никто не знал. Иногда вдруг случалась какая-то работа — последние судороги

умирающего организма: подкачать спустивший баллон, или продуть бензопровод, или прочистить карбюратор, или кто-нибудь из обитателей трущоб подкатывал на своей старой колымаге, чтобы выправить, или залатать, или заклепать последствия случайных дорожных неприятностей, а иной раз, глядишь, у него покупали галлон другой бензина.

Джорджу Мостерту было за сорок. В свое время он был женат, но ходили слухи, будто жена, устав от этого человека, в котором не оказалось ни капли самолюбия и силы воли противостоять более энергичным конкурентам, сбежала от него с агентом по продаже подержанных автомобилей. Правда, сам Джордж ни с кем на эту тему не разговаривал, так что слухи оставались только слухами. Но вынужденное одиночество сказалось в том, как он цеплялся за редких клиентов, как жаждал простого общения, в его готовности оказать любому небольшое одолжение. Оно отпечаталось в морщинках вокруг его совсем невыразительного рта, под вечно запачканными рыжеватыми усами — ус свисал в сторону над нижней губой, будто дешевая сигара, — и в сероватых лужицах глаз по обе стороны унылого, вислого носа. Одиночеством вяло от черных полумесяцев под его нестриженными ногтями, и от складок на морщинистой шее, и от давно не стиранного комбинезона, и от гладких, нечесанных, поредевших и уже седеющих волос цвета запылившейся паркетной мастики. Оно тяжким грузом навалилось ему на плечи и кандалами повисло на ногах, которые он с трудом волочил по земле. Он слонялся по своей станции, как бездомный пес, обнюхивающий знакомые места, или вглядывался в даль через тусклые стекла конторы, все еще надеясь, что к нему на закапанную маслом, в разводах трещин площадку завернет какой-нибудь автомобиль и он сможет выйти и не спеша потолковать с водителем.

Ночью Джордж Мостерт запирает станцию и отправлялся в комнатку над гаражом. Он сам себе готовил — продукты у бакалейщика он заказывал по телефону, — а затем читал потрепанную книжку, роман с убийствами, или просто сидел у окна и провожал взглядом двенадцатиколесные громадины, громыхавшие мимо в темноте, и их задние огни подмигивали ему рубиново-красными глазами, когда фургоны, повернув на излучине шоссе, уносились прочь.

Из гаража он мог также смотреть поверх деревьев за дорогу, на рассыпавшиеся там в беспорядке лачуги и хижины, разбросанные как попало, будто на грязную мятую дерюгу безо всякого плана нашили слинявшие лоскутья: непонятная страна, чужой народ, знакомый ему только через оборванных коричневых послов, которые заглядывают иногда попросить чего-нибудь из дома или поздороваться с ним, проходя мимо по своим загадочным делам.

За их поселком была городская свалка, надежно охраняемая мухами и стойкой химической защитой вони, и сразу же за свалкой — первые покосившиеся, нищие, с обвалившейся штукатуркой домики собственно предместья: линия однокомнатных домишек, похожих на глинобитные хижины из ковбойских фильмов, постепенно уступающих место красным крышам и кирпичным трубам, за ними — прямоугольник кинотеатра с неоновой рекламой, светящейся только частью букв, церковь со шпилем и высокая стена обувной фабрики.

Жизнь, пусть убогая, какая есть, но жизнь, была в каких-нибудь двух шагах от Джорджа Мостерта, но он замкнулся от нее в стеклянной будке своей конторы, в своем одиночестве, в жалкой гордыне ложного расового превосходства, за рушащимися стенами своего мира и только уныло поглядывал через дорогу мимо скучных бензоколонок, застывших как часовые, расставленные на ничейной земле.

И когда он увидел Чарли Паулса, шагавшего к нему по насыпи, его голову и плечи, поднимающиеся над бетонным горизонтом, Джордж Мостерт почувствовал даже какую-то радость. Вот идет человек, с кем можно перекинуться словечком, пусть даже, уныло подумал он, этот парень и не ровня ему, Мостерту. Он вышел из конторы с запыленными стеклами на заляпанную масляными пятнами площадку перед станцией обслуживания.

Чарли Паулс пересек шоссе, оставив за собой на бетоне грязную дорожку следов. Он еще чувствовал у себя внутри тепло, был слегка навеселе от двух выпитых стаканчиков. Он шел и думал: «Что ж, она неплохая женщина». Он обошел колонку и улыбнулся хозяину гаража.

— Доброе утро, мистер Джордж, — сказал он.

— Доброе утро, — ответил Джордж Мостерт. Он давно приметил этого парня, случалось, перебрасывал-

ся с ним словом-другим и однажды позволил ему взять домой кое-какой железный хлам. — Как дела? — сдержанно добавил он.

Чарли огляделся по сторонам. Он сказал:

— Да так, помаленьку, мистер Джордж. — Потом посмотрел прямо в лицо Джорджу Мостерту и продолжал: — Послушайте, мистер Джордж, я вынужден снова просить вас об одолжении. Вы мне как-то дали жести залатать крышу. А теперь эта чертова крыша опять потекла. Просто заливает дождем лачугу, будь она неладна. Ну вот я и подумал, уж вы-то точно выручите меня. В последний раз...

Джордж Мостерт уловил лесть и не дал ему кончить:

— За жестянками пришел?

— Если у вас есть ненужные, мистер Мостерт. — Чарли знал, что за гаражом целая куча этого хлама, но повел разговор так, будто просит Джорджа Мостерта о величайшей любезности, чтобы тот проникся сознанием собственного великодушия.

Джордж Мостерт вынул из кармана комбинезона грязный носовой платок, высморкался и, вытирая нос, сказал:

— Ну что ж, я думаю, что-нибудь найдется. Хотя все, что можно, ваш брат уже растащил. Остались части от автомобилей да всякий мусор. — И добавил: — Господи Иисусе, да ведь вся эта ваша... э-э-э... деревня выстроена из того, что вы унесли отсюда.

Чарли улыбнулся и развел руками.

— Черт побери, — сказал он, — им следовало бы сделать вас мэром, мистер Джордж.

Мостерт бросил на него быстрый взгляд и не смог сдержать вспыхнувшего вдруг в душе чувства гордости, от которого что-то затрепетало в груди. Он усмехнулся, снова вытер нос и, шаркая ногами, поплелся на зады, за гараж. Чарли пошел за ним.

Осмелев, Чарли сказал:

— Слушайте, мистер Джордж, вы все здесь один да один. Разве нет? Зашли бы как-нибудь, мы бы что-нибудь сообразили, правда...

— «Что-нибудь сообразили»?

— Ну, что-нибудь вроде вечеринки. Правда, мистер Джордж, — говорил Чарли, перешагивая через лужи вслед за Мостертом. — Мингом организуем бутылочку-другую. Выпивка будет что надо.

Джордж Мостерт быстро ответил:

— Я не желаю неприятностей.

— А-а-а, — сказал Чарли. — Да какие там неприятности. Не бойтесь. Ничего не будет. Вы ведь не женаты, мистер Джордж?

— Нет.

Одинокая дождевка упала Чарли за шиворот. Он вытер шею и посмотрел на небо.

— Дождь собирается. Надо успеть починить крышу, пока не хлынет. — И тут же возвратился к прерванной теме: — Нет, правда. Выпьем, поболтаем, споем. Все имеют право повеселиться иногда, верно? — Он засмеялся и тряхнул головой.

Они обошли здание станции. Дальше был пустырь.

— Слушайте, мистер Джордж, и простите меня за то, что я сейчас скажу. Я знаю, о чем вы беспокоитесь. Но ведь мы с вами люди просвещенные, верно? — Он усмехнулся и подмигнул ему в спину. — Вот послушайте, что я вам скажу. Война забросила меня в Египет. Была у меня там, в Александрии, одна бабенка, француженка, так ей не было дела до цвета кожи. Для нее все было на один лад.

Джордж Мостерт взглянул на Чарли неодобрительно — ему неловко было слушать такое о белой женщине. Он нетерпеливо перебил его:

— Ладно, ты бы лучше выбирал за чем пришел.

— Спасибо, мистер Джордж.

Они стояли перед целой грудой искореженного металла. Будто сюда навезли и свалили железные останки с какого-то поля сражения: дикая мешанина из ржавых и негодных автомобильных двигателей, шасси, бамперов, каркасов, крыльев, радиаторов, рессор, осей, колесных дисков, кузовов, сорванных дверей, болтов и пружинных сидений лежала перед ними. Весь этот подобранный на дорогах металлолом громоздился здесь во дворе, обрастая рыжей ржавчиной, покрываясь коростой пыли, тавота и маслянистой жижи.

Чарли бродил среди мертвого металла, служившего когда-то для передвижения по земле, а Джордж Мостерт подумал просто так: совсем не плохо было бы и вправду повеселиться с ними. Никто бы не увидел. Только вот единственное, там, кажется, чертовски грязно и противно. Боже правый, веселиться в самой гуще всей этой грязи! Одиночество пронзило его копьем, и он внут-

ренне вздрогнул. Он тащился следом за Чарли, будто близость этого цветного могла возместить ему то, от чего он должен был отказаться.

— Слушайте, мистер Джордж, — сказал Чарли, расхаживая среди ржавого железа. — Слушайте, если здесь покопаться, вы спокойно могли бы собрать себе целый автомобиль.

— У меня есть автомобиль, — сказал Джордж Мостерт. — «Шевроле». А ты смыслишь в автомобилях?

Чарли присел на корточки и заглянул под остов двухместного кабриолета.

— В армии научился, разбираюсь в моторах. Я шофером служил. — Он внимательно оглядел двигатель снизу. — Вот здесь, я думаю, кое-какие части еще сгодятся. — Он встал и нежно похлопал по ржавому металлу. Потом вспомнил, зачем он сюда пришел, и стал копать в железе, перебрасывая с места на место проржавевшие капоты и обломки кузовов. Джордж Мостерт ни на шаг не отходил от него.

Наконец Джордж Мостерт сдержанно спросил:

— Ты правда считаешь, что это ничего, если я загляну туда как-нибудь вечером?

— Куда? — не понял Чарли, занятый своими мыслями и не оборачиваясь. Он разглядывал остатки переднего крыла и еще какие-то полосы жести и прикидывал, что из них можно выкроить. — Туда, к нам? Да в любое время, мистер Мостерт, когда душе угодно.

— Бери, не стесняйся, — сказал Джордж Мостерт. — А что, в самом деле, может быть, я и забегу. А? — И он продолжал в приступе какого-то отчаяния: — Я бы тоже мог купить бутылку-другую.

Чарли перевернул ногой лист железа и улыбнулся.

— О'кэй, мистер Джордж. Договорились. Когда вы придете?

Джордж Мостерт совсем разошелся.

— В субботу вечером, — сказал он. И высморкался в свой грязный платок. «Насморк вроде начинается», — подумал он. — В субботу вечером и приду. Ну как?

— Классно, мистер Джордж, — ответил Чарли. — У нас по субботам самое веселье.

Он отыскал кусок листового железа, который вроде как раз подходил ему для крыши, немного покореженный, кое-где поржавевший, но, в общем, еще вполне



крепкий. Он тащил его через всю свалку в конец двора, а сзади за ним плелся Джордж Мостерт и сопел:

— Можешь взять это, бери... — Потом с растерянной улыбкой сказал: — Только ты скажи мне, куда приходить.

Чарли поставил лист на мокрую землю и показал через дорогу:

— Вон там начинается тропка, она ведет до самых домов. Прямо по ней и идите. Видите? Вон туда, мистер Джордж. — Он объяснил, куда идти, а тот слушал, следя за его рукой выцветшими, усталыми, в покрасневших веках глазами. Джордж Мостерт чувствовал себя, как человек, решившийся на отчаянно смелый поступок, как открыватель, набравшийся смелости шагнуть на неведомые земли, куда еще не ступала нога человека. Сердце глухо стучало под его замасленным комбинезоном, и он подумал: «Только бы совсем не простудиться. Надо будет в конторе налить себе хорошенький глоток крепкого». Ему не пришло в голову предложить стаканчик и Чарли.

Джордж Мостерт наблюдал, как фигура в желтом дождевике перешла через дорогу и скрылась за насыпью, оставив за собой одни мокрые отпечатки ног на бетоне. Тогда он повернулся и двинулся к застекленной конторе под навесом своей станции.

Он сел за крохотный письменный стол, заваленный пыльными бумагами, потрепанными, с завернувшимися уголками, счетами, стопками сколотых квитанций, брошюрами с техническим описанием двигателей, каталогами. Недоеденный бутерброд, оставшийся от завтрака, лежал на блюде, размокая в лужице жидкого чая. Он порылся в тумбе стола, вытащил начатую бутылку коньяку и налил себе в чайную чашку, даже не выплеснув остатки чая. Выпил торопливо, одним глотком, поперхнулся и почувствовал, как защипало глаза.

Мимо пронесся, прошумев покрывками по бетону, огромный голубой автомобиль. Роскошная облицовка из нержавеющей стали тускло отсвечивала под серым-серым небом. Джордж Мостерт проводил его взглядом и усмехнулся с вновь обретенной удалью. Он вытащил из кармана носовой платок, отыскал сухое место и, продолжая улыбаться, энергично высморкался.

Чарли Паулс поставил лист железа, который он принес от Мостерта, у стены, а сам пошел на задний двор. Небо над головой совсем провисло от собственной неимоверной тяжести и вот-вот готово было обрушиться дождем. В дверях лачуги-контейнера на заднем дворе стояла Каролина, сестра Чарли. Она робко улыбнулась ему и, осторожно переступая с ноги на ногу, подалась назад.

Она сказала:

— Доброе утро, Чарли.

Он ответил ей улыбкой. Каролине исполнилось семнадцать лет. Она была замужем и носила сейчас первого ребенка. Нечесанные, мелко вьющиеся волосы высокой шапкой окружали ее полудетское, в коричневых пятнах беременности лицо с беспомощными, круглыми, как у телки, глазами. Хорошо развитая фигура да еще и беременность делали Каролину старше. Она была застенчива и молчалива, Чарли даже считал ее немного глуповатой. У нее для всех была готова улыбка, но какая-то неосмысленная. Говорила она тихо, вполголоса, и то, как правило, если к ней обращались. Когда ее просили что-нибудь сделать, требовалось давать ей подробнейшие инструкции, и тогда она исполняла порученное тупо и без всяких чувств, как машина, заведенная и налаженная на выполнение какой-либо автоматической операции.

Чарли симпатизировал сестре, хотя и чувствовал при виде ее постоянное замешательство и часто ловил себя на мысли, что сестра хранит в себе какую-то неразрешимую тайну.

Альфред, ее восемнадцатилетний супруг, не замечал за Каролиной никаких странностей и относился к ней со смешанным чувством благоговейного трепета и пылкой страсти.

Чарли сказал, улыбнувшись ей в ответ:

— Ну и ну, Каролина, ты день ото дня все раздаешься. Эдак ты в один прекрасный день лопнешь.

Каролина глупо захихикала и, потупившись, снова переступила с ноги на ногу.

— Как у вас крыша? Не течет? — спросил Чарли.

— Нет, — ответила девушка своим спокойным голосом, — Алфи говорит, что все в порядке.

— Алфи, — проворчал Чарли. — У этого твоего Ал-

фи одно на уме. — Он ухмыльнулся и подмигнул Каролине, а потом спросил: — Насчет дома больше ничего не слышно там, в муниципалитете?

— Алфи говорит, они сказали, что он внес недостаточно, — оживилась Каролина. — Они сказали, мы получим дом, когда внесем остальное. — Она выпалила все это и сжала губы, будто устыдившись такой длинной речи.

— ... — буркнул Чарли и снова улыбнулся ей. — Не обращай внимания, старушка. Ты пока здесь, с нами, так? — Он вытащил портсигар и закурил сигарету. — Ну ладно, попробуем починить нашу крышу. Как тут наш он керел, наш старик, пока меня не было? — спросил он.

— Болит у него, — ответила Каролина. Она прикрыла свой большой живот, сложив на нем руки, прислонилась к двери и смотрела, как Чарли пошел через двор к их старому дому.

Из-за двери, прикрытой занавеской, доносились тихие стоны, низкие унылые «о-о-у», как далекие гудки сирены в тумане. Мать вышла на кухню. Она была в потертом жакете поверх платья, а глаза под низко повязанным черным платком казались совсем усталыми.

Чарли спросил:

— Ну как он, ма?

— Все слабеет, Чарлз. Ему вообще-то нужен врач.

— Ты идешь за доктором? Я бы мог сходить.

— Нет, — сказала мать. — Не за доктором. Доктору мы задолжали, и он последний раз сказал, что больше не пойдет, пока мы не заплатим. А у нас до пятницы, пока Ронни получит зарплату, нет денег. — Она застегнула жакет. — Пойду схожу к Мулеле, попрошу каких-нибудь трав. Может, хоть травы помогут. — Она пошла к двери. — А ты посиди дома, присмотри за отцом.

— Ладно, ма, — Чарли кивнул. — Но ты поторопись, а то дождь опять собирается.

— Я быстро.

— А я на крышу полезу. Достал у Мостерта кусок железа.

— Ну что ж. Только ты не шуми там, слышишь?

— Каролина может пока посидеть с отцом.

— Может-то может, да она не будет знать, что делать. Да хотя и ты тоже. Ну ладно, я мигом обернусь. Ты просто заходи, поглядывай.

В спальне натужно хрипел и что-то бормотал Паулс-старший, совсем как готовый вот-вот заглохнуть мотор. Тучи на небе цвета нестираного кухонного полотенца набухали дождем. Чарли осторожно сдирал с ходуном ходившей кровли дырявую жесть. Хижина угрожающе скрипела и оседала под ним, и Чарли боялся сделать резкое движение, опасаясь, как бы она вообще не обрушилась. Несколько крупных капель ударились о жесткую клеенку его дождевика, и он поднял голову на грозно хмурившееся небо. Потом спешно подтянул к себе лист железа, который приволок от Мостерта, и стал прилаживать его, подсовывая под края открывшейся в кровле дыры, бормоча про себя проклятия, когда острые, как акульи зубы, зазубрины обдирали ему кожу на суставах пальцев.

Он все еще мучился с листом, старательно прилаживая его на место, когда из-за угла дома вышел его дядюшка Бен.

— Здорово, Чарли, малыш. Крыша продырявилась?

Чарли заглянул через край крыши, посасывая ободранные в кровь пальцы. Он сказал:

— Noit, дядя Бен, привет. Течет. Ну а у тебя как? — Он посмотрел на глубокую царапину на пальце. — Разве ты сегодня не работаешь?

— Погода, — дядя Бен задрал голову вверх. — Малярам в дождь не работа, вот нас и отпустили. Еще день потеряли, вот оно как.

Дядюшка Бен был коротконогий толстый человек, черный, словно обугленный, в дырявой фуфайке и лоснящихся, заношенных, залатанных брюках. Башмаки на нем были потрескавшиеся, все в грязи, до дыр протертые шишками на подагрических ногах. Несмотря на жизнерадостную округлость его тела, карие, чуть выпиравшие глаза хранили выражение скорбной покорности перед каким-то необъяснимым горем. У него было жирное и одутловатое от злоупотребления спиртными напитками лицо и яркие сочные губы, будто он их покрасил. Под мышкой он держал свернутый в узел, весь заляпанный красками комбинезон, а седеющая курчавая голова была покрыта затвердевшей от краски старой фетровой шляпой.

Чарли сказал ему:

— Там, под забором, были камни. Подал бы их мне сюда штуки две, а, дядя Бен? Надо бы прибить гвоздя-

ми, да стучать нельзя. Отец у нас лежит совсем больной.

— Ну конечно, Чарли, малыш, сейчас подам, — сказал дядя Бен. Он бережно положил свой сверток на землю, выбрав место посуше, и перегнулся через заборчик, сопя и изо всех сил поджимая свое расплывшееся брюшко. — Ну а как он, твой папаша, Чарли? — Он поднял булыжник, подал его наверх, и Чарли, дотянувшись, принял и положил камень на крышу.

— Плохо, дядя Бен, плохо, — ответил Чарли. — Как есть плохо.

— А я иду и думаю, дай-ка загляну и навешу старикана. Я еще подумал, вот уж кому, наверно, нелегко приходится в такую погоду. — Он достал из-за ограды второй булыжник. Они разговаривали, и дядя Бен подавал камни наверх.

— Твоя матушка, поди, с ног сбилась, бедная женщина.

— Я, еще бы. Осторожно, ооміе\*, — упадет. Мне сейчас в самый бы раз подыскать работенку.

— Держи, парень. Ах, черт, чуть не выронил. А я думал, ты едешь на дорожные работы под этой, как там она зовется, — Калвинией.

— Это была временная работа, — сказал Чарли. — Один несчастный месяц. Фунт двенадцать шиллингов и шесть пенсов в неделю. Кончили, и распустили по домам.

— Я, — вздохнул дядя Бен. — Оно везде так. Я тоже перебиваюсь случайной работой. Здесь пару шиллингов перехватишь, там пару.

Чарли укладывал на крышу булыжники, прижимая отошедшие края жести. Он сказал:

— Ты бы зашел пока в дом, навестил старика. Я уже почти кончил.

Дядя Бен с беспокойством спросил:

— А мать дома?

Чарли улыбнулся.

— Нет. Пошла достать для отца трав.

— Ну что ж, я тогда, пожалуй, зайду.

Чарли только хмыкнул про себя. Дядя Бен скрылся за углом лачуги. Дядюшка Бен старательно избегал встреч с матерью. Чарли — она была решительной противницей его чрезмерных возлияний и не уставала отчитывать его при всяком удобном случае. Дядюшка Бен

---

\* Дядя (африкаанс).

доводился ей родным братом, но жил отдельно в крохотной хижине где-то на другом краю локации.

Он был не женат и жил один, пропивая большую часть того, что удавалось заработать на случайных малярных подрядах. Чарли сразу догадался, что дядюшка Бен так бережно кутал сейчас в свой комбинезон.

Он укладывал на место последний камень, когда небо все-таки прорвало и пошел дождь. Дождь хлестнул по крыше и с остервенением набросился на Чарли, заплескал по двору, высоко вскидывая брызги, повис сплошной стеной и закрыл все вокруг. Чахлые камедные деревья, приземистые смоковницы и лачуги — все слилось в одну мутную свинцово-серую тень. Чарли сполз с крыши, нащупал ногой шаткие козлы и, оттолкнувшись, спрыгнул на землю, но зацепился об острый край жести плащом, дернул, выругался, услышав, как затрещала желтая клеенка, бросился за угол и влетел в кухню.

## 11

«Боже правый,— Чарли с трудом перевел дух в кухне,— надеюсь, этот ливень не застиг ее посреди дороги»,— подумал он о матери. Он стянул с себя дождевик. Дождь за стенами ревел и стучал, а небо висело над крышами, темно-серое, свинцовое. Вода залила во дворе все канавки и стеклась под старую шелковицу, кружа в водоворотах вокруг кольев изгороди и угловых опор дома, размывая песок, на котором они покоились, и бетонные глыбы оседали, и дом скрипел и стонал, теряя под собой опору.

Чарли стряхнул дождевик прямо на пол. В дверь протиснулся Сторож и в одно мгновение добавил к этому всю грязь, собранную им на улице. Собака шумно отряхнулась и юркнула за печку. Непогода продолжала реветь за дверью голодным чудовищем.

Приоткрыв занавеску, из спальни, где лежал отец, показался дядюшка Бен.

— Бедняга, — сказал он, входя. — Он здорово болен, правда, Чарли. Сильно болен.

Чарли рассматривал покоровившийся картон на потолке. Он ответил:

— Еще бы. Я вот думаю, неужели мать попала в са-

мый ливень. Ты подожди, дядя Бен, пока он кончится.— Потолком он вроде бы остался доволен.— Ничего, здесь пока держит. Надо взглянуть, как в той комнате. Там у отца не потекло, не заметил? Я не хочу ходить туда взад-вперед.

— Вроде все в порядке,— сказал дядя Бен. Его свернутый в узел комбинезон лежал на кухонном столике, и он положил на сверток ладони как бы в благословении.

— Слушай-ка, Чарли, малыш,— сказал он полушепотом.— Я тут прихватил с собой кое-чего. Пару бутылочек. Сладкая роса, божья слеза. Что, если мы с тобой одну быстренько раздавим, как ты считаешь?

— Можно,— усмехнулся Чарли.— Отчего же нет. Только пойдем лучше в нашу комнату. — Он подмигнул дяде Бену и засмеялся. И первым прошел в дверь. Плащ он повесил сушиться на гвоздь, но так, чтобы клеенка не касалась еще горячей печки. Дядюшка Бен последовал за ним, прихватив сверток и свою затрапезную шляпу.

С потолка в маленькой холодной комнатухе больше не текло, и только огромное сырое пятно все еще расплывалось по намокшему картону. Вот только бы теперь в другом месте не открылась течь, может, даже сразу в нескольких. На какую-то минуту он замер среди застоявшихся запахов еды, постелей и плесени, а из дыр в стенах дул ветер, и дождь из всех сил барабанил по крыше.

— Садись на постель Ронни,— сказал он дяде Бену. Он принес с собой из кухни две стеклянные банки и поставил их на ящик между кроватями. Дядя Бен почти-точно развернул свой комбинезон и, освобождая оттуда бутылки, сказал:

— А что еще, как не выпить в такой день, а?— Он откупорил одну и разлил желтую влагу по банкам. Неожиданно ему в голову пришла какая-то неприятная мысль, и он с нескрываемой тревогой посмотрел на Чарли: — Слушай-ка, Чарлз, а ты не думаешь, что твоя матушка будет ругаться за выпивку?

Чарли взял одну банку, ту, что поближе, и посмотрел ее на свет. Он сказал:

— Ма вовсе не против, если человек иногда выпьет. Почему иногда не выпить?— И он серьезно добавил:— Но ты ведь всегда пьян в стельку, вечно еле на ногах держишься.

Дядюшка Бен грустно уставился в свою банку. Он сказал:

— Я и сам не понимаю, что со мной. Правда, Чарли. Ведь вот у каждого своя мера, разве нет? А меня будто что-то толкает: пей, пей, пей. Будто сила злая заставляет человека пить до тех пор, пока он уже на ногах не держится. Говорю тебе — будто сила злая!

Шквал палетел на крышу, прогрохотал и пронесся дальше, оставив за собой на какое-то мгновение непривычную тишину ровно моросившего дождя, но тут же обрушился новым потоком. В комнате, где лежал больной, стали громче и протяжнее жалобные стоны.

— Я слышал, непьющие люди говорят, будто выпивка — большой грех, — сказал Чарли.

— Ну, я так не думаю, — сказал дядюшка Бен, и они выпили. — Грех, Чарли, — это то, что заставляет человека упиваться до смерти, что заставляет бедного старого человека до могилы трястись от холода в лачуге с дырявой крышей, без ложки горячего супа и без лекарств.

— Ты думаешь, отец умрет? — в тревоге спросил Чарли.

— Я этого не говорю, — угрюмо ответил дядюшка Бен. Выпивка всегда нагоняла на него безысходную тоску. — Я не говорю этого. Но что заставляет человека страдать? Вот так трястись и дрожать до смерти?

Чарли отпил немного и сказал:

— Ну ты же принадлежишь к этой масонской ложе. Там, поди, вас учат, что к чему.

— А-а, давным-давно бросил эту ложу, — сказал дядюшка Бен. Он чувствовал, как на него наваливается тоска. Он прихлебывал из банки, в перерывах затягивался сигаретой из пачки Чарли, и его опухшее от пьянства лицо светилось в клубах дыма, как безжизненный лик солнца в зимнем небе. — Ничему она не учит человека, эта ложа, — вот все, чему я там научился. Библию я вот почитываю.

Чарли сказал:

— Ма читает Библию каждый вечер. Не похоже, чтобы старику от этого полегчало.

— Мы должны верить в бога, Чарли, — сказал дядя Бен. — Твоя матушка читает Библию потому, что ей пришлось трудно. С семьей у нее беда, хлопот полон рот. Ты вот, и отец еще болен, и этот малец Ронни от рук



отбивается, и Каролина собирается рожать, и нищета засла...

— И ты еще...— подхватил Чарли и, посмеиваясь, выпил глоток.— Ты тоже свое приложил.

Ветер успокоился, и дождь теперь опять ровно барабанил по кровле. Муха, захваченная зимой врасплох, сонно поползла по разохшейся обшивке на стене и запнулась в самом низу, у пыльного плитуса. Она обшаривала комнату бусинками своих глаз, и в полумраке чуть поблескивали ее радужные крылышки. Поколебавшись, она оторвалась от стены и, прожужжав в крутом вираже, села на ящик между кроватями. Почистила крылышки, перепорхнула через горку упавшего с сигареты пепла и остановилась, умываясь передними ножками. Казалось, она дрожит от холода. Затем она снова снялась с места, описала петлю над кроватью, где сидел дядя Бен, и понеслась на тусклый свет из крохотного оконца. Она ударилась о стекло и стала падать вниз, но выровнялась и, погудев над ухом Чарли, уселась ему на рукав. Он смахнул ее, и она, покружившись, снова опустилась на ящик. Она осторожно поползла по крышке ящика, наткнулась на каплю пролитого вина, отпрянула, потом погрузила в нее хоботок и принялась пить.

Дядя Бен говорил:

— ...так-то вот. Просто не знаю, что это, Чарли. — Он уже был во власти печали, вина в первой бутылке заметно поубавилось, оставалось меньше, чем на четверть.

Чарли сказал, подняв бутылку и опоражнивая ее себе в банку, в то время как дядя Бен откупоривал вторую:

— К нам на трубопровод пришел один новенький из города. Знаешь, что он говорил? А уж он знает, он всегда читает газеты и все такое. Он говорил: бедные вовсе не должны быть бедными.— Чарли взял вторую бутылку и долил, чтобы в обеих банках было поровну. — Он говорит, если б бедные собрались все вместе и захватили все, что есть в этом чертовом мире, никакой бы бедности больше не было. Просто смех разбирает, послушаешь, а ведь похоже, так оно и есть... — сказал Чарли. Он продолжал, воодушевляясь: — А дальше этот новенький говорит, если б, мол, все имущество на свете распределить поровну между людьми, всем бы хватило жить припеваючи. Он считает, что люди должны объединиться и взять все себе.

Дядя Бен нахмурился и неодобрительно покачал головой.

— Это уж греховно звучит. В Библии сказано: «Не пожелай добра ближнего своего».

— ... твою Библию! — сказал Чарли. — Этот парень знает, что говорит, так я полагаю.

— Я насышался таких разговоров, — сказал дядя Бен. — Это штучки коммунистов. Разговоры против властей.

— Слушай, — сказал Чарли, когда они выпили еще по одной. У него развязался язык. — Слушай, дядя Бен, однажды я зашел за Фридой в дом к тем людям, у которых она работает, чистит там и намывает. Черт, вот у них дом так дом, ей-богу, огромный, что твоя ратуша, не вру. Ну так вот, и там эта старая шлюха с рыжими волосами и толстым задом и ее муженек обжираются за столом длиной в милю, а на столе модные подсвечники и все такое прочее... А такой, как я, и коснуться не смей парадной двери. Тебе положено идти с черного хода! Жрут за шикарными полированными столами, жаркого до отвала и всякие такие вещи. — Чарли насупился и глотнул из банки. — В Библии говорится также: «Возлюби ближнего своего». Слышал такое, когда еще сопляком ходил в воскресную школу.

Муха опрокинулась на спину и теперь тонула в лужиче вина. Скрюченные ложки беспомощно колотили по воздуху, крылья слиплись. Шум дождя за стеной перешел в тонкий шипящий свист, как при утечке газа. Чарли протянул руку и смахнул муху на пол. Она и там не переставала барахтаться. В родительской спальне закашлялся отец. После этого он долго дышал с присвистом, как худые кузнечные мехи.

Дядя Бен тихо сказал:

— Просто не знаю, Чарли, малыш. Может, вы, молодежь, знаете лучше моего, конечно. — Он говорил печально, будто сквозь слезы, и потряс вытертой, как старое шерстяное одеяло, головой, чтобы поймать ускользнувшую мысль. За спинами у них, оплакиваемый мелко сеявшей изморосью, угасал худосочный день. Чарли еще раз разлил по банкам, когда они услышали, как скрипнула и захлопнулась дверь на кухню.

— Ма, — сказал Чарли.

Это действительно была она. Мать заглянула в дверь.

— Ну как отец? — спросила она, увидела дядю Бена,

и лицо у нее стало строгим.— О, вот кто у нас.

Дядя Бен робко улыбнулся, перевел взгляд на Чарли и потом сказал:

— Вот, Рахиль, зашел проведать, как дела у Фредерика.

— Гм.— Карие глаза матери, словно два острых ржавых гвоздя, впились в бутылки на ящике.— Я не желаю терпеть здесь никакого пьянства, понятно?

Чарли сказал:

— Да мы просто по маленькой пропустили, ма. Ты не промокла, ма?

Старый жакет был весь покрыт изморосью.

— Немножко. Я переждала самый ливень. Ну, пойду к отцу.— Она скрылась за дверью, и они услышали ее шаги в соседней комнате.

Дядя Бен сказал:

— Мне, пожалуй, пора, так я понимаю.

— Сиди, да сиди ты,— удержал его Чарли, засмеявшись.— Не съест она тебя, не бойся. Тут еще кое-что осталось в посудине.— В кухне хлопнули печной дверцей.— Вот оно. Как раз еще на две.

Дядя Бен взял свою банку и поднял ее. Он чувствовал глубокую тоску, остановившись где-то на полпути, на грани опьянения, перебраться через которую у него не было больше сил. Он сказал:

— Будем здоровы,— деликатно отогнув грязный мизинец, с осторожностью поднес банку ко рту и выпил.

— Будем здоровы,— ответил Чарли и проглотил свое залпом.

Вино ударило в голову и навело на грубо-чувственные мысли, он откинулся на кровать и стал думать о Фриде, пытаясь вызвать в воображении очертания ее фигуры, ее груди, ног, бедер, но ничего не получалось, не возникала она, как Чарли, уже в полудреме, ни силился ее себе представить.

Дядя Бен поднялся, аккуратно свернул комбинезон, подобрал свою шляпу и вышел в кухню, едва заметно пошатываясь, тщательно стараясь держать тело прямо, будто это была дорогая мебель, которую боже упаси за что-нибудь задеть и поцарапать.

В кухне стоял терпкий запах трав, матушка Паулс заваривала кипятком какое-то месиво. Она, не отрывая глаз от работы, сказала:

— Вот принесла для Фреда трав. Вдруг поможет.

Дядя Бен покрутил носом и сказал:

— Я, травы хорошие. Я вот помню, когда одно время меня мучили колики...

Матушка Паулс не дала ему кончить:

— Никогда тебя не мучили никакие колики. Не болтай чепухи.

— Тогда было такое чувство, будто это колики,— сказал дядя Бен, хмурясь и покачиваясь, как дерево на ветру. Ему было не по себе в присутствии матушки Паулс. Он сказал:— Ну, пожалуй, я пойду.— Он икнул и поспешно прикрыл свои мягкие полные губы ладонью.

— Погоди, куда уж ты пойдешь,— сказала она.— Поешь чего-нибудь.— Она пронзила его одним из своих уничтожающих взглядов, и он весь съезжился.

— Ты, поди, дома-то не очень готовишь себе горячее.

— Да ничего, Рахиль,— сказал дядя Бен, прижимая к себе шляпу и свернутый комбинезон.— Я не хочу здесь болтаться, тебе мешать.

— Я всегда говорила, что тебе надо жениться. Возьми себе жену.

— Я не о том. Я не хочу вырывать у тебя кусок из рта, женщина,— продолжал дядя Бен.

— Ладно, ладно,— сказала она ему, размешивая настой из трав.— У нас все равно мало, одним ртом больше, одним меньше, никакой разницы. Ступай, посиди у Чарли. Я тебя позову.

Она принялась процеживать настой в битую-перебитую эмалированную кружку, не обращая больше на Бена никакого внимания. Перед тем как отнести настой отцу, она подложила в печку дров, подождала, пока они занялись, и поставила над огнем горшок. Печка ровно загудела.

Зимой не бывает вечеров. Сразу же опускается ночь, накрывая вялый, покорно гаснущий день своим холодным черным покрывалом. Ледяное дыхание ночи загоняет бедняков в хибары, где они жмутся к чадающим керосинкам, жаровням или старым железным печуркам. Люди забиваются под одеяла, напившись кофе с черным хлебом, и слушают голоса вторгающейся ночи: возню кур

на насесте, стрекот бесчисленных сверчков, потирающих крылышки, далекое тявканье собаки.

По шоссе, шурша резиной, мчатся вдаль ночные автопоезда, будто журчит по разрисованному пунктирами бетону бьющая из шланга вода. Фары выхватывают из тьмы желтые конусы света, безразличные к миазмам помоек, к живому аромату варящейся в горшках убоины по шесть пенсов за фунт и к тленным запахам ржавого железа и прогнившего дерева. Лучи мощных фар проносятся в темноте, не задерживаясь на светящихся оконцах лачуг, на желтых язычках керосиновых ламп, на красных угольях, тлеющих в решетчатых жестянках-жаровнях. Они мелькают поверх крохотных бескровных огоньков, которые силятся вырваться наружу из этих хижин с провисшими крышами, будто нетерпеливые надежды, которые скребутся у дверей и просятся на волю. Машины мчатся по шоссе мимо, не замечая зловонных нужников вокруг накренившихся хижин и тонущих в море грязи людей. Мерцает бетон в перемежающихся огнях, а ночь подкрадывается вплотную, чтобы заключить холодную землю в свои бесстрастные объятия.

Чарли Паулс сидел у печки на корточках, прислонившись к стене. Он уперся локтями в колени. В одной руке у него была эмалированная миска, он держал ее почти у самого подбородка, а в другой — ложка, которой он отправлял в рот тушеную репу. Он медленно жевал, и на правой скуле у него ходила маленькая черная родинка.

В кухне стало теплее, в старой железной печке потрескивали дрова, и наружная дверь была наглухо закрыта, не давая доступа мелкому дождю. Немного, правда, пахло дымом, потому что дрова попались сырые. Собака свернулась клубком у ног Чарли и нетерпеливо урчала в ожидании объедков от ужина. Мелкий моросящий дождь с шелестом сеял по стенам дома.

Мать сказала:

— Я сварила отцу немного супа из репы. Да он, поди, уснул.

Она стояла у плиты рядом с Чарли, дожидаясь, пока мужчины кончат ужинать. Рональд, самый младший — Йорни, дядя Бен и муж Каролины, совсем еще мальчишка, Алфи, набились вокруг стола, втиснутые в узкое пространство. Каролина, тяжелая и неуклюжая со своим животом, стояла, привалившись к шкафу, и молча наблюдала за всеми. Глуповатое, покрытое пятнами лицо,

спокойно удовлетворенное и неосмысленное, было неподвижно, как у куклы. Она втайне гордилась своим мужем и смотрела, как он ест, не пропуская ни одного его движения.

Алфи был худенький, ничем не приметный юноша, с лицом, отмеченным удивительным безличием, будто кто-то взял да и попробовал печать, оставив на бумаге размазанный неразборчивый отпечаток: лицо в серой массе, пятно в толпе, начисто лишенное хоть каких-нибудь черт индивидуальности. Но он был работающий парень и хороший муж, хотя сейчас и обескураженный слегка результатами собственной, недавно открывшейся доблести на супружеском ложе. На людях он почти рта не раскрывал, и одна Каролина знала, о чем у них были разговоры в лачуге из старого контейнера.

Чарли сказал ему с набитым ртом:

— А у вас крыша не должна протекать, толь хорошо держит. А, Алфи?

— В порядке,— пробормотал Алфи, не поднимая от тарелки глаз.

— Так Каролина считает, что вам не добиться этого домика?

Алфи ничего не ответил, и мать строго взглянула на Чарлза.

— Не говори с полным ртом, Чарлз, сделай одолжение,— сказала она.

Чарли проглотил и сказал:

— Извини, ма.— И потом продолжал:— А забавно все-таки, ведь сколько вот наберется таких, как мы, кто обмирает и трясется за свои крыши всякий раз, как с неба покаплет, а есть люди, которым ни черта не приходится ни о чем заботиться. Живут себе в шикарных хоромах вроде такого, где Фрида работает. Я вот дяде Бену рассказывал. Да взять хотя бы даже этих, по шоссе...— Он собрал с тарелки последнюю ложку, отломил кусок хлеба и вытер тарелку насухо.— У одних ни гроша, другие кое-как перебиваются, у третьих чуть побольше, а есть такие, у кого до черта, купаются в деньгах. Тут один новенький к нам пришел, когда я работал на прокладке труб, так он говорит, что беднякам надо просто организовать вроде бы союз.— Он сунул в рот мякиш, которым вытирал тарелку, и молча жевал.

Мать сказала:

— Каждый несет свою ношу.

— Вот и я так говорю,— сказал дядя Бен.

— Я,— сказал Чарли.— Пожалуй. Только вот не мешало бы подумать, кто это высчитывает да назначает, кому какую ношу нести?

Мать сказала:

— Ты говорил про Фриду. Как она там?

— В последний раз, когда я ее видел, ничего, нормально,— сказал Чарли.— Можно мне теперь мою чашечку кофе, ма?

Мать наливала кофе, а Рональд с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, стал выбираться из-за стола. За все время, пока они ужинали, он не сказал ни слова. Он исподлобья взглянул на Чарли. Тот усмехнулся ему в ответ.

Мать спросила, бросив в сторону Рональда сердитый взгляд:

— Ну что это ты как печаль смертная? Чего ты опять надулся?

Рональд не ответил, он пошел к себе, и они услышали, как он хлопнул дверью.

— Просто не знаю, что с ним творится,— сказала мать.— А все эта девушка, за которой он увивается. Дурная эта девушка.

Чарли знал причину скверного настроения брата. Он стозвал Рональда в сторону, когда тот вернулся с работы, и рассказал ему о стычке с этим типом, Романом.

— Слушай,— сказал он ему.— Я не хочу ничего говорить при матери, сам знаешь, отец болен, и вообще... Но этот тип, Роман, точит на тебя зуб, потому что считает, что ты путаешься с его девушкой, с этой Сюзи Мейер...

Рональд, как обычно, полез в бутылку.

— Его?— закипятился он.— Черта с два она его!

— Ты послушай,— сказал ему Чарли.— Я тоже считаю, что у него нет на нее никаких прав, он женат и все такое. Но мне пришлось с ним сегодня подраться, потому что он полез на меня. Ну я-то с ним всегда справлюсь, так? В любое время, пока у него не пропадет охота задирааться. Но вообще-то он твердый орешек, этот малый. И для тебя он, пожалуй, тяжеловат. И потом я вообще не считаю, что из-за этой Сюзи стоило нарываться на неприятности. Что тебе, других мало?

— ...— выругался Рональд.— Никто тебя не просит за меня заступаться, понятно? Не лезь не в свои дела!

— О'кэй,—сказал Чарли,— но не могу же я стоять в стороне и смотреть, как Роман станет разделявать моего маленького братца, верно?

— Маленького?— разозлился Рональд.— Если надо будет, я сам справлюсь с твоим Романом, слышишь? Не лезь в чужие дела, говорят тебе.

— Ладно, а только я ему велел оставить тебя в покое. Надеюсь, он не полезет на рожон.

— Говорят тебе, я сам с ним разберусь! — крикнул Рональд и ушел.

Мать устало посмотрела ему вслед.

— Мы так старались для нашей семьи, ваш отец и я. Теперь вот он заболел, нам и так тяжело, хватит с нас и без того неприятностей.

Чарли сказал:

— А, обойдется, не обращай внимания, ма.

Дядя Бен сказал, отодвигая табуретку и поднимаясь из-за стола:

— А я так полагаю, что с семьей всегда одни неприятности. У семейных вечно заботы, не то, так другое.

Мать сказала:

— Да. А только, по мне, лучше пусть заботы, чем совсем ничего. — И она посмотрела на дядю Бена.

Чарли допил кофе и тоже встал, потирая затекшие икры. Собака юркнула у него между ног и забилась под стол. Чарли спросил:

— Ну, ты идешь, дядя Бен? А то я бы с тобой прогулялся за компанию.

Мать спросила:

— Куда это ты собираешься в такой дождь, Чарлз?

— А что, погода как погода,— сказал ей Чарли. Он снял с гвоздя желтый дождевик и рывком натянул его на себя.— А ты без пальто, дядя?— спросил он.

— Мне тут недалеко,— ответил дядя Бен.

Мать сказала, обращаясь к Чарли:

— Осторожнее, смотри. Здесь по ночам какое только хулиганье не шатается.

— О, как-нибудь постоим за себя.

Дядя Бен сказал:

— Да пусть его, Рахиль. Он ведь мужчина. Ах, черт, а ведь ему было семнадцать годочков, когда он ушел в армию. И вот уже взрослый мужчина. Ну и бежит времечко, черт его подери.



Чарли улыбнулся ему и подмигнул. Мать сказала дяде Бену:

— Я, взрослый мужчина. И я надеюсь, он не пойдет по твоим стопам.

Дядя Бен смутился, а Чарли захохотал. Он сказал:

— Ма, а мне так кажется, ты просто не знаешь дядю Бена. Правду я говорю, дядюшка?

Он снова подмигнул, но дядя Бен не видел: он печально уставился в пространство, застыв посреди сизой от дыма кухни.

13

Он постучал и через некоторое время услышал в доме какое-то движение и затем ее голос:

— Кто там?

— Это я, Чарли,— отозвался он тихонько.

Шел мелкий морозящий дождь, и он стоял у хижины, зажав в кулаке сигарету, ожидая, когда в замочной скважине повернется ключ. Неба над головой не было видно, повсюду царила крошечная тьма, нарушаемая лишь небрежно раскиданными точками огней. Ветер шуршал листьями, ударялись друг о друга ветки деревьев — казалось, по дереву скрежещут бесчисленные напильники. Он услышал, что дверь отпирают, и отшвырнул сигарету в слякотную темноту.

Дверь слегка приоткрылась, и он протиснулся в щель.

— Здравствуй, Фрида, моя девочка, — сказал он.

Она несла свечу в жестянке и прикрывала пламя рукой, пока он не захлопнул за собой дверь и не повернул ключ.

— Тише,— прошептала она,— не разбуди детей,— и добавила:— В такой дождь ты на улице?

— Ты недовольна? Хочешь, чтобы я ушел?— пошутил он.

— Не говори глупостей. Хотя ты давно не приходил.

— Bokkie, bokkie,— засмеялся он. Они стояли в дрожащем свете.

Ее жесткие волосы были заплетены на ночь в две короткие косы по обеим сторонам лица, и он видел тяжелые холмы ее груди под старой, застиранной фланелью ночной рубашки. Он шел следом за ней по комнате, стя-

гивая на ходу мокрый плащ, мимо детей, которые ворочались и бормотали во сне на диванчике.

— Здесь тепло и приятно, — сказал он.

— Я зажгла примус, — ответила Фрида. — Но он плохо горит. — И, зайдя за занавеску, висевшую посреди комнаты, усмехнувшись, спросила: — Ты пришел допить ту бутылку?

— Вот еще. — Он засмеялся. — Какого черта.

Она поставила свечу на туалетный столик у кровати, и Чарли почувствовал, что у него пересохло во рту, когда он смотрел, как движутся ее полные округлые бедра под ночной рубашкой.

— Мать знает, что ты здесь? — спросила она с издевкой.

Он улыбнулся, расшнуровывая перепачканные в глине ботинки.

— Догадывается, наверное. Да ведь она говорит, что я уже взрослый.

— Но ты все никак не женишься, Чарли, — сказала она.

— Нет. Меня, видно, контузило на этой войне.

Упоминание о женитьбе огорчило его немного, и он попытался отшутиться, надеясь, что она не станет развивать эту тему.

Она стояла близко к нему, и свеча горела на туалетном столике рядом с грудой одежды и разных вещей. Здесь были баночки с остатками питательного крема, дезодорантом, мазями, и облезлый тюбик губной помады, и обмылок туалетного мыла на блюде, и растянутый пояс с подвязками — скопившаяся за месяцы добыча из хозяйского будуара. С засиженного мухами зеркала, словно захваченный в бою штандарт, поникнув, свисал рванный нейлоновый чулок.

Она улыбнулась ему, но свеча, как огни рампы, светила снизу и отбрасывала тени, выхватывая из темноты лишь блеск ее глаз, и он не мог видеть ее улыбку. Но он видел глубину ее глаз, их нежность и удивительную красоту, которой не замечал раньше, и она немного подалась назад и легонько отпихивала его, и вся затрепетала, и ладони его запели на ее теле.

— Чарли, Чарли, Чарли, милый!

— Что, Фрида? Что?

— Чарли, ну что ты так, опомнись...

Но сопротивление ее ослабевало под его ищущими

руками, и она вздохнула глубоко и облегченно, когда он прижался к ее груди и почувствовал дрожь в ее теле и нежное ответное прикосновение грубых рук поденщицы на своем лице.

14

Между хижинами, вся в разводах трещин, в изломах и залитых водой колдобинах, шла короткая полоса асфальта, вскоре терявшаяся среди пыльного пышного былья. Это был труп улицы, которая давным-давно умерла, задушенная, погибшая без присмотра, и теперь ее теснили осевшие на сломанные зады, прижавшиеся к земле хибарки, точно ждущие своего часа прожорливые гиены.

Там и сям вдоль несуществующей улицы еще стояли, доживая свой век, кирпичные оштукатуренные дома. Стекла в их окнах были выбиты, и фанера, ветошь и картон походили на черные повязки поверх пустых глазниц. Штукатурка со стен облетела, обнажив рваные раны кирпичной кладки, крыши держались тяжестью наваленных сверху булыжников. Дома эти стояли чуть в стороне от лачуг из картона и жести, с видом надменным, словно люди побогаче, вынужденные мириться со своей многочисленной бедной родней.

Ронни Паулс вынырнул на улицу между двумя хижинами и остановился на мгновение у края исковерканного асфальта. Мелкий дождь сыпал не переставая, он промочил насквозь плечи его куртки, а теперь, когда дождь бил ему прямо в лицо, вода стала затекать за ворот рубашки. Он поежился и туже надвинул на лоб кепку, чтобы вода не попадала в глаза.

Он пересек улицу, ссутулившись, глубоко засунув руки в карманы брюк. В воздухе стоял ровный шелест дождя, а листья деревьев мягко и тихо шуршали, точно кто-то подметал твердую землю. Он перебрался на другую сторону этого жалкого подобия улицы и зашагал вдоль мокрых нахохлившихся лачуг. На краю асфальта он споткнулся, угодив ногой в выбоину, и выругался, покачнувшись, еле удержав равновесие. Выпрямившись, он вновь зашагал, ступая по скользкой глине и мокрым листьям.

Где-то впереди едва мерцал огонек, пробивавшийся через щели заколоченного окна. Когда-то дом состоял

из четырех комнат, но было это очень давно, боковая стена и задняя обвалились беспорядочной мокрой грудой, обнажив внутренние перегородки, ну точно как после бомбежки. Сохранились лишь передняя комната да кухня.

Палисадник перед домом был затоплен липким месивом из мокрой глины и черной грязи, и Рональд еле пробрался по нему к облезлой входной двери, темной и зловещей, как в кинофильме с привидениями. Он поехал и вытащил озябшую руку из кармана, чтобы постучать.

Внутри, как в волшебной пещере, играл граммофон, сквозь щели в двери доносилась музыка: визгливый искаженный голос пел что-то о лунном свете, розах и воспоминаниях. Он постучал еще раз, переминаясь с ноги на ногу на разбитой единственной ступеньке. В доме что-то крикнули, другой голос ответил бранью. Потом взвизгнул и грохнул замок и дверь слегка приоткрылась.

— Ну кто там?

В узкой полосе тусклого желтого света показался прямоугольник лица: сморщенная коричневая кожа, как скомканная оберточная бумага, серые клоchy волос, глаз, будто плавающий в лужице какой-то жидкости, щель рта и рука, вцепившаяся в край двери, рука, похожая на коричневую куриную лапу.

— Я хочу видеть Сюзи,— сказал Ронни, проклиная про себя и дождь, и эту отвратительную старуху. — Она дома? Скажите ей, что это Ронни.

— Ее здесь нет,— злобно проскрипела старуха. — Убирайся отсюда. Чего тебе надо от Сюзи? — А где-то за ее спиной шипела под тупой иглой граммофонная пластинка.

— Я хочу ее видеть,— настаивал Ронни. — Скажите ей...

— Парень, я сказала, что ее здесь нет. Проваливай, проваливай.

Рональд открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но дверь захлопнулась у него перед носом, и он услышал звук защелкнувшегося замка и пение, переходящее в визг: очевидно, не снимая пластинки, заводили граммофон. Он поднял руку, чтобы снова постучать, но тут же раздумал. Чертова старая шлюха! Ненависть кипела в нем, а голос за дверью с металлическим скрежетом затянул что-то про Гавайи.

«Чертова сука, пусть она лучше не водит меня за нос», — подумал Рональд, отходя от двери. Пусть лучше не якшается с другими мужчинами, не то он ей покажет. Он уходил обратно по липкой грязи, спотыкаясь о битый кирпич. Бешенство и досада клокотали в нем, и все ту же завязывался в груди железный узел ненависти.

Под морозящим дождем он перешел улицу. Остановился под эвкалиптом, с которого лило, как под открытым небом. Бьюсь об заклад, она там крутит свой чертов граммофон, ждет какого-нибудь... Он стоял, съежившись от холода, сжимая одной рукой воротник куртки. Позади залаяла и зарычала собака, заматалась на цепи. Рональд вышел из-под дерева, не думая о собаке, и остановился на краю искореженной мостовой. Он решил ждать.

Через некоторое время ему захотелось курить, и, нервным движением нащупав смятую пачку, он вытащил сигарету из кармана. Он осторожно зажег ее, прикрывая от дождя ладонями. Но через минуту сигарета расползлась от воды в коричневое табачное месиво, и он со злостью швырнул ее в глину. Он все стоял, наблюдая за домом, злость не отпускала его, мокрые пальцы нащупывали в кармане складной нож. Дождь промочил насквозь его одежду, он чихнул и вытер верхнюю губу мокрой рукой. Он все еще мучительно думал об этой девушке, Сюзи, когда увидел, как чья-то массивная фигура перебралась через разбитую улицу и остановилась перед домом. Мужчина был одет в старое пальто, он притопывал на пороге, чтобы согреться. Вскоре дверь приоткрыли, и в мокрую тишину улицы издевкой просочилась музыка из граммофона. Мужчина сказал что-то старухе, дверь широко распахнулась, и он быстро скрылся в доме.

Там в доме одна половица разболталась и скрипела, когда на нее наступали. Пол был грязный, перепачканный глиной, на нем сохранились еще кое-где остатки линолеума, как содранные стружья громадной раны. Комната была загромождена обветшалой, покоробленной мебелью, сдвинутой сюда, когда остальная часть дома обрушилась. Доски на потолке прогнулись, в щели между ними напихали скомканные газеты. Повсюду виднелись громадные, причудливых очертаний пятна сырости и клеевая краска отставала от стен или вздувалась мокрыми пузырями.

Старуха плелась в кухню и громко брюзжала:

— Одно у ней на уме — мужчины. Не тот, так другой. Вечно мужчины, мужчины, мужчины.

На ней было старое длинное грязное платье, доходившее ей до щиколоток, и вконец изношенные шлепанцы, которые хлопали по полу, когда она шла, а один из них был такой дырявый, что открывал ноготь большого пальца ноги, желтый, изломанный, грязный, словно выкопанный из древнего могильника.

Сюзи Мейер, которая заводила граммофон, стоявший на столе около неприбранной постели, огрызнулась на старуху:

— Заткнись! Прикуси язык! Не твое это собачье дело!

Роман, стаскивая старую солдатскую шинель, расхохотался. На шинели недоставало нескольких пуговиц, оторванные погоны болтались. Сукно потемнело от дождя.

Сюзи поставила пластинку, и искаженный голос певца вырвался из громадной трубы. Она села на край своей неопрятной постели и стала слушать.

— Скажи старухе, чтобы принесла выпить. Чертовски холодно, — сказал Роман.

— Скажи ей сам, — ответила Сюзи. — Ты же видишь — я слушаю.

— Хорошо. — Он осклабился. Гнилые зубы показались на обрюзгшем, расплывшемся, покрытом щетиной, давно не бритом лице. Он пошел к ней. — Снова пластинки?

— Отстань. Дай послушать.

— Пластинки, — проворчал он и двинулся к кухонной двери, чтобы попросить у старухи бутылку дешевого вина.

Девушка сидела на кровати, слушала гнусавое пение, на лице у нее был написан восторг. Это было грубо раскрашенное лицо местной красотки, выступающие скулы лоснились слоем румян, ресницы топорщились под грузом краски, толстые губы рдели двумя аляповатыми полосами губной помады не подходящего к щекам оттенка, а жесткие волосы были накручены на пластмассовые трубочки-бигуди, делавшие ее похожей на какую-то нелепую куклу-уродца. Она сидела как замороженная и впитывала в себя скрипучие звуки и слова про любовь и лунный свет.

Когда Роман вернулся в комнату с бутылкой в руке, пластинка прокрутилась до конца. Он сказал:

— Ну как, Сюзи?

— Я купила новые песни Бинга, — сказала девушка, снова взявшись за ручку граммофона. — Хорошо бы у нас было электричество и радиоприемник.

Роман закинул голову назад и начал пить прямо из горлышка. Оранжево-желтая струйка стекла из угла рта на подбородок. Он опустил бутылку и громко рыгнул.

— Где только ты монету берешь на свои пластинки? Инсусе, у меня вот нет даже на приличную выпивку.

— Не твое дело, — огрызнулась она. — Ты что, мой муж? — И уже спокойно сказала: — Две самые последние пластинки Бинга... Я хотела еще купить Фрэнки Лэйна, но песня мне не очень понравилась.

Роман отхлебнул еще вина и спросил, искоса глядя на Сюзи:

— Слушай, что у тебя с этим щенком, Ронни Паулсом?

— А что? — Она вскинула пеструю, в валиках бигуди голову, насмешливо прищурила подведенные глаза.

— Лучше ты это брось, со щенками крутить.

Она расхохоталась пронзительным жестким смехом, издавая звуки, средние между карканьем и визгом, и затем презрительно сказала:

— Заруби себе на носу, я могу ходить с кем пожелаю, слышишь? А если ты уж такой щепетильный, то сидел бы дома со своей женой и детьми.

— Кончай шуметь, — ответил Роман и снова отпил из бутылки. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о его жене и детях. В этой отвратительной комнате было холодно и неудобно, но все лучше того, что у него дома. Он захмелел и прислонился спиной к разохшемуся буфету. С противоположной стены из грязного проржавевшего зеркала на него смотрели его собственные налитые кровью глаза.

— Я слыхала, этот Чарли Паулс отделал тебя как следует? — сказала девушка с издевкой.

Роман тупо уставился на нее.

— Он? Меня? Отделал меня?

— Ja... Да и по лицу видно. Вон как он тебя украсил.

— Я еще доберусь до него, — сказал Роман угрю-

мо. — А этому щенку, младшему Паулсу, переломаю его щенячью шею.

Девушка снова засмеялась. Она взяла сигарету из пачки, лежавшей около граммофона, и закурила, выпуская клубы дыма и насмешливо разглядывая круглоголовую развалину, прислонившуюся к старому буфету. На улице по-прежнему шумел дождь. Она снова начала крутить ручку граммофона.

— Ты не можешь оставить эту штуку в покое? Лучше поговорим о том о сем, а?

— Я знаю, что ты называешь «поговорить», — ответила Сюзи. — Сколько у тебя?

Он не ответил, и она вытащила из конверта новую пластинку и поставила ее на диск, игла зашипела, побежала, и снова послышалась музыка.

— Бинг — это класс! Я одну картину с ним четыре раза смотрела.

Роман не сводил с нее угрюмых глаз, а она сидела, забыв обо всем, упиваясь вырывающимися из трубы звуками голоса, искаженного сработанной пружиной, тупой иглой и негодной мембраной.

— Класс! — повторила она со вздохом. — Жаль только, у нас нет приемника.

15

Роман жил со своей семьей в постройке, которая была не то сараем, не то курятником, не то собачьей конурой. Жалкое это сооружение к тому же едва держалось. И когда всем сразу нужна была крыша над головой, он сам, его жена и одиннадцать ребятишек набивались внутрь, как кролики в клетку. Когда же такой необходимости не возникало, дети слонялись вокруг, одетые в грязные кофты, старые рубахи, порванные майки. Больше ничего не было. От голода у них распухли животы, и они целыми днями рылись в земле, как куры, выискивая лакомые отбросы: заплесневелые хлебные корки, обглоданные кости, грязно-липкие банки из-под сгущенного молока. Мать сидела на пороге, высохшая, как верхушка поваленного ветром дерева.

Постоянной работы у Романа не было, квалификации тоже. Сначала он еще перебивался от работенки к работенке, зарабатывая по несколько шиллингов. Но потом,



отчаявшись, увидя, что так ему все равно не прокормить свое многочисленное потомство, стал заниматься мелким воровством, обирая тех, кто был слабее его. Иногда в этом занятии он переступал границы и оказывался за решеткой.

В промежутках между очередными отсидками он пьянствовал и все свои несчастья вымещал на жене. Думать и соображать он был неспособен, вот и лупил того, кто оказывался к нему всех ближе, как тонущий, который отталкивает и бьет по головам своих товарищей по несчастью, чтобы только дотянуться до сомнительного залога спасения — плывущего по волнам весла.

Он пропивал теперь все, что ему удавалось выманить, украсть или иной раз заработать. А когда не было денег на самое дешевое вино, он пил шестипенсовый денатурат.

Когда он бывал дома, то все, кто жили поблизости, слышали неистовый шум его диких выходок. Он бил жену палкой по голове, кулаками по лицу. Он ломал ей руки, ребра. Когда он уставал бить ее, он порол детей. Он почти всегда пребывал в состоянии пьяного бешенства, а когда не было вина и средств добыть его, он был опасен, как старый голодный волк, готовый броситься на любого, кто попадался ему на пути.

Когда-то его жена была даже привлекательна. Но Роман вышиб и переломал ей зубы, а лицо измолотил, превратив в бесформенный блин. Какую бы любовь она к нему ни питала когда-то, все чувства давно уступили место ненависти; поначалу она даже дралась с ним, отбивалась. Но с годами непрерывные избиения и вечная нищета иссушили даже ненависть, и женщина стала как тряпичная кукла, которую долго таскал и трепал дворовый пес, пока наконец не вытряхнул из нее опилки и держит теперь в зубах лишь грязные обрывки ленты. Она перестала сопротивляться, драки в их доме больше уже не были завлекательным зрелищем для соседей, и на них махнули рукой — пусть дерутся, сколько душе угодно.

Но точно по волшебству жизнь не умирала в чреве женщины. Кажется, когда на нее ни взглянуть — она либо на сносях, либо с новорожденным на руках. Это пугало и бесило Романа еще больше. Его жена беременела безотказно, как по часам. И рожала так же гладко и мягко, как шприц гонит смазку: нажмешь — и смазка

выходит наружу. И поэтому, кроме шума драк, в доме всегда слышался детский плач.

Он пробовал подступиться к известным в локации женщинам свободных нравов, чтобы только избежать общения с женой. Но он был нищ и жалок, его прогоняли, и тогда он возвращался домой и набрасывался на жену. В то утро, когда Чарли Паулс отделал его, он вернулся в свою хибару и зверски избил жену — в качестве компенсации за собственное поражение.

Чем это кончится, никто не знал. Да никому, собственно, и дела не было. Своих бед хватало.

16

Дождь прекратился; повсюду была вода, между промокшими хижинами образовались стоячие озера, дорожки тянулись бусами черных луж, нанизанных кое-как на влажные нити глины, с мокрых листьев стекали капли воды и морзянкой барабанили по сочащимся влагой крышам. Люди пробирались по дорожкам, переправлялись через лужи или продирались через липкую глину. Дети были счастливы: они шлепали босиком, запускали флотилии щепок через коричневые озера. В воздухе стоял запах дождя, смешанный со всеми остальными запахами локации, растворявшийся во всепоглощающем горьком аромате нищеты и запустения.

Когда Чарли вошел во двор своего дома, он сразу понял, что случилась какая-то беда. Здесь навис мрак, но иной, чем мрак непогоды, и Алфи с Рональдом слонялись по двору, хотя оба давно уже должны были уйти на работу. На пороге кухни стояла Каролина, большая, отяжелевшая, на ее расплывшемся кукольном лице застыло волнение.

— В чем дело? — спросил Чарли. — По какому случаю не на работе, бездельники?

Альфред посмотрел на него глазами, полными тоски и ужаса, а Рональд глухо, но прямо сказал:

— Отец. Он только что умер. — И отвернулся, насупившись, и еще глубже засунул руки в карманы брюк.

Чарли обвел их испуганным взглядом и прошептал:

— Нет. Нет. Да вы что?!

Он бросился в дом, отпихнув стоявшую в дверях Ка-

ролину, и ее опухшее лицо сразу растянулось в гримасе плача. Вбежав в кухню, Чарли услышал, как младший братишка Йорни плачет в их комнате, а из-за рваной занавески над входом в комнату родителей доносится странное унылое песнопение.

Это мать. Она сидела на стуле у кровати, ее руки лежали на коленях, а тело легонько раскачивалось взад и вперед в такт пению или причитанию. Слова падали сухие, как песок пустыни, на голову было накинута черное покрывало, спина ее тихо покачивалась, а глаза смотрели невидяще, прямо в стену.

— Ма, — позвал Чарли.

— Твой отец ушел от нас, — проговорила она. — Твой отец ушел и больше никогда не вернется. Он был для меня хорошим мужем, и всю жизнь он работал, чтобы прокормить нас, и он дал мне детей и помогал их растить. Он был добр со мной и со своими детьми, и он верил в нашего господа всемогущего. Он жил и работал и не делал ничего, что дурно в глазах господа. Он работал для своей семьи, а когда уже не мог больше работать, он лежал и ждал, когда Иисус призовет его к себе. Теперь он ушел к богу, ушел от болезни и голода, ушел отдохнуть от своих трудов. Он нес свой крест, как и господь наш Иисус, и теперь ноша упала с его плеч...

Сухой, без слез, голос причитал, и плечи покачивались, у матери не было слез, слова эти были ее слезами.

Чарли посмотрел на кровать, и горло у него сжалось. Отец лежал теперь совершенно спокойный, под ровным, неподвижным покрывалом, а лицо его, темное от щетины и застывшее как маска, было обращено вверх из грязных подушек, и слова матери падали вокруг.

— Ма, — снова позвал Чарли.

Тихие причитания кончились, раскачивающаяся фигура замерла. Несколько минут мать сидела молча, но вот бразды правления снова оказались в ее руках, и она заговорила.

— Отца надо обмыть, — сказала она. — Пошли малыша Йорни с ведром, пусть принесет воды. Кредитная книжка на полке в кухне.

— Хорошо, ма, — мягко ответил Чарли.

— А Ронни пошли за доктором. Он должен выписать справку, правда? По дороге он может сказать мистеру

Сэмпи, который собирает каждую неделю похоронные взносы. Похоронная твоего отца выплачена. Я рада, что хоть это нам удалось.

— Хорошо, ма.

Она вздохнула.

— А ты сходил бы и позвал миссис Нзубу, чтобы она помогла мне. Она захочет помочь. Она помогала мне на свадьбе Каролины, и она обидится, если я не попрошу ее помочь сейчас. И сообщи брату Бомбате, и твоему дяде Бену, и другим людям. Людям надо сказать, я думаю.

— Хорошо, ма, — сказал Чарли и пошел к двери. Но остановился и хриплым голосом добавил: — Ма, ты уж не очень убивайся, а?..

— Обо мне не беспокойся, — ответила мать, не обернувшись. — Пойду-ка уложу Каролину. Ей нельзя сейчас волноваться.

Когда Чарли ушел, она встала, подошла к комоду и долго рылась в нем, пока не отыскала старую картонную коробку из-под конфет. Коробка была полна до краев рваными потрепанными бумажками — свидетельствами о браке, о рождении, рецептами, табелями воскресной школы, целым архивом большой семьи. Она достала похоронную страховую книжку, на которой значилось имя Фредерика Паулса, остальные бумаги сложила обратно в коробку. Она открыла потертый кошелек, вынула два пенни. Затем, склонившись над кроватью, положила монеты на глаза старого Паулса. Руки его были сложены под покрывалом. После этого она полезла в шкаф за чистой рубашкой.

В кухне тихонько плакала Каролина.

— Как ты себя чувствуешь, детка? — спросила мать.

— Да вроде ничего, мама, — ответила Каролина отрезанно. Она вытерла слезы, и на лице остались грязные полосы.

— Пойди ляг, — сказала мать, — и попросила Алфи посидеть с тобой. Вам пока здесь нечего делать. У Алфи вычтут день, если он пропустит работу?

— Не знаю, ма.

— Ну ладно. Иди ложись пока. А я разведу огонь.

На улице небо по-прежнему было серо-стального цвета, а деревья стояли мокрые от дождя. Откуда-то из-за заборов доносились чьи-то голоса, люди разговаривали, закатывались лаем собаки. Позади дома по улице проехала телега, раскачиваясь и подпрыгивая в глиняной

колее и залитых водой ямах и выбрасывая из-под колес маленькие фонтанчики грязной воды. Телега была нагружена дровами, прикрытыми кусками мокрой мешковины, и босой мальчик шел следом за повозкой, следя, чтобы поленья не падали на землю. Наверху на дровах, нахохлившись от холода, сидел усатый старик с изможденным лицом пророка и то и дело подстегивал лошадей. Телега тащилась по дороге, а одно из колес издавало резкие, высокие, мучительные стоны.

Во дворе слышались шаги, и в дверях кухни появилась женщина с заплаканным, взволнованным лицом. Под тяжестью ее шагов закрипел и пошатнулся дом.

— Доброе утро, Нзуба, — сказала мать из-за печки.

Представьте себе массу черного смородинового желе, разлитого во множество сообщающихся между собой овалов, сфер, эллипсов и прочих разных выпуклостей, являющих собой голову, торс, руки и ноги. Облачите это желе в широкие одежды, стиранные-перестиранные и снова выпачканные, закапанные салом и супом, напяльте поверх платья мужское пальто, старое и расползающееся по швам, решительно отказывающееся застегиваться, мужские вытянутые, перештопанные и все равно дырявые носки на слоноподобных икрах, обуйте эту фигуру в разбитые, расхлябанные мужские же ботинки со свалки — и вы получите в результате миссис Нзубу.

Когда она говорила или улыбалась, ее рот выглядел как раздувающийся и сжимающийся пузырь на кипящей поверхности шоколадного бланманже. Когда она двигалась или шевелила хотя бы одним пальцем, вся пышная громада ее тела приходила в движение, оно дергалось, колыхалось и дрожало, точно миллионы дряблых маленьких пружин начинали свое действие под неровной поверхностью кожи.

Увидев мамашу Паулс, она воскликнула:

— Ай-ай, Чарли только сейчас сказал мне. Ай, и не стыдно вам? Мне так жаль, Паулс.

— Dankie. Спасибо, Нзуба, — мягко ответила мать. — Я рада, что ты можешь мне здесь немного помочь.

— Мы должны помогать друг другу. И не стыдно вам... — говорила женщина, вытирая рукавом пальто слезы. — Было очень плохо, Паулс?

— Нет, — ответила мать, ворочая кочергой угли. — Он отошел спокойно. Я сидела там рядом с ним, он как раз поел немного супа, со вчера у меня осталось. Он

вдруг посмотрел на меня и говорит: «Рейчи», — он меня всегда так звал, знаете ли, — «Рейчи, как дети?», и я сказала: «Отец, с ними все в порядке. Чего ты беспокоишься?» И он сказал еще: «Я бы хотел, чтобы они жили в другом доме. Вроде тех домов с черепичной крышей». Я говорю: «Зря ты беспокоишься насчет дома». И он посмотрел на меня и закрыл глаза. Потом он как-то вроде вздохнул, и сразу у него заклокотало в горле, и вот так все и кончилось. — Мать минуту помолчала, вспоминая, как все это было, а миссис Нзуба утирала слезы.

— Ну, Паулс, — сказала она, хлюпая носом, будто у нее был насморк. — С тобой твои дети.

— Да, дети, — вздохнула мать. — Дети. Но я не знаю, Нзуба. С семьей как будто что-то происходит. Да, наверно, это во всех семьях. Младший, Йорни, не хочет больше ходить в школу, слоняется без дела, прогуливает. Целый день с другими детьми роется на свалках. Ронни совсем от рук отбился, и с каждым днем с ним все труднее. Да и что думает Чарли, я тоже не знаю.

— Верно, — сказала миссис Нзуба сочувственно. — Современные дети.

— Я послала Йорни за водой, — сказала мать. — Ты поможешь мне обмыть старика и по дому? Надеюсь, что Йорни не задержится.

— Немного воды есть у меня дома, — сказала Нзуба. — Она уже согрета. И ждать тогда не надо будет. Есть кого послать?

— Я потом верну тебе, — сказала мать. — Можно послать Алфи.

— Ничего не надо возвращать, — сказала женщина. — Мне приятно, что я могу помочь тебе. Мы живем здесь рядом столько времени.

— Dankbaag, большое спасибо, Нзуба, — ответила мать. — Я так тебе благодарна.

— Не надо меня благодарить. Мы должны поддерживать друг друга. Где Альфред? Я пошлю его ко мне за водой.

Вода, вода, вода. И в грозно нависшем небе, и в отяжелевшей земле, в медных кранах, и в железных цистернах. Вода, чтобы сварить кофе, чтобы выстирать лох-

мотя. Вода, чтобы обмыть покойника. Вода — это драгоценность, и во дворах у тех, в чьи дома проложены водопроводные трубы, выстраивались очереди маленьких оборванцев с ведрами, с банками и кастрюльками. Те, у кого из кранов бежала вода, продавали ее остальным, у кого таких благ не было. Потому что жить-то надо, верно?

— Мистер, мать просит ведро воды до пятницы.

— До пятницы? Ждать двух пенсов до пятницы? Твоя мать, должно быть, рехнулась. Два пенса ведро, плата наличными.

— У матери нет сейчас двух пенсов, поверьте, мистер.

— А я, что ли, в этом виноват? Проваливай, да побыстрее, некогда мне с тобой болтать.

— Эй ты, гад, я первый сюда пришел! Слышишь?

— Пошел ты. Я здесь все время, очередь моя.

— Ах ты!.. Я здесь стою. Спроси ее. Ведь я стою здесь?

— Слушайте, вы, маленькие черти, если не умеете вести себя как следует, никто ничего не получит, ясно?

— Миссис, мать просит ведро воды до пятницы.

— Как бы не так! Нет денег, не будет воды. До пятницы ей...

— Эй, послушай! Ты что, за два пенса хочешь получить целую ванну воды? У нас здесь не распродажа, самим не хватает.

— А что? Два пенса — и наливай доверху свою посудину. Разве не так?

— Ах ты, сопляк! Ты еще поговори у меня, нахал ты этакий! Да я тебе сейчас спущу штаны и так всыплю!

— Банка есть банка. О размерах уговору не было.

— Ишь ловкач какой. Притащил целую ванну, и наливай ему до краев!

— Мистер, банка не полная. Долейте, чтоб полная была.

— Ладно, ладно, не ори! Давай сюда!

Вода с шумом, бульканьем, плеском бежит в ведра, банки, кувшины, горшки. Вода, чтобы варить по утрам кофе, вода, чтобы выстирать отцу выходную рубашку. А иной раз даже чтобы умыться. Вода, чтобы обмыть новорожденного или покойника.

Вода — это прибыль. Чтобы извлечь эту прибыль, тот, кто торгует водой, должен дочиста отмыть в ней

свою душу от сострадания. Он должен выполоскать из сердца всякую жалость, до крошки выскрести из себя жесткой щеткой корысти следы сочувствия к ближнему. Надо иметь водопроводный кран вместо сердца, цистерну вместо головы, свинцовые трубы вместо внутренностей.

— Полведра, мистер. У нас только одно пенни.

— Полведра? Полведра. О господи Иисусе, на что мне сдалось одно пенни?

— Ма просит банку воды до завтра, мистер. Ей-богу, мистер, до завтра.

— Скажи своей матери, что до завтра еще дожить надо. Завтра. Что я, по-вашему, миллионер, что ли?

— Боже правый, ну и сквалыга этот человек!

— Сквалыга? «Сквалыга». Ты с кем разговариваешь, а? «Сквалыга».

— Слушай, будь человеком, дай мальчику воды до пятницы.

— Какое твое дело? Ты, что ли, здесь хозяин? «До пятницы». «До завтра». Да ведь, если они сразу не заплатят, от них гроша не дождешься.

— Черт возьми. Нельзя же быть таким, мистер!

— Ну ладно, проваливай. Хозяин нашелся.

— Эй ты, отойди, сейчас моя очередь. Думаешь, если сильный, так тебе все позволено?

— Ну-ка, не драться здесь! Ишь ты.

— У-у! Образина!

— Мы все бедные люди, мистер.

— Я тоже не богач. Что, вы думаете, я ем? Камни? Траву?

— Мистер, ведро воды.

— Жестянку воды, мистер.

— Скажи: «Пожалуйста». Их еще вежливости учи.

В доме набилось полно народу, а те, кто не смогли протиснуться внутрь, толпились во дворе вокруг старой шелковицы и слушали, как в доме поют молитвы. Мужчины почти все были в своих лучших выходных костюмах, черных или темно-синих, извлеченных из сундуков



и тщательно вычищенных. И при черных галстуках. Женщины стояли в шляпах — как и костюмы мужчин, эти шляпы хранились для торжественных случаев, таких, как свадьбы или похороны. Рядом с черными и синими костюмами люди в обычной рабочей одежде чувствовали себя неловко и скромно прятались в толпе. Здесь собрались родственники и соседи, смуглые лица мулатов и черные лица африканцев, все глядели строго и торжественно, потому что перед лицом смерти все едины.

Чарли стоял во дворе и пожимал руки гостям. Его темный костюм, купленный бог весть когда, был тесен в плечах, и брюки коротковаты, и он втайне мечтал, чтобы все это поскорее кончилось и можно было переодеться. Рядом с ним стоял Рональд, он выглядел скорее угрюмым, чем печальным, и тоже принимал соболезнования посетителей.

- Глубоко сочувствую, мой мальчик.
- Бог располагает, на все его воля.
- Смотри за матерью.
- Не унывай, мальчик.

Чарли улыбался и кивал в ответ и провожал гостей к дому.

Возле покойника сидели главным образом женщины. Мужчины курили и тихо разговаривали во дворе в пасмурном свете утра. По временам в дверях кухни возникала давка — кто-нибудь расталкивал стоящих, пробирался внутрь, чтобы выразить свои чувства вдове. Женщины в доме пели скрипуче и нестройно. Другие женщины во дворе цыкали на ребятишек, сновавших вокруг, как щенки.

Ветер лениво завывал в листе, и лица настороженно обращались к свинцово-серому небу.

Чарли увидел Фриду, и его лицо расплылось в улыбке. Мрачная торжественность обстановки сделала всех чужими, как будто смерть, стирая радость с лиц, прятала друзей за незнакомой маской печали. Но, увидев эту женщину, он почувствовал тепло, тепло возвращения к жизни, и он сказал, идя ей навстречу:

- Фрида, я думал, что ты сегодня работаешь.
- Я отпросилась у мадам на полдня.
- Ты хочешь пройти в дом?
- Не беспокойся, милый. Я увижу мать после.

Темное красивое лицо мягко смотрело на него из-под шляпы, которая уже три сезона как вышла из моды и

поэтому была выброшена хозяйкой. Она улыбнулась всем вокруг.

— Добрый день, сестрица, — сказал дядя Бен и попытался отвесить ей церемонный поклон, хотя это было и нелегко в жилетке, перетянувшей ему живот. — Печальный час, печальный час.

Он уже выпил стаканчик-другой перед тем, как прийти сюда, и его обычно горестные глаза, казалось, утонули в море отчаяния.

— Я бы хотел, чтобы все это уже кончилось, — сказал Чарли спокойно. Он посмотрел на небо и нахмурился.

— Чарли, — мягко упрекнула его Фрида, — ведь это твой отец.

— Я ничего не могу поделать, — ответил Чарли. Он лукаво улыбнулся Фриде, при ней ему было уже не так тошно. — Я приду сегодня вечером снова, хорошо?

— Фу, Чарли. Ты не должен сейчас говорить об этом,

— Ах, Фрида, Фрида.

— Смотри, люди выходят.

Из дома на двор высыпала толпа людей.

— Подожди здесь, не уходи, — сказал Чарли Фриде.

Он кивнул Ронни и Альфреду, и они вошли в дом. Он, Ронни, Альфред и дядя Бен должны были нести гроб. Протащить гроб в тесные двери им помогли еще двое мужчин. В соответствии с выплаченной папашей Паулсом страховкой похороны, как объяснил агент похоронного бюро мистер Сэмпи, устраивались на двадцать фунтов: катафалк, автомобиль для членов семьи и потом, конечно, гроб.

— Чтоб на нем было его имя, — сказала тихонько мать. — Отец хотел хороший гроб с серебряными ручками и чтобы имя было на серебряной пластинке.

И вот был гроб со сверкающей отделкой, а позади засуетилась, задвигалась толпа. Многие несли венки и букеты цветов. Некоторые женщины плакали, но глаза матери были сухие, суровые под черной накидкой и черной вдовьей повязкой. Толпа заполнила переулок, ступали прямо в залитые водой колени, и хмурый серый балдахин неба навис над процессией. Гроб установили на катафалк и усыпали цветами. Шофер большого черного автомобиля открыл дверцы.

— Садись сзади, ма, — сказал Чарли. — Каролина и Йорни сядут с тобой. Миссис Нзуба тоже поедет?

— Нет, — ответила мать, влезая в машину. — Она сказала, что останется присмотреть за домом.

— Вот удача, — почти про себя пробормотал Чарли. — Одной этой женщине потребовался бы целый автомобиль. А из тяжеловесов у нас уже есть Каролина.

— Ш-ш, — сказала мать. — Нашел время шутить.

Каролина и Йорни уселись рядом с матерью. Оба плакали. Каролина выглядела уродливой, какой-то нелепой.

— Пусть дядя Бен сядет впереди, — сказала мать. — А ты сядешь?

— Я пойду пешком, с остальными, — ответил Чарли.

— Я тоже пойду, — сказал дядя Бен. — Мужчины могут пойти пешком, я так полагаю.

— Ведь есть еще место, — сказала мать. — Тогда пусть впереди сядет Фрида. Позови ее.

Слова матери обдали Чарли теплом, это значило, что Фрида принята. Он улыбнулся ей, помогая влезть в машину, и тихонько подмигнул, но она мрачно смотрела прямо перед собой, как того требовала торжественная минута.

— Осторожно пальцы, — сказал шофер и захлопнул дверцы.

Катафалк двинулся, медленно переваливаясь с кочки на кочку по глинистой дороге, а позади гроыхала машина. Чарли и другие члены семьи шли за автомобилем, а еще дальше следом за ними потянулась остальная процессия. Все небо от края до края было одна лохматая тяжелая туча.

Кортеж медленно пробирался среди ветхих хижин, мимо молчаливых зрителей по сторонам и выехал наконец на разбитую улицу, которая вела в городское предместье. Шаги зашаркали по разбитой, но твердой мостовой.

Возглавлял шествие, шагая впереди катафалка, мистер Сэмпи, агент похоронного бюро. Это был маленький, коричневый, с шишковатым черепом человек, похожий на земляной орех. Сам по себе он был веселым и жизнерадостным, однако сейчас, при исполнении служебных обязанностей, он медленно шел, как подобает служителю смерти, с видом скорбным, профессиональным жестом заложив руки за спину, и, видно, гордился своими мешковатыми брюками в полоску и старым, выутюженным фраком, составлявшим всю его униформу.

Рядом с ним шел брат Бомбата. Мелкокурчавый и черный как жук, он шествовал с важностью, приличествующей его профессии, прижимая под мышкой растрепанную Библию, ноздри его раздувались, лицо было вытянутое, хмурое — ни дать ни взять престарелая лошадь в белом целлулоидном воротничке.

Процессия вступила на улицы предместья.

Через стены и заборы садов чьи-то лица смотрели на похороны. На углу какой-то человек снял шляпу и стоял вытянувшись, словно отдавая честь, пока катафалк проезжал мимо него. Небо было сумрачным, как сама смерть, упали первые капли начинающегося дождя. Когда кортеж достиг кладбища, снова заморосил мелкий дождь.

Чарли надеялся, что погребение будет непродолжительным и тогда люди не попадут под сильный ливень. Поэтому его немного разозлило, когда брат Бомбата затянул длинную заунывную проповедь, и люди жались под дождем вокруг открытой могилы, среди надгробий, засохших цветов, битых банок, заброшенных могильных холмов и надписей — с «неизменной любовью» и «вечной памятью».

На дерево неподалеку от могилы прямо с неба опустился зяблик и запел свою пронзительную песню. Вскинув головку, он с минуту наблюдал за происходящим, а затем взмахнул крыльями и взмыл в небо, стремительно, как стрела, несущаяся среди деревьев.

Брат Бомбата продолжал читать проповедь, и его глубокий, профессионально скорбный голос звучал то громче, то тише под шелест веток на ветру. И вот наконец настало время опускать гроб в могилу. Заплакали женщины, Фрида вытерла слезы в уголках глаз. Хрипло, громко зарыдала Каролина.

Только мать не плакала. Она стояла спокойно у края могилы и смотрела, как Чарли, Альфред, Рональд и дядя Бен бросили на гроб первые пригоршни песка.

Чарли работал быстро и умело. Он привык работать лопатой и решительными движениями втыкал ее в грунт, будто опять копал траншеи, и комья земли летели в могилу, снова и снова со стуком падая на крышку гроба. Альфред работал осторожно, как бы нехотя, бросая землю понемногу; казалось, его заставляют здесь совершать кощунство, а он хоть и подчиняется, но всякий раз просит прощения. Рональд копал землю мрачно, мысли

его были где-то далеко, и он не обращал внимания ни на глухие удары земли по крышке гроба, ни на сверкающую металлическую табличку с выгравированными именем отца и датами его рождения и смерти, которая вскоре исчезла из виду. Дядя Бен, ворочая лопатой, часто и тяжело дышал — от пьянства он страдал одышкой — и мечтал, чтобы кто-нибудь его скорей сменил. Он неуклюже держал рукоятку лопаты и орудовал ею в опасном соседстве с чьими-то тесно стоявшими над могилой ногами. И вздохнул с облегчением и радостью, как только Чарли, выпрямившись, первым передал лопату тем, кто ждал своей очереди.

Могилу засыпали, и люди запели, и лицо матери под черной пакидкой было твердым и отчужденным, маленький сморщенный рот твердо сжат, как зашитая рана, глаза горели как угольки. Только плечи ее согнулись, казалось, несколько сильнее обычного, точно на них взвалили новую тяжесть. А вокруг нее нестройные голоса запели из книги псалмов «Останься со мной, вечер близко», и могильный холм со всех сторон был усыпан цветами.

19

Но приходит и пора веселья. Джонни Франсмен умеет играть на гитаре. Его руки, обычно похожие на железные грабли, тогда чувствительны, как руки хирурга, его длинные пальцы танцуют по ладам и струнам, и музыка гудит и звенит в прокуренной комнате. Радостно трещит пламя в большой железной печке, и тетушка Мина вынесла восьмигаллонный бидон пива. Это дородная женщина с пухлым коричневым лицом, лоснящимся, как натертый паркет. Пальцы Джонни Франсмена ударяют и дергают струны, то быстро, то медленно, то по одной, то целыми дребезжащими пассажами. «По-американски играет», — шепчут слушатели. Огонь ярко пылает, и в переполненной комнате тепло, и пиво идет нарасхват. Кто-то хочет петь. Девушки ставят локти на стол и, прижав руки к подбородкам, ждут песен.

— Сыграй чувствительное, Джонни.

— Сыграй печальное.

Среди присутствующих есть парень из негритянского джаза, выступающего на новогодних представлениях, он

умеет с таким чувством спеть «Парнишку Дэнни», что комок застревает в горле. Он умеет также петь трехсотлетней давности песни рабов, дошедшие до наших дней с невольничьих голландских кораблей: «Onder deze pie-sang boompie, alor een eilandtje...» — «Под этим банановым деревом на острове...»

— Послушай, малыш, спой нам ковбойскую.

И старая гитара, вся в шрамах, как ветеран, гудя и дребезжа, приносит звуки равнин, раскинувшихся где-то за тысячи миль: «О, не хороните меня в пустынной прерии» или «Желтую розу Техаса». А попозже, ночью, когда всем станет грустно, будут петь хором «Воспоминания», «Мать» и «Я увезу тебя домой, Кэтрин».

А может быть, кто-нибудь из африканцев придет с концертино, и тогда все будут, притопывая, раскачиваясь, танцевать под его размеренное завывание.

— Послушай, у меня остался шиллинг и четыре пенса. Не заказать ли нам еще по одной?

— Отлично, приятель. Надеюсь, тетушка отпустит нам в кредит до следующей пятницы.

В перерывах между песнями наступает очередь шуток и анекдотов. «Послушайте минутку, что я расскажу! Такой анекдот слышали? Если, конечно, дамы не имеют ничего против... Про англичанина, ирландца, шотландца и еврея...»

Расходятся далеко за полночь. Усталая компания разбредается понемногу. Последними задерживаются несколько гуляк, но и они уже зевают и трут слипающиеся глаза, и только звучит гитара, и ее звуки нежны, как стелющийся дым.

20

Ночь снова была холодна и непроглядна, облака отяжелели дождем и только ждали положенного часа. В комнатке над гаражом Джордж Мостерт все шагал и шагал из угла в угол по грязному полу, терзаясь сомнениями: может, отважиться и сходить туда, к Чарли Паулсу? Гордость боролась в его душе с одиночеством, и он до боли прикусывал губы под своими табачно-рыжими усами. Одиночество таилось в незастланной широкой деревянной кровати, на дамском туалетном столике, заваленном теперь потертыми галстуками и рванными

носками. Там, где раньше пребывали пудра и лаванда, аккуратные кучки заколок и серые кольца резиновых подвязок, теперь были липкие круги от чашек и пустая бутылка из-под коньяка.

Подушки пахли теперь не пудрой, а коньяком и машинным маслом, а возгласы супружеского блаженства уступили место гнетущим мыслям и острому чувству жалости к самому себе.

Джордж Мостерт остановился у окна и всматривался в промозглую тьму. Проехала машина и, громыхая, свернула на север. Через дорогу, за скудным подлеском, была жизнь. «Что ж, — думал он, — человек и там может хорошо провести время, даже в этой грязи и мерзости». Но извращенная гордость больно покалывала его ледяным острием сомнения, заставляла задуматься: «Может быть, это неправильно, чтобы такие люди, как мы, путались с ними. Ведь в конце концов...»

Вскоре после полуночи дождь полил снова. На сей раз это было покрывало из серых бусинок, накинутое на ночь, стремительно и настойчиво колотившее по крышам и высоко подпрыгивающее на дороге. Дождь лил безлико-серый, но в нем был какой-то характер — резкий, булькающий, бормочущий, хлюпающий, пускающий пузыри, он был как слабоумный с ножом в руке, одержимый манией убийства.

Колонна полицейских автомобилей, грузовиков и арестантских машин двигалась по улицам пригорода, продираясь сквозь завесу дождя, и их фары вырывали из черно-серой тьмы желтые лоскуты.

Полицейские сидели неподвижно, прислушиваясь к посвистыванию и постукиванию дождевых капель по крышам машин. Некоторые поднимали воротники макинтошей и прорезиненных плащей, чувствуя, как ледяной холод проникает за воротник и струйкой сбегает вниз по спине. Шины шуршали и шипели по асфальту, а когда попадали в выбоины дороги, людей подбрасывало, но они по-прежнему сидели с застывшими, безучастными лицами, прислушиваясь к шуму дождя. Почти никто не разговаривал.

Там, где кончался пригород и начиналась локация, полицейская колонна разделилась надвое и двинулась дальше, охватывая локацию в клещи. Теперь под коле-

сами была глина, они буксовали, машины заносило, и водители осторожно работали рулем, пристально вглядываясь в пятна жидкого желтого света впереди через проволочные сетки ветровых стекол.

На подножке каждого из ведущих в колонне автомобилей стоял человек, проклиная дождь, хлещущий ему прямо в лицо, судорожно цепляясь за мокрый металл кузова. Он смотрел вперед и указывал дорогу водителю. Легковые машины и грузовики швыряло из стороны в сторону, бросало вверх и вниз, но они продолжали продираться вперед и вот наконец встали, и локация оказалась окруженной цепочкой автомобилей.

Офицеры и сержанты подавали команды, и люди выпрыгивали из кузовов прямо в дождь, от которого сразу темнели макинтоши защитного цвета и начинали блестеть резиновые плащи. Белые полицейские были в портупелях с кобурами поверх плащей, а черные и цветные, сутулясь под накидками, держали длинные полицейские дубинки. Их до блеска начищенные сапоги увязали в глине. Вскоре, разбившись на группы, они двинулись к жилищам африканцев. В некоторых хижинах горел свет, тускло-желтый, похожий на медные пуговицы мундиров.

Джордж Мостерт опоздал. В конце концов он принял решение, что пойдет туда, — так человек прыгает с обрыва, отступая перед стадом бегущих быков. Но на углу этой улицы, которую и улицей-то смешно называть, он снова остановился в нерешительности. Так он и стоял в холодной и влажной тьме и уговаривал себя, что все-таки нужно бы сходить, попытать счастья.

Вокруг него темнота была полна звуков. Стрекот цикад, где-то вдалеке — собачий лай. Но прежде всего он ощутил зловоние: заглушающий все остальное запах разлагающихся отбросов, гнилого дерева и отхожих мест. Это был запах жалкой нищеты, так же как аромат духов по две гиней за унцию являлся запахом богатства.

Но вот полил дождь, а с ним улетучились вся решимость и мужество, какие он пытался собрать за непрочной пленкой своей воли. В кармане плаща у него было полбутылки коньяку, прихваченного в качестве дружественного дара, но теперь он вдруг принял решение вер-



нуться в гараж и самому допить ее. Он в конце концов предпочел острую боль одиночества.

И вот, повернувшись, под все усиливающимся дождем он едва не столкнулся с девушкой, которая вынырнула навстречу ему из темноты. Он уловил пробившийся через нечесаную, слипшуюся щетину его усов запах дешевого вина и столь же дешевых духов и инстинктивно, как испуганная лошадь, отскочил в сторону.

— Эй, парень, здравствуй, — приветливо сказала девушка. Это была Сюзи Мейер. — Что ты делаешь здесь в такой крошечной тьме?

— Проваливай, — пробормотал Джордж Мостерт и зашагал по разбитой полоске асфальта в сторону шоссе. Он хотел обойти Сюзи Мейер, но она не уступила дороги, а, как назойливый терьер, наскочила прямо на Мостерта, и коньячная бутылка в кармане его плаща уперлась ей в бедро.

— Эй! — крикнула она и пошла рядом. — Что это там у тебя, а? — Она обрадованно расхохоталась. — Кое-что для нас с тобой?

Дождь лил уже всю, и Джордж Мостерт оступился в яму, но девушка стояла рядом, вцепившись в его рукав. Она всмотрелась в его злое, ожесточенное лицо и воскликнула:

— Ха, да это мистер Мостерт, верно? — Она снова засмеялась и хищно вцепилась в его плащ.

— Послушай, катись к черту, — угрюмо сказал Джордж Мостерт, но угасшие угольки желания вдруг стали разгораться где-то внутри, обжигая и пугая его. Перед ним была женщина, легко, наверное, доступная — за какую-нибудь выпивку и несколько шиллингов, но он боялся этого. Путаться с цветными женщинами не принято, во всяком случае, это противозаконно.

— Пошли к вам домой, — говорила Сюзи Мейер. — Выпьем вместе немножко, а? Ваш гараж совсем рядом.

— Нет, нет, — торопливо ответил Мостерт.

— Ну не будьте таким, мистер. Послушайте, мы отлично проведем время, точно вам говорю.

Они подошли к дорожной насыпи, и Джордж Мостерт быстро вскарабкался по ней на дорогу, но девушка не отставала от него ни на шаг. У него не хватало мужества даже отпихнуть ее.

— Я не хочу иметь с тобой дела, — слабо пробормотал он.

— Да ладно вам, — говорила Сюзи, улыбаясь ему через пленку дождя. — Бойтесь? Но вы же мужчина, правда? Мужчина.

— Нет, нет, нет!

— Вы забавный человек, мистер Мостерт. Я видела вас около гаража. Я тогда подумала: вот мужчина, который мне нравится. Классный парень. Что надо. С деньгами, своя машина. — Они перешли через дорогу, Джордж Мостерт не поворачивал головы. — Послушайте, — кричала Сюзи Мейер. — У вас есть радио? Пластики? Я обожаю Бинга. Мы бы могли послушать музыку и выпить.

Он остановился в свете единственного мерцающего фонаря под навесом гаража и сердито сказал:

— Ты слышала меня, проваливай! — Его усы намокли и стали похожи на растрепанный обрывок веревки. Но она была назойлива, как пиявка.

— Пошли, ну пошли. Мы здорово проведем время.

Ее намазанный рот улыбнулся ему, открыв черную дыру в ряду верхних зубов, маленьких, желтых, похожих на щенячьи клыки. Жесткие, уложенные в прическу волосы были повязаны ярким платком, стянутым в узел под подбородком и сейчас совсем размокшим от дождя. «Она выглядит не так уж плохо», — подумал Джордж Мостерт. Это была дешевая, искусственная привлекательность манекена в витрине магазина, но предательская мысль не уходила и сверлила: это не так уж плохо.

Дождь все усиливался за чертой тусклого света под навесом, и он снова услышал запах дешевых духов и назойливый винный привкус ее дыхания. Она дышала ему прямо в лицо, раздувая загоревшиеся было угольки страсти, но он оттолкнул ее и вставил ключ в замочную скважину двери, что вела наверх, в его комнату.

Она стояла и ждала, улыбаясь своим грубо намазанным ртом, но он решительно и быстро распахнул дверь и тут же захлопнул у нее перед носом, и улыбка на ее лице слиняла, как линяет некогда пестрый рисунок на дешевой ткани.

— Вот гад, — сказала она, — надо же, дурак какой. Да провались ты...

Она усмехнулась, поежилась и зашагала под дождем обратно через шоссе.

Полицейский констебль Ван ден Вуд сделал знак двум африканским полицейским следовать за ним, и все трое, с трудом ворочая сапогами в вязкой глиняной каше, двинулись через грязный двор к покосившейся лачуге. Ледяной дождь больно колотил лицо, и все трое были не в духе оттого, что их погнали на облаву в такую погоду. Африканцы были в своих обычных плащ-накидках, вооруженные полицейскими дубинками — длинными гладкими палками, закругленными на концах. Ван ден Вуд носил португезу с кобурой поверх макинтоша, и кобура была застегнута, чтобы вода не попадала внутрь. Он не ждал сегодня никаких неприятностей.

Домик был погружен в темноту, и Ван ден Вуд приказал одному из своих людей постучать. Полицейский сделал несколько шагов вперед по глине и забарабанил в дверь. От стука весь дом заходил ходуном. Повсюду вокруг полицейские стучали в двери и кричали. В лачугах, минуту назад погруженных во тьму, зажигались огни, и голоса сливались в один общий гул, вторя дождю.

Полицейский снова постучал в дверь, и Ван ден Вуд гаркнул:

— А ну еще! Эй, там, открыть двери!

Выждав несколько секунд, он отстранил полицейского-африканца и, отступив на один шаг, со всего размаху двинул сапогом по двери. Лачуга зашаталась, задрожала, и изнутри донесся чей-то крик. В окне, составленном из обрезков стекла, вспыхнул свет, и в ту же минуту замок поддался и дверь распахнулась.

Констебль Ван ден Вуд ввалился по инерции в крохотную, душную, дымную комнату и еле удержался на ногах, проклиная все вокруг. Еще двое вошли за ним следом. Голый африканец стоял с коптилкой в одной руке, другой прикрывая срам. Он стоял, как черная статуя. Позади него на скомканной постели, натянув одеяло до подбородка, сидела женщина и испуганно смотрела на полицейских.

— Ну, быстро, — кричал констебль Ван ден Вуд. — Где твой чертов пропуск? Где пропуск? — Он был высокий мужчина, и он стоял посреди комнаты в мокром плаще и фуражке, и у него было тяжелое лицо цвета

копченого окорока. Он продолжал бешено орать: — А ну, отпусти свои... и давай пропуск, паскуда!

Африканец поставил лампу на стол и сказал по-туземному полицейским-африканцам:

— Дайте мне сначала одеться, приятели.

— Что он говорит? — спросил Ван ден Вуд.

— Он хочет сперва одеться, baas, — ответил один из полицейских.

— Скажи ему, черт возьми, чтобы он не отнимал у меня время. Где пропуск?

— Твой пропуск, — сказал полицейский голому африканцу. — Твое разрешение заниматься любовью в этом районе.

— Сейчас достану, — угрюмо ответил мужчина. Он подошел к кровати и стал искать брюки. Женщина в постели начала всхлипывать. Мужчина наконец нашел свои брюки и медленно оделся. Женщина плакала, и он ей что-то сказал, но она не унималась.

Мужчина надел рубашку и, заправив ее в брюки, повернулся к полицейским и угрюмо заявил:

— У меня нет пропуска.

— Что он бормочет? — взбешенно спросил Ван ден Вуд.

— Он говорит, что у него нет пропуска, — перевел полицейский, который до этого молчал.

Констебль даже замер от неожиданности.

— Грязный подонок. Заставил нас ждать чуть не полночи, а теперь говорит, что у него нет пропуска! — Он злобно посмотрел на негра. — Ну, ты у меня увидишь, чертово пугало. Ты у меня увидишь. — Он повернулся к своим полицейским: — Надеть на него наручники и вывести на улицу. Я хочу обыскать эту комнату. Наверняка у них тут припрятана дагга или кафрское пиво.

Полицейский достал наручники, приказал африканцу вытянуть руки и защелкнул их. Он подтолкнул мужчину к двери, и мужчина оглянулся, посмотрел на него, покачал головой и сказал:

— Зачем ты это делаешь, брат? Зачем ты так поступаешь со своими?

Ван ден Вуд повернулся ко второму полицейскому:

— Давай сюда, парень. Обыщи-ка помещение.

Сам он прошелся по комнате, смахнул на пол вещи с ящика, служившего ночным столиком. Он подошел к

постели и безучастным движением плотника, выдергивающего клещами гвоздь, сдернул одеяло, в которое куталась обнаженная женщина. Она заплакала, издавая высокие, пронзительные звуки.

22

...На противоположном склоне, прямо через долину, итальянцы установили батарею мортир и обстреливали дорогу. Долина была желтая и темно-коричневая, глубокая горная долина, и дорога была проложена по ее склону, а напротив стояли орудия итальянцев. Чарли Паулс лежал под грузовиком рядом с Фридой и прислушивался к глухим разрывам артиллерийских снарядов, которые падали вдоль обочины, где стояла колонна военных машин. Долина была темно-коричневая и желтая, и столбы густой пыли взметывались в воздух, а мортиры все продолжали вести огонь, и все так же глухо звучали разрывы, и он чувствовал тело Фриды рядом с собой в этом шуме и слышал, как где-то далеко, но настойчиво звучит ее голос:

— Чарли. Чарлз. Кто-то стучит.

Чарли Паулс просыпался медленно, с трудом продираясь сквозь сон, который, несмотря на видения, был мягок и нежен, как сироп, и он приподнялся, ощутив горячее сплетение ног в постели. В его ушах еще слышался артиллерийский огонь, но стреляли уже не пушки, а чьи-то кулаки неистово колотили в дверь. Он чувствовал, как содрогается лачуга под этими ударами, и его глаза открылись медленно, с трудом, как ставни на разбитых петлях.

Кто-то кричал с улицы:

— Открывайте, эй вы, не то вышибем дверь ко всем чертям!

Чарли сел в постели, освободившись из объятий женщины, и крикнул:

— Эй, ладно вам! Сейчас открою.

Рядом испуганно шептала Фрида:

— Что это, Чарли?

— Закон, — проворчал он. — Снова эта чертова облава. — И добавил: — Не беспокойся... Мы ничего такого не сделали. — Лачуга вновь сотрясалась от ударов, и он еще раз крикнул: — Иду, иду! Будет вам! — В передней части комнаты, за занавеской, испуганно заплакали дети.

Чарли нащупал в темноте свою одежду и тихонько выругался. Фрида, приподнявшись, пыталась нашарить спички. Вспыхнуло пламя, и он улыбнулся ей в свете танцующего огня:

— Все в порядке. Присмотри за детьми.

Он спрыгнул с кровати и выпрямился, натянул джинсы и надел рубаху. Фрида тоже встала, пока он зажигал еще одну спичку, разыскивая лампу. Кулаки снова забарабанили в дверь, и он зажег лампу и подвернул фитиль, а Фрида кинулась утешать, успокаивать хнычущих детей.

Чарли босиком подошел к двери и повернул ключ. Дверь резко распахнулась, едва не задев его по лицу, и, когда ввалились люди в униформах, он отступил назад. Луч карманного фонаря остановился на нем на секунду и затем погас.

В этой группе было четверо полицейских: белый сержант и трое африканцев. Сержант посмотрел на Чарли Паулса и сказал:

— Отлично, *jong, waar's die dagga?* Где дагга?

Чарли посмотрел на него:

— Здесь нет дагги. Мы приличные люди.

Сержант ухмыльнулся и осмотрелся вокруг. Это был низенький грузный мужчина с густыми белыми бровями, которые изгибались, когда он говорил, подобно жирным, извивающимся червям, и с маленьким тонким ртом, похожим на бескровную ножевую рану. У него было лицо кирпичного цвета и кирпичной твердости, рассеченное во всех направлениях мелкими морщинками, похожими на линии географической карты, — и на равнинах щек, и на впадинах в уголках рта, и на хребтовине носа. Его глаза были влажны и плоски, как серая гладь озера. Позади него стояли три темнокожих полисмена с унылыми коровьими лицами.

Сержант снова огляделся и задержался взглядом на Фриде и на испуганных детских лицах. Фрида стянула ворот ночной сорочки. Потом сержант, крикнув, оттолкнул Чарли, подошел к занавеске, заглянул за нее и вернулся на середину комнаты.

Усмехнувшись, он посмотрел на Чарли:

— Приятно сейчас нежиться в постели, а? А я вот мотаюсь под дождем. — Также усмехнувшись, он оглядел Фриду и сказал Чарли: — Имя, парень?

— Чарлз Паулс.

Сержант снова крикнул и посмотрел на Фриду своими плоскими, влажными, безрадостными глазами.

— А твое?

Фрида с трудом проглотила ком в горле и, напуганная, назвала свое имя. Сержант ухмыльнулся, показав краешек зубов, ослепительных, как свежевывеленный борт тротуара.

— Вот как! — сказал он Чарли. — Приличные люди.

Рот его открылся, в глотке у него что-то захлопало, заклокотало, затарахтело. Он хохотал. Затем закрыл рот, и хохот сразу прекратился, как будто какой-то механизм внутри него внезапно вышел из строя. С издевкой он посмотрел на Фриду:

— Вот шлюха черномазая.

Потом, дернув головой в мокрой фуражке, дал знак своим спутникам следовать за собой и вышел из дому в дождливую тьму. Все трое, не говоря ни слова, потянулись за ним. Чарли захлопнул за последним дверь.

— Блюстители! Подонки! — огрызнулся он.

Отвернувшись, Фрида укрывала детей. Но он видел, как задержались, задрожали под ночной рубашкой ее плечи. Он подошел к ней, положил свою широкую ладонь ей на плечо и повернул ее к себе. Из припухших со сна глаз по выпуклым скулам скатились две слезы.

Нахмурившись, он спросил:

— Черт возьми, ну чего ты плачешь? Ведь они ничего не сделали.

Но она посмотрела на него сквозь жемчужинки слез, тело ее затряслось от рыданий, и она сдавленным голосом сказала:

— Ты слышал, что сказал этот тип. Он назвал меня шлюхой.

Она вывернулась из-под его руки и, плача, убежала за занавеску. Чарли пошел за ней следом, пораженный, недоумевающий, — она лежала в постели, лицом к стене.

А в стенку настойчиво стучал дождь.

Он присел на край кровати и смотрел на ее вздрагивающую спину. И любовь поразила его, пронзила ему грудь, сдавила горло, и он снова протянул к Фриде свою тяжелую руку и повернул ее на спину.

Он откашлялся и как-то неловко сказал:

— Слушай, мы же поженимся. Я и ты. Мы с тобой. —

Он кашлянул, вид у него был растерянный, смущенный. — Ну, довольно плакать, bokkie. Ты увидишь. Мы поженимся. Какого черта, в самом деле!

Она проглотила слезы и сказала:

— Ты это только так говоришь.

— Нет. Ей-богу, это правда. Господи, да нам давным-давно надо было пожениться.

Фрида заглянула ему в лицо, зашептала, еще глотая слезы:

— Ты это вправду, малыш Чарли?

— Конечно. А ты как думала?

— В самом деле?

— Ну да.

И тогда он почему-то почувствовал себя чистым, незапятнанным, как странички нового школьного учебника, и это снова повергло его в замешательство. Он хотел больше не думать об этом, подумать о дожде, который хлещет и хлещет на улице, о том, как тепло и сухо в этой маленькой лачуге с окленными бумагой стенами, все еще хранящими тепло от примуса. Примус надо починить, он этим займется. Он в мыслях снова вернулся к Фриде, как ребенок, который потерялся и снова нашел свой дом.

Где-то на улице в шуме дождя громко разговаривали люди, хлопали двери, кто-то кричал — раздавались звуки другого мира, от которого они сейчас отделены. И тогда он вдруг встал, потянулся за своими армейскими ботинками и начал обуваться.

— Чарли, — крикнула Фрида, — куда ты?

— Пойду посмотрю, что происходит.

— Не ходи, Чарли! Мало ли что может случиться!

Он ответил, притопнув, чтобы ботинки влезли как следует.

— Не говори так, Фрида. Я только посмотрю. Посмотрю, что они там делают с нашими.

— Чарли, милый.

— Я не впутаясь в беду, — сказал он. — Ты лежи спокойно и следи за детьми. — Он надел клеенчатый дождевик и улыбнулся: — Увидишь, все будет в порядке.

На улице ярко сияли фары нескольких арестантских машин — они стояли на тесном грязном пустыре локации. Неистово заливались лаем собаки, и фигурки людей двигались во все стороны в сплошном низвергающемся



потоке воды. Полиция задержала нескольких африканцев, и они стояли, сбившись в кучу, промокшие, дрожащие от холода, и полицейские сортировали их и распихивали по грузовикам.

Африканец вышел из своей лачуги и подошел к воротам своего двора, чтобы посмотреть, что происходит. На нем плащ, накинутый поверх ночной пижамы. Луч фонарика падает на него, и тотчас вокруг него — полиция.

— Где твое удостоверение, кафр?

— В доме, в кармане пиджака.

— Где удостоверение? Ты обязан иметь его при себе.

— Сейчас принесу. Оно дома.

— Так, значит, нет пропуска, да? А ну, пошли!

— Послушайте, это же в доме, сэр.

Но полицейские уже подхватили его и тащат в кучу других африканцев, ожидающих, когда их погрузят в полицейские машины.

Вот целая толпа африканцев и цветных, мужчин и женщин, ждущих под дождем, когда полицейские их усадят и увезут. Многих взяли потому, что у них не оказалось документов, у других документы были не в порядке — отсутствие штампа могло перевернуть всю жизнь. У третьих обнаружили даггу, другие оказали противодействие пришедшей с обыском полиции. И наконец, последняя группа — их застали за незаконной торговлей спиртным.

Чарли увидел среди них тетушку Мину. Она препиралась с офицером, кричала на него и размахивала мокрым зонтом, от которого офицер то и дело со смехом пятился. Толстая и черная, как дуб, тетушка Мина негодовала:

— Так и знайте, капитан, мне до всего этого, о чем вы говорите, дела нет. Но почему это я должна мокнуть под дождем, вот что я желаю знать!

Офицер смеялся. Он был самоуверенно весел и находил эту старую толстуху забавной. Ему уже приходилось иметь с ней дело. Он сказал смеясь:

— Не кипятись, Мина. Мы предоставим тебе отдельную полицейскую машину. Там тебе будет сухо и уютно. А потом отдельную камеру, будешь греться в ней до самого суда.

Тетушка Мина ткнула в него зонтом. Дождь и ветер доконали ее зонт, осталась только ручка, черный лоскут

и несколько грозно топорщившихся спиц, напоминающих какое-то небывалое средневековое орудие пыток. Офицер попятился — чего доброго, выколет глаза старуха.

— Не боюсь я вашего суда, полковник. Я семь штрафов уплатила и еще семь могу уплатить. Да! Вы мне только скажите: почему вы это затеяли в такой дождь, а? Объясните. — Она наседала на него, как старый африканский буйвол.

Задержанные смеялись, но нервничали. Офицер покачал головой и со смехом сказал:

— Ну ладно, ладно, Мина.

Дождь все еще лил, но не так сильно. Чарли Паулс стоял в полутьме, на краю зарева автомобильных фар, и наблюдал за происходящим. Дождь струйками стекал с его желтого плаща, капал с кепки. Полицейские пересчитывали задержанных, рассаживали их по машинам, кричали, размахивали фонариками и дубинками.

Вдруг кто-то отрывисто произнес:

— А ты чего здесь стоишь, приятель?

Чарли оглянулся и увидел полицейского. Под сверкающим козырьком форменной фуражки глаза его были мертвы, как потухшие угли, в его светлых усах застыли жемчужины дождевых капель.

— Тебе здесь что надо, парень?

— Ничего, смотрю, — ответил Чарли и вдруг злобно ухмыльнулся полицейскому, широко растягивая губы под мокрой щетиной.

— Убирайся, — сказал полицейский. — Иди домой. Ну, раз, два.

Что-то закипело в душе Чарли, и он спокойно сказал:

— Я только смотрю. Когда твоих упекают в тюрьму, разве нельзя смотреть?

— А-а, — произнес полицейский, и его усы задвигались. — Ты злостный, оказывается? — Его рука потянулась к наручникам на поясе, а спрятанные в тени глаза не отрывались от Чарли.

Голос Чарли прозвучал грубо:

— Да, злостный. Ну и что?

— Бьюсь об заклад, что ты один из этих коммунистических подстрекателей. Я тебе покажу.

Чарли усмехнулся грубо и оскорбительно. Его глаза следили за движениями рук полицейского. Это были большие руки цвета сырой ветчины. Полицейский от-

цепил наручники, чуть-чуть повернул голову, чтобы подозвать кого-нибудь на подмогу, и в это мгновение Чарли вдруг ударил его в подставленную челюсть.

Это был тяжелый, резкий удар, в который Чарли вложил весь свой вес; ноги полицейского оторвались от земли, и он плюхнулся спиной в грязь с глухим хлюпающим стуком, точно упал с большой высоты. И тогда Чарли бросился бежать, перепрыгнув через дрыгающиеся ноги в защитных брюках, устремляясь в темноту.

Полицейский заорал ему вслед, крик подхватил хор голосов. Кто-то, хлюпая, топал по глине — сбегались, крича, полицейские. Но Чарли уже мелькал в темноте неясным пятном, петляя, как гончий пес.

Один из полицейских поднял пистолет и выстрелил. Выстрел в шуме дождя прозвучал как-то вяло и глухо, и пламя вспышки пронзило на секунду огни фар, а эхо разнеслось вокруг и откликнулось где-то среди хижин.

Но Чарли уже скрылся в джунглях локации. Он свернул в сторону, перелез через невысокий железный забор и присел за ним. Он знал, что если бежать, то рано или поздно наткнешься на других полицейских, обыскивающих локацию. Он сел прямо в глину под дождем, чтобы отдышаться. Он думал. Отличный удар, лучший удар в его жизни. И тогда он начал смеяться. Он смеялся беззвучно, и его тело сотрясилось под желтым клеенчатым плащом.

Он был далеко и не видел, как в светлый круг от фар полицейские ввели его брата Рональда.

23

Рональд как раз собирался сойти с усыпанной опавшими листьями обочины на шоссе, куда забрел в своих одиноких ночных странствиях, как вдруг увидел Сюзи Мейер: освещенная водянистым светом фонаря, она вышла из-под навеса перед гаражом Джорджа Мостерта. Он вздрогнул и остановился под деревом, с которого лило хуже, чем с неба; девушка переходила через дорогу. Черная, бессмысленная злоба вонзила в него свои острые когти, и он заторопился вдоль шоссе, чтобы перехватить Сюзи. Дождь хлынул с новой силой, он падал отвесными струями, но Рональд не чувствовал холода — в сердце его кипела горячая ярость.

Девушка кое-как съехала с глинистой насыпи и пошла по тропинке, сгорбившись под дождем, — голова, повязанная вымокшей косынкой, втянута в плечи, купленное на барахолке пальто с вытертым воротником распахивалось на каждом шагу, открывая яркое дешевое платье.

Сюзи испуганно вскрикнула и отпрянула в сторону, но тут же узнала это лицо, приблизившееся во мраке к ее лицу, мокрое от дождя, озлобленное до безличия. Она сказала:

— Это ты. У, как я испугалась.

Его пальцы крепко сжали ее руку, он потянул ее под дерево.

— Испугалась? Еще бы тебе не испугаться, Сюзи.

— Слушай,пусти меня, парень. Что это тебе взбрело в голову?

— Отпущу, не беспокойся. Прикончу только.

Он посмотрел мимо нее туда, где за шоссе виднелось бледное зарево над гаражом Джорджа Мостерта.

— Значит, вот ты чем занимаешься? Не ожидала, что я тебя накрою?

— Да о чем ты? Пусти, я пойду. Ведь дождь льет, парень.

— Ты брось про дождь. Ты знаешь, о чем я. У этого типа машина, собственное дело, монеты, ты и нацелилась, а?

Сюзи Мейер наконец поняла, о чем он говорит, и посмотрела через дорогу. Она злорадно усмехнулась и сразу успокоилась. Злорадство было ее стихией, ее натурой, частью ее существа, как губная помада и пластмассовые бигуди.

— Ну и что? Ты мне хозяин? Что хочу, то и делаю. Нет, скажешь?

— Ты так думаешь? — Его голос звучал, как хруст угля под ногами. Его пальцы еще сильнее сдавили ее руку, но она по-прежнему вызывающе улыбалась ему, а ее глаза сверкали издевкой, как фальшивые драгоценности.

— Ну ясно. Я там чудно провела время. Выпивка была, у него есть пластинки Бинга и другие.

— Белый псих! — Его лицо исказилось не то в плаче, не то в бешенстве, унижение заключило его в свои позорные объятия. — Ты должна была развлекаться только со мной. Ведь ты со мной ходишь, так?

— Да иди ты... Я сама себе хозяйка. Кто ты такой, чтобы помыкать мною? А теперь пусти, сопляки меня больше не интересуют. — И она закатилась глубоким злорадным смехом, который действовал на его нервы, как тупая пила, и его свободная рука вцепилась в рукоятку ножа, который лежал у него в кармане.

А она все хохотала и хохотала, вырываясь и пытаясь освободиться, но его рука дернула ее вперед, и прежде, чем она успела, хохоча, отпрыгнуть, нож вонзился в тело, и Рональд взвизгнул, как собака, которую пнули ногой.

Дождь бил ее по лицу, и она почувствовала жар лезвия в своей груди под ледящими потоками воды. Снова сверкнуло лезвие, полоснув ее по лицу, и снова вонзилось ей в грудь. Она попыталась крикнуть, но у нее лишь что-то забулькало в груди, нож уже раскрыл ей горло и перерезал голосовые связки. Удары ножа сбили ее с ног, и она, барахтаясь, повалилась в глину. Она тяжело упала на бок, хотела встать, но была пригвождена. Нож снова и снова впивался в ее тело, раздирая дешевое яркое платье и тугую кожу. Руки не слушались, не поднимались, чтобы остановить нож. Этим диким, бешеным, раздирающим ласкам лезвия ей оставалось покориться, как еще одному любовнику.

Рональд изумленно смотрел на ворох старой одежды у своих ног. В темноте он не мог ничего разобрать. Что-то поднималось и опускалось у него внутри, как будто какая-то чудовищная обезумевшая пружина. Он хотел что-то сказать, но получились у него те же звуки, какие издавала умирающая девушка. Так он и стоял над ней, ошарашенно глядя себе под ноги, когда полицейские фонарики залили вдруг своим белым светом его и мертвую девушку, и мертвые глаза на иссеченном, обмытом дождем лице блеснули, как две тусклые жемчужины.

24

Каролина лежала на матрасе в углу своей хижин-контейнера, слушая, как на ночной улице хлещет дождь, и чувствовала, что боль подступает снова. Схватки начались еще после обеда, но она держала свою боль про себя, стараясь даже не думать о ней, ощущая скорее робость, чем страх. Схватки вообще-то должны были бы

ее напугать — она впервые собралась рожать, но мозг ее оставался спокойным, по-коровьи неповоротливым, как и ее лицо, и ее тело. Но сейчас боль хлестнула, словно бичом из колючей проволоки; она прикусила нижнюю губу, и все ее большое тело свело судорогой под старым одеялом и наброшенным поверх пальто.

Хижина была маленькая и захламленная. Они с Алфи спали на полу на старом матраце, один конец комнаты занимал ветхий умывальник, на нем — продавленный таз с облезшей эмалью и кувшин и рядом свеча на деревянном ящике, который служил им столом, а их одежда висела на проволоке, протянутой под низким потолком. Тут же лежала кipa старых газет, которые мать велела ей собрать для родов, над кипой — картинка «Распятие» в потрескавшейся рамке: Христос лениво повис на кресте, будто уснул сладким сном, и двое римских солдат в красных одеждах сторожат его, опершись на копья. Рядом на стене был наклеен вырезанный из журнала снимок какого-то киногероя в ковбойском наряде. Красивое лицо, но все словно в черных оспинах, оставленных мухами, улыбаясь, глядело в хижину.

Старинная керосиновая лампа висела под потолком, и Алфи, расположившись под ней на шатком ящике изпод яблок, читал в ее тусклом маслянистом свете замусолennую книгу без обложки. В хижине пахло отсыревшей одеждой, дымом и плесенью, и ледяной ветер свистел в ее непрочных швах.

Боль снова полоснула Каролину, она вцепилась в свой раздувшийся живот, и стон сорвался с ее губ. Альфред, поглощенный ружейной стрельбой и похождениями похитителей скота, услышал ее стон через завесу дождевого шума и воображаемый треск шестизарядного пистолета. Удивленный, он поднял голову.

— Кэлайн, в чем дело, а? Ты что? — Он вскочил на ноги и бросился к жене с широко открытыми от ужаса глазами.

— Ма, — выдавила из себя Каролина между двумя спазмами. — Позови мать.

Он, торопясь, дернул с проволоки свое пальто. Какие-то вещи посыпались на пол, он отшвырнул их ногой с дороги, на ходу пихая руки в рукава.

— Тебе плохо, Кэлайн? Ты лежи смирно, слышишь? Лежи смирно. Я позову мать.

Он потянул на себя дверь. Набухшее дерево подда-

лось не сразу, он рванул отчаянно, изо всех сил. Дверь распахнулась, и дождь с ветром ворвался в комнату, и свеча на деревянном ящике потухла. Альфред выбежал и захлопнул за собой дверь. Каролина лежала на полу под тощим одеялом в тусклом свете керосиновой лампы и, обхватив живот, дрожала, ожидая нового приступа боли.

Она застонала, когда боль ножами вонзилась ей в поясницу, и лоб ее покрылся мельчайшими капельками пота. Она заплакала, и рыдания сотрясали ее, и она молила, чтобы поскорее пришла мать. Она боялась, что вот сейчас она умрет, и визжала от страха и острых приступов боли. Дождь барабанил, и на дощатом потолке образовалась течь, где толь треснул вдоль шва. Вода наконец просочилась, и у входа образовалась лужа и стала растекаться по полу.

Наконец пришла мать в накинутом на плечи старом пальто, она принесла с собой шахтерскую лампу из комнаты Чарли. Затворив дверь, мать осмотрелась и ласково улыбнулась лежащей на матрасе дочери.

— Сейчас, сейчас. Все в порядке, дитя мое.

Она скинула с себя мокрое пальто и бросила его к стене около двери, потом еще раз огляделась, нашла какой-то выступ под потолком, повесила на него лампу и выкрутила фитиль. Она прибавила огня и в другой лампе, взяла кувшин с умывальника и поставила под течь с потолка, и струйка воды тихонько забарабанила по жести.

Мать склонилась над Каролиной и вытерла ей лоб.

— Давно начались схватки, детка?

Каролина застонала.

— Ну вот. Надо было раньше меня позвать. Мы бы взяли тебя к себе. А теперь видишь? Придется рожать здесь. — Она кашлянула и улыбнулась своими высохшими губами.

Снова начались боли, и Каролина, зная, что мать здесь, дала себе волю и закричала.

— Ничего, ничего, — сказала мать. — Я послала Алфи за сестрой и велела еще сообщить Нзубе. Пусть придет, она всегда помогает в таких делах. — Дождь все шумел за стенками хижины. — Надеюсь, сестра придет вовремя.

Она стала развязывать кипу старых газет.

— Только не тужься, детка. Еще не надо тужиться.

В комнате от двух горящих ламп стало теплее. Дым плыл под потолком, и струйка воды сбегала с потолка в кувшин. А Каролина кричала и кричала.

Мать откинула одеяло и пальто, которыми была укрыта Каролина, и закатала ей до пояса старую рубашку.

— Теперь ты должна приподняться... слышишь?.. чтобы я смогла подложить под тебя газеты. Скорей бы пришла Нзуба. Ну как, сможешь?

Каролина снова вскрикнула и застонала. Звуки, казалось, повисли в хижине. Дождь вдруг забарабанил слабее, ветер швырял его в стены порывами, и течь на потолке вдруг уменьшилась, струйка стала капелью, будто кто-то прикрутил кран.

Затем скрипнула и взвизгнула дверь, и миссис Нзуба вползла в хижину. Ее гороподобное тело сразу заполнило все помещение, и она закудаhtала, словно какая-то гигантская птица:

— Ай, ай, хорошо, хорошо. — Под ее тяжестью прогибался пол, но она двигалась бесшумно, как танцовщица. — Вот это дождь.

— Я рада, что ты пришла, Нзуба, — сказала мать. — Я поставила греть воду, и вот газеты.

— Ай, маленькая девочка, — сказала женщина, опускаясь на колени у матраца. Казалось, потеряй она случайно равновесие, она проломит стену. Но громоздкая, как гиппопотам, она с ловкостью фокусника и с полным знанием дела хлопотала над беспомощным телом роженницы, сочувственно повторяя: Ох, ох, ох — всякий раз, когда Каролина начинала кричать.

— Как думаешь, обойдется? — спросила мать с тревогой.

— Еще бы, только таким телкам и рожать, — ответила миссис Нзуба. — Не волнуйся, Паулс. Не волнуйся. Теперь надо ждать, и ничего больше.

— Она дотянула до последнего, — сказала мать. — Скорей бы уж пришел Алфи.

Каролина вдруг откинулась, дрожь передернула ее большое тело, коленки судорожно согнулись, выпрямились, снова согнулись, она вскрикнула, цепляясь за руки обеих женщин, вскрикнула еще раз.

Сквозь крики раздался стук в дверь, точно треск барабана. Чей-то голос кричал:

— Маак оор, откройте. Откройте, эй вы там!



— Кто это может быть? — спросила мать. — Сестре еще вроде бы рано. Но дай бог, это она.

Чья-то рука колотила в дверь, и дверь тряслась словно в лихорадке. Мать встала, подошла и открыла щелчку. Луч карманного фонаря ударил ей в глаза, и она увидела в темноте фигуры в мокрых плащах, а прямо перед собой — лицо белого полицейского.

— Тихо, — сказал он. — Что тут за крик? Вы что, напились? Где вино? — Он хотел пройти, но мать решительно преградила ему дорогу, глядя прямо в это белое, как свиное сало, лицо и серые, как пепел, глаза под форменной фуражкой.

— Вам сюда нельзя, — сказала она твердо, — здесь... ребенок.

— Ребенок? Что еще за ребенок?

— Здесь рождает женщина, — сказала мать.

В этот момент Каролина закричала.

— Боже ты мой! — сказал полицейский. Он заглянул через плечо матери в хижину, увидел громаду миссис Нзубы, склонившейся над лежащей на матрасе женщиной. Глаза его оглядели прокуренный потолок, грязный пол, течь в крыше и всякую рвань, разбросанную как для продажи. Запахи дыма, масла и родов наполняли комнату.

— Рождает?.. Здесь? — спросил он, затем пожал плечами и проворчал: — Ну, ладно, ладно. — Он повернулся, отдавая приказания своим людям, и мать захлопнула за ним дверь.

Каролина снова закричала, ее ноги напряглись, и миссис Нзуба сказала матери:

— Началось.

— Все будет хорошо, Нзуба? — взволнованно спросила мать. — Сестра...

— Все хорошо, — ответила массивная Нзуба. — Эти вещи нам не впервой. В этом мы разбираемся, Паулс.

Роженица кричала и напрягалась, и женщины суетились над ней. А в темноте улицы в глине, как гадюки, шипели шины — полицейские автомобили уезжали, как пьяные, спотыкаясь на камнях и колдобинах. Они перевернули всю локацию, как вытряхивают пальто, выворачивая карманы и отдирая подкладку с тщательностью скряги, разыскивающего запропастившуюся монету, и теперь с ревом и рокотом катились назад под проливным дождем.

Мусорная свалка на краю локации — излюбленное место детских игр. Там можно взбираться на дюны мокрой бумаги и ветоши и продираться сквозь джунгли ржавого железа, качаться на гнилых и скользких обломках, вдыхать зловонный болезнетворный воздух, кишащий мухами, как пудинг изюминами. Из гниющего трупа помойки торчат сокрушенные ребра каких-то машин, разломанные стулья, вывалившиеся, спутанные провода-внутренности. Здесь можно увидеть самые немыслимые обломки и отбросы: дверь, которая никуда не ведет, секция канализационной трубы, в которой так изумительно звучит эхо. Черви, извиваясь, буравят ходы в черной мякоти разлагающегося дерева, и великое множество разнообразнейших насекомых населяет изломанный мир фарфоровых черепков и консервных банок. Здесь валяются ржавые железнодорожные рельсы, скореженные, изогнутые, как растения с какой-то другой планеты, и вспученный кузов древнего автомобиля, зияющий, как пасть сказочного чудовища.

Все на этой свалке — совершенно бесполезные отбросы, конечный результат деятельности гигантского кишечника трущоб. Потому что все, могущее принести хоть какую-то, самую невероятную пользу, имеющее хоть какую-то, самую ничтожную цену, — все это давным-давно уже растащили. Кто-нибудь выбрасывает треснувшую ночную посудину — ее подбирают, чтобы использовать как цветочный горшок. Свалка — это чудовищный обменный рынок. Однажды здесь был найден трупик задушенного новорожденного младенца, завернутый в окровавленные газеты. Собственно, нашел его первым один бродячий пес и как раз пожирал свою добычу, когда его заметил кто-то из людей.

Дождь прекратился, и дети снова принялись за игры на свалке, вскидывая над головами пригоршни конфетти из гниющих тряпок и размокшей бумаги и весело оглашая воздух старческими детскими голосами.

— Вот это да! Ночной горшок! — кричит один и нахлобучивает его себе на голову, как каску. — Смир-р-но!

— Да пошел ты знаешь куда, солдат нашелся!

— А что? Я тебя могу насмерть пристрелить за просто.

— Много воображаешь. Мой отец был солдатом, на-

стоящим солдатом, понял!

— Ну ладно, ладно. Вот у Йорни брат Чарли тоже был солдатом. Спроси его.

Йорни Паулс пыжится от гордости.

— Ну да, Чарли был солдатом, это точно. И на войне он был, но уже давным-давно. А вы как думали? — Что-то вспомнив, он вдруг кричит: — Это что! А вот знаете, мой другой брат, Ронни, убил шлюху. Он теперь сидит в тюрьме, только подумайте! Прирезал ее до смерти ножом. — Он тычет себя пальцем в живот и визжит, избражая, как это было, и пританцовывает на груди отбросов. Все смеются, а он гордо кричит: — А Чарли говорит, что Ронни, наверно, повесят на веревке! — Он сжимает себе ладонями горло и давится, задыхаясь, а остальные кричат и хохочут в восторге.

Какой-то малыш кричит:

— Эй, посмотрите! Я нашел ружье. — Он прижал к плечу кусок старой водопроводной трубы и целится во всех: — Кх! Кх! Кх!

Те, кто толпились вокруг Йорни, мгновенно поворачиваются к нему спиной, он обижается и тут же пускается вслед за остальными полюбоваться на новую игрушку.

— Давайте играть в воров и сыщиков! Я главный сыщик!

— Хэй, смотрите на него. Главный сыщик, ха-ха!

— Да бросьте вы! Ну что привязались?

— Ладно, ладно. Я тогда буду главный вор. Бежим!

И они бегут сквозь завесу мушиного роя, крича, как испугнутые чайки.

Одинокая гвоздика растет на свалке. Зародившаяся в грязи, слизи и нечистотах, она поднимается на своем зеленом стебле рядом с болтающимся концом какой-то железяки. Среди струпьев коричневой ржавчины рдеет в бледном солнечном свете ее яркий алый цветок. Его прекрасные, причудливо сложенные лепестки сверкают, покрытые мельчайшими дождевыми бусинками, светлыми и чистыми, как бриллианты. Цветок стоит одиноко, красный, как кровь и жизнь, как надежда, расцветшая в истстрадавшемся сердце.

26

Дождь перестал, но небо загромождено грязными серыми облаками. С утра солнце было мутное, белое, его

лучи, проложившие себе путь через громадные барьеры кучевых облаков, не приносили тепла и тускло отражались в лужах и целых озерах, разлившихся между хижинами. Люди, стоя в дверях, смотрели в небо и ждали, что с минуты на минуту дождь хлынет снова.

В лачуге Фриды было тепло и сухо. Примус горел почти все время, и фанерные, оклеенные обоями стены сохраняли тепло. Фрида подкачала примус, и он затрещал, как бенгальский огонь, и ровное пламя сменилось прерывистыми вспышками. Она подложила под примус пустую спичечную коробку, там, где недоставало одной ножки. Удовлетворенная, застегнула красное пальто, когда-то подаренное ей хозяйкой, и заговорила с детьми.

Один из них, маленький мальчишка, порезал ногу стеклом на свалке; он грустно сидел на диванчике, хмурым разглядывая окровавленную повязку.

— Ну вот, только ведите себя как следует, ничего не натворите, — говорила она. — Грейси, ты присмотришь за Клонки. У него болит нога, и поэтому вы оба никуда не пойдете. Я все равно запру дверь, чтобы ты не вздумала от него убежать. Я иду в лавку.

— Хорошо, мама, — сказала девочка.

— Я ненадолго, — говорила Фрида. — Смотрите, ведите себя хорошо. Может быть, я куплю вам по леденцу.

— Да, мама, — снова сказала девочка и застенчиво улыбнулась.

— Ну хорошо. На улице все равно холодно, а от примуса тепло и приятно.

Завязав шарф, она вышла, захлопнула дверь и заперла ее на ключ. Она положила ключ в кошелек с мелочью и зашагала по глинистой тропке под пристальным взглядом застывшего в ожидании неба. Ветер свистел среди деревьев, размахивая горчично-желтыми цветами, как веерами, срываясь, ударял в стены, гремел листьями жести.

На маленькой площадке устроились со своими лотками африканки, предлагая всяческие отходы на продажу: овечьи головы, длинные вороха требухи на столах из досок, ящиков или старых бочек из-под бензина. Мухи тучами кружились над мясом, и женщины отмахивались от них руками, сухими и коричневыми, как ветви деревьев, а сами судачили друг с другом или зазывали покупателей.

Люди пробирались между хижинами, осторожно переступая колдобины и лужи, как путешественники в неисследованных землях, переходящие через трясины, продающиеся сквозь джунгли ржавого железа и покосившихся палок, мимо удушающе пахучих орхидей-уборных, в колючем кустарнике проволочных изгородей и зубчатых заваленных заборов. А небо над головой словно затаилось в засаде, предательское, как болото.

В хижине детям казалось, что матери нет уже очень давно. Обещанные сладости дразнили их, и они беспокойно и нетерпеливо ерзали. Клонки, маленький мальчик, предложил соорудить из покрывала, лежавшего на диванчике, палатку — пусть будет, будто они разбили лагерь. Но Грейси сказала, что это нельзя, потому что мать рассердится и не даст леденцов.

— Тогда дай мне кусок хлеба, — захныкал Клонки.

— Нечего, — сердито ответила сестра. — Только и знаешь, что есть, есть и есть.

— Я скажу маме, что ты не дала мне хлеба, — хныкал мальчик.

— Ну, ладно, ладно, — сказала девочка, скорчив гримасу и показав брату язык. Она подошла к столу, где лежала начатая буханка возле таза с посудой и примуса. Примус рычал и захлебывался, как неисправный мотор. Девочка взяла нож и начала резать хлеб. Стол закачался на неровном земляном полу. От этого вылетела спичечная коробка, и примус, потеряв устойчивость, со звоном перевернулся. Затем раздался взрыв.

Старый, колченогий, неисправный примус, опасный, как мина, бухнул, как надутый пустой пакет, взорвался шрапнелью, разметал во все стороны горячие куски меди и железа. Горящий керосин плеснул прямо в лицо девочки, он зажег на ней платье и переметнулся на волосы. Языки пламени, как бурные потоки воды, побежали через стол и набросились на сухую бумагу и фанеру стен. Стены с треском ожили. Ребенок рванулся, кричал, слепо налетал на занавеску, протянутую через всю комнату. Занавеска вспыхнула, и девочка потянула ее на себя, зацепив висевшую на гвозде лампу. Керосин разлился повсюду, обдал мальчика, который с плачем ковылял на одной ноге к порогу, и охватил его, отчаянно колющего в дверь, танцующими рыжими языками.

Дети кричали, метались, пока огонь и дым не задушили их; огонь ревел, и ворчал, и рычал на внутреннюю

обивку комнаты, на жалкую мебель, диванчик, матрацы, набитые волосом кокосовых пальм, одеяла, кровати, на все. Выгоревшая хижина закачалась и покосилась как пьяная, а огонь уже бушевал на деревянных подпорках.

Пламя, сначала красное, затем желтое, затем раскалившееся добела, быстро сожгло все внутри, и обитые жестью стены застучали и застонали, как в предсмертной агонии, горячие листы дымились, а дерево вспыхивало фейерверком искр.

На улице творилось бог знает что. Мужчины и женщины, крича, визжа, бросались к огню, скользили, падали в лужи. Они слышали детские крики, но эти леденящие душу звуки быстро смолкли. А жар и пламя рыча, отбрасывали всех прочь. Никто не решался приблизиться к погребальному костру. Мужчины и женщины в ужасе метались вокруг, хватались друг за друга, рвали на себе волосы. Но вот затрещали и рухнули останки хижины, рухнули с таким шумом, будто тысячи журавлей разом взмыли в небо, и зашипели, как пускающий пары паровоз, когда горящие куски дерева упали в мокрую глину. А сверху, глумясь, взирало небо.

Сквозь все эти крики и треск пожара прорвался еще один звук. Сначала это был какой-то вой, но постепенно он перешел в душераздирающее, захлебывающееся причитание, рисуя жуткую звуковую картину, быть может, какого-то зловещего погребального ритуала первобытного племени. Крик взмыл на немыслимые верха — не просто визг или вопль, а звук невыразимой печали, голос горя, которое больше горя, отчаяния, которого не высказать и не понять. Это была Фрида.

Несколько человек держали ее, а она, вырываясь, смотрела безумными глазами на дымящиеся руины и рвала на себе волосы, а крик несся из ее широко открытого рта.

— Фрида! Фрида! Фрида! Нет! Нет! Нет! — кричал Чарли, держа ее за руку, и все кругом что-то твердили, кричали, шумели.

И тогда Чарли, вспомнив, как обращаются во время обстрела с мужчинами в истерике, отпустил ее руку и, отступив на шаг, вдруг ударил ее по щеке.

Фрида безвольно повисла у кого-то на руках, а Чарли тихо сказал:

— Я заберу ее к нам. Больше ей теперь, я думаю, некуда.

Гараж Мостерта на повороте главного шоссе, идущего на север, был как нищий у дороги, который стоит и ждет, чтобы кто-нибудь бросил монету к нему в кружку.

Он в стороне от всех, как прокаженный, — его грязные облупленные стены сами, казалось, шелушатся от неизлечимой болезни. А Джордж Мостерт из своей будки смотрел сквозь захватанные, как облаками затянутые, стекла и провожал глазами проносящиеся по шоссе машины. Скучающий, опустошенный мозг его отмечал все — каждую марку, каждую модель, словно разносил по карточкам какого-то ненужного каталога: вон пошел «даймонд-Т», а это «форд», старая модель, тридцать девятого года, а это «додж».

Вот пророкотал огромный грузовик, хрипло сигнала на повороте, в спешке раздраженно оттесняя с дороги встречные автомобили. Спустя некоторое время промчался маленький спортивный автомобиль, и перед Мостертом мелькнули развевающиеся на ветру рыжие волосы и раскрытый от испуга и смеха рот и довольная улыбка сидящего за рулем.

Затем, к своему удивлению, он увидел красивый, низкий и длинный лимузин, который, затормозив, подруливал к заправочным колонкам. Мостерт вышел и заковылял по скользкому асфальту под навес, а внутри его, словно выкрученный фитиль, разгоралась радость.

Из автомобиля выскочил мужчина и пошел навстречу Мостерту. На переднем сиденье осталась женщина, она рассеянно глядела перед собой. Лицо у нее было пухлое, красивое, искусственно моложавое, оно все светилося здоровьем и самодовольством, бледно-розовое и гладкое — кровь со сливками. Накрашенный рот был чуть приоткрыт.

— Добрый день, — сказал Джордж Мостерт мужчине.

— Привет, — ответил тот. Он был низенький и толстый, жировые наслоения ровно покрывали все его тело, первоначальные очертания фигуры были скрыты мягкими округлостями. У него были редкие седеющие волосы и лоснящееся розовое лицо. И еще на нем было красивое пальто. — Давай заливай полный бак, — сказал он и улыбнулся Мостерту. — Высший сорт. — Во всем его облике сквозила снисходительность — он делал вели-

чайшее одолжение. Он оглядывал ветхое здание, кучу старых покрышек, разорванные рекламы, скособочившийся вентилятор, медленно вращающийся над пыльными бутылками со смазочным маслом.

— Дела не очень-то хороши, а? — заметил он, протягивая Мостерту ключ от бака. Рука у него была пухлая и гладкая, бледно-розовая и покрытая нежным пушком, точно персик.

Джордж Мостерт взял шланг. Слова мужчины были ему неприятны, всякое удовольствие пропало.

— Угу, — едва слышно буркнул он, открывая сверкающую крышку бака. Сзади в машине был сложен багаж. Джордж Мостерт вставил шланг в отверстие бензобака и стал следить за движением стрелки насоса.

— Удачно, что я наткнулся на тебя, — сказал мужчина. — Уезжал в спешке и забыл заправиться. Жена получила чертову телеграмму, что ее старуха померла, и она решила, что ей необходимо присутствовать на этих чертовых похоронах. — Он говорил тихо, чтобы женщина в машине не услышала. Он снисходительно подмигнул Джорджу: — Чертова теща.

Джордж Мостерт на секунду оскалил зубы под лохматыми усами — мгновенная гримаса, точно мелькнувшее на экране изображение. С оттенком гордости он сказал:

— От этой напасти я избавлен.

— Ха-ха, — засмеялся мужчина. — Ты здесь совсем один? — Он снова вопросительно огляделся.

— Да.

— Слушай, проверь-ка заодно и покрышки.

— Сей момент, сэр.

Мужчина обошел сверкающий хромировкой автомобиль и посмотрел через дорогу. На той стороне, за кустарником, виднелись крыши лачуг, похожие на серые и коричневые камни, разбросанные по берегу моря. Над ними в сероватом небе поднималось облако дыма.

— Что это? — спросил он у Джорджа Мостерта.

— Гарольд, долго мы еще будем стоять здесь? Надо ехать.

— Сию минуту, дорогая, — ответил толстяк и улыбнулся ей.



— Там? — спросил Джордж Мостерт, обходя машину с манометром в руке. — Всего лишь трущобы.

— Вот, наверное, где грязища-то адова! Непонятно, почему власти не снесут все к чертям собачьим. Сплошной рассадник заразы и всякой дряни. — Он смотрел на локацию. — Спросили бы меня, я бы немедленно снес и выселил бы их к дьяволу. — Он мотнул головой, и волосы его, словно солома, развалились в беспорядке. — За что только мы, бедняги, налоги платим.

— Проверил, шины в порядке, — сказал Джордж Мостерт. — Тем, кто живет там, во время дождя особенно достается.

Человек посмотрел на счетчик бензоколонки, вытащил кошелек, набитый деньгами, и отсчитал сколько надо.

— Могу себе представить, как эти бедняги там живут. — Видно было, что он считал себя в таких делах, как нищета, тонким знатоком. — Вот, пожалуйста. — Он положил на грязную, с поломанными ногтями руку Мостерта несколько бумажек, добавил до нужной суммы мелочи. Затем, подумав, добавил еще полкроны. — В расчете.

— Тысяча благодарностей, сэр, — сказал Джордж Мостерт.

Мужчина махнул ему рукой и направился к своему месту. Под красиво сшитым пальто колыхался округлый, как у женщины, зад. Мотор кашлянул и мерно, гортанно зарокотал сытым тигром. Джордж Мостерт смотрел вслед удаляющемуся автомобилю.

Когда они выехали на шоссе, женщина сказала:

— Что это за неповоротливый медведь там, у колонки?

— Да нет, он быстро справился, — ответил муж. — Но довольно мрачная личность.

— И грязища у него. Надо было заправиться в городе, я тебе говорила.

— Что же делать, раз я забыл. Все равно бензин везде бензин, верно?

Небеса разверзлись, и хлынул дождь. Он шел уверенно, энергично, на бетоне высоко взлетали брызги, по крыше лимузина тарахтела барабанная дробь. Сплошная серая пелена затянула окрестности. Толстяк включил щетки и, не сбавляя скорости, покатыл дальше, наслаждаясь приятным теплом в своем автомобиле.

Джордж Мостерт подождал, пока автомобиль скрылся из виду, и пошел назад, неуклюже передвигая ноги. За его спиной на шоссе плясал дождь, перед ним — верная и неизбежная, как могила, — была маленькая дверь стеклянной будки-конторы.

Войдя, он включил свет — сразу, как пошел дождь, стало темнее, — звякнул ручкой кассового аппарата, положил в ящик деньги и снова задвинул его. Затем он выдвинул ящик своего стола и вынул бутылку коньяку. Он налил себе в треснувший стакан. Выпил залпом и не почувствовал удовольствия. Он пил, не чувствуя вкуса, как будто алкоголь нужен был ему лишь как анестезирующее средство, притупляющее муку обиды и одиночества, неотступную и острую, как зубная боль.

Как засыпанный обвалом шахтер, он смотрел на мир сквозь узкий оставшийся просвет, а вокруг валялись вороха пропыленных рекламных каталогов, стояла стопка наколотых смятых счетов и лежал грязный прошлогодний календарь, исписанный давно забытыми, ненужными телефонными номерами.

28

На северо-западе тучи сгущались в разбухшие серые горы, которые передвигались по небу, и эти громоздкие массы поглотили весь свет, кроме мрачного металлического отсвета падающего дождя. Ветер подхватывал тяжелые струи и превращал их в серые диагональные полосы, порывы ветра обдавали леденящим холодом.

День превратился в серебряно-серый сплав дождя и облаков, тучи спускались все ниже и ниже, пока не закрыли все небо, и серая злобная пелена протянулась от горизонта до горизонта. Дождь то журчал, то с рыком обрушивался на землю, снова и снова разрывались тучи, выплескиваясь на землю гигантскими водопадами.

Сначала дождь гулял и бил по крышам лачуг и сараев, затем, погоняемый надвигающимися тучами и вегом, он заревел и пошел барабанить по щитам стен, врезываясь в швы кровли. На пустырях и в узких улочках вода вздымалась серыми пузырями. Дождь заливал все; канавки и ямки, улицы и тропки переполнялись, и вода стала пробиваться по дворам к тощим фундаментам хи-

жин и сараев. И все время небо грохотало, разрывалось и рушилось.

Дождь полоснул по крыше, ветер рванул ее и поднял, подбрасывая и крутя в небе гигантским серпом, который скашивает кроны деревьев и подрезает хлипкие заборы. Дождь поскребся о стену дома; нащупывая слабый стык, разошедшийся шов, нашел, за что зацепиться, и схватил, потянул, подергал, ржавые гвозди и проволока не выдержали; и дождь с ветром, объединившись, вырвали огромный кусок дерева с жестью, обнажив внутренность хижины, как шрапнель, снося пол-лица, выставляет напоказ все залитые кровью извивы мозга, уха, мышц, — и это были намокшая мебель, сбившиеся в кучу люди и серые клочья мешковины.

Дождь подрыл фундамент и размыл почву, дом перекопился и осел, стены вспучились и стали ромбами с рваными зияющими краями. Дождь журчал, булькал, клекотал в желобах, бегал, как ртуть, по потолку, а внизу дрожащие бедняки раздували свои жаровни, поддерживали огонь, съежившись, трясаясь в ознобе от холодной безжалостной сырости, тесно прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться, и стискивали зубы, чтобы они не лязгали, не отбивали болезненную дробь.

В доме Паулсов слышали дождь, но не задумывались о нем. Этот звук не был звуком горя. Чудом дом выдержал. Отец, Чарли Паулс и их друзья постарались не зря, по крайней мере такую грозу дом мог выдержать. Дождь налетал на него, точно в порыве ярости. Обнаружив, что дыра в крыше заделана, вода скатывалась к краям крыши и пропитывала стены насквозь. Но, казалось, дом стиснул зубы и отчаянно боролся за жизнь.

Старая железная печка, которую Чарли с отцом притащили откуда-то за четыре мили, гудела и ревела; и огонь, бушевавший внутри, разливал по комнате тепло; дом стонал и вздрагивал, как от боли, под бичом дождя; пол прогибался, но дом стоял.

Мамаша Паулс сидела на стуле в спальне и тихо раскачивалась взад и вперед, сгорбившись, с лицом, высохшим от печали. Она пела про себя и мыслями была с папашей Паулсом, со своим сыном Рональдом и с детьми Фриды. Ее руки, сухие, в узловатых венах, словно мотки коричневой шерсти, лежали на коленях.

На кровати, на которой умер папаша Паулс, сейчас

лежала Фрида, и лицо ее было обезображено горем и оцепенением. Мать, как могла, старалась облегчить ее страдания, напоила ее водой с сахаром, разогнала всех, кто толпился у них, охваченный жалостью и ужасом, отослала Альфреда, чтобы посидел с Каролиной и маленьким.

Чарли стоял у окна и тупо смотрел на серый мир. Он хотел что-то сказать Фриде, что-нибудь ласковое и приятное, но слова не приходили, и он чувствовал себя пустым, пустым и неподвижным, как сброшенное на пол пальто.

Чарли высокого роста, у него широкие плечи и грудь человека, который годами работал киркой и лопатой, мускулы вздувались под старой армейской рубашкой. Его широкие железные челюсти сходились в крутой подбородок, темный и твердый, как красное дерево, впалые щеки покрывала черная щетина. Но, несмотря на свою силу, он чувствовал себя сейчас слабым и одиноким.

Фрида зашевелилась на постели, застонала, прошептала всхлипывая:

— Я заперла дверь, заперла. Может...

— Фрида, Фрида, — тихо сказал Чарли.

— Я заперла дверь, — стонала она.

— Да, — сказал он мягко. — Да, ты заперла дверь. Но я мог бы починить примус. Ты просила меня, а я не починил. Поэтому не казись. — Теперь слова слушались его, они хлынули неожиданно, как будто кто-то прочистил забитую трубу. Он сказал: — Ну хорошо, может быть, мы с тобой оба виноваты. Или, может быть, это судьба, как люди говорят. А может быть, божья воля. Так объясняют дядюшка Бен и старый брат Бомбата. Я сам не знаю, Фрида. — Он откашлялся и взял ее за руку. Она не была холодной, как он думал, напротив — крепкая и теплая — живая. — Слушай, — сказал он, — когда мы прокладывали трубопровод на севере, там с нами работал один парень. Слабый парнишка, но толковый. Станные он вещи говорил. Он сказал, что всего труднее перенести беду, если человек один. Не знаю вот, с нами так ли? В общем-то, я не очень понял. Но у того парня была светлая голова. — Он помолчал и заговорил снова, с трудом подбирая слова, и в голосе его слышалась грусть. — По его, выходит, что человеку не справиться одному, людям надо быть вместе. Похоже, что он прав. Толковый он был парень. Может, вот и с братиш-

кой Ронни поэтому так вышло. Не любил он, чтоб ему помогали. Хотел все сам. Не был вместе с нами. Или дядюшка Бен — тоже. Люди сделаны так, что им нельзя одним. Черт побери, сдается, что люди сделаны так, чтобы быть вместе. Я... — Но слова снова не слушались его, и он только покачал головой.

Он взглянул на Фриду и увидел, что она тихо плачет. Слезы искрились и поблескивали у нее под глазами и в уголках рта. Он чувствовал, как крепко сжала она его руку, и он взял ее руку в свои ладони и гладил ее теплую коричневую кожу.

Ощущая такую же неловкость, как и в тот раз, когда он предложил Фриде пожениться, Чарли сказал:

— Полежи спокойно, ладно? А я встану и приготовлю нам по чашечке кофе. Думаю, мы можем позволить себе выпить немножко кофе в такой день. — Он улыбнулся ей и высвободил руку.

Мать сидела неподвижно, сжав руки, и казалось, что она молится.

Чарли вышел из комнаты, и пол стонал под его тяжелыми шагами. В спальне, свернувшись калачиком в постели Рональда, спал малыш Йорни. Стены лачуги отсырели, и Чарли подумал, что надо будет снова заняться крышей, как только перестанет дождь.

В кухне было тепло, и, когда он открыл печку, языки пламени всколыхнулись ему в лицо. Он ходил, наклонив голову, под низким потолком. Насыпал в кофейник кофе из жестянки, налил воды, поставил кофейник на огонь. Он нащупал в кармане брюк пачку и достал сигарету. Распрямил ее своими огрубелыми, мозолистыми пальцами и прикурил, вытащив из печки скрученную полосу бумаги. Он прислонился к кухонному столу и курил, ожидая, когда поспеет кофе.

Он прислушивался к дождю, с шумом падающему на крышу и стены дома. Подошел к двери, отодвинул засов и слегка приоткрыл ее. Порыв ветра ударил ему в лицо струями дождя.

Чарли Паулс стоял и смотрел, как льет дождь. Вода буравила землю. На улице было серо, и шум дождя был ровным, как стук сердца. Когда он еще раз взглянул вверх, он увидел, к своему изумлению, птицу, которая поднялась над цветными лоскутами крыш и взмыла высоко-высоко в небо.

# Каменная страна



ПЕРЕВОД И. ГУРОВОЙ. РЕДАКТОР В. КУЗНЕЦОВ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

— Сидеть нам тут и на рождество, — сказал Джордж Адамс.

Юноша ничего не ответил.

Они были в камере одни. Джордж Адамс стоял у двери и смотрел в зарешеченное, затянутое проволочной сеткой окошечко. Ему был виден бетонный коридор, тянувшийся через весь второй этаж изоляторного корпуса, и лестница в конце коридора, ведущая на первый этаж. И окно над лестницей, за которым горел на солнце квадрат асфальта — крохотный кусочек двора. Солнце было таким ярким, что казалось, будто смотришь на асфальт через желтое стекло.

Джордж Адамс нашарил в грудном кармане сигарету и закурил. Выпустив струйку дыма, он смотрел, как она разбилась о сетку и облачком поплыла по коридору.

— Который теперь час, по-вашему? — спросил юноша, прозвище которого было Малыш Касба.

— Не знаю. Должно быть, четвертый, — сказал Джордж Адамс и вспомнил, что Малыш Касба, наверное, уже никогда не выйдет из этих стен и время для него вот-вот остановится.

— Скоро ужин. Ну да нам все равно до завтра жрать не дадут, чтоб им! — сказал юноша. Голос у него был холодный и равнодушный. Разбитая, опухшая верхняя губа почти не шевелилась.

— Ничего, наверстаем завтра. Получим свою порцию кукурузной каши. Ты очень голоден?

— Обойдусь без их кошачьей башки, — буркнул юноша.



Обычно он говорил редко и неохотно, словно слушая себя со стороны. Но теперь, наедине с Джорджем Адамсом, он как будто держался менее настороженно. И все же у Джорджа Адамса было такое ощущение, словно, начиная разговор, ему каждый раз приходится дергать заклинившуюся дверцу сейфа.

Джордж Адамс тоже был наказан лишением обеда и ужина, и ему не на шутку хотелось есть. Он не сомневался, что и его соседа, который к тому же не завтракал, мучит голод, но понимал, что тот никогда в этом не признается. «А, ладно! — подумал Джордж Адамс. — Это ведь не праздничный домашний обед, чтобы о нем жалеть».

В камере было жарко, и Малыш Касба лежал на веревочной циновке, накрытой рваным одеялом, в одних истрепанных старых джинсах и резиновых туфлях. Стены камеры, в нижней части серые, как борт линейного корабля, а в верхней желтовато-белые и повсюду одинаково грязные, были испещрены надписями, выцарапанными по краске или выведенными карандашом: обычная тюремная литания бесчеловечности человека по отношению к человеку. *«Тут сидел Гус за кражу со взломом», «Джонни Брил, ты сволочь», «Не видать мне большие синего неба», «Тут сидели фартовые ребята», «Не верь бабам, пожалеешь», «22 мая Уилли Кинг получил четыре года за изнасилование», «А мне висеть, ну и плевать».*

И перезрело-пышные голые женские фигуры, и удивительно художественные натюрморты черным и белым, и бесчисленные призывы к богу — человек XX века, загнанный назад, в пещеру.

Где-то снаружи из испорченного крана медленно и безостановочно капала вода.

Джордж Адамс отошел от железной двери, вернулся к своей циновке и сел на нее, прислонясь спиной к надписям. Он был невысок, с кожей цвета старой меди, темными курчавыми волосами, густыми сросшимися бровями, лицом слегка негроидного типа и глубоко посаженными веселыми, дружелюбными глазами, которые блесткивали, как новые монеты.

Он хотел было бросить сигарету в жестянку из-под сардин, служившую им пепельницей, но вдруг спохватился и протянул окурочок юноше.

— Хочешь разок затянуться?

— Спасибо.

— А как губа?

— Ничего.

Не сделав ни одного лишнего движения, Малыш Касба взял окурок, затянулся и пустил дым в потолок.

Где-то рядом, нарушив устоявшуюся тишину, печальный истовый голос запел «Ближе, господь мой, к тебе».

Малыш Касба с легким презрением сказал сквозь колеблющуюся завесу дыма:

— Псалом! — и добавил словно через силу: — А вам что, очень неохота просидеть тут рождество?

Джордж Адамс улыбнулся:

— Да нет. Ну, конечно, приятней встречать праздник со своей семьей. Повеселиться.

— Угу. Выпить. В церковь сходить. А вы в церковь ходите, мистер?

— Ходил в детстве.

Юноша раздавил окурок, встал, подошел к бачку в углу и налил воды в жестяную кружку. Между глотками он говорил:

— Рай, ад... А мне все едино... куда я попаду... когда меня вздернут.

Голос его оставался равнодушным и безразличным, как голос, сообщающий по радио на вокзале об отходе очередного поезда.

Джордж Адамс посмотрел на юношу, и сердце его сжалось. Где-то неподалеку, но уже в другом мире, набожный заключенный продолжал тянуть псалом. Малыш Касба поставил кружку и пошел назад к своей циновке, осторожно вытирая ладонью разбитую губу.

Ему было девятнадцать лет, гибкая, подвижная фигура и коротко стриженные волосы делали его похожим на японца-военнопленного. Над вздувшейся верхней губой топорщились юношеские усики.

Он улегся на свою постель и стал чесать под мышками. Джордж Адамс посмотрел на него и спросил:

— А ты об этом вовсе не думаешь?

— О чем еще?

— Я говорю не про рай или ад, а... а... — Ему не хотелось произносить вслух эти слова. — Если тебе...

— Если мне дадут петлю?

— Ну... да.

— Плевать. Вот что, мистер, вы ведь когда-нибудь помрете, верно? Мы все помрем. Слушайте, мистер, я подколот одного парня. Он сдох. Так ему было на роду

написано. Я так считаю: всякому его смерть на роду написана. — Он задумчиво погрыз ноготь и посмотрел на него. — И мне, и вам, и... и этому, Мяснику.

— На роду написано? Ты так думаешь? Но если наша жизнь predetermined заранее, так какой же смысл бороться, чтобы ее изменить?

— А никакого, мистер. Ничего изменить нельзя. — И он откусил заусеницу на большом пальце.

— Но послушай! Люди все время борются, чтобы все изменить.

— Верно. И получают фигу.

Джордж Адамс поглядел на юношу и грустно покачал головой. Он спросил:

— Конечно, теперь уже поздно об этом говорить, но тебе не жалко того, кого ты убил?

Малыш Касба смерил его взглядом.

— Кого? Ах, этого! А чего тут жалеть? Я же вам говорю, мистер, так ему на роду было написано. Я, значит, стою в подъезде. Так? А этот фраер идет мимо. И выпивши. Ну, я его остановил и стал шарить по карманам. А на нем часы на золотой браслетке. И не отдает, гад. Полез драться. Ну и понюхал ножа. А меня сцапали через три недели и нашли при мне часы. Вот так, мистер. И я не скулю. Значит, так мне было на роду написано, верно?

— Но послушай...

Малыш Касба угрюмо перебил его:

— Хватит, мистер. Вы, видно, умный. И язык у вас хорошо подвешен. Ладно. А в это не лезьте. Поняли? А меня вздернут. И плевать. Моего старика вздернули, ну и что?

— Твоего отца повесили? — спросил Джордж Адамс. — Твоего отца?

Но Малыш Касба отвернулся к стене, вновь укрывшись за щитом упрямого молчания.

Псалмопевец уже перешел на «Мы пашем ниву и сею доброе семя». Но теперь в его пение вплетались другие звуки. Внизу, на кухне, позади изоляторного корпуса, звякали крышки котлов, раздавались голоса: «Триста шестьдесят пять для цветной предварилки. Взял кашу для банту? Двадцать три в лазарет. Для каторжников готово?» Любитель псалмов продолжал петь, но тут надзиратель приказал ему заткнуть глотку. Послышался стук открываемых тяжелых дверей, и поднялся

глухой ропот множества голосов, точно где-то далеко заблеяло овечье стадо, — это принесли ужин и заключенных выпускали из камер.

Джордж Адамс поудобнее вытянулся на циновке, размышляя о странном юноше, лежащем напротив, чей отец был повешен.

## 2

Битком набитый тюремный фургон дергался, набирая скорость, и люди падали друг на друга, локти упирались в ребра и скулы, слышались ругательства. Потом фургон пошел ровнее и кое-кто запел. Люди, загнанные в большую стальную коробку, теснились на металлических скамьях, кучей сидели на полу, а те, кому не хватило места сесть, стояли, кое-как цепляясь за металлический потолок. Кузов был накален, в спертom воздухе мешались запахи пота, кислого дыхания и грязной одежды.

Джордж Адамс влез в фургон одним из первых и теперь был притиснут к стенке шоферской кабины валом потных мышц, жестких колен и переминающихся ног. Его окружала мозаика лиц: старые лица, молодые лица, пожилые лица; лица, заросшие щетиной и испещренные шрамами; опухшие лица и изможденные лица; злобные лица и добрые лица; лица унылые, равнодушные, веселые, испуганные, жестокие. Казалось, это тесное пространство, ограниченное стальными стенками, вместило весь опыт человечества. Теперь пели почти все. Некоторые приникли к вентиляционным щелям в стенках фургона, свистом и воплями оповещая остальных, когда им удавалось увидеть что-нибудь на улице. Пение, свист, крики сливались в монолитную глыбу звука. Фургон резко повернул, копошащаяся людская масса качнулась, и пение перебилося руганью.

Джордж Адамс оглядывал окружающих и думал, что не худо было бы как следует вымыться. Кожа от пота стала липкой, он не брился уже несколько дней, во рту был медный привкус. «Принять бы ванну!» — подумал он. И ему стало смешно. «Принять ванну» на блатном жаргоне означало «попасть в тюрьму». Ему хотелось курить, но он был так сжат навалившимися на него телами, что не мог сунуть руку в карман за сигаретами. Стена голов заслоняла от него Джефферсона.

Ему вдруг улыбнулась морщинистая коричневая физиономия, открылись гнилые зеленоватые зубы. Обдав его лицо смрадным дыханием, она крикнула:

— Ничего, приятель! Ничего! Верно я говорю?

— Верно.

Джордж Адамс улыбнулся в ответ. Морщинистая физиономия закивала, ухмыляясь, и ему вдруг захотелось узнать, какое преступление привело сюда этого человека.

Фургон все еще катил и катил вперед; потом возмущенно завизжали тормоза, и он остановился. Поездка от здания суда до тюрьмы заняла около четверти часа. Пение смолкло, затекшие тела готовились вырваться на простор.

Тюрьма стояла высоко над городом и портом — угрюмая ограда из бурого камня, серой штукатурки и бетона, а внутри — тесный лабиринт зданий из кирпича и того же камня.

Построена она была в прошлом веке, во времена королевы Виктории, и долгие годы обрастала дополнительными корпусами и перестраивалась, а так как выйти за пределы наружной стены она не могла, то превратилась в настоящий кроличий садок — камеры, карцеры, коридоры и дворики.

Снаружи угрюмость ее фасада смягчали клумбы и газоны: зловещий лик палача скрывала маскарадная личина. Медные украшения на дверях главного входа были начищены до блеска, а мощеная дорожка перед ней содержалась в безукоризненной чистоте, словно каждую минуту здесь могли появиться высокопоставленные посетители. Тюрьма ждала, точно разряженная больная проститутка, готовая обнять ничего не подозревающего клиента.

Фургон задним ходом подъехал к огромным воротам из дерева и металла. Внутри было слышно, как защелкали замки на двери фургона, и по кузову пронесся нетерпеливый ропот. Дверь распахнулась — придерживая ее одной рукой, на арестованных смотрел надзиратель в тюремной форме. Другая его рука сжимала толстую пачку пропусков. За дверью встал второй надзиратель с пистолетом в кобуре.

Тот, который держал дверь, принялся кричать:

— Выходи! Выходи! Выходи!

Толпа в кузове качнулась вперед, и арестанты по одному начали спрыгивать с металлической приступки и

исчезать за дверью в створке ворот. Надзиратели считали выходящих.

Джордж Адамс протолкался мимо тех, кто почему-то хотел выйти последним, и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Спрыгнув на землю, он переступил порог. За дверью под аркой еще один надзиратель с большим ключом в руке тоже сосчитал его. Он был очень тощ, его розовое лицо казалось узким и жестким, как поставленная на ребро крышка кастрюли, глаза смотрели холодно и равнодушно, а губы отсчитывали:

— Двадцать три, двадцать четыре... Тридцать один...

Ключ в его руке поднимался и опускался в такт счету, точно металлическая рука робота.

— ...тридцать восемь, тридцать девять...

За спиной этого надзирателя проход перегораживала железная решетка, за которой виднелся передний двор. У калитки в этой решетке стоял еще один надзиратель с ключом и тоже считал проходящих мимо него арестантов.

В переднем дворе перед канцелярским корпусом их ждали новые надзиратели и каторжники из цветных в холщовых брюках и синих куртках. Они кричали:

— Стройся! Стройся! По двое, по двое!

Они кричали, чтобы как-то использовать жалкое подобие власти, которой облекли их бдительные хозяева; руганью и тычками они, рыча, как псы на сворке, заставляли медлительных арестантов строиться в колонну по двое.

Во дворе за железной решеткой и калиткой все было пронизано холодом, словно дневной зной сразу куда-то исчез. Сумрачная тень каменных стен по сторонам двора казалась такой же угрожающей, как застывшие лица надзирателей в плоских фуражках, как их ледяные глаза, которые подозрительно высматривали малейшее нарушение дисциплины.

Надзиратели и заключенные одинаково были подневольными обитателями особой страны, особого мира. Это был мир, лишенный красоты, лунная пустыня камня, железа и запертых дверей. В этом мире не росли деревья и тень отбрасывали только отвесные утесы стен; единственные ароматы, которые он знал, исходили от параш и канализационных шахт. Летом этот мир изнывал от палящей духоты, а зимой стучал зубами от холода. Единственная музыка, которую допускал тюремный устав,

слагалась из шлепанья босых подошв, шарканья сапог, окриков, стука дверей и побрякивания тяжелых ключей. Все остальное уже отдавало бунтом.

Когда арестанты построились парами, надзиратель с пачкой пропусков начал выкрикивать фамилии, арестанты один за другим отзывались и исчезали в дверях канцелярского корпуса. Тех, кто мешкал, каторжники потопрапливали тычками, а еще один надзиратель — резким окриком.

— Джеймс Хэннес...

— Тут, баас.

— Филипп Мартин...

— Я, баас!

— Генри Сэмпсон...

— Тут я, хозяин.

Оборванцы из трущоб, трясущиеся алкоголики, хулиганы в дешевых костюмах самой яркой расцветки и с рыскающими глазами, убийцы, грабители, взломщики, карманники, насильники, бродяги и просто те, кто просрочили вид на жительство, спотыкающейся вереницей вливались в распахнутую дверь.

Один раз надзиратель неверно произнес африканскую фамилию, и когда вызванный отозвался не сразу, на него обрушился град ругательств и угроз.

— Пошевеливайся, черномазый! Ты что, у себя в резервации?

— Энтони Лангефельт...

— Я, баас.

— Самуэл Принс...

— Тут, баас.

— Уильям Папагаай...

— Вот он я.

— Это что еще за фамилия? Черт, ну вылитый попугай!

Арестант угодливо хихикнул, а за ним робко засмеялись и другие.

— А ну, заткните пасти, подонки! Это что вам, цирк?

Сразу наступила тишина, побагровевший надзиратель обвел свирепым взглядом колонну арестантов и снова опустил глаза на пачку пропусков в толстой розовой лапе.

Джордж Адамс встал рядом с Джефферсоном и, дернув его за рукав, шепнул:

— Ну, вот мы и тут, брат.

— А, ерунда! — прошептал Джефферсон. — Я уже один раз через все это прошел. Когда было объявлено особое положение.

— А мы будем вместе?

— Нет, к сожалению. Эта тюрьма — маленький образчик того, во что они хотят превратить всю страну. Тут все сидят отдельно, братец: белые, африканцы, цветные. Для каждого — свои правила и белый надсмотрщик с пистолетом и дубинкой. — Он усмехнулся, показав ослепительные зубы.

Джефферсон был одного роста с Джорджем Адамсом, но более широк в плечах. Блестящие глаза на широко африканском лице были в непрерывном движении, точно ящерицы гекко.

— Ну да все будет хорошо, — закончил он. — Черт с ними!

— Черт с ними, — согласился Джордж Адамс, но, когда он услышал свою фамилию, сердце у него екнуло и он неуклюже рванулся вслед за арестантом, вызванным перед ним. Он вошел в дверь и торопливо зашагал по узкому коридору, вымощенному истертыми белыми и розовыми плитами. Плиты сменились истертыми досками — начался другой коридор. Потянуло затхлостью и пылью. Затем он очутился в большом зале с дощатым полом и серыми стенами, вдоль которых тянулись полки, уставленные большими плоскими регистрационными книгами. Дальний конец зала был отгорожен широким барьером.

Арестанты сгрудились у стены, переминаясь с ноги на ногу, перешептываясь, а за барьером тюремные писари и двое тюремных старост из белых заключенных что-то писали, перебирали анкеты, листали большие книги. Те, кто вошли позже, оттеснили Джорджа Адамса в гущу толпы.

Теперь его сердце билось ровнее, но ему по-прежнему было не по себе, точно иммигранту, который приехал в чужую, незнакомую страну и не знает, что с ним будет дальше. Потом он подавил это чувство, заставил себя забыть о нем, осудил его, запер на замок. Как будто учишься плавать, подумал он. Сначала захватывает дух, уходишь под воду, а потом приспосабливаешься и держишь голову на поверхности.

Он оглянулся, вытягивая шею, — в лицо ему ударило кислое дыхание человека, который стоял сзади.



Джордж Адамс искал взглядом Джефферсона и увидел его в заднем ряду. Джефферсон улыбнулся и ободряюще поднял большой палец.

Теперь пачка пропусков перешла в руки писаря за барьером, а один из тюремных старост намазал чернилами плоскую плитку, готовясь снимать отпечатки пальцев — каждый арестант по прибытии в тюрьму должен был приложить большие пальцы к своей анкете. Снова началась перекличка.

— Сулейман Адамс...

— Я, баас.

Вызванный шагнул вперед, и надзиратель, прикрикнув, чтобы он расслабил пальцы, схватил его сначала за одно запястье, потом за другое. На анкете отпечатались левый большой палец, затем правый, и арестанту было велено отойти в сторону.

— Самуэль де Брей...

— Тут, баас.

— Альберт Марч...

— Джон Соломонс...

— Как штык!

К столу пританцовывающей шутовской походкой бывшего уголовника подошел тощий коротышка и прижал большие пальцы к анкете. Потом обтер их о волосы и направился к широкой арке с двумя ступеньками, которые вели вниз, в камеру хранения.

— Куда это ты попер?

— Так ведь, начальник, мне же сюда или нет?

— А ну назад, сволочь!

Коротышка зашаркал назад, подмигивая остальным арестантам и ухмыляясь.

— Джозеф Экермен...

— Здесь!

— Титес Бикмен...

— Это я.

Те, до кого очередь еще не дошла, перешептывались:

— Слышь-ка, Горилла Абрамс еще в предварилке?

— Нет, приятель. В прошлом месяце получил пятнадцать лет.

— Где будешь спать?

— В Большой камере.

— Ничего не выйдет. Ты же еще предварительный.

Пойдешь, куда пихнут.

Тем временем приговоренным было приказано отойти

в сторону и раздеться. Теперь они стояли, сбившись в кучку, держа узелки с одеждой, и ждали, чтобы после новой переклички им выдали казенные штаны и рубаху. За ними следил младший надзиратель, совсем молодой цветной парень в вылинявшей гимнастерке и огромном тропическом шлеме, который казался нелепым на его маленькой голове. Он сурово хмурился, стараясь держаться со спокойным достоинством и не замечать усмешек и перемигивания своих подопечных.

По ступенькам в зал из-под арки поднялся еще один надзиратель — невысокий, с грудью и плечами молодого медведя. Брюки цвета хаки обтягивали толстые, кривые, как у шимпанзе, ноги. Белобрысые волосы были подстрижены под машинку. Рот на круглом скуластом лице стягивался в розовую пуговку, под белобрысыми бровями плоскими стекляшками поблескивали маленькие голубые глаза. Обычно розовые щеки сейчас побагровели от злости и нетерпения. Войдя в зал, он вдруг ринулся на арестантов, оказавшихся у него на пути, — люди отлетали к стене, теряли равновесие, неуклюже взмахивали руками.

— Чтоб вас! — ревел он. — Вы что, в пивной?

Он остановился, угрожающе пригнувшись, посреди этого претенциозного зала с пропылившимся викторианским лепным потолком и серыми убогими стенами. Голубые глазки свирепо впивались в прижавшихся к стене арестантов, потом он отвернулся и посмотрел в сторону барьера.

— Ну, долго вы еще? Мне же надо зарегистрировать барахло этих убожков.

Надзиратель, снимавший отпечатки пальцев, сказал:

— Мы уже кончаем. Но Мьюлину еще нужно заполнить карточки.

— Я и так тороплюсь, как могу, — огрызнулся писарь. Он сидел за столом позади барьера и заполнял маленькие карточки, заглядывая в анкеты, которые ему передавали одну за другой. В карточки заносились фамилия и номер арестованного и предъявленное ему обвинение.

— У меня дежурство кончается, — проворчал белобрысый. — А тут задерживайся из-за этой мрази!

Он обвел зал злобным взглядом. Арестанты затихли, почувствовав в нем свирепого врага.

И вдруг он без всякой причины снова разразился яростными криками:

— Вы что, отдыхать сюда явились? Это тюрьма, а не санаторий! Поняли?

Повернувшись на каблуках, он спустился по ступенькам и исчез в нижнем помещении.

Остальные надзиратели, подхлестнутые его нетерпением, заторопились. Фамилии выкрикивались одна за другой, и арестанты кидались к барьеру, толкая друг друга. Писарь, заполнявший регистрационные карточки, что-то бурчал, отбрасывая не глядя готовую карточку и принимался за следующую, так что арестанты путались и хватали чужие.

— Абрахам Хендрикс... Уильям Джонсон, кража со взломом... Черт бы побрал эти фамилии... Джозеф Коллинз... Питерсон... Обри... Сэм Баатъес, изнасилование, э?

Младший надзиратель отвел голых каторжников к большому мешку с предназначенной для них одеждой: штаны из парусины или чертовой кожи и линялые красные рубахи.

Надзиратель продолжал выкрикивать фамилии, словно соревнуясь с писарем. Солнечный свет в зарешеченных окнах позади барьера начал меркнуть.

— Джордж Адамс! — крикнул писарь, потом вдруг остановился, перечитал то, что написал, и, подняв голову, посмотрел на Джорджа Адамса. — Еще один коммунист! Да к тому же дегтем мазанный? Эту поганую тюрьму доверху набили коммунистами.

Писарь ухмыльнулся — его угрюмое лицо словно рассекли топором от уха до уха. Он повернулся к своему товарищу.

— Нет, ты погляди на него, старик! Как, по-твоему, будет он премьер-министром?

Надзиратель, снимавший отпечатки пальцев, оглянулся и, не прерывая своего занятия, сказал с усмешкой:

— Где ему! Ростом не вышел.

Писарь расхохотался и швырнул карточку Джорджу Адамсу, который ловко поймал ее на лету и отошел, мысленно выругавшись, а писарь уже выкрикивал:

— Альберт Марч, убийство...

Джордж Адамс присоединился к тем, кто уже побывал у барьера, и посмотрел на свою карточку. В ней значилось: «Н-ская тюрьма. Предварительное заключение». Затем следовали номер, его фамилия, дата и «предъяв-

ляемое обвинение: принадлежность к нелегальной организации». Он сунул карточку в нагрудный карман и подошел к Джефферсону, который еще ожидал своей очереди.

— Получил карточку? — сказал Джефферсон. — Вот что: береги ее. Ты обязан всегда иметь ее при себе. Смотри не потеряй, не то эти голландцы зададут тебе жару. — И добавил, посмеиваясь: — Карточка тут — это как вид на жительство.

— Если здешняя сволочь себе что-нибудь позволит, я устрою скандал, — ответил Джордж Адамс. — Вот увидишь.

Он сунул руку под рубашку и поскреб под мышкой. Эх, вымыться бы сейчас! И побриться — на лице словно не кожа, а наждачная бумага.

Человек, стоявший рядом, оглядел его и спросил:

— Вы что, оба политические?

— Да, — ответил Джордж Адамс.

— У нас не правительство, а дерьмо. Некоторых из ваших вчера освободили под залог.

— Да? А сколько человек?

— Точно не скажу, приятель. Только из его компании — никого. — Он кивнул в сторону Джефферсона.

— Мое дело отложили на месяц. Без права залога, — сказал Джордж Адамс.

— Не правительство, а дерьмо, — шепнул в ответ его собеседник. — Нам нужна ри... риверлюция.

Тут их погнали под арку в нижнее помещение для проверки личных вещей. Личные вещи пересылались из полицейских участков в специальных мешках, и тюрьма принимала их в присутствии владельцев. Все снова выстроились в ряд перед еще одним барьером, за которым сидели уже знакомый им злобный белобрысый надзиратель и помогавший ему тюремный староста.

Одного за другим арестантов вызывали к барьеру. Староста монотонной скороговоркой перечислял содержимое мешка, а надзиратель сверял его с описью. Вещи, которые разрешалось иметь при себе в предварительном заключении, тут же возвращались владельцу. Джорджу Адамсу вручили его безопасную бритву и полупустую пачку сигарет, а также сообщили, что в тюрьме ему открыт счет на пятьдесят восемь центов.

Он отошел от барьера, рассматривая бритву. Полотенце ему дали, но пакетика с бритвенными лезвиями,

который его квартирная хозяйка переслала ему в участок, не вернули, и он подумал, что, пожалуй, стоит отпустить бороду. Возвращаясь на свое место, он с кем-то столкнулся и, очнувшись от задумчивости, пробормотал:

— Извини, приятель.

Они встали у стены рядом, и Джордж Адамс увидел юное, почти детское лицо с чуть пухлыми, нежными, как у младенца, щеками и ожесточенно сжатым ртом. Глаза были серые и холодные, как камешки на морском берегу во время отлива, — и никогда не улыбались, решил Джордж Адамс. Волосы на маленькой круглой голове были острижены под машинку, кожа отливала желтизной, как давно обглоданная кость.

Джордж Адамс сказал шепотом, пробуя завязать разговор:

— Ну как, приятель?

— Ничего, — ответил юноша колюче. Каменные серые глаза по-прежнему смотрели мимо Джорджа Адамса.

— А ты тут за что?

— За убийство, — последовал рассеянный ответ.

«Господи! — подумал Джордж Адамс. — Убийство? Он же еще мальчик!» Это спокойное равнодушие почти испугало его.

В эту минуту надзиратель крикнул: «Альберт Марч!», и юноша пошел к барьеру. На прежнее место рядом с Джорджем Адамсом он не вернулся.

Джордж Адамс шепнул Джефферсону, стоявшему рядом:

— Совсем мальчишка — и убийство! — и, нахмурившись, добавил: — Но, может, тут какая-нибудь ошибка. И убил не он.

Он продолжал думать об этом, когда надзиратели с криком и руганью начали отделять африканцев от цветных.

— Ну, пока, Джордж! — Джефферсон улыбнулся, подмигнул и, задев его плечом, исчез под аркой.

Тех, кто оставался, построили парами, и надзиратель скомандовал:

— Пошли!

По двум ступенькам они поднялись в первый зал, где писари и тюремные старосты все еще возились со списками и регистрационными книгами, и снова вышли во двор. Солнечный свет уже не озарял каменные стены, но он пронизывал синюю квадратную плиту неба в вышине,

словно насмехаясь над ними, а они прошли через двор и спустились по наклонному проходу, у которого, застыв в неподвижности, стоял цветной часовой и смотрел куда-то вдаль, точно деревянная фигура на носу старинного парусного корабля. Еще один надзиратель отпер решетчатую калитку, и они очутились в следующем дворе, совсем пустом в этот вечерний час. По двум его сторонам тянулись камеры; глазки на железных дверях были прикрыты железными крышками — точно выстроились в ряд циклопы и каждый заклеил пластырем единственный глаз посреди лба. Сюда же выходили задние стены корпусов, внутри которых камеры располагались в два этажа. Они прошли и этот двор — новый надзиратель отпер железным ключом еще одну решетчатую дверь, которая вела в узкий сводчатый туннель под двумя корпусами. Пройдя туннель, они очутились в третьем дворе, между административным корпусом, кухней, стеной с аркой, за которой находилась больница, и высокой решеткой, отделявшей две секции предварительного заключения — для цветных и для белых.

Пятна пленного солнечного света лежали на асфальте двора, перемежаясь широкими треугольниками серых теней, — все это слагалось в двуцветный абстрактный узор.

Через двор к кухне скользнула пестрая тюремная кошка — толстая и пушистая.

Сопровождающий крикнул:

— Давай раздевайся!

Некоторые уже начали раздеваться, не дожидаясь команды, и остальные теперь последовали их примеру. Надзиратель следил за ними, похлопывая себя по ноге ремешком дубинки.

Пока они раздевались, по железной лестнице во внутренний дворик секции спустился еще один надзиратель. Поглядывая на свои часы, он достал ключи и отпер калитку в решетке, отделявшей большой двор от внутреннего дворика.

— Мыться, мыться! — скомандовал он и добавил, обращаясь к сопровождающему: — Чего так поздно?

— Уж очень большая партия дерьма, — ответил тот ухмыляясь.

Джордж Адамс снял брюки и куртку и начал расстегивать рубашку. Те, кто успели раздеться раньше его, стремглав кидались в калитку нагишом, а надзиратель

обыскивал снятую одежду, осматривая рубашки и штаны с осторожностью ученого, работающего с особо опасными бациллами. Но прежде чем Джордж Адамс успел пройти в душевую, надзиратель снова взглянул на часы и крикнул:

— Эй, довольно!

Потом он объяснил сопровождающему:

— Черт подери, я ждать не буду. Мне пора. Эта сволочь может вымыться и утром, ну их к дьяволу. Я не собираюсь работать сверхурочно!

Сопровождающий пожал плечами, и надзиратель махнул рукой тем, кто еще ждал рядом с Джорджем Адамсом, чтобы они вошли во дворик.

— Живей, живей! — командовал он. — Поторапливайтесь!

Они подобрали узелки со своей одеждой — те, кто успели побывать под душем, подпрыгивали и приседали, чтобы немного обсохнуть, — и вошли во внутренний дворик. Надзиратели начали разводить их по камерам, отпирая и тут же запирая двери.

Джордж Адамс брел по дворику, ощущая сквозь носки тепло нагретого за день бетона. Он успел надеть брюки, но куртку и башмаки нес под мышкой. Рука надзирателя втолкнула его в камеру, и он увидел четырех людей, которые сидели на циновках и, почесываясь, глядели на него. Дверь за ним захлопнулась, ключ заскрипел в замке, и один из сидевших спросил:

— Тебе, приятель, оставили твои вещи?

— Да, друг, — ответил Джордж Адамс, улыбнулся ему и подумал, что вымыться ему так и не удалось.

### 3

В зале канцелярии писарь встал из-за стола и вышел за барьер, размахивая пачкой документов.

— А где эти повторники?

— Вон там, — ответил его товарищ, указывая на одну из боковых дверей. — Это те, которые напали на надзирателя.

Писарь подошел к двери и рывкнул:

— Эй вы, выходите!

Из двери вышли три босых человека в тюремных парусиновых куртках, красных рубахах и шортах. Они встали у стены, писарь сверил их регистрационные кар-

точки со своими бумагами и вернулся к столу. Он расписался на сопроводительном формуляре и отдал его надзирателю, который привез их из другой тюрьмы. Здесь, в городской тюрьме, им предстояло ожидать суда.

Они стояли неподвижно, и лица их ничего не выражали, — это были опытные заключенные, постигшие все тонкости тюремной жизни. Казалось, они ничего не замечали вокруг, но на самом деле готовы были в любой момент включиться в действие — точно электрические счетчики после поворота выключателя. У одного из них левую щеку от брови до подбородка пересекал рубец ножевой раны, и от этого лицо казалось перекошенным, словно его наскоро набили соломой и кое-как зашили. У всех троих головы были выбриты, а губы угрюмо сжаты.

Пока шла общая регистрация, они стояли у внутренней двери и наблюдали за происходящим. Когда коротышка Джон Соломонс, услышав свою фамилию, принялся приплясывать, как клоун, двое из них вдруг засмеялись. Солли обернулся, изобразил на своем лице яростное негодование и крикнул: «Чего регочете, падлы?» Тут на него прикрикнул надзиратель, и он, пританцовывая, отошел, а человек со шрамом улыбнулся зубастой улыбкой.

Теперь они ждали, выстроившись у стены, а потом по команде надзирателя гуськом пошли за ним. Он быстро провел их по тихим дворикам и переходам во двор, где напротив секции предварительного заключения темнел изоляторный корпус.

4

Лампочка за толстым стеклянным плафоном на потолке Большой камеры светила размытым желтым светом, который не достигал углов. Два решетчатых окошка под самым потолком были затянуты пыльной проволоочной сеткой, гасившей сумеречные отблески зеленоватого вечернего неба. На полу, на смятых одеялах, лежали и сидели почти все обитатели камеры — их было более сорока человек. Остальные лениво прохаживались или стояли, прислонясь к стене.

Казалось, в камере вместе с заключенными была заперта дневная жара, невидимая сырая и липкая вата,



пропитанная душной вонью. Правда, у находившихся в предварительном заключении на ночь отбирали верхнюю одежду и башмаки, но это мало что меняло. Только еще более резким был запах пота, исходивший от голых и полуголых тел и грязных одеял. Вонь и жара словно загустевали, окутывали и поглощали все вокруг, как и въедливый шум, заполнявший камеру.

Кто-то пел одну песню, кто-то — другую, кто-то что-то рассказывал, стараясь перекрычать поющих, а еще кто-то спорил или просто орал, чтобы поорать, — и все это сливалось в общий оглушительный гул.

Одни тасовали пухлые засаленные колоды самодельных или тайком пронесенных в камеру карт, другие двигали шашки из клочков бумаги или кусочков угля по выцарапанной на полу доске, третьи бросали кости, выигрывая и проигрывая одежду. Это была общая камера первого этажа. Над ней находилась такая же камера, где был такой же бедлам.

Время от времени шум стихал после того, как дежурный надзиратель, обходя секцию, открывал глазок в железной двери и кричал на нарушителей тюремной дисциплины.

Мясник Уильямс спрашивал:

— За что вас взяли, сявки?

Он загнал группу новоприбывших в угол и сверлил их налитыми кровью глазами.

Главарь шайки и полновластный хозяин камеры благодаря своей жестокости и силе, а также поддержке вышколенных и таких же злобных прихлебателей, он был подл, как шакал, кровожаден, как волк, и мерзок, как гиена. Те, кого он допрашивал в углу, нервно переминались с ноги на ногу и отводили глаза, избегая его свирепого взгляда.

Один только Солли, по-видимому, совсем не робел. Он кривил морщинистое лицо в веселой гримасе и смеялся пронзительным кукарекающим смехом.

— За пьянство и драку, приятель! — воскликнул он, давясь смехом. — За пьянство, приятель.

— Тебя-то? — презрительно усмехнулся Мясник. — Я же тебя знаю, Солли. Пьянство — это да. А драка — ну, нет! Где тебе драться? И не заливай!

— А вот и да, а вот и да, — кукарекал Солли, отплясывая, как марионетка, нелепый танец перед грозной тушей. Он был смятой, смазанной, набранной петитом,

жалкой копией человека, с глазами как два расплывшихся плюса под морщинистыми веками, со ртом как нечеткое тире между двумя глубокими скобками. Его череп был покрыт запятыми крутых завитков, а лоб исчерчен множеством линий. Тощее карликовое тело тонуло в рубаше, которая была ему непомерно широка и доходила до покрытых коростой колен.

Он отплясывал, ухмыляясь в лицо Мяснику беззубым ртом и прихлопывая заскорузлыми ладонями.

— А вот и да, Мясник! — кукарекал он. — А вот и да, приятель.

— Пошел ты! — проворчал Мясник. Его обнаженный по пояс гориллий торс был весь покрыт татуировкой: две руки, соединенные в пожатье, череп и скрещенные кости, английский флаг, кинжал с каплями крови и прочие эмблемы в том же дикарском вкусе.

Он нагнулся над Солли, упершись толстыми ручищами в бока, и улыбнулся зловещей улыбкой.

— Брось заливать, — сказал он сипло. — Да тебе и с ребенком не сладить.

— А ты послушай, — хихикнул Солли, исполняя новое па. — Ты послушай, приятель.

Воспользовавшись тем, что внимание Мясника было отвлечено, остальные начали потихоньку выбираться из угла.

— Нет, ты послушай, — говорил Солли Мяснику. — Только послушай. Сiju я, значит, в этой забегаловке. В «Гербе Веллингтона». Ты ж ее знаешь, так? Значит, сiju я там у стойки, взял виски и пью себе. Тут входит этот парень...

— Какой еще парень? — проворчал Мясник.

— А ты слушай, слушай! Я же тебе рассказываю. Значит, входит этот фраер, идет к стойке и вякает: «Дайте мне бананового ликээру». Ну, я гляжу на него и говорю: «Бананового ликээру? Ах, бананового ликээру! А куда, по-твоему, ты зашел, приятель? Это тебе что, Гранд-отель? Да на кой тебе сдалось это дерьмо? Банановый ликээр? Бабское пойло». А фраер глядит на меня и вякает: «Не твое дело». «Ах, ты так, — говорю я. — Фу ты, ну ты, жук навозный!» «Иди ты к черту, — говорит фраер. — Ты пьян». Ну, мне не понравилось, что он задирается, и я ему сказал: «Так человеку, значит, и выпить нельзя? Лезут тут всякие жуки навозные, не дают человеку выпить спокойно. Бананового ликээру захотел?

Я тебе покажу банановый ликээр!» Я, значит, беру его за грудки, а тут...

Его голос утонул в воплях, раздавшихся в другом углу камеры, и Мясник, подняв свою неандертальскую голову, взревел:

— А ну, заткните свои паршивые глотки, падлы!

Шум сразу стих, и, повернувшись к Солли, Мясник проворчал:

— Валяй дальше.

— Ладно, — прокудахтал Солли. — Значит, взял я этого парня за грудки и говорю: «Чего орешь, чего орешь?», а бармен мне говорит: «Эй, прекрати!» — говорит. Ну, я послал его куда следует, а этот фраер как съездит мне по затылку. Я к нему повернулся и говорю: «Значит, ты так? Ну, погоди!» — и делаю вот что!

Внезапно Солли вцепился в плечи Мясника, миниатюрное тельце взвилось вверх, и круглая голова пушечным ядром мелькнула в воздухе.

Мясник еле успел отдернуть подбородок и, грязно выругавшись, стряхнул с себя коротышку.

— Я ж только тебе показал! — закукарекал Солли, и его морщинистая физиономия задержалась от смеха.

— Ты эти штучки брось! — приказал Мясник. — Валяй дальше.

— Ладно. Ну, это подпортило его костюмчик, сам понимаешь. Мы покатались по полу, столики опрокидываются, стаканы летят, а я обрабатываю парня головой. Видишь?

Солли наклонил голову и грязным пальцем, похожим на сухой сучок, потрогал шишки и ссадины. Потом он продолжил свой рассказ:

— Этот фраер саданул меня пару раз коленом, и тут я подумал: «А, так ты ногами, падло? Ну, я тебе покажу!» И пошел молотить головой, у него кровь течет из его поганого носа и изо рта, а глаз весь заплыл. Только сволочь бармен позвонил в полицию, а потом он и еще пара фраеров меня схватили. Ну, я, конечно, тишины и порядка нарушать не хотел и спокойненько дождался полиции. Я ж ничего не сделал, верно? А все этот парень с банановым ликээром! Банановый ликээр, надо же!

— Ну, и что тебе дали? — поинтересовался Мясник. — Штраф два фунта или десять дней? Куда тебе больше?

— Черта с два! Я сказал, что виновным себя не признаю.

— Не признаешь? Ты что, сбрендил? — фыркнул Мясник. — Ничего ж не выйдет. А то бы ты уже начал отбывать свои десять дней.

Солли хитро сощурился, кукарекнул и снова принялся отплясывать свой нелепый танец.

— А мне так больше подходит, — сказал он.

Мясник смерил его подозрительным взглядом, сказал: «А пшел ты!» — и повернулся к коротышке широкой, как дверь, спиной. Он двинулся вперед, расталкивая ногами лежавших на полу и рыча.

— Где другие новички? Я хочу с ними поговорить!

Он добрался до своей постели; отобрав одеяла у других заключенных, он соорудил себе на бетонном полу довольно удобное ложе, даже с подушкой, на которую пошло еще несколько одеял. Усевшись на постели, он обвел камеру грозным взглядом, а вокруг столпились его дружки — Тормозной Питерсон, Розовый, Моос и Косой Самуэлс. Все они выражали свою преданность главарю подобострастными ухмылками, но внимательный наблюдатель заметил бы, что в этих ухмылках прячутся ненависть и насмешка.

Мясник расправил плечи, потянулся, и рисунки, покрывающие его торс, ожили, точно в мультипликации. Он похлопал себя по могучей груди и плечам ручищами, напоминающими ковши-землечерпалки. Его маленькие блестящие глазки перекатывались, как угольки в костре.

— Ну-ка! — загрохотал он. — Кого я еще тут не знаю?

Его взгляд остановился на изрытом оспой лице человека, который стоял неподалеку, угрюмый, как нахохлившийся стервятник.

— Эй ты! Поди сюда! Живей!

Тот не пошевелился.

— Живей, кому говорят, — проскрежетал Мясник.

Поглядев прямо в его глаза-пуговички, человек демонстративно сплюнул.

— Приведите-ка его ко мне, — распорядился Мясник, и через мгновение новичка схватили за шею и за штаны и подтащили к хозяину камеры. Мелькнул кулак-кувалда — и из расплющенного носа брызнула кровь. Рябой бессильно обвис на вцепившихся в него руках; Мясник взял его за пояс и, приподняв повыше, швырнул в дальний угол камеры. Заключенные увертывались от летя-

щего тела, и оно, ударившись о стену, шмякнулось на пол. Раздались глухие стоны, похожие на вой раненого зверя.

Мясник хрипло рассмеялся, его дружки захихикали. Теперь крохотные глазки заметили худого, но крепко сбитого паренька, с лицом старым, как у всех детей трущоб.

— А это что за мальчик? — осведомился Мясник сиплым голосом, показывавшим, что у него повреждены голосовые связки.

— Ему прозвище Малыш Касба, — сообщил Тормозной Питерсон, у которого только половина лица была человеческой. Вторая же представляла собой жуткую маску из бугров и шрамов плохо залеченного ожога — его любовница, не выдержав постоянных побоев и издевательств, однажды ночью, когда он спал, прижала ему к щеке раскаленный утюг. — Его вздернут, — пояснил Тормозной со смехом. — Он тут за мокрое дело.

— Ишь ты, какой мальчик! — хрипло рассмеялся Мясник. — Ну-ка, поди сюда, мальчик.

Малыш Касба неторопливо подошел к нему — в водянистом свете лампочки под потолком его глаза казались тусклыми и пустыми. Он откусил заусеницу на большом пальце и только тогда посмотрел на Мясника.

Губы великана зашевелились, открывая гнилые зубы:

— Как тебя звать, мальчик?

— Марч. Альберт Марч.

— И что же ты сделал, мальчик?

— Убил.

Он сказал это с полным равнодушием, как мог бы сказать о том, что он подтянул штаны или почесался.

— Ну, поговори, поговори.

— А я не люблю говорить, — ответил Малыш Касба, откусил еще одну заусеницу и принялся рассматривать ноготь, не обращая внимания на пристальный взгляд Мясника.

— Ишь ты, какой бойкий мальчик.

Вытерев палец о штаны, юноша буркнул:

— Одни любят говорить, а я не люблю.

— Вот что, приятель: когда говоришь со мной, помни, с кем говоришь, понял? — И широкая ладонь хлестнула юношу по щеке.

Малыш Касба отлетел в сторону и растянулся на полу, но лишь на мгновение. Секунду спустя он с глухим

ворчанием упруго вскочил на ноги. В следующую секунду он пригнулся и прыгнул, целясь головой в живот Мяснику. Если бы его макушка, движимая инерцией всех ста двадцати фунтов его веса, угодила в цель, зазевавшийся великан перегнулся бы пополам от удара в солнечное сплетение и, возможно, потерял бы сознание. Но он был начеку и точно рассчитал ответное движение.

Прихрюкнув, он выставил колено и попал им прямо в лицо юноши.

Когда Малыш Касба очнулся, все уже спали — кто завернувшись в одеяло, кто разметавшись от жары. Он с трудом поднялся на ноги, выплюнул зуб и осторожно потрогал распухшую губу. Он не раздумывал о том, мстить Мяснику или нет. Месть разумелась сама собой, и мысль о ней вошла в его сознание с такой же легкостью, с какой зубцы хорошо смазанного колеса входят в звенья хорошо смазанной цепи.

Он встал, подошел к бачку с водой, смыл кровь и выпил глоток. Потом поглядел туда, где могучая грудь Мясника вздымалась и опускалась в такт оглушительному храпу, отвернулся и принялся осматривать камеру.

Бесшумно перешагивая через спящих, он подобрал с пола старую жестянку из-под сардин, которую кто-то приспособил вместо пепельницы, и, пригнувшись, стал высвобождать из закрученной полоски жести длинный ключ. Потом он нашел свободное место у стены, сел и принялся осторожно тереть прямой конец ключа о бетонный пол. Он неторопливо затачивал тупой стержень, останавливался, когда кто-нибудь из спящих переворачивался на другой бок, потом опять принимался за работу, и ключ постепенно превращался в маленький стилет.

## 5

Появление Джорджа Адамса прервало карточную игру — засаленная колода мгновенно исчезла под одеялом, едва дверь начала открываться. Трое игроков, скорчившиеся на полу в безжизненном свете лампочки, выглядели весьма непрезентабельно: грязные шорты, давно не стиранные рубахи. Когда дверь захлопнулась, они вытащили карты и, небрежным кивком поздоровавшись с Джорджем Адамсом, возобновили игру.

Камера была маленькой и душной. В углу у двери стояла параша, в противоположном — бачок с водой. За решеченное окно под потолком заросло слоем грязи. На проволоочном крючке, привязанном к решетке, висели четыре кружки.

Джордж Адамс оглядывался, выискивая, где бы сесть, но тут заговорил четвертый обитатель камеры — тот, который спросил Джорджа Адамса про его одежду.

— Располагайся поближе к окну, приятель!

Голос у него был веселый и насмешливый. Толкнув одного из игроков ногой в спину, он сказал небрежно:

— Ну-ка, подвинься. Дай присесть этому парню.

Игроки, не отрывая глаз от карт, потеснились и освободили половину одеяла.

— Спасибо, ребята, — сказал Джордж Адамс, но они не обратили на него никакого внимания, и он улыбнулся человеку с насмешливым голосом.

Сняв башмаки, Джордж Адамс поставил их у стены, положил на них аккуратно свернутую куртку, сел и с облегчением вытянул ноги. Его поташнивало. Духота в камере словно спекалась в плотную корку. Где-то рядом несколько голосов затянули «Бухту Гэллуэй», а издали донесся гулкий стук каблуков по железным ступенькам.

— Ну что ж, приятель, — сказал четвертый обитатель камеры, — значит, сидим мы тут в тоске и унынии.

Джордж Адамс снова улыбнулся ему, и он ответил веселой усмешкой.

— А одеяла тебе не дали? — спросил он.

— Нас привезли поздно, — объяснил Джордж Адамс. — Наверно, надзиратель не захотел отпирать склад.

— Эти шкуры шагу лишнего не сделают, если им самим не нужно. Вот что, друг, когда утром нас выведут завтракать, попроси у начальника секции одеяло и кружку. Если сам не скажешь, они не почешутся, ясно?

— Хорошо, — сказал Джордж Адамс, и у него стало легче на душе от этого дружеского участия.

Здесь, в замурованном мире железа и камня, властвовал дух озлобленной разобщенности: каждый был только за самого себя и против всех остальных. Дух этот был чужд и неприятен Джорджу Адамсу. Но он вырос в трущобах и знал, что тут собраны разные люди — коварные и хитрые, малодушные и трусливые, свирепые и

властные, вкрадчивые и злобные, робкие и беспомощные; сильные здесь эксплуатировали слабых, сильные и жестокие почти бессознательно сплачивались, чтобы держать остальных в страхе и покорности.

Голос четвертого человека вывел Джорджа Адамса из задумчивости:

— Первый раз в тюрьме, приятель?

— Да. В участках мне приходилось сидеть, но в настоящую тюрьму попал в первый раз.

Джордж Адамс поглядел на своего собеседника. Худой и гибкий, он сидел в углу, прислонившись к стене; худощавое красивое лицо было светло-коричневым, улыбка открывала белые ровные зубы вставных челюстей. Как и остальные, он был в собственной одежде, но его ярко-зеленая рубаша и брюки выглядели чистыми, немятыми, словно он и здесь тщательно следил за своей внешностью. Это был гангстер с замашками джентльмена, принадлежавший к аристократии преступного мира, — не хулиган, околачивающийся на уличных перекрестках, а завсегдатай бильярдных на Гановер-стрит и Кейлдон-стрит, где под шелканье шаров в табачном дыму планировались крупные кражи и ограбления.

Он занял угол подальше от вонючей параши — длинный, тонкий, самоуверенный и опасный, как лезвие ножа.

С дружеским интересом он задал неизбежный вопрос:

— За что тебя забрали, приятель?

Джордж Адамс задыхался от жары, лоб у него стал мокрым от пота, и, расстегивая рубашку, он ответил:

— За политику. За то, что выступал против правительства.

Безмолвные игроки на мгновение оторвались от карт и поглядели на него с любопытством, а четвертый обитатель камеры засмеялся и, кивнув, сказал:

— А! Соппротивление! Я читал в газетах! — Глаза его вспыхнули, он наклонился вперед. — Боевые ребята. Я слышал, что какие-то парни взорвали склад железно-дорожной компании. Верно? Клевое дело, а?

Джордж Адамс снял брюки, оставшись в майке и трусах. Он ответил осторожно:

— Меня арестовали за организационную работу, ну и еще за разное.

Он провел пальцем по мокрому лбу. Игроки вновь нагнулись над картами. Обшарив свою куртку, Джордж Адамс отыскал смятую пачку сигарет. Их осталось четы-



ре штуки. Расправив пачку, он протянул ее худощавому, но тот покачал головой:

— Побереги для себя, приятель. У меня есть курево. — И, подмигнув, добавил: — Моя маруха меня не забывает.

Увидев, что Джордж Адамс вынул одну сигарету и протянул ее ближайшему игроку, он сказал сердито:

— Ну, чего ты швыряешься куревом? Эти сявки могут сами о себе позаботиться!

— Брось! — ответил Джордж Адамс. — Мы же тут все вместе в этой поганой тюрьме.

Его сосед взял сигарету и улыбнулся Джорджу Адамсу, а тот пояснил:

— На троих, ребята.

— Ладно, мистер, — ответил другой игрок и в знак благодарности приложил палец ко лбу.

Худощавый шелкнул зажигалкой и дал Джорджу Адамсу прикурить. Адамса он считал равным себе, специалистом по преступлениям самого высшего разбора, но игроку протянул зажигалку с брезгливой неохотой. Спрятав зажигалку, он сказал:

— Кстати, друг. Меня зовут Юсеф Ибрагим. А приятели зовут меня Юсеф Турок.

Джордж Адамс назвал себя и, выпустив изо рта спираль табачного дыма, спросил:

— А тебя почему взяли, друг?

Юсеф Турок негромко засмеялся, а потом вдруг нахмурился, выпрямился и поглядел Джорджу Адамсу прямо в глаза.

— Они мне шьют кражу со взломом, гады. — Он покачал головой, и его приглаженные волосы заблестели. — Говорят, будто бы я помогал грабить фабрику. Черт, эти легавые хватают первого, кто им под руку попадется!

— Случается, — ответил Джордж Адамс и посмотрел на клубы дыма, подсинившие спертый, густой воздух. Остальные не обращали на духоту никакого внимания.

Юсеф Турок уставил на него указательный палец и, тыкая им перед собой, продолжал говорить:

— Вот послушай, приятель. Ты же человек знающий, верно? И в законах разбираешься, раз ты работаешь против правительства.

— Не скажу, чтобы очень разбирался, — ответил Джордж Адамс.

— Ну ладно! Слушай, приятель. Стою я около ворот этой фабрики в Солт-Ривер. Стою и ничего не делаю. Ну, может, прогуливаюсь взад-вперед, понимаешь? Кругом никого нет. Только машина стоит неподалеку. А я ничего не делаю. Прогуливаюсь себе и ничего не делаю. Тут из ворот выбегают какие-то парни и тащат что-то — вроде как мешок.

Он замолчал, поскреб под мышкой, вынул руку, поглядел на пойманное насекомое и раздавил его об стену. Один из игроков встал и направился к параше.

— Ну ладно, — продолжал Юсеф Турок. — Значит, выбегают эти парни из ворот с мешком. А тут — раз! — вылетает из-за угла патрульная машина. Прямо на двух колесах повернули, до того торопились. Нет, ты послушай. Эти два парня бросают мешок и дают винта по улице...

Снаружи донесся лязг закрываемой калитки и тяжелый стук сапог по бетонному полу. Юсеф Турок сделал Джорджу Адамсу знак спрятать сигарету, а картежники опять убрали карты и растянулись на одеялах.

Ночной дежурный, покашливая, переходил от двери к двери. Крышка глазка в их двери поднялась, и Джордж Адамс увидел уставившийся на них глаз надзирателя. Затем глаз исчез и крышечка опустилась на место. Они прислушались: шаги удалялись, стихли, потом раздались снова — уже на железной лестнице, которая вела на галерею второго этажа.

Один из игроков сказал:

— Скоро отбой. Я больше не играю.

— Ладно, — согласился его товарищ. — Можно и лечь.

Юсеф Турок проворчал:

— Всегда подсматривают да подглядывают! — и вернулся к своей истории: — Ну, значит, бегут эти парни по улице, а я стою себе и знать ничего не знаю. А что, по-твоему, делают легавые? — Худой палец пронзил сизый воздух. — Останавливают машину, вылезают и хватают меня! — Он злобно фыркнул. — Как тебе это нравится? Что я сделал? Стоял там — и все.

Джордж Адамс пожал плечами.

— Расскажи это своему адвокату.

— А ну их, адвокатов! — кисло отозвался Юсеф Турок. — Я и сам сумею сказать речь. Клянусь аллахом, я стоял перед фабрикой и ничего не делал, а теперь вот

сизу здесь за кражу со взломом! — Он покачал головой, встал, взял кружку и пошел к бачку. — По-твоему, это справедливо? Нет, ты скажи: по-твоему, это справедливо?

— Что-то патруль слишком быстро явился, — заметил Джордж Адамс.

Юсеф Турок выпил полную кружку, вернулся в свой угол, разлегся на одеяле и ухмыльнулся до ушей.

— А мы сторожа плохо связали. Ну и, пока мы возились на фабрике, он позвонил в полицию. Эге, вот и отбой, пора спать.

## 6

Задний бампер старого автомобиля совсем разболтался и все время погромыхивал. Джорджу Адамсу, который сидел рядом с Джефферсоном Мполо, этот звук напомнил лязг машин в заводском цеху, где он одно время работал. Джефферсон вел машину уверенно и спокойно, внимательно глядя сквозь запыленное ветровое стекло. Обивка сиденья была продрана, и пружина впивалась Джорджу Адамсу в бедро. Они ехали по тихой улице мимо освещенных домов с верандами, мимо садовых оград и фонарей, бросавших на асфальт тротуаров размытые пятна желтого света.

— Далеко еще, Джордж? — спросил Джефферсон.

— Поезжай прямо, — сказал Адамс. — Скоро надо будет повернуть направо. Я скажу где.

Джефферсон икнул и сказал:

— Переел за ужином рыбы. Ужасно пить хочется.

— Как, по-твоему, у них уже все готово? — спросил Адамс. — Нам незачем торчать там зря.

— Если не готово, я с ними поговорю! — ответил Джефферсон. — Мне надо вернуться домой пораньше. Лина прихворнула.

— Ты вызвал врача?

— Нет. Она немного простудилась. Выздоровеет и так.

Они все еще ехали мимо аккуратных особнячков. В садах росли высокие пальмы, стены были увиты диким виноградом, веранды щеголяли цветными стеклами. Джордж Адамс поглядывал по сторонам и думал о людях, которые жили здесь, — это была преуспевающая верхушка той части общества, к которой принадлежал

он: врачи, юристы, мелкие чиновники и предприниматели, дельцы средней руки и те, кто всю жизнь терзались из-за того, что не родились еще чуть-чуть светлее — ведь тогда они могли бы сойти за белых. Он сказал весело:

— Во всяком случае, фараоны тут не рыщут.

— Такие тут почтенные люди проживают, э? — отозвался Джефферсон.

— Вот увидишь, правительство скоро объявит этот район белым, и беднякам придется убраться отсюда. — Адамс поглядел сквозь желтоватое ветровое стекло и сказал: — Второй поворот направо, Джефф. Вон у того дома с высокой верандой.

Загромыхав, они свернули в поперечную улицу, и Джордж Адамс заметил:

— Хорошая конспирация! Эта колымага и покойника разбудит.

— Ну, ты не очень-то! — засмеялся Джефферсон. — У нас в резервации это «роллс-ройс». Я же капиталист!

— А кто тебя знает! — Адамс тоже засмеялся. — Остановись-ка тут. Дальше пойдем пешком.

Старая машина, задребезжав, остановилась, мотор оглушительно чихнул и смолк. Адамс открыл дверцу с большой осторожностью, так как петли были ненадежны, и не стал наступать на старомодную подножку, зная, что она может защемить ногу не хуже капкана. Он с силой захлопнул дверцу, чтобы она не открылась, и остановился, ожидая Джефферсона.

Ночь была жаркой, но тут, у подножия горы, дул легкий ветерок. Внизу сияли огни города и порта, мачты судов на фоне моря походили на антенны. Город окутывала дымка, пронизанная неоновым светом реклам, и казалось, будто пылают крыши.

— Ну, пошли! — окликнул его Джефферсон.

— Сюда! — ответил Адамс, и они пошли по улице мимо домов за низкими оградами. Из-за освещенных занавесок доносились голоса и смех. Они пересекли еще одну улицу, испещренную круглыми леденцами фонарного света. Джефферсон негромко насвистывал «Станцию Тьюкседо», а Джордж закурил сигарету и швырнул спичку в густой сумрак. Они прошли мимо темной бакалейной лавки, парикмахерской, аптеки. У мясной лавки Джордж Адамс тронул Джефферсона за локоть, и они остановились.

— Тут, — сказал он.

Лавка была погружена в темноту. Джордж Адамс оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли кого-нибудь поблизости, потом постучал в стеклянную дверь.

Джефферсон спросил шепотом:

— Хозяин этой лавки наш?

— Только сочувствующий,—объяснил Адамс.—Иногда помогает нам деньгами.

Он постучал еще раз. Послышалось щелканье отпираемого замка, и дверь чуть-чуть приотворилась.

— Это я — Джордж, — сказал Адамс в щелку. — Со мной Джефф.

— А! Заходите.

Дверь распахнулась, и они вошли в темную лавку. Здесь пахло сырым мясом, опилками и карболкой. Из заднего помещения доносилось ритмичное постукивание.

Джордж Адамс прошел в глубину лавки. Там в стену был вделан большой холодильник, на прилавке стояли весы и касса.

Впустивший их человек сказал:

— Привет, Джефф. Я тебя что-то давно не видел.

— Дела, — ответил Джефферсон. — А как листовки, готовы?

Джордж Адамс открыл дверь рядом с холодильником, и они вошли в небольшую освещенную комнату с покрашенными окнами и опилками на полу. На одной стене висели ножи для разделки туш, рядом стояла со-сисочная машина. В углу виднелась раковина. Возле стола, заваленного пачками готовых листовок, работала множительная машина, за которой наблюдала рыженькая девушка. Ее подбородок был выпачкан чернилами.

— Джордж, Джефф! — радостно сказала она, увидя вошедших. — Я тебя черт знает сколько времени не видела, Джефф.

Джефферсон сказал строго:

— Ты не пришла на прошлое собрание.

— Я никак не могла. Правда. — Она собрала отпечатанные листовки и сложила их. — Ты очень на меня сердит?

— На этот раз я тебя прощаю, — ответил Джефферсон с улыбкой. Он подошел к раковине и напился прямо из-под крана. Вытирая рот, он спросил: — Для нас все готово?

— Вот только свяжем пачки, — ответил мужчина, который впустил их. Он был молод, но уже толст — его

круглый животик нависал над брючным ремнем. Нос у него был крючком, а щеки все в рябинах.

Джордж Адамс повернулся к нему и ткнул его пальцем в живот.

— Черт! Ну и разнесло же тебя, Кассим!

— Ведь правда? — засмеялась девушка. — Я все уговариваю его сесть на диету.

— Никто не уговорит меня есть реже четырех раз в день! — отпарировал Кассим. — Ну, мы их сейчас переведем, и можете отправляться.

Они вместе с Джефферсоном начали перевязывать пачки, а Джордж Адамс взял листовку.

— Неплохо, — сказал он.

— Особенно если учесть, что эта проклятая машина ломается каждые пять минут, — заметила девушка.

Кассим, затягивая веревку, вдруг рассмеялся.

— Большая стена возле рынка вся исписана лозунгами. Я сам видел.

— Да неужто? — притворно удивился Джефферсон. — Кто ж это мог сделать? Как не стыдно марать чужую стену.

Когда несколько пачек было связано, Джордж Адамс сказал:

— Пожалуй, хватит. Шесть тысяч. Надо еще успеть их развезти.

— Счастливики! — сказала девушка. — А мне еще тут нянчиться с этой проклятой машиной бог знает сколько времени!

Кассим снова захохотал:

— Ну, ты же в этом спец! Зачем пошла в секретарши?

Девушка показала ему язык и вытерла тряпкой перепачканные руки.

— Уходи, Кас, не мешай.

Адамс сказал Джефферсону:

— Пригони машину, Джефф. Мы будем ждать тебя у двери.

Они взяли пачки листовок и вслед за Джефферсоном вышли в лавку. Девушка сказала, вновь нагибаясь над своей машиной:

— Желаю удачи, мальчики.

Кассим положил свои пачки на пол и отпер дверь. Когда Джефферсон ушел, Джордж Адамс сказал:

— Молодец мясник, что пустил нас в свою лавку.

— Черт подери! — рассмеялся Кассим. — Он перепугался насмерть, но я его уговорил.

Девушка закрыла внутреннюю дверь, и они остались в полной темноте. Адамс слышал, как пыхтит молодой толстяк, а потом оба они услышали дребезжание подъезжающего автомобиля и визг тормозов.

Вскоре старая машина, дергаясь и подскакивая, уже катила под уклон. Ветер с горы усиливался и бил в разболтанные дверцы.

— Ветер крепчает, — заметил Адамс. — Завтра может быть буря.

— Угу, — рассеянно ответил Джефферсон и спросил: — Ты на сегодня подобрал надежных людей?

— Думаю, да. Только ведь выбирать теперь особенно не приходится. Берешь тех, кто вызовется. Теперь многие опасаются рисковать. Боятся полиции.

— Ну, будем надеяться, что все сойдет удачно.

— Почему ты это сказал? У тебя что-нибудь неладит?

— Нет. Но ведь многих из новых людей мы знаем плохо. Ты же сам сказал, что выбирать теперь не приходится.

Начался район трущоб. Они проехали мимо темного мебельного магазина, бакалейной лавки, кулинарии, закрытого кино — ветер трепал афиши на обветшалых стенах, на которых из-под осыпавшейся штукатурки, точно язвы, проглядывала кирпичная кладка.

Адамс закурил; он ни на минуту не забывал, что на заднем сиденье лежат пачки запрещенных листовок, и на душе у него было беспокойно. Поскорей бы все развезти и отправиться домой! Конечно, он не боится, убеждал он себя, но, когда выполняешь такое задание, всегда бывает немного тревожно.

— Поверни вон там, — сказал он Джефферсону, и тот, отпустив педаль газа, повернул руль. В этой узкой темной улице ветер гнал по мостовой обрывки газет, и они танцевали на черно-сером рябом асфальте, как крохотные привидения.

Джефферсон остановился возле дома, на который ему указал Адамс, и из проулка появился какой-то человек. Он вошел в желтый луч фары, улыбнулся, поднес руку к старой шляпе и нагнулся к дверце, у которой сидел Адамс. У него были седые клочкастые усы, точно спутанные мотки шерсти.

— А, Джордж! — сказал он. — Как дела? Мы уже заждались.

Джордж Адамс перегнулся через спинку, взял две пачки и передал их в окошко усачу.

— Простите, мистер Питерс, что задержал вас так поздно.

— Ничего, Джорджи, ничего. Все в порядке?

— Как будто. Ну, вы знаете, что делать дальше, мистер Питерс.

— Само собой. Можешь на нас положиться. Я пошлю моих трех парней. И еще их двух приятелей.

— Прекрасно. Ну, нам пора.

— Конечно, конечно. Доброй ночи.

Они выехали на магистральное шоссе и начали петлять по пригородам. Было далеко за полночь, когда они наконец развезли почти все пачки.

— Ну, еще две — и конец! — сказал Джордж Адамс.

Теперь они ехали через пустыри по обсаженному деревьями узкому шоссе.

— В конце этой дороги должен ждать один из моих связных, — сообщил Джефферсон. — Будем надеяться, что чертов сын не подведет.

— Он что, может и передумать?

— Новичок, — ответил Джефферсон. — Выполнил пару поручений и работать как будто хочет.

— Я буду уж и тому рад, если никто из этих ребят не бросит свою пачку в первую попавшуюся канаву, — заметил Адамс.

Джефферсон снизил скорость, вглядываясь в темноту впереди. Небо над ними было черно-синим — кусок старой саржи, обсыпанный поддельными алмазами; ветер на пустырях совсем разгулялся и гнул верхушки деревьев. Вдали, словно зубчатая цепь холмов, чернели строящиеся дома.

— Где-то здесь, — сказал Джефферсон и притормозил. В этом месте на шоссе выходила грунтовая дорога, проложенная строительной компанией.

— Ты думаешь, стоит подождать? — спросил Адамс.

Вдруг, прорезав мрак над грунтовой дорогой, перед ними вспыхнули фары. За слепящим сиянием они различали очертания большого автомобиля.

— Это еще что? — спросил Джефферсон, а из темноты вынырнул второй автомобиль и встал поперек шоссе под самым радиатором дряхлой машины.



Появились какие-то люди, они услышали смех. В машину заглядывали лица полицейских в штатском, дверцы распахнулись.

— Да это никак Адамс и Джефферсон? — насмешливо спросил кто-то. — Как поживаешь, Джефферсон? Что это вы, ребята, вздумали кататься в такую пору? К девочкам едете?

Послышался хохот, и другой голос сказал:

— Ладно. Нечего терять время. Посмотрим, что у них там.

— Вытряхивайтесь, товарищи, — хихикнув, командовал первый голос.

Адамс и Джефферсон выбрались из машины в резкий свет фар и полицейских фонарей. Джордж Адамс стоял, засунув руки в карманы куртки. Он узнал нескольких сыщиков службы безопасности. Джефферсон стоял рядом, его широкое темное лицо ничего не выражало. Двое полицейских обыскивали их машину.

Тот, который заговорил первым, сказал, улыбаясь:

— Ну, как ты себя чувствуешь, Джордж? Хорошо?

Джордж Адамс поглядел на него, но ничего не ответил. Его душила бессильная ярость, и руки в карманах сжимались в кулаки.

Второй сыщик насмешливо фыркнул и сказал:

— Джорджовский! Вот твоя настоящая фамилия — Джордж-овский! Вам, сволочам, место в России, а не здесь.

Те, кто обыскивали машину, вылезли из нее на шоссе. У одного в руках были пачки листовок. Обращаясь к высокому грузному человеку с красным лицом и носом, похожим на совиный клюв, он сказал:

— Вот, только это. Больше ничего нет.

— Этим займемся в участке, — сказал краснолицый, который, по-видимому, командовал операцией. Затем, повернувшись к сыщикам, стоящим рядом с Джефферсоном и Адамсом, он распорядился: — Вы поедете с ними, а я за вами.

Любитель шуток жестом велел им снова влезть в машину, указав Джорджу Адамсу на заднее сиденье. Они повиновались, и сыщик, говоривший про Россию, сел рядом с Джеффом. Остальные разошлись по своим машинам, и автомобиль, стоявший поперек шоссе, взревев мотором, развернулся, чтобы указывать Джефферсону дорогу.

— Следуй за ними, Джефф, — приказал сыщик на переднем сиденье.

Все три машины покатили по обсаженному деревьями длинному шоссе. Джефферсон смотрел перед собой, хмурия брови. Джордж Адамс отсел от своего соседа как мог дальше. В нем все еще бушевала ярость, и его сердце словно захлебывалось.

Сыщик на переднем сиденье сказал:

— Что же ты не купишь себе новую машину, Джефф? Эта же вот-вот развалится.

— Пусть выпишет из России, — отозвался сзади его товарищ.

Оба расхохотались, а машина продолжала нестись туда, где в лиловой дымке лежало освещенное фонарями магистральное шоссе.

7

В половине шестого утра из административного корпуса напротив секции предварительного заключения вышел надзиратель и заколотил по железному треугольнику, который был подвешен к сооружению, напоминавшему виселицу.

Еще только начинало светать, и по небу расплывалась серая мгла, растворяя в себе ночную синеву и гася звезды. Поднявшийся ночью ветер замер со вздохом, точно призрак, возвращающийся с зарей в свою могилу, и воздух застыл в неподвижности, сулившей безоблачный день.

Во всех камерах старой тюрьмы слышалось шарканье, ругань, ворчанье, люди толкали друг друга, огрызались, суетились, как муравьи в разворошенном муравейнике. Надо было сложить одеяла и скатать циновки, чтобы освободить пол для уборки. На кухне кухонная команда, вставшая задолго до рассвета, расставляла на высоких четырехэтажных подносах жестяные миски с завтраком — кукурузная каша без всего для небелых, кукурузная каша с сахаром, молоком и куском хлеба для белых.

Джордж Адамс сел, зевнул, провел рукой по лицу и протер глаза. Все его тело затекло и ныло после ночи, проведенной на жесткой циновке. Но это ощущение было ему хорошо знакомо по пробуждениям в камере

полицейского участка, и он не обратил внимания на боль, зная, что она скоро пройдет.

Он встал, натянул брюки и нагнулся зашнуровать башмаки. В спине сильно закололо. Рубашку он решил надеть после умывания. Его соседи свертывали циновки и одеяла, зевали, потягивались, шурили слипающиеся глаза. Из-за двери доносился хаос звуков просыпающейся тюрьмы.

— Ну, как спалось, приятель? — спросил Юсеф Турок, закуривая сигарету.

Он не утруждал себя уборкой — одеяла за него складывали другие, а когда Джордж Адамс сделал движение, чтобы помочь им, Юсеф сказал:

— Брось! Пусть этим занимаются сявки. Они внакладе не останутся.

— Мы же сидим тут все вместе, — возражал Джордж Адамс. — И работать нам тоже следует вместе.

Турок рассмеялся и выпустил к потолку струю дыма.

— Как погляжу, приятель, тебе еще надо многому научиться. Хочешь, чтобы тебе жилось в кичмане легко, так гляди, как это делается.

— Свою работу я буду делать сам, — сказал Джордж Адамс.

Турок снова засмеялся и хлопнул его по плечу:

— Клянусь аллахом, ты еще научишься, приятель! Вот послушай: здесь живут ничего только те, кто умеет устроить так, чтобы за них работали другие, — те, кого все боятся, и еще, пожалуй, те, кто лижет задницу надзирателям. Правда, лизуны обычно кончают плохо.

— Этим я заниматься не собираюсь!

— Вот и правильно! — усмехнулся Юсеф Турок. — Но ты не дрейфь, приятель, Юсси за тобой приглядит.

— Спасибо, мамочка, — с иронией ответил Джордж Адамс.

Тем временем остальные скатали циновки, сложили их у стены, сверху положили одеяла, сели на них и стали ждать, пока отопрут дверь.

Юсеф Турок отошел к параше и, стоя спиной к Адамсу, сказал:

— Вот что: после завтрака попроси у начальника секции циновку и одеяло, слышишь? Два одеяла.

— Ладно, — отозвался Джордж Адамс, садясь рядом с остальными тремя.

— И учти: он первостатейная сволочь. Так что проси повежливей. Такой сволочи поискать, можешь мне поверить.

Джордж Адамс посмотрел на него и нахмурился.

— Повежливей? — спросил он. — То есть как это «повежливей»? Мне же должны выдать одеяла, верно? У меня есть на это право.

— Право! — сказал Турок уже без улыбки. — Ты думаешь, у тебя тут есть какие-то права? Слушай, приятель, тут права есть только у надзирателей. И уж они тебе объяснят, какие такие ты имеешь права.

— Но ведь существуют правила тюремного распорядка!

— Правила? Правила-то есть, но не все правила этим гадам нравятся, понял? Ты попроси у них того, что им не по вкусу, и они тебе покажут правила. — Он угрюмо усмехнулся. — Знаешь, какие порядки в этой тюрьме? Делай что хочешь, только их не беспокой. Не беспокой надзирателей, и тебе будет хорошо. Понял, приятель?

Джордж Адамс подумал, что Юсеф, вероятно, прав, но унижаться он не собирается. Ведь стоит показать, что ты боишься или просто не уверен в себе, и они набросятся на тебя, как стая волков.

— Что ж, посмотрим, — сказал он вслух небрежным тоном.

— Держись за Юсси — и ты не пропадешь, — с усмешкой сказал его собеседник.

Джордж Адамс закурил свою последнюю сигарету. Он несколько раз затянулся, потом предложил сигарету соседу, но тот покачал головой.

— Кури-кури! Это же твоя последняя. А мы достанем.

— Моя маруха должна бы принести сегодня передачу, — заметил Юсеф Турок. — Вчера она не приходила. Ну, пусть побережется. А когда тебе в суд?

— Слушание дела отложено на месяц, — ответил Джордж Адамс. — Без права внесения залога.

Турок собирался еще что-то сказать, но тут по дворику затопали сапоги и заскрипели отпираемые двери. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и они все вскочили.

— Выходи! — кричал надзиратель. — На поверку!

Дворик секции в сером свете занимающегося утра заполнился заключенными — многие выскакивали нагишом и торопливо натягивали одежду, а по железной лестнице со второго этажа спускались все новые и новые люди. Нестройный шум приглушенных разговоров прорезали резкие выкрики:

— Стройся! Стройся!

Ночные надзиратели, торопясь сдать дежурство, помогали построить заключенных для поверки.

— Стройся по четверо! — кричали надзиратели, тыча дубинками и хлеща ремешками дубинок по спинам и головам. — Живее, живее!

Заключенные, одеваясь на ходу, нагибаясь за уроненными башмаками, вырывая свои вещи из чьих-то вороватых рук, не переставая ворчать и ругаться, строились у стены в колонну по четверо.

— Стройся по четверо! Стройся по четверо! — взвизнул голос, точно лопнувшая гитарная струна.

Это кричал коротышка Солли, передразнивая надзирателей. Он прыгал, подталкивал своих соседей к стене, и его длинная рваная рубаха взметывалась, открывая потрепанные шорты, — казалось, прыгает и машет руками-палками ожившее на ветру огородное пугало.

— Стройся по четверо! Стройся по четверо!

Надзиратель хлестнул его ремешком дубинки.

— Чего дурака валяешь? Это тебе что, цирк?

Солли захохотал, его лицо сморщилось, как лежалый гранат, и, расталкивая строящихся людей, он пробрался туда, где стоял Мясник. Привалившись к стене, великан горбил огромные плечи, как неандерталец, маленькие кабаньи глазки были налиты тупой злобой. Он поглядел на Солли с высоты своего роста и усмехнулся, показав гнилые зубы.

— Чего тебе здесь надо? — проворчал он.

— Мясник! С добрым утром! — зачастил коротышка. — Тебе ничего не нужно, приятель? Башмаки, рубашку? — Он угодливо заглядывал в лицо великана, рассчитывая, что тот примет его в число своих прихвостней. — Я могу снять рубашку с кого захочешь, друг! Хочешь сигарет? Какао?

— Почему ты не внес залога и не убрался отсюда? — Кабаньи глазки свирепо уставились на Солли.

— Зачем зря тратить деньги? — захихикал коротышка. — И я ведь тут не просто так. — Он подмигнул. — Думаю повернуть одно дельце! — Это было не хвастовство, это была просьба о доверии, фальшивая рекомендация, которая могла открыть ему доступ в избранный круг.

— Пшел ты! — сказал Мясник. Ладонь, широкая, как лопасть весла, небрежно опустилась, и Солли полетел кувырком, цепляясь за ноги людей, стоявших рядом. Строй заколыхался, нарушился, смешался, и туда с криком ринулся надзиратель.

Солли кое-как выбрался из чащи переминающихся ног, но тут кто-то, не глядя, дал ему пинка, и он взвился с визгливым воплем:

— Это какой гад тут пинается? Только скажите мне! Только скажите!

Надзиратель схватил его за шиворот и тычком поставил в ряд, рыча:

— Неприятностей захотел, сукин сын? Только скажи мне, и получишь свое!

Солли униженно хныкал:

— Баас! Баас!

Смятые ряды снова выровнялись, все смолкли, и надзиратели пошли вдоль колонны, отсчитывая четверки. Когда счет был закончен и надзиратели убедились, что все на месте, колонна медленно поползла к решетке, отгораживавшей дворик.

Все звезды уже погасли, молочно-белое небо начинало голубеть — всходило солнце, которого никто из них не увидит до полудня, когда оно окажется в зените. По кирпичам и бетону стен разливался яркий свет, и высокая решетка начала отбрасывать полосатый узор параллельных теней.

Появились двое каторжников из кухонной команды. Они тащили многоярусные подносы, уставленные мисками с кашей. Пока отпирали решетку, носильщики переступали с ноги на ногу, чтобы облегчить тяжесть, оттягивающую руки. Едва калитка открылась, они вбежали во дворик секции, поставили свою ношу на бетонный пол, и заключенные двинулись строем мимо, разбирая миски.

В эту минуту в большой двор вошел писарь и, оставившись у решетки, начал вызывать тех, кому пред-

стояло ехать в суд. Ряды заключенных возмущенно всколыхнулись.

— Да мы же еще не жрали! — крикнул кто-то.

— Без завтрака не поедем!

— Они не имеют права!

Начальник секции обернулся и рявкнул:

— Молчать! Заткните свои паршивые пасти! Это вам что, кино? — Потом, обращаясь к писарю, спросил: — А в чем дело? Сейчас ведь завтрак.

Писарь пожал плечами.

— Мне велено вызвать тех, кому сегодня ехать в суд. Фургон уже ждет.

— Кабак, а не тюрьма! — покачал головой надзиратель и повернулся к заключенным: — Ладно! Те, кого вызвали, берите миски, остальные стойте на месте.

Вызванные выходили с мисками за калитку и, присаживаясь на корточки с той стороны решетки, принимались быстро есть. Потом строй опять двинулся вперед, разбирая миски с белой кашей. Получившие завтрак рассаживались у стены, захватывали пальцами липкие комья и отправляли их в рот.

— Э, приятель, одолжил бы ты мне сахарку!

— А пошел ты знаешь куда! Ты что, сахару купить не можешь?

— Я все спустил на курево. Возьми чинарик за щепотку.

— Свины — и те лучше едят. Белым-то дают и сахар и молоко. А нас кормят дерьмом.

— Бобы да кукуруза. Кукуруза да бобы. Это поганое правительство ничего другого нам не дает.

— Ну, еще два раза в неделю шматок мяса с указательный палец в обед.

— Некоторые обходятся. У них есть деньги покупать консервы — говядину или там сардинки...

— Сардинки! Слушай, приятель, тут, значит, ничего не дают, кроме бобов и кукурузы. Так что же делает моя старуха? Приносит мне каждый день сардинки! Каждый день паршивые сардинки. Вот и выбирай, приятель: кашу или сардинки. Ей-богу, каша мне поперек глотки встает, но уж сардинки!..

— Э-эй! Полегче с сахаром. Его еще надо на два дня растянуть!

— В следующий раз возьму банку компота.

— Джем держится дольше, приятель.

— Иди ты! Джем вскроешь, а сразу все не съешь, верно? Ну и всякая грязь в банку набивается. А компот так сразу умнешь, верно? Ну и для живота полезно.

— Верно. От этой вонючей каши и бобов кишки заворачивает.

— Больно уж вы разборчивы. Чего вы ждали? Ресторанных разносолов? А по мне, кукурузная каша — еда в самый раз.

— Ну, конечно. Другого-то вы на фермах ничего не нюхаете!

— Дай чуток сгущенки, приятель!

— А пошел ты! Что я, миллионер, что ли?

Джордж Адамс сидел, прислонившись к стене. Он только попробовал кукурузное месиво и с отвращением опустил миску. Выбор не велик, подумал он: либо ешь эту дрянь, либо ходи голодный. Разве что с воли передадут какую-нибудь еду. Комитет, наверно, об этом позаботится, решил он. К тому же необходимо вымыться — кто знает, будет ли на это время после завтрака.

Он уже хотел отставить миску, стесняясь предложить кому-нибудь свои объедки, но тут в его локоть вцепилась рука, похожая на высохший корень, и, обернувшись, он увидел перед собой сморщенное, ухмыляющееся лицо и исчерченную рубцами макушку с крутыми завитками волос.

— Приятель! — завопил Солли. — Ты что, собираешься ее выбросить?

— Я не хочу есть, — ответил Джордж Адамс.

— Ну так отдай мне, приятель. Бережливость нужду гонит, как говорится.

— Бери, приятель.

— Спасибо.

— Э-эй, Солли! — крикнул кто-то. — Ты ведь уже умял три миски.

— А тебе завидно? — прокудахтал коротышка, поспешно глотая кашу.

— Черт, куда ты только все это упихиваешь, Солли?

Коротышка похлопал себя по животу под широкой рубахой и снова закудахтал. Потом сказал, обращаясь к Джорджу Адамсу:

— Вот дурачье! У нас-то с тобой башка варит, верно? — Он постучал себя по лбу костлявым скрюченным пальцем. — У нас с тобой башка варит, приятель. — Он подмигнул и ухмыльнулся, обнажив беззубые десны. —



Они думают, что Солли так, мелочь. Но мы-то знаем, что и как, верно?

— Верно, верно, друг, — ответил Джордж Адамс.

— Он чокнутый. Ну, малахольный, — объяснил кто-то.

— Слушайте вы, дураки! — заверещал Солли и, проглотив очередную порцию каши, добавил: — Что вы понимаете-то? Старый Солли знает и умеет побольше вас, мелкота. Вот погодите! И эти белые тоже кое-чего увидят, — закончил он вполголоса.

— А что ты сделаешь, Солли? — ехидно спросил сосед. — Устроишь побег?

Солли испустил кукарекающий смехок.

— Побег? А на кой мне бежать, если мне и так больше двадцати дней не дадут или вовсе оправдают? Кормежка три раза в день, бесплатный стол и квартира — что я, дурной, чтобы бегать? — Он закудаhtал и снова принялся за кашу.

Джордж Адамс хлопал его по плечу, встал и, выбравшись из лабиринта скорчившихся тел, опрокинутых мисок и терпкого запаха пота, прошел по залитому электрически-желтым солнечным светом дворику к душевой.

Открытая душевая помещалась под галереей второго этажа. Вдоль одной стенки тянулись потрескавшиеся раковины умывальников, а вдоль другой — души.

Голый паренек с курчавыми волосами, остреньким мышинным лицом и вытатуированным на правой руке словом «святой» вытирался обрывком полотенца. Он поднял голову и подмигнул Джорджу Адамсу.

— Ну как, папаша?

— Ничего, — ответил Джордж Адамс, начиная расстегивать брюки. Он торопился, опасаясь, что завтрак вот-вот кончится.

Паренек улыбнулся и, волоча за собой одежду, голым выскочил во двор.

Джордж Адамс встал под душ и поежился под колючими ледяными струйками. Потом начал энергично тереть кожу ладонями.

Надо что-то придумать с бритьем, решил он. Ему вовсе не хотелось отращивать бороду. Не пробыл он под душем и минуты, как раздался голос надзирателя:

— Все, кто поступили вчера, — во двор!

Господи, это еще зачем? Он слышал, как нетерпеливо ругается надзиратель, и, кое-как вытеревшись, быстро

натянул брюки. Новички уже выходили за калитку, а Джордж Адамс надевал башмаки, раздраженно проклиная надзирателя, тюрьму — всю страну, которая была одной большой каменной тюрьмой.

К калитке он подошел последним, и надзиратель, который стоял там, пересчитывая выходящих, впериł в него глаза — холодные, темные и злые, как зимняя полночь.

— Ты что, спать сюда явился?

Джордж Адамс прошел мимо, не взглянув на него, и мысленно снова его выругал.

9

Теперь их выстроили у стены в большом дворе под присмотром темнокожего надзирателя в старом тропическом шлеме. Солнце ласково касалось их кожи, точно теплая женская рука. Но Джордж Адамс подумал: «Поставили к стенке!» Глядя прямо перед собой, он спросил у соседа:

— Зачем нас сюда вывели, приятель!

— Врачебный осмотр. Толку от него!

Слова вылетали изо рта говорившего, точно он их выплевывал, и, повернувшись, Джордж Адамс узнал Альберта Марча, Малыша Касбу, юношу, которого обвиняли в убийстве. С маленького худого лица трущобного подростка, который старательно отращивает пушок на верхней губе, чтобы походить на взрослого, смотрели равнодушные глаза-камушки, полуприкрытые тяжелыми веками. Джордж Адамс заметил, что рот у него разбит, верхняя губа распухла и посинела.

— Как ты, приятель? — не шевеля губами, спросил Джордж Адамс тем беззвучным шепотом, который сам собой появлялся у заключенных в присутствии начальства.

— Ничего. — Это был не столько ответ, сколько явное нежелание вступать в общение, Джордж Адамс почти увидел, как невидимая броня одела этого юношу, неприступного, точно риф среди бурунов.

— Что у тебя с губой?

— Так.

— Покажешь врачу?

— Обойдусь.

Джордж Адамс тщетно пытался заставить Малыша Касбу разговориться — с тем же успехом он мог бы попытаться вскрыть сейф алюминиевой ложкой. Он хотел было попробовать еще раз, но тут младший надзиратель резко спросил:

— Эй, вы! Больные есть?

Из-под арки, ведущей в соседний дворик, вышел врач. Он был в гражданской одежде, цвет его волос напоминал посеревший от воды песок, в руке он нес стетоскоп, помахивая им, как хлыстом. Никто из заключенных не вышел вперед.

Надзиратель отдал честь и сказал:

— Доброе утро, доктор. Тут все здоровы.

Врач кивнул, взгляд его водянистых, опухших глаз скользнул по шеренге заключенных. Он снова кивнул и прошел мимо них в следующую секцию.

— Вот нас и осмотрели, — насмешливо сказал кто-то, а когда надзиратель прикрикнул на них, тот же человек добавил нагло: — Ладно, ладно, корпи (так называли надзирателей из цветных), мы же тут все темнокожие.

Надзиратель выпучил глаза, и несколько секунд его губы подергивались, словно ползущие гусеницы, но потом его лицо снова застыло и он отрывисто скомандовал:

— Молчать! Идите назад!

Во дворике их секции шла уборка: заключенные плескали на пол воду из ведер, которые наполняли под краном в дальнем углу, энергично терли бетон швабрами, превращая работу в игру, мыли жестяные миски и составляли их у решетки. Недоеденная каша была свалена в бачки для отправки на свиноводческие фермы.

Возле бачков крутилась, мурлыча, тюремная кошка, гладкая, с лоснящейся от сытости шерстью. Задрав пушистый хвост, она слизывала розовым язычком рассыпавшиеся комочки каши.

Другие заключенные под надзором старост подметали камеры и опорожняли параши в канализационные шахты во дворе, а начальник секции стоял, почесывая ладонь, возле решетки. Подняв глаза, он увидел перед собой Джорджа Адамса.

— Ну? Чего тебе нужно? — Голос был безразличным, как стук капель, падающих из крана. Надзиратель был грузен, его живот отвисал — казалось, будто он акуратно сшит из туго набитых мешков. Лицо у него бы-

ло круглое, пухлое, налитое здоровым румянцем, как у деда-мороза, только белоснежную бороду заменяли пшеничные усы, но глаза на этом словно бы добродушном лице были белесыми и водянистыми — матовыми, как фальшивый жемчуг, и холодными, как шарики ртути.

— Вчера мне не выдали циновку и одеяла, — сказал Джордж Адамс, смотря прямо в бесцветные глаза.

— Ну?

— Нельзя ли мне получить их сейчас, сэр?

Холодный взгляд стал колючим и зло царапнул Джорджа Адамса.

— Сэр? Ты что, не знаешь, что тут так не говорят? Тут говорят «начальник», понял?

Джордж Адамс продолжал смотреть на пухлое, медленно багровеющее лицо. Надзиратель заложил большие пальцы — толстые и розовые — за пояс и легонько постукивал остальными по лакированной коже. Под тугими складками шеи что-то задергалось, точно придавленный червяк, но глаза не изменили выражения.

— Ты слышал, что я сказал?

— Да, сэр, слышал, — ответил Джордж Адамс, а в голове у него промелькнуло: неужели из-за такого пустяка этот тип полезет в бутылку?

Но злые глаза задержались на его лице только секунду, а потом надзиратель отвернулся и позвал заключенного, приставленного к складу. Тот подбежал с испуганным и заискивающим видом. Надзиратель рявкнул:

— Принеси два одеяла и циновку для этого парня. И не очень выбирай. А ты, — повернулся он опять к Джорджу Адамсу, — поменьше умничай. Если будешь умничать, заработаешь неприятности. — Он замолчал, а потом, словно передумав, добавил: — Ну-ка, дай твою карточку.

Джордж Адамс достал из кармана голубую карточку. Он вдруг заметил, что вокруг него возникло кольцо тишины. Эта тишина медленно растекалась во все стороны, как лужица пролитой патоки; те, кто носили воду, поставили ведра, те, кто терли пол, оперлись на швабры — все напряженно ждали, что будет дальше. С надзирателями не спорят, а Джордж Адамс позволил себе настоять на своем, пусть даже в мелочи, и все ждали, когда разразится буря начальственного гнева.

Надзиратель взял карточку и уставился на нее тусклыми серебристыми глазами.

— Участие в нелегальной организации, э? Значит, ты из этих! Вы, коммунисты, только и думаете, где бы устроить беспорядки. Ну ладно, молодчик, буду иметь тебя в виду. Так что поберегись. — Пухлое лицо было неподвижно, точно маска, двигались только губы под пшеничными усами. Он вернул карточку Джорджу Адамсу.

Посланный на склад вернулся и бросил циновку и одеяла перед Джорджем Адамсом на влажный бетон. Джордж Адамс смерил его взглядом и спросил холодно:

— Тебе обязательно было бросать их в лужу?

Тот нервно хихикнул и отвел глаза, а надзиратель рывкнул над самым ухом Джорджа Адамса:

— А ну, бери одеяла и убирайся, не то будет худо!

Джордж Адамс похолодел, хотя солнце все сильнее припекало ему спину и затылок. Сердце бешено застучало о ребра. Он не поглядел на надзирателя, а нагнулся и поднял свою будущую постель. Он не поглядел на надзирателя и ничего не сказал, а понес одеяла и циновку к себе в камеру мимо других заключенных — мимо злобных лиц и подлых лиц, мимо молодых лиц и морщинистых лиц, мимо отупевших лиц и упрямых лиц, и внезапно у него легло на душе — и он весело им подмигнул, а безмолвные люди смотрели на него с любопытством и некоторые улыбались ему и подмигивали в ответ.

А позади него надзиратель поглядел на Мясника, человека-зверя, который стоял, лениво привалясь к каменной стене. Надзиратель улыбнулся зимней улыбкой и сказал:

— Он из этих, из умников. Напрашивается на неприятность.

Мясник почесал могучие плечи о стену, ухмыльнулся и сказал:

— Да, начальник, он напрашивается на неприятность. Этот умник.

10

Когда Джордж Адамс снова вышел из камеры, остальные заключенные сидели рядами в тени у противоположной стены. Официально это считалось прогулкой, но под тем или другим предлогом заключенных заставляли все это время сидеть — до самого обеда. Только некоторые из тюремных аристократов, присваивая себе сом-

нительную привилегию, стояли в дверях камер, курили и воплолоса переговаривались.

Вскоре во дворе опять появился писарь и начал выкрикивать фамилии по списку, который держал в руке. Заключенные один за другим поднимались и выходили через калитку. Джордж Адамс услышал свою фамилию и пошел за ними, застегивая только что надетую рубашу. Он не столько видел, сколько чувствовал, что белесые глазки толстого надзирателя злобно сверлят его, а губы под пшеничными усами расходятся узкой трещиной, означающей улыбку.

С легким торжеством Джордж Адамс подумал: «Этим надутым хамам не нравится, когда им возражают. Наверняка для Жирного я самая главная заноза».

Надзиратель построил их и повел мимо административного корпуса и секции предварительного заключения для белых, где ее обитатели, почти все в шортах или плавках, грелись на солнце и болтали со своим надзирателем. Их было гораздо меньше, чем заключенных в цветной секции.

Затем они прошли под аркой в другой двор, между белой каторжной секцией и небольшими корпусами, в которых помещались аптека, больница, склады и кухня для персонала. В углу двора за проволоочной сеткой сидели белые каторжники в тюремной одежде, защитных очках и толстых рукавицах — они дробили камни, привезенные из карьера.

Колонна заключенных приблизилась к внешней стене тюрьмы. Там высокая стальная решетка, оплетенная поверху колючей проволокой, отгораживала дверь в стене. От заключенных эту дверь заслонял тамбур, так что только дежурный надзиратель с пистолетом на боку и два помогавших ему тюремных старосты видели входящих.

Провожатый собрал и протянул надзирателю у двери их карточки. Немного погодя тот начал вызывать заключенных по одному и выдавать им передачи.

Джорджу Адамсу был вручен бумажный пакет с банкой мясных консервов, пачкой какао, пятьюдесятью сигаретами, куском туалетного мыла и тюбиком зубной пасты. Он очень обрадовался, хотя и не знал, кому был этим обязан — своей квартирной хозяйке или комитету.

Конечно, в день, когда ему будет разрешено свидание, все выяснится, но он остался должен квартирной

хозяйке за две недели, и, скорее всего, она сидит без денег, а может быть, и слишком зла на него, чтобы тратить-ся на передачи.

Тюремные старосты перед тамбуром взрезали хлебные буханки по всей длине, проверяя, не спрятано ли в них что-нибудь, а потом передавали их по назначению. Когда последний из вызванных получил свою передачу, провожатый повел их назад в цветную секцию — одни несли полученные продукты в руках, другие рассовали их по карманам. Джордж Адамс спрятал плоскую коробку с сигаретами в нагрудный карман, а остальное тщательно уложил в пакет.

Он уже подходил к своей камере, когда на его плечо небрежно опустилась тяжелая ладонь, в затылок ударило горячее дыхание и густой хриплый бас просипел:

— Как делишки, приятель? Да ты никак что-то нам несешь!

Джордж Адамс повернулся, взглянул вверх и увидел совсем близко налитые кровью гориллы глаза на шишковатом, заросшем щетиной лице, вздутые красные губы, которые, растянувшись в усмешке, открывали гнилые зеленоватые зубы, точно покрытые мхом могильные памятники на заброшенном кладбище.

— Ты нам что-то принес, а, приятель?

В лицо Джорджа Адамса било вонючее дыхание, вызывавшее в памяти зловоние опрокинутых мусорных баков в подворотнях трущобных домов и запах параш в душных камерах. Он сказал сдержанно:

— Родственники мне кое-что прислали.

— Ишь ты! — просипел Мясник, и Джордж Адамс почувствовал, что огромная лапа сжала его плечо, как тисками. Он замер, выжидая, что последует дальше.

— Ну-ка, приятель, покажь, что у тебя тут есть для нас в этом мешочке!

Вокруг медленно затихли разговоры, сидящие на корточках люди теперь смотрели только на них, и напряжение вибрировало в воздухе, точно перенатянута струна арфы. Кто-то вдруг хихикнул, этот звук в наэлектризованной тишине обрел неожиданную резкость, словно разбилась брошенная с размаху тарелка, и Джордж Адамс, яростно уставившись в налитые кровью глазки, закричал:

— А ну, убери свою поганую руку!

Из груди зрителей вырвался вздох, и они вытянули шеи, предвкушая избиение. Надзиратель по-прежнему стоял у решетки. Он не сделал ни шагу в их сторону, и Джордж Адамс понял, что надзиратель решил таким способом рассчитаться с ним за дерзость и что ждать от него помощи нечего.

Джордж Адамс почувствовал, что губы у него дергаются от бешенства и что его плечо немеет в цепкой хватке железных пальцев. Сиплый насмешливый голос спросил с притворным любопытством:

— Ты что-то сказал, приятель?

— Убери свою поганую руку! — повторил Джордж Адамс еще громче, чтобы его услышали все во дворике, а в голове у него крутилась мысль: он же может сломать твою шею, как спичку, так чего ты лезешь на рожон?

— Ах, вот что? — засмеялся сиплый голос, и круглая массивная голова повернулась к кучке прихвостней, которые стояли у двери камеры и ухмылялись до ушей, — даже лицо Малыша Касбы, угрюмо державшегося возле них, оскалилось неохотной усмешкой.

— Эта гнида еще разговаривает! — сообщил им Мясник с хриплым гоготом. — Любит спорить с теми, кто получше его, умник.

Гнусная физиономия снова надвинулась на Джорджа Адамса. Глубоко посаженные гориллы глазки пошарили и обнаружили очертания коробки в нагрудном кармане жертвы.

— Дай-ка поглядеть! Никак курево? Что ж, если это мои любимые, костей я тебе, пожалуй, не переломаю.

Вторая ручища потянулась к карману, и Джордж Адамс увидел татуировку, узловатые бугры мышц и толстые пальцы с полумесяцами грязи под ногтями.

— А ну, давай сюда сигареты и все остальное.

Джордж Адамс подумал: «Ударю его ногой в пах, а там будь что будет. Возможно, для меня дело кончится больницей». Он чуть-чуть отодвинул ногу, ничем не выдав своего намерения. Его руки перехватили мешочек, чтобы бросить его в тот момент, когда колено рванется вперед.

И тут раздался новый, веселый голос:

— Ты что, сбрендил, Мясник? Лезешь к порядочным людям.

И Мясник и Джордж Адамс узнали этот голос и обернулись туда, где вдруг возникла высокая, узкая и



гибкая, как лезвие ножа, фигура Юсефа Турка. Красивая голова с приглаженными волосами была наклонена набок, а на смуглом лице сияла белозубая улыбка.

— Турок! — сказал Мясник, не выпуская плеча Джорджа Адамса. — Не лезь не в свое дело, Турок. Тут тебе делать нечего.

— А почему, Мясник? — спокойно спросил Юсеф Турок. — Нам всем тут делать нечего, в этом кичмане. Разве не так?

— Ты знаешь, о чем я. У меня с этим парнем особое дельце.

— Дельце! — засмеялся Турок. — Это ведь хорошие люди, Мясник. Не твоего поля ягоды. И даже не моего. Ты этого парня знаешь? Нет? — Веселый голос внезапно изменился, и Турок закончил с угрозой: — Ну-ка отпусти его.

Мясник не шевельнулся, только красноватые глазки глубже ушли в грязные складки кожи, выглядывая из-под полуопущенных век, точно хищные твари в засаде.

— Турок, я тебя по-честному предупреждаю. — Сиплый голос был пропитан злобой.

Среди зрителей прошло движение, дружки Мясника — Тормозной Питерсон, Косой Самуэлс, Розовый, Моос и остальные — выпрямились и инстинктивно подвинулись поближе к полю сражения. Малыш Касба быстро облизнул разбитую губу, не спуская глаз с Мясника, и его пальцы сжали в кармане консервный ключ.

Но Юсеф Турок даже не посмотрел на них.

— Мясник, ты тут, кажется, считаешь себя главным, так?

— Ну и что?

— Командуешь сявками?

— Ну и что?

— А то, что этот парень — мой друг, понял? Не вяжись к нему.

Мясник дохнул на него гнилью и покачал головой.

— Турок! — сказал он. — Мне тебя жалко, Турок. Ты что-то начал задиаться, Турок, и я, пожалуй, этим займусь.

— Когда хочешь, Мясник.

— Может, как-нибудь переночуешь в моей камере?

Юсеф Турок улыбнулся опасной улыбкой:

— А почему бы и нет?

— Значит, договорились.

Джордж Адамс сказал Турку:

— Брось, Юсеф.

— Ладно, приятель, — ответил тот. — А теперь, может быть, Мясник отпустит твое плечо?

Крохотные глазки впились в лицо Турка, который только улыбнулся, но тут залязгал железный треугольник в наружном дворе и раздался крик надзирателя:

— Стройся! Стройся!

Сидящие заключенные повскакивали, напряжение рассеялось, и Мясник снял руку с плеча Джорджа Адамса.

— Мы еще об этом потолкуем, Турок, — сказал он. И Юсеф Турок усмехнулся.

## 11

На этот раз предстоял обход начальника тюрьмы. Их построили в четыре ряда — тех, кто пониже, в передние ряды, а кто повыше — в задние, и каждый держал в руке свою голубую карточку так, чтобы начальник тюрьмы мог прочесть, как зовут того, с кем ему вздумалось бы заговорить. Начальник секции расхаживал вдоль рядов, похлопывая себя по сапогу ремешком дубинки, и его глаза были холодными, как утренний иней, и такими же белесыми.

Он подозрительно спросил:

— Жалобы есть?

А когда никто ничего не ответил и не шевельнулся, он вновь прошел вдоль рядов к калитке, приговаривая:

— Шапки снять! Шапки!

Завидев начальника тюрьмы, он поспешно отпер калитку, старательно вытянулся, отдал честь и доложил:

— Секция предварительного заключения, двести шестьдесят девять человек. Все в полном порядке, господин майор.

Начальник тюрьмы ответил на его приветствие взмахом трости и в сопровождении надзирателя прошел вдоль рядов. Он был очень высок, очень худ и очень костляв — узловатые суставы придавали ему сходство с фигурой, вырезанной из сучковатой палки. Заключенные прозвали его «майор Жердь». Лицо у него было сухое и прозрач-

ное, точно смятый листок розовой папиросной бумаги с двумя дырками глаз и горизонтальной складкой рта.

Он прошел мимо заключенных, заглянул в душевую и крикнул. По-видимому, удовлетворенный осмотром, он направился назад к калитке, которую начальник секции услужливо распахнул перед ним.

Едва он скрылся из виду, как все заговорили и встали поудобнее.

— Старик только выругался. Нынче он в хорошем настроении.

— Еще бы — ведь сегодня обед без мяса. Он всегда злится, когда приходится расходовать казенное мясо.

— Ну, Жирный сегодня сосчитал и не ошибся. Что это с ним?

— А я и не знал, что он умеет считать! Ха-ха-ха!

Джордж Адамс растирал плечо, онемевшее от хватки Мясника. Плечо ныло, и он подумал: «Скотина! Надо было садануть его коленом!» Все это время он косился на дверь камеры, опасаясь, что кто-нибудь попытается украсть его припасы. Банку мясных консервов он решил разделить между всеми своими товарищами по камере. Можно угостить их и какао, только пить его придется холодным — горячую воду, кажется, дают только к завтраку.

Толстяк надзиратель уже выкрикивал свое: «Стройся! Стройся! Стройся!», и все двинулись к решетке, разбирая миски с обедом. Самые сильные проталкивались вперед, чтобы съесть свою порцию бобов с рисом, пока еще не совсем остынет. Обед приносили почти сразу после завтрака. В три тридцать приносили ужин, и заключенных запирали в камерах до утра.

Получив наконец свою миску, Джордж Адамс отыскал Турка и сел рядом с ним.

Юсеф жевал бобы с рисом без всякого удовольствия. Он подмигнул Джорджу Адамсу и сказал между глотками:

— Ну как, Профессор?

— Все в порядке, — ответил Джордж Адамс, пробуя полусырое месиво. — Фу, дрянь!

— Есть немного. Он тебе плечо не вывихнул?

— Нет. Только сдавил очень. — Прожевав бобы, Джордж Адамс добавил: — А чего ты вмешался?

Юсеф Турок подмигнул:

— А ты что, недоволен? Он бы мог тебе руку с корнем вырвать! Ничего не скажешь — силач.

— Я-то доволен. Но ведь теперь он озлобился на тебя. — Джордж Адамс посмотрел туда, где в окружении своих дружков обедал Мясник. — А ты против него все-таки не потянешь, Юсси.

— Юсси сумеет о себе позаботиться. А вот ты держись от него подальше, Профессор. Он не твоей весовой категории.

— Не моей? Но ведь ты вешишь меньше меня!

Юсеф Турок выплюнул боб и выругался:

— Это просто камни, а не бобы!

— Нет, а почему ты все-таки вмешался? — снова спросил Джордж Адамс. — Ты же говорил, что тут каждый сам за себя.

— Да. Блатные, вроде меня и Мясника, и все эти подонки! — Он засмеялся. — А о парнях вроде тебя мы должны заботиться!

— Спасибо, — ответил Джордж Адамс. — Но ведь Мясник тебя убьет. Он тебе пригрозил, и ты ему пригрозил, и ему поздно идти на попятный.

— Не беспокойся, Профессор. Убить он меня не убьет. Может, я попаду в больницу, но там человек спит в кровати и обходятся с ним лучше, чем тут.

Стайка голубей опустилась на карниз второго этажа. Джордж Адамс отставил миску — он не мог больше жевать сухие бобы. К тому же он все время помнил про свою банку мясных консервов. Он сказал:

— Хороший способ добиться, чтобы с тобой обходились лучше!

— Послушай, друг, — с усмешкой отозвался Юсеф Турок. — Вот каторжники в каменоломнях. Скажем, кончается у них терпение, так они подрезают себе пяточное сухожилие, только бы оттуда выбраться. Или бросаются с кулаками на надзирателя, чтобы попасть в одиночку до нового суда. А все, чтобы получить передышку.

— Да, я про это слышал.

— Ну так и не беспокойся за Юсси. Если Мясник что-нибудь затеет — ладно, а не затеет — тоже ладно. — Он вытер пальцы о край своей миски. — Моя маруха ничего мне сегодня не принесла. Вот и приходится есть это дерьмо. Знает же, что должна носить передачу каждый день. Я с нее всю шкуру спущу, когда выйду!

Он отодвинул миску, вынул вставные челюсти и очистил их спичкой.

Голуби, совсем сизые в солнечном свете, вспорхнули с карниза и, слетев во дворик, принялись важно расхаживать в поисках бобов, их острые клювы стремительно опускались и поднимались, чуть не задевая выпяченную грудку.

Один из новичков, прибывших накануне, отставил миску, наклонился и, протягивая к голубям руку в изодранном рукаве, начал тихонько ворковать. На нем была рваная куртка, брюки все в заплатках и дырявые башмаки. У него было дряблое тело и дряблое, давно не бритое, опухшее от пьянства лицо, которое морщинилось, как плохо надутый воздушный шарик. Не верилось, что эти отвислые губы способны издавать такой нежный зов.

— Коорр! Коорр! — звал он негромко и улыбался. И вдруг голуби вспорхнули, зашумев крыльями, и опустились на покрытые лохмотьями руку и плечи. Оборванец встал. Теперь он походил на какое-то мифическое существо — получеловека-полуптицу.

Он продолжал ворковать и корявым пальцем осторожно поглаживал жемчужно-серые и голубые спинки. Голуби толкали друг друга и балансировали на его руке и плечах, а он что-то шептал им, словно грязный, одетый в лохмотья Франциск Ассизский.

— Знаете, ребята, — сказал он тем, кто тарашил на него глаза, — существует больше шестисот пород этих птиц. — Он улыбнулся, поглаживая шелковистые спинки. — Я голубей понимаю. У меня была своя голубятня, да! — Его голова торчала над голубями, словно над пышным жабо. — Говорят, ребята, — продолжал он, — что голубь всю жизнь живет с одной подругой. Черт, они почти что люди. Слушайте меня, ребята. Голубка сносит два белых яичка, а птенцов она кормит голубиным молоком. Срыгивает из зоба. — Он усмехнулся. — Да, у меня было много голубей. Турманы, дутыши, всякие. Я и в состязаниях участвовал.

Он весело болтал, а окружающие смотрели на него с почтительным любопытством.

— Хороший почтовый голубь весит шестнадцать унций, — тоном знатока сообщил оборванец. — Вы знаете, что скорость их полета достигает девяноста семи миль в час? И что в хорошую погоду они покрывают от пятисот

до семисот миль в день? С зари и до зари. Да, в голубях я разбираюсь. Я про них все знаю.

Он снова заворковал, и голуби отвечали ему воркованием, а потом он поднял унизанную птицами руку, словно отдал какую-то команду, и они взмыли вверх, устремляясь к плоскому квадрату неба.

Когда миски были вымыты и составлены у решетки, всех заперли в камерах до ужина. В одной из камер заключенные затаили «Белое рождество».

Джордж Адамс сказал с усмешкой:

— Все мечтают о белом рождестве!

Они развернули циновки, разостлали одеяла, и игроки тотчас вытащили свои засаленные карты.

Юсеф Турок ответил, почесывая бок:

— Рождество, рождество! Тут все дни одинаковы. Разве что на рождество дают лишний кусочек мяса, да еще сюда является оркестр Армии спасения. — Он вытащил из-под рубашки и оглядел пойманное насекомое. — Пора бы устроить обработку. Развели тут паразитов! — Он раздавил вошь ногтем и засмеялся: — Вот бы устроили обработку к рождеству!

Джордж Адамс достал свою новую коробку сигарет, сорвал целлофановую обертку, открыл и протянул Юсефу.

Турок взял одну сигарету и щелкнул зажигалкой. Джордж Адамс протянул сигареты тем, кто играл в карты.

— Курите, ребята, — сказал он. — У меня их много.

Когда один из игроков взял сигарету, Джордж Адамс сказал:

— Бери еще!

Тот улыбнулся и взял вторую сигарету.

— Ты тут за что? — задал Джордж Адамс извечный вопрос.

— А нас накрыли в бакалейной лавке, — ответил игрок. У него было круглое коричневое лицо, и улыбался он до ушей, показывая красные десны — словно взрезали арбуз. — Всех троих.

— Три дерьмовых мушкетера! — усмехнулся Юсеф Турок. — В бакалейной лавке!

Остальные игроки тоже взяли по две сигареты. Сдающий заложил одну за ухо, а другую сунул в рот, повернул голову и, продолжая тасовать, прикурил у товарища.

В камере опять стало жарко, и духота сгущалась, нависала плотным пологом, пронизанная струйками табачного дыма. Джордж Адамс снял рубашку и начал ею обмахиваться.

— Хотя бы ветер поднялся, что ли, — пробормотал он, а потом добавил: — У меня есть банка тушенки. Может, вскроем?

— Нет, — сказал Юсеф. — На ужин дают ломоть хлеба и кружку кофе. Вот тогда тушенка придется в самый раз.

Теперь в соседней камере затянули «Серебряные колокольчики». Надзиратель от калитки крикнул, приказывая замолчать, и песня стихла.

— Один хлеб? — переспросил Джордж Адамс.

— Ну, может, мазнут по нему джемом. Прежде мазали топленным салом, но мусульманам и индейцам полагалось гхи \*. Вот, наверное, они и решили, что больно много возни, — и теперь всех кормят джемом. И прежде каждому давали по булке, эдак в четверть фунта — по кошачьей башке, так мы их называли. А теперь просто режут на четыре ломтя фунтовую буханку, понял? Кусочек хлебца с ложечкой джема, чтоб их!

— Заключенные должны протестовать, — сказал Джордж Адамс. — Устроить забастовку и потребовать, чтобы улучшили питание.

— Как же! — ухмыльнулся Турок. — Ты объясни им это, Профессор!

— Мясник как будто оставил тебя в покое, — сказал Джордж Адамс. — Может, он забыл?

— Жди! — ответил Юсеф, покачав головой, и зевнул. — Он должен драться со мной. Ему надо показать себя перед дружками. Если он не станет драться, то ему тут хана.

— Но ведь он настоящий великан!

Юсеф Турок засмеялся.

— Чем они тяжелее, тем сильнее ушибаются.

От наваливающейся духоты клонило ко сну. «Они стравливают нас тут, как собак. Какая напрасная растрата человеческих сил!» — подумал Джордж Адамс. Сознание, что он в тюрьме, его не угнетало. Человек поступает согласно своим убеждениям и принимает последствия. Он ходил на собрания и слушал речи, немного

---

\* Гхи — топленное масло из буйволового молока.

читал — и пришел к выводу, что все это правда. Проваливаясь в черную пропасть сна, он подумал: «Терпеть пинки можно только до какого-то предела».

Его разбудил скрип ключа в замочной скважине, он привскочил и замигал от света. Остальные уже встали и отцепляли кружки, подвешенные к оконной сетке. Джордж Адамс тоже встал и протер слипающиеся глаза. Дверь распахнулась, и надзиратель отошел к следующей.

— Ну, как выспался, друг? — спросил Турок.

— Я сам не заметил, как заснул, — сказал Джордж Адамс. — Послушай, у меня же нет кружки.

— Ну, пока тебе лучше о ней и не заикаться. Жирный взбесится.

— Почему? Мне были обязаны выдать кружку при поступлении, верно? Это их вина, а не моя.

Игроки уже вышли, Юсеф и Джордж Адамс последовали за ними.

— Я этим сволочам ничего спускать не намерен, — сказал Джордж Адамс.

— Ладно, Профессор, валяй. Только с Жирным держи ухо востро.

Заклученные парами двигались к решетке, где два каторжника из кухонной команды наливали кофе и раздавали хлеб.

Джордж Адамс вышел из строя и направился к толстому начальнику секции, который наблюдал за раздачей ужина. Начальник посмотрел на приближающегося Джорджа Адамса, но его каменный взгляд не изменился.

— Ну, что тебе понадобилось? — спросил ледяной голос.

— Мне не выдали кружки.

— А, это опять ты! — Пшеничные усы чуть-чуть дрогнули. — Ничего не поделаешь, парень. Нет кружки — не получишь кофе.

— Мне обязаны выдать кружку, так? — спросил Джордж Адамс, глядя прямо в глаза под рыжеватыми ресницами. — Я не виноват, если дежурный надзиратель мне ее не выдал.



Глаза, в которые он смотрел, потемнели, а пухлое розовое лицо начало наливаться кровью.

— Ты, падло! — проскрежетал надзиратель. — Ты с кем разговариваешь? Ты думаешь, я позволю всякому черному скоту задираться, будто он белый? Пшел, а не то...

Джордж Адамс не двинулся с места и продолжал смотреть прямо в багровеющее лицо. Он думал: «К черту! Этого я ему не спущу. Они хотят, чтобы мы из-за всего ползали на брюхе: хозяин, будет такая ваша милость дать мне кружку?» Вслух он сказал:

— Почему в вашей тюрьме не соблюдаются правила?

Лицо надзирателя взбугрилось, как плавающая лава. Он был взбешен — во-первых, этот подонок посмел ему возражать, а это было опасно: только начни им объяснять, так они тебе на шею сядут! Во-вторых, он позволил себе критиковать тюремную администрацию — неповиновение и бунт! И в-третьих, он же был из этих, из агитаторов, которые идут против законной власти в стране.

— Так ты, значит, умник? Черномазый умник?

Тон стал спокойнее, он обрел прежнюю льдистость — толстяк надзиратель взял себя в руки. Но тем опаснее он был, так как главным его оружием был лед, а не жар белого каления. Он замораживал сопротивление, а не сжигал его, и этот метод позволял ему сохранять подобие надменного превосходства.

Он заметил, что раздача ломтей и горького черного кофе приостановилась — все ждали, что произойдет дальше.

Тут подошел заключенный со склада.

— Вот запасная кружка, баас, — сказал он, взмахнув кружкой и не глядя на надзирателя.

— Чего ты лезешь, когда тебя не спрашивают? — буркнул надзиратель, но не помешал Джорджу Адамсу взять кружку. Промолчал он и тогда, когда Джордж Адамс протянул заключенному две сигареты. Однако надзиратель отлично понял скрытый вызов и гневно повернулся к застывшим зрителям.

— Ну, чего стоите! Берите свой вонючий ужин и убивайтесь в камеры! — Он знал, что потерпел поражение, и это его злило.

Колонна снова заколыхалась, и Джордж Адамс пошел в се хвост. Кое-кто оборачивался на него, и он пере-

хватил кабаний взгляд Мясника, который лениво стоял у двери своей камеры, ожидая, когда ему принесут ужин. Великан прикидывал, напрягая тупой мозг, ржавый, но коварный, как забытый медвежий капкан, будет ли доволен «баас», если он разделается с этим умником по-своему.

Откуда-то из середины колонны Юсеф Турок негромко позвал:

— Иди сюда, друг!

Заключенные посторонились, давая ему дорогу, а Солли, стоявший рядом с Турком, тихонько закудахтал:

— Ты здорово осадил Жирного, приятель. Ух и здорово!

И даже Тормозной Питерсон, человек с одной половиной лица, сказал беззвучным шепотом:

— Эта толстая задница когда-нибудь допрыгается!

Мясник услышал все это и почувал, что его авторитет колеблется, — надо кончать, и поживее, решил он. Но сначала придется разделаться с Юсефом Турком. Без Турка второго можно будет взять голыми руками. Да, нужно будет заняться Турком.

А чуть подальше Малыш Касба нащупал в кармане заостренный консервный ключ и крепко сжал его в пальцах. Уголки его рта еле заметно дрогнули в призрачной улыбке.

13

Дворик был залит утренним солнцем, и железная решетка отбрасывала на бетонный пол обычный узор перемежающихся серых полосок и ярких прямоугольников. В эмалево-синем небе над головой бронзовело солнце. Воздух застыл в неподвижности, и очертания Столовой горы над горизонтом, скрытым за тяжелыми стенами тюрьмы, были словно выбиты чеканом.

Начальник секции стоял за решеткой в большом дворе, разговаривал с каким-то надзирателем. Три каторжника из изоляторного корпуса напротив были выведены на прогулку и без конца шагали по кругу.

Кран в дальнем углу двора был открыт, и вода бегала по неглубокой канавке в бетонном полу — заключенные стирали одежду. Они негромко переговаривались, иногда смеялись под частые звучные шлепки мокрой

ткани по бетону. Некоторые разделись донага, чтобы выстирать все, что на них было, другие остались в шортах или в брюках. Они сидели на корточках друг против друга над бегущей водой, терли, колотили, выжимали. Те, кто не стирали, прохаживались, курили и болтали.

Юсеф Турок выжал рубашку, поднялся, расправляя затекшие плечи, и пошел к проволоке, привязанной одним концом к пруту решетки, а другим — к перилам железной лестницы. Он повесил рубашку на проволоку, расправил и, сев у стены, принялся ее сторожить.

Он сторожил ее бдительно, зная, что стоит ему хотя бы на секунду отвести глаза, и — она может мгновенно и бесследно исчезнуть.

Рядом сидели другие такие же сторожа и как завороченные смотрели на свою одежду, ожидая, пока летнее солнце ее высушит.

Юсеф Турок смотрел на рубашку и злобно думал о том, что его любовница последняя дрянь. Не могла принести чистую рубашку. И вообще она опять не пришла. Он начинал все больше и больше подозревать, что она его бросила, воспользовавшись тем, что он за решеткой, и закрутила с кем-нибудь другим. Юсеф прикинул, забыть ли про нее совсем или навестить ее, когда он выйдет из тюрьмы, чтобы оставить ей о себе хорошую памятку. В том, что свободы ему ждать недолго, он несколько не сомневался. В эту минуту рядом с ним на пол опустилась горилля туша Мясника.

— Турок! — хрипло прорычал Мясник. — Турок!

— А? — спросил Юсеф, не отводя взгляда от рубашки. — Чего тебе?

Он не видел хищной щербатой улыбки на щетинистом лице, а только услышал утробный бас.

— Тутошнее поганое мыло не мылит ни черта. Турок, я слышал, что у тебя есть кусок настоящего стирального мыла. Вот я й подумал: может, Турок, ты мне его одолжишь?

Юсеф Турок рассмеялся — такой заход показался ему очень смешным — и сказал, глядя на рубашку:

— Слушай, Мясник, я тебе, друг, скажу только две вещи. Во-первых, на черта тебе мыло — ты же даже не знаешь, что это такое. А во-вторых, я тебе не одолжу даже дерьма в нужнике.

— Турок, — сказал Мясник все с той же злобной усмешкой, — нам тут с тобой вдвоем тесно. Ты из себя

корчишь важную птицу. Вот и покажи нам, какой ты такой важный. Понял?

— Когда хочешь, Мясник.

— Ладно, Турок. Сегодня один фраер из моей камеры перейдет в твою, а ты можешь перейти в мою, и мы уладим наше дело. Идет?

Юсеф Турок улыбнулся своей рубашке:

— Идет, приятель.

— Значит, сегодня вечером?

— Сегодня вечером, — сказал Турок.

Мясник встал и, отшвыривая в сторону тех, кто оказывался у него на дороге, пошел в угол, где собрались его дружки. Юсеф Турок не смотрел ему вслед — он опять сосредоточил все свое внимание на рубашке, которая уже почти высохла.

В квадрате двора дрожал зной, искажая все предметы, точно волнистое стекло, и заключенные, которым нечего было делать, сгруппировались в тени, ожидая обхода начальника тюрьмы.

По бетону колышущейся походкой проследовала тюремная кошка — ее пестрая шерсть блестела на солнце, а хвост был поднят трубой. Она подошла к канавке, полакала воду и, проскользнув между прутьями решетки, удалилась в сторону кухни.

Джордж Адамс подошел к Юсефу. Выстиранную майку он нес на руке, и солнце сильно жгло его спину, защищенную только тонкой тканью рубахи. Он спросил тревожно:

— Что ему понадобилось, Юсси?

Юсеф Турок встал, пощупал свою рубашку, сдернул ее с проволоки и взял сигарету из коробки, которую протянул ему Джордж Адамс.

— Просто решил навестить хорошего знакомого, — ответил он с улыбкой. — Мы покончим с этим делом сегодня вечером в его камере.

— Сегодня? — Джордж Адамс чиркнул спичкой — оба прикурили. — Я пойду с тобой.

— А это ни к чему, друг. Не стоит тебе вмешиваться.

— Спасибо за совет, — сказал Джордж Адамс. Все это ему очень не нравилось. — Ты ведь вмешался, когда он пристал ко мне? Он только потому на тебя и взъелся. Я пойду с тобой, — докончил он, выпуская клуб дыма в желтое солнечное марево.

Юсеф Турок сказал:

— А мне не по вкусу, когда такой гад измывается над парнем вроде тебя. Нам надо беречь тебя, Профессор.

Он улыбнулся, показав все искусственные зубы, белые, как дешевый фарфор.

— А еще говоришь, что каждый должен заботиться только о себе!

— Конечно. Ну, майор Жердь вроде бы уже близко!

Треугольник в большом дворе загремел, и заключенные начали строиться.

14

Жаркая духота в камере сгустилась в плотный ком. Как сказал Юсеф Турок, ее можно было бы набрать в горсть и шмякнуть об стену — и она прилипла бы. Она ватой обволакивала тела людей, вязким соусом сдабривая этот человеческий винегрет из карманников, гангстеров, грабителей, убийц, хулиганов и торговцев наркотиками — почти все они сидели в тюрьме не в первый раз, многие уже давно опустились на самое дно, а двое трое стариков бессильно и безнадежно докуривали горький, чуть тлеющий окуроч жизни.

В этот вечер все как-то притихли и почти не замечали жары. Вместо обычного оглушительного гомона слышался сдержанный шепот. Слишком велико было напряжение, царившее в камере.

Снаружи солнце скрылось за горизонтом, и на камень и железо тюрьмы ложились зеленоватые сумерки. Дневные надзиратели в последний раз пересчитали заключенных и сдали дежурство. Новые надзиратели не обращали внимания на свет фонаря на темной улице или на блеск мостовой после дождя. Это их не беспокоило.

Хлеб и кофе в Большой камере поглощались с невероятной торопливостью или прятались до более подходящей минуты. Засаленные колоды карт, кости и самодельные шашки остались лежать в тайниках. В маленьких камерах по другую сторону двора и на верхнем этаже тоже стояла тишина, смешанная с запахом пота и липкой духотой.

Джордж Адамс нервничал. Все это ему очень не нравилось. Это была страна за узкой береговой полосой законов, постановлений и запутанных кодексов — джун-

гли из железа и камня, населенные шакалами и гиенами, злобными волками и дрожащими овцами, пленными львами и неуклюжими чудовищами с изуродованным мозгом и с телом, закованным в броню невежества и жестокости, которые давили и топтали всех, кто пытался вырваться из цепкой хватки трясины.

Мясник сказал:

— Турок, придется нам устроить над тобой суд.

Юсеф Турок стоял, небрежно прислонившись к стене, и рядом с ним стоял Джордж Адамс. Турок слегка улыбался, полуопустив веки, но расслабленность была напускной: глаза настороженно блестели, он весь был собран, напряжен и опасен, как полированная сталь копья.

— Суд? — спросил Юсеф Турок. — А я-то думал, Мясник, что это будет честная драка. Один на один.

В тюрьмах довольно часто устраиваются «суды» — самые закоренелые и озверевшие преступники «судят» какого-нибудь несчастного, который навлек на себя их гнев непокорностью, заискиванием перед надзирателями, а может быть, и доносами на товарищей или чем-нибудь еще. В камерах устраиваются подпольные суды, гораздо более страшные, чем настоящие, и выносятся самые жестокие приговоры.

Однажды разбиралось «дело» заключенного, который чем-то не угодил хозяевам камеры. Говорили, что он пожаловался на притеснения надзирателю — непросительное «преступление». Шайка «судила» его, признала виновным и приговорила к... ему не сказали к чему. Приговор с утонченной жестокостью они сохранили в секрете.

Измученный ужасом человек тысячу раз умирал в собственном воображении, пока наконец не уснул, не выдержав бесконечного бдения. И пока он лежал, вздрагивая в кошмарном сне, ему зажали рот и полдесятка ножей пронзили одеяло, в которое он завернулся.

На следующее утро надзиратели нашли мертвеца, завернутого в окровавленное одеяло. Но ни на ком из многочисленных обитателей Большой камеры не было обнаружено следов крови. Оружие, которым были нанесены раны, исчезло, и найти его не удалось.

Следствие также ничего не установило.

Мясник захохотал. Он стоял у противоположной стены, окруженный обычной свитой. Рядом с ним стояли

Розовый, Моос, Тормозной Питерсон, Косой Самуэлс и Нур, а на внешней орбите компании находились такие спутники, как Хромой, Маленький Джонни, Солли и Малыш Касба. Все они ждали, что ответит великан.

— Честная драка! — гоготал Мясник, обводя взглядом зрителей. — Он хочет честной драки. Один на один!

Но, к его удивлению, множество голосов потребовало:

— Честная драка! Честная драка!

И это требование поддерживали даже его дружки. Он прищурился. Значит, так? Ну что же, когда он разделается с этим тощим крикуном, надо навести порядок и тут.

Обезьянье лицо налилось кровью, щербатые зубы обнажились в усмешке.

— Ладно, — сказал Мясник. — Пусть будет честная драка.

Круглая голова повернулась на бычьей шее, и сиплый бас приказал:

— Тормозной, станешь у двери. А вы все пошли к стене. И чтоб молчать, ясно? Чтоб ни единого звука.

Мгновенно циновки и одеяла были свернуты и уложены у стены напротив двери. Зрители взгромодились на них или расположились на полу. Все молчали затаив дыхание. На лицах было нетерпеливое ожидание.

Мясник снял рубаху, обнажив грузное туловище, все в буграх мышц и жира. Оно было испещрено старыми шрамами и украшено гирляндами татуировки. Мясник согнул руки, напрягая бицепсы, оскалил гнилые зубы и похлопал себя по груди, выставляя напоказ наколотые картинки: череп над скрещенными костями, флаг и скрещенные кинжалы, голую женщину, которая двигалась, когда сокращались его мышцы. Всю левую сторону широкой спины занимал летящий орел с распростертыми крыльями, разинутым клювом, выпученными глазами и скрюченными когтями, готовый броситься на добычу.

Мясник злобно усмехнулся.

— Давай выходи, приятель! Я тебя раздавлю, как вошь. — Утробный бас клокотал в поврежденной гортани. — Честная драка, хо-хо!

Юсеф Турок отошел от стены и растегнул рубаху. По сравнению с громадной тушей Мясника его полуобнаженный торс казался узким, но под гладкой коричневой кожей ящерицами танцевали мышцы, а длинное тело было таким же крепким и гибким, как бич из носорожьей шкуры.

Он поднес руку ко рту и вынул вставные челюсти. Его лицо сразу стало худым, щеки запали.

— Подержи-ка, Профессор, — сказал он.

Джордж Адамс неловко взял влажные зубы и осторожно опустил их в нагрудный карман.

В камере наступила тяжелая, мертвая тишина. В углу напряженно ждали дружки Мясника, их глаза злобно и хитро поблескивали. Малыш Касба стоял совсем неподвижно, равнодушный и бесчувственный, как мумия, — только одно его веко все время подергивалось, как будто он лукаво подмигивал. Тормозной Питерсон прижимал ухо к глазку окованной железом двери, и его сожженное лицо кривилось в застывшей страшной ухмылке.

Мясник двинулся вперед. Грязные шорты открывали толстые уродливые ноги, узловатые, точно древесные пни. Он зарычал и борцовским жестом вытянул вперед правую руку.

Молниеносным движением Турок схватил его за кисть, рванул и выпустил прежде, чем Мясник успел высвободиться и в свою очередь схватить его. От неожиданного рывка великан, теряя равновесие, повернулся влево, и Турок ударил его по щеке твердым ребром ладони и рассек ему кожу на скуле.

Зрители ахнули и вытянули шеи: великан зашатался, а Юсеф Турок, закаленный победитель в сотнях уличных драк, не давал ему опомниться. Худое тело-бич метнулось в сторону, переноса всю тяжесть на левую ногу, а правая согнулась в колене и, распрямившись как пружина, с силой пушечного снаряда ударила шатающегося Мясника в живот. Глаза великана выпучились, из округлившегося рта со звуком, напоминавшим икоту, вырвался воздух. Бугристое лицо перекосилось, громадная туша закачалась, как скала, но не опрокинулась, и Турок свирепо пнул Мясника в колено.

Мясник взмахнул руками, стараясь сохранить равновесие. Он давно привык полагаться на свой вес и силу. Никогда еще человек настолько легче его не осмеливался вступать с ним в единоборство, а потому стремительная атака более опытного Турка застала его врасплох. Однако Мясник не получил серьезных повреждений, а только пришел в еще большую ярость. С бешеным ревом он кинулся на врага. Неуклюже увернувшись от удара кулаком, он протянул громадные ручищи, готовясь схватить



Турка за пояс. Когда хищные лапы были совсем близко, колено Турка дернулось вверх, чтобы разmozжить лицо, так соблазнительно нависшее над ним. Лицо отклонилось, удар пришелся мимо, и нога Турка была стиснута железными пальцами. По рядам зрителей пронесся вздох.

Но в прошлом Юсефа Турка были десятки подобных драк. Лево́й рукой он обвил шею Мясника и зажал ее, схватившись за собственное правое плечо. Его правая рука скользнула вверх, запястье легло на торчащий кадык, и он принялся душить Мясника. Конечно, тот мог повалить его на пол, но этот маневр не освободил бы его шею от удавки из сухожилий, костей и мышц, которая безжалостно сжималась все туже.

Мясник опрокинул Турка и сам повалился на него. Турок напряг руки, почувствовал, как подался кадык, и увидел, что лицо над ним синеет, а язык начинает вылезать изо рта. Мясник быстро изменил тактику. Обхватив ногу Турка под коленом, он другой рукой стиснул ступню и начал загигать ее вверх со всей своей звериной силой. Когда нога выпрямилась, он локтем нажал на колено — еще мгновение, и нога переломится, как сухая палка. Юсеф Турок знал это. На его лице выступили капли пота, глаза вылезли из орбит, беззубые десны обнажились в глухом стоне.

Джорджу Адамсу хотелось закричать, броситься вперед, ударить Мясника в свирепое лицо. Все затаив дыхание ждали хруста ломающейся кости.

Но тут Тормозной Питерсон прошипел в напряженной тишине:

— Надзиратель, чтоб ему!

В мгновение ока противники разошлись, а зрители в небрежных позах улеглись на полу, старательно не глядя на дверь. Мясник растянулся во всю длину и злобно уставился на Турка. Его грудь вздымалась, как кузнечные мехи. Коричневое лицо Юсефа Турка позеленело, он тоже задышался, как усталая собака. Нога мучительно ныла, и он с тревогой подумал, что она может его подвести. Оба стали скользкими от пота.

Теперь все слышали шаги надзирателя снаружи. Насвистывая, он переходил от глазка к глазку, и сквозь скрип его сапог они различали мотив «Лили Марлин». Духота внутри Большой камеры набухала безмолвием, и когда кто-то вдруг кашлянул, это прозвучало как взрыв.

Посвистывание приблизилось к их двери и замерло.

Звякнула крышка глазка. Затем она снова звякнула — надзиратель отошел от двери. Снова раздалось посвистывание, но теперь оно удалялось в сторону лестницы.

— Тормозной! — пропыхтел Мясник. — Все в порядке?

— Он поднялся наверх.

Через несколько минут надзиратель спустился. Теперь он насвистывал «Ах, какой счастли-счастливый день!». Они слышали, как он прошел через дворик к калитке.

— Порядок! — сказал Тормозной, и все вскочили на ноги.

Мясник и Турок вновь встали друг против друга. Скула великана опухла, и кабаньи глазки под морщинастыми веками горели кровожадным огнем.

Внезапно он ринулся вперед. Юсеф Турок хотел увернуться, но разболевшееся колено плохо повиновалось ему, и страшные лапы обхватили его, прижав его руки к бокам. Зрители возбужденно зашумели, и Тормозной Питерсон прикрикнул на них.

Когда руки Мясника сомкнулись у него за спиной, Турок изо всех сил боднул свирепое лицо. Он почувствовал, что содрал кожу на лбу, — глаз ему залило кровью. Но он слышал, как Мясник крикнул от боли, — нос великана был сплюснен в лепешку, кровь хлынула по толстой верхней губе в разинутый рот и потекла по заросшему подбородку.

В ту же секунду Турок перенес всю тяжесть своего тела на поврежденную ногу, а коленом другой ударил Мясника в пах. Великан закричал от резкой боли, но не разжал рук, а, наоборот, уперся головой в подбородок Турка и весь напрягся, так что могучие мышцы на его спине задергались и зашевелились, точно кошки, засунутые в мешок.

Юсеф Турок знал, что стоит ему податься, выгнуться — и для него все будет кончено. Когда гориллы объятия разомкнутся, он упадет на пол с поврежденным, а то и сломанным позвоночником, на его лицо, грудь и живот обрушится град ударов, а потом великан вспрыгнет на него обеими ногами...

Мясник вложил всю свою силу в это объятие, и его бицепсы вздулись шарами. Турок секунду сопротивлялся, потом вдруг обвис, пропустил ноги между расставленными ногами противника и вместе с ним опрокинулся на пол. В последнее мгновение он рванулся в сторону, и зах-

ваченный врасплох Мясник со всего размаху ударился окровавленным лицом о бетон.

Руки Мясника разжались. Турок выскользнул из-под него, осыпая режущими ударами распухшую скулу и шею, и вскочил на ноги. Мясник тяжело встал, но, прежде чем он успел выпрямиться, Юсеф Турок ударил его ногой в солнечное сплетение.

Хриплый вопль сразу задохнувшегося Мясника прозвучал в ушах Турка самой сладкой музыкой. Он сам еле переводил дух, спина и колено отчаянно ныли, и он знал, что недолго сможет противостоять упрямой силе великана. Но, кроме того, он знал, что еще несколько секунд Мясник будет в его власти.

И, рванувшись вперед, он принялся наносить короткие частые удары по окровавленному лицу согнувшегося пополам, задыхающегося Мясника. Руки его работали, словно рычаги паровоза. Он чувствовал, как лопается кожа на костяшках его пальцев, и продолжал вкладывать всю свою силу в этот град ударов.

Мясник пытался с хриплым ревом. Он хотел уйти от беспощадных кулаков, чтобы собраться с силами для новой атаки. Зашатавшись, он почти упал в самую середину безмолвной кучки своих дружков и прихвостней — Мооса, Розового, Косого Самуэlsa, Малыша Касбы, Нура, Солли, Маленького Джонни и других. Розовый и Нур выставили ладони, чтобы поддержать его, Косой Самуэлс и Маленький Джонни бросились подхватить его, остальные шагнули ему навстречу, и правая рука Малыша Касбы молниеносно дернулась вверх.

Мясник, охнув, вдруг осел — толстые ноги подогнулись, как тряпичные, горящие красным огнем глазки недоуменно вытаращились. Потом огонь в них погас, словно перегорели пробки, и он повалился на пол в гущу бестолково топчущихся людей.

Он больше не пошевелился, не издал ни звука. Кто-то подбежал с кружкой и выплеснул воду на окровавленное лицо, решив, что великан просто потерял сознание. Вокруг Мясника, взволнованно переговариваясь, сгруппировались все обитатели камеры. Еще кто-то перевернул его на живот. Он лежал большой и неподвижный, а фонтанчик крови, бивший из глаза вытатуированного орла, опадал, превращаясь в тоненькую струйку.

Сбоку в толпе Малыш Касба быстро облизнул распухшую губу.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Ранние сумерки лиловели во дворе перед изоляторным корпусом, и недавно поднявшийся легкий ветер тихо посвистывал в лабиринте зданий за тюремной стеной. Где-то в кухонном дворике по-прежнему падали капли из неисправного крана.

Всем, кроме юноши по прозвищу Малыш Касба и Джорджа Адамса, уже раздали ужин — ломоть хлеба с джемом и кофе. Тишина, мешаясь с сумраком, висела над рядами каменных клеток с железными дверями и решетчатыми окошками, над административным корпусом, уже совсем темным, над канцелярией, над главными воротами. В кухне шла вечерняя уборка, но большинство работавших там заключенных уже спали, потому что им предстояло начать работу еще до рассвета. В служебных помещениях переодевались сменившиеся надзиратели.

Джордж Адамс сидел, прислонившись к стене.

— Спишь, друг? — спросил он у юноши в другом углу.

— Нет, — ответил Малыш Касба, не повернувшись.

— Послушай, друг, я знаю, что у тебя хватает неприятностей, но все-таки почему ты накинулся на того парня во дворе? Он же тебя не трогал.

Малыш Касба ответил, по-прежнему глядя в стену:

— Ну и болтун же вы, мистер! Ладно, я вам скажу. Я его стукнул, чтобы меня засадили сюда.

— Сюда? — с недоумением спросил Джордж Адамс.

Малыш Касба ответил с обычным равнодушием:

— Да. Они будут расспрашивать про Мясника, а я не хочу, чтобы меня спрашивали. Может, про нас тут

они забудут. Я не люблю говорить лишнего. Может, я кое-что видел и не хочу про это говорить белым, понятно? А вы, мистер, что-нибудь видели? Вы же тоже там были, — закончил он подозрительно.

Джордж Адамс ответил, смотря на спину юноши:

— Ну, если меня спросят, видел ли я что-нибудь, я скажу правду. Только и всего, приятель.

— Правду? — Малыш Касба перевернулся на другой бок и поглядел на Джорджа Адамса.

— Ага, — подтвердил Джордж Адамс и, засучив штанину, почесал голень. — Если им потребуются мои показания. Ну, я видел драку — может, она велась честно, а может, нет, но, во всяком случае, ножей у них не было, и они дрались один на один. Потом я увидел, что Юсеф ударил Мясника в живот и он упал прямо на людей, которые смотрели на драку. Потом Мясник свалился на пол, а когда его перевернули, он был уже мертвый — кто-то, по-видимому, его чем-то заколол. А кто, я не знаю. Народу в том углу было много. Юсеф остался на середине камеры, а остальные стояли у стен. Вот и все. — Он разгладил штанину и добавил, нахмурившись: — А мне как-то жалко беднягу. То есть Мясника.

— Жалко? — насмешливо повторил Малыш Касба. — Ну и чудак вы, мистер.

— Как-то сейчас Юсси в больнице? Я слышал, его туда забрали, чтобы сделать рентген колена и позвоночника. И странно, что никто не может догадаться, чем ударили Мясника.

— От Турка они ничего не узнают, — заметил юноша. Он откусил заусеницу и вытер палец о рубашку. — Скажет, что упал и расшибся. И все тут.

— Да, наверно, — согласился Джордж Адамс, но, прежде чем успел сказать что-нибудь еще, кто-то застучал в стену, отделявшую их от соседней камеры.

Джордж Адамс встал и подошел к двери.

— Эгей! — крикнул он в окошечко.

— Здорово, приятель! — ответил голос из-за соседней двери. — За что они тебя сюда посадили?

— А я заспорил с Жирным. Ну и они с майором решили, что я устраиваю беспорядки.

— Гад! — сказал сосед. — Жирный этот. А за что тебя забрали, друг?

— За политику, — ответил Джордж Адамс.

— За политику? Это что же, в тюрьму и за политику сажают?

— Да, — засмеялся Джордж Адамс. — Они думают, что я замышлял свергнуть правительство!

— Ого!

Джордж Адамс не знал, кто именно разговаривает с ним, но он видел этих троих на прогулке. А потом еще раз — когда принесли ужин и они вернулись в свою камеру. Все трое были каторжниками, о чем свидетельствовала тюремная одежда — парусиновые шорты и красные рубахи.

— А у вас как дела?

— Ничего. Мы тут ждем суда по повторному обвинению. — Говоривший кашлянул и добавил: — Слушай, друг, как у тебя с куревом?

— Есть сигареты.

— А у нас тут сейчас купе для некурящих! — усмехнулся его невидимый собеседник. — Может, у тебя найдется лишняя?

— Попробуем что-нибудь придумать, — сказал Джордж Адамс и повернулся к Малышу Касбе. — Нужно бы передать им сигарету. Ты не можешь это устроить? Ты ведь знаешь все здешние штуки.

— Попрошайки чертовы, — проворчал Малыш Касба. — Только и знают, что кланчить. Того у них нет, этого у них нет!

— Но ведь они не могут покупать в тюремной лавке, как покупаешь ты.

— А мне-то какое дело? — угрюмо сказал юноша.

— Конечно, никакого! — ответил Джордж Адамс с нарастающим гневом. — Тебе на всех наплевать. Но что-то я не слышал, чтобы ты отказывался, когда тебе что-нибудь предлагают даром! Разве не так?

Малыш Касба смерил его хмурым взглядом.

— Мы же тут вместе сидим. Я бы вам тоже что-нибудь дал, да нету у меня. А они вам на кой сдались? Они же не с нами сидят.

— Черт! Все, кто тут заперты, сидят с нами! — вспылil Джордж Адамс.

— Попрошайки чертовы, — снова сказал Малыш Касба, глядя на Джорджа Адамса, и его веко задергалось. Однако он встал и принялся рыться у себя в карманах, пока не нашел клубочка ниток, а Джордж Адамс следил за ним с любопытством, снова чувствуя себя им-

мигрантом в чужой стране, незнакомым с привычками и обычаями ее буйных обитателей.

— Дайте пару сигарет, — сказал юноша своим злым голосом; его лицо было холодным и пустым, как оконное стекло.

Он взял три сигареты, которые Джордж Адамс извлек из коробки, и раскрошил их на ладони. Потом насыпал табак на обрывок оберточной бумаги и свернул в плоский пакетик. Он аккуратно загнул концы, чтобы табак не просыпался, а потом положил пакетик на пол и придавил ногой, совсем его расплющив.

Джордж Адамс молча наблюдал за его действиями и думал: «Бедняга, бедняга! Тебя ждет смерть, и ты плюешь и на себя, и на всех остальных; а если бы тебе показали правильный путь — вот как теперь, когда ты учишься совсем другому, хотя уже и поздно...»

В стену снова постучали, и тот же человек крикнул в дверь:

— Ну как, приятель?

— Сейчас, — отозвался Джордж Адамс.

Малыш Касба отмотал нитку и пошел к двери, доставая из кармана обломок расчески. Обломок он привязал к концу нитки. Потом пропустил несколько футов нитки через пальцы, привязал к ней пакетик с табаком и растянулся на полу у двери.

— Смотрите в коридор, мистер. Будете следить за соединением.

Джордж Адамс, сообразив, что должно произойти, засмеялся.

— Черт побери! — пробормотал он и окликнул соседа: — Ну как, готовы?

— Валяйте!

Малыш Касба слегка отодвинулся, чтобы не прижать нитку, и резким движением толкнул расческу наискосок под дверь. Джордж Адамс увидел, как она выпрыгнула из-под двери, скользнула по полу, таща за собой нитку, и остановилась напротив соседней двери.

Секунду спустя из щелки под этой дверью выскочила пуговица, привязанная к шерстяной нитке, выдернутой из одеяла, и остановилась около обломка.

— Не достает, — сообщил Джордж Адамс, заглядывая за прутья и сетку.

— А мы опять попробуем, приятель.

— Бросай вбок, ближе к нам, — распорядился Джордж Адамс, радуясь такому расширению своих познаний.

Пуговица исчезла, но тут же вновь появилась, и шерстяная нитка пересекла нитку Малыша Касбы.

— Медленнее тяни! — возбужденно крикнул Джордж Адамс. — Медленнее, приятель, медленнее... а то не зацепятся... Ах, черт!

Пуговица, не задев расчески, уползла под дверь соседней камеры.

Малыш Касба крикнул:

— Будем тянуть вместе! Только медленно, чтобы они зацепились, слышишь?

— Ладно, — ответил голос с терпеливым спокойствием, рожденным долгим опытом.

Пуговица снова вылетела в коридор и пересекла нитку. Малыш Касба и их невидимый сосед начали тянуть одновременно. Джордж Адамс следил, как пуговица и расческа начали сближаться.

— Медленнее, медленнее, — командовал он, глядя в окошечко. — Медленнее. Эй, стойте, стойте!

— Ну, что еще? — буркнул Малыш Касба и выругался.

— Все в порядке, — сказал Джордж Адамс. — Но только не торопитесь. Не торопитесь!

Пуговица и обломок расчески были уже в дюйме друг от друга. Они постепенно сблизились совсем, шерстяная нитка скользнула между зубьев расчески, пуговица прижалась к ним, и две нитки соединились.

— Есть! — сообщил Джордж Адамс. — Тащи к себе.

— Ладно, приятель! — И человек за соседней дверью потянул шерстяную нитку, а вместе с ней и расческу. Малыш Касба протолкнул в щель плоский пакетик с табаком, и он медленно уполз в соседнюю камеру. Каторжник отвязал пакетик, отцепил пуговицу от расчески, и Малыш Касба втащил назад свою нитку и расческу.

— Ну до чего же ловкая штука! — сказал со смехом Джордж Адамс. — Я бы никогда такого не придумал. Ловко, черт побери!

— Попрошайки чертовы, — пробурчал Малыш Касба, сматывая свою нитку.

Джордж Адамс засмеялся и похлопал его по спине.



Где-то в сгустившейся темноте любитель псалмов торжественно запел «Иисус претворит меня в солнечный луч».

2

Осознав, что Мясник мертв, увидев тоненькую струйку крови, вытекающую из крохотной ранки на спине над самым сердцем, заключенные окаменели. Но ошеломленное безмолвие длилось только одно мгновение. В следующую секунду толпа ринулась к сложенным постелям — люди хватали циновки и одеяла, вырывали их друг у друга, торопясь скорее лечь и заснуть, чтобы сразу отгородиться от случившегося.

Через несколько минут все они лежали, с головой укрывшись вонючими одеялами, забыв про духоту и жару. Никто не собирался ничего говорить сам, а если и спросят, ответ был уже готов: заснул сразу же после отбоя.

Конечно, думать можно было сколько угодно и что угодно. Кто? Не Юсеф Турок, это-то точно. Под конец драки — хорошая была драка, что так, то так! — Турок бил Мясника кулаками по лицу. Мясник ни разу не повернулся к нему спиной. А пырнули-то его в спину... Вязальной спицей? Гвоздем? Или еще чем-то? Сзади пырнули. Ну, повалился он прямо на свою шайку, а это все ребята отпетые — и Нур, и Розовый, и Моос, и Маленький Джонни, и Косой, и остальные, — и кто-то из них ударил его в спину... Только вот чем? Этого никто не знал. Ни ножа, ни чего-нибудь вроде никто не видел. Белые будут задавать вопросы, устраивать обыски, но они ничего не найдут...

Дружки покойника как могли прибрали его тело: смыли кровь с лица, расстелили циновку и одеяла, положили на них неподвижную гориллью тушу и укрыли еще одним одеялом. Делали они все это не из уважения к мертвому чудовищу, а ради собственной безопасности.

Все-таки нельзя сказать, что ты не заметил мертвеца, который всю ночь провалился посреди камеры. А раз заметил, так почему не позвал надзирателя? Теперь же, когда надзиратель снова посмотрит в глазок, он увидит, что в камере все спокойно спят под своими одеялами. Утром все уйдут из камер вместе, а когда после проверки надзиратели найдут труп Мясника, то как они смо-

гут доказать, что в Большой камере в эту ночь находились такие-то и такие-то люди? Тюремные власти интересовались только общим числом заключенных в секции, а не тем, в какой именно камере они проводят ночь.

Юсеф Турок, хромая, добрел до бачка и смыл кровь с лица и груди. Лоб у него был рассечен, один глаз начинал заплывать. Сильно ныло правое колено, и каждый шаг отдавался резкой болью в спине.

— Что же теперь будет? — шептал Джордж Адамс, подходя к нему. — Вот твои зубы.

— Ничего не будет, — ответил Турок, морщась от боли. Он ополоснул искусственные челюсти, осмотрел их, сунул в рот и прищелкнул зубами, чтобы они получше встали на место. — Ничего. Никто ничего не скажет, Профессор. Утром, когда отпрут дверь, мы все выйдем отсюда, а белые пусть сами разбираются.

— А как же... — шепнул было Джордж Адамс, но Юсеф Турок резко его перебил:

— Слушай, друг, это же тюрьма, понял? Такие вещи тут время от времени случаются. Тюрьму построили они, пусть они ею и управляют как следует. А тем, кто тут заперт, нужно одно: самим улаживать свои дела, а с белыми держать язык за зубами. Ты не думай, будто тут как на воле. — Он смочил водой опухший глаз. — И вот еще что: если ты начнешь разыгрывать паиньку и захочешь помочь правосудию, дружкам Мясника это не понравится. Подколол его кто-то из них, так что им не понравится, если про это узнают надзиратели. И они сведут счеты с тем, кто распустил язык.

Джордж Адамс понимал, что объединившаяся шайка Мясника не менее опасна, чем был он сам, а может быть, и опаснее. И все же рассердился на себя за то, что почувствовал страх. К тому же его мучило, его желудок подергивался, как рука старика. Он в первый раз видел, как кого-то убили, и мысль о том, что ему придется провести ночь в этой камере рядом с трупом, приводила его в ужас.

Он сглотнул слюну и спросил:

— Как ты себя чувствуешь, Юсси?

Турок пососал разбитые костяшки пальцев и выругался.

— Голова почти не болит. А вот спина и колено...

— Утром заявишь, что болен?

— Наверно.

— А что ты им скажешь?

— Что я болен, расшибся. Ну, с лестницы слетел или еще что-нибудь.

— Но тебя же будут допрашивать...

— Вот когда будут, тогда и посмотрим.

Он, прихрамывая, поплелся туда, где они устроили себе постель, но Джордж Адамс почувствовал, что больше не может совладать с тошнотой, и стремглав бросился к параше. Он долго лежал без сна, изнывая от духоты, и мысли его все время возвращались к Мяснику, который терроризовал своих товарищей и был убит одним из них.

### 3

Человек со шрамом на левой щеке соорудил длинную сигарку. С терпением и искусством хирурга, делающего труднейшую операцию, он оторвал полоску оберточной бумаги, перегнул ее пополам вдоль, потом зажал между большим и средним пальцами так, что указательный палец мешал краям сойтись, аккуратно насыпал табак из трех сигарет по всей длине полоски и старательно разровнял. Затем ловко свернул бумагу в трубочку, лизнул один край, приклеил его, потом для верности облизнул всю трубочку и закрутил концы.

— Огоньку! — приказал он.

Один из его товарищей по камере выпростал рубашку из штанов, повозился со швом и, как фокусник, извлек на свет спичку — вернее, половину спички, умело расколотой вдоль. Человек со шрамом взял ее, подошел к стене и чиркнул, точно рассчитав нажим. Едва она вспыхнула, как он поднес к ней сигарку, быстро затянулся и выпустил дым через ноздри.

Человек со шрамом подошел к двери и выглянул наружу. Ночь окутала тюрьму лиловым саваном. Псалмопевец умолк. Человек со шрамом вернулся на прежнее место, с наслаждением затягиваясь табачным дымом, а тот, кто дал ему спичку, сказал:

— Гус, ты бы разогнал дым. Явится старый хрыч, и будет заварушка. Нам ведь табак не положен.

— А пошел он! — засмеялся Гус, показывая длинные желтые зубы. Когда он смеялся, тонкий шрам на щеке белел и изгибался, точно плохо застроченный шов. — Он придет еще не скоро, — сказал Гус.

— Может, и так, — отозвался его собеседник. — Но ты всю-то не выкуривай!

— Ну ладно, ладно.

Гус затянулся, а потом вынул сигарку изо рта и поглядел на тлеющий кончик. Это был плотный коренастый человек среднего роста с сильными кражистыми ногами — переразвитые мышцы икр бугрились узлами, ступни были широкие и мозолистые.

Он подошел к своей постели и сел, поджав ноги, точно факир. Сделав еще две затяжки, он передал самокрутку своему товарищу.

У этого человека было очень темное, круглое и плоское лицо, больше всего напоминавшее доньшко сковородки, на котором по слою саж, горелого масла и застывшего жира кто-то небрежно нарисовал пальцем глаза, ноздри и губастый рот. Когда он говорил, были видны торчащие резцы и сбоку золотая коронка. Его карие глаза весело блестели.

Затянувшись, он улыбнулся во весь рот.

— Давненько я не курил! Этот парень там ничего, правильный.

Он покурил еще, а потом спросил:

— Как по-твоему, Гус, сколько мы схлопочем за этого надзирателя?

— Сколько? — рассмеялся Гус.

Он в общей сложности уже получил двадцать три года тюремного заключения. Ему было двадцать семь лет, и он не собирался спокойно отсиживать срок до конца. Друзья на воле готовили ему побег, и теперь он ждал только весточки от них.

Нападение на надзирателя входило в план, а круглолицего он втянул в это дело для того, чтобы лучше замаскировать свою истинную цель. Третий же присоединился к ним неожиданно, когда они уже бросились на надзирателя, — по-видимому, он просто поддался настроению минуты. Все получилось, как было задумано, и из каменоломни их перевели до суда в городскую тюрьму, на что и рассчитывал Гус.

Но двум своим товарищам Гус о побеге пока ничего не говорил, откладывая объяснение до последней минуты. Тогда они будут вынуждены бежать с ним — во всяком случае, через окно на крышу. А там пусть сами о себе заботятся. Остаться в камере они не рискнут, так как им придется отвечать за то, что они не подняли тре-

воги и не остановили его — ну, а уж этого они никогда не сделают и предпочтут бежать с ним.

Гус поглядел на окошко в глубине камеры и улыбнулся. Изнутри оно было затянуто крепкой проволоочной сеткой, а снаружи загорожено решеткой из четырех прутьев. Над окошком поднимался парапет крыши. Гус снова улыбнулся — он был домушником и умел лазать по отвесным стенам и крутым крышам. Потом он сказал небрежно:

— Сколько? Год, два — какая разница! — Он поглядел на третьего обитателя камеры, который сидел, обхватив колени, и тупо смотрел перед собой. — Что это с ним?

Круглолицый, которого звали Морган, ответил:

— С ним-то? Он боится.

— Боится? Сопля! Гнида! — объявил Гус; бросая на третьего хмурый взгляд.

Этот третий обитатель камеры был моложе остальных двух, и его неотступно терзала мысль о том, что он получит лишний срок за участие в нападении на надзирателя. Глаза у него были тусклые, углы рта уныло загибались вниз, и рот казался отпечатком подковы на бледном лице.

Он поглядел на Гуса и Моргана, а потом сказал:

— Не лезьте вы ко мне. Ну чего вам от меня надо? Оставьте человека в покое.

— Сопля! — насмешливо повторил Гус. — И чего он увязался за нами бить надзирателя? Ну-ка, Копп, зачем ты это сделал?

Копп ответил голосом, в котором дрожали слезы:

— Черт! Я и не думал вовсе. Как-то само собой вышло. Точно меня толкнуло. Я скажу в суде, что увидел, как вы бросились на него, а потом вдруг и сам... Только я не хотел. Как-то само собой получилось.

— А, так ты не хотел! — передразнил его Гус. — Не хотел, бедненький, а вот сидишь теперь здесь!

— Да отвяжись ты от него, Гус, — вмешался Морган. — Ну, может, у него в башке помутилось. Это бывает.

— А теперь он трусит? Сопля! Он, наверно, только и умеет ходить в штаны. Гнида вонючая!

— Не лезь ты ко мне, Гус, — с тоской пробормотал Копп. — Не лезь!

— А пшел ты! — Гус повернулся к Моргану. — В Дыре кто-нибудь сидит?

— Вроде нет, — ответил Морган и, еще раз затянувшись, протянул Коппу окурочку сигарки.

— С чего ты вздумал угощать этого говнюка? — сердито спросил Гус.

— Брось! Пусть покурит, — отозвался Морган.

Копп взял окурочку и пробормотал слова благодарности. Рот у него нервно подергивался, и было приятно зажать в губах шершавую плотную трубочку. Он затянулся, уныло глядя в пол.

— Нет, — продолжал Морган, — в Дыре я никого не видел.

— Эй, сопля! — сказал Гус, глядя на Коппа. — Хочешь посидеть в Дыре?

Дырой называли карцер в подвале — квадратную камеру без окон, покрашенную изнутри черной краской. Воздух туда попадал через узкую зарешеченную отдушину над дверью, и там всегда было темно, как в аду.

Гус продолжал изводить перепуганного парня:

— Спорим, ему в Дыре понравится. Там внутри темно, хоть глаз выколи, и, говорят, там водятся привидения. Один слабак там свихнулся и покончил с собой.

Копп молча курил. Гус встал, подошел к нему, вырвал окурочку из его рта и сам докурил дотлевающий табак. Он злился и нервничал из-за побега, как беременная женщина накануне родов, и срывал свое раздражение на Коппе.

— Сядь, Гус, — посоветовал Морган. — Чего ты держешься? Вши заели?

Гус только злобно фыркнул, вернулся к своей постели и лег, закинув руки за голову.

— А кто эти рядом? — спросил Морган.

— Один фраер. Его взяли за разговоры против правительства, — сообщил Гус. — А второй как будто сидит за мокрое дело.

— За разговоры против правительства?! — удивился Морган. — За что только теперь не сажают! Я бы и сам кое-что сказал про это вонючее правительство. Да-а, хватают и за то и за это.

Он лежал, задрал босые ноги, и теперь ткнул большим пальцем в сторону надписей, испещрявших стену напротив.

— Вот посмотри! Видишь? «Тоффи Уильямс». Вон там!

— Где? — спросил Гус, вглядываясь.  
— Ну вон там! «Тут сидел Тоффи Уильямс за убийство».

— А, ты вот о чем! Вижу. Ну и что?

— А то, что я Тоффи знал. И опять скажу: за что только сюда не попадают. А Тоффи не везло. Черт знает какой он был невезучий!

— Так что он сделал-то? — спросил Гус. Он готов был слушать какие угодно истории, лишь бы заглушить томительное раздражение, которое жгло его.

Морган поерзал, устраиваясь поудобнее на жесткой веревочной циновке, прикрытой одним одеялом.

— Дело, значит, было так, — начал он...

Как-то вечером Тоффи Уильямс со своим корешем Сэмом Никерком вышел из пивной Дьюка. Они пропустили пару-другую кружек, а теперь шли домой. Тоффи был рыбаком, работал на траулере и по неделям, а то и по месяцам торчал в море. Так уж у них, у рыбаков, заведено. Ну, когда он возвращался, Сэм уже поджидал его у Дьюка, неподалеку от порта, и они выпивали за встречу. Тоффи зарабатывал прилично, а за хороший улов им еще полагалась премия. Сэм был его кореш, и Тоффи всегда угощал. Сэм-то работал где-то в городе, и свободного времени у него было много.

Ну, вышли они из пивной и пошли себе по Портовой. Тоффи несет на плече мешок с инструментом. Идут они, значит, разговаривают, и тут вдруг из-за угла шасть кто-то и прямо на Тоффи, так что он чуть свой инструмент не растерял.

— Какого дьявола! — кричит он.

— Простите, мистер, — говорит кто-то тоненьким голосом.

Глядят, девчонка растянулась у стены.

— Ну-ну, — говорит Тоффи и помогает ей встать, а сам смеется. — Не ушиблась?

— Ничего, — отвечает девчонка и тоже смеется.

Тут Тоффи ее разглядел: очень симпатичная, вся накрашена, как куколка, и волосы мягкие. Ну, словом, картинка.

Короче говоря, так Тоффи и познакомился с этой Беллой. И начал с ней гулять. Хотя он все еще угощал своего кореша Сэма, когда сходил на берег, но времени

для друзей у него оставалось мало. Ну, как всегда, когда человек спутается с девчонкой. Сэм, правда, думал, что она просто шлюха с Портовой, но Тоффи про это не говорил.

Прошло так месяца два-три, а Тоффи, когда бывал на берегу, все с Беллой да с Беллой. Сэм всегда их видел вместе — кроме разве тех случаев, когда выпивал с Тоффи у Дьюка. Они, то есть Тоффи с Беллой, ходили в кино, или в парке сидели, или ездили на пляж, когда погода была подходящая.

И вот как-то сидят они вечером в парке, а Белла что-то притихла. Ну, Тоффи ее и спросил, чего это она, а она и говорит:

— Да ничего.

Только он видел, что у нее не все ладно, и давай ее расспрашивать, ну и она ему под конец сказала:

— У меня будет ребенок.

— Вот те на! — говорит Тоффи.

— Ну и что же ты будешь делать? — спрашивает Белла.

— Не знаю, — отвечает Тоффи, растерявшись.

— Ну так я что-нибудь сделаю, — говорит Белла.

— Как это «сделаешь»? — кричит Тоффи. — Где ты набралась таких вещей? И думать не смей!

— Так что же мне — рожать? — спрашивает она сердито.

— Конечно, — говорит Тоффи. — Только нам лучше будет пожениться.

Ну, они и поженились. Получили домик от муниципалитета, а у Тоффи были сбережения, так что они и мебель купили.

Сэм Никерк ходил к ним в гости. А потом ребенок родился. Мальчик. И похожий на Тоффи.

Ну, время шло, и Тоффи с Беллой жили как будто хорошо. Конечно, ссорились иногда, как это между женой и мужем водится. Особенно если Тоффи хлебнет лишнего.

Как-то вернулся Тоффи с лова и по обыкновению зашел к Дьюку, а там, конечно, Сэм и прочая компания.

— Здорово, ребята, — говорит Тоффи и бросает свой мешок у стенки.

— Здорово, Тофф! Улов был хороший?

— Лучше некуда, — говорит Тоффи. — Так что разопьем по кружке.



— Смотри не протраться! — смеется Сэм. — Не твоя хозяйка с тебя шкуру спустит.

Посмеялись, а Тоффи говорит:

— Ну, нет. Тут любовь до гроба.

Все опять засмеялись, выпили и давай дразнить Тоффи, что он, дескать, совсем остепенился и все деньги отдает жене.

Ну, выпили они еще, мирно так, тихо.

— Что верно, то верно, — говорит кто-то у стойки. — Тоффи есть для чего возвращаться домой. В тепло и уют после холодного-то моря!

— А как же! — говорит другой.

— И не он один так думает, — говорит третий и подмигивает остальным у Тоффи за спиной.

— Ты это о чем? — говорит кто-то и смеется. — Тоффи, друг!

Тоффи оскалился, как акула, и глядит на них.

— Вы про что?

А тут его кореш, Сэм, берет его за локоть и говорит:

— Вот что, Тофф. Пойдем-ка со мной на улицу. Там и потолкуем.

— О чем это? — спрашивает Тоффи, берет свой мешок и идет за Сэмом.

Вышли они, значит, а Сэм и говорит:

— Тут дело такое: каждое утро у твоей двери стоит тележка зеленщика, и что-то долго стоит. Мы это все видали.

— Ну и что?

— А зеленщик — парень красивый, только и всего.

Ну, Тоффи совсем взбесился. А главное — в пивной все хохочут, а ему слышно. Человек он был простой, и все это ему очень не понравилось. Ну, время шло к полудню, и он решил пока домой не возвращаться, а пойти туда на другой день пораньше утром.

Тут он ушел от Сэма. Днем шлялся по другим пивным, а ночь провел в одном притоне, стараясь утопить в вине сомнения и подозрения, которые грызли его, точно крыса кусок сыра.

Утром Тоффи, пошатываясь, пошел домой. Гады они, а не друзья — ну просто тронутые. Да и Сэм хорош — кто же это другу такие вещи говорит про его жену? Тепло и уют после холодного моря! Не он один так думает! Решили разыграть его. Измываются, сволочи! Но он-то знает, какая у него хорошая жена...

Тут он свернул на свою улицу и вытаращил глаза. Перед его домом стояла-таки тележка с зеленью, а входная дверь была закрыта.

Тоффи устался на эту улику. Тепло и уют после холодного моря! И парень он красивый!

Тут Тоффи совсем очумел. Вбежал в дом, ничего не соображая. В руке у него сверкнул нож для чистки рыбы. Белла завизжала. А зеленщик вроде растерялся.

Белла на суде показала, что попросила зеленщика только внести ее покупки в дом и он их внес, как всегда вносил.

— Вот так-то, — закончил Морган, оскалив крупные зубы. — Сюда за всякое попадают. Некоторые говорили, что Тоффи сам виноват: нечего было связываться с девкой, которую он подобрал на Портовой. Ну, не знаю.

— А что дальше было с этой Беллой? — спросил Гус, переворачиваясь на бок и глядя на Моргана.

Тот зевнул и почесал грудь под линялой красной рубахой.

— Уа-ха-ха! — сказал он. — Она вскоре закрутила с Сэмом Никерком.

4

Ночной надзиратель пришел и ушел. Они услышали, как вскоре после отбоя открылась дверь вниз, и потом его каблуки застучали по лестнице. Надзиратель постоял у дверей занятых изоляторов, проверил засовы и заглянул в окошечко. Джордж Адамс, который лежал, растянувшись, на своем одеяле, увидел лицо и фуражку надзирателя — ячейки сетки и прутья делили его лицо на прямоугольники и квадратики, словно оно было мозаичным. Потом они услышали, как он спускается по лестнице, стукнула железная дверь, щелкнул замок.

Запирают и отпирают, подумал Джордж Адамс. Только и делают, что запирают и отпирают. Прекрасная гимнастика для ума. Ему пришло в голову, что тюремные надзиратели, в сущности, такие же заключенные — ведь почти всю свою жизнь они, пока работают, проводят за каменными стенами и решетками. Прикованы к другому концу цепи...

Он зевнул, прикидывая, что они сделали с Юсефом Турком и чем вообще может кончиться это дело.

Тогда утром все ринулись к двери, едва она распахнулась, и выскочили во двор, одеваясь на ходу. Мясник остался лежать, укрытый одеялом, и можно было подумывать, что он просто спит.

Юсеф Турок потащил Джорджа Адамса за собой, не слушая его возражений, впрочем не очень настойчивых. Уже во дворе Джордж Адамс сказал:

— Но нельзя же его бросить вот так!

— Чего тебе еще взбрело в башку? Унести его? — прошипел Турок. — Держись, будто ничего не случилось, приятель. А этим пусть занимаются другие. Они знают, что нужно делать.

И Джордж Адамс вдруг ощутил тягостный стыд, точно он бросил во время отступления тело друга.

Позже, когда они построились на поверку, надзиратели обнаружили, что одного заключенного недостает. Обеспокоившись, они еще раз пересчитали четверки, а потом один из них обошел камеры и нашел труп Мясника. Он выбежал во двор, взволнованно крича:

— Эй, он валяется там мертвый!

Жирный и ночной надзиратели бросились за ним в Большую камеру. Они вышли оттуда все трое, и Жирный встал перед строем заключенных. Его пухлое лицо хмурилось. Он обвел их подозрительным взглядом.

— Те, кто ночевал в этой камере, шаг вперед!

По строю заключенных прошло движение, но никто ничего не сказал и никто не сделал шага вперед. Жирный холодно усмехнулся и поглядел на остальных надзирателей.

— Ну конечно, там никто не ночевал. И никто из этих красавчиков ничего не знает.

— Я пойду разбужу начальника, — сказал ночной надзиратель.

— Валяй, иди.

Тот ушел, а Жирный неторопливо прошел вдоль ряда, всматриваясь в каждое лицо глазами ледяными и застывшими, как сама смерть. Рот под пшеничными усами кривился в злой усмешке.

Через несколько минут явился начальник тюрьмы, длинный, худой и костлявый. Он шел, выставив вперед голову на морщинистой шее, точно ищейка, взявшая след.

И вот в эту минуту юноша по прозвищу Малыш Касба вдруг затеял драку. Раздался вопль, строй смешался, люди отскочили в сторону, и все увидели, что Малыш Касба бьет привязанной к поясу кружкой какого-то молоденького парнишку, который только закрывает лицо руками, вскрикивая от боли, и старается увернуться от ударов, сыплющихся на его голову и плечи.

Надзиратели кинулись туда, отшвыривая тех, кто оказался у них на пути. Жирный схватил Малыша Касбу за ворот и вырвал у него кружку. Начальник тюрьмы был взбешен. Он зашагал к нарушителю порядка — его длинные ноги двигались, точно рычаги какой-то машины.

— Что это ты затеял? — крикнул он, поднимая трость, как дубинку.

Малыш Касба угрюмо поднялся на ноги и ничего не отвечал. Он покусывал нижнюю губу и смотрел куда-то вдаль.

— Кто он такой? — спросил начальник тюрьмы, и Жирный прикрикнул на юношу:

— Покажи карточку начальнику, мерзавец!

Малыш Касба вытащил из кармана брюк свою регистрационную карточку и, не взглянув на Жирного, протянул ее. Начальник тюрьмы поглядел на карточку, раздраженно фыркнул и сказал:

— А! Еще один любитель пускать в ход нож. Из этих, из закоренелых. — Он медленно кивнул, как заводная механическая игрушка. — Лишить завтрака, обеда и ужина — и в изолятор! — приказал он. — До дальнейшего распоряжения.

Он вперил взгляд в толстого надзирателя, и Жирный поднес руку к козырьку.

— А ну, иди! — рявкнул он на Малыша Касбу и ткнул его концом дубинки.

— С чего этот псих отколол такую штуку? — задумчиво пробормотал Юсеф Турок, потирая ладонью ноющую спину.

— Заявил бы ты, что болен, — посоветовал Джордж Адамс.

— Не сейчас. Да они теперь и не станут выслушивать жалобы.

В эту минуту во дворе появились два каторжника с носилками в сопровождении больничного санитаря, у которого поверх формы был надет белый халат. Все они —

начальник тюрьмы, надзиратели, носильщики и санитар — вошли в Большую камеру.

Заключенные в строю начали переговариваться и оглядываться. Джордж Адамс заметил, что бывшие дружки Мясника стоят рядом и, усмехаясь, что-то обсуждают — Моос, Нур, Маленький Джонни, Тормозной Питерсон, Косой и Розовый. «Кто же из них это сделал?» — подумал Джордж Адамс. Но если судить по лицам, все они были способны украсть вставные челюсти собственной бабушки, открой она в их присутствии рот.

Из камеры вышел санитар, за ним каторжники с носилками. Труп Мясника был накрыт одеялом. Затем вышел начальник тюрьмы. Шествие замыкали надзиратели. Начальник говорил:

— ...для них это словно не тюрьма, а пивная!

Он обвел взглядом строй заключенных, которые разом смолкли.

Начальник тюрьмы был рассержен и встревожен. Управление тюрьмами требовало, чтобы он поддерживал должный порядок во вверенной ему тюрьме и не допускал, чтобы порочащие систему факты становились достоянием гласности. У тюрем и так достаточно скверная репутация! Но как он сумеет скрыть такой скандальный случай? Начальник тюрьмы с кислым и расстроенным видом пошел к калитке.

Завтрак, овсяная каша, был роздан и съеден в полном молчании. Это молчание, по-видимому, внушало толстому начальнику секции какие-то опасения: он медленно прохаживался по двору, и связка ключей в его руке позвякивала в тишине, которая составляла единое целое с солнечным светом и узором теней на каменных стенах.

После завтрака Юсеф Турок встал, скособочился, подмигнул Джорджу Адамсу и, хромая, побрел к надзирателю. Джордж Адамс и все остальные смотрели, как они обменялись несколькими словами и Жирный подозрительно прищурился. Он что-то сказал и оглядел Турка с ног до головы. Еще что-то сказал, взмахнув ключами, а Юсеф Турок, показывая на спину и на колено, что-то объяснил, после чего надзиратель покачал головой и, судя по выражению его лица, выругался. Потом он подошел к калитке, отпер ее и передал Юсефа Турка надзирателю, наблюдавшему за двором по ту сторону решетки. Надзиратель пошел с ним к арке, за которой была

больница, и в этот день Джордж Адамс больше Турка не видел.

Заключенные принялись убирать двор, подметать камеры, выносить параши, и жизнь постепенно вошла в привычную колею — начались разговоры, и двор заполнился обычным разноголосым гулом.

Толстый надзиратель продолжал расхаживать по двору. Все понимали, что он рассчитывает узнать что-нибудь о смерти Мясника, и при его приближении разговоры смолкали, а он сердито шел дальше.

Джордж Адамс стоял в клинышке тени. Тюремная кошка подошла и изящно потерлась о его ногу. Он с улыбкой нагнулся, взял кошку на руки и принялся поглаживать шелковистую шкурку, наблюдая, как топорщится мех, где рука перестает его касаться. Кошка замурлыкала и лизнула ему руку шершавым теплым язычком.

Кто-то сказал над самым его ухом:

— Ты зачем взял кошку?

Подняв голову, он увидел перед собой морозные глаза Жирного.

— Я с ней просто играю, — коротко ответил Джордж Адамс.

— Играешь? Ты что, для того здесь, чтобы играть?

— Какой вред в том, что я подержу на руках кошку? — спросил Джордж нарочито небрежным тоном.

— Все еще распускаешь язык, умник?

— Вы задали вопрос, и я ответил, — сказал Джордж Адамс. Ему было смешно смотреть, как растерян и озабочен надзиратель. Он подумал: «Вляпался Жирный! Совсем перетрусил».

— Мне твоя наглость надоела! — рявкнул надзиратель, взмахивая у самого его носа розовым пальцем, похожим на сосиску. — Сейчас увидишь, что значит умничать! А ну, брось кошку и иди за мной. Я тебе покажу!

Джордж Адамс осторожно опустил кошку на асфальт, его покрытые щетиной щеки дрогнули в улыбке. Он пошел за толстяком, а позади смеялись заключенные, глядя, как надзиратель сердито семенит ногами, сейчас он был похож на дородную женщину, которая куда-то опаздывает.

Надзиратель отпер калитку и знаком приказал Адамсу выйти в большой двор.

— Стой тут, пока не придет майор, — приказал Жирный и добавил, обращаясь к надзирателю, дежурившему во дворе: — Последи за этой сволочью, приятель.

Джордж Адамс долго стоял на солнцепеке у решетки и смотрел, как трое каторжников из изоляторного корпуса все ходят и ходят по кругу. У одного из них щеку рассекал узкий шрам, кожа другого была совсем черной, а третий — щуплый и изможденный, — по-видимому, испытывал мучительную тревогу. Их босые ноги шлепали по асфальту — круг за кругом, круг за кругом. Солнце палило нещадно, и все они были мокры от пота.

Ближе к полудню из административного корпуса вышел надзиратель и принялся колотить по железному треугольнику перед дверью; послышалась команда:

— Становись! Становись!

Обитатели черной секции предварительного заключения построились во внутреннем дворе и смолкли. Джордж Адамс стоял один под слепящим солнцем, его клонило ко сну, и он жалел, что нельзя лечь.

Тюремная кошка проскользнула сквозь решетку и направилась к кухне за изоляторным корпусом, а Джордж Адамс сонно смотрел ей вслед и думал: «Кисонька, киса, попал я из-за тебя в переплет, кисонька!»

Затем во двор вышел начальник тюрьмы и направился к калитке белой секции, а Джордж Адамс следил за тем, как он идет — высокий, костлявый, слегка наклонившись вперед от пояса, точно пугало, которое вот-вот опрокинется. Трость он зажал под мышкой, и вид у него был очень разгневанный.

Проинспектировав заключенных белой секции, он направился в черную секцию и, заметив Джорджа Адамса, остановился перед ним.

— Это еще что такое?

Жирный, вышедший ему навстречу, поднес руку к козырьку и ответил:

— Это смутьян, майор. Распускает язык и дерзит. — Он прикрикнул на Джорджа Адамса: — Давай карточку!

Начальник тюрьмы поглядел на карточку и совсем вышел из себя. Он сказал:

— А! Один из этих! Участие в нелегальной организации, тэк-с? — Он сверлил Джорджа Адамса сердитым взглядом, и его чисто вымытое розовое лицо наливалось кровью. — Я больше не потерплю этих безобразий! Слышите? Не потерплю! С этой секцией и без того хватает

хлопот! Что произошло вчера? Я этого больше терпеть не намерен! Являются сюда, как на собрание. Устраивают беспорядки! — Он повернулся к Жирному. — Лишить обеда и ужина и отправить в изолятор.

Начальник тюрьмы удалился, бормоча:

— Никто, конечно, ничего про это не знает. Ничего!

И теперь, лежа в камере напротив Малыша Касбы, Джордж Адамс засыпал и слушал ветер. Ветер, посвистывая, гулял по тюрьме — врвался в проходы и опустевшие дворы, упирался в стены и, побежденный, отступал, жалобно курлыкал, раздраженно бился в карнизы и двери. За ночь он окрепнет и будет выть от ярости, натываясь на непреодолимые каменные преграды, будет рвать калитки и засовы, хлестать по бетону и кирпичу и, разбиваясь о стены, с ревом уноситься в город.

По-прежнему, аккомпанируя нарастающему свисту ветра, капала вода из испорченного крана, и Джорджу Адамсу снилось, что он стоит во дворе дома, где он снимал квартиру, а Мясник говорит: «Эй, заверните кран!» Под мышкой у Мясника была пачка листовок, и он объяснил Джорджу Адамсу: «Надо раздать их за вечер, пока нас не заперли на ночь». «Тебе помогут Джефферсон и Юсси», — сказал Джордж Адамс. «Я перережу Юсси его поганую глотку». И Мясника унесли на носилках, а он держал листовки и говорил: «Кто убил воробья?» И тут миссис Айзекс, квартирная хозяйка, сказала: «Я этого не потерплю. Вас повесят за шею, пока не будете мертвы, мертвы, мертвы. Хватит спать. Вот ваш чай!» Она держала миску с бобами, другой рукой трясла Джорджа Адамса за плечо и приговаривала: «Вставайте, на работу опоздаете! Вставайте!»

Джордж Адамс проснулся, бормоча:

— А? Что?

Малыш Касба тряс его за плечо:

— Пора вставать, мистер. Уже звонили.

Ветер совсем стих, и утреннее солнце било в окошко, отбрасывая на пол сетчатый узор.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп...

По кругу, по кругу, еще раз по кругу — босые ноготокжников шлепали по раскаленному асфальту двора.



За ними шли Малыш Касба и Джордж Адамс. Сбоку над их головами, точно раскаленная монета, в синеве неба висело солнце. Хотя на вершине горы лежала шапка облаков, предвещающих ветер, полуденный воздух был неподвижен.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп...

Обруч идущих людей все катился и катился. Их тени то волочились за ними черными лохмотьями, то сметали солнечный свет перед ними. У стены изоляторного корпуса со скучающим видом стоял надзиратель. За высокой стальной решеткой, во дворе секции предварительного заключения, рядами сидели заключенные, ожидая, когда лязг треугольника возвестит обед, а солнце неумолимо укорачивало тень, в которой они ютились.

Через двор прошел старший надзиратель, и толстый начальник секции закричал во дворике:

— Шапки снять! Шапки снять!

Прошел писарь с толстой книгой под мышкой и перекинулся шуткой с надзирателем у стены. В кухне гремели крышки котлов, а из испорченного крана все падали и падали капли, дразня напоминанием о ледяной воде.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп...

Перед Джорджем Адамсом маячила худая спина Малыша Касбы, его обвисающие джинсы, резиновые туфли, грязные и совсем изношенные, — они шлепали по асфальту почти так же звонко, как босые подошвы каторжников. Малыш Касба шагал с тупым упорством, закованный в латы молчания, пряча свои мысли под невидимыми покрывалами непроницаемого равнодушия.

Джордж Адамс подумал: «Недурной способ похудеть». Он совсем взмок и прикидывал, что произойдет, если он сядет в тень отдохнуть. Шагая по кругу, он улыбнулся чернолицему каторжнику, когда тот оказался напротив, и круглое лицо раскололось в широкой улыбке, блеснув золотым зубом, один глаз подмигнул. Раньше, когда они все спускались по лестнице, человек со шрамом поблагодарил его за табак, и теперь Джордж Адамс решил, что оба они — приятные ребята. Третий был хмур и ничего не сказал.

Шлеп-шлеп-шлеп...

Пятеро шли и шли по кругу. Гус косился на решетку, выглядывая человека, который должен был подать ему сигнал, что все готово. Он шел по кругу под палящим солнцем, щуря глаза от ослепительного света, и шарил

взглядом по рядам болтающих заключенных во внутреннем дворе. Но человек, который был ему нужен, не обращал на него внимания, и он шел по кругу и думал: «Наверно, у них все готово. Конечно, готово! Не то я с ними посчитаюсь!»

Шлеп-шлеп...

Со стороны складов появился караван каторжников, и Джордж Адамс посмотрел на них с удивлением: каждый тащил на плечах большой мешок с мукой, и их ноги дрожали и подгибались от непомерной тяжести. Поддерживая каждый свою Землю, эти согбенные, побагровевшие от натуги Атланты брели к кухне.

За ними во двор вошел цветной младший надзиратель и, встав у решетки, начал называть фамилии по списку. Один за другим вызванные подходили к решетке, и их выпускали за калитку. Джордж Адамс услышал свою фамилию и, кивнув надзирателю у стены, тоже подошел к калитке.

Среди вызванных был и коротышка Солли, который улыбнулся ему и с кудахтающим смешком сказал:

— Здорово, приятель! Значит, тебе дали отдельную комнату, а?

— Да, — засмеялся Джордж Адамс. — Номер-люкс. А что тут происходило?

— Вчера приходил следователь, — ответил Солли, глядя мимо Джорджа Адамса на Гуса, который все шагал и шагал по кругу. — Никто ничего не сказал, — продолжал Солли, все еще не глядя на Джорджа Адамса, — наверно, будут и дальше вести допрос. Может, какая-нибудь сука им что-нибудь скажет, а может, им надоест и они бросят.

Солли пожал плечами, наконец перехватил взгляд Гуса и сделал рукой еле заметный таинственный знак, а Гус кивнул, подмигнул ему и продолжал шагать, чему-то улыбаясь про себя.

Надзиратель кончил читать список, построил вызванных попарно и повел к приемной для посетителей. Возле внешней решетки, через которую Джордж Адамс получил свою передачу, в стене была дверь. Надзиратель открыл ее и, отсчитав шестерых, велел им войти в узкую клетку, где шестеро человек лишь с трудом могли встать в ряд. Перед ними от пола до потолка была натянута проволочная сетка, а в четырех футах за ней — еще одна сетка, за которой стояли посетители.

Когда Джордж Адамс встал у стены, по его телу электрическим током пробежала дрожь волнения. Сердце забилося с необыкновенной быстротой — кого он сейчас увидит? Кого-нибудь из комитета или кого-нибудь из своих друзей? И еле удержался от радостного возгласа: миссис Айзекс, его квартирная хозяйка!

Маленькая и худенькая старушка, видимо, робела, но в то же время и негодовала потому, что ей пришлось идти в тюрьму. Джордж — тихий порядочный мальчик, считала она, но он связался с нехорошими людьми, которые выступают против властей. А в дела правительства вмешиваться не следует. В конце концов господь все устроит. Но если уж понадобилось арестовать Джорджа, то его могли бы держать в каком-нибудь приличном месте, а не тут, со всеми этими ворами, хулиганами и никчемными бродягами. Теперь, увидев заросшее лицо Джорджа Адамса и его воспаленные глаза, она почувствовала комок в горле и достала носовой платочек, чтобы утереть непрошеную слезу.

Джордж Адамс улыбался и махал ей за второй сеткой.

— Миссис Айзекс! Я очень рад, что вы пришли! Я очень вам благодарен.

Миссис Айзекс надела свой выходной наряд: он узнал розовый жакет и черную соломенную шляпу с пестрым букетиком искусственных цветов.

В клетке посетителей теснились другие женщины и мужчины. Расслышать, что говорит твой собеседник, было трудно, и вскоре все уже кричали и отчаянно жестикулировали.

— Вы себя хорошо чувствуете? — крикнула миссис Айзекс, затиснутая в угол соседкой — могучей, увешанной дешевыми побрякушками толстухой в пестром платье, широком, как пляжный зонтик, и с толстыми руками, похожими на надутые хирургические перчатки. Толстуха разговаривала с коротышкой Солли.

— Очень хорошо, — отозвался Джордж Адамс, перекрикивая смешанный гул голосов.

— ... в воскресенье, — проревела толстуха.

— Вам надо бы побриться! — крикнула миссис Айзекс, сердито косясь на соседку.

— Заказы в лавку будут приниматься только в следующий вторник, — ответил Джордж Адамс. — Тогда я куплю лезвия. А передавать их запрещено.

— Скажи ему, что в воскресенье!— вопила толстуха. Пот лил с нее градом, и пудра превратилась в замазку.

— ...деньги для залога!.. — кричал кто-то еще.

— Ваш комитет дал мне для вас кое-что!— кричала Айзекс.— Я отдала клерку. А в среду вы все получили?

— Да. Спасибо!

— ...машина, — надрывалась толстуха, — там! В той улице!— Жирной рукой она указала на восток.— В воскресенье ночью. Я тебе принесла разных разностей, Солли.— И она хитро подмигнула коротышке.

— Ясно, тетушка, ясно,— взвизгнул Солли и разразился кудахтающим смехом.

— А ты принес...— перебил их посторонний голос.

— И они заплатили ваш долг за квартиру!— крикнула миссис Айзекс с притворной строгостью.

Джордж Адамс засмеялся и послал ей воздушный поцелуй.

— Я сегодня видел вас во сне. Вы самая лучшая девушка в мире.

Миссис Айзекс засмеялась, показав беззубые десны.

— Скажи, ему, что все сделано!— проревела толстуха.

— Ладно!— ответил Солли, подмигивая.

— Ваш адвокат придет к вам в понедельник или во вторник!— крикнула миссис Айзекс, приставив ладонь рупором ко рту.

— Спасибо. Спасибо.

— Скажи, чтоб не беспокоился.

— Ладно, ладно.

— Я принесла вам коричневую рубашку, Джордж. А эту отошлите в стирку. И носки тоже. Я принесла носки и носовой платок. Вам нужно еще что-нибудь?

В клетке продолжали перекрикиваться, пока надзиратель не зазвонил в колокол. Время свидания кончилось. Миссис Айзекс помахала Джорджу Адамсу, и он помахал ей в ответ. Толстуха подмигнула Солли и вышла из клетки, переваливаясь, как слониха. Все махали и что-то кричали друг другу на прощание.

## 6

— Черт подери, как же мы откроем эти персики?— спросил Джордж Адамс.

— Можно попросить у надзирателя консервный ключ,— ответил Малыш Касба.— У них есть в дежурке.

— А! Так я попрошу. Значит, у нас есть персиковый компот, а вот еще банка вырезки. Четыре яблока, пакетик леденцов и сигареты.

— А разве бывает вырезка в банках?— спросил Малыш Касба. Его грызло подозрение, что щедрость соседа — какая-то ловушка, и говорил он с обычной неохотой.

— Ну и попируем же мы!— со смехом объявил Джордж Адамс.

— Да ладно вам, мистер.

— Обеденные миски у нас еще не забрали. Ну так мы придержим их до завтрака, чтобы было куда выложить консервы.

— Я вас, мистер, объедать не хочу. Это же для вас прислали.

— Брось, друг! Тут вполне хватит на двоих.

— Спасибо, мистер.— От непривычных слов благодарности во рту юноши остался странный привкус, точно после лекарства.

— Ну-ка, закурим! Угощайся!

— Странный вы человек, мистер!— Детское лицо со злыми старческими глазами нахмурилось.— Вот вы что мне скажите, мистер. Про то, чтобы цветных тоже выбирали в правительство. По-вашему, это поможет людям вроде нас? Ну, тем, которые в тюрьме?

Джордж Адамс сказал загадочному юноше, который был убийцей:

— Во всяком случае, с ними будут обращаться по-человечески.

— По-вашему, так когда-нибудь будет?

И Джордж Адамс сказал:

— Вот увидишь.

Его охватила грусть.

7

Этот задрыга Солли с кем-то сегодня повидался, думал Гус, растянувшись на одеяле и глядя в потолок. Кого-нибудь обязательно прислали. Может, Уилли, может, старика Баарда. А то дядюшку Кооса или даже толстуху Флорри.

Теперь, когда он убедился, что и в самом деле что-то готовится, его охватило нетерпеливое волнение. Конеч-

но, они устроили так, чтобы Солли попал в тюрьму за какую-нибудь мелочь, едва узнали, что его, Гуса, переводят сюда. Тут Гус вспомнил про Коппа. Ополоумел от страха, гнида. Еще сорвет все дело. Ну да он ничего не будет знать до самой последней минуты. А как только Гус вылезет в окно, все будет просто. Стены, крыши — это пустяки. Что-что, а лазать он умеет.

*...Он перевалился через низкий паранет, а дождь хлестал его сотнями ледяных бичей. Дальше по улице в сырой мгле сиял огнями многоэтажный жилой дом, точно огромная рождественская елка. Далеко внизу пронесся автомобиль — черный жук, блестящий от дождя. Крыша, мокрая и скользкая, круто уходила вверх к коньку. Дождь колот ему лицо, струйками стекал за воротник. Он уверенно и ловко взбирался по металлической мокрой ребристой крутизне, на секунду уселся верхом на конек, чтобы взглянуть в темноту — не следят ли за ним. Но вокруг были только дождь да чахлая роща печных и вентиляционных труб и флюгеров. Вниз по другому склону — ограниченному не кирпичным паранетом, а только узким железным желобом. Вдруг его нога заскользила, и он поехал по вибрирующему металлу туда, где из моря дождя грозно, точно бивень нарвала, вставало острое уличного фонаря. Но его сильные пальцы затормозили падение, ноги нащупали желоб, а потом и венчик водосточной трубы. Весь мокрый, он медленно и осторожно начал спускаться к давно облюбованному окну...*

Нет, его они не поймают! Гус им не по зубам. В своем деле он первоклассный специалист!

8

Солли перебирал своими куриными лапками содержимое большого пакета, который ему передала толстуха. Он радостно похихикивал. Две жестянки рыбы в томатном соусе, пачка с двадцатью сигаретами, три банана и большой батон, который при проверке разрезали во всю длину. Он рассматривал эти припасы, не вынимая их из пакета.

Из другого угла камеры Тормозной Питерсон крикнул, улыбаясь своей жуткой улыбкой:

— У тебя есть для нас что-нибудь вкусненькое, Солли?

— Очень, очень вкусное!— закудахтал Солли. Он отломил банан от грозди и бросил его человеку с сожженным лицом.

Потом он принялся исследовать батон. Снизу, в стороне от разреза, корку пересекала еле заметная царапинка. Солли ткнул в нее длинным ногтем большого пальца, отогнул корку и вытянул три тоненькие новые пилки. Он завернул их так, что никто не заметил его маневра, в газетный лист, в который были раньше завернуты бананы и сигареты, а затем перекрутил длинный сверток жгутом, точно это была просто ненужная бумага, и опустил жгут на дно пакета. Сверху он положил консервы, хлеб и сигареты и сунул пакет под одеяло. А потом принялся чистить банан.

9

По утрам в субботу в секции обычно царила суматоха. В субботу надзиратели сменялись после раздачи ужина, а потому на протяжении этого утра заключенным выдавался и завтрак, и обед, и ужин. Тюремным властям не приходило в голову, что нельзя запирать людей с полудня до следующего утра без всякой еды.

В субботу, еще отпирая камеры перед завтраком, надзиратели уже были полны нетерпения. Они предвкушали, как пойдут днем на футбол, или поедут с женой и детьми за город, или просто побездельничают всласть. Поэтому они торопили заключенных, дергали их непрерывными распоряжениями и нетерпеливо подгоняли кухонную команду.

Солли проснулся, едва загремел треугольник. Он разом очнулся от сна, как лесной зверь, почуявший приближение врага, и быстро посмотрел по сторонам. Морщинистая лапка скользнула под сложенное одеяло, которое служило ему подушкой, и Солли убедился, что драгоценный пакет на месте. Правда, он не думал, что пакет могли украсть, не разбудив его, но проверить все же не мешало.

Повсюду в камере в бледном утреннем свете ворочались сонные тела. В воздухе стоял душный запах пота и грязных одеял. Снаружи затихал ветер; ночью он бу-

шевал, а теперь только хрипло вздыхал, как умирающая старуха.

Солли вскочил, натянул засаленные шорты, заправил в них полы своей длинной рубахи и закричал весело:

— Вставайте, вставайте, деточки! Пора кушать кашку, миленькие. Нехорошо заставлять дожидаться майора Жерды!

Вокруг него люди сонно охали и ругались, вяло протирая слипающиеся глаза.

— Вставайте, поднимайтесь!— вопил Солли, лихо отплясывая какой-то импровизированный танец. Ему не терпелось скорее выполнить свою роль в подготовке побега, и его глаза блестели, как две пуговицы, среди сухих морщин маленького лица.

— Господи!— пробурчал кто-то.— Эх ты расходишься, Солли!

— Расходишься!— заверещал Солли.— Я ведь не лежебока вроде вас. Да когда я работал на ферме, мы вставали в два часа выгонять скот. Расходишься!

Он начал свертывать свою постель, приговаривая:

— Сегодня суббота. Мы все идем сегодня на замечательный матч.— Он глупо захихикал.— Побейте, вы! Я хочу тут прибраться!

— Ты? Прибраться? Что это с тобой, Солли? Прежде за тобой такое не водилось!— засмеялся кто-то.

К этому времени все уже были на ногах — кто встряхивал одеяло, кто скатывал циновку. Тормозной Питерсон, Нур, Косой и их приятели, давно приспособившие работать за себя тех, кто был послабее, стояли у стены и покуривали. После смерти Мясника они забрали камеру в свои руки, и теперь вопрос заключался в том, кто из них первым сумеет совершить, так сказать, дворцовый переворот и стать единовластным диктатором.

— Эй, Солли!— крикнул Косой.— Пригляди за тем, чтобы у нас сегодня был кипяток! Чтой-то охота выпить какао. Мы его давно не пили.— Он посмотрел по сторонам здоровым глазом.— Куда делся этот фраер, которому прислали жестянку какао?

— Чтоб я вам таскал кипяток?— насмешливо фыркнул Солли.— По-твоему, я буду носить вам кипяток? Что я тебе — дворецкий? — Он сплюнул. — Подыщи себе горничную, приятель.

Косой почесался и ответил со смехом:

— Ладно, ладно, не лезь в бутылку! Я не всерьез.



Они не трогали коротышку, который в их компании играл роль придворного шута.

— Не всерьез! — повторил Солли. — И чего они не отпирают? Я хочу тут подмести!

Но сначала их построили для проверки, потом им rozdali завтрак, и, только когда началась общая уборка двора и камер, Солли наконец позволили вернуться в Большую камеру.

Команда заключенных вынесла параша и забрала бачки, чтобы налить в них воды. Тогда Солли начал энергично орудовать шваброй, и подметал он очень чисто, чтобы не вызвать подозрений.

На душе у него было беспокойно. Оставалось еще передать пилки Гусу, а надзиратели бдительно следили за тем, чтобы между каторжниками и теми, кто ждет суда, не было никаких сношений.

И Солли, сгребая в ведро тюремный мусор — окурки, клочки бумаги, апельсиновые корки, консервные банки, шерстинки от одеял и обгоревшие спички, — ломал голову над тем, как добраться до Гуса. Его старый, отупевший мозг, ветхий, как колченогий стул, был не способен составлять хитрые планы, и некоторое время Солли ругал себя за то, что связался с этим делом. Теперь, когда приближалась решающая минута, его обычная бойкость ему изменила и он совсем пал духом.

Сердито ворча, Солли подошел к своей свернутой постели, достал пакет и извлек из него бумажный жгут с пилочками. Его он бережно бросил в ведро поверх остатального мусора и, неся ведро перед собой, точно жертвоприношение, вышел из камеры.

Он прошел по мокрому дворику, не замечая, что занятые уборкой заключенные выплескивают воду прямо на его кривые ноги. Мусорные баки стояли у решетки по ту ее сторону, и заключенные, подметавшие другие камеры, сновали взад и вперед со своими помойными ведрами через открытую калитку.

У калитки слева, подальше от мусорных баков, толпились те, кто ничего не делали, и наблюдали за происходившим в большом дворе. Сквозь прутья Солли увидел обитателей изоляторного корпуса. Вот Малыш Касба, этот низенький чудаков, который каждому хочет быть другом, черный каторжник, какой-то хлюпик и Гус. Неподалеку от них Жирный разговаривает с надзирателем, дежурящим во дворе, и с еще одним — из белой секции.

Солли пошел к калитке, Гус поднял глаза и увидел его. Солли кивнул, все еще не представляя, как Гус сумеет к нему подойти. Затем он прошел в калитку и тут увидел, что происходило во дворе.

10

Тюремная кошка поймала мышь и теперь играла с ней, перед тем как сожрать.

Мышь, маленькая и серая, отнюдь не собиралась допускать, чтобы ее сожрали, но ее слепил яркий солнечный свет, она была измучена ударами когтистой лапы, и надежды на спасение у нее, по-видимому, не оставалось никакой. Расставив лапки, она следила за туманным пятном на слепящем фоне — за пятном, которое было кошкой. Крохотные легкие отчаянно втягивали воздух. Мышка стояла, задрав остренькую мордочку и насторожив уши. Ее хвост бессильно лежал на горячем асфальте, дымчатое тельце дрожало мелкой дрожью.

Внезапно мышь серой полоской метнулась в сторону, но кошка небрежно ударила лапой, и она покатилась по асфальту. Кошка, распушив шерсть и свирепо размахивая хвостом, кинулась за ней и снова ударила ее лапой со втянутыми когтями.

Три надзирателя следили за жестокой игрой и похатывали, точно находя в этом кошачьем садизме что-то близкое и понятное. Заключенные, столпившиеся за решеткой, также не спускали глаз с кошки и ее жертвы.

Гус, заметив, что внимание надзирателей отвлечено, начал потихоньку продвигаться за их спиной к решетке. Он подобрал комок бумаги и апельсиновую корку, выпавшие из чьего-то ведра, и понес их к мусорному баку, стараясь держать их так, чтобы они были видны всем.

Кошка припала к асфальту и, вытянув передние лапы, следила за оглушенной мышью безжалостными желто-зелеными глазами. Грозно выпущенные хищные когти готовы к удару. На первый взгляд казалось, будто кошка лениво отдыхает, на самом же деле она, напрягшись всем телом, ждала нового движения своей добычи. Мышка вертела головой, выискивая безопасное убежище. На мордочке у нее была кровь.

Солли вышел за калитку и неторопливо повернул направо к мусорным бакам. Жгут с пилками увенчивал

мусор в его ведре. Гус небрежной походкой приближался к Солли. Солли потрогал жгут и подмигнул Гусу. Гус подмигнул в ответ.

Мышь, решившись, метнулась влево. Кошка прыгнула, взмахнула лапой, промахнулась, и мышь, петляя, как регбист с мячом, помчалась по двору. Кошка бросилась за ней. Все повернулись, наблюдая за погоней.

Солли и Гус подошли к бакам одновременно. Солли прошипел:

— Завтра вечером. Когда стемнеет. Машина будет ждать на улице М.

Гус схватил жгут и, молниеносно сунув его за ворот, прижал к боку. Его сердце бешено забилося, в горле пересохло. Он с недоумением подумал: «Кажется, нервы сдают». Прежде этого за ним не водилось. Неторопливой походкой он направился в тень изоляторного корпуса.

Мышь добежала до административного корпуса и, оказавшись в тупике, шмыгнула вдоль стены, а кошка стремительно прыгнула и отбросила ее лапой; мышь покатилась на солнечный свет, отчаянно цепляясь за асфальт крошечными коготками.

Кошка подскочила к ней, забрала в кольцо передних лап. В этом кольце она и лежала, раненая, дрожащая, ощущая на себе кошачье дыхание, дурманясь жутким кошачьим запахом.

Гус шмыгнул в изоляторный корпус, взбежал по лестнице и бросился в свою камеру. Выхватив жгут с пилочками из-под рубахи, он сунул его в свернутую постель и с облегчением подумал: «Сегодня же суббота!» По субботам надзиратели никогда не устраивали внезапных обысков.

Он скатился по лестнице и затаив дыхание встал у двери. Потом тихонько выскользнул во двор.

Кошка глядела на мышь, припавшую к асфальту между ее лапами. Она опять улеглась на живот, и ее дыхание шевелило дымчатую шерсть на тяжело вздымающихся маленьких боках крохотного существа с блестящими глазками-бусинками. Мышка вся собралась в напряженный шарик, все еще надеясь, все еще выжидая спасительной случайности. Лапа со втянутыми когтями шлепнула ее по спинке — для мыши это было равносильно удару носорога. Острая боль пронизала напряженный клубочек, шкурка задергалась, но мышка не расслабилась и с бьющимся крохотным сердцем ждала,

не удастся ли ей все-таки избежать страшной участи, которая подстерегала ее с таким жутким терпением.

И тут кошка сделала ошибку. Она встала на все четыре лапы, и мышь тотчас бросилась вперед под длинное брюхо мимо подергивающегося хвоста. Ее ушки заполнил громовой рев — это смеялись зрители.

Кошка повернулась, но было уже поздно: мышь получила несколько секунд форы и уже снова мчалась через двор. Что-то огромное и сияющее (это был сапог надзирателя) вдруг преградило ей дорогу, но она ловко метнулась в сторону и, напрягая последние силеньки, бросилась в тень.

Кошка уже почти нагнала ее, но она снова увернулась и краешком ноющего глаза увидела смутное пятно — отверстие водостока. Вооруженная пятью кинжалами лапа коснулась ее спины, но мышка опять успела отскочить и оказалась перед самым водостоком.

Лапа снова опустилась и располосовала нежный хвост, однако мышка уже исчезла в водостоке, и снаружи зрители посмеивались над разочарованием кошки, которая, подобравшись, устроилась терпеливо ждать у темной дыры.

А внутри водостока в прохладной привычной тьме лежала ее недавняя жертва, стараясь отдышаться.

## 11

В половине третьего ужин был уже роздан и заключенных заперли в камерах вместе с их слегка помазанными джемом ломтями хлеба и кружками горького кофе.

Смешно, размышлял Джордж Адамс, какими скучными часто кажутся свободные дни! Работаешь всю неделю и мечтаешь как следует отдохнуть в субботу и воскресенье. А когда суббота наступает, вдруг начинает тянуть на работу. Разве что у тебя собрание, или ты участвуешь в организации субботних танцев для сбора средств, или поздно вечером, крадучись, ходишь по улицам и бросаешь листовки в почтовые ящики.

Но в тюрьме любой день одинаково скучен. И даже медленное движение солнечного луча по полу превращается в интересное событие. Даже вылезший из щели

таракан — это развлечение. И «кап-кап-кап» испорченного крана кажется музыкой.

А возня кошки с мышью? Тут она вполне заменила кино. Зрителям она, во всяком случае, доставила большое удовольствие. «И все твои симпатии были на стороне мыши», — думал Джордж Адамс. Слабым непрерывно приходится терпеть пинки. Тебя рвут и бьют, как эту мышь, и приходится бежать и увертываться, спасаясь от когтей и клыков. И он обрадовался, когда мышь в конце концов спаслась от безжалостных лап. Твои симпатии всегда на стороне маленьких зверюшек, слабых и робких, которые вынуждены всю жизнь бежать и увертываться!

Что же, эта мышь, наверно, совсем ополоумела от мучений, которые ей пришлось вытерпеть. Вот так жизнь иногда оглушивает людей, и они совершают самые странные поступки. Как Малыш Касба. Если бы он заговорил, сказал бы что-нибудь, было бы не так томительно тоскливо. Но он оглушен.словно всю жизнь провёл на ринге и теперь навсегда оглушен. И все-таки — он же убил человека, ведь так? Только, может быть, в глубине души он никого не хотел убивать. Но он был оглушен и выхватил нож. И почему этот сукин сын все время молчит? От скуки сдохнуть можно, а тут сиди наедине с оглушенным мальчишкой, который больше двух слов подряд ни за что не скажет! Надо было попросить миссис Айзекс, чтобы она каждый день присылала мне газету. Тем, кто ждет суда, разрешается получать газеты. Непременно скажу ей об этом, когда она придет еще раз...

Малыш Касба ждал понедельника. В понедельник его снова повезут в Верховный суд и приговорят к смерти. В этом он не сомневался. Он знал это твердо. Неспособный к отвлеченным размышлениям, он любую идею, хорошую или дурную, воспринимал прямолинейно, и она навсегда запечатлевалась в его сознании, точно картинка, вклеенная в альбом.

Ему было девятнадцать лет, и все его воспоминания были серией картинок — дешевых, захватанных, испачканных картинок, изображавших только мерзости. Они все хранились в его сознании, и он вновь и вновь их проглядывал: тайком загляни в альбом, перелистай его с

конца к началу, просмотри еще раз гнусные сцены, точно порнографические открытки. Если ему хотелось, он мог остановиться на одной какой-то странице, рассмотреть одну картинку, а потом открыть следующую или захлопнуть альбом.

Он не рассказывал о том, что видел на темных страницах своей памяти, но иногда какая-то отдельная сцена вдруг начинала его преследовать, точно страница нечаянно смялась или загнулась, так что альбом открывался именно на ней. Она мучила его, как прыщ или ноющий зуб. Но это случалось редко — даже в грязи была своя упорядоченность, и все тайны оставались в его распоряжении, не доступные никому другому.

Но вот теперь опять смялась страница, и это его беспокоило. Неизбежная виселица беспокоила его куда меньше. Малыш Касба с глухим раздражением думал, что, может быть, ему следует рассказать своему соседу по камере про это. Бессознательно он прислушивался к стуку капель. Неплохой человек, с неохотой признал он: делится припасами и не ворчит, отдавая сигарету. Чудак, конечно, но человек неплохой.

Гус ждал воскресного вечера. Ждал нетерпеливо, и это нетерпение удивляло его. Тюрьма подточила его уверенность в себе, и ему приходилось напрягать всю силу воли, чтобы справиться со своими нервами, которые никогда прежде ему не изменяли даже в самые рискованные минуты его воровской карьеры. Ни разу, цепляясь за отвесные стены или за шаткие водосточные трубы, он не испытывал этой мучительной тревоги.

Он подумал, что ему стало бы легче, если бы он рассказал про побег своим товарищам. Но впереди был еще вечер и весь следующий день, и он опасался, что они могут случайно проговориться или даже стукнуть надзирателям. Впрочем, Морган его не беспокоил — стоящий парень. Другое дело Копп. До того перетрусил, что может выдать весь план, лишь бы попасть в милость к начальникам.

Гус лежал на своем одеяле, почесывался и торопил время. Удачно, что они выбрали для этого воскресенье. По воскресеньям дежурят меньше надзирателей. Снаружи из испорченного крана капала вода.

Гус спросил хмуро:

— Чего это вы притихли?

Морган, который сидел, привалившись спиной к стене, сказал в ответ:

— Эх, и что они, сволочи, не крутят кино! — Он усмехнулся и добавил: — А ты чего-то нервничаешь, Гус.

— Я? С чего ты взял?

— Как ты думаешь, мы за нападение на этого белого получим лишний год? Или два?

— А я плевать хотел, — ответил Гус и улыбнулся про себя, отогнав грызущее нетерпение и вновь обретая уверенность. Ему-то не придется отсиживать дополнительный срок!

— Этот гад сам напросился, — задумчиво сказал Морган. — Сука! Надо бы его лопатой!

Копп поглядел на него и сказал тревожно:

— Нам бы припаяли убийство.

— Все равно когда-нибудь да помрешь, — ответил Морган, почесался, поймал вошь и раздавил на ноге. Она щелкнула, как сухой сучок. — Обхохочешься! Знаешь, эти гады всегда говорят, что это мы натаскиваем сюда паразитов. А то их тут нет! Так вот мне про это рассказывали анекдот. Был, значит, пророк Даниил, а египетский или там вавилонянский царь решил сунуть его в пещеру со львами. Ну и сунул. Даниил, значит, просидел там всю ночь, а львы его не трогают. Ну, утром приходит царь поглядеть, что там и как, и видит: сидит Даниил живехонький, а львы его не трогают. «Доброе утро, Даниил, — говорит царь. — Как тебе спалось?» А Даниил отвечает: «Неплохо, царь, только львы допекали». А царь и говорит ему: «Мне, конечно, это неприятно, Даниил, но ведь ты сам их сюда натаскал!»

Морган захохотал, широко разинув рот, в котором тускло блеснул золотой зуб, а Гус усмехнулся и сказал:

— Черт побери, Морг, хороший анекдот!

Снаружи дул свежий бриз, обещая к вечеру сильный юго-восточный ветер. Солнце рисовало обычный решетчатый узор на полу и серых стенах, на которых прежние обитатели камеры оставили свои эпитафии, приветы и предостережения: «Пайк — стукач», «Бог дает нам

жизнь, а палач петлю», «Здесь сидели фатовые ребята», «Прощай, Молли, я никогда тебя не позабуду».

Испорченный кран продолжал свою прерывистую морзянку. Псалмопевец в этот день принялся за рождественские гимны и, когда дверь заперли после завтрака, добрался уже до середины «Когда со стадом пастухи». Никто не приказывал ему замолчать. Очевидно, повоскресеньям духовные песнопения были разрешены. Кашу им дали холодную — она уже покрылась резиновой корочкой.

— Вчерашняя, — пробурчал Малыш Касба. — Станут эти суки затрудняться в воскресенье!

В изоляторном корпусе еду приносили в камеры.

— У нас еще осталось немного компота, — сказал ему Джордж Адамс, но юноша продолжал угрюмо набивать рот кашей.

— Моя квартирная хозяйка принесет воскресную передачу, — продолжал Джордж Адамс. — Так что пообедаем мы по-настоящему. А к тебе никто не приходит?

Малыш Касба поглядел на него, потом покачал головой и снова уставился в миску с кашей. Еще сегодня и потом — завтра, думал он. Сегодня воскресенье, а потом — завтра. Каждая секунда, каждое падение капли из испорченного крана, каждый вздох ветра приближал неизбежное. Но он стряхнул эту мысль, точно крупинки каши с пальцев.

Они услышали, что по лестнице поднимается надзиратель. Внизу заключенные секции предварительного заключения убирали двор и переговаривались под плеск воды, выливаемой из ведер. Надзиратель отпер дверь соседней камеры, а потом их дверь и крикнул:

— Уборка! Живо, живо!

Он оставил дверь открытой и спустился, не дожидаясь их.

Джордж Адамс и Малыш Касба взяли парашу и бачок и вышли из камеры. В коридоре они увидели своих соседей, и каторжник со шрамом на лице, улынувшись Джорджу Адамсу, сказал:

— Доброе утро, приятель!

— Доброе утро.

— Послушайте, не сочтите за нахальство, мистер, — шепнул человек со шрамом. — Может, у вас найдется еще одна сигаретка?



— Конечно,— ответил Джордж Адамс с улыбкой и, достав коробку свободной рукой, протянул ее каторжнику. Тот оглянулся, вытащил четыре сигареты и шмыгнул с ними в камеру. Через секунду он вышел, подмигнул Адамсу и сказал весело:

— Воскресенье! Сегодня воскресенье, приятель.

Во дворе каторжники опорожняли параша в открытые канализационные шахты. Швабры шуршали по бетону, и кто-то кричал:

— Посторонись! Посторонись!

Надзиратель во внутреннем дворике чистил ногти обломком спички.

Джордж Адамс подошел к крану на первом этаже изоляторного корпуса, чтобы набрать воды в бачок. Там уже стоял каторжник с черным плоским лицом. Он дружески подмигнул и улыбнулся, показав большой золотой зуб.

— Как дела, друг?

— Хорошо.

— А чего ты тут?

— Возражал Жирному.

— Да! — сказал чернолицый, вынимая свой бачок из раковины.— Белые не любят, чтобы им возражали!— Он крикнул, разгибаясь с тяжелым бачком в руках.— Ух и не любят!

Он начал подниматься по лестнице, и желтые подошвы его босых ног звонко шлепали по ступенькам. Джордж Адамс умылся и только потом наполнил свой бачок.

Малыш Касба подметал камеру, и Джордж Адамс, водрузив бачок на деревянную подставку, прижал к полу лист оберточной бумаги, как совок.

— Я выброшу,—предложил он.—Передохни, приятель.

— Так вы же не обязаны! — подозрительно сказал юноша.

— Да не задирайся ты! — засмеялся Джордж Адамс.—Посиди, покури.

Он протянул ему сигарету, свернул бумагу с сором и вышел из камеры.

Спускаясь по лестнице, он думал: «Этот паренек убежден, что просто так никто ему ничего хорошего делать не будет. Ничего задаром. Таких недоверчивых людей я еще не встречал!» Тут он вспомнил, что мальчика ждет

смертный приговор, и подумал мрачно: «Наверно, все дело в этом. Услуга умирающему! Последняя сигарета, которую дают осужденному!»

Джордж Адамс вышел во двор, и на него обрушился ветер, вороша его одежду. Он отнес свой сверток к мусорным бакам у решетки.

Кто-то окликнул его сквозь прутья:

— Эй, Профессор! Давненько мы не видались!

Джордж Адамс обернулся и увидел Юсефа Турка, который дружески ему улыбался.

— Юсси, сукин ты сын! Ну как ты? — зашептал он удивленно и обрадованно.

— Неплохо, — ответил Юсеф. — Меня было забрали в больницу.

— Ну и что?

— Ничего. Пощупали, сделали снимок, дали мазь для растирания. Завтра опять пойду туда.

— Я здорово по тебе соскучился! — сказал Джордж Адамс весело. — Ну а насчет того дела как?

— Шарили, спрашивали. Может, будут нажимать, пока кто-нибудь не проговорится. А ну их к черту!

— Нет, но кто все-таки убил Мясника? — спросил Джордж Адамс.

— Не знаю, друг. Кто-то из его шайки. — Юсеф Турок пожал плечами. — Когда я вернулся из больницы, мне сказали, что ты угодил в изолятор.

— Да, Жирный на меня взъелся.

— Гад! Ну, увидимся, когда тебя выпустят.

— Конечно, Юсси!

— Пока, дружище.

Джордж Адамс хотел сказать что-то еще, но тут надзиратели закричали:

— Стройся, стройся! Шапки снять!

Поэтому он только подмигнул Турку и отошел, оглядываясь через плечо на своего приятеля, который, прихрамывая, направился к строю заключенных.

Трое каторжников и Малыш Касба уже выстроились перед изоляторным корпусом, и Джордж Адамс встал рядом с ними.

Дверь административного корпуса отворилась, и из нее вышел священник. Под мышкой он нес большую Библию в черном переплете, крепко прижимая ее к боку, точно папку с секретными документами. Это был низенький неуклюжий человек с сухим старческим лицом.

И даже ветер не мог растрепать седые прилизанные волосы, сквозь которые просвечивала розовая кожа макушки. Узкие плечи, выпяченный живот, толстые бедра и короткие ноги придавали ему странное сходство с перевернутой юлой. Но в своем длинном черном сюртуке, черных брюках и начищенных черных ботинках он вполне оправдывал прозвище, которым его дружно окрестила вся тюрьма,—Туз Пик.

Он кивнул надзирателю, распахнувшему перед ним калитку, и мячиком покатился туда, где заключенные рядами рассаживались на бетонном полу. Перед ними тюремный староста поставил что-то вроде железного нотного пюпитра, а возле расстелил веревочную циновку. Священник, встав на циновку, открыл огромную Библию на странице, заложенной черной закладкой. Можно было подумать, что это дирижер хора, который готовился дирижировать.

Однако дирижировать он не стал, а, склонив голову (предполагалось, что заключенные последуют его примеру), забормотал молитву. Почти никто ничего не слышал, так как ветер относил слова в сторону. Затем священник звучно провозгласил:

— Аминь!—и добавил деловито: — «Когда раздастся трубный глас».

Заключенные, которые тупо ждали окончания молитвы, петь были готовы с удовольствием. Воскресная служба была хоть каким-то отступлением от тягостного однообразия тюремного существования, и они с радостью пели бы хоть весь день напролет при условии, что промежутки между псалмами, предназначенные для проповеди и молитвы, будут покороче. Названный священником псалом они грянули с большим чувством—голоса их сливались в гармоничный хор, а священник указательным пальцем отбивал такт. Истовее всех пели, благочестиво улыбаясь, дружки покойного Мясника.

Когда псалом был допет, священник достал очки и, близоруко вглядываясь в отмеченную страницу, начал читать с профессиональными интонациями: «...Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату...»

Слушатели покорно внимали тем отрывкам проповеди и цитат, которые не заглушались ветром, и терпеливо ждали, когда наконец умолкнет поучающий голос.

Трудно сказать, вдохновляло ли проповедника сознание возложенной на него миссии обращать и смягчать сердца или же он каждое воскресенье утром являлся сюда только потому, что ему так приказало его начальство. Но как бы то ни было, заключенные сидели со скучающим видом каннибалов, которые из вежливости согласились выслушать странствующего миссионера и теперь терпеливо, но весьма неохотно ждут, когда он кончит свою нелепую болтовню.

После проповеди слушатели с прежним энтузиазмом спели «В царственном граде Давидовом», а потом Тормозной Питерсон вышел вперед и попросил бааса позволить им еще раз пропеть «Когда раздастся трубный глас» — самый любимый псалом заключенных.

Они еще не допели его, как появилась кухонная команда с подносами, нагруженными мисками — в каждой на бобах и рисе лежал кусочек мяса.

Надзиратель посмотрел на свои ручные часы и выжидающе взглянул на священника, который закрывал Библию. Священник улыбнулся, кивнул надзирателю и покатился к арке, которая вела в каторжную секцию, а заключенные, строясь в очередь за обедом, грянули еще один псалом.

13

Морган вздрогнул от неожиданности. На мгновение его нижняя челюсть удивленно отвисла, точно отвалившаяся крышка глазка, но он тут же пришел в себя и спросил только:

— Когда?

Копп простонал, заикаясь от ужаса:

— Т-т-ы с-с-ума с-сошел!

— Я могу и повторить, — сказал Гус, довольный эффектом, который произвели его слова. — Сегодня вечером мы дернем отсюда.

Морган первым понял, что Гус не шутит, и спокойно осведомился:

— А как?

— Ты согласен, Морг? — спросил Гус, внимательно глядя в черное лицо.

Морган пожал плечами.

— Рискнуть всегда стоит, верно? Если выйдет—хорошо, мы на воле. Поймают—так мы просто вернемся сюда. Припаяют лишнее—ну так что?— Он посмотрел на Гуса и снова спросил:—А как?

— Они нас схватят, — взволнованно заговорил Копп. — Они нас схватят. Нет, мне это не нравится. Они нас обязательно схватят.

— Заткни пасть!—прикрикнул на него Морган.

Гус смерил Коппа злобным взглядом и сказал:

— Слушай, приятель. Ты пойдешь с нами, понял? Если останешься, они спросят тебя, почему ты не поднял тревогу, когда увидел, что мы затеяли. И за одно это дадут тебе лишний срок. Поэтому лучше соглашайся по хорошему, — добавил он угрожающе.

— Я не хочу бежать, — пробормотал Копп. В его голосе слышались слезы. — Я не хочу бежать.

Гус спросил мрачно:

— Ну а чего же ты хочешь? Позвать надзирателя, когда мы возьмемся за дело?

Копп поглядел на него, как попавший в ловушку зверек. Но на изуродованном шрамом лице он не увидел ничего утешительного. Снаружи по тюрме разгуливал ветер, крепчая с каждой минутой. Копп отвел глаза и сказал хрипло:

— Они нас поймают.

— А, да пойдет он с нами!—вмешался Морган. — Пойдет, когда настанет время. — Он пососал золотой зуб.—А как же мы это сделаем, Гус?

— У меня есть пилки. Начнем пилить, как только надзиратель кончит обход.

— Пилки? Как это ты их раздобыл?

— Неважно, — ответил Гус.—Они у меня есть, и все. До вечера мы успеем перепилить сетку и один прут. Это го хватит, чтобы пролезть. Из окна выберемся на крышу. Это нетрудно. Сетку и прут мы оставим пока на месте, до ночного дежурного, понял? В камеру он не заходит, а через глазок ему ничего толком не разглядеть. Ну а как только он уйдет, мы смоемся. И будем уже далеко, когда он явится во второй раз.

Морган негромко засмеялся.

— Гус, — сказал он благоговейно.—Гус, ну и ловок же ты! Пилки! Значит, у тебя есть пилочки? Ох, и ловок ты, Гус! Первый класс!

И он восторженно шлепнул себя по голому колену.

Копп сидел в своем углу с потерянным видом. Он нервно теребил нижнюю губу, потом стал потирать вспотевшие ладони. Наконец испуганно сказал:

— Но они же будут стрелять! Слышите, они будут стрелять!

— Заткнись, падло!—рявкнул Гус.—Ты что думаешь, мы из-за тебя, суки, бросим это дело?—Он в бешенстве уставился на перепуганного человека в углу.—Слушай, ты! Не полез бы ты с нами на надзирателя, не сидел бы сейчас здесь, так? А мы тебя не звали, так? Мы бросились на этого белого, а ты сам к нам пристал. И теперь тебе поздно идти на попятный, понял?—Он вдруг усмехнулся.— Все сошло как по маслу. Стукнули разок надзирателя и попали сюда. Все точно получилось.

Морган поглядел на него и нахмурился. Он спросил:

— Значит, ты подбил меня напасть на этого надзирателя для того, чтобы нам предъявили новое обвинение и посадили сюда? А потом твои дружки передали тебе сюда пилки?

— Само собой,—с улыбкой ответил Гус. Он весело и самодовольно потер руки.

— Черт подери!—сказал Морган. — Мог бы хоть предупредить! Чего ты молчал?

— Ну, вот теперь ты все узнал, — с тихим смешком ответил Гус.

— Они услышат, как мы будем пилить! — внезапно крикнул Копп, обрадовавшись, что нашел предлог отказаться от побега.

— Сопля!—с издевкой сказал Гус.—Мы же на втором этаже, и мы будем петь. И услышат они только пение. Псалмы ведь распевать не запрещено?

— Сегодня же воскресенье!—засмеялся Морган.— А белые одобряют, когда по воскресеньям поют псалмы. — Он подмигнул Гусу и принялся напевать вполголоса «Иисусов рыбарь».

Гус захохотал и весело хлопнул Моргана по плечу. Теперь надо было дожидаться обхода. За стеной шуршал и взвизгивал ветер, ударяясь о равнодушный камень.

Миссис Айзекс прислала Джорджу Адамсу праздничный обед: половину домашнего мясного пирога, вареные овощи, макароны, сыр и нарезанные огурцы — все это

было завернуто в пергамент. Джордж Адамс разделил угощение на две равные части, и они съели все, кроме фруктов, которые были присланы с обедом. Еду они запили молоком из бумажного пакета. Тюремный обед они оставили нетронутым. Малыш Касба признался, что за его девятнадцать лет ему довелось поесть так хорошо не больше десятка раз.

Насытившись, они разлеглись на одеялах — точно римские патриции после оргии, подумал Джордж Адамс. Его клонило ко сну, но Малыш Касба вдруг почувствовал гнетущую уверенность, что настало время...

Осужденному дают перед казнью вкусный обед. А он уже считал себя осужденным.

Когда рушится плотина, в прорыв устремляется ревущий поток. Обычно трезвенник, выпив, теряет сдержанность, а когда начинает говорить молчальник, он говорит без умолку. Некоторые люди открывают свои тайны под пыткой, другие в бреде, а иные тогда, когда знают, что должны скоро умереть.

Снаружи бушевал ветер, и день медленно близился к багряному закату. В соседней камере три каторжника все еще громко распевали псалмы, заглушая шум ветра. Они пели так уже несколько часов.

— Какое благочестие! — сказал Джордж Адамс и зевнул.

— Прямо похороны, — пробормотал юноша и принялся грызть ноготь большого пальца.

— Говорят, что разговоры про похороны накликают неудачу.

— Чего там накликать! — Малыш Касба скрипнул зубами. — Была она у меня когда, удача-то?

— А, брось! — сказал Джордж Адамс. — Еще неизвестно, как все обернется. Хочешь закурить? К чему выставлять напоказ свои беды?

Он чиркнул спичкой, дал прикурить юноше и закурил сам.

— Ну, вам-то не висеть, мистер! — заметил Малыш Касба и, выпустив клуб дыма, добавил: — Этого я не боюсь. Да, мистер, не боюсь!

— Ну, может, и бояться нечего, — сказал Джордж Адамс, стараясь скрыть жалость. — Может, тебе дадут несколько лет, и все.

— Нет, — ответил юноша. — Они меня вздернут, как вздернули папашу. — Он нахмурился. — Моего папашу.

В соседней камере по-прежнему гремел псалом.

— Вот послушайте,—сказал Малыш Касба, приподнимаясь на локте.—Моего отца повесили за убийство моей матери.

Джордж Адамс потрясенно уставился на юношу, точно впервые увидел его, увидел эту горечь и ожесточение.

«Еще бы он был разговорчивым! — подумал он. — Пряча в душе такое!»

— Твой отец убил твою мать? И его повесили?—пробормотал он, теряясь под пристальным взглядом каменных глаз.

— Его за это повесили,—ответил Малыш Касба, и разбитые губы искривились в подобии улыбки. — А я мог бы его спасти. Вот так!—добавил он.

— Может, не стоит тебе говорить про это... — сказал Джордж Адамс.

— Вот послушайте, мистер, — продолжал Малыш Касба, пропустив его слова мимо ушей.—Когда явилась полиция, все было ясно, как... как на картинке, понимаете? Жилица под нами увидела, что ее потолок пошел красными пятнами. Это была кровь из нашей комнаты, понимаете? Ну, она разбудила своего старика, и он вызвал полицию...

Что увидели полицейские, когда взломали дверь? На полу пропахшей дешевым виски жалкой комнатухи с облезлыми стенами, грязной постелью и разбитым окном в нелепой позе неподвижно лежала женщина. Она была мертва—нож, которым она была убита, обыкновенный кухонный нож, все еще торчал в ее шее. Она лежала в красной луже—может быть, она умерла сразу, а может быть, истекла кровью.

На стуле сидел, а вернее сказать, обвис мертвецки пьяный мужчина. Голову и одну руку он уронил на стол, другая рука безжизненно повисла, почти касаясь пола. Его небритое опухшее лицо колыхалось от тяжелого храпа. На столе стояла пустая бутылка, вторая валялась на полу. В углу, брошенный туда, точно тряпичная кукла, неподвижно лежал худенький мальчик.

Он был жив, но лоб у него был раскрыт свирепым ударом, одна рука сломана, лицо и тело покрывали синяки и ссадины. Кроме того, он был истощен постоянным



недоеданием и, по-видимому, болен туберкулезом. Нетрудно было заметить, что и женщина, изнуренная голодом, преждевременно состарившаяся, была перед смертью зверски избита — оба ее глаза заплыли, платье было разорвано.

Полицейские сразу поняли, что здесь произошло. Мужчина вернулся домой пьяный и принес с собой две бутылки дешевого виски, которые выпил тут же. Он набросился на женщину с побоями, а когда она стала вырываться, схватил оказавшийся под рукой нож и ударил ее в шею. Во время драки или раньше он топтал мальчика и швырнул его бесчувственное тело в угол. А потом свалился сам в пьяном оцепенении.

— Судье этого хватило, — сказал Малыш Касба. — Бесспорное дело, мистер, как они говорят.

За стеной каторжники все еще тянули псалом.

— По-видимому, так оно и произошло, — сказал Джордж Адамс сочувственно. — И раз не было свидетелей...

— Свидетель-то был, мистер! — перебил его юноша. — Я. Я все видел, почти до самого конца.

— И ты мог бы спасти своего отца! — пробормотал Джордж Адамс. — Если бы придумал что-нибудь... Дьявольское положение. И тебя заставили давать показания против него?

Малыш Касба подтянул колени к подбородку. Потом погрыз заусеницу на большом пальце. Снаружи совсем смерклось и северо-восточный ветер сердито бился о каменные стены, свистел и улетал прочь.

— ...На суде мой отец плакал и просил снисхождения. Он кричал, что не виноват. Призывал в свидетели бога, что ничего про это не знает. Он говорил, что был пьян, когда пришли полицейские, и что если он и сделал это, то в беспамятстве. Он был как очумелый. Потом он спросил, как он мог попасть ей прямо в жилу, если был мертвецки пьян. Но судья спросил, как он может доказать, что не убил ее сначала и не напился потом.

Вот тут и до меня дошло дело, мистер.

Папаша попросил адвоката, которого ему дали в су-

де, чтобы он вызвал меня свидетелем. Ну, они меня допросили, и я им рассказал, да только не все.

А сказал я им, что мой папаша, сколько я себя помню, всегда пил и дрался. И я много раз видел, как он бил мать ремнем с пряжкой или кулаками. А иногда стулом. Она падала замертво, а он пинал ее ногами. И меня он всегда порол. Просто так, без причины. Где он брал деньги, я не знаю, а тратил их все на выпивку. Есть нам было нечего, и мать посылала меня на улицу просить у чужих дверей.

В ту ночь, когда мать умерла, он вернулся домой, наклюкавшись, но на ногах держался и говорил связно. Он принес с собой две бутылки виски, а еды никакой не принес.

Он стал кричать на мать, чтобы она собрала ему ужин. А когда она ему сказала, что в доме ничего нет, он сшиб ее с ног и пинал ногами, покуда она не потеряла сознание. Тогда он сказал, что и со мной разделается так же.

Я хотел выскочить из комнаты, он пнул меня изо всех сил, а потом стал обрабатывать кулаками и швырнул об стену. И снял ремень. Мать приподнялась, хотела меня заслонить, и он опять ее ударил.

А что было дальше — я сказал судье, что ни за что не скажу. Пусть хоть меня пытаются.

Ну, они подумали, что я не хочу давать против отца показаний, которые отправят его прямо на виселицу, и даже вроде пожалели меня. Ну и остались при своем мнении, как он ее убил. Понимаете? Тут объявили перерыв на обед и папашу увели в камеру в подвале, а он кричал, что невиновен.

Малыш Касба умолк и принялся грызть ногти, глядя в пустоту. Внизу стукнула дверь, и на лестнице послышались шаги надзирателя. Каторжники уже не пели, и только ветер ревел снаружи. Надзиратель прошел по коридору, заглядывая в камеры, а потом спустился вниз. Стукнула тяжелая дверь, взвизгнул в замке ключ.

— Послушай, друг,—сказал Джордж Адамс тихо.— Не говори, если тебе не хочется. Лучше попробуй заснуть и забыть про это.

— Нет,—пробормотал Малыш Касба.—Мне нужно про это рассказать. Завтра другой судья пошлет меня на

виселицу, как послали моего отца. Мне нужно про это рассказать.

Он оглядел свои обгрызенные ногти и, прижав подбородок к колену, продолжил свой рассказ:

— Ну, я попросил, чтобы меня пустили в камеру по-видать отца. Им было меня жалко, и они позволили. И я пошел к нему—к человеку, который загубил мою мать, а мне за всю мою жизнь ни одного слова не сказал—только порол ремнем. Ну, тут, мистер, он во всем покался. Плакал, просил у меня прощения за то, как измывался надо мной и над матерью, плакал, скулил, просил, чтобы я его спас. Твердил, что я наверняка видел, как там было на самом деле. Так почему я не хочу рассказать судье? Он же был мертвецки пьян, он без памяти валялся, он пальцем пошевелить не мог. Разве я видел, как он это сделал? «Скажи мне, сынок,—просил он,—скажи, что там случилось?» Он весь трясся, плакал и просил, чтобы я не дал белым повесить его. «Ладно,—сказал я ему.— Ну, слушай. Ты хочешь, чтобы я сказал, что там случилось, так? В ту ночь? Ладно, слушай!»

*Мужчина храпел, уронив голову на стол в пьяном забытии, душную комнатку наполнял тошнотворный запах винного перегара. На полу неподвижно лежали его жертвы—его жена и сын. Первой очнулась женщина. Она поглядела кругом помутневшими от боли глазами и увидела скорчившееся тело сына. «Умер!—прошептала она.—Мой сыночек умер...» И она посмотрела на пьяного негодяя, хравшего у стола.*

— Я все это видел, — хрипло говорил Малыш Касба.—Я же не умер, а только был оглушен и начинал приходить в себя. И тут я увидел, что мать ползет к столу на четвереньках—он ведь ей ноги совсем отшиб. На столе около его головы лежал хлебный нож. То есть нож, чтобы хлеб резать, только мы хлеба-то никогда не видели. Даже черствой корки от него ни разу не дождались. Я видел, как она потянулась за ножом. Я мог бы ей крикнуть, что я жив.

«Отчего же ты не крикнул?—спросил мой отец, трясясь от страха в подвале суда.—Отчего?»

«Оттого, что я думал, что она хочет убить тебя, — сказал я.—За то, что ты убил меня. Так с чего мне было

ее останавливать? И я лежал смирно, как мертвый, а сам смотрел».

Я ждал, что она перережет ему горло. А она плакала. Может, она все еще его любила. Кто знает? Только она взяла его правую руку и вложила в нее нож. Я не понимал, чего это она. И все думал: закричать или нет? И не крикнул. Решил сдуру, что она хочет зарезать его так, чтобы вышло похоже на самоубийство. Его же рукой. Ловко, верно? Потом она изо всей силы прижала его пальцы к рукоятке ножа, да так и держала его руку в своей. И поднесла его руку с ножом к своей шее. Я закричал: «Мамка! Не надо!» — а она ударила снизу вверх ножом, который зажала в его пальцах.

«У, сука! — крикнул тут мой отец в подвале. — Самоубий... самоубийством покончила и на меня свалила. Сука! Бог ее покарает, а меня спасет, я же ни в чем не виноват!» Да. Моя мать думала, что я умер, и решила уйти ко мне, и так, чтобы отцу, убийце ее сына, пришлось бы объяснять, откуда в комнате два трупа. «Сынок! Сыночек! — радовался отец. — Теперь ты меня спасешь. Ты им все расскажешь». Я улыбнулся ему. Ну, когда его опять привели в суд, он прямо как помешался от облегчения. И тут же все выложил: он ни в чем не виноват, я сейчас им расскажу, как было дело. А потом повернулся ко мне и крикнул, чтобы я подтвердил, что он говорит чистую правду. Да, он ни в чем не виноват, и я могу это доказать.

— Ну и что же ты сказал? — с ужасом спросил Джордж Адамс, глядя как Малыш Касба грызет ноготь на указательном пальце.

— Я стоял, мистер, и мне прямо как почудилось, что из-за спины судьи на меня смотрит мать. Я посмотрел на судью и покачал головой. «Я не знаю, чего он выдумал», — сказал я.

— И твоего отца повесили? — прошептал Джордж Адамс.

— Судья сказал, что пьянство не оправдание, — хмуро ответил юноша.

— Но... но... — запинаясь, произнес Джордж Адамс, — это все правда?

Малыш Касба поглядел на него и начал грызть ноготь на большом пальце.

Весь день они пилили сетку и прут. Едва надзиратель кончил первый обход, как Гус вскочил на ноги с живостью фокстерьера. До нового появления надзирателя у них в распоряжении было полчаса.

— Порядок,—сказал он вполголоса, чтобы его не услышали два человека за стеной. — Сейчас и начнем, Морг!—Он повернулся к Моргану, который тоже встал.— Я влезу тебе на плечи и начну пилить первым, идет?

— Ладно, — отозвался Морган. Он был не очень уверен в благополучном исходе этой операции, но риск его не пугал. Морган не отличался ни бесшабашностью, ни чрезмерной осторожностью и всегда спокойно подчинялся обстоятельствам.

Третий каторжник, Копп, наоборот, дрожал от страха. Он не хотел участвовать в побеге, но он отчаянно боялся Гуса с Морганом и знал, что ему все-таки придется бежать с ними. Он смотрел на них как замороженный и покусывал нижнюю губу, чтобы она не дрожала. Сердце его прыгало как сумасшедшее. Он попытался протестовать:

— Вы с ума спятили! Они же вас поймают!

— А иди ты! — отмахнулся от него Гус и извлек из-под своих одеял бумажный жгут с пилками. Он сорвал газету и, довольно посмеиваясь, несколько раз согнул и разогнул гибкие стальные полосы.

— Эй, поосторожнее! — шепотом предостерег его Морган. — Вот ломаешь их, что тогда?

Гус продолжал весело посмеиваться. К нему вернулась его обычная уверенность в себе, и он не сомневался в успехе. Обернув конец пилки газетой, он сказал:

— Ну-ка, Морг!

Морган ухмыльнулся, присел и поднял взобравшегося на его плечи Гуса к самому окну. Гус поглядел на него сверху.

— Порядок! Начинайте петь.

Морган смущенно усмехнулся и прочистил горло.

— Запевай лучше ты, приятель, а я подтяну.

— Что петь-то?

— А я почему знаю? Давай «Вперед, христовы воины!».

Гус запел. Сперва он немного фальшивил, но потом дело пошло на лад. Густой бас Моргана вторил ему.

Копп глядел на них, дергаясь от страха. Страх овладел им, точно припадок судорог, и он трясся, слушая их пение. Гус поглядел на него и, не прерывая пения, выругался по его адресу. Тогда запел и Копп—визгливым, полным слез голосом.

За окном выл ветер, и сетка содрогалась от его ударов. Гус засунул узкую пилку в верхнюю ячейку сетки у самой стены и начал пилить.

Крохотные зубья вгрызлись в металл, их пронзительный скрежет вплетался в вой ветра и громогласное пение. Когда они кончили первый псалом, пилка прошла два дюйма сетки. Теперь Гус затянул «Восстань во имя Иисуса», и его рука работала в такт этому псалму-маршу.

Затем настала очередь Моргана. Коппу пилить они не предлагали, но угрозами и руганью заставили его петь, и он дрожащим голосом выводил очередной псалом вместе с ними.

Каждый раз, когда внизу открывалась дверь, они бросались на свои постели, и надзиратель видел только, что они спокойно лежат на одеялах и во всю мочь орут псалмы.

Они пели «Когда раздастся трубный глас», когда сломалась первая пилка. Они замолчали, переводя дух, пока Гус доставал другую. Указательный палец на его руке был стерт до крови от непрерывного нажима на тонкую сталь, и он иногда останавливался, чтобы пососать ссадину.

Теперь Гуса мучил страх, что остальные пилки сломаются прежде, чем будет перепилен прут, однако вторая пилка оказалась покрепче, и в конце концов, сменяя друг друга, они пропилили сетку справа до самого подоконника.

Теперь уже не нужно было взбираться на плечи товарища, чтобы пилить. Они подтащили к окну бачок вместе с подставкой и пилили параллельно подоконнику, стоя на крышке.

Когда их голоса совсем садились, они отпивали воды и пилили, пилили, пилили. Пилка вгрызалась в ячейки сетки, а псалмы и вой ветра заглушали ее скрежет.

Копп не смотрел на них. Он сидел на своем одеяле, потя от страха, и пел. Один раз, когда его голос иссяк, как пересыхающий ручей, Гус больно ударил его по ребрам жесткой пяткой. Копп в душе надеялся, что надзи-

ратель закроет дверь внизу тихо и застанет их за работой. Авось его простят: он же только поет, а не пилит! Но надзиратель не приходил, и Гус с Морганом продолжали без усталости пилить. И вдруг Морган вскрикнул:

— Есть! Есть!

Подняв голову, Копп увидел, что они пропилили сетку по всей ширине. Морган ухмылялся, сверкая золотым зубом, а Гус радостно хлопал его по спине.

Тут Гус вспомнил про четыре сигареты, которые дал ему чужак из соседней камеры. Он достал их и щедро предоставил одну Моргану в полное владение.

Поглядев на свои руки, на каторжные мозоли, насквозь протертые пилкой, Гус сказал с веселой усмешкой, от которой его шрам обмяк, как бечевка без груза:

— Почетные раны, верно?

Затянувшись несколько раз, Гус погасил сигарету, но Морган протянул свой окурочек Коппу со словами:

— Разгони-ка дым, приятель. Да не вешай ты носа!

— Сопля, — сказал Гус, — гнида! — И он насмешливо захохотал, глядя на тощую фигуру в углу. Копп нервно затанулся.

Затем работа возобновилась. Гус осторожно приподнял угол сетки так, чтобы не согнуть ее, не оставить заметной вмятины или складки, а Морган просунул руку в отверстие и начал пилить прут. Этих вделанных в бетон железных столбиков было четыре, но Гус с Морганом решили, что достаточно будет перепилить крайний.

Они снова затаили псалом, и Копп, хрипло подпевая им, помахивал одеялом, чтобы разогнать табачный дым. Снаружи ветер хлестал по стенам, над которыми сгустился сумрак.

Когда небо совсем потемнело, прут наконец был перепилен в дюйме над подоконником. Они оставили его на месте и аккуратно расправили сетку, так что в глазок нельзя было заметить линии распила. Обнаружить их приготовления надзиратель мог, только подойдя к окну.

Гус потирал руки и торжествующе улыбался. Все было готово. Про машину, которая будет ждать его на улице у восточной стены тюрьмы, он остальным двум не сказал. Машина предназначена для него, а они пусть сами о себе заботятся. Выберутся с ним на крышу—и ладно!

— Ну, дружище!—сказал он с упоением.—Кончили!

— Гус! — хохотал Морган. — Ну и ловкач же ты, Гус! Здорово ты это с пилками!

— Теперь можно и отдохнуть, дружище, пока надзиратель не пройдет.

И они расположились на своих постелях в ожидании первого обхода ночного надзирателя.

## 16

Тяжелый железный ключ заскрипел в замке обитой железом двери внизу, лязгнул, защелкнувшись, тяжелый навесной замок—дополнительная мера предосторожности, и надзиратель прошел через плохо освещенный двор, где буйствовал ветер.

Гус и Морган одним прыжком очутились у окна. Следующий обход будет через полчаса — срок, вполне достаточный, чтобы выбраться не только из камеры, но и за наружную стену.

Гус влез на бачок, который они снова подтащили к окну, едва надзиратель закрыл глазок, и одним рывком загнул железную сетку кверху. Потом просунул в зияющий черный треугольник обе руки, ухватил перепиленный прут и нажал.

Копп смотрел на него и думал, что мог бы сейчас закричать, позвать надзирателей. За то, что он помешает побегу, ему, возможно, скостят срок. Но Копп прекрасно понимал, что после такого предательства вряд ли выйдет на свободу живым.

В этой стране из железа и камня было свое правосудие. Тайные мстители с бесконечным терпением готовили расправу, и приказ о возмездии передавался тайными путями из камеры в камеру, из корпуса в корпус, из тюрьмы в тюрьму. Копп знал, что до него доберутся в самой глухой одиночке. И даже если бы ему удалось дожить до освобождения, это все равно его не спасло бы.

Поэтому он стоял дрожа и страх ледяной глыбой давил его живот, а Гус, напрягая все силы, выгибал прут наружу. Железо поддавалось мощи бицепсов, развитых работой в каменоломнях, и через несколько секунд в решетке появилось широкое отверстие.

Гус загнул прут наружу для того, чтобы он служил им приступкой, когда они будут выбираться на крышу. Он поглядел вниз на Моргана и подмигнул.



— Я полезу первым, Морг. Пошлешь соплю за мной, а сам лезь последним. Так будет вернее. А то как бы этот гад не поднял тревоги.

— Ладно, приятель, — ответил Морган.

Гус, как организатор побега, естественно, имел право лезть первым. И, конечно, они не могли положиться на Коппа.

— Только ты побыстрее, — добавил он, но Гус уже протискивался в дыру между стеной и вторым прутом. На секунду он замер, держась за отогнутый прут.

Напротив за темным кухонным двориком поднималась задняя стена административного корпуса. Все его окна были темными. Справа находились служебные помещения. Второй этаж был чуть выше изоляторного корпуса, и его занавешенные окна светились. Гус усталился на них с бьющимся сердцем, но ни одна занавеска не дрогнула. Кухонный дворик внизу был темен и пуст.

Он услышал раздраженный шепот Моргана и начал боком вылезать из окна, глядя на крышу. Ветер ударил ему в спину, потянул за старую красную рубашку, и он крепче ухватился за прут. Почти над самой его головой проходил парапет крыши.

Гус был теперь совершенно спокоен. Он вернулся в свою стихию. Ухмыльнувшись ветру и мраку, он отнял одну руку от прута и уперся ладонью в шершавую стену — зашуршала, осыпаясь, известка. Гус вытащил из дыры ноги, осторожно поставил босую ступню на изгиб прута и резким движением вскинул тело вверх. Он почувствовал, что прут прогибается под его тяжестью, но его рука уже достала до парапета, и сильные пальцы зацепились за край, как стальные крючья. Он вскинул вторую руку и на мгновение всей тяжестью повис на одной руке, чуть не вывихнув плечо. Но тут вторая рука нашла опору, и он ловко перебросил свое тело через парапет.

На крыше буянил ветер: он хлестал Гуса по лицу, слепил глаза. Гус пригнулся и выглянул за парапет. Из окна их камеры показалось лицо Коппа, потом его плечи. В полоске света, падавшего из окна, Гус увидел полные ужаса глаза — Копп висел над кухонным двориком, а Морган понукал его, ругаясь вполголоса. Гус почувствовал отчаянное желание бросить их тут и бежать одному.

Чуть ниже Копп, дрожа от страха, уже поставил ногу на прут и пытался уцепиться за парапет. Ветер налетал на него, старался оторвать его от стены и сдуть, как

клочок бумаги, на темный асфальт вниз. Коппу хотелось закричать, отпустить прут, броситься в черный провал, чтобы разом покончить с этим паническим ужасом. Он закрыл глаза, стуча зубами. Но тут на его кисти сомкнулись жесткие пальцы, и он почувствовал, что его злобно тянут вверх.

Пальцы босых ног Коппа царапнули по осыпающейся извештке, его свободная рука ухватилаь за парашет. Острый выступ содрал кожу с его груди. Он вскрикнул от боли и в следующее мгновение уже лежал на крыше. Сквозь свист ветра он услышал, как ругается Гус.

— Давай же, давай, сволочь, — шипел Гус, и его слова уносились в темноту. Копп, дрожа, скорчился за парашетом.

В следующую секунду над ним возникло лицо Морганa, на котором кусочками мела белели глаза.

Гус уже, пригибаясь, уходил в воющий мрак. Он двигался по ребристой железу, как кошка, приподнимаясь на носках, опираясь на кончики пальцев. Так он добрался до угла, где узкая арка соединяла крышу изоляторного корпуса с крышей секции предварительного заключения. Дальше тянулся лабиринт других квадратных и прямоугольных крыш, скученных в тесном пространстве.

Гус огляделся, шурясь под плетью ревающего ветра, который налетал с юго-востока, бился о тюремные стены, гремел по крышам, старался сбросить его вниз. Справа был двор, куда их выводили на прогулку, а слева — большой двор каторжной секции. Фонари за толстыми стеклами бросали тусклый свет на асфальт. Оба двора были пусты. Надзиратели, вероятно, обходили камеры. Прямо перед ним прямоугольная крыша арки пересекала темный провал, как перекиладина.

Гус быстро посмотрел налево и направо и медленно пополз по узенькому мостику. Ветер хватал его, оставливал, толкал — на секунду ему вдруг показалось, что он сейчас сорвется. Время тянулось бесконечно. Но в конце концов он все-таки достиг противоположной крыши и перевалился через парашет.

Гус посмотрел назад: по арке, разинув рот и выпустив глаза, бежал Копп. Гус грязно выругался в шуме ветра и отчаянно замахал рукой, приказывая ему лечь. Но Копп продолжал бежать, открытый ветру, точно пол-

ностью развернутый парус, и через несколько секунд достиг крыши секции предварительного заключения.

Копп видел, как открывается и закрывается рот Гуса, но ветер относил ругательства в сторону. Потом Гус повернулся и, пригибаясь, побежал вдоль низкого парапета.

Копп бросился ничком на крышу. Оцарапанную грудь обожгло — он ударился о ребро железного листа. Гонимый страхом, Копп открыто перебежал арку, но теперь тот же страх внушил ему осторожность, и он медленно пополз на животе по холодному, пахнущему птичьим пометом железу, и все его тело содрогалось от ужаса, а над ним выл ветер. Копп знал, что в глазах тюремного начальства он уже беглец, и теперь ему оставалось надеяться только на то, что их побег удастся.

Морган благополучно перебрался через арку и скорчился за парапетом. Он осмотрелся. Гус уже скрылся из виду. Он успел заметить смутное, похожее на краба пятно, исчезающее в темноте. Это полз Копп.

Морган не испытывал ни страха, ни возбуждения. Он был флегматиком и умел спокойно подчиняться любым обстоятельствам. И теперь он пополз по крыше, думая только о том, как довести дело до конца.

Над ним за темным пологом пронизанной ветром ночи лиловело небо, точно одеяло, усыпанное дешевыми блестками, а вдали, за стенами, багровели огни города, как будто дотлевал костер, и над портом силуэтами доисторических чудовищ вздымались краны.

Одной стороной квадрата была задняя стена секции, а по трем остальным располагались двухэтажный каторжный корпус, склады и умывальные, выходившие в угольный дворик, и больница. В углу двора железная решетка перегораживала выход в другой двор.

Гус выглянул из-за парапета и увидел, как какой-то надзиратель отпер калитку в этой решетке, вошел и, заперев за собой калитку, по трем ступенькам спустился во двор каторжного отделения. Он был в шинели и фуражке, за плечом у него висела винтовка. Гус смотрел, как надзиратель, похлопывая ключом по полам шинели, вошел в полосу фонарного света. На середине двора он остановился и поглядел по сторонам. В дальнем углу стояла цистерна с дезинфицирующей жидкостью, а за ней виднелась запертая калитка каторжного корпуса. Надзиратель подошел к калитке и проверил замок. Затем

повернулся, задрал голову и обвел взглядом линию крыши.

Гус не понял, заметил ли его надзиратель, но, когда он увидел прямо перед собой повернутое к нему лицо, его нервы не выдержали. Он вскочил и в панике помчался по крыше, не отдавая себе отчета, зачем и куда он бежит.

Надзиратель увидел его и закричал. В ту же секунду он вскинул винтовку и выстрелил. Из дула вырвался язычок оранжевого пламени, звук выстрела, полузаглушенный ревом ветра, сухим шелчком раскатился по двору. Надзиратель еще раз крикнул и кинулся к кнопке сигнала тревоги на противоположной стене.

17

— Но... но это все правда?

Джордж Адамс растерянно смотрел на Малыша Касбу, который сидел, подтянув колени к груди, и грыз обкусанные ногти.

Малыш Касба впервые решил вырвать страницу из сумрачного альбома своей памяти. Ему вдруг захотелось показать ее кому-нибудь перед тем, как его отвезут в столицу, чтобы повесить. Он колебался, точно исповедующийся, который не знает, то ли признаться священнику в гнусном грехе, то ли ограничиться простительными пустяками и уйти с несправедно полученным отпущением. Но теперь, показав страницу, он снова замкнулся и решил, что этот чудака что-то слишком уж настырен. Поэтому он ответил Джорджу Адамсу только угрюмым и злым взглядом.

«Поди разберись в нем! — с беспомощным раздражением подумал Джордж Адамс. — Оглушенный, точнее не скажешь».

Потом глаза Малыша Касбы прояснились, словно он все-таки решил ответить на заданный ему вопрос, но тут вдруг внимание обоих было отвлечено. Наклонив головы, они прислушались.

Откуда-то из завывающей тьмы позади корпуса донесся крик, потом шелкнул ружейный выстрел, и через секунду взревела сирена на крыше, рассекая ветер и ночь мечом оглушительного звука.

Джордж Адамс вскочил вне себя от возбуждения.

— Черт! — воскликнул он. — Кто-то бежал!

Он бросился к двери и, вывихивая шею, попытался хоть что-нибудь разглядеть в окне над лестницей, но видел только прямоугольник мрака.

Металлический рев сирены не смолкал. Они услышали еще один выстрел. Потом до них донеслись крики надзирателей, пробежавших через двор. И вновь послышался треск выстрелов — точно линейка щелкает по столу, подумал Джордж Адамс. И вдруг до его сознания дошел новый звук — вернее, какофония звуков. Сотни голосов кричали и пели, сотни жестяных кружек стучали по стенам и железным дверям — и все это сливалось в нестройный оглушительный хор. Заключенные издевались над надзирателями, пели и кричали, подбадривая беглецов.

«Солидарность преступного мира!» — с улыбкой подумал Джордж Адамс. Сквозь общий гомон он разобрал злобные выкрики растерявшихся надзирателей, грозивших лишить заключенных завтрака, оставить их на весь день без еды, если они тотчас не прекратят этого безобразия.

Опять раздался выстрел. За ним еще один. Надзиратели отдавали распоряжения, стараясь перекрыть вой ветра и насмешливые вопли заключенных. Сирена редела не умолкая.

Тут Джордж Адамс заметил, что в соседней камере царит гробовая тишина. Он напряг слух, но не уловил ни единого звука и с удивлением сказал себе: да это же они сбежали!

Он возбужденно крикнул Малышу Касбе:

— Черт! Это парни из той камеры. Сбежали! А мы-то не заметили ничего.

— Что же, удачи им, — неохотно пробормотал юноша. Он все еще был погружен в свои угрюмые мысли.

Несколько минут спустя сирена захлебнулась и стихла — теперь только шум ветра аккомпанировал реву в камерах. Надзиратели все еще отдавали приказы, потом раздался чей-то вызывающий густой бас, а кто-то пронзительно закричал. Снова и снова. Дверь внизу распахнулась, и по лестнице загремели шаги. Выглянув в окошечко, Адамс увидел четырех надзирателей — трое были в форме, а четвертый в шортах и спортивной куртке. Пятым шел начальник тюрьмы. Из-под штатского пид-

жака выглядывала пижама. Лицо у него побагровело, тощее тело тряслось от ярости.

Надзиратель отпер дверь соседней камеры, и все они вошли туда. Через две-три минуты они вышли. Начальник тюрьмы держал в костлявых пальцах обломки пилы и говорил сердито:

— ...эти мерзавцы их достали? Как они их достали?

Они спустились по лестнице, не заметив лица Джорджа Адамса в решетчатом окошке.

Во дворе раздался визг — кто-то униженно просил пощады, потом тот же визг прозвучал в нижнем этаже изоляторного корпуса. Надзиратель завопил:

— Шкура черномазая!

Послышался звук ударов и тупое чавканье сапог, бьющих по мягкому телу. Кто-то глухо застонал, и снова раздался молящий визг.

Джордж Адамс отошел от двери и сел на постель. Он поглядел на Малыша Касбу и сказал:

— Они их схватили. Эти сволочи их схватили.

Но тот уже натянул на голову одеяло.

18

«Все кончено!» — подумал Морган, скорчившись на узкой крыше, а ветер вцеплялся в его одежду, как обезумевшая женщина. Он услышал, как надзиратель во дворе второй раз выстрелил в бегущий силуэт Гуса, и сейчас же где-то совсем рядом с ним вопль сирены прорезал ночь.

Позади него почти на уровне крыши распахнулось окно служебного корпуса, из него высунулся надзиратель с винтовкой и начал вглядываться в темноту.

Внизу из дверей выбегали другие надзиратели с винтовками и пистолетами. По всей тюрьме поднялся невообразимый шум. Надзиратель в окне увидел Моргана, поднял винтовку, прицелился и выстрелил. Щелкнул затвор, раздался второй выстрел. Стреляя, надзиратель кричал:

— Ни с места, сукин сын, ни с места!

Снизу донеслось:

— Они на крыше! Несите лестницу! Лестницу!

Вооруженные люди вылезали на крыши пристроек, которыми изобиловала старая тюрьма.

Морган слышал свист пули над головой. Он знал, что надзиратель в окне хорошо различает его силуэт на фоне неба, а умирать он не хотел. Поэтому он встал, повернулся — в ту же секунду раздался второй выстрел, и пуля обожгла ему щеку. Он вздрогнул, но сразу застыл неподвижно, подняв руки над головой.

— Ладно, не стреляйте, сволочи! — крикнул он с вызовом, и его густой бас перекрыл свист ветра и вой сирены.

Где-то в стороне защелкали выстрелы — в Гуса стреляют или в Коппа? Надзиратель в окне кричал:

— Иди к краю крыши, дерьмо! И медленно, не то я разнесу тебе башку!

Морган разобрал лишь два-три слова, остальное заглушила сирена, но он догадывался, чего от него требуют. Держа руки над головой, он медленно пошел вперед. Царапина, оставленная пулей, саднила, и он чувствовал, как кровь теплой струйкой стекает по щеке на шею. Морган дошел до парапета и поглядел вниз. Надзиратель продолжал держать его под прицелом. Внизу во дворе надзиратели устанавливали лестницу, другие размахивали пистолетами и дубинками.

— Эй, спускайся, черная свинья! — крикнул кто-то.

— Да спускаюсь я, сволочи! — проревел он в ответ, покачиваясь, как темное дерево на ветру.

Он продолжал осыпать их ругательствами все время, пока спускался по лестнице, с тупым упорством батрака, расшвыривающего навоз. Поэтому, едва он оказался на земле, надзиратели обрушили на него удары дубинок и прикладов и били его сапогами, а он продолжал ругать их, корчась от вспышек боли, раздиравших его крепкое, сильное тело. Потом в голове у него вспыхнул пронзительный белый свет, и он потерял сознание.

— Господи, господи, не дай им меня схватить, — молился Копп, припав к железу тюремной крыши.

Страх судорогой сводил его внутренности, и он обливался горячим потом под холодным ветром.

— Господи! Господи! Они на крыше, они меня убьют. Иисусе сладчайший, спаси меня от них, спаси, спаси!

Ужас пригвоздил его к крыше, у него не было сил встать и сдаться. Когда взвыла сирена, он в панике помчался по крышам, сам не зная куда, и теперь лежал,

прижавшись к парапету, дрожа от страха. Он же не хотел бежать! Это они, это Морган и Гус его заставили! Он так и скажет на суде, что они его заставили.

Он заплакал от беспомощности и ужаса. Он хотел уползти куда-нибудь, спрятаться, бежать, сдаться надзирателям, умереть — лишь бы уйти от этого невыносимого ужаса.

Прошло несколько минут. Копп, дрожа, приподнялся и заглянул за парапет. К своему удивлению, он увидел, что добрался до наружной стены тюрьмы: внизу, в двадцати футах под ним, лежала мостовая пустынной улицы.

Гус тоже добрался до наружной стены, но в другом месте. Он промчался по крышам корпусов, арок, пристроек в неудержимом стремлении вырваться на свободу.

Надзиратели тащили лестницы — он слышал их крики. Его заметили, и дальше он бежал под треск выстрелов. Пули свистели совсем рядом, и он похолодел от страха, но мысль о том, что где-то близко ждут друзья, а с ними спасение, гнала его дальше.

Ветер хлестал его, хватал за одежду, насмешливо хохотал, как злой дух, решивший помешать ему. Но он бежал дальше, и его босые подошвы гулко гремели по железу.

Он пробежал еще одну крышу и увидел за узким проходом верхушку наружной стены. Задыхаясь, он пригнулся у самого края крыши, на мгновение замер и прыгнул.

Его руки зацепились за острый край, пальцы сжались, босые ноги отчаянно заскребли по кирпичу. Он подтянулся и закинул локти на шершавый верх стены, обдирая их до крови. Попробовал вскинуть ногу и рассек колено. И вдруг оказался на стене. Гус выпрямился на ноющих ногах, готовясь спрыгнуть в темноту улицы. Одно мгновение он стоял так, балансируя, и тут ему в грудь ударил ветер и, взыв, смел, точно сухой листок, назад, в тюрьму. Гус упал с воплем отчаяния и тут же снова вскрикнул — его тело ударилось об асфальт, и боль обожгла бедро. Над ним наклонились люди, и он снова вскрикнул, когда надзиратель злобно пнул его сапогом в ребра. На его плечи опустилась дубинка, и он завизжал, извиваясь от боли, ползая у их ног.

— Это второй! — крикнул надзиратель. — А где третий, падло? Где третий?

Они били его, слушали его визг и спрашивали:



— Где третий?

— Нет, нет, нет! — стонал Гус, плача от страха. — Я не знаю, начальник. Не знаю!

Его подняли, поставили на ноги, и на его лицо обрушился тяжелый кулак. Его били дубинками, кулаками, сапогами, а он плакал и просил пощады.

В изоляторном корпусе отперли железную дверь Дыры. Морган стонал на полу в коридоре, а надзиратель надевал на него цепи — запер обруч на поясе, защелкнул браслеты на лодыжках. В коридор втащили Гуса — надзиратели продолжали избивать его, а он стонал и плакал. Его тоже заковали в цепи, и под их тяжестью он упал на колени, все еще рыдая и умоляя.

Потом надзиратели швырнули их обоих в черную темноту Дыры и захлопнули дверь.

Прошло еще много времени, прежде чем Морган из мрака беспамятства вернулся в другой мрак — мрак замурованной гробницы. Сознание возвращалось к нему медленно, он стонал от невыносимой боли, судорогой сводившей его тело. Его лицо было все в крови, кровь наполняла рот, глаза превратились в два ноющих бугра. У него болели все кости. Он лежал в густой тьме карцера и постепенно приходил в себя. Через несколько минут он сунул пальцы в рот, отер кровь с разбитых десен и сплюнул. К его удивлению, золотой зуб остался цел. Он отхаркнулся, еще раз сплюнул и хрипло крикнул в темноту:

— Суки!

Потом он попробовал привстать и застонал от боли. Лязгнули цепи. В жуткой темноте кто-то плакал, захлебываясь, судорожно всхлипывая. Морган с трудом повернулся на бок и охнул. Открывать глаз он не стал — слишком больно, да и что можно увидеть в темноте Дыры?

Хриплым шепотом он позвал:

— Гус? Это ты, Гус?

Снова залязгали цепи, но ответом было только скулящее хныканье. Морган повторил, хотя каждое движение разбитых губ причиняло ему острую боль:

— Гус, это ты, приятель? А Копп где?

Собственно говоря, он вовсе не был уверен, что рядом лежит Гус. Может, это гнида Копп распустил нюни...

Но тут в темноте раздался прерывающийся, полный звериной тоски голос Гуса:

— Он выбрался, сволочь! Выбрался!

— Выбрался? — пробормотал Морган. — Он?

Несколько секунд он молчал, прислушиваясь к всхлипываниям Гуса, а потом хихикнул. Потом хихикнул еще раз и, несмотря на боль, вдруг захохотал.

Морган хохотал, не чувствуя боли, его тело содрогалось, а цепи лязгали в такт этому пронзительному истерическому хохоту, похожему на лошадиное ржание.

— Чего ты смеешься? — прохныкал Гус. — Чего ты смеешься, сволочь?

— Выбрался! — Морган икал от смеха. — Выбрался! Копп выбрался! Этот говнюк! Да ведь он даже не хотел бежать! — И Морган продолжал смеяться в темноте сумасшедшим смехом, который жгучей болью отдавался во всем его теле.

19

Из административного корпуса вышел надзиратель и заколотил по железному треугольнику. Ветер стих, и день снова обещал быть жарким. Бледное небо начинало розоветь, стайка голубей взвилась над тюрьмой и улетила навстречу восходящему солнцу.

На втором этаже изоляторного корпуса Джордж Адамс очнулся от спокойной дремоты. Он удивился тому, что не видел никаких снов: он ожидал, что после вчерашнего его будут мучить кошмары. Потянувшись, он сел на постели, зевнул и посмотрел на Малыша Касбу, который тоже уже скинул с себя одеяло. И тут Джордж Адамс со стыдом вспомнил, какой это день. Он подумал: «Не стоит его расспрашивать про то, что он рассказал. Ему и без того нелегко».

Поэтому он только грустно посмотрел на странного юношу, но ничего не сказал.

Они встали, сложили одеяла, и Джордж Адамс подумал, что Малыш Касба выглядит как будто бледнее обычного. Но, может, это только воображение? Когда знаешь, что ему предстоит...

Малыш Касба не сказал ни слова, когда они спустились на поверку. Заметив, что им придется ждать своих мисок с завтраком, он нахмурился.

Тюремное начальство решило не приводить в исполнение ночные угрозы, и во двореке секции заключенные

уже строились, чтобы получить завтрак. Повсюду возбужденно обсуждался вчерашний побег. Джордж Адамс увидел Юсефа и приветственно поднял большой палец.

Но завтрак все не несли, а вместо этого во двор вошла группа надзирателей и скрылась в изоляторном корпусе. Они отперли дверь карцера и крикнули:

— А ну, выходите!

Все в молчании смотрели на двух каторжников, которые, волоча цепи, вышли во двор под охраной надзирателей. Их распухшие лица, головы и одежда были все в крови. Щеку темнокожего пересекал багровый рубец, его рубаха была в пятнах запекшейся крови. Но разбитые губы кривились в вызывающей усмешке, а за ними тускло поблескивал золотой зуб.

Надзиратели увели их в сторону больницы, и заключенные смотрели им вслед. На крышах тюрьмы были теперь расставлены вооруженные надзиратели, и Джордж Адамс, глядя, как один из них смотрит вниз и поправляет ремень винтовки, подумал: «Стерегут конюшню, когда лошадь уже увели!»

Одному из каторжников удалось бежать — этому щуплому, угрюмому, который всегда дрожал, точно вымокший под дождем щенок.

Взяв свою миску, Джордж Адамс налил в кружку горячей воды и в камере размешал в ней какао. Половину отлил в кружку Малыша Касбы и сказал:

— Как раз остынет, пока мы доедим кашу.

— Я не хочу есть, — вдруг сказал юноша, и его лицо, лицо военнопленного, окаменело.

— Ну так выпей какао. Я его много намешал.

— Найдется у вас чинарик, мистер?

— Ну конечно. — Джордж Адамс достал коробку и протянул Малышу Касбе сигарету, а потом, подумав, добавил: — Возьми-ка еще. Весь день без курева тебе будет трудно.

Псалмопевец затянул «Прекрасно все».

— Спасибо, — сказал Малыш Касба и взял еще три сигареты. Он спрятал их в нагрудный карман, а первую поднес к зажженной спичке, которую протянул ему Джордж Адамс.

— Спички тоже возьми, — спохватился Джордж Адамс. — У меня есть еще коробок.

— Ладно.

«Черт! — подумал Джордж Адамс. — Словно к стенке тебя поставили!»

Не глядя на юношу, он сел на свою свернутую постель. Малыш Касба выпил несколько глотков какао и снова затянулся. Затягивался он нервно, однако рука, державшая кружку, не дрожала, а лицо хранило каменное выражение.

Снаружи послышался голос писаря: он вызывал тех, кому предстояло ехать в суд. Малыш Касба нагнулся и потуже затянул шнурки своих резиновых туфель. Потом он встал и подошел к двери. Джордж Адамс тоже встал, а Малыш Касба крикнул:

— Это я! Я тут, наверху.

Потом он подошел к Джорджу Адамсу, и ожесточенный рот с усиками над верхней губой, которая уже почти зажила, улыбнулся с обычной неохотой. Малыш Касба задумчиво облизнул губы, а потом вытер правую ладонь о брюки и протянул ее Джорджу Адамсу, неуклюже и смущенно, словно движение это было для него непривычно.

Джордж Адамс взял протянутую руку и улыбнулся юноше.

— Ну, желаю удачи, друг.

— Спасибо, мистер.

Дверь внизу открылась, и надзиратель начал подниматься по лестнице, повторяя:

— Альберт Марч! Альберт Марч!

Не выпуская руки Джорджа Адамса, Малыш Касба крикнул через плечо:

— Здесь. Это я.

Потом он посмотрел на Джорджа Адамса, нерешительно помолчал и наконец сказал:

— Мне надо идти.

Надзиратель отпер дверь, и Малыш Касба, отпустив руку Джорджа Адамса, вышел в коридор. Джордж Адамс остался стоять один у исписанной стены, а где-то капала вода из испорченного крана.

Выслушав смертный приговор, Малыш Касба замкнулся в броне молчания. Стоя у барьера в зале, где пахло лаком и жужжали вентиляторы, он отгородился

от окружавших его чуждых лиц — торжественного белого лица судьи под гербом, розовых лиц полицейских в синей форме, лица прокурора и лица защитника, которого ему назначил суд и который теперь собирал свои бумаги. Он был чужим здесь, среди этих белых лиц, строгих костюмов и белоснежных рубашек, — только позвякивание ключей под лестницей, ведущей к камерам, было знакомым и привычным.

Судья, приговоривший Альберта Марча к смерти, произнес небольшую речь.

— Царство ужаса, посеянного шайками вооруженных ножами хулиганов, — сказал он, — долее не может быть терпимо, и суды должны выполнять свой долг, карая наиболее сурово, дабы помочь добропорядочным людям вести спокойное существование... Суды не раз уже указывали на разгул поножовщины в некоторых районах города и сельских местностях, — говорил он. — И больше нельзя терпеть шайки и отдельных индивидов, пускающих в ход нож по любому поводу. Государство и местные власти несут колоссальные расходы во имя улучшения социальных условий. Но усилия обеспечить людям лучшую жизнь подрываются деятельностью элементов, подобных обвиняемому, которые сеют ужас и смятение. Защита ссылалась на то, что обвиняемый происходит из класса и среды, где насилие и пьянство — явления самые заурядные. Но это никак не может служить оправданием.

21

Джордж Адамс увидел его еще раз — вечером, когда надзиратели привезли его назад в тюрьму и заперли в последней камере на втором этаже изоляторного корпуса, где ему предстояло ждать отправки в столицу. Малышу Касбе выдали новую парусиновую одежду, еще твердую от крахмала, и она топорщилась жесткими складками. Джордж Адамс успел мельком увидеть его лицо сквозь частую сетку окошечка. Оно было каменным и замкнутым.

Потом Джордж Адамс увидел каторжника, который нес поднос с ужином для приговоренного к смерти: суп, вареные овощи и кусок хлеба с маслом — обычный ужин белых заключенных.

Надзиратель, сопровождавший каторжника, ушел, но в коридоре остался цветной младший надзиратель в форме цвета хаки и тропическом шлеме — его обязанностью было следить, чтобы заключенный не повесился в камере, избежав казенной виселицы...

Младший надзиратель некоторое время стоял в конце коридора, заглядывая в камеру Малыша Касбы, потом отошел к двери Джорджа Адамса.

— Один сидишь? — спросил он довольно дружелюбно.

— Да, — ответил Джордж Адамс.

— Ну, все-таки тебе не так тоскливо, как ему, — заметил надзиратель, указывая в сторону последней двери. Он покачал головой и, вздохнув, тоном первооткрывателя добавил: — Чего только люди не вытворяют!

— А как он? — спросил Джордж Адамс.

— С виду ничего. Только молчит.

— А курить ему есть что?

— Им выдают сигареты.

— Все-таки передайте ему и от меня, — попросил Джордж Адамс.

— Ладно, давай. Беды большой не будет. А ты его знаешь?

— Да, сэр, я его знаю, — кивнул Джордж Адамс. — Он мой друг.

Он просунул сквозь сетку три сигареты, и надзиратель отнес их в камеру Малыша Касбы. Через несколько минут он вернулся и сказал:

— Сидит и молчит.

— Когда его увезут?

— Попозже. С ночным поездом.

Тут дверь внизу снова открылась, и надзиратель поспешно отошел в конец коридора. По лестнице поднялся начальник тюрьмы в сопровождении старшего надзирателя. Они подошли к камере Малыша Касбы и заглянули в дверь. Начальник, похлопывая тростью по костлявой ладони, сказал:

— Марч? Это Марч? Как ты себя чувствуешь, Марч?

Джордж Адамс не расслышал, ответил ли Малыш Касба что-нибудь, но начальник тюрьмы сказал:

— Скоро тебя увезут. С этой минуты уповай на всевышнего. Уповай на всевышнего. — Он помолчал и закончил: — Гм...

И они удалились. Снаружи опять поднялся ветер, и

Джордж Адамс слышал, как он таинственно шепчет что-то, пролетая между тюремными корпусами. В камерах тускло светили лампочки, во дворах тускло светили фонари.

Джордж Адамс еще стоял у двери, когда надзиратели явились за Малышом Касбой. Сквозь частую сетку он смотрел на них и слышал, как заскрипел тяжелый замок.

Из камеры каменной походкой вышел Малыш Касба. В новой одежде он чувствовал себя неловко, а жесткий воротничок уже натер ему шею. Он обвел лица пришедших за ним людей равнодушным взглядом. Задержавшись на мгновение, он вдруг прошел мимо них к камере, где ждал Джордж Адамс.

Джордж Адамс увидел его. Надзиратели не остановили юношу, и Джордж Адамс увидел его по ту сторону провололочной сетки. Пальцы с обгрызенными ногтями коснулись сетки, и серые холодные глаза на неизмеримо краткое мгновение вдруг осветились, точно в них проскочила электрическая искра. Ожесточенный рот чуть раздвинулся в одной из своих редких усмешек.

— Ну, всего, мистер, — сказал Малыш Касба.

Джордж Адамс кивнул.

— Всего, друг, — сказал он.

Юноша повернулся и отошел к надзирателям. Джордж Адамс смотрел, как они спускались по лестнице. Дверь внизу захлопнулась, заскрежетал замок, и он опять остался один в обществе исписанных стен, одеял, запаха табачного дыма и посвиста ветра.

На следующее утро его перевели назад в секцию предварительного заключения.

*В конце  
сезона  
туманов*





ПЕРЕВОД В. РАМЗЕСА. РЕДАКТОР Е. ЧАЦКАЯ

*Памяти Бэзила Феврюери  
и других, кто пал в  
1967 году, сражаясь в Зимбабве*

Те, кто нас, черных, употребляют в пищу,  
Те, кто прячутся за частокол речей и бумаг,  
Будут в прах растерты,  
Раздавлены каменным градом,  
Рассыплются, как паутина в конце сезона туманов.  
Вчера была ночь,  
Завтра — утро,  
Утро нового дня...\*

*Конте Сайду Тидиани (Гвинея).  
«Мученики»*

## ПРОЛОГ

Они нагрянули глубокой ночью, на нескольких автомобилях, выволокли его из дому и запихнули в «фольксваген». Лето уже кончилось, но ночь была теплой, и только высоко в небе тонкий иней, будто подвенечная фата, серебрил звезды. Два сыщика влезли в машину, один сел за руль, другой — на заднее сиденье, рядом с арестованным. Остальные тем временем обыскивали дом.

— Придется оставить его до утра в участке, — сказал сыщик, сидевший сзади. Водитель включил передатчик и доложил об аресте шефу районной службы безопасности.

Они ехали через район пригородных трущоб, мимо ветхих домишек; затем пошли кварталы новой застройки. До самого участка ехали молча.

Несколько часов спустя, едва рассвело, они явились за ним и повезли в город, в управление службы безопасности. Рослый молодой сыщик, как и вчера, был за рулем — водил он мастерски, — а второй, в спортивном пиджаке, снова сидел сзади, сжимая и разжимая кулаки, разглядывая ладони.

---

\* Перевод М. Курганцева.

Предместье просыпалось, от крыш и садов поднимался предрассветный туман, на автобусных остановках уже выстраивались в очередь рабочие.

Окраины кончились. Они выехали в центр города: зубчатая гряда конторских зданий, шеренги счетчиков на платных автостоянках, будто полчища безруких роботов. Арестованный сидел не шелохнувшись, с выражением глубокого раздумья на лице.

Сыщик, ехавший рядом с ним, заметил это.

— Сочиняешь басни для нас? — Он оскалился и отрывисто залаял, что должно было означать смех. — Чего бы ты ни наплел, никто тебе не поверит. Думаешь, мы дураки, ты, черномазая обезьяна!

Молодой сыщик громко заржал:

— Мы его так отделаем, что ему будет не до сказок!

Первые лучи солнца прокрались в город, согревая бетон, мрамор и металл оранжевым теплом. Рядом прошуршал битком набитый троллейбус.

— Он небось потребует адвоката, — все потешался Молодой, не отрывая глаз от дороги. — Слыханное ли дело — у этих тварей нашлись защитники!

Сыщик в спортивном пиджаке ткнул арестованного локтем в бок.

— Плохо дело, сэр, — сказал он с издевкой. — Никаких адвокатов. Плевали мы на них. Времена не те. Мы и без судей обойдемся.

— Кровью харкать будешь! — зло пригрозил другой.

«Фольксваген» свернул на улицу, где находилось Центральное полицейское управление и здание уголовного суда. Перед входом в суд из большой крытой машины выгружали вчерашний «улов». Дворник в коричневой спецовке поливал из шланга широкую мостовую, вода быстро высыхала на утреннем солнцепеке. Под высокой аркой проехали во двор; там уже успели полить, пахло дезинфекцией. Заключение в красной рубаше с чайным подносом в руках толкнул ногой тяжелую дверь и скрылся за ней.

Арестованного повели по пустым коридорам, мимо коричневых дверей, потом вниз по щербатым каменным ступенькам. Сыщик в спортивном пиджаке постучал, открылся глазок — квадратное зарешеченное оконце, — потом заскрежетал замок. За дверью начался другой коридор. Наконец надзиратель в форме, с револьвером и

связкой ключей отпер крошечную каморку с серыми стенами.

— У тебя есть время. — Арестованный не обернулся посмотреть, кто из сыщиков сказал это. — Пораскинь мозгами, старина, ежели они у тебя есть.

Удар в спину — и он полетел ничком на пол. Сыщики ушли, тяжелая дверь закрылась. Арестованный перекатился на бок, сел, положил скованные руки на колени, привалился спиной к стене. Скула горела — ободрал о каменный пол. Он давно готовил себя к испытаниям, закалял волю. Но только тут вдруг понял: он толком не знает, что его ждет. За уродливой личиной режим прятал еще более зловещий лик, и теперь впервые предстоит увидеть его. Бывало всякое: разгоны митингов, полицейские дубинки, высокомерный отказ выслушать жалобы и принять петицию, засохшая кровь — будто краску разлили на мостовой, где упал сраженный пулей. Но здесь, за надраенными до блеска стеклами, решетками и правительственной вывеской, террор как бы представал в ином измерении.

Он не знал, сколько времени прошло, когда вдруг с грохотом распахнулась дверь и вошли оба сыщика: Молодой и Спортсмен. Его подхватили, как мешок, поставили на ноги и вытолкнули в коридор. За одной из коричневых дверей чей-то вкрадчивый голос, записанный на магнитофон, давал показания. В комнате, куда его впихнули, было незанавешенное окно с решеткой, за ним виднелись крыши, водосточные трубы, дымоходы, церковный шпиль. В голубом, без облачка, небе кружила стайка голубей. У окна стоял большой письменный стол, на нем два телефона, ровные стопки исписанной бумаги, папки из бычьей кожи, чернильный прибор, коробочки с булавками и скрепками.

— Вот и мы, майор, — сказал Спортсмен.

— Пусть садится.

Толстяк майор за столом, казалось, был сложен из розовых овалов: лысеющая голова — овал жирного лица, жирная шея на покатых плечах и самый большой овал — туловище. Этаким весельчак с рекламного плаката. На нем была накрахмаленная летняя сорочка, из коротких рукавов торчали розовые, пышные, округлые руки. А глаза как две стекляшки — крохотные, блестящие, бесстыдные. Он заговорил; голос вопреки ожидани-

ям звучал дружелюбно, участливо. Таким тоном врач разговаривает с пациентом.

— Ага, старый знакомый! Ты давно на крючке, только мы не торопились тебя брать. Но после того, что произошло — ты знаешь, что я имею в виду, — вынуждены были вмешаться.

Маленькие, правильной формы губы растянулись в улыбке, но в маске напускного добродушия майора был существенный изъян: она не закрывала его глаз.

— Вот уж действительно черная неблагодарность! — продолжал он. — Чего только правительство для вас не делает: мы дали вам хорошую работу, дома, образование. Да-да, образование. Открыли специальные школы, а вы еще недовольны. Вам все мало. Подавай вам математику! А на кой черт? Неужто не ясно: вы — это не мы. Математика — не вашего ума дело. Нам видней, что для вас лучше. Мы из кожи вон лезем, чтобы вам помочь, во всем идем навстречу. Но вы хотите быть как белые. На это не надейтесь! Тут вам не Гана и не Конго. Дай вам власть — вы такого натворите! Кое-какие права мы сами вам предоставим, но чтобы все было у нас на глазах, под нашим присмотром.

Он всплеснул над столом розовыми ручками — мол, чего же вам еще надо! Жирное тело заерзало в кресле. Голубые глазки даже погрустнели, во всяком случае могло так показаться.

Арестованный смотрел на майора и думал: «Краснобай, надеется меня пронять. Смех, да и только. Что-то он еще скажет?»

Майор продолжал:

— Итак, приятель, вам нет ни в чем отказа. — Он обвел руками решетку на окне, папки из бычьей кожи, скрепки. — Но типы вроде тебя вечно недовольны. Ты сбиваешь с толку своих собратьев, хочешь втемяшить им то, что услышал от разной сволочи: от священников, адвокатов, коммунистов.

— И евреев, — впервые открыл рот Спортсмен. Он свирепо уставился на арестованного, как бы негодуя, что майору приходится опускаться до объяснений с этим скотом.

— Все, что мы делаем, должно вас устраивать, — внушал майор. — Довольно корчить из себя умников. Вам никто не верит, но вы не унимаетесь. Мой долг со-

стоит в том, чтобы покончить с этим, поставить крест на вашей организации. Вы и так уже на коленях, а скоро будете на лопатках. С корнем вас выкорчем. У нас всюду свои люди. Они хотят своему народу добра, а потому сотрудничают с нами. Так что мы знаем все, и вилить бесполезно. Нам известно, что ты главарь местного отделения. Ты связан с другими, в том числе и с тем, который удрал. Но он от нас не уйдет. Мне нужно его имя, адрес и все прочее. Назови нам всех, кто с тобой работает, где вы встречаетесь и когда. Кто твой связной с центральным комитетом или штабом — как это у вас называется? Будешь отвечать — мы тебя не тронем. А не захочешь — все равно заставим, только зря намучаешься. Мы тебя продержим сколько захотим — без всякого суда, по подозрению.

Голубые глазки, будто яркие лампы в операционной, бесстрастно разглядывали арестованного.

Арестованный улыбнулся:

— По-вашему, мы лгуны и смутьяны и никто нам не верит, чего ж вы так всполошились?

Спортсмен перебил его:

— Мы не желаем слушать всякую чушь. Отвечай майору на его вопросы.

Арестованный будто не слышал окрика и продолжал, обращаясь к майору:

— Вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал. Вы стреляете в моих братьев, когда они добиваются справедливости, выбрасываете людей из их жилищ, сажаете в тюрьмы не за убийство или кражу, а за одно то, что они живут на свете. Наши дети ходят в лохмотьях, умирают от голода. И вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал? Никогда!..

Не собиравшись говорить, вышло само собой, ну да пусть знают, что он о них думает. У него пересохло во рту, горела ссадина на щеке, он чувствовал себя измотанным, одиноким, загнанным. Ему было страшно, но память о великой несправедливости и неукротимая гордость служили ему поддержкой.

— Дерьмо, — гаркнул Спортсмен. — Тут тебе не митинг. Ты у нас попрыгаешь, макака!

— Нет, — возразил майор, — он не макака. Он «шишка», ихний «командир».

Чудилось, будто шелкают кавычки, слетая с майорских губ и вставая на свои места. Плоская синь за окном

подернулась знойным маревом. «Когда я еще увижу небо?» — подумал арестованный.

Он сказал:

— Вы меня будете пытаться, может, даже убьете. Вам больше ничего не остается, как стрелять, пытаться, убивать. Народ отвергает вашу власть. Ваш конец близок. Вы катитесь с горы в бездну и хотите прихватить с собой побольше народу, чтобы не подыхать в одиночку.

— Прекрати этот бред! — завопил майор. — Отвечай на вопросы, не то я тебе язык вырву!

Можно было предвидеть, что от деланного благодушия майор вот-вот перейдет к угрозам, и перемена не застала узника врасплох. «Впустую толстяк медоточил, — думал он. — Теперь надо подготовиться к худшему».

— Я все сказал.

«Больше ни слова, ни слова», — решил он про себя. Спортсмен и Молодой сдернули его со стула, вытолкали из кабинета и потащили по коридору. Тюремщик в форме отпер дверь. Сыщики поставили арестованного на порог, и Молодой спихнул его с лестницы. Он покатился по каменным ступеням, крича от боли. Наручники мешали уцепиться, замедлить падение. Он рухнул на цементный пол и застонал.

— Полегче, дружище, — сказал Спортсмен напарнику, — пусть поживет еще.

Он расстегнул молнию на брюках и, стоя наверху лестницы, пустил струю в лицо арестованного.

— Это его освежит.

Арестованный конвульсивно задергался, его стошнило. Спортсмен застегнул брюки, оба сыщика сошли вниз, снова поставили задыхающегося узника на ноги и второй парой наручников примкнули его к скобе, укрепленной высоко в стене. Арестованный повис на руках, жадно лоя ртом воздух. Он чувствовал, что обречен. Внезапно унесся памятью в далекое детство: он упал с запруды и идет ко дну. Вонючая вода затекает в нос. Перепуганные приятели в панике несутся по берегу...

Сыщики сняли пиджаки, и Спортсмен принялся молотить узника кулаками, как грушу в тренировочном зале. Когда он уставал, его сменял Молодой. Арестованный тщетно пытался увернуться. От одежды разлило блевотиной и мочой. Силы покидали тело — так вода вытекает из лопнувшей бутылки. Молодой выхватил пистолет и ударил узника рукояткой по икрам, будто ножом по

лоснул по сухожилиям. Ноги отнялись, он повис на руках, а Молодой все охаживал его пистолетом. Узник кричал и корчился от боли в ногах, запястьях, на которых болтался, во всем истерзанном теле.

— Это еще цветочки, скотина,— устало отдуваясь, приговаривал Спортсмен.— Ты у нас заговоришь.

# 1

Дубы в городском парке бросали лохматые тени на бурый гравий дорожек. В сточных канавах валялись прошлогодние желуди, на траве и гравии там и сям желтели сморщившиеся от солнца листья, будто обрывки мертвой кожи,— лето кончалось. Между деревьями, среди гладких, как бильярдный стол, лужаек попадались возделанные участки, к низеньким колышкам были прибиты таблички с английскими и латинскими названиями растений. Иногда с дуба камнем срывалась белка и пряталась в густых зарослях. Посредине парка — искусственный пруд с кувшинками и золотисто-красными рыбками, мечущимися в прозрачной воде. На берегу португальский мореход, первым из европейцев добравшийся до этой части света, взирал с гранитного постамента поверх дубов на гавань. Его похожее на сутану одеяние и высеченные в камне волосы были загажены голубями. Свет так падал на лицо, что казалось, будто в глазах сквозит насмешка. От памятника тропинки, пересекаясь, вели к музею и летнему ресторану «только для белых». Вдали синели горы, к их зеленому подножию ступенями роскошных авеню поднимался город.

Бити Адамс знала в парке каждую дорожку, каждую скамью, каждую оранжерею с орхидеями и другими диковинными цветами. Знала она, где солнце греет жарче, перемещаясь по бурому гравию, серому бетону, зеленой траве и деревьям. Да и как ей не знать всего этого, когда вот уже два года в теплые месяцы она гуляет здесь с ребенком по утрам и после обеда.

Сегодня, как обычно, она толкала коляску, нежась в утренних лучах. Рослая, дородная, уже не первой молодости, в застиранном белом халате и косынке, она старательно объезжала крапчатую тень, ловя ласковое тепло широким смуглым миловидным лицом. У нее никогда не было своих детей, всю жизнь она растила чужое потом-



ство. В коляске с голубым пластмассовым верхом посапывал златокудрый розовый крепыш. Впереди дорожку перебежала белка и юркнула в кустарник, спугнув с гравия стайку голубей. Несколько голубей уселись на ветви дуба, другие полетели через парк к зданию картинной галереи, выстроенному в духе неоклассицизма.

Парк постепенно наполнялся людьми: курьеры торопились кратчайшим путем к центру, мерно поскрипывал гравий под ногами гуляющих, пенсионеры-белые дремали на зеленых скамьях, сторож подбирал на острие палки клочки бумаги.

Бити Адамс катила мирно спящего младенца по залитым светом аллеям, ища свободную скамейку «для цветных». Наконец попалась подходящая. Ее излюбленные местечки были заняты, но и тут неплохо. На краю дремал какой-то мужчина. Бити уселась на другой конец, надежно укрепила коляску и откинулась на спинку, устраиваясь поудобнее на припеке. «Посижу-ка здесь полчаса, — решила она, — а там не спеша пойду к дому». Ее «дом» — это комнатенка во флигеле для слуг на заднем дворе большого бело-розового особняка рядом с парком. Комната как комната: односпальная кровать с вышитым покрывалом, старая мебель, выброшенная хозяйкой, когда купили новый гарнитур, фотография матери Бити в дешевой рамке, сельский вид на другой картинке, бутылочки с лосьонами на комодке — словом, всякая всячина, которая скрашивает жизнь.

Ребенок захныкал, стал тереть спростонья глазки кулачками.

— Ну-ну-ну. — Бити снова убаюкала его, подоткнула сбившееся одеяльце.

Подняв глаза, она увидела, что мужчина на другом конце скамьи наблюдает за ней.

— Малыш вас разбудил?

— Ничего. Сам не заметил, как заснул.

— На солнце разомлели, — сказала она.

— Должно быть. — Он зевнул в кулак. — Простите. Всю ночь на ногах.

Он взглянул на часы. Коричневая бумажная сумка и скатанная в трубочку газета лежали у него на коленях. Сонные карие глаза похожи на мокрые медяки, верхняя губа длиннее нижней. Под левым глазом белел небольшой шрам. Изящный, прямо-таки девичий подбородок зарос за ночь. Ему могло быть и двадцать пять, и сорок

пять — определить было трудно. Дешевый, но вполне приличный коричневый костюм, бежевая сорочка с мягким воротничком, галстук в тон костюму. На рыжих башмаках бурый налет пыли.

— Спасибо маленькому, а то бы все на свете проспал. — В карих глазах была усталость, но под выпяченной губой ослепительно сверкнули в улыбке зубы.

Бити застенчиво улыбнулась в ответ и потупилась. Не в ее правилах заговаривать с незнакомцами. «Смотри не доверяй городским», — наставляла ее мать, когда Бити уезжала из деревни. Этот наказ запал в душу. Боязливость, как и сельский выговор, не исчезла с годами, несмотря на то, что пришлось с лихвой хлебнуть городской жизни. «Может, поэтому, — думала она теперь с легкой горечью, — до сих пор и не замужем».

— Каждый день здесь бываете?

Сначала ей показалось, будто он собирается назначить ей свидание, но вскоре она поняла, что заговорил он из вежливости — не похож на приставалу.

— Если погода хорошая.

— Наверно, больше возитесь с ребенком, чем мать.

— Мне эта работа по душе. Его мать днем уходит, а отец вечно в разъездах — работает в торговой фирме.

— Так-то вот. Вы нянчите их детей, стираете пеленки, даете соску. А вырастут — забудут обо всем и станут смотреть на вас с презрением.

— Да, верно.

— Вы родом из деревни?

— Уже семнадцать лет как в городе.

— А я здесь родился. — Он широким жестом показал на голубей, крыши домов на горизонте, спящего на солнце старика, хрипло дышащего влажным розовым беззубым ртом.

— Все семнадцать лет в служанках.

— По их мнению, черные созданы лишь для того, чтобы стирать пеленки.

— Такова жизнь, не правда ли? — сказала Бити нерешительно, потому что сама не очень в это верила.

— Жизнь? А почему, собственно, мы должны так жить? Ведь мы такие же, как они, не хуже и не лучше. — Говорил он резко, но покрасневшие от недосыпания глаза по-прежнему улыбались ей. Длинным смуглым пальцем он водил по жесткой щетине на скулах.

— Да, пожалуй. Но что поделаешь?

— Можно кое-что сделать.— Сонливости его как не бывало.— Конечно, не за день и не за год. Но даже если мы не дождемся, чего хотим, все равно нельзя сидеть сложа руки. Это дело нашей гордости, человеческого достоинства. Вы понимаете меня?

— Все равно надежды никакой. Одни неприятности... Он зевнул и передернул плечами.

— Неприятности всегда были и будут!

Ему, видно, к неприятностям не привыкать — человек битый. А она дорожила своим нынешним покоем, и комната на заднем дворе, обставленная рухлядью, где висит фотография матери, была ее крепостью. Хозяйка иногда накричит на Бити, если у ребенка потница или на комодѣ пыль,— вот и все ее неприятности.

Бухнула пушка на холме за городом. Над крышами плыл бой часов на ратуше. Полдень. Отвернув рукав пиджака, мужчина снова посмотрел на часы и протяжно зевнул.

— Извините,— улыбнулся он,— загулял я вчера. Ну, мне пора.

— Раньше надо ложиться,— шутливо посоветовала она, представив веселую попойку, беспечно танцующих женщин.

Улыбаясь, он встал со скамьи. Костюм был помят на спине и неважно сидел на нем: видно, что куплен в кредит в магазине готового платья. Он был довольно высокого роста, лицо не лишено приятности. Оно не постареет, таким и останется до самой смерти, будто деревянная маска искусной работы. У хозяев Бити в гостиной висела такая маска, хозяин говорил, что она стоит кучу денег.

— Ну, всего хорошего,— сказал мужчина.— Жаль, времени нет, а то бы еще поболтали. Малышку берегите.

— Прощайте!— Она нагнулась над коляской, чтобы поправить одеяльце на спящем ребенке, а когда подняла голову, мужчина уже скрылся за деревьями. Он забыл на скамье газету, но окликать его было поздно — не услышит. Там, где он свернул, какой-то пожилой господин кормил орехами белку. Статуя Родса простерла длань на север, в сторону сегрегированных уборных: «Вот она, ваша земля».

Бити потянулась за газетой и развернула ее, решив, что посидит еще четверть часика, а потом поедет готовить ребенку еду.

Газета пообтрепалась, словно ее туго скатывали и нервно мяли в руках. На изгибах типографская краска размазалась. «Длинные смуглые пальцы», — ненароком подумала Бити, разглядывая первую страницу. «Суд над женщиной, которая убила мужа. Убийство в Бейнсбурге. Сегодня убийца предстанет перед судом», — кричали заголовки. Бити Адамс вдруг вспомнила захолустную станцию, бидоны с молоком, загон для овец; цветной мужчина в фуражке железнодорожника мел платформу, а поезд медленно тащился мимо, увозя Бити в город, и было это давным-давно. Неужели тот самый городишко? На фотографии — деревянный дом с железной кровлей, запряженный лошадьми фургон, забор из гофрированной жести. На крыльце у запертой двери стоит полицейский с самодовольной рожей и держит руку на кобуре. В размазанную газетную колонку врезана другая фотография: женщина в шляпе, похожей на черный нимб, — миссис Катерина Зюйденхаут. И как это люди могут докатиться до такой мерзости, чтобы убивать друг друга! Вот он, тот страшный мир, что лежит за стенами ее комнаты. Бити замахнулась газетой на голубя, усевшегося на верх коляски, он вспорхнул, сделал круг над дорожкой и полетел в сторону музея.

Подходя к музею, Бейкс невольно вспомнил свидание, которое у него здесь было несколько лет назад. Тогда тоже стояло лето и он, как теперь, не выспался. Странное совпадение. Прошлое ожило на миг, будто цветной диапозитив вспыхнул на экране памяти...

В вестибюле было прохладно, несмотря на лето. В музеях почему-то всегда так: холодно, как в леднике. Вереница притихших детей во главе с учителем семенила на цыпочках под ледяными сводами. Какой-то малыш зашелестел пакетом с бутербродами, и учитель зашикал на него. Ступая по скрипучим половицам тускло освещенного вестибюля, Бейкс почувствовал на себе короткий, но пристальный взгляд служителя, оброненный поверх газеты. Бейкс скосил глаза в сторону конторки, но увидел только синюю форменную фуражку и крупно набранный заголовок «**Стачка**» в газете. Бейкс не очень-то похож на человека, интересующегося чучелами хищников, зародышем обезьяны в банке или раздавленной блохой под увеличительным стеклом. Как бы служитель че-

го не заподозрил. Бейкс пошел дальше в полумраке, мимо средневекового оружия, мечей, топоров, старинных пищалей и кирас и по широкой отполированной лестнице поднялся на верхний этаж.

Здесь было светло. Солнечный свет лился через огромные окна, и стеклянные глаза леопардов, львов, обезьян искрились, как неисправные радиолампы. Бейкс был совсем один — странник в затерянном безжизненном мире. За витриной с обезьянами, висевшими на бутафорских ветвях, пряталось чучело слона. Белые таблички с названиями животных усиливали ощущение гротеска. Бейкс едва не сбился с пути, заплутав среди саркофагов и гипсовых фараонов, но в конце концов отыскал антропологический отдел. Здесь, за стеклом, охотились с луком и стрелами аборигены — красноватые лилипуты с короткими, цвета перца волосами и бисерными глазками. «Вот первые борцы за свободу», — с теплым чувством подумал Бейкс. Он молча шагал мимо неподвижных красных фигурок, скорчившихся над очагами и страусиными яйцами, в которых хранилась вода. Наконец в пыльном прямоугольнике света он увидел Айзека.

Тот сидел один на краю гладкой деревянной скамьи, сложив ладони на коленях, будто робкий новичок в церкви в ожидании проповеди. Заслышав шаги, Айзек вздрогнул, вцепился в подлокотник и поднял глаза.

— Ну-ну! — заулыбался Бейкс. — Это всего лишь я, дружище. Как дела?

— Ты меня напугал, — улыбнулся Айзек в ответ, — я подумал...

— Успокойся, — Бейкс опустился на скамью, — нас пока не ищут.

— Откуда ты знаешь? — Айзек обшаривал глазами зал, стеклянные витрины, натертые полы, будто опасался засады.

— Я обзвонил всех. — Бейкс зевнул. — Нигде ни облав, ни обысков. А у тебя что нового?

У Айзека были короткие курчавые волосы, светлая кожа, торчащие розовые уши, рыжеватый пушок на щеках, глаза слегка навывкате, придававшие лицу выражение непрестанного изумления. Он всегда немного нервничал, короткие пальцы вечно теребили брюки на коленях. На нем был длинный пыльник цвета хаки.

— Пока все нормально, — сказал он. — Та тройка, что я подобрал в своем районе, от работы не отказывает.

ся. Не знаю, что будет, когда полицейские засуетятся. Поль, например...

— Не надо имен, не устраивай переклички,— перебил его Бейкс,— забудем на время о полицейских.

— Кое-кто из наших до смерти перепугался,— сказал Айзек и снова огляделся.— Мы одни здесь?

— Конечно, дружище. Кто ходит в музей в это время дня?

— Как Фрэнсис?

— Все хорошо. Знаешь, мы ждем ребенка.

— Господи, жена в положении, а ему хоть бы что!

— Не выпался я.— Бейкс зевнул.— Заседание комитета, черт его дери... Почему это мне «хоть бы что»? Жена ждет первенца. Через несколько недель должна начаться забастовка. Фараоны вот-вот закопошатся. Думаешь, я не беспокоюсь? Еще как! Но что толку говорить об этом? Словами делу не поможешь.— Бейкс подмигнул Айзеку.— Так или не так? «Не печальтесь — улыбайтесь, улыбайтесь!»

— Небось не рад, что все так совпало,— сказал Айзек, уставясь на краснокожую фигурку, отыскивающую след на песке за стеклянной витриной.

— Не надо вешать нос. Займемся делом.— Бейкс поставил сумку на скамью.

— Где это ты загулял вчера?

— Говорю тебе, прозаседали всю ночь, домой не попал. Ну да все равно.— Он вытянул ноги и снова зевнул.— Курить здесь можно?

— Нет уж, лучше не надо.

— Ладно. Итак, у тебя в группе трое. Отлично. Первым делом надо им дать какую-то работенку. Сегодня вечером я получу листовки, и их доставят тебе. Придет машина, но это не моя забота. Завтра их необходимо распространить. Часть на предприятиях, часть по домам. На заводах есть надежные люди?

— Один из трех парней работает на швейной фабрике,— ответил Айзек,— двое других бывают там и сям.

Бейкс, не поняв, что означало «там и сям», ответил:

— О'кэй. Первый парень пусть пронесет листовки на фабрику, разложит на рабочих местах, оставит в столовой. Только осторожно, чтоб его не сцапали с поличным. Обидно сразу его лишиться. Как с собраниями?

— Вчера устроили целый митинг, обсуждали, с чего начать.

— И хватит. Пожалуйста, никакой шумихи. Только маленькие собрания там и сям.— Бейкс улыбнулся: он невольно повторил фразу Айзека.— На фабрике стало трудно. Могут вызвать полицию. Надо сосредоточиться на домах. Поручи своим. Лучше всего это делать ночью.

— Понятно.

— Постарайся найти в своем районе людей, у которых можно собираться.

— Поищем там...

— ...и сям,— снова ухмыльнулся Бейкс.— Может, один из трех?

— Я поговорю с ними.

— Ну, вот и все для начала. То же самое делается в других местах. Со временем пойдем дальше.

— Дай-то бог,— вздохнул Айзек.— Думаешь, выйдет у нас?

— Я не цыганка, чтобы гадать. Все зависит от темпов, от интереса, который удастся пробудить в людях. Главное — не расслабляться.

Айзек опять уставился на фигурки в витринах, глаза навыкате глядели серьезно. На миг в них исчезло изумленное выражение.

— Слишком долго им все сходило с рук. Надеюсь, нам удастся хоть припугнуть их хорошенько. Это и народ ободрит.— Он перевел взгляд на Бейкса.— Не волнуйся, Бьюк, мы не подведем.

— Я знаю, Айк,— мягко отозвался Бейкс.

— Полиция первым делом займется жожаками — она вас знает.

— Мы так не дадимся — они у нас побегают.

На подоконник сел голубь, нарушив царившую в зале тишину. Фигурки первобытных людей сохраняли невозмутимость.

— Запомни,— продолжал Бейкс,— чтобы все шло как по маслу. И смотри не завались. Они тебя не знают и твоих парней тоже. Листовки получишь в срок.

— Теперь уже ты нервничаешь,— улыбнулся Айзек.

— Я вечно нервничаю,— подтвердил Бейкс,— известный псих.

— Это все?— спросил Айзек.— Мне пора на работу. Надо пораньше отправить почту.

— Хорошо. Вечером увидимся. Но рано меня не жди.

— Хм. Послушай, если дверь будет заперта, пусть оставят сверток на заднем крыльце.

— А не пропадет?

— Нет, не беспокойся.— Айзек поднялся.— Ну, я пошел.

— Давай-давай. Иди первым.

— Увидимся, Бьюк.

Бейкс смотрел ему вслед. Подошвы поскрипывали на натертом полу, длинный пыльник, будто сломанное крыло, болтался сзади. Он скрылся среди охотников, замерших с допотопными луками наготове. Когда Айзек исчез из виду, Бейкс поднялся со скамьи и зашагал в том же направлении. В египетском зале пожилая пара, склонившаяся над коллекцией скарабеев, на миг выпрямилась, когда он проходил мимо, а потом снова зашептала о чем-то над вырезанными из дерева жуками. До него донеслось слово «удача». Бейкс знал, что оно предназначалось не ему, и все-таки, спускаясь по лестнице, страдая от рези в усталых глазах, не мог сдержать улыбки...

И вот теперь, поравнявшись с музеем, он вспомнил все это. Сумрачный подъезд остался таким же; только расписание новое — разные дни посещений для белых и цветных. За оградой ботанического сада начиналась тихая тенистая улица. На углу возвышался дорогой многоквартирный дом — сплошное стекло и мозаика; чуть дальше, у подъезда гостиницы, из такси высаживались пассажиры.

— Заплати, Этель. Надеюсь, мы вовремя,— говорила своей спутнице женщина с накрашенным лицом, в широкополой шляпе размером с тележное колесо. К ним уже семеня портые с протянутыми руками, будто собираясь подхватить их на лету.

Бейкс миновал гостиницу, поднялся по крутой улочке и вышел к рядам дешевых, запущенных лавчонок. На политой мостовой у входа в молочную были выставлены бидоны; девушка мела тротуар перед запыленной витриной с неопрятным плакатом: «Гардины со скидкой, 29 центов за ярд». Он шел не спеша, но настороженно мимо витрин, под провисшими балконами, с пижамой и зубной щеткой в сумке и думал: «На каждом шагу может быть засада, а с виду все спокойно». Жизнь шла своим чередом. Было время обеда, рабочие на краю тротуара играли в шашки; две фабричные девчонки в синих халатах и косынках разглядывали платья в витрине; в



сторону центра прогремел полупустой троллейбус. Впереди показались два полисмента в мундирах цвета хаки, с револьверами, но Бейкс не испугался: секретная полиция формы не носит.

Он свернул в переулочек, прокаленный жарким солнцем. Жилые дома взбирались по крутому склону к подножию Сигнальной горы. Середина мостовой была уставлена как напоказ автомобилями местных торговцев. На высокой веранде, под сохнувшим бельем, свисавшим, как знамена, дремал старик в феске. Бейкс вззошел по цементным ступеням на крыльцо одного из домов и с облегчением обнаружил, что входная дверь не заперта.

В прихожей на вешалке болтался синий дождевик, подобно пропыленному, линиялому, забытому флагу. Зато соломенная шляпа с разноцветной лентой и чемодан, брошенный на яркий линолеум, напоминали о нынешней поре летних отпусков.

Бейкс уже собирался постучать, когда из спальни в прихожую вышел Артур Беннет с детской лопаткой, ведерком для песка и синтетическим ковриком в руках.

— Куда прикажете это деть?

При виде Бейкса он явно оторопел, но тут же справился с собой, придав лицу радушное выражение.

— Бьюк, негодник, — заорал он, — вот и ты! Где же ты пропадал?

— Привет, старый плут, — криво улыбнулся Бейкс.

— Кто там? Молочник?.. — донесся откуда-то из другой части дома женский голос.

— Это Бьюк, — отозвался Беннет, покрываясь нервным румянцем, — Бейкс. Ты знакома с ним. Заходи, дружище, — кивнул он Бейксу, — не споткнись о чемодан.

Он провел Бейкса в комнату, уставленную стульями; в центре красовался полированный обеденный стол с большой бронзовой вазой в форме кастрюли, при виде которой в голову лезли шутки о людоедах и миссионерах. Низкая кушетка и тяжелые кресла с круглыми лакированными подлокотниками теснились вдоль стены. Крахмальные кружевные салфетки, горка, забитая «пробными» бутылочками из-под всевозможных напитков. И еще много бронзы: пепельница, каминные щипцы (хотя камина не было), два подсвечника, которым бы место на алтаре.

— Мы только вернулись, дружище, — сказал Беннет, — чертовски здорово провели время на побережье.

«На пляже для цветных», — едва не вырвалось у Бейкса. Но вместо этого он сказал:

— Я приходил в субботу утром, как условились. Дом был заперт.

Беннет покраснел и смущенно пролепетал:

— Прости, старина. Нелли вдруг решила ехать в пятницу вечером. У женщин вечно семь пятниц... — Он опустил игрушки и коврик на пол у книжного шкафа, в котором не было ничего, кроме новенького комплекта энциклопедии, скорчил рожу, тыча большим пальцем в сторону другой комнаты, и добавил шепотом: — Она была против. Извини.

Тут же раздался женский голос, будто она подслушивала:

— К черту, я не желаю неприятностей.

— Извини, старина, — повторил Беннет. — Ты нашел, где переночевать?

— О да, я обошелся, — ответил Бейкс и подумал: «Лицемерный подонок».

Вошла женщина, сухо поздоровалась с Бейксом и накинулась на Беннета:

— Надо закончить с вещами, пока малыш не проснулся. У меня потом не будет времени.

Она была маленькой, хрупкой, похожей на садовую змейку.

Беннет снова покраснел и подмигнул Бейксу. Он был коротышка, моложе Бейкса, но уже лысый; коричневый череп под последними реденькими волосами сверкал не хуже полированной мебели и бронзы. У него были неспокойные, бегающие глазки, пытающиеся сохранить радужную мину, но маска все время сползала, как плохо приклеенные усы у актера в любительском спектакле. Говоря, он размахивал костлявыми руками.

— Почему бы тебе не присесть?

Бейкс взглянул на беднягу с некоторой жалостью.

— Нет, не беспокойся. Вот если можно почистить зубы и побриться...

— Конечно, конечно. Какой разговор! — Беннет был рад хоть этой маленькой услугой загладить свою вину. — Сюда, сюда! — Он засуетился, указывая в сторону кухни. — Мы только недавно вернулись. Пришлось отвезить старуху. Проходи, Бьюк.

В ванной хмурый Бейкс быстро побрился, почистил зубы хозяйской пастой, сполоснул лицо, утерся их поло-

тенцем и снова завернул бритвенные принадлежности и зубную щетку в пижаму. Вернувшись в комнату, он произнес с легкой издевкой:

— Этот район скоро объявят белым. Вас выставят отсюда.

— Я слышал. — Лицо у Беннета вытянулось. — Чего еще от них ждать!

— Сейчас не время для политики, Арти, — вмешалась женщина. — У тебя хватает дел. — Она вышла на кухню.

Бейкс, не обращая на нее внимания, продолжал:

— Один бедняга в Сипойнте повесился, когда пришли его выселять. Он там прожил бог знает сколько.

— Да, — хмуро буркнул Беннет.

Бейкс хлестал словами загнанного лысого человека — поделом ему!

— А ты, ты, мерзавец, не хочешь пальцем пошевелить. Друг просится переночевать, пока ты нежишься на пляже. Ты пообещал, а сам...

— Нелли боялась неприятностей, — вяло защищался Беннет.

— Каких неприятностей? Полиция тебя не знает. Я бы прожил два дня, а к твоему возвращению меня бы здесь уж не было.

— Тебя могли увидеть.

— Как увидели только что! — злорадно сказал Бейкс.

На Беннета жалко было смотреть. Он хлопнул рукой по плечи:

— О боже!

— Ты когда-нибудь кончишь болтать? — раздался окрик жены из соседней комнаты.

— Успокойся, — сказал Бейкс. — Я пошутил, никто меня не видел. — Он ухмыльнулся. — За ванную спасибо.

Бейкс направился в прихожую, хозяин с озабоченным лицом поплелся за ним. Костлявые руки мелькали в воздухе, как неисправный семафор.

— Прости, дружище!

— «Прости»? За что, черт возьми?

Беннет снова пошел румянцем, сунул руку в карман брюк.

— Вот десять шиллингов. Мой взнос.

Он нервно мусолил бумажку, оглядываясь через плечо. В глазах была мольба.

— Сам понимаешь, Бьюк. Нелли напугана. Она неплохая. Просто напугана. Говорят, у полиции всюду уши. Лучшему другу доверять нельзя. Держи—это мой взнос.

Бейкс поглядел на деньги, пожал плечами. Он уже раскаивался в том, что дразнил этого человечка.

— Оставь себе. Не надо откупаться от нас.

Беннет проводил его до входной двери.

— Как там ребята на севере?

— Сражаются. Разбили целое подразделение.

— Вот это да! — осклабился Беннет, но у двери снова занервничал: — Так ты уверен, Бьюк, что тебя никто не видел?

Бейкс взглянул на него и покачал головой. Он сошел по ступеням на разогретый жарким солнцем тротуар, оставив перепуганного хозяина в обществе бронзовых безделушек и полированной мебели.

## 2

Бейкс не без опаски продвигался к центру города, где ждал знакомый шофер такси. Сон одолевал его, ныли мускулы ног. В субботнее утро, обнаружив, что дом Беннета заперт и на окнах ставни, он решил вернуться ночью и взломать замок, но передумал. И теперь Бейкс не сдержал улыбки, вообразив себя верхом на заборе в окружении сбежавшихся соседей и полицейских. Тем вечером он отправился в богатый белый район на склоне горы, высоко над городом — тихие респектабельные улицы, куда редко заглядывают полицейские патрули. Он провел две тревожные ночи без сна в живописном овражке, среди сосен и душистого подлеска, подстилая на землю пижаму. Бейкс улыбнулся, несмотря на усталость, представив себя в пижаме на ложе из маргариток и сосновых игл. Он мог пойти на другую явку, но правила конспирации запрещали это. Весь аппарат авторитарного государства противостоит Бейксу и его друзьям.

В начале главной улицы движение выплескивалось из прибрежных кварталов и, журча среди викторианских особняков и современных коттеджей центра, растекалось во все стороны — назад к Сипойнту, к Кемпс-Бею или на материк.

Бейкс затерялся среди пешеходов. В толпе не то что на пустынной улице или в глухом переулке, где ты на виду. И все же сердце его тревожно билось, глаза пристально вглядывались в лица встречных. Темнокожий привратник в белых перчатках, в шапочке, напоминающей коробку с пилюлями, распахнул перед кем-то стеклянные двери огромного отеля — наружу вытек ручеек праздных звуков: перезвон бокалов, гортанный женский голос: «...обязательно побывайте в Лос-Анджелесе...», вкрадчивая музыка из затемненного вычурного бара, где ловко скользили между столиками индийцы-официанты. Темнокожий стражник охранял врата этого запретного для темнокожих рая.

Рядом с гостиницей только что отстроили большущий вокзал (отделение для черных находилось за милю отсюда). В витринах туристского бюро были вывешены веселые плакаты со львами, площадками для гольфа, солнечными пляжами. Группа белых пассажиров садилась в элегантный, сверкающий хромом автобус. На бульваре стеклянные и мраморные квадраты и прямоугольники по замыслу художника-кубиста изображали объятия, раскрытые для заморских гостей. Сквозь заросли портовых кранов на рейде виднелись пассажирские лайнеры и торговые суда. Некоторое время назад на глухой стене, обращенной к гавани, кто-то вывел кровоточащие слова, и даже пескоструйным аппаратом не удалось уничтожить размашистые буквы: «ВЫ ПРИБЫВАЕТЕ В ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО».

На таксисте была коричневая кожаная кепка. Он сидел, ссутулившись, за рулем и читал книгу в дешевом переплете, переворачивая страницы короткими толстыми пальцами с неровными грязными ногтями и черными волосками на суставах. Заглянув в машину, Бейкс некоторое время разглядывал эти руки и картинку на обложке: голая женщина, а напротив — мужчина с пистолетом. «Мало ему в жизни всякой дряни», — подумал Бейкс и негромко сказал:

— Привет, умник.

Водитель поднял голову. Он был в очках с зелеными стеклами — они зияли на лице будто два отверстия. Рот расплылся в улыбке, обнажив золотые зубы.

— Бьюк, старина! Как дела, дружище?

— Порядок. А у тебя?

— В норме.

Водитель потянулся к ручке, отпер дверцу, и Бейкс забрался на заднее сиденье. Гангстерский роман полетел в ящик на панели управления. Заурчал мотор, и Бейкс, подавшись вперед, сказал:

— К Томми махнем, что ли?

«И впрямь жизнь как в детективе, — думал он, боясь со сном, — разъезды украдкой, записки в тайниках, кодированные телефонные звонки». Допросы в камере пыток шагнули с экранов сегрегированных кинотеатров в реальный мир. Обыватели как за соломинку хватаются за видимые признаки покоя: субботние вечеринки, любовные интрижки... Бейкс вспомнил ожоги от электродов на руках заключенных. За внешней обыденностью пряталась паутина, проглядывала зловещая тень паука. Исчезали мужчины и женщины. Секретная полиция бросала их в каменные мешки, в зарешеченные камеры, где даже на кружках казенная печать *«Департамент общественных работ»*. Это мир тонкогубых розовощеких мужчин с извращенным умом, насмешливыми глазами, дубовыми кулаками; мир электрических орудий пыток; мир, где дни и ночи без сна; мир воплей и стонов...

— Ну как живешь, Бьюк? — спросил водитель.

— Так себе.

— Не знаю, что будет с этой проклятой страной. — Водитель опустил козырек на ветровом стекле. — Моя старуха отбарабанила на фабрике двенадцать лет, а теперь ей говорят, что придется уступить должность контролера сборочного цеха какой-то белой сучке. Всюду белые командуют — не продохнуть!

— Ты только теперь это заметил?

— Да нет, но когда это задевает тебя лично или твоих близких, на все смотришь по-иному.

Они проехали мимо порта и железнодорожного депо. Бейкс полулежал на сиденье, то поглядывая на встречный транспорт, то оборачиваясь назад. Очень хотелось заснуть. В машине сон нахлынул на него жаркой истомой, но спать нельзя. Он привык быть начеку и только в совершенно надежном месте позволял себе расслабляться — как лиса в норе, как ящерица под камнем. Но и тут полной уверенности не было. Враг может быть неподалеку, может быть повсюду — и не быть нигде.

Он почти не слушал трескотни водителя: слишком устал, чтобы думать и отвечать, только вставлял время от времени «да» и «нет».

Они свернули с набережной, взлетели на эстакаду и оказались в прокопченном районе, где тесно лепились друг к другу фабрики, склады, гаражи. Пересекли окружную дорогу и поднялись наверх, в район трущоб. Казалось, будто здесь прошли бои. Исчезли целые кварталы, оставив после себя пустыри.

— Сносят все к черту, — говорил водитель.

— Ага, — сонно отозвался Бейкс.

— Понастроят домов для белых, — сетовал водитель, — не клоповников, а многоквартирных небоскребов. Я в газете читал. Как же так — ведь мы здесь жили без малого сто лет?

У стены были свалены ящики из-под бананов с облезлой надписью: *«Бомбейская фруктовая компания»*. Два маленьких оборвыша копались в придорожной канаве. Женщина с нечесаными волосами трясла одеяло из окна, будто подавала знак кому-то на пустыре. Тут и там со щербатых стен беззвучные голоса бросали дерзкий вызов: **«ДОЛОЙ РАСИСТСКУЮ ТИРАНИЮ! СВОБОДУ НАШИМ ЛИДЕРАМ!»**

Они ехали по главной улице вымершего города, вдоль тенистых тротуаров, под ветхими железными и деревянными балконами. Витрины лавчонок, покинутых хозяевами во время исхода, глядели пустыми глазницами на захлавленную, залитую солнцем мостовую. От былых полчищ покупателей не осталось и следа; редкие прохожие будто уцелели после катастрофы. На провисших балконах были натянуты веревки для белья, крест-накрест, как оснастка призрачных кораблей; дырявые штаны болтались на солнце, подавая сигнал бедствия. У входа в кино какие-то люди слонялись под афишными досками, нелепо пестревшими на фоне грязно-серой обваливающейся штукатурки. Кое-где крошечные кафе еще цеплялись за жизнь вопреки всем превратностям судьбы, как огневые точки на последней линии обороны, и пыль покрывала пожелтевшие меню. Рыбные ряды были заколочены. Двое мужчин в майках курили на перевернутом ящике подставляя спины желтому солнцу.

В машине было душно, и Бейкс ослабил узел галстука, расстегнул воротничок. Он чувствовал, как пот, будто кровь, струится по груди; слипались от усталости глаза.

— Думаешь, мы когда-нибудь победим, Бьюк? — спросил водитель.

— А? Что?..

— Думаешь, мы победим?

— Непременно, — ответил Бейкс, зевая. Все его мысли были о подушке. Хоть бы водитель помолчал: Бейксу в этот момент было не до политики, не до сопротивления, не до революции. Он мечтал об одном — немного поспать. Они свернули в узкую улочку с ветхими домами и мечетью, и машина стала у обочины.

— Приехали, — сказал водитель и добавил: — Что-то там стряслось. — Голос его стал тихим, натянутым как струна.

Впереди несколько человек скучились у сваленной на тротуаре старой мебели. Двое мужчин грузили скarb на колымагу, в которую была впряжена лошадь. Бейкс и водитель молча наблюдали за ними.

— Кого-то выселяют, — сказал Бейкс.

Водитель с облегчением перевел дыхание и открыл Бейксу дверцу.

— Ты знаешь дорогу?

— Да, я здесь бывал.

— Ну что же, Бьюк, желаю удачи.

— Пока. Не расстраивайся, дружище. Спасибо тебе.

Водитель улыбнулся, сверкнув золотыми зубами и оправой очков, помахал увесистой ладонью. Бейкс, борясь со сном, стоял на потрескавшемся тротуаре с сумкой в руках. От рубахи разлило потом. Прежде чем войти в дом, он еще раз поглядел на кучку людей.

В центре круга, посреди груды всякого старья, сидела старуха в дряхлом шезлонге. Латаная-перелатаная парусина протерлась на складках, грязные лоскуты болтались, как сушеные внутренности; в нескольких местах швы разлезлись, и казалось, что старуха вот-вот провалится сквозь трухлявую ткань. Она сидела не шелохнувшись, вперив взгляд в пространство.

По правую руку от нее стояла детская коляска, доверху набитая тряпьем, шляпами, стоптанными башмаками. Балетная туфля с облезшей позолотой зацепилась загнутым носком за искореженную колесную ось. Тут же был умывальник с треснувшей мраморной доской, на нем гора пыльных картонок из-под обуви, шляп, платьев; старинная коробка из-под конфет, на крышке — мужчина в костюме времен Елизаветы и женщина в платье с рюшем и фижмами. Вокруг громоздилась остальная рухлядь: гардероб с болтавшейся на петлях дверцей и разбитым зеркалом; засаленный комод с облупившейся



краской; кухонный стол и еще несколько столиков, на них свален в кучу хлам, копившийся на протяжении десятилетий несколькими поколениями: засиженный мухами прошлогодний календарь с пышногрудой блондинкой в ковбойской шляпе и подписью «*Девчонка из Буффало*» на помятой обложке; дагерротип в старинной раме, на котором запечатлен облокотившийся на кадку с пальмой молодой человек в стоячем воротничке, черном галстуке-шнурке, высоких ботинках. На всех выступлениях мебели — тюки и свертки с барахлом, как на толкучке. Кастрюли и сковороды со шербатыми краями, сложенная швейная машина под рваным чехлом, ночной горшок без ручки, тазы, кувшины, ведра, кресла, матрасные пружины, колченогие тумбочки обступали старуху со всех сторон.

Она была худой, костлявой, со свалявшимися волосами цвета белой шерсти, посеревшей от носки. Но на смуглом изможденном лице с вызовом и достоинством сверкали влажные глаза. Руки покоились на коленях — грубые, узловатые, похожие на спутанные клубки бечевки. Несмотря на жару, она была в потертом пальто, воротник из искусственного меха вылез, как от стригущего лишая.

Столпившиеся вокруг люди глазели на старуху, но она никого не замечала, сидела, сгорбившись, в шезлонге, за баррикадой мебели, гордая и неприступная.

На узкой лестнице пахло мочой и протухшей едой. Томми жил в комнате на втором этаже. Бейкс поплелся по коридору мимо безмянных дверей. До него донеслись обрывки танцевальной мелодии, приглушенной стенами, и он пошел на звуки музыки. За одной из дверей женщина сварливым голосом распекала кого-то: «Думаешь, я такая дура, что тебе поверю?..» Вот и комната Томми. За дверью слышна громкая музыка.

Бейкс постучал и стал ждать в плотной, как байка, духоте коридора. Открылась соседняя дверь, и голый по пояс мужчина вынес полное мусорное ведро. Он пошел к лестнице, оставляя за собой след из влажных клочков бумаги и спитых чайнок. Поравнявшись с Бейксом, он улыбнулся небритым ртом и сказал:

— Ну и жарщица, доложу я вам.

— Печет, как в аду, — зевнул Бейкс и снова громко постучал: хозяин, наверное, ничего не слышал из-за включенной радиолы.

От духоты Бейксу сделалось дурно, он прислонил голову к дверному косяку и закрыл глаза. Тут же ему приснилось, будто он бежит вверх по эскалатору, идущему вниз, выбивается из сил, но остается на месте, не приближаясь к знакомому голосу, который говорит: «Привет, привет, старина Бьюк!»

Бейкс открыл глаза — в полурастворенной двери стоял Томми.

— Проходи, проходи, Бьюки, дружище! Тысячу лет тебя не видел. Когда мне передали, что ты придешь, я сказал себе: Бьюк снова взялся за старые проделки. А?

В комнате уже не гремела музыка. За курчавой шапкой волос Томми Бейкс разглядел скомканную тюлевую занавеску, старомодный фаянсовый кувшин и эмалированный таз на умывальнике. Бейкс с радостью отметил, что окно распахнуто. Даже Томми одолела жара. Обычно он целый день репетировал замысловатые па в черном смокинге, застегнутом на все пуговицы. Сегодня же Томми был в одной майке да отутюженных черных брюках, с которыми так и не решился расстаться.

Бейкс сел на край скрипучей двуспальной кровати. Томми запер дверь и, пританцовывая, подлетел к нему, маленькие ножки так и мелькали, ослепительная улыбка точно сошла с рекламы зубной пасты.

— Ну-ну-ну, дружище Бьюки, как поживаете, сэр?— Всегда он был весел, всегда счастлив, все ему было ни почем. Он жил в мире воркующих саксофонов и всхлипывающих скрипок, иной мир существовал для него лишь постольку-поскольку.

— Все бы ничего, — ответил Бейкс, — только вот жарко и спать чертовски хочется.

Он стащил с себя пиджак, чувствуя, что рубаха прилипает к телу.

— Дьявольская жарница, — подтвердил Томми. — Последняя в это лето.

Он подошел к окну и отдернул тюль подальше в угол, уповая на сквознячок.

— Вода в кувшине есть? — спросил Бейкс. — Сполоснуться охота.

— Конечно, конечно, конечно, братишка Бьюк! — Томми привык изъясняться в ритме танцевальных мелодий. Фокстрот сменялся вальсом или военным тустепом в зависимости от темы разговора. Томми закружился по комнате, роняя капельки пота на пол.

— Когда ты кончишь паясничать? — сонно буркнул Бейкс.

— Смейся, па-яц... — заорал Томми, наливая воду в таз. Потом посерьезнел, перейдя на медленный, печальный блюз: — Как идет дело, старина?

Томми имел лишь смутное представление о «деле», которым занимался Бейкс. Он знал только, что оно включает распространение каких-то листовок по ночам, подготовку забастовок. За такое «дело» можно в два счета сесть. Он задал этот вопрос из вежливости. Самому Томми для счастья нужно совсем немного: чтобы был классный оркестр, быстроногая партнерша да гладкий паркет. Он знал наизусть все мелодии и самые последние па. Томми часто менял работу — рассыльный, дворник, судомойка, — брался за что угодно, лишь бы в конце недели хватило на новую танцевальную пластинку. Нынешние дикие пляски были ему не по душе, он предпочитал танцы в стиле прошлого поколения. Выцветшая фотография эстрадного дирижера Виктора Сильвестера улыбалась со стены. Под ней, как алтарь, сверкала радиола. Пластинки хранились на специальной подставке, каждая в отдельном конверте.

— Идет мое дело, — ответил Бейкс. Он обтирался влажной губкой над умывальным столиком, а Томми что-то напевал себе под нос.

— Я повешу твою рубаху за окно, братец Бьюк, ля-ля-ля! Как насчет чая на двоих, тебе и мне, мне и тебе?..

— Я бы выпил просто воды, — сказал Бейкс, вытираясь дырявым полотенцем.

Томми достал с полки стакан, и Бейкс налил себе воды из кувшина. Сев на кровать в одних трусах, он залпом осушил стакан.

— Черт, так-то лучше. — Он взглянул на Томми. — Слушай, парень, можно мне здесь пожить?

— Что за вопрос, мистер Бьюк! — Томми обнажил белоснежные зубы. — Как раз я си-ро-та!..

— А куда девалась та, что я видел в прошлый раз? Как ее звали? Гвенни?

— Ах, знаешь, старина, женщины приходят и уходят, приходят и уходят.

— Настоящий Казанова, черт тебя дерит!

— Что я могу поделать, если они без ума от того, как я танцую!

«Ах ты, хвастун никчемный, — думал Бейкс, улыбаясь Томми. — Впрочем, не такой уж никчемный».

Они знакомы не первый год, и Томми испытывал что-то вроде неосознанного уважения к этому чудаку, который вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, забивает себе голову политикой. Все, что Томми делал для Бейкса, было продиктовано дружескими чувствами. Томми выполнял любые поручения охотно, но в суть не вникал.

— Слушай, ты, чертов клоун, — сказал Бейкс, — можешь сходить для меня в одно местечко?

— Конечно, Бьюк, ты ведь меня знаешь. А далеко это?

— Недалеко. Аптека Польского.

— Аптека? Так ты заболел?

— Я здоров, приятель, и не задавай дурацких вопросов.

— О'кэй, Бьюк, ты меня знаешь.

— Итак, аптека Польского. Вот адрес. — Бейкс объяснил, как отыскать нужную улицу в предместье. — Я дам тебе денег на автобус.

— Отлично, Бьюк. Аптека Польского. Найду!

— Да уж постарайся. Дело важное. — Бейкс зевнул в кулак и продолжал: — Спросишь самого мистера Польского, хозяина. Ты понял?

— Понял, Бьюк.

— Скажешь, что пришел за лекарством для Артура. Для Артура.

— Спрошу мистера Польского, лекарство для Артура. Это все?

— Все. Принесешь мне, что он тебе даст. Только не заверни куда-нибудь по пути.

— Не беспокойся, Бьюк. Я примчусь, как «Чатануга Чу Чу». Лекарство для Артура у мистера Польского. А если я его не застану, тогда что?

— Застанешь. Ну, жми-дави. — Бейкс потянулся к пиджаку и высыпал мелочь на ладонь Томми. Тот уже надевал рубашу.

— Ты, видать, чертовски устал, Бьюк. Ложись баиньки. «Я разбуду тебя, когда закат озарит багрянцем сад!» — Он беспечно захохотал, подхватил со стола таз и выскочил за дверь выплеснуть перед уходом воду.

Бейкс лег на кровать и закрыл глаза. От подушки кисло пахло бриолином. Он расслабился, и сон наконец

сморил его. Он успел еще подумать: «Хорошо бы при-  
снилась Фрэнсис», но тут же впал в глубокое забытие,  
без сновидений.

3

Впервые они встретились с Фрэнсис на потешной яр-  
марке. Бейкс ступил из ночного мрака в вольфрамовое  
заревое разноцветных гирлянд, протянутых на столбах от  
балагана к балагану. Пронзительная музыка, обруши-  
ваясь из громкоговорителей, служила лишь фоном для  
прочих звуков: грохотали аттракционы, визжали девуш-  
ки, взлетая в небо на чертовом колесе, как хворост, по-  
трескивали в тире ружья, стучали по брезенту кегельные  
шары.

— Два цента за бросок, шесть шаров на десять цен-  
тов, — метнулся к нему зазывала, но Бейкс покачал го-  
ловой и пошел дальше, продираясь сквозь толпу, бурля-  
щую у аттракционов, мимо женщин в очереди перед  
будкой гадалки. Шум оглушил его, он брел ошалевший,  
под градом нестройного многоголосья. Очумелые визги и  
хохот смешивались с трубным ревом буги-вуги. Пианино  
и контрабас бушевали, как штормовое море, ритм тонул  
в потоках обезумевших децибелов.

У Хамада, его дружка, в тот вечер была свехуроч-  
ная работа, и Бейкс от нечего делать завернул на ярмар-  
ку, разбитую на пригородном пустыре. В кармане было  
три полкроны и пригоршня меди, и он решал, спустить  
их в кегли или же попробовать силы в метании колец.  
Не так-то просто накинуть кольцо на дешевенькую вазу,  
или златокудрую куклешку, или бутылочку с одеколо-  
ном. Но если попадешь—забирай мишень себе, это твой  
приз.

«Небось хозяева на призах не разорятся», — думал  
Бейкс, кружа в людском водовороте. Пыль бурым обла-  
ком взлетала из-под ног. Он споткнулся о протянутую  
веревку, и кто-то рывкнул у него над ухом:

— Эй, приятель, ослеп, что ли?

Он разглядел смуглое, будто грубо и наспех выруб-  
ленное из красного дерева лицо. Трое парней ловко от-  
теснили его за угол, и Бьюк увидел циничные улыбки,  
затвердевшие, как мороженая рыба, злые глаза, хищно  
блестевшие под козырьками мягких кепок.

— Послушай, друг, — начал один из них, — не найдется ли у тебя денег взаймы?

— Нет, не найдется. — Бейкс весь напрягся, надеясь улучшить момент и вырваться из западни.

— Умник! — вступил второй. — Видать, не робкого десятка.

— А ну, выворачивай карманы! — приказал первый, с нечистым, прыщавым лицом, похожим на грязную терку. Вокруг гремела музыка, вопила толпа, с «автодрома» неся девичий визг.

— Да оставьте его, — заговорил третий, — дался вам этот тюфяк!

— Умник, — твердил второй, поглядывая на первого, страшного и опасного, как ржавое лезвие.

Бейкс не спускал с них глаз, всматривался в лица, стараясь угадать, кто бросится на него первым.

— Я выиграл, выиграл! — долетел чей-то крик. — Вон ту коробку конфет, с лошадкой!

Внезапно между ним и парнями втиснулся верзила в комбинезоне.

— Эй, что здесь происходит? — гаркнул он. — Опять ваши штучки! А ну, катитесь отсюда, живо! И чтоб я вас больше не видел!

Парни, как потревоженные стервятники, с ненавистью поглядели на верзилу, переминаясь с ноги на ногу, потом медленно повернулись и исчезли в толпе.

— Смотри тут за ними, — ворчал верзила в комбинезоне, — мало мне своей работы! Вчера кого-то раздели, понаехало полиции, а мне от босса влетело. Ты уж, дружище, поосторожней.

— Спасибо, — сказал Бейкс, — выручил.

Верзила помахал рукой, похожей на копченый окорок, и зашагал прочь, возвышаясь над толпой.

Бейкс побрел дальше без определенной цели, все еще не придумав, как бы потратить деньги.

— Эй, Бьюк, — громко окликнули его, — какого черта тебе здесь надо?

— Хэлло, Эрни, старина! Наверно, того самого, что и тебе, — заулыбался Бейкс.

— Давненько не видались! — орал Эрни. — Я спустил здесь пятнадцать шиллингов. Хватит, я не дурак. Сплошное надувательство. Единственное, на что стоит потратиться, — это качели и чертово колесо. Я прокатил девочек — они визжали так, будто их режут.

— Привет! — кивнул Бейкс двум девушкам, что были с Эрни.

Они улыбнулись в ответ. Одна из них, здоровенная девица с пышными формами и тяжелым круглым подбородком, прижимала к груди хрустальный бокал. У нее не хватало передних зубов, но зато были ямочки на щеках, делавшие ее привлекательной, несмотря на чрезмерную полноту и недостающие зубы.

— Выиграли, да? — спросил Бейкс, указывая на бокал.

— Это Эрни в тире, — ответила она, стараясь перекричать шум, — угодил в самое яблочко.

— Слушай, друг, я прямо снайпер, дикий Билл Хикок, — загоготал Эрни. — Парень в тире, жулик чертов, хотел зажать приз, но я себя в обиду не дам!

— Молодчина! Вы, я смотрю, недурно проводите время.

— Еще как! — подтвердил Эрни.

— Эрни швыряет деньги на всякую чепуху, — сказала вторая девушка. — Просто безумство!

— А на черта их беречь! Ешь, пей, веселись — вот мой принцип. — Эрни снова заржал и потянулся, чтобы шлепнуть девушку по задку, но она со смехом увернулась.

Бейкс не сводил с нее глаз.

— Эрни вечно сорит деньгами.

— Мог бы найти им лучшее применение, — сказала девушка и с укоризной посмотрела на Эрни.

Вокруг них, не умолкая, гремела музыка, взлетали ввысь разноцветные лампочки на чертовом колесе. Клокочущая толпа то и дело оттесняла их друг от друга, уносила в сторону и возвращала. Девушка размахивала у лица ладошкой, разгоняя пыль. У нее была гладкая кожа, большие, чуть-чуть раскосые глаза, в которых отражались огни иллюминации, припухлые, изогнутые дугой губы.

«Ай да девушка, кофе со сливками!» — подумал Бейкс.

— Хватит околачиваться здесь без дела, — заговорил Эрни. — Пойдем веселиться. У меня на руках две пташки, так что выручай, Бьюк, присоединяйся к нам.

— О'кэй! — Бейкс обрадовался компании. — Что будем делать? Швырять пенни вместо колец?

— Вот бы отхватить ту коробку шоколада, — сказала толстуха, глаза на призы.

— Это мигом! Кстати, друг, ее зовут Мариам, — Эрни игриво шлепнул девушку. — Прямо как автобус, верно?

— Негодник, — обиделась толстуха, — вечно меня задеваешь.

— Брось, я же шучу, — засмеялся Эрни и схватил за руку вторую девушку. — А это Фрэнсис. Ее можно задержать, она не против.

— Только попробуй, — улыбнулась Фрэнсис и повторила: — Попробуй только!

— Ну пошли, что ли, — заторопил Бейкс. Ему вдруг стало легко и весело.

— В кегельбан? — переспросил Эрни. Он был рослым парнем, короткие рукава желтой тенниски обтягивали мускулистые волосатые руки, на запястье блестели золотые часы с браслетом.

— Пустая трата денег, — сказала Фрэнсис.

— О господи, Фрэнсис, прекрати! — набросилась на нее Мариам.

— Ведь мы миллионеры! — орал Эрни.

— Ты поосторожней с деньгами, — предупредил Бейкс. — Тут полно всяких типов. Я еле ноги унес.

— А что, они... — открыла было рот Фрэнсис.

— Все обошлось, — поспешил ответить Бейкс, тронутый ее участием.

— Ладно, — сказал Эрни, — буду поосторожней. Ну, пошли.

Он стал прокладывать дорогу в толпе.

— Не потеряйтесь! — Бейкс шел следом за Фрэнсис и не видел ничего, кроме копны черных шелковистых волос, схваченных на затылке пластмассовой заколкой.

— Ну и народу здесь, — кричал Эрни, — пока дойдет наша очередь, шоколад кому-нибудь достанется.

Его коротко остриженная голова плясала впереди, как поплавок.

«Автодром» грохотал канонадой, возбужденно галдели люди, становились на дыбы деревянные кони с горящими ноздрями и лоскутными хвостами. Бросалась в глаза вывеска на размалеванном фургоне: *«Мадам Клейр предскажет ваше будущее!»*

— Хотите узнать судьбу? — спросил Бейкс у Фрэнсис.

— Не верю я в эту чушь, — ответила она улыбаясь.

— И в трефового короля, и в дальнюю дорогу?



Она покачала головой, поглядела по сторонам и закричала:

— А где же Эрни и Мариам? Неужто потерялись? Бейкс обвел глазами толпу.

— Черт, их нигде не видно. Будем искать?

— Легче найти иголку в сене.

— Вот уж верно!

— Я и одна не пропаду, — сказала Фрэнсис.

— Мне тоже так кажется. А можно я побуду с вами?

— Так и быть.

— Все же давайте взглянем, нет ли их у кегельбана.

— Зря только время потеряем. И вообще мне домой пора.

— Не уходите, рано еще. Давайте выберемся из этой толчи и посидим где-нибудь. Идет?

— Ладно. От пыли в горле першит.

— Только уговор — не теряться! — сказал он, беря ее за локоть, и пошел напролом сквозь колышущуюся людскую массу. Наконец они выбрались из толпы и оказались на «ничейной земле», усеянной пустыми бутылками, картонными стаканчиками и целлофановыми пакетиками из-под жареного картофеля. По другую сторону шоссе на фоне багровеющего ночного неба бледно желтели огни предместья.

— Уф! Какое счастье, что мы ушли, — ловя ртом воздух, сказала Фрэнсис. Оранжевые блики играли на ее лице.

— Тут есть одно местечко. — Бейкс показал в сторону алого неоновового пятна с рекламой кока-колы. — Лишь бы Эрни и та девушка не переполошились.

— Они знают, что мы не заблудимся.

Бейкс взял ее под руку, и они пересекли шоссе, направляясь к кафе, приютившемуся в тени новой эстакады. По эстакаде шел народ, лавиной волшебных огней катили машины.

В маленьком кафе было пусто, из приемника лилась мягкая приглушенная музыка. За прилавком, покрытым пластиком, стояла индианка в зеленом сари, с браслетами на запястьях, с подведенными тушью глазами.

— Чего вы выпьете? — спросил у девушки Бейкс.

— Все равно. Ну, скажем, ананасного сока.

Бейкс взял два стакана соку и отнес их на столик в укромном уголке. Они уселись друг против друга под плакатом, прославляющим достоинства слабительного

порошка. Все так же негромко играло радио, из-за шоссе доносился гул ярмарки.

— Как это вас занесло на карусели? — спросила Фрэнсис, потягивая через соломинку сок.

— Тут у меня приятель живет неподалеку. Я его не застал, деваться было некуда. А вы любите аттракционы?

— Я пошла за компанию, с Эрни и Мариам.

— Когда я был мальчишкой, тетка повела меня однажды в цирк. Ох и невзлюбил же я его! Артисты все время поворачивались к нам спиной, и ничего не было видно. Я спросил у тетки, в чем дело. Она и говорит — это потому, что мы сидим на местах для цветных, а артисты для белой публики стараются, хоть мы и заплатили за билеты столько же. С тех пор я ни разу в цирке не был.

Он отпил из своего стакана. По радио передавали трепетный блюз.

— Вы любите танцевать? — Ему хотелось побольше узнать о ней — что ей нравится и не нравится, — чтобы быть готовым к любой неожиданности.

— Да, иногда, — ответила Фрэнсис. — На прошлой неделе я была на балу в честь одной баскетбольной команды.

— Я-то танцор никудышный, мне больше нравится слушать музыку. Есть у меня друг, Уэсти. Мы с ним, бывало, ходили слушать муниципальный оркестр после занятий в вечерней школе. Как он играл!

— Господи, какой вы серьезный!

— Да нет, что вы, — засмеялся он.

— Мне кажется, я вас видела.

— Интересно, где же?

— На митинге рядом с моей работой.

— Удивительно. Мир тесен, верно?

Он улыбнулся и внимательно поглядел на нее: карие, слегка раскосые глаза сияли ярким, чистым светом. На свежем лице никакой косметики, под прядями черных волос маленькие золотые сережки.

Блюз кончился, и женский голос на португальском языке объявил, что передачу ведет радиостанция Мозамбика. Снова заиграла музыка, мимо кафе протарахтела машина с поврежденным глушителем.

— Откуда у вас отметина под глазом? — спросила Фрэнсис.

— Эта? — Он прикоснулся к шраму. — Упал в детстве. Мы играли в ковбоев на мостовой, и я споткнулся о консервную банку.

— Бедняжка!

Он глядел на нее и растроганно думал: даже если у нее все лицо будет в шрамах, и тогда она будет самой красивой.

— Значит, вы меня видели раньше?

— Ага. Политикой интересуетесь?

— В общем, да.

— Мой отец тоже ходит на митинги и разные собрания.

— А где он работает?

— Они с мамой уже на пенсии. Получают по семь фунтов в месяц.

— Стало быть, вы теперь в семье кормилица?

— Выходит, так. Есть у меня женатый брат, но он с нами не живет.

В кафе вошел мужчина, спросил сигарет, взглянул на молодого человека с девушкой, взял сдачу и вышел. Веселье на ярмарке не утихало. Индианка одиноко сидела за прилавком, уставленным стеклянными банками с конфетами и блоками сигарет. В репродукторе зазвучал португальский танец фадо.

— Работал я на одной фабрике, — рассказывал Бейкс. — Мы штамповали жестянки для джема, для овощей.

— А у нас — кожаные изделия: сбруя, пояса, дамские сумочки.

— Глядя на ваши руки, не скажешь, что за вас машина работает.

— Правда?

— Можно подумать, что вы прачка.

Она засмеялась, и Бейкс залюбовался ее красивым ртом, длинными загнутыми ресницами.

— У нас на фабрике бывали несчастные случаи, — продолжал Бейкс, — штамповальные прессы отрезали работницам пальцы.

— О боже! — содрогнулась она.

— Хозяин оставлял за пострадавшими пожизненное место на фабрике: пять фунтов в неделю до самой смерти.

Он допил сок, вспоминая фабричный гул и грохот, склонившихся над станками девушек в вылинявших си-

них халатиках и косынках. Они работали как заводные — штамповали несколько тысяч крышечек за смену.

— О чем задумались? — спросила она.

Бейкс поднял глаза и покачал головой.

— Так, ни о чем. Вернее, о том о сем.

Она посмотрела по сторонам — нет ли где часов.

— Сколько сейчас времени? Мне действительно пора домой.

— Посидим еще, я провожу вас. Где вы живете?

— Неподалеку. И я не боюсь темноты.

— Все равно я провожу.

— Ну если вам не трудно.

Он вынул пачку сигарет.

— Вы курите?

— Редко, но на фабрике все девушки курят.

— Обычное дело.

Она взяла сигарету, поднесла ко рту, он протянул зажженную спичку, потом закурил сам.

— Вы живете с родителями? — спросила она сквозь клубы голубого дыма.

— Их нет в живых. Погибли в аварии, когда я был мальчишкой.

— Простите. — Фрэнсис заметно смутилась.

— Это было давно. Ехали на пикник, организованный профсоюзом, и грузовик упал в кювет. — Он смутно помнил, как сидел на краю канавы под деревом, вокруг чемоданы, корзинки, рассыпавшиеся свертки с едой, стоны и причитания: «Боже! Господи! О аллах!» — Потом я жил у тети с дядей.

— Вот как!

— Они у меня хорошие. Тетка — я зову ее тетя Модди — в молодые годы была профсоюзной активисткой. Помню, однажды только я вернулся из школы — и она приходит домой, злая как ведьма. «Чертовы штрейкбрехерши, — говорит. — Мы бастуем, никого на фабрику не пускаем, а эти мерзавки ломаются сквозь пикет. Ну, наши девочки задали им жару». И показывает сломанный каблук — пустила его в ход в драке. После этого ее уволили, но она скоро нашла другую работу. Руки у тетки золотые.

— Видать, крепкий она орешек, — сказала Фрэнсис сквозь смех.

— Она у меня чудо!

Диктор начал читать новости по-португальски, и женщина за прилавком выключила радио. Проехал автобус, на фоне иссиня-черного неба ярко светились его окна.

— Нам пора, уже поздно, — повторила Фрэнсис.

— Ну что ж, — согласился Бейкс, поднялся и помог ей встать. Их лица на мгновение сблизилась, и он уловил запах душистого мыла, увидел тугую высокую грудь под блузкой. В дверях он пропустил ее вперед, чувствуя, как растет в нем сладкое беспокойство.

На огромном пустыре возле пригородного шоссе все еще бушевало в ночи ярмарочное гулянье, рев динамиков был приглушен расстоянием, а цепочки цветных огней будто подернулись вуалью из пыли. Бейкс и девушка направились вдоль шоссе, потом свернули в сторону и пошли мимо темных домиков с палисадниками.

— Ничего, что я вас задерживаю? — спросила Фрэнсис.

— Что вы, что вы! В любом случае я успеваю на автобус.

— Мы почти пришли. Вы живете в городе?

— Да. А вы давно в этом районе?

— Я здесь родилась, правда, в другом доме. Теперь у нас муниципальная квартира.

Они вышли на освещенную площадь с запертыми на ночь магазинами. На фасаде кинотеатра скакали всадники в сомбреро, желтая пыль неслась из-под копыт. Сеанс только что кончился, из дверей повалил народ.

— Вы в кино ходите? — спросил Бейкс, пока они оглябали толпу, растекавшуюся во все стороны.

— Изредка. Показывают одну дребедень: ковбои, сыщики, немыслимые романы.

— Обычно девушкам нравятся картины про любовь.

— Каждая надеется, что и у нее все будет так, как на экране.

— У вас есть парень?

Она посмотрела на него, потом ответила:

— Пожалуй, нет.

— А какие мужчины вам нравятся?

— Трудно сказать. Наверно, я когда-нибудь выйду замуж, только не знаю за кого. А вдруг он будет меня колотить?! — Она засмеялась и снова взглянула на Бейкса. Они шли в тени, вдали от фонарей, направляясь к

высоким прямоугольным домам с темными и светлыми квадратами окон — как на шахматной доске. Новый квартал растянулся на несколько миль.

— Только у сумасшедшего поднимется на вас рука, — сказал Бейкс.

— Несколько моих подруг повыходили замуж. До свадьбы женихи были шелковые, а потом запили, и теперь у них вечные скандалы.

— Ну, не все мужчины пьяницы, — возразил Бейкс. Ему хотелось взять ее за руку, но внезапно его сковала робость.

— Дай-то бог. Нам сюда.

Они перешли на другую сторону и вступили в тень высоких зданий. Все дома были на одно лицо, как бараки.

— Вот я и дома, — сказала Фрэнсис. — Дальше вам идти не стоит.

— Позвольте, я провожу вас до дверей. Это долг джентльмена.

— Ах, какой вы вежливый, — усмехнулась она. — Ну так и быть.

Во дворе, вымощенном потрескавшейся плиткой, над вытоптанном газоном небо расчертили бельевые веревки, будто канаты под куполом цирка. Казалось, сейчас появятся воздушные гимнасты, но вместо них болтался сохнувший комбинезон — как обезглавленный преступник, выставленный напоказ.

Они пересекли двор и остановились у подъезда.

— Послушайте, — сказал Бейкс, — как бы нам снова повидаться? Может, сходим на днях в кино, или на танцы, или еще куда?

— А вы...

— Что?

— ...действительно этого хотите?

— Конечно! — И, набравшись смелости, он добавил: — Вы такая милая девушка.

— Откуда вам известно? Мы только что познакомились.

— Мне все известно.

— Быстрый какой. А я не знаю, что вы за человек.

— Ну, как хотите... — огорчился и даже слегка рассердился Бейкс, хотя чувствовал, что ему рано отступать.

Но тут она добавила серьезно, без тени кокетства:

— Я же не сказала «нет». Я встречаюсь иногда с молодыми людьми...

— Так, значит, увидимся?

Она сделала вид, что задумалась, потом улыбнулась ему.

— О'кэй, когда же?

— Давайте в субботу.

— Хм, в субботу?..

— Вот что, — предложил он, — я приду сюда после обеда, мы проведем вместе вторую половину дня, а вечером куда-нибудь сходим.

— Э, вы многого хотите. Почти целый день. В субботу утром я хожу за покупками, потом мою голову...

— Отлично, я приду посмотреть, как вы моете голову.

— Ну, если вы ничего не имеете против того, чтобы посидеть и поболтать с отцом, пока я уберусь в квартире...

— С удовольствием. Так, значит, договорились?

— Договорились.

Они поднялись на второй этаж по бетонным ступеням. За толстым стеклом, как в темнице, тускло горела электрическая лампочка, высвечивая грубые фрески на муниципальной штукатурке: пронзенные стрелой сердца, похабные надписи, смешные стихи и анатомические этюды. Где-то бубнило радио: «...министр говорил о возросших расходах...», гудели автомобили, мчась куда-то в ночи.

Она шла впереди мимо одинаковых дверей по открытой галерее, выходящей на другой двор с неизбежными бельевыми веревками и потрескавшейся плиткой, потом остановилась у одной из дверей. Бейкс посмотрел на Фрэнсис и заметил настороженное выражение ее лица. Он улыбнулся своим мыслям: «Бойтся, что полезу целоваться. Все они так думают». За ее спиной виднелись звезды — как бриллиантовое ожерелье на пыльном бархате.

Он глянул на номер двери. Фрэнсис, стоявшая со скрещенными на груди руками, перехватила его взгляд и сказала:

— Двести сорок четвертая. Не забудете? Корпус Д. Здесь легко заблудиться.

— Не беспокойтесь, я запомнил дорогу.

Она поняла, что ей ничто не угрожает. В полумраке Бейкс увидел белые зубы за слегка приоткрытыми губами, светло-карие глаза изучали его, словно стараясь проникнуть в его мысли. Он улыбнулся и протянул руку. Она пожала ее, и он ощутил холодок шероховатой, загрубевшей от работы ладони.

— Итак, до субботы, — сказал он.

— Хорошо, буду ждать.

Он выпустил ее ладонь из своей, пожелал спокойной ночи и пошел к лестничной площадке. Когда оглянулся, ее уже не было на галерее.

Ему пришлось бежать бегом, чтобы поспеть на автобус.

#### 4

Первое, что он увидел, открыв глаза, было лицо дирижера, улыбавшегося со стены. За занавеской ранние сумерки проросли лиловыми побегими. Портрет висел, как икона, будто Томми сменил бога на идола танцевальной музыки. Радиола по-прежнему походила на алтарь, а зачехленные пластинки — на просвиры для причастия. «Чертов клоун, — думал Бейкс о Томми, — он никогда не станет взрослым. Умственное развитие остановилось в юные годы».

Но Томми — испытанный друг. Бейкс давал ему несложные поручения, и он всегда выполнял их без сучка, без задоринки. Привередничать не приходится: не такое время, чтобы тщательно подбирать помощников, не до жиру. Сопротивление корчится в тисках террора, оно не побеждено, но получило тяжелые увечья. Будто боксер в нокдауне — голова идет кругом, но он собирает последние силы, чтобы выпрямиться при счете «девять». Поголовные аресты обескровили движение. Лидеры и кадровые революционеры в тюрьмах или на чужбине. Уцелевшие одиночки и крошечные ячейки разобщены, раскиданы по стране. Люди копошились, как кроты в земле, пытаясь нащупать в непроглядной тьме порванные связи, восстановить нарушенные контакты. Те, кто знали друг друга, стремились воссоздать организацию. Все строилось на взаимном доверии, не будь его — грош цена их усилиям. Они изрыли ходами подполье, часто меняя явки. Те, кто были известны властям, торопились скрыть-



ся, прежде чем полиция решит, что настал их черед. Мало-помалу удалось срастить ткани и наладить зыбкую связь с заграничными центрами.

«Правда, она чертовски ненадежна, — думал Бейкс, — того и гляди, порвется. Но люди не отчаиваются, некоторые в силу своей сознательности, большинство — потому, что ничего другого не остается. Нельзя же послать все к черту и разойтись по домам. Вот и терпишь и делаешь все, что требуется, надеясь на лучшее, порой прибегая к помощи даже таких клоунов, как Томми. А впрочем, грех на него жаловаться. Ему надо только все подробно растолковать... В движении есть замечательные люди, они не сложат оружия. Вспомнишь о них — и на душе становится легче, особенно когда в голову лезут унылые мысли. Это помогает, как аспирин от усталости и головной боли».

Летний вечер расплзался по стенам, сгушался в углах тенями. Бейкс старался думать о Фрэнсис, но ему не удавалось представить ее из-за неотступной тревоги о Томми. Справится ли он с этим простым делом или напутает все к чертям? Кто-то крикнул на улице. Над разбитым асфальтом и горами мусора в канавах пронесся ответный вопль. Через некоторое время сон снова сморил Бейкса, голова упала на подушку, безвольно открылся рот...

Он был в кабинке чертова колеса, его несло вверх, потом кидало вниз, в бледно-оранжевое зарево. Колесо вращалось все быстрее, и он вместе с ним. Потом его зашатало из стороны в сторону, будто тряпичную куклу в клыках терьера. Не было сил сопротивляться...

Он проснулся. Свет резал глаза. Он медленно поднимал отяжелевшие веки, будто ворота замка, и увидел ухмыляющегося Томми. Тот тряс его за плечо.

Бейкс очумело уставился на него, а Томми тем временем затараторил:

— Ну как, Бьюк, выспался? Смотри, что я тебе принес!

— А, это ты! — Бейкс приподнялся на локте и зевнул в кулак. Пот струился по телу. В комнате горел свет, окно было по-прежнему раскрыто, и легкий ветерок теребил занавеску. Бейкс сбросил с кровати ноги и уперся локтями в колени.

— Тут вот письмо, — сказал, распрямляясь, Томми, — а вон пакет.

На столе лежал сверток в засаленной газете, от него шел пар.

— Что это? — нахмурился Бейкс, плохо соображая спросонья.

— Да нет, — засмеялся Томми, — здесь рыба с картофелем нам на ужин, а твой пакет вон там! — И он показал на плоский прямоугольник в оберточной бумаге, лежавший возле кулька с едой. — А вот и письмо. — Томми протянул белый конверт.

Бейкс, зевая, повертел его в руках. Самый обычный конверт — такими торгуют во всех писчебумажных магазинах. Запечатан липкой лентой. Никакого адреса. Любой мог бы прочесть письмо и снова заклеить конверт: Польский, Томми — кто угодно. Непростительная беспечность! Вся эта работа — сплошной риск. Одна надежда, что соседние звенья цепочки выдержат, не порвутся.

— Ты, должно быть, проголодался, — говорил Томми, — сейчас съедим рыбу, а потом я приготовлю кофе. Не люблю возиться с чаем. Чай на двоих, ля-ля-ля! А может, хочешь выпить, Бьюк? У меня завалилось полбутылки хереса.

— Нет, — ответил Бейкс, — спасибо. От вина меня опять потянет в сон.

Томми достал с полки тарелки, порылся в ящике и вынул из него разнокалиберные ножи и вилки. У одной вилки были погнуты зубья.

— Любовное послание? — ухмыляясь, спросил он, пытаясь выпрямить вилку.

— Черта с два, — ответил Бейкс. Сон слетел с него, как откинутае покрывало. Сидя на краю кровати, он посмотрел конверт на свет и надорвал край. Томми что-то напевал, выставляя на стол соль, перец, бутылку с застывшим у горлышка сгустком томатного соуса, похожим на запекшуюся кровь.

— «Я гоняюсь за радугой», — мурлыкал Томми, пока Бейкс доставал из конверта письмо. Развернув сложенный вчетверо листок, он уставился на него. Письмо было напечатано на машинке под копирку, но снизу была приписка от руки. Томми тем временем распаковал кулек, выложил на тарелки по куску рыбы и поделил поровну жареный картофель.

«Листовки прилагаются, — принялся читать Бейкс. — Их надлежит распространить в вашем районе в ночь с

четверга на пятницу (следовала дата), не раньше и не позже. Повторяем, в ночь с четверга на пятницу. Ответственные за распространение должны принять все меры предосторожности».

«Все меры предосторожности», — невесело думал Бейкс. — Как будто сами не знаем. У некоторых будут дрожать поджилки; один или двое швырнут всю пачку в ближайшую яму и, поджав хвост, улизнут домой».

Но он знал, что большинство листовок попадет по назначению, их разнесут ночью, крадучись от двери к двери. Сердца будут колотиться в страхе, но голова останется холодной. Листочки рассыут в почтовые ящики, засунут под двери, раскидают по садовым дорожкам, прижмут «дворниками» к стеклам автомашин. Наутро многие экземпляры попадут в руки политической полиции, и тогда начнется охота.

— Ужин готов, Бьюк, дружище, — позвал Томми. — Начнем, а то остынет.

Бейкс стал читать приписку к циркуляру, предназначавшуюся только ему: «Требуется трое новобранцев на север. Свяжитесь с Хейзелом в пятницу».

— Ты готов, Бьюк? — поторапливал Томми.

— О'кэй! — Бейкс поднялся, натянул брюки, думая, стоило ли назначать встречу на пятницу — сразу после распространения листовок. Повсюду будет уйма шпиков. Ну да руководству виднее. Он засунул письмо и конверт в карман брюк и потянулся, прогоняя остатки сна. Его охватило беспокойство, холодело под ложечкой. «Снова нервничаешь, — говорил он себе, — потому что не уверен в других. Не подведут ли? Дашь задание, а потом места себе не находишь. *В пятницу начнется охота.* Полиция нагрянет с обыском и допросами к подозрительным. Некоторых заберут, они исчезают бог знает насколько. Политическая полиция никому не дает отчета...»

— Вечером у нас заседание правления танцклуба, — сказал Томми. — Ничего, если я схожу?

Бейкс пододвинул стул и сел к столу.

— Конечно, тем более что и мне надо уйти, — ответил он, принимаясь за еду.

— На всю ночь? — спросил Томми, с любопытством глядя на Бейкса.

— Может, и на всю ночь, — ответил Бейкс, вытряхивая загустевший соус из бутылки.

— Прекрасно, дружище, прекрасно, — ухмыльнул-

ся Томми, и на темном лице зажглись зубы, как лампа. Он замычал «Голубые небеса», позвякивая о тарелку вилкой.

— Ну и ну, — изумился Бейкс, — ты умудряешься есть даже за едой!

— Больно ты серьезен, старина Бьюк, чересчур! — сказал Томми, жуя рыбу. — А я стараюсь проще смотреть на вещи.

— Слишком просто, — огрызнулся Бейкс. — Люди сходят с ума от всяких мыслей, а тебе на все плевать.

— Ну а что толку волноваться? Волнуешься — помрешь, не волнуешься — помрешь, — защищался Томми, вытаскивая изо рта кость. — Рыба-то с душком. Никому нельзя верить! Просил свежую, а мне подсунули заваль времен Ноева ковчега.

— Сейчас бы тунца, — сказал Бейкс, — давно я его не ел.

— Не сезон, — обрадовался Томми перемене темы. Дело не только в том, что он избегал серьезных бесед, — часто он был не в состоянии постигнуть те вещи, о которых говорил Бейкс. Рев оркестра, голоса певцов заслоняли от Томми реальную жизнь. Он вылезал из футляра лишь для того, чтобы заработать на хлеб насущный. Политика была для него пустым звуком. Он предпочитал подстраиваться к режиму, нежели бороться с ним. — Сегодня на правлении мы обсудим подготовку к конкурсу бальных танцев, — сообщил он.

— Конкурс бальных танцев? — Бейкс покачал головой. — Послушай, мне нужно это во что-то уложить. Найдется какая-нибудь сумка?

Сверток лежал на столе среди тарелок и щербатых чашек.

— Хм, у меня есть сумка, но я храню в ней архивы танцклуба, и она маловата. Кроме того, она мне сегодня нужна. — Томми задумался, оглядывая комнату; Бейкс тем временем продолжал есть. — А чемоданчик для пластинок подойдет?

Томми вскочил со стула, подбежал к шкафу, открыл дверцу, порывшись внутри — на пол полетела смятая одежда, грязные рубашки, дырявые носки. Наконец он откопал пыльную картонную коробку, в которой носят граммофонные пластинки, с замками и ручкой на крышке.

— Ну как?

— Кажется, то, что надо. Спасибо, Том.

— Не стоит. — Томми поставил чемоданчик на пол у стола и сел, чтобы закончить еду. Бейкс, вычистив тарелку ломтиком картофеля, отправил его в рот.

— Наверно, я вернусь под утро, перед тем как ты уйдешь на работу.

— Ах ты, филин, — осклабился Том, — полуночник чертов. Ночи существуют для развлечений, а не для дел.

— Верно, — буркнул Бейкс, — совершенно верно. По ночам надо веселиться.

— Вот именно! — Томми включил электрический чайник на буфете. Вернувшись к столу, он сказал: — Заседание назначено на восемь, но сначала все соберутся в баре пропустить стаканчик.

— Ну о чем вы говорите на ваших заседаниях? — спросил Бейкс.

— О разном, — ответил Том, собирая со стола посуду. — То одно, то другое. Мы хотим устроить платный вечер, чтобы пополнить казну. В конце года планируем пикник.

— Господи! — Бейкс достал сигареты, закурил и посмотрел на часы. — Двадцать пять минут восьмого.

— Еще не стемнело, — заметил Том, — летом длинные дни.

Бейкс встал со стула и, обойдя умывальник, подошел к окну. Слегка раздвинув занавеску, он выглянул наружу, но увидел только заколоченный балкон с прогнившим полом и ржавыми перилами и часть дома, стоявшего напротив. Улицы видно не было.

— Что ты ищешь, Бьюк? — спросил Томми, доставая из буфета банку с растворимым кофе.

— Ты, когда возвращался, не заметил кого-нибудь у подъезда? Посторонних.

— Посторонних? — Томми удивленно вытаращил глаза. — На улице всегда есть кто-то, кого не знаешь. А в чем дело?

— Да так.

— Эге, — забеспокоился Томми, — ты что же, думаешь...

— Нет-нет, ничего.

— Надеюсь, все в порядке? — Томми все стоял с банкой кофе в руках.

— Все в порядке. Если бы они что-то подозревали, то были бы уже здесь.

— Кто «они»?

Бейкс ухмыльнулся верхней выпяченной губой, внезапно ощутив приступ злого озорства.

— А ты не догадываешься? — Он провел пальцем по горлу, издал хриплый звук и сказал: — Не думай об этом. Сосредоточься на своих танцевальных делах, дружище.

Томми разлил кофе по чашкам и тревожно сказал:

— Бьюк, я делаю все, о чем ты просишь, но мне неохота иметь неприятности. В общем, я хочу сказать, что делаю все по дружбе, а на политику мне наплевать.

— Не горячись, приятель, — проговорил Бейкс, пуская дым через ноздри. — С тобой ничего не стряется. Дядя Бьюк приглядит за этим.

— О'кэй, Бьюк, — снова заулыбался Томми, — твоего слова мне достаточно. Ну, кофе готов.

Бейкс присел к столу и пододвинул чашку. В коридоре кто-то прогремыхал по скрипучим половицам. На миг сердце сжалось, забегали мурашки по коже. Где-то стукнула дверь, шаги смолкли, и снова все затихло. «Всюду ненадежно, — думал Бейкс, — нельзя расслабляться, держи ушки на макушке».

— Поставить пластинку? — спросил Томми.

— А что у тебя за музыка, одни танцы? — спросил Бейкс, дуя на кофе.

— Сейчас не достать приличных вещей. В магазинах сплошное «йе-йе». Старый стиль исчез.

— Что верно, то верно, — подхватил Бейкс, глотая кофе. — Старый стиль исчез. — Ему представились огромные митинги, знамена на древках, мощные громкоговорители, аплодисменты. Иногда даже оркестр приглашали. Мысль об оркестре вернула его к действительности и к Томми. — А есть у тебя хороший джаз? — На него вдруг нахлынула тоска по молодым годам.

— Есть кое-что из старых записей Амброза, — ответил Том с надеждой во взгляде.

— Не то, не то! Ты когда-нибудь слышал «Песнь индийского гостя» Римского-Корсакова в исполнении оркестра Дорси?

— Нет, не приходилось.

— Жаль! Какое там соло Зигги! — И в голове Бейкса зазвучала труба Зигги Элмана, покрывающая пиликанье скрипок. — Давно это было...

— Помнишь, Бьюк, тебе как будто нравился Глен Миллер.

— Да нет, приторный он.

— А мне Армстронг по душе. Да и кто не любит старого Луи? — Томми закатил глаза и хриплым голосом напел мелодию «Холма с голубикой».

Глядя на него, Бейкс расхохотался. «Черт подери, — думал он, — когда-то и я был таким беспечным. Молодость и счастье мимолетны, как вкус конфеты во рту голодного малыша».

— Тебе все же до Луиса далеко.

— Еще как-то видел в кино Марио Ланца...

— Этот парень не поет, а кричит.

— Что ты, его даже сравнивали с Карузо.

— Подумаешь, Карузо! Были теноры и получше. Тито Гобби, например.

— Я классикой не интересуюсь.

— А ты слышал когда-нибудь Швартцкопф или Викторию де Лос-Анджелес?

— Это кто такие?

— К сожалению, есть вещи, которые беднякам недоступны. — Бейкс взглянул на часы: — Ну вот, уже около восьми.

— Господи, заболтались. Мне надо бежать. — Томми вскочил со стула. — Мы собираемся в «Королевском гербе».

У него был вид министра, опаздывающего на заседание кабинета. Он метнулся к шкафу, запихал в него рассыпанную по полу одежду, достал потрепанную кожаную сумку и пиджак в мелкую клеточку. Поставив сумку на пол, Томми влез в пиджак.

— Извини, Бьюк, я бегу! — Он и тут не смог удержаться и не запеть: — «Надену фрак, и котелок, и галстук бе-елый!»

— Давай, давай, — напутствовал его Бейкс сквозь смех. — Мир погибнет, если ты опоздаешь к первой рюмке.

Томми подобрал сумку и бросился к двери. Уже взявшись за ручку, он обернулся, представ во всей красе — в черных выходных брюках и клетчатом пиджаке, — и озабоченно сказал:

— Вот что, если уйдешь, оставь ключ на притолоке.

— Это надежно?

— Вполне. Только чтобы никто не видел. — Он распахнул дверь. — Доброй ночи, Бьюк, увидимся! «В знакомых с юности места-ах!»

Оставшись один, Бейкс присел к столу, подвинул к себе сверток, который принес Томми, разорвал обертку. Внутри были пачки небольших по формату, отпечатанных в типографии листовок; каждая пачка перехвачена резинкой. Бейкс взял одну пачку и провел по краю большим пальцем. Так налетчик, ограбив банк, пересчитывает в укромном месте добычу. Голая лампочка над столом освещала убогую комнатуху. Урчали в стенах водопроводные трубы, где-то хлопнула дверь, с лестницы донесся перестук каблуков.

Бейкс вытащил из пачки листовку. Она была набрана мелким шрифтом. В нескольких местах текста выделялись черные подзаголовки. Добротная типографская работа. Не то что печатать на ручном станке в задних комнатенках на окраинах или в чулане мясной лавки, где с потолка свисали огромные ножи и колбасы, пол был посыпан опилками и то и дело кто-нибудь натывался на мясорубку. «Мы делаем успехи, — подумал он с ухмылкой. — Интересно, где их печатали, кто провез их из-за границы и как: в пакетах, ящиках, на грузовиках с двойным дном? А может, типография местная? Вряд ли — слишком рискованно. Конечно, листовки доставлены из-за границы, их изготовил эмигрантский комитет». Но Бейкс ничего не знал наверняка. Чем меньше знаешь, тем лучше.

«Вам покажется удивительным, — прочел он, — что находятся мужчины и женщины, готовые идти на риск, чтобы донести до вас это послание. Им грозит длительное заключение. Кто же они? Простые люди, мечтающие о свободе... Мы создали подпольный фронт... послали молодых людей за границу... Это будущие воины, инженеры, строители... Мы не сложим оружия... Для поработанных людей ничего нет дороже свободы... Верните нам нашу родину... Мы способны сами управлять ею, по собственному разумению... Методы борьбы многообразны...»

Когда Бейкс кончил читать, по спине побежали мурашки. *К концу недели полиция бросится по их следу.* Он отложил листок и потер ладонями колени. «Сукины дети, — думал он в сердцах, — мы еще живы и погибать не собираемся!»

Бейкс поднял с пола чемоданчик для пластинок, перевернул его вверх дном и потряс. Кроме пыли, в нем ничего не было. Бейкс запихал внутрь листовки, влезли



как раз все пачки. «Это тебе не фокстроты и квикстепы», — неизвестно кому буркнул Бейкс, захлопнул крышку и щелкнул замками. Он знал на память имена и адреса всех, кому предназначались листовки. Никаких записей он не вел. Все надо держать в голове — вроде как букмекеру подпольного тотализатора, которого он видел в кино.

С наступлением вечера в комнате стало не так душно. Бейкс разделся до пояса и подошел к умывальному столику. Налив воды в таз, он смочил тело серой рыхлой губкой и вытерся несвежим полотенцем. Потом оделся, майка и рубашка еще хранили дневное тепло. Перед зеркалом в шкафу Бейкс повязал галстук. Медно-карие глаза и удлинненная верхняя губа напряженно улыбались. Он подумал: «Лиса пока еще на воле!» Надевая пиджак, он запел про себя: «Пойду охотиться в лесу, поймаю рыжую лису, плутовку в клетку посажу и... никому не покажу».

Порывшись в кармане брюк, Бейкс достал письмо, которое получил вместе с листовками. «Свяжитесь с Хейзелом в пятницу». Он закурил сигарету, поднес горящую спичку к письму, глядя, как темнеет бумага, потом вспыхивает пламенем и осыпается на пол пеплом.

Бейкс напоследок оглядел комнату, расправил покрывало на кровати, подхватил чемоданчик и пошел к двери. Бумажный пакет с пижамой и бритвенными принадлежностями остался лежать возле умывальника. Бейкс не брал его с собой, собираясь вернуться сюда.

Приоткрыв дверь, он выключил в комнате свет и вынул ключ из замка. В узком коридоре никого не было. Бейкс захлопнул дверь и запер ее на ключ. Никто из соседей не выглянул. Положив ключ на притолоку, Бейкс зашагал по коридору. На полпути он вспомнил, что не вылил воду из таза, но решил не возвращаться. Лестница была едва освещена, в доме тихо, только где-то на первом этаже пел мужчина. Бейкс сошел вниз по скрипучим ступеням и очутился на улице.

Синий вечер упал, как занавес в последнем акте. В воздухе чувствовалось дыхание осени. Еще не зажигали фонарей, в сумрачных подъездах и на верандах дви-

гались серые тени и нелепые призраки, будто персонажи какого-то мистического действия. Слышались негромкие пересуды, смех, рдели светлячки сигарет.

Бейкс постоял у подъезда, поглядел по сторонам. На мостовой, где днем посреди своей рухляди сидела выселенная старуха, теперь валялась только пустая картонка. Не заметив ничего подозрительного, он не спеша зашагал по улице, беспечно размахивая чемоданчиком с листовками. В этой дешевой коробке таилась смертельная угроза: за призыв к вооруженному перевороту полагалась казнь. А с виду — скромный прохожий, ничем не приметная фигура в затрапезном коричневом костюме.

Он пересек обширный пустырь. Это место будто подвергалось бомбежке. В газетах писали, что здесь построят дома для белых семей «среднего достатка». Бейкс шел по направлению к главной улице пригорода. Он решил начать с дальнего адресата и обойти остальных на обратном пути.

В сгущавшейся темноте он едва не наткнулся на двух маленьких налетчиков в лохмотьях, вынырнувших из переулка. Мальчуганы наставили на него деревянные пистолеты.

— Эй, мистер, гони цент!

Бейкс ухмыльнулся и обошел засаду, а они завопили ему вслед:

— Эх ты, жадюга! — Некоторое время «бандиты» преследовали его, паля из пистолетов, но вскоре прекратили погоню.

На шоссе Бейкс купил у юноши с мордочкой волчонка, в комбинеzone с чужого плеча последний выпуск вечерней газеты и зашагал к автобусной остановке мимо заколоченных оптовых складов и торговых рядов. Дорогу ему преградили развалины кинотеатра. Раньше здесь обычно толпился народ. Теперь же все выглядело как после землетрясения. На покосившейся доске рваная заляпанная афиша словно с издевкой рекламировала старую картину «Ураган». На западе, на фоне неоновой зарницы, чернели контуры городских холмов.

Зажглись фонари. Бейкс с плоским чемоданчиком в руке, со свернутой газетой под мышкой, настороженно озираясь, ждал на остановке. Подъехал двухэтажный автобус. Бейкс замахал водителю, вскочил на ступеньку и поднялся по лесенке вверх — на места для цвет-

ных. Он сел в заднем ряду, поставил чемоданчик на колени, закурил и стал присматриваться к пассажирам. Народу в салоне было немного. Вроде никто не похож на шпика. Впрочем, поди их разбери!

Бейкс развернул газету. Почти всю первую полосу занимал отчет о суде над женщиной-убийцей. «Она замышляла преступление еще весной. Каждое утро она подсыпала мужу в кофе немного мышьяку. Растолченный яд не отличался на вид от молочного порошка». В боковой колонке приводилось выступление министра полиции: «Республика стоит перед угрозой новой волны партизанских вылазок на северной границе... Просачивающиеся из-за рубежа националисты сеют смуту среди местного населения».

Он то и дело поднимал голову от газеты — беспокоился, как бы не проехать нужную остановку. Вот и она. Автобус остановился возле ярко освещенных витрин. Запихав газету в урну для мусора, Бейкс свернул в улочку с редко стоящими домами, круто сбегающую вниз к маленькой площади перед пригородной железнодорожной станцией.

У окошка «для цветных» выстроилась короткая очередь. Дробно постукивала касса-автомат. Бейкс встал в очередь за билетом — просто путь его лежал через станцию. Он вышел на платформу. Всего несколько человек ожидали поезда в сторону центра. Зато поезда из города сейчас набиты битком — рабочий день недавно кончился. От этой станции шли автобусы в поселки черных и цветных. Бейкс стал дожидаться прихода поезда, чтобы смешаться с толпой. За противоположной платформой желтые автобусы, ревя моторами, подъезжали к навесам, где толкались в очередях люди.

Бейкс уже подошел к туннелю, когда заметил на другой стороне, у выхода из него, полицейский заслон. Электрический свет играл на плоских фуражках и синеголубой форме; у припаркованных «фольксвагенов» и «фордов» попыхивали сигаретами люди в штатском с глиняными лицами. Над их головами на огромном щите счастливое семейство хлестало кока-колу, весело улыбаясь прохожим.

Бейкс негромко чертыхнулся, разглядев на стоянке еще два больших полицейских грузовика. В кузове одного из них за проволочной сеткой уже кто-то был. Как узлы с подержанным барахлом перед отправкой на рас-

продажу. У одних, наверно, не оказалось при себе пропуска, у других нашли наркотики, от третьих пахло спиртным. Людей хватали за малейшую провинность. Шла обычная облава. Обыскивали тех, кто выходил из туннеля.

Бейкс резко повернулся и зашагал назад, чувствуя, как колотится сердце. Так всегда бывает при виде полицейских у людей с темной кожей, даже если нет за ними никакой вины. Существует множество преступлений, которые можно совершить и не подозревая, что это преступления. Сердцебиение стало, таким образом, национальным недугом.

Через боковую дверь он вышел со станции на площадь. Ему необходимо попасть на ту сторону. Придется пойти по автомобильному мосту. Был еще надземный переход для белых, но Бейкс не мог рисковать. Недавно там поймали одного цветного, решившего сэкономить время. Ему дали десять дней тюрьмы и оштрафовали на двадцать фунтов. Судья предупредил, что впредь к нарушителям будут применяться более строгие меры.

С автомобильного моста как на ладони был виден клубок сверкающих рельсов, электрические провода, щит с рекламой кока-колы, автобусная остановка, полицейский заслон. Бейкс, шагая по пешеходной дорожке, сквозь прогоны моста отчетливо видел скучающих полисменов, ребристые автоматы, закинутые за спину, блеск надраенных пряжек.

— Слава богу, я не дежурю в субботу, — говорил констебль с автоматом другому полисмену. — Было бы чертовски обидно пропустить первый матч сезона.

Констебль был молод, ладно скроен, белое круглощекое лицо усеяно прыщиками.

— А кто играет? — спросил второй, опершись на крыло грузовика и засунув оба больших пальца за широкий ремень с кобурой.

— «Веллингтон» с «Западным Сомерсетом», — ответил прыщавый.

— Тьфу, ну и начало сезона, — презрительно фыркнул второй, — обе команды ничего не стоят. Вот если бы играли «Деревенщины»!

— А ты свободен в субботу?

— Нет, приятель.

— Так ты просто завидуешь, — захихикал прыщавый, — сам бы рад-радехонек сходить, даром что команды слабые.

— Велика беда — схожу на следующей неделе. А дежурство у меня в участке — считай, что повезло.

— Еще бы! — Прыщавый ослабил ремешок автомата. — Лучше, чем торчать вот так на одном месте всю ночь или же улицы патрулировать. Тем более в субботу!

— Тебе что, служба надоела?

— Я этого не говорил.

— Подай в отставку.

— С какой стати? Я всем доволен — и жалованьем и выходными.

— Можно на регби ходить!..

— И с девушкой встречаться. — Круглощекое лицо расплылось в улыбке.

— Смотри-ка, у тебя и девушка есть! — ухмыльнулся второй полисмен. — Никогда бы не подумал, ты же еще совсем мальчик.

— Не волнуйся, приятель, — гоготнул прыщавый и добавил с гордостью: — Не такой уж я мальчик, как кажется.

— Ну а что за девушка?

— Очень даже ничего. У нас свидание после матча.

— И что же вы будете делать? — лукаво улыбаясь, спросил второй. — Занятно, что ты умеешь?

— Не твоя забота. Я всему обучен.

— Вроде старины Геспера?

— Не надо шутить на этот счет, — насупился прыщавый.

— Господи, натворить такое из-за бабы!

— У него к ней чувство было.

— Иди ты к черту! Не все ли равно, с кем этим заниматься? В участке это легче легкого — привозят пьяных шлюх, смазливых туземочек.

— Я бы с черномазыми не стал.

— Какая разница! Я с ума не сошел, чтобы душить девчонку, потом стрелять в себя, если она вдруг со мной не захотела. Надо быть последним психом...

— И вовсе дело не в этом, — возразил прыщавый, — бедняга Геспер втрескался по уши, а она и слышать о нем не желала.

— Будто других мало!

— Тебе не втолковать, приятель.

— Нечего мне втолковывать, я сам знаю, чего мне от них надо. А ты, я смотрю, большой специалист в амурных делах.

— Что ни говори, а жаль Геспера. В участке все очень горевали. Начальник даже речь держал, и мы скинулись на венок.

— А кому венок, ему или ей?

— Эй, друг, бога не гневи, — покачал головой прыщавый.

Второй полисмен откинул голову и заржал как конь, потом разогнулся и стал любоваться начищенными носками своих казенных ботинок. Вдали загудел поезд, над рельсами задрожали провода. К полисменам подошел сержант.

— Ван Граан, — обратился он к тому, что стоял, приклонившись к грузовику. — Отправляйся на ту платформу и гони всех черномазых сюда.

— Слушаюсь, сержант! — Полисмен щелкнул каблуками и нырнул в подземный переход, а прыщавый пошел вслед за сержантом и стал на пост у барьера.

Бейкс видел с моста, как подошел поезд и в один миг на платформу высыпали пассажиры, устремляясь к подземному переходу. У выхода из него людской поток забурлил, наткнувшись на плотину из синих мундиров и мечущихся лучей карманных фонариков. За барьер медленно вытекал лишь тоненький ручеек. Из толпы доносились крики и брань. Полисмены обыскивали сумки, залезали в узлы, в коробки для завтраков, проверяли документы.

— Пропустите, сержант, я тороплюсь.

— Пошел ты... тоже мне, важная птица! Что у тебя в узле? Показывай!

— Да это моя спецовка, господин. Несу домой, чтобы жена постирала.

— Разворачивай, кому говорят!

— Эй, что там стряслось впереди? Когда мы только до дому доберемся?

— Целый день вкалываешь, а теперь еще это!

— Где твой пропуск?

Тонкие белые пальцы, как черви, закопошились в бумагах, листая странички. Необходимо сличить фотографию на пропуске с внешностью его владельца.

— К чертям собачьим, все эти черные на одно лицо. И откуда вы только взялись, мать вашу разэтак! — Снова шуршат странички. — Эй, да у тебя не уплачен налог.

— Как же, давно уже заплатил.

— Черта с два. А ну пойдем!

— Заплатил я...

— Заткнись! С кем разговариваешь, обезьяна! Констебль, в грузовик его!

— Взгляните, там же есть печать.

— Некогда мне, скотина! Так мы до утра не управимся. Будешь оправдываться в суде!

— А ну полезай в кузов, живо!

— Что у тебя за хреновина в кармане? Дагга? Ублюдки, одними наркотиками и живут!

— Это табак.

— А вот увидим — выворачивай карманы!

— Полицейские суки!

— Кто кричал? Эй вы, сзади! Я до вас доберусь, подонки! Прекратите напирать!

— Послушай, макака, твой пропуск ни к черту не годится. Тебе давно пора уматывать из города. Думал нас перехитрить?

— Но у меня работа в городе, сэр.

— Вот оно что! А кто тебе разрешил устраиваться на работу? Ну, черномазый, плохо твое дело. Сержант, вот еще один!

— В кузов, живей, живей!

С моста Бейксу было видно, как молодой полисмен с автоматом заталкивает арестованных в грузовик. Люди в очередях на автобусной остановке провожали их хмурыми взглядами. То и дело подъезжали и отъезжали огромные желтые автобусы, тяжело переваливаясь с боку на бок на разбитых бетонных плитах. Те, кто прошли обыск, торопились встать в очередь и едва не попадали под колеса.

Миновав мост, Бейкс дошел вдоль шоссе до перекрестка, где выезжали с остановки автобусы. Он был уверен, что сюда полиция не нагрянет — ей вполне хватало дел на станции. И все же у него тревожно ныло сердце. Он весь напрягся, как зверь, отчаянно рвущийся из капкана.

Автобус медленно выполз из-за угла, но Бейксу нужен был другой номер. Ноющее беспокойство переходило

ло в ярость, в свою очередь сменяющуюся безотчетным страхом.

Наконец, замедлив на повороте ход, показался нужный автобус. Бейкс сошел с тротуара и неуклюже прыгнул на забитую людьми площадку. Чья-то рука подхватила его, кто-то сказал над ухом:

— Держись, друг.

Бейкс благодарно кивнул. На площадке и лесенке на второй этаж яблоку негде было упасть. Какой-то пьяный с красными глазами и угольной пылью на лице ругался с соседом, орал, что ему мнут рыбу, которую он везет домой из порта.

— Что же я могу поделать? — говорил сосед.

— Старина, я отдал за рыбу пять шиллингов. А ты ее так отделаешь, что останется одна труха.

— Я не виноват. Дождался бы следующего автобуса.

— Все равно была бы давка, — подхватил еще кто-то, — давно пора пустить дополнительные машины.

— Словно кому-то есть дело до ваших удобств, — возразила какая-то женщина. — Хозяева гребут деньги, а на вас им плевать.

С верхнего этажа на площадку кое-как пробился индеец-кондуктор.

— Платите за проезд, готовьте мелочь!

— А, кондуктор, бхай-бхай! — заорал пьяный. — Когда добавите автобусов на этом маршруте? Мы платим не за то, чтобы ехать в такой давке.

Издерганный кондуктор зло отрезал:

— Какого черта вы меня спрашиваете, пишите в компанию.

— Ишь ты, недотрога!

— Берите, берите билеты!

— Все равно, кондуктор, тебе сюда не протолкаться. Повезешь нас даром.

— Нет уж, дудки. Это моя работа. Я за это жалование получаю.

— А, так ты хозяйский прихвостень! — загудел народ на площадке.

— А хоть бы и так, ну и что с того?

— Лизоблюд проклятый!

— К чертям собачьим компанию и хозяев туда же. Наживают миллионы на бедняках!

— Эй, — строго прикрикнула женщина, — ты что же выражаешься? Чему тебя только родители учили!



— Ах, миссис, прошу прощения. Но согласитесь, житья никакого не стало. На станции полиция, здесь этот чертов хрен.

— Ты как со мной разговариваешь?! — взорвался кондуктор. — Нашел приятеля!

— Тоже мне приятель, да на кой ты мне сдался!

— Я тебя высажу из автобуса.

— Иди ты со своим автобусом куда подальше!

— Перестаньте, — закричала женщина, — как вы себя ведете! Порядочному человеку нельзя уже и в автобус сесть.

— Может, госпоже пересесть в автобус для белых?

— Наглец, как ты разговариваешь, я ведь тебе в матери гожусь.

Кондуктор протиснулся в нижний салон.

— Готовьте деньги, берите билеты, платите за проезд! — неслось оттуда. Примерно каждые сто метров автобус притормаживал на остановках, но на этом длинном отрезке никто не вошел и не вышел. Проехали конюшни муниципалитета; на крошечной лужайке паслись ломовые лошади.

— Старину Али задержали, — сказал кто-то.

— За что?

— Не знаю. Видел только, как его обыскивали и увели к фургону. Эти сволочи в правительстве богатеют на штрафах.

— Коммунистов ищут, — вступил другой голос.

— При чем же тут Али? Он верующий, каждую пятницу в мечеть ходит.

— Ах, друг, не будь таким наивным. Видать, ты Корана не читал.

— А это чья газета?

— Газеты по сравнению с ним дерьмо. А вообще-то держи язык за зубами. Говорят, и у стен есть уши.

— У правительства полно своих людей повсюду.

— Чертовы шпики!

Автобус трясло на неровной дороге. Еще на окраинах поселка Бейкс протянул руку, нажал на кнопку и стал пробираться к выходу.

— Смотри не навернись, приятель, — ухмыльнулся кто-то.

Автобус притормозил, и слегка взъерошенный Бейкс спрыгнул со ступеньки. Он постоял на обочине, пропустил машину, потом стремглав пересек шоссе. На порос-

шем травой бугре он остановился, поглядел вслед автобусу. Он видел освещенные задние окна и красные габаритные огни, тающие в темной дали. «Там Фрэнсис, — пронеслось в голове, — старушка моя. Фрэнси, Фрэнси...» Ведь он почти забыл о ней. Любовь и грусть, смешавшись, захлестнули его. «На кой черт я все это делаю? — думал он, бредя по утоптанной траве. — На кой черт?» Потом с легким сожалением прогнал навязчивую мысль — так расстанутся с любимым затасканным костюмом — и зашагал по дороге с чемоданчиком, набитым листовками, думая уже о том, как распространить их, и о предстоящей встрече с Хейзелом.

## 6

Хейзел — это подпольная кличка Элиаса Текване. При рождении мать назвала его в честь прадеда. Через несколько лет по поселку, мимо старого эвкалипта, на котором дети устроили качели, она отвела сына в миссию учиться грамоте. Миссионеру не давались туземные имена, и он сказал:

— Наречем его добрым библейским именем Элиас.

Элиас ходил в миссионерскую школу урывками, когда не пас вместе с соседской ребятней коров на поросшем кустарником склоне позади дома. Стеречь скот считалось мужским делом, а женщины работали в поле.

Зимой земля была сухой и пыльной. Коровы жевали оставшиеся на полях кукурузные стебли, поднимая копытами пыль. Ветер обрывал со стеблей засохшие листья, они, свистя, носились в воздухе, царапая лицо и ноги, впиваясь в кожу.

Дожди в их краю выпадали в октябре и ноябре. К этому времени в деревнях готовили плуги. Пахота была лучшей порой года. Весеннее солнышко вставало рано, желтый свет измятой простыней падал на землю. С рассветом все вокруг оживало: скрипели воловьи упряжки, шелкали кнутами пастухи, слышался птичий и детский гомон, перекликались взрослые.

В жатву, прежде чем солнце зайдет за острые вершины гор, женщины уходили в город. Они несли зерно в жестяных банках на голове или в заплечных мешках. На вырученные деньги покупали сахар, соль, чай, плати-

ли налоги. Когда случался неурожай, приходилось брать в долг у белого лавочника.

А какие там бывали закаты! Небо на западе становилось желтым, оранжевым, зеленым, редкие облака походили на гирлянды из рыхлой ваты. Деревенские хижины лепились по склонам, как раскиданные игрушки на потертом ковре. Посмотришь со стороны — красиво, как на картинке.

Элиас не помнил отца, знал о нем лишь со слов матери. Мальчику так и не суждено было увидеть его живым. Однажды пришла весть, что Текване погиб в шахте неподалеку от Иоганнесбурга. Он был заживо погребен на глубине нескольких сотен футов, куда глубже самых далеких предков. Мать стала ходить на почту за пенсией — шахта выплачивала ей за мужа по два фунта в месяц.

Элиасу легко давалось ученье. В миссионерской школе, сколоченной из гофрированного железа, он научился правильно писать и читать. Если выдавалась свободная от занятий или домашних дел минутка, Элиас играл с деревенскими ребятишками в тени старого эвкалипта, раскачиваясь на веревке, привязанной к нижнему суку. А иногда они ходили через кустарник по сыпучей, скрипящей под ногами земле к железнодорожному полотну.

Вскоре мальчишки знали, когда поезд проходит на север, а когда на юг. Они прибежали на насыпь загодя и ждали появления поезда, сидя в скудной тени колючего кустарника. Ветки тянулись к ним старческими руками. Наконец вдали раздавался гудок, будто сова ухала за холмами, линия которых напоминала тонкий стан лежащей девушки: под невзрачным покрывалом из чахлого кустарника можно было различить худенькие плечи, едва наметившуюся грудь, впалый живот и костлявые колени.

Отдуваясь и пыхтя, как старый миссионер, поезд взбирался на подъем. Первым показывался паровоз, продолговатый, тяжелый, в высокой шапке белого дыма, с большими чугунными колесами. Он лязгал и плевался паром. В кабине два атамбулу — белых человека — с перепачканными гарью лицами утирали пот шейными платками. Грохочущее, огнедышащее чудище тащило длинную вереницу вагонов, мелькали окна, стучали буфера.

Дети бежали за поездом, кричали, махали руками. Пассажиры глядели на засохшие деревья, на потрескавшиеся лощины — точно желтые раны на земле, — на зубчатую гряду на краю плоского синего неба. Из окон летели остатки еды, и, когда поезд уносился дальше по спекшейся от солнца земле, мальчишки бежали подбирать объедки: надкусанные бутерброды, обломки печенья, недообглоданные куриные косточки, липкие куски пирога, выдавленные апельсины, недоеденные конфеты.

Вернувшись как-то с почты, мать сказала Элиасу, что пенсия кончилась. Матери объявили, что ей полагалось всего сорок фунтов за мужа и что в прошлом месяце она получила последние два. Ей, однако, не сказали, что вдовам белых шахтеров, погибших вместе с Текване, назначено пожизненное пособие по пятнадцати фунтов в месяц.

Магазин бааса Вассермана был самым преуспевающим в городке. Тут продавалось все что угодно — от баночек с кофе до тяжелых промасленных частей автомобилей и сельскохозяйственных машин. На полках — мешки с крупами, сладостями, скатанные одеяла, рабочие штаны, грубые башмаки. А рядом пылились хрустальные бокалы и вазы — их никто не покупал. Весь фасад был заклеен рекламой табака и имбирного пива. Вдоль него тянулась веранда, крытая гофрированным железом. Ее полагалось мести два раза в день — утром и вечером.

Входить в магазин разрешалось только белым. Черным товары отпускали через квадратное отверстие в задней стене. Приходилось ждать, пока хозяева обслужат белых покупателей. Жена Вассермана вела с ними бесконечные беседы, а кое-кого даже угощала кофе или минеральной водой.

Томясь в очереди, черные покупатели поддразнивали Элиаса, когда тот мел веранду, называли его «новым хозяином заведения», спрашивали о вчерашней выручке.

— Здравствуй, маленький босс. Много вчера наторговал?

— Денег целая куча! — подмигивал Элиас столпившимся на краю веранды чернокожим.

— Значит, даешь нам сегодня скидку? Сколько возьмешь за мешок муки?

— Ладно, бабушка, бери муку даром.

— Да хранят тебя предки, добрый мальчуган. Только вряд ли Вассерман согласится с тобой, а?

— Вряд ли, бабушка.

— Но тебя-то он небось осыпает золотом? Вон как ты стараешься.

— Я и в доме убираю, и дрова рублю.

— Ай-я-яй! Он тебе должен бриллиантами платить.

— Каждую пятницу я получаю три шиллинга и шесть пенсов.

— Три с половиной шиллинга! О-хо-хо! Целое состояние!

В бывшей конюшне за домом Вассерман, никогда ничего не выбрасывавший, держал ненужный хлам: старые тележные колеса, сломанные матрасные пружины, развалившийся старинный буфет, ржавые консервные банки, пустые бочки из-под бензина, лопату со сломанным черенком, зеркала, будто траченные проказой, множество железок и деревяшек непонятного назначения, ржавевших и пылившихся без дела.

Роясь в этом хламе, словно вынесенном на берег прибоем, Элиас наткнулся на неровную стопку отсыревших, покрытых плесенью книг. До этого ему попалась бронзовая дверная ручка и перочинный нож с сломанным лезвием. Потерев рукоятку, Элиас обнаружил на ней тонкий узор, надпись и мужской профиль. Потом он узнал, что это Поль Крюгер.

Элиас стал листать липкие страницы книг. Строчки вылиняли и поблекли от сырости, но одну книгу можно было прочесть. В ней попадались картинки — потемневшие гравюры, изображавшие белых всадников в тяжелых шлемах, со щитами и копьями в руках. На других гравюрах белые стреляли из лука. Все это озадачило Элиаса. Он привык думать, что копья, щиты и луки были только у его народа. Старики в деревне рассказывали молодежи о прошлом, и в этих рассказах слышался топот ног, бряцанье щитов и копий, воинственные кличи. А на картинках в книге точно так же сражались белые люди.

И в голову Элиаса закралась мысль, что, быть может, белые ничем не отличаются от его собратьев, только что кожа у них другого цвета. Книга как будто подтверждала это: разукрашенные щиты, дубинки, дротики. Элиас посмотрел на титульный лист — обложки не было — и прочел по складам название: «Белая дружина». Он с

трудом разбирал полустертые буквы: «Когда Гордел Джон прибыл...» Элиас обрадовался находке, спрятал книгу под рубашку. Вечером он отнес трофеи — дверную ручку, нож и книгу — домой. А еще Мевру Вассерман дала ему объедки — гостинец для матери.

По вечерам Элиас корпел над книгой, с трудом разбирая слова. Отличная книга: сплошные битвы, приключения, путешествия! Правда, все это происходило давным-давно, но описываемые места, наверно, существуют по сей день. Неведомые города и страны далеко от родной деревни, магазина Вассермана, старого эвкалипта, от пытящего на подъеме паровоза и надкусанных бутербродов в жесткой сухой траве среди колючего кустарника.

Мальчик вырос сильным и выносливым, широкоплечим, с крепкими руками и ногами. В четырнадцать лет над верхней губой пробился пушок. Его стали в шутку величать «мужчиной». Бронзовую дверную ручку он отдал двоюродному брату, а нож оставил себе, отполировал его тряпочкой. И с книгой не расстался. Впрочем, охотников до нее и не было. В конце концов он осилил ее, потом перечитал несколько раз. Теперь он иногда козырял мудреными словечками из книги, и белые дети, забегавшие в магазин Вассермана, прозвали его «черным англичанином».

Старик миссионер, научивший его читать и писать, уехал, а на его место прислали другого, помоложе. У этого были седые усы и усталые грустные глаза старой собаки. В городке нового миссионера невзлюбили за то, что он говорил по-английски, а не на бурском языке. Но он принялся усердно обращать деревенских жителей в христианскую веру, бурам ни в чем не перечил, и его терпели. От него Элиас узнал, что язык книги устарел и теперь так не говорят. Когда работа в магазине кончалась, миссионер занимался с мальчиком арифметикой.

А потом до городка и деревни докатилась весть о войне. На ней сражались не копьями и не стрелами. Отличалась она и от бурской войны, которую помнили старики. Велась она не только за морем, в Европе — Элиас из книги знал об Англии и Франции, — бои шли также в Северной Африке. Правительство заявило о сво-

ей поддержке англичан, и молодежь стали призывать в армию.

Белые жители городка встретили решение правительства в штыки. Они сочувствовали немцам, сражавшимся с англичанами и истреблявшим евреев. Они даже устроили в городской школе митинг протеста. «К черту краснорожих англичан!—кричали ораторы.—И чем скорее Гитлер отправит на тот свет всех евреев, тем лучше. Они богатеют за чужой счет и вбивают кафрам в головы опасные идеи». Пришлось им все же заткнуться — правительство их не послушало.

В городок прибыли армейские вербовщики. Несколько белых юношей, не согласных со старшими, уехали на фронт. Ко всеобщему удивлению, в армию брали и африканцев. Вербовщики — два белых сержанта и несколько чернокожих солдат с бронзовыми слониками на пилотках — прикатили в деревню на новеньком броневике, пестро размаляванном для маскировки. Африканцев определяли в санитары, повара, прачки. Правительство запретило выдавать им оружие, однако они годились на черную работу.

Элиасу представлялся случай увидеть мир. Но когда он пришел на вербовочный пункт, черный солдат откинул большую голову и заржал как мерин, хлопая себя по бедрам в защитных галифе.

— Ха-ха-ха, детка! У-ю-юй, маленький! С тобой нам победа обеспечена. Немцы разбегутся от одного твоего вида! Нет уж, подрасти сначала вот настолько, стань мужчиной — тогда и приходи.

Дружно хохотали остальные солдаты, и даже белые сержанты не смогли сдержать улыбки. Элиас, понурясь, поплелся прочь.

Когда он рассказал обо всем Вассерману, лавочник рассвирепел. Длинная, морщинистая, как у гуся, шея покрылась красными пятнами, ходуном заходил кадык, рот задергался, как червяк в луже, глаза вылезали из орбит.

— Да как ты посмел, — заорал он, — совать нос в дела белых людей! Маленький ничтожный дикарь! Обнаглели, черномазые подонки! Виданное дело — их берут на войну! Вернетесь и, чего доброго, захотите быть, как мы! Хорошо бы вас перебили там всех! Убирайся прочь, гнида, и чтобы я тебя больше не видел!..

Элиас снова пас коров на каменистом выгоне за до-

мом и погонял старого вола, впряженного в плуг. Истощенная земля родила худосочные колосья. Они с матерью перебивались кое-как кусками, выпрошенными в городе, и подавляниями деревенской общины. Гнев колосом прорастал в Элиасе, и его горькие зерна стучали в мозг. «В чем же дело, — ломал он голову, — мы такие же, как они. Только что земли у них больше да денег. Почему же мы целый день батрачим на них, а на свой надел времени не остается?»

Война все не кончалась, и в больших городах появилась нужда в рабочей силе. В туземных резервациях рыскали вербовщики. Молодым людям ничего не оставалось, как подписывать контракт. Земля истощилась, и, чтобы прокормить семью, приходилось залезать в долги к лавочникам.

Элиас решил отправиться в город. Сначала, само собой, пришлось хлопотать о пропуске. Чтобы уехать из дому, требовалось разрешение белых властей.

Когда африканцу исполняется шестнадцать лет, он как бы заново рождается, приобщаясь к таинствам дьявольского шабаша, к кровавым ритуалам рабства, жестоким и безжалостным, как во времена Калигулы и Нерона. Его заковывают в цепи несметного числа законов, в кандалы, скрепленные резиновыми печатями. Затупившиеся перья в конторах комиссаров по делам туземцев, подобно каленому железу, оставляют шрамы на всю жизнь.

— Где твой пропуск, кафр?

— Вот он.

— Ага. Ты родом оттуда. А где разрешение прибыть сюда?

— Вот.

— Так. А где разрешение остаться здесь?

— Вот.

— Так-так. Где же ты работаешь?

— Тут, у одного белого.

— Хорошо, отлично! Но где разрешение на трудоустройство?

— Вот оно.

— Ага, вижу. Все как надо, вот печать, вот роспись твоего хозяина. Замечательно, превосходно, лучше быть не может! Только где же ты живешь?



— Там-то и там-то — в поселке, на улице, в переулке, в такой-то землянке.

— Великолепно! А где прописка с печатью и штампом?

— Вот она.

— Удивительно! Все-то у тебя есть: пропуск, разрешение на выезд, разрешение на въезд, вид на жительство, разрешение на трудоустройство, прописка. Милостью божьей и туземного комиссара! А скажи, ты женат?

— Да.

— Где жена и дети?

— Дома остались.

— Помни, без разрешения им сюда приезжать нельзя. Ежели ослушаются, накличат на себя гнев дьявола.

— Я помню.

— А если получают разрешение, приедут и захотят остаться, то на это требуется особое разрешение. Кто бы ни был: жена, дети, дяди, тети, бабушки и дедушки. Ты понял?

— Понял.

— Кстати, тебе известно, что ты не можешь без разрешения уйти от нынешнего хозяина и перейти к другому?

— Известно.

— Молодец, ты послушный кафр. Тебе нельзя также без разрешения уезжать отсюда. А на новом месте потребуется разрешение на въезд, вид на жительство, разрешение на трудоустройство, на проезд до работы и с работы, на вечерние прогулки и так далее и тому подобное.

— Понятно.

— Ты мудрец, если тебе все понятно. Но запомни одно.

— Что же?

— Если ты что-нибудь нарушишь — угодишь в тюрьму. Все разрешения будут аннулированы, и ты перестанешь существовать. Нигде на свете тебе не будет места, никто не сможет взять тебя на работу, не будешь ни есть, ни пить. Ты станешь никем и ничем, пустым местом или того меньше.

— Ясно.

— Так-то вот!

По одной стороне улицы тянулись дома с палисадниками, принадлежавшие семьям среднего достатка. Они выставляли напоказ таблички с громкими названиями: Монтроз, Невада, Каса-Лома, Сорренто. Мещанство рядилось в экзотическую тогу, надраенная медь манила воображение в далекие города и страны. За оградой — одинокие яблоньки, стены, увитые жимолостью, зашторенные окна, звуки радио. На красноватом гравии садовых дорожек, как пролитый сироп, отблеск уличных фонарей. А на другой стороне, за проволочной изгородью, будто робея, пряталась в тени кирпичная школа. За ее крышу зацепилась луна.

Бейкс был снова в прошлом, будто унесенный туда машиной времени. Ему семь лет, он первый раз идет в школу. На нем голубая фуражка, в одной руке грифельная доска, а за другую его держит отец. Школа из красного кирпича с шиферной кровлей стоит на склоне холма. Отсюда весь город как на ладони. В здании множество окон, и от этого оно кажется огромным...

Это была школа для цветных. Лица детей — смуглые, темные, шоколадные — напоминали многокрасочную мозаику. Из классов в коридор доносилось монотонное скандирование: «Одиножды один — один, дважды два — четыре». То было время букварей, басен Эзопа, злой королевы и сложного деления, репетиций ежегодных спектаклей.

Однажды им предстояло выступить перед белыми сверстниками. Вот когда впервые мальчик осознал, что дети, которых называют белыми, ходят в отдельные школы. Отправляясь в другую часть города, все очень волновались. Как пройдет спектакль? А вдруг белые зрители поднимут их на смех? Он играл в пьесе роль защитника и появлялся на сцене в ватном парике и сатиновой мантии: «Господа присяжные, вы должны вынести моему подзащитному оправдательный приговор...»

Теперь он брел один по окраинной улице, смакуя сладкие воспоминания детства. Гулко отдавались его шаги по асфальту. Со всех сторон к нему подступало одиночество. Он шел мимо витиеватых изгородей и терракотовых стен, как пассажир, по ошибке сошедший на неосвещенной, заброшенной станции. Свернув наконец к затемненному дому, он с облегчением перевел дух.

Над входом был подвешен в проволочной сетке цветочный горшок, длинные побеги щекотали лицо. Где-то в доме, за стеклянной дверью, раздавались громкие детские голоса. За квадратиками цветного стекла была жизнь. Стоя в холодном свете электрической лампочки, он нажал на фарфоровую кнопку. Внутри прерывисто задребезжал звонок. Голоса сразу смолкли.

Некоторое время спустя повернулась ручка, дверь открылась, и в глубине чистенькой прихожей он увидел девочку-подростка в шортах, спортивной рубашке и с бигуди в волосах.

— Добрый вечер, сэр. — Большие глаза с любопытством разглядывали его, в голосе сквозила нерешительность.

— Можно видеть мистера Флотмена? — спросил Бейкс, улыбаясь выпяченной губой.

— Мистера Флотмена? — переспросила она. — Проходите, он дома.

Она пропустила его вперед. Со стороны кухни показалась высокая костлявая женщина с лицом, похожим на подгоревший пирог, опрятно одетая, с тихими повадками монахини. И руки, коричневые, узловатые, сложные, как для молитвы, — или, может, она стирала?

— Миссис Харрис, этот господин спрашивает мистера Флотмена, — сказала девочка.

— Хорошо, Тельма. Иди к себе. — Миссис Харрис, хозяйка пансиона, считала своим долгом охранять юных жилищ от несносных мужчин. Ответственность делала ее бдительной: сначала аттестат зрелости, а уж потом замужество и все прочее. — Ваше имя? — спросила она у Бейкса.

— Гендрикс, — без запинки солгал Бейкс.

Девочка тем временем запирала входную дверь. В коридор выскочил мальчик, тоже в шортах, и напустился на девочку:

— Это ты взяла мой циркуль?

— С ума спятил, — огрызнулась она и показала розовый язычок.

— Прекратите, — скомандовала хозяйка и повела Бейкса по коридору.

— Вот здесь. — Она открыла дверь и заглянула в комнату. — К вам мистер Гендрикс.

— Гендрикс? — переспросили за дверью. — Какой Гендрикс?

Но Бейкс ловко проскользнул в тесную комнате́нку, подмигнул Флотмену, и тот улыбнулся и закивал головой.

— Ах да, Гендрикс, конечно. Большое спасибо, миссис Харрис.

Он сидел в мягком кресле с красным карандашом в руке и ученической тетрадью на колене, а вокруг высились бастионы знаний: сваленные в кучу тома энциклопедии, «Упадок и крах Римской империи», потрепанные подшивки журналов, груды учебников. Бок о бок с Вальтером Скоттом покоился сборник стихов на бурском языке, а на «Пелопонесских войнах» валялся ветхий купальный халат.

Бейкс подошел к Флотмену и пожал руку, все еще держащую карандаш.

— Гендрикс, Гендрикс, — повторил Флотмен. — В прошлый раз, когда ты приходил ко мне в школу, ты назвался то ли Абрахамсом, то ли Аккерманом.

— Уж не помню, — сказал Бейкс. — Как жизнь?

— Про себя расскажи. Да ты садись, дружище! — Флотмен наконец отложил карандаш, переставил «Войну Спарты с Афинами» на пол, скатал халат.

Бейкс сел на освободившийся стул, поставил чемоданчик у ног и полез за сигаретой. Снова донеслись юные спорящие голоса, Флотмен сидел со свернутым халатом на коленях.

— Сдается мне, что эта садистка, миссис Харрис, с умыслом селит учителей и учеников под одной крышей.

— Что у тебя нового? — спросил Бейкс. Флотмен тем временем разыскал крышечку от консервов, служившую пепельницей.

— Да ничего. Вбиваю в дырявые головы причины наполеоновских войн, будь они неладны! Но я не расстраиваюсь из-за моих тупиц. При том, чему приходится учить в наши дни, может, оно и к лучшему, что им в одно ухо влетает, из другого вылетает. Нас заставляют внушать ученикам, что все на свете свершается по воле господней, а посему бесполезно и грешно пытаться изменить существующий порядок вещей. Бурская война объявлена чуть ли не крестовым походом, эволюция — ересью, и до Яна ван Рибекса страна якобы была необитаемой. В так называемых «сегрегированных университетах» современная психология считается врагом номер один.

— Затуманивают сознание, — сказал Бейкс. — Это им на руку. Жаль, что цветные учителя вынуждены участвовать в этом оболванивании.

— Я надумал уходить из школы, — вздохнул Флотмен. Он был невысок, коренаст, с круглым желтоватым лицом, похожим на засохший сыр, приплюснутым носом и широкими скулами. — Стену лбом не прошибешь!

— Стена однажды рухнет — лоб у тебя достаточно крепкий, — улыбнулся Бейкс, выпустил табачный дым и поглядел на учителя сквозь серую подвижную пелену. — Жениться тебе надо. Семья — это огромное утешение. От одной мысли, что у тебя кто-то есть, делается легче.

— Эх, — махнул рукой Флотмен. — Что меня поражает, так это ваше упорство. Ничто вас не берет. В чем секрет?

— Нет никакого секрета, — ответил Бейкс. — Просто мы знаем, для чего работаем, и работа приносит нам удовлетворение. А это случается не часто.

— Только не читай мне лекций, я уже сагитирован. Но, боже мой, неужели вам не надоели тюрьмы, побои фашистов из полиции?

— Некоторым, наверно, надоели. Но почему ты говоришь «вам»? Разве ты не с нами?

За стеной все еще бранились из-за циркуля дети.

— Мне страшно, — признался Флотмен. — Я не хочу в тюрьму, не хочу жрать казенную баланду, боюсь потерять свою дурацкую должность, боюсь пыток. В последние годы сотни учителей выхлопотали паспорта и уехали за границу. Чего ради я остался? Мог бы учительствовать в Канаде. У тебя слишком большое сердце, Бьюк, а я не такой. — Он опустил глаза, покачал головой и снова посмотрел на Бейкса: — Однако что я могу сделать, чтобы облегчить свою совесть? Ведь вы за этим пришли, не так ли, мистер Гендрикс?

Флотмен только теперь заметил, что все еще держит халат на коленях, и переложил его на стопку тетрадей.

Бейкс показал на чемоданчик у ног.

— Тут вот листовки. Их нужно раскидать завтра, там же, где в прошлый раз. — И он назвал близлежащий район.

— О'кэй. Если мои оболтусы не могут усвоить историю, пусть хоть помогут делать ее.

— Ты в них уверен? — спросил Бейкс, ставя чемоданчик на колени. — А эти тоже твои помощники? — Он показал рукой в ту сторону, откуда доносилась перебранка.

— Упаси бог! Покоя от них нет. — И добавил с ухмылкой: — Нельзя разводить агитацию там, где живешь. Мои ребята постарше, они тайком почитывают теорию партизанской войны. Не волнуйся, я в них уверен. Не сцапали же их в прошлый раз. Никому неохота идти под суд.

— Пусть будут осторожны, — сказал Бейкс, — сейчас хватают и держат, сколько хотят, по одному подозрению.

— Ладно-ладно, друг, — подмигнул Флотмен, — не такие уж мы глупые, хоть и интеллигенты.

— Комик ты, — негромко рассмеялся Бейкс, — большой шутник. Потом сказал, посерьезнев: — А ребят твоих надо воспитывать. Постараюсь раздобыть им кое-что для чтения. Запрещенная литература, правда, нынче большая редкость.

В дверь постучали. Флотмен поднялся и пошел открывать, а Бейкс поставил чемоданчик на пол. Вошла миссис Харрис, торжественно неся перед собой чайный поднос. Из коридора снова донеслись возбужденные детские голоса.

— Надеюсь, вы не откажетесь от чая, — улыбнулась хозяйка Бейксу. — Он так освежает в жару.

— Не стоило беспокоиться, — сказал Бейкс, держа руку на чемоданчике.

Флотмен засуетился, поглядел вокруг, сгреб с края письменного стола тетради, освобождая место для подноса. Пока миссис Харрис расставляла чашки, Бейкс углубился в чтение раскрытой книги, валявшейся на полу: «...пионеры не желали расставаться с рабами, противились их освобождению. Они решили уйти в глубь страны. Во главе них были такие люди, как Гендрик Портгиетер...»

— Мистер Гендрикс тоже учитель? — спросила миссис Харрис.

Прежде чем Бейкс успел открыть рот, Флотмен ответил:

— Нет, миссис Харрис, мистер Гендрикс торгует энциклопедиями. Он и мне пытается всучить комплект, но вряд ли это ему удастся.

— Ах, господи, — запричитала хозяйка, — должно быть, нелегкая у вас работенка. Что же, ходите от дома к дому?

— Не совсем так. Я обращаюсь лишь к тем, кто, по моему мнению, может выказать интерес.

— Ну, желаю удачи. — Миссис Харрис направилась к двери. — Пойду укладывать ребятшек. Никак не готовят уроки.

Она напоследок улыбнулась Бейксу и притворила за собой дверь.

— Осточертела мне ее материнская забота. — Флотмен передал Бейксу чашку с чаем, а тот отставил ее на книги. — Бери печенье.

— Значит, энциклопедии? — ухмыльнулся Бейкс, держа в руке засахаренное печенье.

— А разве нет? — невинно спросил Флотмен, помещивая чай.

Бейкс машинально сунул печенье в карман, открыл чемоданчик и достал несколько пачек листовок.

— Так, значит, завтра ночью, — повторил он. — Времени у тебя в обрез, но ничего не поделаешь. Листовки должны появиться одновременно повсюду. Так безопасней.

— Договорились, дружище, — сказал Флотмен, жуя печенье. Он шумно отхлебнул чай, отставил чашку и поднес к глазам листовку. Руки у него были большие, тяжелые, как у рабочего.

— Эге, она жжется. Если с этим сцапают, не позовится. Не волнуйся, слышишь! Мои орлы не подведут. Это же не Венский договор, от которого их тошнит. — Он отпил чая. — Для некоторых из них главное в революции — романтика, но все это от чистого сердца. Твой чай стынет. Ребята взбудоражены боями на севере. Министр промямлил что-то невразумительное. Газеты, понятно, лгут, будто армия и полиция громят партизан почему зря. Подумать только, всего несколько лет назад мы устраивали митинги, марши, кампании неповиновения.

— Хватит разговоров, настало время вооруженной борьбы, — сказал Бейкс, отпивая остывший безвкусный чай. Отставив чашку, он подхватил чемоданчик, поднялся со стула и улыбнулся учителю. — Ну, мне пора с моими энциклопедиями.

— Уходишь? — спросил Флотмен. — А то могли бы выпить, миссис Харрис уже не зайдет. У меня где-то

припасена бутылка портвейна. — Он обвел глазами мебель, груды книг.

— Не надо, — сказал Бейкс, — я и так клюю носом, а мне еще всю ночь не спать. В другой раз, дружище. — И добавил: — С листовками уж расстарайся!

— Сказано — не беспокойся. — Флотмен тоже встал. — Должна и от учителей, черт подери, быть какая-то польза. Слишком долго мы болтали о революции как о совершенной абстракции. О'кэй, Бьюк, все будет в порядке. — Он похлопал Бейкса по плечу. — Я провожу тебя.

В прихожей было тихо, как в запертой часовне. Видимо, миссис Харрис положила конец детской перепалке. Мужчины невольно пошли к стеклянной двери на цыпочках. Снаружи ворвался теплый ночной воздух, и Бейксу почудилось, будто потная рука прикоснулась к его лицу. Он обернулся к учителю и шепнул:

— Увидимся, старина.

— До встречи, дружище, — так же шепотом отозвался Флотмен, но не остался на крыльце, а пошел с Бейксом до ворот. Он смотрел ему вслед, пока Бейкс не растворился в потемках и не смолкли его шаги. Лишь тогда с чувством легкой грусти Флотмен вернулся в дом.

## 8

Женщина сидела за швейной машиной, мерно нажимая на педаль. При электрическом освещении ее смуглое индонезийское лицо казалось светлее, чем на самом деле; унизанные перстнями пальцы искусно направляли ткань. На столе лежала горкой яркая материя, а пол вокруг был усеян лоскутами и нитками. Свет от лампочки падал на машину, оставляя в тени большую кушетку, два кресла с протертой обивкой на подлокотниках и жирными пятнами от голов на спинках, кофейный столик с фотографиями под стеклом, на стенах зеркала с выгравированным золотом изречениями из Корана.

— Абдулла собирался вернуться домой пораньше, — говорила женщина, слюнявя нитку. — Странно, что его до сих пор нет. Может, зашел в клуб. Они с приятелями помешались на нардах, хотя игра уже выходит из моды. Домино, шашки и нарды. По субботам засаживаются за игру с самого утра. Все лучше, чем пьянствовать. — Она



ловко вдела нить в иглу и повернула рукой колесо швейной машины. — Я жду его с минуты на минуту.

— Ничего, я не тороплюсь, — отозвался Бейкс с кушетки. Он торчал здесь уже больше получаса, и ему это изрядно надоело. В комнате было душно. Он сидел на выпиравших из-под обивки пружинах, вдыхая застоявшийся запах ароматических курений. Женщина трещала без умолку, а он отвечал односложно, через силу.

— Я должна это платье к утру кончить. Буду всю ночь сидеть. — Она улыбнулась, блеснув золотыми коронками. Машина все стрекотала. — Заказчица завтра уезжает в Порт-Элизабет, и платье нужно в дорогу. А к субботе надо сделать свадебный наряд. Дел по горло. — Тра-та-та — тарахтела машина. — У меня и белые шьют. Капризные, поганки, зато я беру с них побольше. Небось не обеднеют. Вечерние, подвенечные, выходные туалеты. «Халима, — говорят они мне, — ты должна успеть к субботе, я иду с мужем на прием или на бал к мэру». «Да, мадам», — отвечаю я, а про себя думаю: «Иди ты к черту, белая карга». Только бы им командовать. Вот я и нагрываю их на пару-тройку фунтов. Будут знать, как торопить людей. Что бы они только без нас делали? Где бы брали портних, кухарок, прислугу? Им живется припеваючи, и все благодаря черным людям. А как они с нами обращаются! Верно я говорю, мистер?

— Совершенно верно, — борясь с дремотой, поддакнул Бейкс из другого конца комнаты.

Он все сидел, а время накручивалось на катушки ниток, простиралось штуками материи. Он клевал носом под болтовню портнихи. У его ног стоял чемоданчик, набитый листовками. Бейкс берег его как зеницу ока даже здесь, под золочеными текстами из Корана, в пряном, застоявшемся аромате благовоний.

«Хорошо бы пойти домой, к Фрэнсис», — думал он сквозь дремоту.

Вспоминалась та давняя суббота, когда шел к ней мимо одноэтажных близнецов-коттеджей с облупившейся краской, вдоль бельевых веревок и вытоптанных газонов, похожих на шкуру старого пса, поднимался по испещренной надписями лестнице сумрачного муниципального дома, осторожно стучал в дверь, не в силах справиться с волнением.

В квартире работало радио, передавали репортаж о регби. Он постучал снова, громче, смелее, — за дверью послышалось движение. Ему открыла пожилая женщина, из-за ее спины хлынул рев болельщиков и истерическая скороговорка спортивного комментатора: «Мяч у Вандервальта—он мчится вперед, за ним уже не угнаться! Гол! Гол!» Его истошные вопли потонули в реве трибун.

— Добрый день, — приветливо улыбнулась седовласая женщина.—Вы, должно быть, тот молодой человек, о котором говорила Фрэнсис. — Обернувшись, она крикнула: — Папа, приглуши радио!—И пояснила Бейксу:— Отец наш по субботам слушает репортажи о регби, если не ходит на стадион. Да вы проходите, проходите.

В чистенькой гостиной, обставленной подержанной мебелью, в кресле перед радио сидел маленький сухонький старичок. Когда жена ввела Бейкса, он повернул ручку и убавил звук.

— Это отец Фрэнсис,—сказала женщина Бейксу, усаживая его на стул с высокой спинкой.

Старик кивнул, и Бейксу показалось, что он привык к частым визитам молодых людей—дочкиных ухажеров.

— Ах, как Фрэнсис долго возится,—вздыхнула пожилая женщина. Она мысленно торопила дочь, будто знала, что дело серьезное и с этим парнем у Фрэнсис все пойдет как надо. Она не усидела в гостиной и отправилась на розыски.

— Ради бога, не обращайтесь на меня внимания,—сказал Бейкс старичку,—продолжайте слушать.

Старик полез за чем-то в карман.

— Эти буры прилично играют,—он ткнул пальцем в приемник,—больше они ни на что не годны. Обычно я хожу на матчи наших ребят, но сегодня игр нет. А вы увлекаетесь регби?

— Вообще-то я предпочитаю футбол, хотя и не играл в него со школы.

— И мне нравится футбол, когда команды стоящие.—Старик все еще рылся в карманах.—Но регби поживее, поактивней.

Он прекратил безрезультатные поиски и зашарил глазами по комнате.

— Мэри,—закричал он,—где моя трубка, черт побери? Никак не могу найти.

— О господи,—донесся откуда-то голос хозяйки, — можно подумать, что я курю твою дурацкую трубку!

Потом в коротком коридоре раздались шаги и Фрэнсис влетела в гостиную. Голова ее была обвязана полотенцем, на смуглых руках—мыльные брызги. Бейкс залюбовался ее длинными крепкими ногами, маленькой тугой грудью, обрисовавшейся под халатиком. Он как ошпаренный вскочил со стула, смущенно улыбаясь.

Она сморщила носик и сказала:

— Предупреждала ведь, чтобы не приходили так рано. Вот, не успела вымыть голову.

— Тем лучше, увижу вас без прикрас...

Портниха внезапно умолкла. От этого Бейкс очнулся и увидел, что она склонила голову в косынке набок и к чему-то прислушивается. Гравий на садовой дорожке заскрипел под чьими-то ногами, открылась входная дверь, кто-то завозился в прихожей.

— Вот и он, — воскликнула портниха, — это ты, Абдулла?

В комнату заглянул мужчина.

— Салям алейкум!—произнес он и тут только заметил на кушетке Бейкса.—А, это вы! Хэлло, сэр. Рад вас видеть!—Улыбаясь, он протянул Бейксу руку. У него была оливковая кожа, черные волосы, блестящие, как клеенка, золотые коронки, нелепые усики, будто подрисованные кем-то из озорства. Спортивный пиджак в яркую клетку, отутюженные темные брюки. Абдулла работал закройщиком на швейной фабрике и, видно, потихоньку обшивал себя в рабочее время либо в перерыв на обед.

— Ну, как делишки, старина?—спросил Бейкс, пожимая протянутую руку.

— Извините, что заставил ждать. Надо было зайти в одно местечко.

— Все в порядке. Мы тут с хозяйкой пока поговорили.

— Еда в духовке,—сказала женщина, не отрываясь от шитья.—Я приготовила жаркое. Зови и гостя ужинать—хватит на всех.

— Обо мне не беспокойтесь,—сказал Бейкс, но Абдулла взял его за рукав и потянул за собой. Бейкс подхватил чемоданчик и пошел за хозяином на кухню.

Абдулла снял пиджак, повесил его на спинку стула, выставил тарелки, достал ножи и вилки. Над буфетом

висело изображение храма Кааба в Мекке. Они принялись за мясо с острой подливой, и Бейкс заговорил о листовках.

— Понятно, — сказал Абдулла, — завтра ночью. Халима ничего об этом не знает. — Он подмигнул. — Молчание — золото. Все будет сделано как надо. — Он взял кость и тщательно обглодал ее. — И знаете что, я снесу листовки на фабрику. Оставлю вечером в столовой, а наутро рабочие на них наткнутся. Как вам это нравится?

— Это будет в пятницу утром, — вслух размышлял Бейкс. — Отличная мысль. А на тебя не подумают? Сейчас всюду доноски.

— Подсадные утки, — ухмыльнулся Абдулла, — знаю-знаю. Ни рта раскрыть, ни поговорить ни с кем. Я прикидываюсь безмозглым дураком. Этаким работягой, весельчаком и бабником. — Он снова подмигнул, облизывая пальцы. — Халиме ни гугу. А за меня не бойтесь. Если бы удалось организовать рабочих! Что за жизнь, когда никому нельзя довериться. — Он сокрушенно покачал головой. — Неужто и дальше так будет, мистер?

— Придется идти на риск и говорить с людьми, — сказал Бейкс, жуя мясо. Есть не хотелось, но отказываться невежливо. — Должно быть чутье на хороших людей. Вот нашел же я тебя. Значит, есть и другие. И черт с ними, со шпиками: волков бояться — в лес не ходить.

— Профсоюзники струхнули. — Абдулла встал и подошел к буфету. — Я сварю кофе.

Из гостиной слышался стрекот швейной машины.

— Надо действовать в обход их. Нельзя ставить крест на всех рабочих, если вожаки наложили в штаны. Пролетариат не раз поступал вопреки воле тред-юнионистов. Стоит доказать рабочим, что наше дело правое, — и ничто их не удержит.

— Верно, — согласился Абдулла, — так было не раз. Взять хотя бы всеобщую стачку после полицейского расстрела. О аллах! — внезапно вскипел он. — Люди пришли заявить о своих правах, заявить, что они не рабы, а по ним открыли огонь! Глазом не моргнув отдали приказ! Ведь мы же люди! Как можно стрелять в людей!

— Это лишь доказывает беспомощность властей. Нельзя давать им передышки. Любой, пусть даже самый скромный вклад в общую борьбу приобретает теперь особое значение.

Абдулла налил кофе в чашки и снова улыбнулся, сверкая золотыми коронками.

— Видит аллах, за нами дело не станет!

9

В то утро долго не рассветало. Время будто остановилось, и земля не сдвинулась за ночь с места. Холодная непроницаемая прогорклая тьма, как застывшая каша-размазня, облепила восточный край неба. Рассвет пригнулся под бременем ночи, как человек, толкающий тяжелый фургон, упираясь ногами в землю и расправив плечи.

Но люди чтили Время. В оконцах, забитых фанерой, затянутых мешковиной, заткнутых от стужи старым барахлом, задернутых жалкими занавесками, будто волшебные фонари, зажглись огоньки. Черное небо придавило поселок, но постепенно ночь отступала, и за тонкой мглой, будто за дымовой завесой, расползался рассвет.

Прачка встала затемно, сварила кофе. Сидя спросонок на убогой кровати под картонным потолком, она пила кофе, а утро прикасалось ледяными безжизненными пальцами к ее большим уютным бедрам, еще хранившим тепло постели. Сегодня ей предстоит обстирать четыре дома — огромный узел грязного белья валялся на полу. Надо бы взяться за стирку пораньше.

В другом конце поселка кто-то прогрохотал палкой по изгороди из гофрированного железа.

На задворках лачуг Рассыльный возился впотьмах с велосипедом, проверяя, не спустили ли шины за ночь. Он обжег пальцы догоревшей спичкой и смачно выругался сквозь зубы.

Из домов доносились звуки неохотно пробуждавшейся жизни — обитатели их готовились к новому трудовому дню.

Юноши в лохмотьях и всевозможных шляпах, кепках и заношенных шлемах «балаклава» ходили по улицам от дома к дому, где горел свет, передавая *слово*.

Уголовник выглянул из-за покосившейся хибары, потом стремглав пересек темную мостовую. Мало радости столкнуться с мужем, возвращающимся с ночной смены. Бери, что плохо лежит, но не ищи на свою голову неприятностей. Он юркнул в сумрачные объятия переулка.

Долгая преступная жизнь закалила его цинизм. Он думал теперь о завтраке и пиве, а о женщине уже позабыл. Тихо, как кот по песку, он скользнул мимо развалюхи, где спала Девочка.

Девочка заворочалась во сне. Ей приснилось, что сегодня можно не ходить в крошечную, в одну комнату, школу, где весь день ученики сидят на полу. Она видела себя на красавце пароходе: из труб валит дым, они плывут к сливочному горизонту—все как на картинке в книге. Ее родители, спавшие на единственной в доме кровати, стаскивали с себя тряпье, заменявшее одеяла, ворчливо сетуя, что приходится вставать в такую рань.

Поселок огибала немощеная дорога, ведущая к приподнятому, как дамба, шоссе. Его черная широкая лента раскручивалась в направлении труб Стального города. За дорогой лежало голое, вытоптанное поле, а на краю его стоял полицейский участок.

В участке всю ночь горели огни. Сержант заступил на дежурство в четыре утра и теперь, сидя за столом, потягивал кофе из фляги, дуя на пар. Его дряблое морщинистое лицо походило на эластичную маску, небрежно надетую на шляпную болванку. У него были глаза неопределенного серого цвета, будто капли мутной воды, и большие розовые руки. В нем чувствовалась военная выправка: опрятен, подтянут. Он сам знал это. И в мечтах видел себя генералом.

Судя по записям в журнале, ночь прошла без особых происшествий. Можно рассчитывать, что и днем все будет хорошо. Но сержанта одолевало смутное беспокойство, вызванное настойчивыми слухами, ползущими из поселка. Кто-то подбивал черное население страны бойкотировать законы; проклятые кафры собираются сжечь свои пропуска. Правительство готовило в этой связи специальное заявление—черные якобы замышляют налет на белые кварталы и поголовную резню. Этого нужно ждать со дня на день; сегодня, завтра, на следующей неделе, через месяц — никто не знает наверняка. Слухи, слухи, один невероятнее другого.

Около семи в участок вернулись первые ночные патрули. Черные полицейские расписались в журнале и пошли к своим шкафчикам, расстегивая на ходу шинели. Сержант полистал их рапорты — листы, покрытые ужасными каракулями.

— Что тут у тебя про стены?—раздраженно спросил он на бурском языке — другого белые полицейские не признают.

— Снова лозунги на стенах, начальник, — ответил полисмен.

— Опять? Проклятые ублюдки, агитаторы!

— Говорят, что сегодня они побросают пропуска, — добавил сильным голосом второй полисмен.

— Сегодня?! Кто это «они»?

— Народ!

— Мало того, начальник, — сказал первый полисмен, — они не только побросают пропуска, но и не выйдут на работу.

Сержант озабоченно нахмурился. На секунду ему пришло в голову, что такие дела находятся вне компетенции полиции и он не должен ввязываться. Но он тут же расстался с этой мыслишкой ради другой: «Ты генерал, командующий, тебе предстоит сражение». И сразу отлегло от сердца. Скорей бы возвращались белые патрульные. На их сообщения можно положиться.

Зазвонил телефон, сержант вздрогнул и судорожно вцепился в трубку. Потом, кое-как совладав с волнением, поднял ее, подергивая русые усы. Звонили из центрального полицейского участка. В город не прибыли рабочие из поселка. Ходят слухи, будто стачка начнется сегодня. Так это или нет? Другим участкам тоже поручено докопаться до истины.

— Одну минуту, — сказал сержант в трубку и повернулся к констеблям, болтающим в уголке.

— Эй вы, тупицы, звонят из города — черные не вышли на работу.

— Как же, сержант, — ответил полисмен с сильным голосом, — мы сами видели...

— Звонит босс из города — на фабриках ни души.

— Некоторые все же поехали, начальник.

— Некоторые? — свирепо переспросил сержант. — А что же остальные, дома сидят?

— Трудно сказать, — промямлил другой полисмен, — одни едут, другие не едут.

Сержант чертыхнулся, повертел телефонную трубку, потом буркнул в нее:

— Я наведу справки и позвоню вам.

Резко бросив трубку на рычажки, он накинулся на черных полисменов:

— Отправляйтесь на автобусную остановку.

Один из констеблей, нахмурясь, побрел мимо стола дежурного к выходу.

«Ну, теперь не до шуток, — думал сержант, — пора всерьез приниматься за дело».

Держась за морщинистый, отвисший подбородок, он подошел к карте поселка на стене. При виде карты он испытал удовольствие, как бы сразу вырос в собственных глазах. Имея карту, можно заняться дислокацией рот, размещением командных и наблюдательных пунктов. Жаль, что нет булавок с цветными флажками. Но тут полет его фантазии прервал скрежет тормозов. В распахнутую дверь он увидел запыленный патрульный автомобиль и выскакивающих из него белых констеблей.

Солнечные лучи, пробившись сквозь мглу, осветили пустырь. Вдали можно было различить вражеский стан: полуразвалившиеся коттеджи вперемешку с ветхими лачугами, покосившаяся общественная уборная, осел, щиплющий траву около мусорной свалки.

В поселке передавалось из уст в уста, что сегодня и есть тот день, когда надо разделаться с пропусками — отнести их к полицейскому участку и побросать там. Весть эта вызвала и страх и растерянность. Разве речь шла не о будущем месяце? Нет, все произойдет сегодня. Как скажете, мы готовы, только почему вдруг изменили дату? Долой пропуска! Все к полицейскому участку! Сегодня белое правительство огласит специальное заявление. От кого исходит призыв к народу? От соперничающей организации или от признанных руководителей? А вдруг это провокация?

Одни, как обычно, поехали на работу, другие же остались дома, чтобы идти на демонстрацию. Долой пропуска! Все к участку, вернем им ненавистные бумажки!

Утро выдалось теплое, и почти весь поселок высыпал на пустырь. К полудню у участка колыхалась, бурлила, как море в прилив, огромная толпа.

Была здесь и Прачка, отложившая ради такого дела стирку. День обещал быть жарким, и она пришла с пестреньким зонтиком, пряча под ним круглое миловидное лицо.

Были здесь и старики, и дети, не пошедшие в школу, и рабочие, не поехавшие в Стальной город, уставшие от драконовских законов, от рабской жизни, от глумления



полиции и заносчивости десятников, от штрафов, налогов, вечного безденежья и голодухи. Женщины под зонтиками пели и раскачивались в такт, хихикали девушки, ловя взгляды молодых людей, щеголявших в черных беретах, залатанных штанах и дырявых рубахах.

Решил бастовать и Рассылный. Он прикатил на хозяйском велосипеде. На металлической табличке, подвешенной к раме, значилось название фирмы.

Были в толпе и другие с велосипедами, все пели песни о ненавистных пропусках. Может показаться странным, но на пустыре царила праздничная атмосфера, и ближайшая лавка, «Туземный магазин номер пять», бойко торговала кока-колой и имбирным пивом. Прикатил с тележкой торговец кофе и пирожками. Только небо было стальным и зловещим, несмотря на солнце, и кое-кто предсказывал грозу.

Солнце катилось к западу, народу все прибывало. Люди толкались, переминались с ноги на ногу, то и дело раздавался смех. Стоявшие сзади напирали, вставляли на цыпочки и выгибали шеи, пытаясь разглядеть, что происходит впереди, справляясь друг у друга, нет ли новостей. Но новостей не было. Ждали кого-то из Стального города. Он приедет и выслушает жалобы. «Долой пропуска!», «Долой дурацкие законы!» — скандировали в толпе. Звучали старинные боевые песни.

Но вместо «высокого официального лица» на дороге из Стального города показалась колонна легковых машин, грузовики с полицейским подкреплением и броневик. Взревели, как голодные хищники, сирены, прокладывая автомобилям дорогу в толпе. Им вслед несли свист, улюлюканье, кошачий концерт, хохот. Легковые машины с высшими полицейскими чинами и журналистами въехали во двор участка, обнесенный забором из проволоки. Грузовики и броневик расположились в ключевых точках пустыря, посреди толпы. Любопытные облепили броневик, словно экспонат в военном музее.

Сержант понял, что допустил оплошность. Дряблое, морщинистое лицо стало похожим на морду старого сторожевого пса. Незачем было звонить в центр и сообщать о толпе, надо было действовать самому. Упущена возможность отличиться. Генерал мог бы без посторонней помощи сдержать врага, а затем обратить его в бегство.

У него достаточно людей, автоматов и дубинок, чтобы справиться с этим стадом баранов. А он совершил непростительную ошибку — попросил подмоги. Прибыло начальство, и он отстранен. Кто он такой по сравнению с офицерами—жалкий низший чин!

Около двух часов пополудни был отдан приказ заряжать. Исправно защелкали автоматные и револьверные затворы. В толпе переминались, подымая пыль, распевали песни, скандировали лозунги.

Уголовник был тут как тут, в самой давке. Даже в карманах и сумочках бедняков можно пожить. Он проникал всюду, слившись с толпой, не замечая путавшихся под ногами детей, улыбаясь незнакомым людям, подмигивая девушкам, расталкивая подростков. Он юркнул мимо Девочки, прибежавшей сюда из любопытства вслед за родителями, послушавшись их запрета. Девочка ползала под ногами у взрослых, стараясь пробраться вперед, чтобы все увидеть.

Толпа раскачивалась из стороны в сторону. Сзади все напирало, в ответ неслись незлобные крики, смех, шуточные мольбы. Стоявших впереди приперли к проволоке, ограждавшей участок. «Забирайте пропуска, они нам не нужны»,—раздался чей-то возглас. Над толпой взметнулись руки, сжатые в кулак, с потрепанными коричневыми книжечками. Пение, скандирование, улюлюканье, смех вспыхнули с новой силой. Жарко припекало солнце, сияя на свинцовом, грозном небе.

И вдруг ни с того ни с сего какой-то полицейский спустил курок. Хлопок выстрела утонул в шуме толпы, пении и смехе. Те, что находились рядом, застыли в оцепенении, из распахнутых глоток вылетел немой вопль. Потом кто-то тонко захныкал, стоявшие спереди повернули головы, толпа качнулась назад. И тут раздался нестройный залп, а за ним беспорядочная стрельба. Толпа взорвалась, потрескалась, разлетелась на куски. Люди разбежались во все стороны, куда глаза глядят, спотыкаясь, падая, прочь от дымящихся винтовок; в широко раскрытых глазах—ужас, растерянность. Кто-то нелепо хихикнул, решив, что это всего лишь предупредительный холостой выстрел. И снова залп, как металлическая барабанная дробь. Стреляли со ступеней участка, с грузовиков, из башни броневика. Бронзовые гильзы, изрыгнув смерть, сверкая, падали наземь.

После залпа наступила мертвая тишина. Даже не лаяли собаки в поселке. На пустыре, в пыльных проулках, суливших спасение, валялись, как бревна, выброшенные на берег прибоем, мертвые и умирающие. Тяжелая, давящая, невыносимая тишина. Потом раздался стон раненых, призывы о помощи. Уцелевшие, ошеломленные и взволнованные, вернулись за мертвыми и искалеченными.

Черный священник склонился над раненым, лежащим в луже крови; тут же копошился годовалый малыш в перепачканной кровью одежонке.

Полицейские шагали сомкнутым рядом по трупам и раненым, репортеры щелкали фотоаппаратами. Полисмены, стрелявшие из участка, отворачивались друг от друга, глядели на пустырь ничего не выражавшими глазами, только на лицах черных констеблей отразилось смущение и стыд. Сержант дозванивался до «скорой помощи».

Трупы сложили штабелями под горячим солнцем, рядом валялись бутылки из-под прохладительных напитков, разодранные пропуска, ботинки, порванные зонтики — обломки жизни и смерти. Среди мертвых была и Прачка. Пулеметная очередь настигла ее, прошла, вспоров артерии. Она скончалась от потери крови, подмяв под себя свой зонтик, возле оставленного кем-то автомобиля.

Девочка лежала ничком, и ран не было видно. Ее перевернули на спину и только тут заметили выходное отверстие от крупнокалиберного патрона в узкой грудке. Лицо было спокойным и безмятежным; казалось, будто она спит и видит во сне далекие страны.

Уголовник умирал долго, рыча на тех, кто пытался оказать ему помощь. Жизнь, булькая и пенясь, вырывалась изо рта и аккуратных дырочек в спине, оставленных длинной автоматной очередью.

Рассыльный умер мгновенно, неуклюже распластавшись на опрокинутом велосипеде, осколки позвоночника и ребер пронзили его сердце и легкие. Брючный зажим застрял в спицах колес.

Живые двигались как тени среди мертвых, умирающих, раненых, отыскивая своих близких. Небо хмуро зарокотало и пролилось первыми увесистыми каплями. Ударил гром, как артиллерийская канонада, и хлынул дождь, перемешиваясь на земле с кровью.

Бейкса снова одолевала дремота, будто и не отдыхал у Томми. Он много ходил сегодня: ноги, обутые в тяжелые ботинки, гудели. Хоть садись на тротуар и растирай натруженные колени. Автобус увез его в сторону от последнего адреса, пришлось долго топтать пешком.

Зевая, Бейкс полез за сигаретой. Рука наткнулась на что-то шероховатое, рассыпчатое: печенье, которое он по рассеянности сунул в карман у Флотмена. Стоя на тускло освещенном перекрестке, Бейкс ломал пальцами хрупкий кругляшок, перебирая крошки, как бусинки четок. Он был похож на заплутавшего странника, стережущего дешевый картонный чемоданчик так, будто в нем все его состояние. Ночной город вымер, словно жители покинули его, спасаясь от космического мрака, побросав все: темные дома с холодными окнами, погнутый столбик с дорожным указателем, замерший у тротуара автомобиль, тощую кошку, перебегавшую мостовую. Она с любопытством оглянулась на Бейкса, а потом скрылась из виду. На черном бескрайнем небосклоне сквозь редкие обрывки облаков холодно мерцали звезды.

За углом на горке был дом Айзека, неприметный и днем, совсем затерявшийся ночью. Потрескавшиеся ступени, облезлые двойные двери, большие окна с грубо сколоченными ставнями, прохудившиеся водосточные трубы. Айзек жил здесь с матерью и сестренкой. Бейкс попытался восстановить в памяти точное расположение комнат, но вспомнил только пыль на пианино, замусоленную нотную тетрадь, раскрытую на «хоре макавейцев», портрет одного из лидеров, отбывающего пожизненное заключение.

Чемоданчик заметно полегчал—в нем уже почти ничего не было. Бейкс сошел с тротуара и, преодолевая усталость, пересек улицу осторожной походкой человека, привыкшего скрываться, научившегося избегать свободных пространств, умеющего растворяться в толпе. Одинокий прохожий на пустынной улице подобен египетской пирамиде, в толпе же он никто — песчинка в море. Бейкс жался к стенам, крался в глубокой тени, то и дело озираясь. Лишь бы Айзек оказался дома.

Но не прошел он и нескольких ярдов от угла, как его тихо позвали из темного подъезда. Какую-то долю секунды в ушах звучал голос агента секретной полиции,

леденящий душу, циничный, злорадный, торжествующий. По спине забегали мурашки. На самом же деле это был детский голосок, вернее, девичий шепот. Заглянув в подъезд, Бейкс различил расплывчатое бледное пятно, а на нем беспокойные, широко раскрытые глаза, заметил очертания школьного форменного платица. Словно чудом уцелевшая от эпидемии крошечной тьмы, девчушка шептала, прижимая ручки к хрупкой груди:

— Мистер Бейкс, мистер Бейкс, это вы?

Он нагнулся к самому ее лицу.

— Ага, ты ведь сестра Айзека, верно? — Он тоже говорил еле слышно. — Что стряслось?

Бейкс не сомневался — что-то случилось. Они стояли в темном подъезде, прижавшись друг к другу, и со стороны их можно было принять за влюбленных. Он слышал ее учащенное дыхание.

— Что с Айзеком?

— Не знаю, мистер Бейкс. — От девчушки, которой не терпелось стать взрослой, пахло дешевыми духами и губной помадой. — Айзек с работы не вернулся, а вечером позвонил в соседнюю лавку и приказал мне сторожить вас. Просил передать, что за ним слежка и потому он домой не придет. Потом к нам нагрянула полиция, перевернула все вверх дном. Они искали Айзека и кричали на маму. Но мы и сами не знаем, где он, — выпалила она не переводя дыхания, как радист, судорожно выстукивающий сигнал бедствия, зная, что в любую секунду могут взорваться котлы и судно пойдет ко дну.

Бейкса прошиб холодный пот. Как это они докопались до Айка? Шпики стали вездесущими. Бейкс высунул голову из подъезда и осмотрел улицу. Видно, в ячейку Айзека затесался болтун или провокатор.

— Больше он ничего не просил передать?

— Ничего, мистер Бейкс.

Должно быть, Айк не успел выяснить, на свободе ли его товарищи. Заметил за собой слежку и решил сразу скрыться. Шпики поторопились и выдали себя. Им бы подождать — застукали бы Айка вместе с Бейксом и листовками. Вот было бы громкое дело. Стало быть, про Бейкса они пока не знают. Айзек их заинтересовал в другой связи. «Так, наверно, и не выяснится, кто его выдал, — с горечью подумал Бейкс, стоя в темном подъезде с девчушкой (ни дать ни взять — растлитель малолетних). — Конспирация ни к черту! Вот даже сестра Айка

меня знает. Подумать страшно, что будет, окажись малютка в руках агентов из Бюро государственной безопасности...»

— Айк не говорил, что свяжется со мной? — спросил Бейкс, но тут же вспомнил, что при всем желании Айзек не может этого сделать: Бейкс сам его отыскивал, когда бывало необходимо.

Девчушка явно нервничала, словно чувствовала себя виноватой, что не может ничего больше сообщить Бейксу.

— Ну спасибо тебе за все, — улыбнулся он. — Сколько же ты меня прождала?

— Не стоит благодарности, мистер Бейкс. Мама велела обязательно вас дожидаться. А теперь я пойду, ладно?

— Конечно, — ответил он и спросил с улыбкой: — Ты все еще играешь на пианино?

— Играю. — Она застенчиво улыбнулась. — Скоро у нас экзамены.

— Желаю удачи. Тебе давно пора домой. Извини за беспокойство.

— Доброй ночи, мистер Бейкс.

Она выскользнула на улицу, оставив в подъезде слабый запах косметики. Он глядел ей вслед. Тонкая фигурка поднималась по темной улице, каблучки стучали по тротуару.

«Еще ребенок совсем, а уже духи и туфли на шпильках», — пришло в голову Бейксу. Он еще некоторое время постоял в подъезде, сжимая ручку чемоданчика, катая в свободной ладони прилипшие крупинки сахара.

## 11

В вестибюле конторы нефтяной компании, в будке из стекла и красного дерева, дежурила у телефонов женщина с посеченными, вытравленными перекисью волосами и размазанным лицом восковой куклы, по оплошности оставленной у огня. За ее спиной высоко на стене висел портрет бородатого короля Саудовской Аравии, взиравшего с легкой усмешкой на происходящее; изогнутый кинжал на кушаке отражался в стекле на столе для посетителей. Стол украшала ваза с цветами, через широкое окно с тяжелыми бархатными шторами сюда, на восьмой

этаж, едва долетал шум уличного движения. Влево и вправо от аравийского короля и искусственной блондинки в глубь здания убегали прохладные коридоры с навошенным паркетом и ультрамодными панелями на стенах.

Айзек понимал, что ему не миновать засады. Вечно этой телефонистке что-нибудь нужно: то пошлет за пирожным с кремом—на фигуру она рукой махнула, то передаст записку приятельнице в машбюро, то отправит за второй порцией сахара к чаю. Она полагала, что цветные, служившие мальчиками на побегушках в этой американской фирме, для того и существовали, чтобы выполнять ее прихоти. Все—в том числе и белые сотрудники—считали ее занудой. Но ее пост находился в таком месте, что мало кому удавалось проскочить незамеченным. Особенно же доставалось боям. Шагая по коридору в белой куртке со значком фирмы на нагрудном кармашке, Айзек ждал, что вот-вот захлопнется капкан.

— О Айзек, гм-гм, не принесете ли мне...

Айзек нахмурился.

— Меня вызвали в кабинет управляющего, мисс Бэрроуз, — солгал он не моргнув глазом, — дело весьма срочное.

— Тогда на обратном пути, — плаксиво настаивала телефонистка. — Или передайте мое поручение другому бою. Пусть кто-нибудь сходит за содовой.

— Слушаюсь, мисс, — ответил Айзек на ходу.

«Бой, бой, бой, — застучало у него в голове, — тебе хоть сто лет, раз ты черный — для них ты бой. Эта стерва вчера опять нализалась, каждый вечер торчит в барах». На самом деле он шел к машинисткам за работой для начальника отдела жидкого топлива. «Гарем, — подумал он про машбюро. — Впрочем, даже королю Саудовской Аравии, несмотря на все его богатства, вряд ли удалось бы отведать прелестей этих представительниц высшей расы. Для них он прежде всего черномазый».

Из кабинета вышел мужчина, гладкий и розовый, как земляничное желе, в аккуратном сером костюме, под мышкой — папка с надписью «*Оптовые сделки*». Он прошел мимо Айзека, не удостоив боя взглядом. «Мистер Бледди Коумз, — усмехнулся про себя Айзек, — всего-навсего клерк второго класса, а держится, словно он сам господь бог...»

Дойдя до машбюро, Айзек распахнул дверь. Дробный стук машинок напоминал беглую ружейную пальбу. В большой комнате сидели рядами элегантные, ухоженные, главным образом молоденькие женщины, источая невообразимый запах духов, пудры, крема. Никто даже не поднял головы, словно Айзека не существовало. Боев замечали лишь в том случае, если надо было дать им поручение. В иное время они были частью обстановки, такими же неодушевленными предметами, как серые чехлы машинок, деревянная вешалка, флакончики с жидкостью для исправления опечаток, копировальная бумага. Айзек шел, словно сквозь строй, мимо выставленных для обозрения ног в нейлоновых чулках, покрытых лаком причесок, ярко накрашенных губ. Девушка, печатавшая работу для отдела жидкого топлива, не взглянула на него. Папка с отпечатанными письмами лежала на краю стола, готовая к отправке. Айзек был чужим в этом мире квалифицированного труда и месячного жалованья. Цветные приезжали в город, объявленный белым, по утрам, чтобы выполнять тяжелую работу, а вечером возвращались в свои поселки, гетто. Не для них были рестораны, отели, многоэтажные дома, живописные сады, залитые солнцем пляжи, чай на веранде, коктейли в сверкавших пластмассой и хромом барах.

— Можешь себе представить, — тараторила гладко прилизанная рыжая толстушка, — она давно этим занималась, сыпала каждый день понемногу. В газете написано, что у мужа началась рвота по вечерам.

— Ужас! — воскликнула тощая девица с бледным, изможденным лицом, покрытым несколькими слоями пудры и румян. — Говорят, его доктор решил, что это разновидность полиомиелита... Как будто бы время чая.

Подхватив папку, Айзек вышел в коридор. Едва за ним захлопнулась дверь, как тощая девица оторвалась от работы.

— Разве это был не бой из буфетной? — спросила она, постукивая кончиком карандаша по передним зубам.

— Кстати о мужьях, — вступила в разговор старшая машинистка, — в конце месяца у Изабел свадьба. Будут, конечно, собирать на подарок.

— У какой Изабел, из бухгалтерии?

— Если она никого не позовет, мы не обязаны давать деньги...



Начальник отдела жидкого топлива посмотрел вслед выходящему из его кабинета Айзеку и внезапно вспомнил, что скоро пикник, который компания каждый год устраивает в загородном клубе. Ему как секретарю подготовительного комитета надо договориться с боями, чтобы они взялись разносить бутерброды и напитки и мыть стаканы. Загородный клуб не мог предоставить своих официантов. Начальник забыл на время о цистернах с топливом и стал думать о сэндвичах, ящиках с кока-колой и пивом, лихорадочно составлять пары для гольфа. Давя выскочивший на лысине прыщ, он записывал себе в книжечку: «Пикник. Договориться с боями. Десять шиллингов за весь день». Им еще достанется добрая половина бутербродов с анчоусами и семгой — для них это неслыханная роскошь. Но того, что сейчас принес от машинистки письма, он не позовет: отвратный тип, вечно недовольная рожа, отпускает замечания о равенстве, осмеливается просить надбавку. Пучеглазый негритос! Другие бои знают свое место. Понятно, с ними тоже надо уметь обходиться — не так, как эти экстремисты в правительстве. Тогда можно рассчитывать на ответное уважение. В прошлый раз были жалобы, что бои скалят зубы при виде женщин в купальниках. Предупредить их, чтоб больше этого не было, размышлял начальник, рассеянно ковыряя свой прыщ.

Из отдела жидкого топлива Айзек отправился в буфетную по заднему коридору, чтобы не напороться на телефонистку. В буфетной пожилая женщина уставляла чашками и блюдами сервировочный столик на колесиках, суетясь около большущего кипятильника, который уже урчал. Еще один рассыльный в белой куртке, сидя в уголке за столиком, ел сэндвич. Перед ним лежала горка разномастных конвертов. Он улыбнулся Айзеку и помахал рукой.

— Как дела, мистер Айк? Что скажешь хорошего?

— Привет, Сэм, — откликнулся Айзек и повернулся к женщине. — Есть надежда получить чашечку чаю раньше великих белых отцов?

— Наливай себе сам, — буркнула женщина, вытирая пот с отвисшего подбородка. — Здесь как в печке.

— Да и снаружи не лучше, — промычал Сэм, жуя хлеб с колбасой. — Совсем худо с ногами. Старый павиан из экспедиции сунул мне эту грудку писем, я должен разнести их по всему городу. Говорю ему — можно ведь

отправить по почте. И знаешь, что он ответил? Разнести дешевле! А у меня ноги отнимаются.

— Попроси хозяев — пусть тебе мотоцикл купят, — пошутил Айзек, наливая чай. — Смотри не попадись нашей матери-королеве. Заставит все бросить и бежать за содовой — у нее башка трещит с похмелья.

— Я бы ей принес не содовой, а слабительного, — зашипел Сэм. — Слушай, Айк, давай в обед в картишки перекинемся.

— К черту, — Айзек присел к столу, — делать мне больше нечего!

— Ах, Айки, старичок, — вздохнул Сэм, помешивая чай, — ты же не можешь, как бывало, повести нас на площадь послушать ораторов. Собрания запрещены, ведь верно? Что же остается? Играешь ты как бог, а нам не хватает партнера.

— Ну ладно. — Айзек ухмыльнулся и покачал головой. Он пил чай, водя карандашом по закапанной бумажной скатерти. Большегубый, с вытаращенными, вечно изумленными глазами, он чем-то нравился людям, умел расположить к себе окружающих. Про него говорили: «Котелок варит». Он знал многое такое, что обычно скрыто от людей его круга. Кроме того, он был смельчаком и никому не спускал ни малейшей нечестности или несправедливости. В буфетной трудно было дышать от жары и пара. «Нельзя же вечно рабелепствовать перед этими безмозглыми идиотами, — думал Айзек, — возмнили себя богоизбранными, видите ли, кожа у них белая! Глупцы, свято верят в систему, которая обречена, и погибнут вместе с нею. Встали на сторону тирании ради жалких крох неправедной власти и временных привилегий, которые им перепадает. Но уже проступает надпись на стене! Они тщатся замазать ее кровью либо зарыть голову в песок, притворяясь, будто ничего не происходит. Дорого же придется заплатить им за свое безрассудство!» Айзеку даже было жаль этих мстительных, корыстных и ничтожных людишек, уверовавших, что они принадлежат к высшей расе, что умение мыслить — их исключительная монополия.

Открылась дверь, и Айзек очнулся. Вошел юноша в белой куртке рассыльного.

— Чай готов, миссис Вильямс? Чертовы бабы раскудахтались. Говорят, что мы опаздываем на пять минут.

— Все бы им брюзжать, — вздохнула женщина. — У человека только две руки. Увози первую порцию.

— Давай пошевеливайся, — шутливо прикрикнул Айзек, — босс не станет ждать!

Он набрасывал контуры винтовки на заляпанной бумаге, с удовольствием потягивая чай. Юноша тем временем толкал столик на колесиках в сторону двери. Айзек пририсовал к винтовке вместительный магазин, и она превратилась в ручной пулемет.

— Слушай, Янни, — окликнул он юношу, — если эта дура телефонистка спросит, где я, скажи, что в сортире.

— Хорошо, Айк, так и скажу.

Ян наконец обуздал столик и выкатил его в коридор, останавливаясь у каждой двери и занося в кабинеты чай. В машбюро он въехал прямо со столиком. Перестук машинок сразу смолк, словно воюющие стороны прекратили огонь. Зашелестели газеты, раскрылись журналы, появились зеркальца и косметика.

Одна девушка прочла вслух соседке: «...Обвиняемая толкнула ослабевшего мужчину в грудь, и он упал на кровать. Накинув ему на шею веревку, она потянула обеими руками, и он распластался поперек кровати...»

— Что же он ее не стукнул? — изумилась соседка, принимаясь за чай. — Почему не сопротивлялся?

— Слишком ослабел, — вмешалась третья девушка, — ведь она его мышьяком травила.

— Слушайте дальше, — сказала первая. — «Обвиняемая туго затянула веревку, и у ее жертвы начались конвульсии».

— Кошмар, как она могла?..

Ян выехал со столиком в коридор, а в машбюро накрашенные губки еще долго судачили по поводу нашумевшего убийства. Оставалось развезти чай в два кабинета. В этот момент негромко загудели дверцы лифта, из него вышли двое белых. Они направились к телефонистке в стеклянном кубе под портретом аравийского короля.

Оба были высоченные, с красными лицами, один тяжелый и плотный, другой тощий, с длинным носом и рыжеватыми усами. Первый — в костюме и фетровой шляпе, второй — в неброском спортивном пиджаке и фланелевых брюках. При виде них в Яне проснулся старый инстинкт обитателя трущоб. Он понял: эти люди не имеют ни малейшего отношения к закупкам нефти или хранению железной тары. Воображение рисовало их за

длинным барьером, а на нем — распахнутая регистрационная книга арестов и приводов. Кобуры револьверов слегка оттопыривали их пиджаки.

Плотный мужчина снял шляпу и с улыбкой кивнул изнуренной блондинке. Он заговорил по-английски неуклюже, с сильным акцентом, выдававшим буга.

— Доброе утро, мадам. Нельзя ли повидаться с секретарем компании? Я сержант Ван Зил, а это инспектор Гроббелар.

Красное лицо хищно улыбалось белыми зубами, как раскрытый капкан. Голубые глаза походили на замерзшие капельки морской воды.

Ян разнес оставшиеся чашки. Когда он вернулся, мужчин в приемной уже не было, а блондинка что-то говорила в телефонную трубку. Ян слышал, как сержант назвал себя, но и без того было ясно, кто это такие. Он быстро зашагал по коридору, катя перед собой столик, торопясь поделиться новостью в буфетной.

— Где ты пропадал? — набросилась на него женщина, когда он появился в дверях.

— Не дольше обычного, это же не велосипед, не так-то легко управиться с чертовой колымагой.

Женщина ставила на столик полные чашки, а Ян тем временем выкладывал новость Сэму и Айзеку:

— Полиция. Они говорили с мисс Бэрроуз. Какого дьявола им здесь нужно? Может, кто-то проворовался на нефтехранилище? «Доброе утро, эй, я есть сержант Ван Зил, ей, где ваш патент на торгофлю спиртным?» — передразнил Ян полисмана и громко рассмеялся. Потом добавил серьезно: — Все-таки что этим гадам нужно?

Айзек успел изобразить на скатерти целый арсенал самого невероятного оружия. Слушая Яна, он даже не поднял головы, но сердце ушло в пятки. Мгновенным усилием воли Айзек подавил паническую нервозность, не спеша закончил очередной рисунок — вышло нечто среднее между обрезом и лазерной пушкой, — спрятал карандаш в карман куртки, поднялся, подошел к платяному шкафу в углу, открыл створку, снял форменную куртку, надел пиджак.

— Ты куда, Айк? — спросил Сэм, наблюдая за ним. — Подожди, выйдем вместе.

— Нет, я тороплюсь.

— Купи мне сигарет, — попросила женщина и полезла в карман фартука за кошельком.

— Извини, не смогу. Я вернусь не скоро.

Он пригладил пятерней волосы и помахал сослуживцам:

— Пока!..

«Кто-то в ячейке проговорился, — лихорадочно соображал он, выходя из буфетной, — иначе бы им никогда не докопаться». Он спустился по черной лестнице на два этажа, вышел на галерею, ведущую в соседнее здание, прошмыгнул мимо приемной зубного техника, кабинета консультанта по подоходному налогу, помещений бухгалтерии. Впереди показался человек без пиджака, направлявшийся к туалету. Скользнув по Айзеку рассеянным взглядом, он скрылся за дверью, откуда доносился шум спускаемой воды. Наконец Айзек очутился у главной лестницы и, не дожидаясь лифта, сбежал вниз.

Он вышел на шумную городскую улицу, и на него обрушилась летняя жара. Знойный воздух танцевал над металлическими крышами автомобилей. Айзек зажмурился, ослепленный ярким солнечным светом. Придя в себя, он различил впереди группу цветных и черных рабочих, стаскивавших с грузовика контейнер. На другой стороне полисмен проверял стояночные автоматы. Обычная уличная суета и гам.

Он ступил на мостовую, увертываясь от машин. Никто его не окликнул, не остановил. Добравшись до противоположного тротуара, он испытал облегчение, словно вышел из тыла противника. Под влиянием опасности нервозность сменилась осмотрительностью, неуверенность обернулась отвагой. Он сжег все корабли, ему сделалось легко, ноги сами несли вперед.

Высоко над ним проревел реактивный истребитель, оставив на голубой коже неба белые шрамы выхлопных газов. Айзек, задрав голову, следил за самолетом, пока тот не исчез из виду. «Французский «мираж», — подумал он. — Они вооружены до зубов. Как их одолеть?» Вспомнил всеобщий день протеста. Стоя у окна, он видел танки «сарацины», бронетранспортеры, грузовики, шедшие по дороге в черные пролетарские районы. Приземистые, уродливые, защитного цвета, как доисторические насекомые, грозные, ощерившиеся оружием. Полицейским патрулям роздали дубинки. Избивали поголовно черных и цветных, встречавшихся на улицах: считалось, что все они забастовщики. С того дня Айзек увлекся военной наукой и партизанской тактикой. Он проглатывал книги

по истории и ввезенные тайком учебники по теории партизанской войны, досконально разбирая рисунки и чертежи огнестрельного оружия. Он знал назубок устройство израильских автоматов «мэгнам» и «узи». В Южной Африке производятся автоматические винтовки калибра 7,62 миллиметра, усовершенствованный вариант стандартного натовского образца ФН. Их изготавливают в огромном количестве по лицензии бельгийской фирмы «Фабрик насьональ». Существуют и другие виды автоматического оружия, делающего до тысячи выстрелов в минуту. Айзек был знаком также с ленточными магазинами, 82-миллиметровыми минометами, гранатометами и базаками. Голова была забита разнообразными сведениями из технических книг. Как влюбленный о встрече с любимой, мечтал он о времени, когда сможет применить свои познания на деле. Что-то новое, вызывающее появилось в его облике. В будничном рабочем пиджаке, мешковатых штанах, стоптанных башмаках, с постоянным изумлением в глазах, он скорее походил на молодого неудачника, только что получившего наследство, чем на будущего партизана.

«Как же предупредить Бьюка, что я ударился в бега?—подумал Айзек, возвращаясь к действительности.—Ведь у нас односторонняя связь. Кто же, черт возьми, предал?—спрашивал он себя.—Должно быть, в ячейку проник провокатор. Полицейские наверняка и его арестуют, чтобы замести следы». Нервозность и беспокойство снова заползали в душу. Как бы пытаюсь прогнать их прочь, Айзек передернул плечами.

Пройдя пешком несколько кварталов, он остановился. Подъехал автобус. Айзек забрался наверх, в салон для цветных, и уплатил за проезд до конца. Заняв место у окна, он глядел на проплывающий мимо город.

12

Сидя на краю койки, Элиас Текване уминал жесткий табак в трубке. Потом чиркнул спичкой и припал губами к черенку; наконец трубка разгорелась и за клубился дым. Запах дешевого табака не заглушил других ароматов, пропитавших крошечную душную комнатенку, где жили четверо мужчин. Тут все пропахло потом, подгоревшим луком, заношенной одеждой, протухшей едой,

нестиранными носками, прогорклым маслом — густая, тошнотворная, стойкая вонища. Единственное оконце под потолком никогда не открывалось, и дверь целый день была заперта, пока жильцы отсутствовали.

Он сидел пригнувшись, подавшись вперед — верхняя полка не позволяла поднять голову. Держа трубку в крепких белых зубах, он зашнуровывал ботинки, ловко орудуя толстыми пальцами с обкусанными ногтями. На верхней полке напротив громко храпел мужчина в одних шортах, грузное темно-коричневое тело лоснилось от пота, словно покрытое смазкой. Одна рука свешивалась с полки, на могучем запястье поблескивали тонкие браслеты из медной проволоки. Он был неподвижен, только мерно вздымалась грудь.

Покончив с ботинками, голый по пояс Элиас вышел в коридор, выложенный камнем, и отправился в конец открытой галереи к умывальной. Она представляла собой отгороженную клетушку с раковиной. Из нее поломанная дверь с одной уцелевшей створкой вела в смрадную уборную. Элиас сполоснулся под краном и, вытираясь дырявым полотенцем, пошел назад.

Вдоль коридора тянулись такие же, как и его, комнатухи. Двери кое-где были приоткрыты: в одной комнате мужской голос напевал народную песню, в другой грохотали о стол костяшки домино, в третьей грустно звучала гармоника. На галерее было попрохладней — солнце еще не достигло этой стороны барака, хотя поселок уже трясся и корчился в кадмиево-желтом пламени, как герои старой киноленты.

Вернувшись к себе, Элиас распахнул обитый жестью сундучок, отыскал чистую рубашку цвета хаки и натянул ее через голову, так и не выпуская трубки из рта. Воздух в комнате был плотный и теплый. В углах, где стояли керосинки — на них готовили, ими обогревались, — стены почернели от копоти. Тут же хранились мятые, закоптелые кастрюли, железные кружки, погнутые ножи и вилки.

«Эх-хе-хе,— думал Элиас, заправляя рубашку в брюки,— тебе за сорок, а ютишься в холостяцком общении; пора обзавестись семьей. Это противоестественно и вопреки обычаю — не иметь жены». Впрочем, что бы изменилось, будь он женат? С ним в комнате жили и семейные люди, но их родным не позволяли приехать в

город. Власти считали их холостяками и определили в этот барак.

Расчесывая короткие курчавые волосы перед осколком зеркала, приделанным к двери, он вдруг вспомнил девушку, с которой встречался много лет назад.

В поселке тогда были одни лачуги, сколоченные из листового железа. Зимой в них было холодно, летом нестерпимо жарко, улицы немощенные, неасфальтированные. Узкой полоской прилепились трущобы к городской окраине, точно заноза или нарыв. Тут воняло гнилью, стоячей водой, но постепенно привыкаешь ко всему: к лужам омерзительной жижи, к испражнениям детей и животных, превращавшим тропинки в минные поля. Нищета обволакивала все залатанным смердящим покровом, всюду — гниение, упадок, тлен. Та девушка была чуть старше его. Должно быть, Элиас был в нее влюблен. Потом они долго не виделись, а когда встретились, у нее на руках был ребенок, завернутый в тряпье, он громко плакал, у него текло из носика. Она и сама была в лохмотьях, но ни на что не жаловалась.

На месте железных лачуг и жидкой грязи выросли ряды кирпичных бараков. По-прежнему в них было холодно зимой и душно летом. Что было, то было, вздохнула она. Нет, денег она не возьмет. Отец ребенка изредка навещает их, не дает умереть с голоду.

«Давно все это было», — думал с болью и горечью Элиас, доставая старый кожаный пиджак с обтрепавшимися рукавами. Он снова вышел в коридор, заперев спящего соседа. Пятый десяток пошел, но, несмотря ни на что, в нем не угас интерес к жизни. А по пропуску судя, ему уже все пятьдесят. Это прихоть глупого писаря, оформлявшего документ. Тебе могут всучить любое имя и возраст, будто шляпу или пиджак с витрины магазина готового платья...

Элиас отчетливо помнил тот день. Контора комиссара по делам туземцев в его родном городке помещалась в одноэтажном здании с ржавой железной кровлей и бурыми стенами. Водосток над верандой прохудился, в сезон дождей из него хлестала вода, прорывшая воронку в земле у входа. За пыльным окном виднелась стена, заклеенная плакатами департамента по делам цветных и засиженными мухами листьями с четким текстом на трех



языках, отпечатанным на машинке. Как обычно, в тот день у крыльца толпились люди, но пропуска выдавались на заднем дворе, куда вели покосившиеся воротца. Под навесом стоял длинный стол, за которым колдовали двое белых без пиджаков и писарь-африканец. Черный полисмен в шлеме и бриджах дремал на скамье, как бы выказывая свое пренебрежение к мужчинам и юношам в очереди, вытянувшейся вдоль задней стены дома. Одни переминались с ноги на ногу, другие сидели на корточках, и писарь вызывал их по одному.

— Целый день здесь проторчим, — вздохнул мужчина, стоявший впереди Элиаса. — Мне в город нужно, на похороны — брат отправился к предкам, — но наверняка опоздаю. Глупость несусветная!

— Нами правит свора гиен, — поддержал его кто-то.

Тот, что торопился на похороны, набил трубку табачком крупной сечки, зажег спичку и запыхтел, пуская клубы крепкого дыма. Когда трубка разгорелась, он сплюнул сквозь зубы и обратился к Элиасу:

— А ты куда собрался, сынок?

— В город, дядя. Еду на работу устраиваться.

— Тебе уже лет достаточно? — недоверчиво спросил мужчина с трубкой. — Ну а матушка?

— Ничего, стареет вот только.

— Все молодые так говорят о старших. — Мужчина настроился поболтать, но тут его вызвал писарь. Кивнув Элиасу, он засеменил к столу. На нем был драный пиджак и сандалии с подошвой из автомобильной покрывки.

Люди в очереди терпеливо ждали на припеке. Солнце медленно передвигалось по двору, толкая впереди себя тень от дома. Элиас закрыл глаза, силясь вообразить героев полюбившейся ему книги — отважных воинов, сражавшихся в знаменитых битвах. В нем забурлила кровь, в памяти всплыли рассказы деревенских стариков о том, как воевали предки. Он тоже будет воином, сразится с теми, что живут в их стране, но ведут себя хуже чужеземцев, — с шакалами и стервятниками, обидчиками старух. Элиас видел поднятые над головой копья, щиты из воловьих шкур, слышал улюлюканье и топот бегущих ног. Это улепетывал Вассерман, обзывавший Элиаса «черной макакой», и другие белые. Элиас хотел засвидетельствовать им, что тут кто-то крикнул у него над ухом:

— Эгей, да ты спишь!

Юноша вскочил и упругим уверенным шагом направился к столу. Оба белых чиновника, рывшиеся в бумагах, не удостоили его вниманием. Элиас растерялся, не зная, что ему делать.

Писарь-африканец в красных подтяжках устало сказал:

— Ну, мальчик, пришло время становиться человеком.

— Человеком? — нахмурился Элиас.

— Именно! — подтвердили Красные Подтяжки. — Какой же ты человек без паспорта? Благодарение белым начальникам, сколько они делают для нас!

В усталом голосе и покрасневших глазах сквозила циничная усмешка. Писарь откинулся в своем складном креслице и толстыми пальцами, похожими на жареные сосиски, заиграл подтяжками, натягивая и отпуская их, как тетиву лука.

— Хватит языком болтать, приятель, — поднял на него глаза белый чиновник. — Работа не ждет.

Красные Подтяжки подмигнули Элиасу, доставая отпечатанный бланк. Юноша, переминаясь с ноги на ногу, глядел на писаря, смутно сознавая, что этот человек с помятым лицом и прокуренными зубами зло дразнит его, играет, будто кошка с мышкой, — легкие пинки и похлопывания как бы в шутку, но каждый игривый удар приближает конец.

Красные Подтяжки вертели в руках карандаш, постукивая кончиком по зубам. Второй чиновник оторвался от бумаг, закурил и снова взялся за перо.

Красные Подтяжки сказали отрывисто:

— Показывай контракт с нанимателем. Так, твое имя?

Элиас назвал себя.

— Как зовут твоего отца?

— Он умер.

— Тебя не спрашивают об этом. Его имя?

Элиас ответил.

— А мать как зовут? Имя вашего вождя?

— Вождя? Не думал, что это понадобится. Он живет далеко отсюда.

— Дурак! — гаркнули Красные Подтяжки. — Несчастный дурак. Могу поспорить, ты добром не кончишь. Как зовут вашего старосту? Ведь есть же в деревне староста?

Писарь заполнял бланк корявым почерком.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать. — Вопросы злили Элиаса. Зачем все это? Есть у человека имя, отец, мать, предки. Разве не достаточно?

— Ты меня не дурачь, — недоверчиво покосился писарь. — Такая борода в семнадцать лет?!

— Что происходит? — встрепенулся белый чиновник.

— Да вот утверждает, что ему семнадцать, баас, — подобострастно ответили Красные Подтяжки.

— Врет, подлец. Все они лгуны, — вступил в разговор второй чиновник. — Вон какой дылда.

— И я как раз так считаю, — залебезили Красные Подтяжки, ободренные поддержкой начальника.

— Ну, это легко проверить, — сказал первый чиновник, уставясь через стол на Элиаса. — А ну снимай штаны, болван!

Элиас вздрогнул, смутился, не веря своим ушам, вытаращив глаза от изумления. Чиновник нетерпеливо прикрикнул:

— Ты что, не слышишь? Кому говорят—снимай штаны!

Элиас перевел глаза на Красные Подтяжки, чувствуя, как кровь прихлынула к лицу.

— Делай, как велит баас, — со смехом сказал писарь, тыча пальцем себе в талию. — Расстегивай ремень!

Сгорая от стыда, Элиас дрожащими руками приспустил ветхие брюки. Красные Подтяжки перегнулись через стол и, скаля зубы, приподняли подол рубахи концом карандаша.

— Он уже прошел обряд, — доложил сквозь смех писарь. — Какие уж там семнадцать! Ручаюсь, мерзавцу не меньше двадцати.

— Поди не одну девчонку испортил, — сострил первый чиновник. — Запиши: двадцать лет.

— Слушаюсь, баас, — отчеканили Красные Подтяжки и повернулись к Элиасу. — Хватит, насмотрелись. Можешь надеть штаны.

— Мне семнадцать, семнадцать, семнадцать, — твердил смущенный Элиас, натягивая брюки.

— Двадцать, — отрезал писарь. — Баас сказал, двадцать, значит, двадцать.

Он злорадно ухмыльнулся и вписал возраст Элиаса

в бланк. Элиас, понурясь, разглядывал свои запыленные ступни. Лицо у него горело от стыда, ярость распирала грудь.

Потом его послали в дом, в контору комиссара, где на скамье у барьера ожидали своей очереди другие оборванцы. Элиас опустил на краешек скамьи, молча переживая свою обиду. Время ползло по стенам комнаты, по объявлениям, приколотым ржавыми кнопками. Наконец за барьером распахнулась дверь и появился краснощекий толстяк в тесном жилете со строгой золотой цепочкой на животе, будто необходимой для того, чтобы не вываливались кишки. Он поглядел поверх очков на африканца, который поднялся со скамьи и, шаркая, подошел к барьеру, пытая длинной трубкой.

— Эй, погаси немедленно эту гадость, — гаркнул толстяк, — тут тебе не деревня, ублюдок!

Держа стопку бланков в розовой ладони, он принял-ся выкрикивать имена...

«Так вот и сделали меня старше, чем я есть на самом деле, — с невеселой улыбкой вспоминал Элиас. — Все они решают за нас, даже то, сколько кому жить на белом свете. Захотят и прикончат — если не пулей и веревкой, то просто росчерком пера. И нет человека, будто и не жил никогда. Прямо карточный фокус!»

На улице пекло невыносимо. Накинув пиджак на одно плечо, Элиас побрел по поселку к отдаленной пивной.

На песчаном пустыре толстые женщины, укрепив доски на бочках из-под бензина, торговали требухой с местной скотобойни. Бараньи головы, горы внутренностей, куски печени, рдеющие на солнце. Торговки лениво гоняли эскадрильи мух, пикировавшие на прилавки. Рядом в четырехгаллонных канистрах варили початки кукурузы, дым поднимался столбом от жаровен, словно от жертвенного костра. Уличные парикмахеры стригли потных клиентов с обнаженными торсами, ножницы тускло поблескивали в острых как бритва солнечных лучах.

Приземистые домики, похожие на коробочки из-под пилюль, уходили рядами вдаль. Дощатые заборы и пыльные клумбы служили им сомнительным украшением.

За паутиной из колючей проволоки прятался административный центр: полицейский участок с поникшим

флагом республики, у крыльца — бронированный «ленд-ровер». Двое заключенных в красных рубашках и белых парусиновых шортах пололи газон; контора комиссара по делам банту; биржа труда — толпа безработных обступила белого чиновника, который, взобравшись на стул, выкликал имеющиеся вакансии: «Рассыльный, подметальщик, строительный рабочий...»

У входа в пивную на скамье сидел полисмен, щурясь на солнце. Недавно тут едва не произошел бунт — с тех пор муниципалитет установил у пивной полицейский пост. Из продолговатого строения доносился гул, через грязные окна видны были люди за длинными столами, с потолка свешивались липучки для мух.

У дальнего выхода из пивной, рядом с общественной уборной, стояла телефонная будка с выбитыми стеклами. Пол был усыпан осколками, словно после бомбежки. Но проводка, к счастью, уцелела. Обычно местные вандалы срезали трубки. «Может, и это форма протеста, стихийный вызов властям», — подумалось Элиасу.

Он вошел в будку, нащупал в кармане пятицентовую монету, набрал номер и стал дожидаться, когда на другом конце ответят. Малыш с вздувшимся животиком, торчавшим из-под рваной рубашонки, мочился прямо на пыльную мостовую. В трубке что-то щелкнуло и раздался голос:

— Аптека!

Элиас нажал на кнопку, монета не застряла — аппарат сработал.

— Можно мистера Польского?

Снова ожидание, пока позовут провизора. Над крышами поселка мельтешила знойная дымка.

— Польский слушает! — наконец донеслось до Элиаса.

— Алло, мистер Польский, говорит Хейзел.

— Здравствуйте, мистер Хейзел. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, неплохо. Мой друг заходил за лекарством?

— Да-да, все в порядке.

— Спасибо, мистер Польский.

— Не стоит благодарности. Лишь бы оно вам помогло, сэр.

— Надеюсь, что полегчает. Ну, всего хорошего!

Элиас повесил трубку, снял с дверной ручки пиджак и, выйдя из телефонной будки, побрел в другой конец поселка.

«Бейкс, стало быть, получил листовки. Он все сделает как надо, на него можно положиться», — думал Элиас. Группа Бейкса продолжает действовать, хотя поначалу насчет его людей были сомнения. Теперь к ним нет претензий, до сих пор никто не попадался. К сожалению, не у всех групп равные условия и возможности для работы. Это пагубно отражается и на организации в целом.

Побольше бы таких, как Бейкс. Толковый, искренний, смелый до безрассудства. До сих пор он ускользал от шпииков — это самое главное. Никто не может ручаться, что не дрогнет под пытками. У каждого есть свой предел... Вспомнился товарищ, который разбился насмерть, прыгнув из окна седьмого этажа полицейского управления. Довели...

Бейкс не новичок в движении. Познакомился с ним Элиас на заседании комитета, когда готовились к кампании против массового переселения цветных жителей. В день, когда истек срок, полиция окружила «черное пятно» в белой зоне. Жителей затолкали в грузовики и несколько часов везли к месту, отведенному правительством. Их сгрузили в голой степи. На землю полетела ветхая мебель, наспех уложенные чемоданы и ящики. Громко плакали дети. Вот их новый «дом». Со временем люди кое-как скотят себе хибары; может, власти раскошелятся даже на кирпичные бараки. Но жители не хотели мириться с произволом, готовились протестовать, рассчитывая на широкую поддержку. Тогда-то Элиас и увидел впервые Бейкса, совсем еще молодого человека с правильными чертами лица и маленьким шрамом на щеке. С тех пор они работали бок о бок.

Когда движение ушло в подполье, приходилось только гадать, кто в нем останется, кто пойдет на риск. Элиасу поручили создать группу в этом районе. Он осторожно прошупывал людей, как хирург, извлекающий осколок, застрявший у сердца. К своей радости, он убедился, что Бейкс остается в строю.

— Как хорошо, что ты по-прежнему с нами, — сказал он Бейксу при встрече. — Наши правители спят и видят, как бы рассорить черных с цветными. Твердят, что, дескать, у нас ничего общего. И демократию нам

подсовывают разную, чтобы мы отдельно голосовали за выборных представителей, но, конечно, под их наблюдением.

— Нацисты в гетто тоже устраивали выборы, прежде чем отправить жителей в газовые камеры, — сказал Бейкс. — Поговаривают, будто нас станут пускать в их новый оперный театр. Но кто попрется в театр за несколько миль из сегрегированных трущоб, да еще без гроша в кармане!

— Садисты какие-то, — покачал головой Элиас, — кому нужна опера, когда сам, того гляди, с голодухи запоешь!

В медно-карих глазах и улыбке Бейкса было что-то внушавшее надежду, убежденность, веру. Но в наши дни нельзя полагаться на одно внешнее впечатление. В секретной полиции, как скрепером, соскребают поверхностный слой преданности и стойкости, добираясь до того, что таится под ним: хрупкий известняк либо твердый гранит. «Успокойся, — сказал себе Элиас. — В душу никому не заглянешь, что зря голову ломать. Остается верить, что в трудную минуту каждый с честью выполнит свой долг. Невозможно работать в вечном страхе. Экзаменовывать нас будет секретная полиция».

Он вновь поравнялся с административным кварталом. Заключенных на газоне уже не было, но у биржи труда по-прежнему толпился народ в надежде получить какую-нибудь работу. «Нас угнетают не только из-за цвета кожи, а потому, что мы рабочий люд, — рассуждал про себя Элиас. — Чернота наша не более чем предлог». Он вспомнил, как юнцом впервые приехал в город (по паспорту, впрочем, выходило, что он уже взрослый мужчина). Работал он в прачечной за два с половиной фунта в неделю. Из этих денег надо было платить за ночлег в старом поселке, куда его определили на постой, вносить налоги, кормиться да еще матери кое-что посылать.

В ту зиму он съездил домой. Но сильнее встречи с матерью разбередило его душу знакомство с чахоточным шахтером, вернувшимся с рудников. Худущий, сутулый, он все время кашлял. Шахтеру не хватило заработков даже на гостинцы детям. Те боялись и сторонились его. Ходил он беззвучно, еле передвигая ноги, огромные глаза были налиты кровью. Детишки шептались, что шахтер околдован. Но Элиас не верил в эти выдумки.

Таким мог бы вернуться с приисков и его отец, истратив себя без остатка. Может, и лучше, что его настигла мгновенная смерть...

Вольный сельский воздух, тишина, пение птиц не скрывали от глаз кричащую нужду. Земля уже не могла прокормить, люди собирали и варили сорные травы, если солнце не успевало иссушить их. Залезали в долги к белому лавочнику. Невероятная отсталость: про митинги и собрания здесь и не слыхивали. В городе волей-неволей прибываешь к движению. Не в силах сносить бремя тирании, горожане шли на площади, в залы, собирались на дому, чтобы послушать ораторов.

Больше Элиас в деревню не ездил. Бурая, выветрившаяся земля, крошечные хижинки на поросших кустарником холмах стали ему безразличны. Кровь его успела пролиться на шершавый серый асфальт и пустила корни, неудержимо маня его в город. Дело было так. Прачечники бастовали, требуя повышения зарплаты. Рядом с фабрикой состоялся митинг. Их профсоюз не был признан властями, африканцам не разрешалось бастовать. По закону они не рабочие, а слуги, контракт связывал их по рукам и ногам. Хозяева вызвали полицейских—те дубинками разогнали собравшихся.

Элиас запомнил прикосновение щеки к теплему асфальту и запах пыли. Вокруг него мелькали бегущие ноги. Ему досталось дубинкой по голове, казалось, череп раскалывается на части. Кровь, как горячий сироп, медленно струилась по лицу, растекаясь лужицей по асфальту. Ему было страшно, часто колотилось сердце, пересохло во рту. В голове стучало: «За что, за что, за что?..»

И другой день — когда принесли письмо в захвачанном конверте: письмо долго ходило по рукам. Из него он узнал, что умерла мать. Порвалась последняя ниточка, связывавшая его с домом. Он не сдержал слез. Но делать нечего, надо быть мужчиной...

Вспомнив теперь свои прежние страхи, Элиас с усмешкой сказал себе: «Ты не стоял на месте, приятель, но впереди еще многое тебя ждет».

Поселок плавился в желтом пляшущем солнечном свете.



Тяжелый дух мусорных ведер и засоренных унитазов на тускло освещенной лестнице наводил на мысль о разрытых могилах. В доме с наступлением ночи не сделалось прохладнее. Бейкс осторожно поднимался по ступеням, как кладбищенский вор, только что обчистивший склеп. За безликими дверьми в тяжелом забытии металась беднота. В коридоре не было ни души, только пол усеян засохшими чайнками и клочками бумаги. Половицы поскрипывали под ногами Бейкса. Он медленно продвигался к комнате Томми, как выбившийся из сил пловец.

Ключ был на притолоке, где его и оставил Бейкс. «Томми не вернулся, — усмехнулся он про себя, — балльный комитет, видать, прозаседает до утра». Электрический свет выхватил из мрака радиолу, зачехленные пластинки, портрет дирижера. Бейкс нарочно оставил окно открытым, так что теперь в комнате было сравнительно прохладно. Ночной ветерок, точно привидение, слабо колыхал занавеску. Бейкс затворил дверь, поставил картонный чемоданчик на стул, сел на помятую постель; зевая, вытянул ноги, испытал неизъяснимое блаженство. Потом достал сигареты и закурил. Не было сил даже раздеться.

Казалось, мог бы воспользоваться услугами знакомого таксиста, но тому не следовало знать всех адресов и явок. Как там Айзек? Кого из его людей схватили?

Бейкс вздрогнул — тлеющая сигарета обожгла пальцы. Он раздавил окурок, кое-как разделся, доплелся до выключателя и рухнул на кровать.

Едва закрыв глаза, он увидел Фрэнсис и их малютку. Хорошо, что они успели завести ребенка. Когда Фрэнсис была беременна, его измучили ужасные сны. Он видел ее с простреленным животом, изорванную овчарками, штыками, копьями. Она корчилась от боли, истекала кровью... Все началось после того, как на его глазах убили женщину. Случилось это, когда повысили плату за проезд в автобусах, курсировавших между африканскими поселками и городом. Огромная толпа собралась на митинг протеста. В самый его разгар полиция набросилась на уснувшего пьянчужку. Это была явная, преднамеренная провокация. Возбужденные люди попытались отбить его у полицейских. Когда это не удалось,

повалили к участку. Полиция открыла по толпе огонь. Четверо были ранены легко: в руку, щеку и спину. Пятнадцатилетней девочке попали в грудь; беременной женщине пуля угодила в живот. С той поры по ночам Бейкса преследовали кошмары. Он просыпался, дрожа от страха, и Фрэнсис спрашивала встревоженным голосом:

— Что с тобой, милый? Приснилось что-нибудь?

Это повторялось из ночи в ночь, и Фрэнсис всерьез забеспокоилась.

— Тебе надо показаться врачу. Он пропишет снотворное.

Бейкс, понятно, не рассказывал ей своих снов. Роды прошли благополучно, и радости его не было границ.

И теперь ему часто снилась Фрэнсис и их дочурка, но это были уже иные сны. Они парили с Фрэнсис в высь, кружили над высокой башней, но вдруг Фрэнсис начинала падать. Он не успевал ее подхватить и просыпался в холодном поту.

Однажды, придя домой после встречи с Элиасом, он не застал Фрэнсис. Детская кроватка была пуста. Повесив пиджак в шкаф, он прошел в кухню и, усевшись у плиты, развернул вечернюю газету. Вскоре Фрэнсис вернулась с девочкой на руках.

— А вот и папа!

Он подхватил дочку, а Фрэнсис чмокнула его в щеку.

— Скажи папе «здравствуй», — щебетала Фрэнсис. — Извини, дорогой, что не дождалась твоего прихода. У миссис Робертс колики, вызвали врача, но он не приехал. Я пошла взглянуть, нельзя ли чем помочь. У моего брата так тоже бывало. Ужин в духовке. Сейчас уложу малышку и накрою на стол.

— Как поживаешь, доченька? — Бейкс прижался носом к детской щечке.

— Спала она прекрасно, — ответила Фрэнсис, — все у нас в порядке — она лапонька, лапонька, лапонька.

Бейкс остался наедине со своими мыслями, пока Фрэнсис убаюкивала девочку. Вернувшись из спальни, она накрыла на стол. Бейкс хмуро молчал.

— Дала ей бутылочку, — сказала Фрэнсис и пристально посмотрела на него. — У тебя неприятности?

Они сидели друг против друга, от тушеной капусты поднимался пар.

— Да нет, ничего особенного.

— Ну, рассказывай.

— Мне поручают одно дело... Очевидно, я не смогу бывать дома.

— Нет, только не это! Неужто навсегда?

— Ну нет, на время. Видишь ли, я один из немногих, кого полиция до сих пор не знает. Так нам, во всяком случае, кажется...

— А тебе это задание по душе?

— Никто меня не заставляет, — вздохнул он, — но больше вроде и некому. Все в тюрьмах. Приходится начинать сначала. Движение не должно погибнуть, понимаешь?

— Как же мы без тебя? — робко улыбнулась Фрэнсис. — Но раз надо... Ты, видно, на хорошем счету, если тебе это поручают. Я тобой горжусь. Достойный ученик своей тетушки!

— Что с вами будет? — спросил он.

— Я выйду на работу, а малышку отвезу к маме. Она всегда рада присмотреть за внучкой. Буду гостить у них по субботам и воскресеньям. Когда ты уходишь? Не забудь теплое белье, пижаму, свитер...

— Пижаму! — неестественно громко засмеялся Бейкс. — Смешная ты, Фрэнсис! Что твои старики скажут — хорош муженек у их дочери!

— Предоставь их мне. А теперь ешь — успеем еще поговорить.

Она подошла и поцеловала его, на ее губах был привкус капусты. «Как мне повезло, — думал Бейкс, — возможно, она не одна такая, но я счастлив, что мне досталась именно Фрэнсис. Неплохой приз отхватил тогда на аттракционах!..»

Бейкс ворочался на несвежей мятой простыне. Сон не шел. Мысли скользили, как осенний лист по поверхности пруда. Вспомнился дрожащий от страха, издерганный, жалкий Артур Беннет, низенький, лысый; в глазах — мольба о прощении. Чертова стерва эта Нелли Беннет. Бедняга Арти давно такой, еще с тех пор, когда движение не было в подполье. Легальность не гарантировала безопасности, тогда тоже требовалась осмотрительность. Одно это отпугивало Беннета. Сварливая жена усугубила его шатания — так прилив размывает песчаные берега.

— Я ведь не против, — мямлил Беннет, — только все надо взвесить. С полицией шутки плохи. Скольких уже

перетаскали на допросы! У министра полиции, черт его дери, неограниченные полномочия. Приходится думать о доме, о работе, о Нелли. Поверь, Бьюк, она неплохая. Только пилит меня вечно. Бывает, знаешь...

— Нет, не знаю, — жестко ответил Бейкс.

— Ну, Фрэнсис, наверно, не такая, но что же мне делать?

Беннет вез его в старом пикапе в одно укромное местечко на специальное заседание объединенного комитета. Они тряслись на тускло освещенных мостовых, Беннет напряженно смотрел вперед через забрызганное ветровое стекло. Дождь колотил по крыше, обрушивал потоки на дома, на редких прохожих, на весь хмурый бесцветный мир.

— Не горюй, я все понимаю. — Бейкс уже раскаивался, что был резок. Кто он такой, чтобы судить других? Неизвестно, что случится завтра с ним самим...

— Я обожду тебя, — несмело предложил Беннет, когда они доехали до места. — Вон какой ливень.

— А что ты скажешь жене? Как объяснишь ей, где пропадал всю ночь?

— Что-нибудь придумаю.

В тот вечер состоялось знакомство Бейкса с Элиасом Текване по кличке Хейзел.

— Рад встрече, — сказал ему Элиас. Он сидел во главе стола под причудливым абажуром. Окна были задернуты цветными шторами. Бейкс не знал, чей это дом. Он поздоровался за руку со всеми, кто был в комнате.

— Думаю, собравшиеся в достаточной мере представляют жителей этого района, — начал Элиас. — Мы добьемся своего лишь в том случае, если привлечем на нашу сторону все слои населения.

Свет играл на его скуластом темно-коричневом лице, неровных усах и узенькой бородке, окаймлявшей большегубый рот. Под нависшими бровями сверкали глаза, улыбка обнажала крепкие зубы. Старый кожаный пиджак пропах табаком. Говорил Элиас по-английски густым, неторопливым, бодрым голосом, тщательно подбирая слова, вертя карандаш в загрубелых от работы пальцах.

Дождь барабанил по окнам, капало с плащей в прихожей. Сидя за столом, они вели негромкий разговор.

— Становится совершенно очевидно, — продолжал Элиас, — что правительство наложит запрет на деятель-

ность массовых организаций. Они понимают, что им недобровать, если народ окажет подготовленное сопротивление. Им ничего не остается, как объявить нас вне закона. Массовые кампании привели к тому, что полиции стали известны имена всех кадровых работников. Не следует об этом жалеть. Игра стоила свеч — в результате возросло сознание народа. Осталась лишь горстка товарищей, не раскрытых полицией. От них теперь требуется максимальная осторожность.

Когда заседание кончилось, все встали, обменялись рукопожатиями и разошлись по одному. Бейкс уходил последним. Элиас сказал, когда они остались вдвоем:

— Товарищ, нам предстоят испытания. Ты не боишься?

— Не больше других, — улыбнулся Бейкс, чувствуя, что его прошупывают. — Наверно, и вы боитесь, думаете про себя: «Можно ли ему доверять? Не выдаст ли он меня, если его схватят?» Так ведь?

— Возможно, ты и прав. — Элиас зычно рассмеялся. Они пожали друг другу руки, и Бейкс, накинув отсыревший плащ, вышел на улицу. Дождь кончился, в мокрой мостовой отражался бледный свет фонарей. Бейкс вернулся за угол, направляясь к тому месту, где его ждал Беннет в своем пикапе. Сырой холод пронизывал до костей. Беннет спал в уголке кабины с раскрытым ртом, тусклые блики играли на его лысине. Пришлось постучать по стеклу, чтобы он проснулся. Было уже за полночь. Они ехали по холодному спящему городу, блестящему во мраке, как вороненая сталь... Интересно, что наплел тогда Беннет своей супруге?..

14

Трущобы лепились на самой кромке предместья, словно чудом уцелевшая клякса серой штукатурки на облупившейся стене, — неровные ряды развалюх с ржавыми покосившимися стенами и провисшей кровлей, удерживаемой на месте проволокой и камнями. Был конец лета, и светало медленно. Ночь уползала восвояси по песчаным пустырям, ухабистым улицам, вдоль накренившихся заборов и чахлах садилов. Еще не погасли тусклые уличные фонари — золотая мишура на рваной багрово-дымчатой ткани. Здесь проходила официальная граница между поселком банту, обнесенным проволо-

ным забором, зонами для азиатов и цветных и новоявленным белым городом. Со дня на день нагромождение убогих хижин из картона и жести сотрут с лица земли. Трущобы доживали свой век, бросая отчаянный вызов отцам города, пустившим в обращение лицемерный эвфемизм «благоустройство».

Из окна комнаты, где встретились Бейкс и Элиас, видны были спутанные гирлянды лачуг, засохшее дерево, частокол. Где-то залаяла собака, другая ответила. По стеклу стучали москиты. Бейкс задернул занавеску и вернулся к столу, за которым сидел Элиас. Свет настольной керосиновой лампы нервно скакал по стенам, оклеенным бракованными рекламными плакатами с типографской свалки. Картинки и буквы набегали друг на друга: чья-то рука, сжимающая банку сливового джема; алые губы, а под ними изображение моторной лодки. Комната походила на выставку работ художника-сюрреалиста. Кроме плакатов, на стене висела фотография африканской вокальной группы и полка с Библией и растрепанными школьными учебниками. От лампы пахивало керосином. «Не мешало бы подрезать фитиль», — невольно подумал Бейкс. Под его ногами прогибались половицы. Он не знал, кто живет здесь, но спрашивать об этом не следовало. Москиты плясали на стекле.

— Все в порядке, — обнажив в улыбке крупные зубы, сказал Элиас. — Снаружи, как обычно, дозорный. Мы быстро управимся.

Бейкс сел за стол напротив Элиаса; они вполне могли бы заняться предсказаниями будущего — обстановка была подходящая. Не хватало лишь чашек и игральные карты. Вместо них на столе стопка газет, которые принес Элиас, и лампа. Элиас вывернул фитиль, и на сюрреалистской стене замаячила его тень. Но стекло тут же закоптилось, еще сильнее запахло керосином, и пришлось снова привернуть фитиль. Тени метались по этикеткам фирм, усеченным картинкам, литографическим надписям.

— Разговор пойдет о том, как улучшить нашу работу в районе, — сказал Элиас, раскуривая трубку. — Но сначала напомним: по тревоге сразу уходи через заднюю дверь и уноси ноги. Другого пути нет. Ясно?

— Ясно, — буркнул Бейкс. — Ты мне еще в прошлый раз все растолковал.

Он полез за сигаретами. Со стены через плечо Элиаса цинично таращился на Бейкса огромный глаз.

— Волнуешься? — с улыбкой спросил Элиас.

— Чертовски волнуюсь, — признался Бейкс, криво ухмыляясь верхней оттопыренной губой и влажными, цвета меди глазами. — Разумно ли было встречаться сегодня, сразу после листовок? Наверно, я не привык и никогда не привыкну ходить по проволоке.

Ему стало не по себе, когда Элиас инструктировал его на случай тревоги.

— А кто привык, парень? — подбодрил его Элиас. — Каждую секунду идем на риск. Запомнил — через заднюю дверь и жми что есть мочи! На этих улочках сам черт ногу сломит. Полиция не в состоянии оцепить весь поселок.

Бейкс энергично замотал головой, будто стряхивая с себя воду.

— Займемся делом!

Дым и копоть щипали глаза, хотелось поскорее уйти отсюда.

Элиас кивнул и продолжал:

— Во-первых, должен тебе сказать, что необходимо переправить через границу на север трех человек. Они едут на военную подготовку. Тебе поручается первый этап их маршрута. Договорись с кем-нибудь, кто бы их отвел. Они будут ждать в понедельник в известном тебе месте.

— Я знаком с кем-нибудь из них? — спросил Бейкс.

— Не уверен в этом. Их клички Питер, Поль и Майкл. — Элиас рассмеялся за серой пеленой табачного дыма. — У нас в ходу имена святых. Вот только святого Хейзела как будто не было.

— Я о таком не слыхал, — улыбнулся Бейкс. — Гм, святой Хейзел! Будь их четверо, подошли бы Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

В потемках снова залаяла собака, вдали загудел поезд.

— Итак, Майкл, Питер и Поль. Присмотри, чтобы все было как положено.

— Само собой, — кивнул Бейкс, бросив окурок в блюдце, служившее пепельницей. Лампа замигала, и Бейкс оторвал на миг глаза от собеседника. — Военная подготовка — вот это здорово. Одна мысль, что можно сочетать разъяснительную работу в массах с вооружен-

ной борьбой, придаст нам силы. Кому охота быть овечкой под дулами фашистов? — Последние слова Бейкса прозвучали как лозунг.

— Лиха беда начало. Мы оправляемся от недавних потерь. Наши товарищи должны настойчиво изучать военную науку, запастись оружием. Не только передовые, сознательные люди, но самые широкие массы постепенно проникнутся убежденностью в правоте нашего дела. — Элиас сделал глубокую затяжку, и табачный дым перебил запах керосина. — Во что бы то ни стало эти парни — Питер, Поль и Майкл — должны в понедельник отбыть.

Элиас постучал пальцем по стопке газет, развернул одну из них.

— Читал уже? Вот наша работа по воспитанию масс.

— Еще бы, конечно, читал.

В то утро Бейкс, измученный духотой, проснулся, когда первый отблеск по-осеннему серого дня высветил шкаф, радиолу, умывальник, прогоняя ночные тени из комнаты. Рядом с ним, укрывшись, несмотря на жару, с головой, спал Томми. Из-за строительных площадок долетел отдаленный крик муэдзина, созывающего верующих на молитву. Единственная мечеть, не тронутая бульдозерами, была последним бастионом на пути вторгшихся иноверцев.

Бейкс растолкал Томми и отправил его за утренними газетами. В ранних выпусках он не нашел того, что искал, и с нетерпением игрока в лотерею стал ждать следующих.

— Судя по газетам, все прошло как нельзя лучше. Задали мы им задачку. Читал о радиопередачах и взрывающихся устройствах? По последнему слову техники! — воскликнул Элиас и добавил, словно извиняясь за то, что в их группе все делается по старинке: — Мы хоть и вручную листовки разнесли, пользы от этого не меньше.

Бейкс испытывал некоторое изумление, читая газетные отчеты. Потеснив женщину, убившую мужа, на первые полосы выплеснулись жирные заголовки: **«Бомбы с листовками поражают город... Агитационные взрывы... Подполье действует... Министр полиции отметил, что подрывные элементы истреблены не до конца. Общественности не следует благодушествовать, опасность еще не миновала...»** На фотографии полицейские в форме склонились над осколками бомбы, начиненной листовка-



ми. Из одного города сообщали, что ранним утром, когда толпы африканцев спешили на работу, на них обрушились подстрекательские речи. Репродукторы и магнитофоны с часовым механизмом нашли в оставленных вдоль дороги автомашинах.

В других корреспонденциях говорилось, что запрещенные листовки были найдены в почтовых ящиках, подпольщики рассовали их под двери, раскидали на садовых дорожках по всему городу. «Секретная полиция предпринимает широкое расследование», — гласил подзаголовок, набранный курсивом.

— Один из моей группы скрылся, — сообщил Бейкс, вытирая платком глаза, слезившиеся от копоти.

— В связи со вчерашней операцией? — Элиас оторвался от газеты.

— Нет. Это произошло еще до того, как я доставил ему листовки. Видимо, о нем случайно пронюхали шпики.

— Где он прячется?

— Не знаю.

— Нехорошо, — буркнул Элиас. — Но по крайней мере они хоть его не сцапали. Необходимо тщательно проверить наши явки и связных в этом районе. Поговорим об этом особо. Беда в том, что у нас всего горстка профессиональных подпольщиков. Это надо исправлять...

Что-то загромыхало на крыше — очевидно, камень покатился по рифленому железу.

Элиас вскочил со стула и задул лампу. Сверкнули его зубы, белые-белые на темном широком лице. Бейкс тоже встал, удивленно озираясь. В наступившем мраке исчезли причудливые картинки на стенах, будто кончился кинофильм. Он услышал приглушенный голос Элиаса:

— Давай, друг, беги!

Бейкс опрокинул стул и, не разбирая дороги, ринулся в кухню. Промелькнули металлические кастрюли, чугунная плита, он вышиб ногой дверь и выскочил наружу. На миг Бейкс оцепенел, живот точно сосулькой проткнули, сердце оборвалось.

Над забором внезапно вспыхнул фонарик, и Бейкс шарахнулся в сторону. Его окликнул гортанный повелительный голос. Бейкс налетел на противоположный забор, шаткие столбы подались под его тяжестью, и он растянулся во весь рост, подмяв под себя обломки досок. Позади него вспыхнули автомобильные фары. Он

увидел вокруг груды мусора: старые покрышки, ящики, дребезжащие консервные банки. «Беги, беги, беги!» — стучало в голове, и он помчался по пыльному немощному проулку. Он слышал голоса, отдававшие команды, крики. Внезапно боль раскаленным железом пронзила руку. Бейкс споткнулся, упал на колени, сзади донеслись звуки, похожие на потрескивание сухих дров в печке.

— Господи боже мой, рука! — Он кое-как поднялся, вливаясь ногтями в руку, чтобы не закричать. Вокруг теснились небрежно сколоченные лачуги и ветхие домишки. За забором залаяла собака, устремилась к Бейксу, громыхая цепью. Захлопали двери, послышались недоуменные голоса. Он побрел дальше, придерживая раненую руку, ощущая горячую липкую кровь на своей ладони. Из мрака тянуло вонью отхожих мест, но Бейкс чувствовал только боль в руке. «Господи, меня подстрелили», — лихорадочно думал он. Он испугался, что сейчас умрет, но, немного придя в себя, осознал, что ранен в руку и что это неопасно. Ноги у него подкашивались, и все же он пустился бежать, тяжело и прерывисто дыша. Он бежал до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Тогда он сел у забора на землю, и ему стало безразлично, схватят его или нет.

Боль вернула его к действительности. Его била дрожь, будто он простудился под дождем. Крепко обхватив пропитавшийся кровью рукав, он поджал колени, опустил на них голову и застонал. Его обуял страх, не хватало воздуха, будто замурованному в забое шахтеру. Летняя ночь безмолвствовала.

Он долго просидел так в потемках, уронив голову на колени. Во рту пересохло, он был разбит и опустошен. Небо в жемчужных звездах затянулось тонкой дымкой. Подняв голову, он разглядел вдали темные дома предместья. Раздался автомобильный гудок, и Бейкс вздрогнул — казалось, он впервые услышал этот звук, будто залетевший на землю с другой планеты.

На миг его захлестнуло безудержное веселье, истерическое возбуждение. «Меня подстрелили, — покатывался он со смеху, — шпики выследили явку, дозорный прозевал их, меня подстрелили. Все как в вестерне, черт побери!» Голова пошла кругом, сознание снова помутилось, он перегнулся пополам, содрогаясь от боли в раненой руке, его стошнило. Земля уходила из-под ног, как на чертовом колесе. Некстати вспомнились аттракционы!

Кое-как Бейкс выпрямился. «Уноси ноги,— приказал он себе.— Беги, беги, беги же!» Вокруг не было ни души. Он заковылял прочь — с таким трудом, будто шел навстречу ураганному ветру, — ощущая на лице не успевший остыть ночной воздух, и старался приятными мыслями заглушить боль: «Как хочется домой, к Фрэнсис». Прежняя гложащая боль под ложечкой не проходила. Это был не голод, а тоска. На глаза набегали слезы.

Рана уже не кровоточила, но рукав набух. «Господи, сколько крови! Нужен врач!» — твердил он себе, вновь чувствуя беспокойство. Единственный доктор, которому можно довериться, жил за много миль отсюда, на краю света.

Некоторое время спустя он понял, что забрел в богатое белое предместье. Высокие стены, глухие ворота, темные живые изгороди. Улицы маслянисто поблескивали в синеватом свете фонарей. За густой зеленью играла музыка. Бейкс заметил деревянную скамейку, окаймленную подстриженным кустарником. Она предназначалась для пожилых дам и кормилиц с младенцами.

Бейкс едва дотащился до скамьи. За оградой дома танцевали. Густая листва заслоняла от него разноцветные огни, но слышно было потрескивание дров в жаровнях, смех, голоса. Пятница — конец недели, и белые толстосумы веселились вовсю.

Костюм Бейкса был в пыли и опилках.

*Пойду охотиться в лесу, поймаю рыжую лису, плутровку в клетку посажу...* Оркестр за забором играл совсем другую, разухабистую мелодию, разлетавшуюся по всей округе.

На обширной лужайке позади дома со множеством окон были разбиты два больших шатра, залитых электричеством. Между ними были натянуты радужные гирлянды. В одном шатре гремела музыка, лучи прожектора ласкали женские ножки, ярко накрашенные губы блаженно улыбались, пальцы щелкали в такт музыке. Большинство мужчин сгрудились у второго шатра, где подавали спиртное. На теннисном корте было пусто, зато в бассейне плавали будто скатившиеся с гильотины головы. Кругом были клумбы и подстриженные деревья, ухоженные, как пациенты в дорогой клинике. На деревьях тоже были лампочки. Подпрыгивали на сковородах сосиски, шипела нанизанная на вертеле баранина, повсюду валялись бумажные тарелочки. Гости брали

мясо руками, обжигая пальцы и повизгивая от восторга.

Бейкс сидел на скамейке за живой стеной кустарника, растирая ладонью виски, и ждал, когда пройдет дрожь в коленях. Звуки веселья за изгородью тупой пилой пилили его натянутые нервы. С этой стороны ворот не было — Бейкс мог не опасаться, что кто-нибудь из гостей наткнется на него.

За кустами, приближаясь, закрипели по гравию шаги.

— Вот и она, друзья,— раздался мужской голос.— Эй, Ви, чего это ты смылась?..

Здоровой рукой Бейкс осторожно стаскивал с себя пиджак. Левый рукав почернел от крови.

— Все из-за Дэви, — пожаловался женский голосок. — Просила, чтобы не лез своими лапищами.

— Его можно понять, — захохотал мужчина. — Ну ладно, плюнь на него, пойдем выпьем! Там шампанское рекой!..

— К черту! Возомнил, будто ему все позволено, раз у его отца такие деньжищи. Я не желаю обниматься с кем попало...

«Рубашку лучше не трогать, — решил Бейкс, пропуская мимо ушей болтовню за оградой. — Кровь высохнет, и рукав предохранит рану».

— Не ломайся, Ви. Дэви немного рисуется. В конце концов, сегодня его праздник.

— Это не значит, что он может вести себя как кафр.

— О, Ви!

— Мой отец тоже не нищий!

Бейкс порылся в карманах и нашел платок. «Первая помощь раненым, госпиталь Сент-Джон», — пронеслось в гудящей голове.

— Всем известно, кто твой отец, но и наши родители чего-нибудь да стоят. Ну, будь пайнкой, пойдем же выпьем!

— Оставь меня в покое, я хочу подышать воздухом.

— О'кэй. Мы тоже подышим за компанию...

Здоровой рукой и зубами Бейкс затянул платок вокруг окровавленного рукава.

— Шампанского! — заорал кто-то за оградой, вызвав общий хохот. «Мне бы сейчас шампанского, — подумал Бейкс, — или еще лучше коньяку. Когда я пил его последний раз?» Он боялся взглянуть на рану. За изгородью по-прежнему спорили возбужденные голоса.

— Оставьте же меня. Поищите-ка лучше Эллен Стаффорд.

— Она пошла делать пи-пи и не вернулась.

— Перестань хамить. А где Фрикки?

— О боже, этот фермер! От него овцами так и несет.

— Что за чушь, он фермы в глаза не видел. И вообще Фрикки мне нравится.

— Пойдем же выпьем шампанского,— бубнил другой голос.— Что за удовольствие торчать здесь и препираться?..

Бейкс вывернул наизнанку окровавленный рукав, набросил пиджак на левое плечо, пряча под ним раненую руку. Он не встал со скамьи, пока за его спиной не смолкли голоса. Бейкс вспомнил, как несколько дней назад на скамейке в городском парке разговорился со служанкой... Мужайся, приятель, это не конец. Ум его внезапно прояснился, хотя голова еще побаливала. Страх и оцепенение исчезли, как изморось, стертая с оконного стекла. Прежде всего — добраться до доктора. Он наложит швы и не станет задавать лишних вопросов. Потом придется где-то прятаться до понедельника, до встречи с Питером, Полем и Майклом... Матфей, Марк, Лука, Иоанн... К черту, к черту, к черту!.. Что с Элиасом? Неужели схватили?..

## 15

К полицейскому участку подкатила машина, из нее выскочили агенты службы безопасности. Кроны росших вокруг деревьев вырисовывались огромными бесформенными силуэтами на фоне темного неба. Подъездная дорога с лужайками по обе стороны была залита электрическим и лунным светом. Веранда, недавно пристроенная к зданию, была выложена из оранжево-красных кирпичей.

Двое агентов в штатском выволокли из машины Элиаса в наручниках и повели его к участку. Один из сыщиков, рослый, плотный, смазливый, был совсем еще юнцом. Глянцевитые волосы расчесаны на прямой пробор, будто расправленные крылья птицы. Вторым, в спортивных брюках и куртке, зеленой шапочке для гольфа, должно быть, прямо со стадиона — даже переодеться не успел. На румяном лице рыжеватые усы. То и

дело он поглядывал на свои руки, судорожно шевеля пальцами. Развалившись на ярко освещенной веранде полисмены в форме и портупях с кобурой пялили глаза на Элиаса, поднимавшегося по ступеням. Внутри участок был разгорожен на помещения для белых и цветных. Его провели в более просторное отделение для цветных, и один из сыщиков сказал дежурному сержанту:

— Пусть останется у вас на ночь. Утром мы за ним приедем.

Сержант волком поглядел на Элиаса. Сыщики тем временем вывернули его карманы. На стол полетела трубка, кисет, спички, дешевые карманные часы, растрепавшийся пропуск.

Мимо участка по окраинной улице прогромыхал автобус. Было уже за полночь. В комнату вошли двое черных констеблей с короткими копьями. Увидев Элиаса, один из них что-то шепнул другому.

— Черт, давно пора домой,— зевая, сказал сыщик в спортивной шапочке.— Из-за таких вот ублюдков семьи не видишь совсем.

Он достал из кармана куртки полупустую пачку сигарет и протянул ее молодому сыщику. Сержант составлял опись личных вещей Элиаса.

Полицейский, ругаясь на чем свет, втолкнул в дверь африканца, который рухнул на скамью у стены. Бедняга был весь в крови, словно на него вылили ведро краски. Поджав босые ноги, он тихо постанывал.

— Ну и ну,— покачал головой дежурный сержант, взглянув на задержанного через барьер.— Что с тобой стряслось, скотина?

— Он мертвецки пьян,— ответил полицейский.— Обычное дело — пятница!

— Господин,— застонал африканец,— меня едва не убили.

— «Господин», твою мать! Никаких «господ» и «сэров»! Для тебя я баас.

— Едва не убили,— пролепетал раненый.

— Кто?

— Не знаю, баас. Ткнули вилами в бок.

— Ты хочешь подать заявление?— спросил сержант.

Вошел санитар в форме Красного Креста. Он склонился над африканцем, приподнял перепачканное кровью тряпье, чтобы осмотреть раны.

Сыщики, казалось, ничего не замечали. Спортсмен, уставясь на свои руки, сжимал и разжимал кулаки, словно его так и подмывало съездить кому-нибудь по физиономии. Откусив заусеницу на большом пальце, он поднес ее к глазам. Санитар накинуд на раненого белую тряпицу и вывел его в коридор. Сержант тем временем заполнил формуляр и поднял глаза на Элиаса.

— Писать-то умеет?— спросил он у сыщиков.

— Еще бы,— съязвил Спортсмен,— ученый черномазый!

Сержант приказал Элиасу расписаться и сунул ему в закованную руку копию квитанции, потом громко позвал кого-то. Вошел полисмен. Сержант кивнул сыщикам, те подтолкнули Элиаса в сторону конвоира и пошли следом. Его отвели во двор. Конвоир крикнул — из темноты, как призрак, вынырнул черный надзиратель в тропическом шлеме, позвякивая связкой ключей.

Надзиратель попытался разглядеть Элиаса в мерцающем свете звезд.

— Тебе полагается одеяло,— буркнул он Элиасу.

— Что он сказал?— всполошился один из сыщиков.

— Одеяло,— повторил надзиратель.

— Обойдется и так. Мы его скоро заберем. Смотри за ним в оба, понял?

Они пересекли двор, направляясь к двери, освещенной маленькой лампочкой. Надзиратель повернул ключ в замке, и сыщики впихнули Элиаса в камеру. В ней тоже горела лампочка, неяркий свет преломлялся в толстом стекле, как в столбе воды.

Оставшись один, Элиас тщательно обследовал камеру. Он знал, что ему не вырваться из клетки, но все-таки решил лишний раз проверить. Никакой надежды. Он заперт, как муха в бутылке.

Элиас сел прямо на пол, положив руки в наручниках на колени. «Ну вот,— подумал он,— это случилось. Кто навел полицию на конспиративную квартиру? Слежка становится все эффективней. От шпиков можно ждать любых сюрпризов. Ушел ли Бейкс? В него стреляли. Дай бог, чтобы мимо! Полицейские чуть что — открывают теперь пальбу. Если бы Бейкса схватили, то привезли бы сюда вместе со мной. Значит, ушел. Остался без связи с центром, и в группе у него на одного человека меньше. Организации потребуется время, чтобы восполнить понесенный урон...»

Им нужны показания. Тебя будут пытаться, Элиас Текване. Не думай об этом, ни к чему, думай о чем угодно, только не об этом.

Он снова оглядел камеру. Ему уже доводилось сидеть в такой... После забастовки, когда от удара дубинкой он лишился сознания... Ему предъявили обвинение в нарушении контракта о найме и отправили из города в пересыльный трудовой лагерь.

В памяти всплыли унылые ряды сборных бараков, палатки, хлопающие брезентом на ветру, как крыльями. Тут скапливалась избыточная рабочая сила: перемещенные лица, бродяги, безработные, те, кого лишили разрешения работать в белых кварталах; батраки, нарушившие контракт; бывшие заключенные, которые не имели права искать работу в городе. Целые семьи ютились в убогих однокомнатных домишках — к мужьям и отцам приезжали жены и дети.

Когда его привезли туда, Элиас поначалу совсем пал духом. Они стояли возле старенького автобуса и ждали на ледяном ветру, дувшем с гор. Потом какие-то люди отобрали у них бумаги. Никто не знал, что будет дальше. Вокруг высились голые, выветренные холмы, напоминавшие огромные гнилые зубы. Женщины, укутанные в драные одеяла, копались в каменистой бесплодной земле. Издалека они были похожи на пугала, но птицы не боялись их.

Жили впроголодь. Особенно худо приходилось семейным. Элиас сдружился с одним парнем, звали его Мдлака. Оба были молоды, полны сил. Им удалось получить работу в бригаде, ремонтирующей дороги.

— Вот ты какой, — прищурясь, сказал Мдлака при знакомстве. — За что здесь?

— За участие в забастовке. Белые вышвырнули меня из города.

— Забастовка? Когда это было?

Мдлака выслушал рассказ Элиаса, не сводя с него умных глаз.

— Я работал в той же прачечной, в котельной.

Элиас по молодости сначала не разобрался в Мдлаке, решив, что он слегка с придурью. Дорожные работы оказались сущим адом, зато тех нескольких шиллингов в неделю, что им платили, хватало на мешочек муки, табак и кое-какие пустяки.



Мало кто в лагере мог похвастаться таким везением — большинство слонялось без работы и без всякой надежды найти ее. Сюда свозили стариков, утративших ценность для большого города. Лагерь напоминал свалку железного лома, отживших свой век машин.

— Говоришь, участвовал в забастовке? Любопытно, — покачал головой Мдлака. — Я сам шесть месяцев отсидел за политику. Атабули люто ненавидят черных агитаторов. В приговоре было сказано, что я выступал на «бунтарской сходке». Из тюрьмы меня сослали прямо сюда, даже не дали свидания с родными.

— А что это была за сходка? — спросил Элиас, стесняясь показать свою неосведомленность. Они разговорились во время перекура, усевшись на обочине дороги.

— Слушай — сейчас узнаешь...

В бригаде было девять рабочих. Один из них, Тсатсу, годился им в дедушки, но вкалывал наравне с остальными. Выбора не было — все лучше, чем околевать с голоду.

По свистку десятника, означавшему, что перерыв кончился, все вскочили на ноги, и только Тсатсу так и остался лежать на куче вырытой земли.

— Что еще стряслось со старым ублюдком? — крикнул десятник. — Нашел время дрыхнуть!

Кто-то пошел будить старика.

— Он уснул навеки, отправился к предкам. Там ему будет лучше, чем на этом свете.

Старик лежал на земле, как ворох ненужного тряпья.

Весь лагерь шел за гробом, хотя никто не знал, откуда Тсатсу родом и где его семья, — просто старик, уморивший себя работой, чтобы не умереть с голоду. Его завернули в самое чистое, нерванное одеяло, какое только нашлось, и похоронили на склоне холма. Тут уже было довольно много могил — и взрослых и детей. Первые обитатели лагеря основали это кладбище, а те, кто пришли им на смену, продолжали хоронить здесь своих покойников. Жалкие крохи разбитых жизней будто заматали под ковер каменистой земли.

Элиас вскоре перестал считать Мдлаку чудачком и всерьез прислушивался к его словам. Именно Мдлака совершил обряд над покойником, потому что в лагере не было священников, а красноречия Мдлаке было не занимать. Люди жадно ловили каждое его слово. Из свежерытой могилы торчали гнилые крепежные доски, как

высохшие стволы диковинных деревьев. С гор дул леденящий ветер, словно дыхание смерти.

А потом всем миром решали, кому достанется место Тсатсу в ремонтной бригаде...

Спустя некоторое время в лагерь прикатили вербовщики из города, и Элиасу снова повезло. Мдлака дал ему письмо, нацарапанное на клочке оберточной бумаги. Так Элиас попал в организацию...

«Давно же это началось, — думал Элиас, — и вот куда привело». Вспомнив Мдлаку и Тсатсу, он ни на миг не пожалел о сделанном выборе. Приведись начать жизнь заново, он бы пошел тем же путем...

## 16

За окнами продребезжал мусорный фургон, донесся цокот подков. День быстро угасал, сужавшийся сноп желтого света переключался с линолеума на кофейный столик, потом взобрался по стене на эстамп с видом горных вершин. В приемной, глядевшей окнами на улицу, почти не было мебели, за исключением выстроенных вдоль стены стульев и столика с неизбежной кипой старых газет и журналов, захватанных, мятых экземпляров «Дейли миррор» и «Фемины». Новости, напечатанные в них, давным-давно стали историей.

Бейкс сидел на стуле, пряча раненую руку под застегнутым на одну пуговицу пиджаком. Голова раскалывалась, ныла рука, его лихорадило. Превозмогая боль, он ждал своей очереди.

Перед ним было еще два пациента: старик, одетый, несмотря на жару, в толстое пальто, с трясущимся от дряхлости ртом и выцветшими, слезящимися глазами, и мальчик в чистеньком отутюженном костюмчике и взрослом галстуке — его сопровождала мать. Мальчишка сосал палец, дергал себя за галстук и поглядывал на Бейкса. В комнате слегка пахло дезинфекцией.

Бейкс пришел к доктору лишь к вечеру, как любой другой пациент, чтобы ни у кого не возникло подозрений. «Ходячий больной», — невесело думал он. Он не обратился в пункт «скорой помощи», который столько раз видел в рекламном кинофильме: стоящие наготове джипы, санитары с носилками, лениво жующие резинку.

Потом на экране появлялись титры с именами актеров и начинался фильм. К концу сеанса пол бывал усыпан ореховой скорлупой и обертками от мороженого...

Бейкс очнулся. Мальчишка все так же теребил свой костюмчик, стреляя по сторонам пытливыми глазенками. Его мать с брезгливой миной бросала на Бейкса взгляды, браня при этом ребенка за то, что он сосет палец. Она так и впилась в осунувшееся лицо, потускневшие медно-карие глаза, оттопыренную верхнюю губу. Заметила темное пятно засохшей крови на манжете рубахи. У нее не осталось сомнений, что это негодяй, отпетый тип. Видно, пырнули ножом в пьяной драке.

Не мог же он врываться к доктору среди ночи и просить, чтобы тот спрятал его от полиции. Кроме того, Бейкс не знал его домашнего адреса. Доктор несколько лет назад сделал добровольный взнос в кассу организации. Бейкс и еще один товарищ приходил за деньгами сюда, в клинику. В те времена можно было смело полагаться на сочувствующих. Однако с уходом движения в подполье доктор мог измениться. Придется рискнуть, выдумать какое-то объяснение. Среди бедных людей увечья в конце недели столь же заурядное явление, как, скажем, протекающая кровля. Рана болела все сильнее, Бейкс едва сдерживал нетерпение.

Старик уснул, губы у него продолжали трястись. Дама все отчитывала ребенка, пугая его разными болезнями. Она поглядывала на Бейкса с молчаливым вызовом и укоризной.

Наконец дверь отворилась, из кабинета вышел пациент с бутылочкой коричневой жидкости в руках, и смуглая, искусно подкрашенная женщина в белом халате позвала:

— Следующий!

Дама вскочила со стула, будто опасаясь, что Бейкс или старик ринутся в кабинет без очереди. Таща за руку упирающегося сына, она устремилась вслед за сестрой. Дремлющий старик покачивался на стуле. Кругляшок света на стене все уменьшался. Вошел новый пациент, огляделся с порога и с достоинством прошествовал к свободному стулу.

Бейксу показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он предстал перед доктором.

— О, мистер... Бенджамен, не так ли? — Доктор весе-

ло поглядывал сквозь роговые очки, вертя в руках стетоскоп. Бейкс скользнул взглядом по кушетке с привязанными ремнями — точь-в-точь средневековая дыба, — по стеклянным шкафам, полным наводящих страх игл, шприцев, сосудов с притертыми пробками — в них, наверно, хранятся яды. Толстый коротышка с желтоватым лицом, в накрахмаленном белом халате светился добротой. Задорные глаза за круглыми стеклами смотрели ободряюще. За многие годы практики он научился одним своим видом внушать уверенность больным.

— Бейкс, моя фамилия Бейкс. — Немудрено, что доктор ошибся. Имена теперь меняют не реже сорочек.

— Конечно, — подхватил доктор. — Бейкс. Вы однажды были у меня. И кажется, не по поводу своего здоровья. Теперь я вспомнил.

Он показал Бейксу на стул и обратился к темнокожей сестре:

— Не ищите, на этого пациента не заводилась карточка.

Бейкс сел, и сестра расстегнула ему пиджак. Подлетел доктор, от него пахло табаком и эфиром.

— Гм-гм, где это вас угораздило?

Сестра обрезала ножницами рукав рубашки, он упал в подставленную корзину, как слинявшая змеяная кожа. Бейкс зажмурился, чтобы не видеть раны.

— Гм, глубокий порез, — с улыбкой продолжал доктор. — Сестра, придется наложить швы. Но сначала промойте.

— Несчастный случай, — начал было Бейкс, но ему тут же заткнули рот термометром. Сестра легкими и точными движениями промывала рану. Когда термометр вынули, Бейкс сказал:

— Нельзя ли, доктор, переговорить с вами с глазу на глаз?

— Конечно, мистер Бейкс. Как только управимся с вашей рукой, идет? — Он помахал в воздухе мотком хирургической нити. — Что вы подделывали все это время? — Но тут же добавил, не дав Бейксу времени придумать ответ: — Если вам тяжело говорить, не отвечайте. Голова, наверно, трещит, а? — И бросил сестре: — Вот так рвануло, с мясом... Местную анестезию!

— Это ночью случилось. Не мог найти врача.

— Ничего страшного. Не идти же в «скорую помощь»

к этим бюрократам, верно? — Он все время улыбался, глаза за стеклами очков смотрели как-то по-птичьи. Сестра действовала умело. В отличие от доктора она благоухала косметикой и духами.

— Ну вот и все! — воскликнул доктор, умываясь над раковиной в углу. Сестра убирала инструменты. Вернувшись к Бейксу с полотенцем в руках, доктор спросил с лучистой улыбкой: — Нет такого ощущения, будто рука затекла? Это от наркоза. Я дам вам таблетки на случай, если поднимется температура. Несколько дней придется посидеть дома. — Доктор повернулся к сестре: — Вскипятите-ка нам чайку.

Сестра ушла на другую половину дома, а доктор присел за письменный стол, улыбаясь Бейксу поверх ящичков с историями болезней, бланков для рецептов, аппарата для измерения кровяного давления.

— Вы обязаны сообщать в полицию о несчастных случаях? — спросил Бейкс, желая оградить доктора от возможных неприятностей. Рука была как чужая.

— Обычно я это делаю. — Он протянул Бейксу раскрытый портсигар и зажигалку. Оба закурили, дым заслонил их друг от друга.

— Вот как все произошло, — пустился в объяснения Бейкс, но доктор, разогнав дым пухлой ладошкой, закричал в образовавшуюся брешь:

— Мистер Бейкс, я могу отличить огнестрельную рану от других, даже если задета только мякоть, хотя ко мне с такими ранениями обращаются нечасто. Полиция?

Бейкс кивнул.

— Я так и думал! В стране что-то творится — это ясно каждому. По закону я обязан сообщать о подозрительных ранах, ну и так далее.

— И вы подчинитесь закону?

Доктор стряхнул пепел с сигареты и подошел к Бейксу.

— Лишь те законы обязательны для граждан, в обсуждении которых им позволили принять участие. Но если законы нам навязаны, тогда совсем другое дело...

Он помолчал и снова опустился в кресло.

— Но даже в том случае, когда не участвуешь в принятии закона, необходимо спросить себя: кого этот закон защищает? Если он карает преступника, убийцу, насильника, я на стороне правосудия. Но если закон несправедлив, преследует тех, кто борется за справедливость,

я не обязан поддерживать его. Власти сами поставили нас перед необходимостью такого подхода. В нашей стране что-то происходит, мистер Бейкс. Находятся смельчаки, бросающие вызов царящему всюду произволу. Может, и я ждал случая внести свою скромную лепту.

На его лице засверкала торжествующая улыбка. Казалось, доктор давно вынашивал в себе эту проповедь.

— Ну вот, я облегчил душу, теперь не грех и подкрепиться. Сейчас нам принесут чай. Извините, что заставил вас выслушивать мои инфантильные рассуждения.

— Доктор, вы идете на риск, мы умеем ценить это.

— Риск? — ухмыльнулся доктор. — Может быть. Я вспомнил молодость. В студенческие годы мы обожали подобные приключения. — Он стремительно встал и, обогнув стол, подошел к шкафу. — Позвольте мне оказать вам еще одну небольшую услугу...

На багровом небе за домами предместья медленно догорал поздний закат. Над городом вспыхнуло неоновое зарево, как пожар после воздушного налета. У кассы кинотеатра для цветных выстроилась очередь, на краю тротуара сидел пьяный. В субботу вечером все отправляются в кино — это время веселья и развлечений.

**«Заявление шефа безопасности по поводу листовок»**, — кричали заголовки вечерней газеты. Бейкс купил ее у мальчишки в грязной майке. Он прошагал мимо очереди у кассы и поравнялся со входом, где на треножнике был выставлен плакатик: *«Для детей до шестнадцати лет и цветных»*. В мешковатом твидовом пиджаке Бейкс ничем не отличался от других молодых людей, слонявшихся у кинотеатра. Этот пиджак дал ему доктор.

— Жена собирает одежду для благотворительных базаров, — объяснил доктор, доставая пиджак из шкафа и размахивая им, как матадор мулетой. — Вам он будет почти впору. Один из пациентов привез его жене, берите — никто не хватится.

— Большое вам спасибо. — Бейкс стоял посреди кабинета в рубашке с одним рукавом. — Как это кстати!

Доктор помог ему переложить вещи из запачканного кровью пиджака. Потом они сели к столу, сестра налила им чай. Она сохраняла полную невозмутимость, будто молодые люди с подозрительными ранами, на которых не заводится карточка, столь же обычные пациенты, как,

скажем, больные золотухой, несварением желудка или гриппом. Бейкс, вспомнив о дремлющем в приемной старике, поспешил допить чай и поднялся.

— Доктор, мне пора. Не буду отрывать вас от дел.

— Если разболится голова, пейте каждые четыре часа по таблетке, — напомнил доктор, вставая. — Они у вас в кармане пиджака. Рад был свидеться после такого перерыва. Рука должна быть в покое. Хорошо бы вам зайти ко мне недельки через три, чтобы я взглянул на швы.

Он посмотрел на Бейкса со смутной надеждой. Быть может, доктор уже обдумывал, какую речь произнесет в следующий раз.

Бейкс улыбался и кивал, залезая с помощью доктора в твидовый пиджак. Он заметно топорщился под мышками и на груди, ну да ничего, сойдет: кого может удивить второсортный костюм на человеке второго сорта?

— Непременно зайду, — пообещал Бейкс, — если смогу. Сами знаете, доктор, загадывать трудно.

— Да, конечно, — сказал доктор, поблескивая оправой очков. — Берегите себя!..

По вечерним улицам к центру и от центра катили машины. Бейкс решил не возвращаться к Томми. Чем чаще меняешь адреса, тем меньше шансов, что тебя выследят. Где-то Томми сейчас?..

— Если не застанешь меня вечером, не беспокойся, — предупредил Бейкс, когда Томми уходил на работу. Томми хмурился спросонья, на нем были черные брюки и клетчатый пиджак.

— Желаю удачи, Бьюки, старина! «Ты будешь сниться мне!» — Как всегда, строчка из песни...

Бейкс развернул газету. Отчет о суде над женщиной, убившей мужа, вернулся на первую страницу. Тут же было помещено сообщение об облавах и обысках, предпринятых секретной полицией по всей стране. Бейкс и без того был уверен, что охота продолжается. Пока никаких имен — их объявят позднее. Только бы не тронули Фрэнсис, лишь бы ее оставили в покое!.. Отчет об из ряда вон выходящем событии, всколыхнувшем всю страну, был составлен по-казенному сухо: «Министр обороны заявил в палате... комиссариат полиции вчера объявил... министр внутренних дел, министр по делам цветных, министр по делам азиатов...» Официальные заявления утаивали факты, утверждая, что газетчики искажают истину и преувеличивают размах событий. Журналистов пугали су-

дебным преследованием за разглашение государственной тайны.

Бейкс решил, что поедет к Эйприлу. Автобусом это будет стоить всего пятнадцать центов. Он ждал на остановке с газетой под мышкой, пересчитывая мелочь на здоровой ладони. Левая рука не была на перевязи, чтобы не привлекать внимания. Теперь, когда рану зашили и перевязали, боль утихла. Стоя на остановке, Бейкс чувствовал себя слишком на виду — будто муха на голой стене. Как назло, подкатывали автобусы «только для белых». Наконец пришел нужный ему автобус, он был набит субботней толпой, возвращавшейся со скачек. Люди горячо обсуждали сегодняшние забеги. Бейксу посчастливилось найти свободное место, и он сел, оберегая раненую руку.

Постепенно пассажиров поубавилось, предместье с аккуратными особняками осталось позади, дорога шла мимо угрюмых рядов сегрегированных жилищ с язвами облупившейся штукатурки на стенах. Вечер уже струился по крышам, по песчаным дорожкам и заборам, над которыми торчали смуглые детские головки, будто куклы над ширмой бродячего артиста.

Промелькнули серые безлюдные фабричные корпуса, городской рынок с пустыми прилавками и запертыми на ночь ларьками, дорожный указатель на подъезде к цементному заводу: «*Осторожно, туземцы!*»

Автобус не замедлил хода. Вскоре из мрака вынырнуло другое предместье: коттеджики-близнецы, улицы с пышными названиями цветов, железные решетки на окнах бакалейной лавки — свидетельство нравственного падения постоянной клиентуры.

Эйприл жил в кирпичном домике, к которому была пристроена грубо сколоченная мастерская. На вывеске, намалеванной неумелой рукой, значилось: «*Ремонт автомобилей, жестяные работы*». За забором на ржавой проволоке сидела старая дворняга, сторожившая горы запасных частей и износившихся покрышек. На другой проволоке сушилось белье. Собака ощерила поломанные клыки и зарычала. Бейкс обошел ее и направился к мастерской.

С порога он увидел стоявший на домкрате автофургон, из-под него торчали ноги в замасленных штанах и шнур переносной лампы. Ноги без туловища напомнили Бейксу плакаты в комнате, где состоялось его злополуч-



ное свидание с Элиасом. С щемящей тревогой подумал он о судьбе друга. В мастерской раздавался стук и лязг. Из-за забора, со стороны молельного дома адвентистов Седьмого дня, долетали обрывки песнопений. Вечерние тени заползали в распахнутые двери мастерской, скользили по залитому машинным маслом полу, по разобранным металлическим внутренностям автомобилей, канистрам, гаечным ключам. У стены стояло помятое крыло какой-то легковушки.

— Хенни! Хенни Эйприл! — позвал Бейкс с порога. — Где ты, старый пройдоха?

Ноги заерзали, показалось туловище, за ним голова и перепачканное машинным маслом лицо.

— Господь всемогущий! Бьюк! Неужели это ты, старина?

Маленький человек неуклюже поднялся, широкая улыбка рассекла похожее на перезрелый арбуз лицо, обнажив гнилые зубы. Он вытер ладони сначала о комбинезон, потом ветошью, взглянул на них и не решился протянуть Бейксу руку.

— Чертовски рад тебя видеть, дружище! — Ругань лезла из него, как шерсть из шелудивого пса. — Помнишь нашу последнюю партию в шашки! Как поживаешь, чертяка?

— Нормально, — отозвался Бейкс, разглядывая фургон. — Ты получил мою записку? Твоя колымага на ходу?

— Нет пока. Будет готова к понедельнику, даже если придется работать по ночам.

— Что за неисправность?

— Да не психуй, все о'кэй. Пойдем-ка в дом.

Они вместе вышли из мастерской. Над заборами и крышами разносились гимны. Хенни шел впереди, показывая дорогу.

— Как по-твоему, удачно выбрано время для отъезда? — спросил Бейкс.

— А что, нужно опасаться шпиков?

— Нас они как будто не знают, но ведь может быть проверка на дороге.

— Черт с ними, Бьюк, — засмеялся Хенни. — Эти кретины ни за что не сцапают твоих ребят. Не первый день я этим занимаюсь. Волков бояться — в лес не ходить.

«Бизнес» Хенни отнюдь не ограничивался ремонтом автомобилей. Главным образом он состоял из перевозок

нелегальных грузов, одушевленных и неодушевленных: контрабандных и ворованных товаров, азиатов, едущих без специального разрешения из одной провинции в другую. Этот богохульствующий человек с гнилыми зубами и круглым, как арбуз, лицом охотно брался за такие дела.

— Сюда теперь выселяют цветных из города. — Хенни поглядел по сторонам. — Домов не хватает, район превратился в людскую свалку.

Зажав одну ноздрю пальцем, Хенни высморкался в пыль, будто подчеркивая этим презрение к властям. Он мягко обнял Бейкса за плечо, но тут же отдернул руку, заметив, как скорчился гость.

— Что такое, Бьюк? — спросил Хенни, заглядывая в заросшее лицо и выпученные от боли глаза. — Что с рукой?

— Слегка поранил, — ответил Бейкс, — пустяки!

— У тебя нездоровый вид. Заходи, сейчас чем-нибудь подкрепимся.

Хенни не стал расспрашивать Бейкса. «Бизнес» научил его не задавать вопросов. Это лучший способ завоевать доверие.

Они вошли в тесную, заставленную мебелью гостиную. Вокруг накрытого овального стола на табуретах ужинали дети, мал мала меньше. У стены стоял платяной шкаф с треснувшим зеркалом, в углу громоздились картонные коробки, перевязанные ремнями и старыми галстуками. Под продавленной кушеткой виднелись чемоданы. В других углах были навалены запасные части. Из кухни пахло стряпней.

— К нам дядя пришел, — объявил Хенни детям и показал Бейксу на кушетку. — Располагайся, дружище!

Бейкс протиснулся мимо стола, потрепав на ходу детские курчавые головы, а Хенни закричал в направлении кухни:

— Мария, погляди, какой гость пожаловал!

— Иду, — отозвался женский грудной голос.

Дети продолжали есть, не нарушив тишины. Их сизмательства приучили к дисциплине. Они знали, что молчание — неперемное условие отцовского «бизнеса», а стало быть, залог грядущих обедов и ужинов. Только застенчивые улыбки и робкий шепот встретили появление знакомого дяди. Сидя на кушетке, Бейкс размышлял о содержимом бесчисленных коробок и чемоданов. Инте-

ресно, открывали ли их хоть раз за время его отсутствия? Увы, ему, наверно, не суждено проникнуть в эту тайну.

На пороге показалась грузная африканка в старом берете и несвежем фартуке. Она была беременна и от этого казалась еще крупнее. В руке она держала наперевес, точно копье, длинную разливательную ложку.

— Боже мой, Бьюк!

Бейкс встал и с улыбкой пошел ей навстречу.

— Как поживаешь, Мария?

— Разве ты не видишь? — Она лучисто улыбнулась и показала разливательной ложкой на свой живот. — Чертов Хенни, не угомонится никак. Садись ужинать. Хенни, найди-ка ему место.

— Я должен был к вам заявиться только в понедельник, но обстоятельства изменились — знаешь, как бывает, — сказал Бейкс.

— Еще бы! — воскликнула Мария, поглаживая живот, как бы давая понять, что привыкла к разным неожиданностям. — Не беспокойся, мы тебя устроим.

Хенни выпроваживал из-за стола детей, раздлавшихся с ужином, освобождая место для Бейкса.

— Ты будешь спать на нашей кровати, а мы с Марией ляжем с детьми.

— С ума сошел, — возразил Бейкс. — Я отлично устроюсь с этими карапузами.

— У него болит рука, — сказал Хенни жене.

— Ничего, — успокоил их Бейкс, — дети меня не тревожат.

— Смотри, — сказала Мария, — нам ничего не стоит уступить тебе кровать.

— Спасибо, но не поднимайте шума. Речь идет всего о двух ночах.

— В таком случае давай ужинать, — позвала хозяйка. — Как ты себя чувствуешь? Выглядишь ты неважно.

— Дайте-ка мне воды, я приму таблетку. Башка трещит, а так все в порядке.

Бейкс сел к столу, Хенни устроился напротив. Мария принесла из кухни тарелки с едой. Дети перешли в другую часть дома, в гостиную долетали их звонкие голоса. Бейкс всегда поражался плодовитости Хенни.

— Бог даст — все обойдется, — жуя, рассуждал хозяин, размахивая вилкой. — Нечего тебе психовать, стари-

на. Сколько раз полиция устраивала на дорогах засады, а я проскакивал у них под носом. Чисто пере-кати-поле!

— Жизнь этих ребят будет в твоих руках, — сказал Бейкс. — До первого привала, а там их примут другие люди.

— Не психуй, Бьюк, не психуй, — улыбнулся гнилыми зубами коротышка. — Предоставь все братцу Хенни. Бог свидетель, я не хвастун, но свое дело знаю.

Он снова завращал вилкой и обвел взором заставленную комнату, коробки, чемоданы, подумал о беременности жены, о том, что она еще не раз принесет ему потомство...

— Сыграем после ужина в шашки? Знаешь, шашки моя слабость!

17

Дьявольская боль пронзала тело, выламывала из плечевых суставов руки, прикованные к скобе. От побоев остались синяки и кровоподтеки — следы рукоятки револьвера. В пересохшем рту был соленый привкус крови. Боль распинала его, голова упала на грудь. Опухшие глаза разглядели рваный ворот рубахи, вдетую в брюки веревочку — ремень у него отняли. Сознание помутилось, но он еще жив, жив!.. Элиас потянулся, пытаясь достать ступнями до пола, но ноги будто гвоздями приколотили, и он так и остался висеть. Перед глазами поплыли серые стены, каменный пол, на нем окуроч, как раздавленное насекомое. Камера пришла в движение, завращалась, точно на карусели.

Вконец измучила жажда. Он облизал шершавым языком сухие опухшие губы и, преодолевая боль, произнес вслух:

— Думай, думай о чем-нибудь, о чем угодно!

И вот он видит себя мальчишкой. Они с приятелями бегут по пыльной насыпи, машут руками мелькающим лицам в вагонных окнах. Осень. Трава еще не пожелтела, стоят ясные дни, но по вечерам уже веет прохладой, изредка моросит дождь, особенно в долине. Люди засиживаются за полночь у костров перед хижинами. Дым медленно плывет по небу, будто увлекаемый рукой волшебника. Стихает щебет птиц, и только ребяташки никак не уймονται. Взрослые спят допоздна — работы закончились, в поле идти не надо...

Дверь камеры с грохотом распахнулась, по ступеням сбежали два сыщика. С трудом приподняв голову, Элиас увидел их словно через волшебное стекло: искривленные, разбухшие, смазанные лица. Молодой, с напояженными волосами, молча отомкнул наручники, которыми Элиас был прикован к скобе. Сыщики и не подумали поддержать его — Элиас как подрубленный рухнул вниз лицом на цементный пол. Сбрав силы, он оперся на ладони, скованные второй парой наручников, и кое-как умудрился сесть.

— А ну вставай, гад!

— Не могу, ноги болят, — промямлил Элиас, едва ворочая языком. От его одежды разлило мочой.

— Это цветочки — скоро узнаешь, что такое боль, — пригрозил Спортсмен.

Элиаса схватили под мышки и поволокли к двери, ноги висели как плети, он задыхался, ударялся, как тюфяк, о стены. Камера, куда его втокнули, была размером с чулан, в ней стоял стол и два стула. Элиаса швырнули на стул, сыщик с блестящими волосами сел напротив. Спортсмен закурил сигарету, а Молодой раскрыл лежавший на столе блокнот.

— Ну, будешь говорить? — спросил он, постукивая по столу шариковой ручкой, кидая на Элиаса свирепые взгляды.

— Дайте мне воды, — выдавил из себя Элиас.

— Дерьмо! — заорал Спортсмен. — Ты не в гостинице! Будешь говорить — дадим напиться.

Молодой нетерпеливо вертел ручку, готовясь записать показания Элиаса.

— Ну валяй, выкладывай все, да поживей!

Элиас переводил мутный взгляд с одного сыщика на другого. Они казались ему тряпичными чучелами, а не людьми.

— Видите ли, это невозможно. — Он еле ворочал языком. — Я ничего вам не скажу.

Глаза у Молодого сделались плоскими и пустыми. Он спрятал ручку в нагрудный карман, застегнул пиджак, встал и подмигнул Спортсмену.

Спортсмен спихнул Элиаса со стула, и тот снова грохнулся на пол. Его подхватили под руки и потащили по коридору в другую комнату. Эта оказалась попросторней, с несколькими столами, стульями и какими-то странными приспособлениями. Его усадили на стул. Молодой

разомкнул наручники, завел руки Элиаса за спинку стула и снова надел наручники

— Лучше говори, кафр! — зарычал Спортсмен.

Элиаса задело оскорбительное прозвище, обида оказалась сильнее боли и страха.

— Без толку, — сказал он им, — ничего вы не добьетесь.

— Послушай, — у Молодого срывался голос, — нам все равно. Будешь молчать — мы тебя прибьем.

Спортсмен ударил Элиаса кулаком в лицо. Он принялся избивать его методично, с близкого расстояния. Бескрайняя иссиня-черная пелена окутывала Элиаса, он почти радовался ей — она сулила забвение. Снова во рту был привкус свежей крови, голова отламывалась от шеи. Он медленно сползал в черный ревущий водоворот.

— Нет, ты не заснешь! — точно эхо, долетел до него голос Спортсмена. — Проснись, ты, черномазая обезьяна!

Элиас покачнулся и тяжело рухнул на пол вместе со стулом. Стул разлетелся на куски.

Спортсмен выругался и обломком стула ударил Элиаса по голове.

— Торопись, обезьяна. — Молодой задымил сигаретой. — Говори, или живым отсюда не выйдешь, понял?

Лежа на полу, Элиас уплывал куда-то. Одна надежда — забыться, потерять сознание, тогда он будет для них недосягаем. Его стойкость и решимость опирались на внутреннюю силу, выплавленную из страданий и жестокости. Медленно кружащие над ним тени предков изгоняли из тела боль. Боль была уже не в нем, а вне его, как спутник, летящий вокруг его существа. В ушах звучало приглушенное расстоянием победное улюлюканье, звон щитов и копий, тысяченогий топот...

Истекавшего кровью Элиаса перенесли на другой стул, плеснули водой в распухшее, точно тесто, лицо. Кожа засадила так, точно ее смочили кислотой. Вода вместе с кровью стекала по шее.

— Мы еще не так можем, — услышал Элиас чей-то голос.

«Думай о чем-нибудь, — твердила боль — о том, во что веришь, например о любви...»

Старый Тсатсу умер на придорожной груде мусора. Он лежал, как чучело, выброшенное за ненадобностью.

«Он уснул навеки, отправился к предкам. Там ему будет лучше, чем на этом свете».

Люди пели гимны на угрюмом холме, ветер подхватывал их голоса, как сухие листья, и уносил прочь. Худой согбенный шахтер проковылял мимо, глядя на Элиаса мертвыми глазами. Он кашлял и харкал кровью, болезнь пожирала его, как крыса сыр. «Он околдован», — кричали дети. Околдован?.. Еще один шахтер навеки погребен во мраке, глубоко под землей, под спудом камней и золота. Золота, желтого, мягкого, как замазка, превращающего людские сердца в безжалостную бронзу.

И снова его били. Стало совсем темно — на голову надели мешок. Его подвесили к потолку в причудливой позе, высоко подтянув согнутые в коленях ноги. Спортсмен включил какой-то прибор. Из туманной дали доносился барабанный топот ног по растрескавшейся земле, звон щитов и копий.

Молодой завращал ручку генератора, а Спортсмен поднес электроды к половым органам Элиаса.

Элиас закричал в мешке. Он предвидел насилие, но это невозможно выдержать! «Скажи, скажи им все!» — застучало в мозгу. Тело его извивалось и дергалось, точно сломанная марионетка. Тени предков топтались поодаль, собираясь в кучку; раскачивались перья, тряслись леопардовые хвосты. Солнце желтым фонарем висело на неприветливом небе, отражаясь молниями в кованых законечниках копий. Его плоть горела и саднила, судорожно дергались руки и ноги, отказываясь повиноваться, трясясь и прыгая в жутком, фантастическом танце. Тысячи червей извивались под кожей, рвались наружу из крошечной мглы, а тени скользили по расплывчатому горизонту и кивали ему, звали его к себе.

Наконец сыщики сдернули мешок с головы. Перед ними предстала жалкая маска, раздутое опухолью лицо утопленника.

Они схватили его и потащили по коридору без брьюк, в рваной окровавленной рубашке назад, в подвал, сбросили со ступеней, захлопнули тяжелую дверь, заперли ее на замок.

Край каменной ступени едва не рассек ему висок, но боли от этого он вроде и не чувствовал. Все вокруг угратило реальность, даже боль и горечь унижения. В опустошенном мозгу, как рваная тряпка на ветру, хлопало единственное слово: скажи, скажи, скажи.

Нагретый асфальт обжег щеку. Мимо бежали люди, в ноздри забивалась пыль, по шее стекала кровь из раны, оставленной полицейской дубинкой... Он уезжает из дому, и мать, маленькая уютная старушка со следами охры на лице, дает ему в дорогу кулек с жареным картофелем и жестким цыпленком. Дряхлый автобус терпеливо ждет, пыхтя и отдуваясь, как усталый старик. Он повезет завербованных рабочих на станцию. Мать не плачет, как плакали бы на ее месте другие. Она гладит его ладонь, приговаривая: «Хо! Ты теперь мужчина, сынок!» Женщины стоят на обочине, глядя чихающему автобусу вслед. Вот их уже не видно за пылью и серо-голубыми выхлопами. И тут он вспоминает, что оставил свою заветную книгу, по которой выучился читать... С тех пор он прочел много книг, много чего узнал. Коричневые холмы, деревня, лавка Вассермана вспыхнули на миг на мерцающем экране памяти и тут же погасли.

Лишь воронье слеталось над полем битвы. «Uya kihlasela — pi na? *С кем ты теперь сразишься, воин?*» — вопрошали тени предков.

— Знаешь, в чем твоя беда? — говорил майор. — Ты просто-напросто глуп. Не хочешь избавить себя от неприятностей. Или тебе мало того, что было?

— Он с нами дурака валяет, — сказал Спортсмен и посмотрел на Элиаса — Мы как на войне, и твоя жизнь не стоит ни гроша.

— Если подохнешь, мы скажем, что ты наложил на себя руки, — подхватил Молодой, — после того, как все рассказал.

— Ты болван, — снова заговорил майор, — приходится втемяшивать тебе в башку кулаками...

Он поднялся и пошел к двери. В комнате клубился синий табачный дым, оба сыщика были без пиджаков. На толстом майоре был строгий штатский костюм, накрахмаленные манжеты сорочки торчали из рукавов. У порога он задержался, кивнул сыщикам и вышел.

— На этот раз без всяких поблажек, — сказал Молодой. — У, ты, черномазая сволочь!

И снова мешок на голову. Скажи, скажи, скажи все! Но тени ждали его на горизонте. Слов не было слышно, только крики воронья, кружащего над полем. *Wahlula atakosi! Ты одолел королей!* Далекие фигурки задвига-



лись на горизонте. Uya kuhlasela — pi па? *С кем ты теперь сразишься, воин?* Вдали, на подернутом дымкой крае неба, собирались предки; копья, как бриллианты, ослепительно сверкали на солнце. Кто-то возник из яркого облачка и коснулся его ладонью. «Мама», — зазвучало в голове. Издалека, нарастая, донесся топот бегущих ног.

18

Ждать оставалось недолго. Хенни Эйприл погрузил несколько таинственных чемоданов в автофургон, Мария принесла сумку с провизией. На кушетке в гостиной сидели двое юношей-африканцев — Питер и Майкл. На одном была соломенная шляпа, на коленях каждый держал по свертку. За окнами еще не рассвело, при электрическом освещении их настороженные лица казались желтыми. Мария, присев к столу, беседовала с молодыми людьми на их родном наречии, они в ответ смеялись, качали головами, застенчиво отводя глаза. Юноши явились глубокой ночью, и старая дворняга разбудила лаем весь дом.

Бейкс спал некрепко, урывками, в детской, среди деревянных и металлических кроваток. Повсюду валялись ребячьи одежки, похожие в потемках на летучих мышей. Все воскресенье Бейкс просидел дома, пока Хенни ремонтировал фургон. Боль в руке утихла, превратившись в легкое, вполне терпимое покалывание. После обеда детей, сверкающих чистотой, выпроводили в воскресную школу. К вечеру Хенни объявил, что фургон готов и может нестись, как ракета. Мужчины весь вечер сражались в шашки за столом в гостиной. Бейксу захотелось почитать перед сном, ему подвернулась детская книжонка о пиратах. «Похоже, Хенни готовит себе достойную смею, — подумал с усмешкой Бейкс. — Дети наверняка унаследуют отцовский «бизнес». С этой забавной мыслью он задремал.

Его разбудил лай. Дети тоже проснулись, их глаза ярко светились в темноте, как мышиные зрачки. Бейкс щелкнул выключателем. Дети лежали не шевелясь, прислушиваясь. Неужто им уже объяснили, что нельзя поддаваться панике, когда звучит сигнал тревоги? Слышно было, как во входную дверь постучали и Хенни пошел открывать. В гостиной вспыхнул свет, донеслись при-

глушенные голоса, потом Хенни в помятой ночной рубашке до пят заглянул в детскую и шепнул Бейксу, что прибыли двое парней. Теперь они болтали в гостиной с Марией, а Бейкс гадал, куда запропастился третий. Он крепко пожал ребятам руки, и один из юношей, по кличке Майкл, спросил:

— Как там Элиас?

— Надеюсь, с ним все в порядке, — буркнул Бейкс. Откуда это ему известно, что Бейкс связан с Элиасом? Ну и конспирация! — рассердился Бейкс, но тут же успокоился: пора бы уж привыкнуть.

— Должен быть еще третий, — объяснил Бейкс юношам, — подождем его.

— Ехать надо, когда рассветет, — сказал Хенни, упишавший за столом кашу. На нем был застиранный комбинезон и полотняная кепка. Дети снова заснули. — А он придет?

— Почему бы нет? — отозвался Бейкс. — Пришли же эти двое.

Он растолковал юношам, кто будет встречать их в конечном пункте, и напомнил, что никто не должен знать их настоящих имен.

— Третьего зовут Поль, — сказал он.

Ночь посерела за окном, приближался теплый рассвет; мрак медленно отодвигался, как дым над полем битвы. «Скоро, — подумал Бейкс, — по утрам будут заморозки, настанет осень. Черт, что мы станем делать зимой? Уцелеет ли кто-нибудь к тому времени? Если Элиас арестован, кто передаст мне инструкции?» Должен же еще кто-то, кроме Элиаса, знать о Бейксе. Наверно, с ним свяжутся через аптекаря Польского.

Хенни Эйприл от нечего делать пошел напоследок поковыряться в фургоне. Мария внесла кофейник и кружки. Утренний свет проникал сквозь окно, но еще не мог соперничать с электрической лампочкой, освещавшей беспорядок в гостиной: нагромождение коробок, запасных частей, шкаф с разбитым зеркалом. «А вдруг Поля этого схватили? — думал Бейкс. — Они могут заставить его заговорить и тогда узнают обо мне, о Питере и Майкле, Хенни Эйприле, беременной Марии, детях. Не дай бог, — шептал Бейкс про себя, — не дай бог!» *Пойду охотиться в лесу...* Агенты тайной полиции сейчас, конечно, не спят, горят огни в тесных кабинетах за зарешеченными окнами. Бейкс сидел в мешковатом пиджаке среди

царившего в доме Хенни Эйприла беспорядка и вспоминал учеников Флотмена, Абдуллу и его жену-портниху, Томми, Айзека. И Фрэнсис. Лишь бы ее не тронули! Фрэнсис, дорогая, любимая Фрэнсис. Окно посветлело, утро просочилось в гостиную, и Бейкс вздрогнул, будто воспоминания причиняли ему физическую боль.

— Послушай, Бьюк, нам пора! — крикнул с порога Хенни. — Надо выехать до появления прохожих. Светает. Сколько же еще ждать? Ведь путь длинный, а я хочу уложиться в график.

Даже у контрабандистов есть расписание.

— Сейчас, — оторвался Бейкс от своих мыслей, — еще несколько минут.

Первые солнечные лучи озарили небо. Залаяла собака, и Хенни Эйприл снова вышел во двор. Вставая, Бейкс услышал, как Хенни, чертыхаясь, утихомиривает пса. Потом он позвал Бейкса.

— Боже праведный! — не сдержал восклицания Бейкс, сойдя с крыльца, ибо перед ним в рассеивающейся мгле стоял Айзек. В руках у него была бумажная сумка, точно он на рынок ходил.

— Привет, Бьюк, старина! — Айзек, сияющий, бросился к нему. — Рад видеть тебя целым и невредимым.

— Айк, негодник. Неужто это ты, старый плут! — Он долго тряс Айзеку руку, как рычаг насоса, и радостно смеялся, разглядывая торчащие уши и глаза, с легким недоумением смотрящие на мир. Но было что-то новое в этом милом, знакомом лице.

— А кто же еще! Только, к твоему сведению, я теперь Поль, ясно?

— Поль так Поль. — Бейкс хлопал друга по плечу. — А я и не знал, что ты записался добровольцем.

— Ничего не оставалось, — улыбнулся Айзек. — Шпики из полиции безопасности едва меня не сцапали. Чудом спасся.

— Слышал-слышал, — сказал Бейкс. — Ну, черт с ними. Ты решился на серьезный шаг, Айк.

Уши Айзека порозовели, улыбка исчезла с губ.

— Нельзя больше им все спускать, Бьюк.

— Верно, Айк, — тихо сказал Бейкс, глядя другу в глаза.

— Бьюк, дружище, пора трогать, — подошел к ним Хенни Эйприл. — И так вокруг уже много людей, могут нас заметить.

— Да, пожалуй, пора, — согласился Бейкс. Двое юношей вышли из дома с узелками в руках. Айзек поздоровался с ними. Во двор высыпали детишки, поглядывая заспанными глазами на взрослых.

— Айк, — сказал Бейкс, — береги себя, ладно?

— Ладно, Бьюк, — кивнул Айзек. — Ладно.

Они пошли к фургону.

— Послушай, Бьюк, — заговорил Айзек, — тут моя мать и сестра. Дай им знать, что со мной все в порядке.

— Разумеется.

— И еще, те двое парней из моей группы. Вот их адреса. Свяжись с ними, Бьюк, это надежные ребята.

— Непременно, Айк.

На пороге показалась Мария, неся перед собой большой живот. Хенни подошел попрощаться с ней, обнял детей и подбежал к фургону. Стало совсем светло, выступили из мрака горы покрышек, автомобильные детали, веревки для белья. По улице к автобусной остановке потянулись люди.

— О'кэй, Бьюк, не психуй, — сказал Хенни Эйприл.

— Я не психую, старина, — улыбнулся Бейкс.

— И руку свою береги.

Молодые люди залезли в крытый кузов и расселись на скамьях, привинченных к полу.

— Прощайте, вонны, — тепло сказал Бейкс, помахал им здоровой рукой и обернулся к Айзеку: — Прощай и ты, солдат!

Хенни захлопнул задние дверцы. Последнее, что видел Бейкс, была соломенная шляпа Питера и слегка удивленные глаза Айзека, припавшего к стеклу. Хенни уселся за руль, затарахтел мотор, выстрелил глушитель, и фургон задним ходом медленно выкатился со двора. Бейкс шел рядом с кабиной. Хенни высунул голову, помахал жене и сказал Бейксу:

— Довезу ребят в целости, вот увидишь!

На востоке ярко загорелось солнце, заиграло на крышах предместья, под натиском его лучей тени разлетелись на мелкие осколки. Бейкс глядел вслед старому фургону, дребезжащему по мостовой мимо закоптелых домов, чахлах палисадников, оставляя позади шлейф синего дыма.

«Они ушли воевать во имя пострадавшего народа, — думал Бейкс, стоя на обочине. — Что враг посеял, то он и пожнет на поле битвы. Сопротивление ненавистно-

му режиму еще не вышло на поверхность — пока видна лишь верхушка айсберга. Мы не простим ни замученных жертв, ни унижений. Беда тем, кто упорствует в злобе и жестокости. Пусть готовятся к худшему — ждать им недолго!»

Он стоял так, пока фургон не скрылся из виду, потом повернулся и пошел к детям, стоявшим на залитом утренним солнцем дворике.

Время  
сорокопута



ПЕРЕВОД В. РАМЗЕСА. РЕДАКТОР А. ФАЙНГАР

Правительственные грузовики укатали, и поднятая ими пыль повисла над равниной, заслонив и размазав свирепое полуденное солнце. Сквозь колеблющуюся плену оно напоминало гигантскую каплю расплавленного металла. Пыль витала в воздухе, постепенно оседая на серую землю. Равнина была плоской и монотонной, лишь две дороги, проложенные бульдозерами крест-накрест, подобно шрамам от каленого железа, пересекали ее точно изрытую оспинами, припудренную кожу. Вдали на стальных опорах дыбился новый водонапорный бак, будто железная перчатка, сжатая в кулак на фоне плоского и пустого неба. Пыль садилась на стенки бака, на поверхность солоноватой воды в нем, которую качали из песка трудяги насосы; на грубые кубистские нагромождения скатанных палаток, которые как попало побросали с грузовиков; на хмурые лица людей, стоявших подле того скудного скарба, что им позволили прихватить с собой. От пыли лица делались серыми; она забивалась в потные складки вокруг рта, глазные впадины, садилась на неопрятную, измятую в пути одежду, придавая людям сходство с выкинутыми за негодностью чучелами. Чья-то рука на пробу подхватила пригоршню песка и просеяла его сквозь заскорузлые пальцы, песок ссыпался по залатанным коленям, возвращаясь на землю. Почва непригодна для плуга и сеялки. В ней и могилу-то не отроешь. Люди стояли на полуденном, плавящемся солнце, обжигающий воздух превращал пот и пыль на их лицах в подобие гипсовой маски. Они переминались с ноги на ногу, загребая подошвами пыль, и постепенно разбреда-



лись по сторонам, задумчиво поглядывая окрест. Заскулил измученный жаждой младенец, прихваченный к материнской спине, еще один ребенок захныкал; кто-то, сплюнув в пыль, затынул песню, ее подхватили другие, и вскоре все уже пели — петь, оказывается, можно везде, даже на этой убогой, мертвой земле.

\* \* \*

«Пора мне сменить эту колымагу на что-нибудь поновее», — думал Эдгар Стоупс. Видавший виды «стейшн-вэгон» трясся и дребезжал на ухабистой дороге, а когда Эдгар прибавил газу, возник металлический перестук. Наверное, подшипник, хотя на последней остановке он долил масла. Делать нечего — расстраивайся не расстраивайся, а надо дотянуть до городка, где он назначил привал. Будь поласковой с ней! Черт, последний перегон затянется на несколько часов, он доберется до городка только к вечеру, все уже будет закрыто, придется снова ночевать в этой загаженной гостинице. Но ничего не поделаешь, сбрасывай скорость, чтоб тарахтело поменьше, и уповай на то, что старая кляча не развалится, не откинёт копыта прямо здесь, посреди этой чертовой пустыни.

«Стейшн-вэгон», подрагивая, кое-как катился вперед. Стоупс поглядывал по сторонам, выискивая приметы, свидетельствующие, что он приближается к цели. На западе бронзовое пятно солнца плавало в подернутой пылью синеве. Вдали прогудел пассажирский поезд, убегая на север. Шины, убавив прыть, стучали по выбоинам в асфальте. Покрышки совсем новые, но двигателю от этого не легче: пружины, рычаги, оси, ремни — все в нем на последнем издыхании. «Стареем, — подумал Стоупс с невеселой ухмылкой, — заездили нас вконец». На этой скорости в открытое окно сквозило меньше, и Стоупс снова ощутил под одеждой испарину.

Равнина, громохая, убегала назад: красная, бурая, розовая. Наконец он заметил признаки человеческого жилья — впервые за многие часы тряски — и испытал облегчение, хотя это была всего лишь горстка чернокожих, идущих гуськом по обочине. На торчащих из лохмотьев загрубелых плечах — лопаты, точно ружья. Они не обернулись, не свернули с тропы, заслышав автомобиль, а все шагали вперед с каким-то механическим

упорством. Песчинки и бурая пыль клубились, как дымовая завеса, пришлось поднять стекло. Жара окутала его влажным коконом. Еще один перегон, а там уж рукой подать до Хоум-Джеймса. Дыра, конечно, а все же хоть что-то. Вообще, у него нет дома, где можно было бы отдохнуть, насладиться уютом, посидеть у приемника, послушать репортаж о регби, собрать друзей на вечеринку. Дом его годен лишь на то, чтобы принять ванну, переодеться, хлопнуть стаканчик на скорую руку, прежде чем отправиться в контору. Дома—Мейзи с недовольной миной, лениво листающая иллюстрированные журналы. Все остальное — мишура, никчемные безделушки, вроде никелированных колпаков на колесах или кукляшки, болтающейся над баранкой.

За покрытым пылью лобовым стеклом дорога стрелой пронзала покоробившуюся от зноя степь. Медленно проплыли еще несколько миль. Наконец железнодорожный переезд, «стейшн-вэгон» с грохотом подпрыгнул на рельсах. Не гони — будет обидно, если машина сейчас откажет, до мастерской-то рукой подать... Стоупс не преминул помахать стрелочнику в будке, его профессиональный долг — располагать к себе окружающих. Стрелочник, узнав, «стейшн-вэгон» и водителя, помахал в ответ. Его каштановые волосы прядями свисали с черепа, розовое лицо стало одутловатей, пшеничные усы словно оседлали широкий, улыбчивый рот.

Поворот дороги — и будка стрелочника исчезла из виду. Эдгар Стоупс заметил чернокожего, сидевшего на краю сточной канавы. Шевеля голыми пальцами ноги, тот разглядывал снятый ботинок. Потом снова открылись поля, в них догорал день; показались жмущиеся друг к другу побеленные домики железнодорожников с курами в палисадниках; пустой загон для овец, сарай для острига. Вокруг построек и предметов сгущались тени. Но скатываясь на запад, солнце все еще жгло огнем, предвечерняя знойная дымка подрагивала над плоской вершиной желто-бурого холма, на склоне которого побеленными камнями было выложено название городка.

Вот и единственная здесь станция обслуживания с бензоколонками и пропыленными флагами на крыше. Стоупс направил машину на бетонный фартук перед воротами мастерской, где стоял разбитый фермерский грузовик, с вывороченными наружу внутренностями; вокруг него валялись запасные части, перепачканные машинным

маслом инструменты. Стоупс погудел и вышел из кабины, утирая пот с лица.

Впереди лежала главная улица городка, оживающая после дневной духоты; привокзальная гостиница, подернутая предвечерними тенями; белые коттеджи за высохшей живой изгородью; у амбара — два запыленных грузовика и телега, запряженная мулами; монумент памяти Бурской войны и старая церковь с красной бетонной папертью, обращенная фасадом на площадь. Солнце над плоской вершиной холма, усеянного валунами, медленно собиралось в подрагивающий красный диск, похожий на раскаленное ядро. Из амбара вышла цветная старуха и принялась мести двор; со стороны площади по безлюдной улице, петляя, проехал мальчишка на велосипеде, оставляя за собой шлейф бурой пыли.

Эдгар Стоупс сунул руку в окно кабины и снова погудел, из полумрака мастерской показался человек, на ходу вытирая руки комком технической ваты. Дородный, с могучей мускулатурой кузнеца под пропотевшей майкой и замасленным комбинезоном; рыжие, коротко подстриженные волосы. Он улыбнулся, обнажив крупные желтоватые зубы, улыбка словно осветила загорелое, в складках лицо.

— *Миддаг*, Клаас, добрый день, — сказал Эдгар Стоупс. — Как дела?

Он говорил на африкаанс с явным затруднением, проистекавшим главным образом из неприязни. Здесь, в провинции, он чувствовал себя как на чужбине, давно уже поняв, что с этими людьми каши не сваришь, если не потратить их косному высокомерию. Себя-то он считал человеком широких взглядов: живи и жить давай другим, но почему, черт возьми, приходится вместо собственного языка прибегать к этой дурацкой тарабарщине! В конце концов, он такой же гражданин, как они, и ведь не они ему, а он им нужен. И все-таки, желая проявить дружелюбие и сбыть побольше пластмассовых гребешков, буксирных тросов и электрических лампочек, он должен жертвовать своим «я», превращаться сам в подобие этих гнусных буров. Отерев губы несвежим платком, он улыбнулся рыжему.

— Снова в наших краях? — сказал механик. — Бегаешь ваш драндулет?

— Едва доехал. Чертова колымага дребезжит, как погремушка. Подшипники, наверное.

Механик обошел «стейшн-вэгон», открыл капот и, уставясь на двигатель, сказал, не повернув головы:

— Заведите-ка ее, мистер Стоупс, послушаем.

Эдгар Стоупс снова залез в кабину, включил зажигание, нажал на стартер, прибавил обороты.

— Ну что, слышите?

Рыжий прислушался, подкрутил что-то в двигателе и сказал:

— Отпустите акселератор, погоняем ее немного на малых, а потом снова прибавьте газку.— Послушав еще двигатель, он наконец выпрямился, опустил капот и снова вытер руки о вату.— Да, верно. Скорее всего, подшипники. Видать, масло на них не попадает.

— Ей капут, — спросил Стоупс, вылезая из кабины, — или еще можно подлатать?

— Придется вам ее оставить, — ответил механик. — Надо слить масло и заглянуть внутрь. Иначе не определишь, что стряслось.

— Она прошла больше пятнадцати тысяч миль — это не пустяк.

— Попробуйте ее загнать, — ухмыльнулся рыжий, — правда, много за нее теперь не выручишь.

— Так что же, старина, — повторил свой вопрос Стоупс, — займетесь ею? Мне бы завтра ее забрать. Соберу тут у вас заказы, и надо возвращаться в контору.

— Завтра? — Рыжий покачал головой. — Нет, менир, послезавтра — *йа*. Завтра все будет закрыто: магазины, лавки и все прочее. Так и так придется вам задержаться.

— Закрыто? — переспросил Стоупс. — С чего бы это? Разве завтра праздник?

— Да вроде того, — усмехнулся рыжий. — На завтра назначена особая служба в церкви — молебен о дожде. Видели, какая засуха? Вся страна будет молить господа, и, пока не кончится богослужение, лавки будут закрыты. От этого никому не удастся увильнуть. — Он покачал головой. — Нет, завтра вы здесь толку не добьетесь, мистер Стоупс, так что придется вам отложить отъезд.

«Господи, пустая трата времени, — подумал Стоупс, — целый день угробят на дурацкий молебен, а я буду вынужден бить баклуши в ожидании их чертовых заказов. А вдруг местные кретины и не закажут ничего в этот раз? Две ночи в такой дыре!..» Он вытер потную шею и через силу улыбнулся рыжему.

— Что ж, ничего не поделаешь, верно? Нестрашно, в конце концов, отдохну денек.

— *Иа*, вам так и следует поступить. Хорошая идея.

— Позвольте, я выну свои вещи.

Он обошел «стейшн-вэгон», чертыхаясь про себя: «Дьявол, молебен о дожде!», открыл багажник, достал сумку с образцами и свой чемодан.

— Все будет в порядке, — забирая у Стоупса ключи, пообещал рыжий. — С утра ею и займусь. В гостинице как будто ни единого постояльца. Знаете что, зайду-ка я к вам вечером и тогда скажу наверняка, что с ней.

— Отлично, буду вас ждать, — с напускной веселостью закивал Стоупс и, подхватив в обе руки багаж, зашагал от мастерской к гостинице с фальшивым голландским фасадом. На его мятом костюме выступили темные разводы пота, рыжие усы пожухли, он чувствовал горький привкус во рту. «Чего только не приходится терпеть и сносить, — думал он. — Придет же такое в голову — молиться о дожде!» Газет он не читал и поэтому о засухе не слышал. «Брать бы заказы на дождь, — кисло улыбаясь, фантазировал Стоупс, — уж я бы его доставил в лучшем виде, но, увы, дождь не твой товар, ты торгуешь булавками, глянцевыми открытками с видами, презервативами, микстурой от кашля. «Универсальные товары» — все что душе угодно, от иголки до катерного якоря. А вот дождя в каталогах нет, — цинично думал Стоупс, — кому он нужен, дождь? Во всяком случае, не мне, на кой черт он сдался! Что мне действительно нужно позарез, так это принять ванну и хлебнуть пива». Белье прилипало к телу, голубой костюм из «тропика» стал влажным под мышками и в шагу; несмотря на сгущавшиеся тени, неподвижный воздух окутывал тело, как ватное одеяло.

Из бакалейной лавки вышел мужчина в несвежей рубашке цвета хаки, сел в пропыленную машину и покатил к площади. Мулы лениво шевелились в упряжи, склонив морды к земле. Эдгар Стоупс, волоча чемоданы, проковылял мимо. У входа в здание суда, расположенного по соседству с полицейским участком, на пыльной мостовой стояли двое черных в обносках, отбрасывая длинные тени.

Небрежно побеленный фасад гостиницы с зашторенными окнами был уже в тени. За живой изгородью — пластиковые столики для посетителей бара, за ними по-

ка не было ни души. Вход вел в желанную прохладу. Внутри все тоже было побелено. Старинный комод, железнодорожное расписание, выцветшая фотография Дракенсберга — одного из бывших президентов страны; невысокая стойка, перед ней на полу медная плевательница. Слева — стеклянные двери маленькой столовой, справа — вход в бар. Позади стойки еще одна дверь с засиженной мухами шторой из деревянных кругляшей вела в узкий короткий коридор. Там находилась кухня и лестница на второй этаж, где помещались четыре тесных номера для постояльцев. Эдгар Стоупс мог найти здесь дорогу с закрытыми глазами. Он знал, что белила и штукатурка осыпаются, стены пачкаются, если ненароком задеть их; знал, что цветного слугу зовут Фани, что в соломенной кровле водятся мыши. Уж и не счесть, сколько раз он бывал здесь во имя процветания «Универсальных товаров». И сейчас, сняв в полумраке холла темные очки, он не испытал восторга от перспективы провести здесь целые сутки, слушать дурацкую болтовню о каких-то мериносах, шансах городской футбольной команды в первенстве провинции, о несбыточных прожектах залить асфальтом городскую площадь.

Постучав по стойке влажными от пота костяшками пальцев, он стал ждать появления хозяйки с ее гнусным, действующим на нервы смехом и тугим пучком седых волос на затылке. Вот и она, семенит из столовой. Маленькая, похожая на птичку, с резкими чертами лица, кожа красная, хрупкое тельце упрятано в темное, как у вдовы, одеяние; а муженек ее еще в полном соку, вечно красуется за стойкой в баре. Всплеснув тонкими и красными, точно рачьи клешни, ручками, она затрещала как сорока:

— О, менир Стоупс! Снова к нам пожаловали? Как поживаете? А мы вас жаждали, я Гендрику говорю, менир Стоупс будет у нас со дня на день. Ну и жара стоит, адово пекло! — Она взвизгнула и, зайдясь пронзительным смехом, порхнула за стойку.

— *Иа*, снова я здесь, миссис Кронер, — промямлил Эдгар Стоупс, — снова у вас. Как ваше здоровье, миссис Кронер?

— О, грех жаловаться, только вот суставы. -- И снова визгливый смех. — Мы не становимся моложе. дело к старости идет, не так ли?

Взяв протянутую ему шариковую ручку, Стоупс расписался в регистрационной книге и спросил:

— Верно ли, что завтра все закрыто? Неужто мне придется задержаться еще на день?

— *Иа*, мистер Стоупс, все будет закрыто, пока не кончится молебен. У нас тут небывалая засуха — сами видите!

Ничто ее не берет, думал Стоупс, ни жара, ни возраст, ни больные суставы, все тот же гнусный, скрипучий голос...

— ...Будем молить господа нашего о дожде. Овцы околевают, река пересохла, водохранилище у плотины обмелело... Помещу-ка вас в третий номер... Зоммерман за каких-то пару месяцев потерял половину своей отары... — И снова режущий уши визг — что она находит смешного в происходящем бедствии? — Завтра все пойдут в церковь, преподобный Виссер вразумит нас. Так что пока не кончится служба, никого на месте не застаете. Ну ничего, погостите у нас лишний денек, верно?

— Да, передохну немного. — Эдгар Стоупс фальшиво и приторно улыбнулся. — У вас есть другие постояльцы?

— Ханнес Меулен занял комнату. Вы его не знаете? Это внук старого Джоханнеса Меулена. Ездил в столицу по делам и только что с поезда. Слыхали, что на очередных выборах он выдвигает свою кандидатуру в парламент?

Стоупс не имел ни малейшего представления, о ком идет речь, но улыбался и кивал:

— Как же, как же, кто о нем не слышал! — Таковы уж законы профессионального этикета. От ее визга у него разгулялись нервы, хотелось подняться в номер, залезть наконец в ванну.

— А вода хоть есть? — спросил он. Обидно платить этим чертовым бурам по полной стоимости, если даже ванны нельзя принять.

— О да, конечно, можете искупаться. Только вот сад поливать не разрешают. Все цветы завяли. Засуха длится уже несколько месяцев, и Совет провинции требует, чтобы мы экономили воду.

И опять повизгивание, серые глазки блестят, как бусинки, на узком лице.

— Будем надеяться, что погода скоро переменится, — промямлил Эдгар Стоупс. Женщина повернула головку

с тугим пучком, похожим на куриный гребешок, к шторе из деревянных кругляшей и пронзительно закричала:

— Фани, иди-ка сюда! — и продолжала, обращаясь к Стоупсу: — Если будет на то господня воля. Нам надлежит во всем полагаться на его милосердие. Фани! Где этот бездельник? Снова отсиживается в холодке, от работы отлынивает!

— Я здесь, — отозвался голос, — здесь я, миес Кро-нер. — Кругляши застучали, появился цветной мужчина средних лет в перепачканном клеенчатом фартуке, надетом поверх старой рубахи и брюк, и несколько раз поклонился хозяйке и гостю.

— Господи, — завизжала женщина, — вечно я должна надрываться, не дозовешься тебя. Отнеси вещи бааса в третий номер и не забудь открыть окно, чтобы проветрить. — Она снова улыбнулась Эдгару Стоупсу, обнажив мелкие зубы. — Извините, мистер Стоупс, что сама не провожаю вас — суставы замучили. В последнее время совсем жизни от них не стало. На ужин у нас сегодня домашние сосиски — хоть и засуха, а без баранины не сидим, — сосиски с рисом. — И снова идиотский хохот!

Стоупс вслед за слугой прошел сквозь постукивающую, как кастаньеты, штору. «Суставы тут ни при чем, — думал он, — а вот голос твой тебя точно доконает!»

В конце короткого коридора через распахнутую заднюю дверь был виден уголок увядшего, пропеченного слепящим солнцем сада. Несмотря на скученность и тесноту, в помещении было все-таки прохладнее, чем снаружи. Поднимаясь вслед за цветным по лестнице, Стоупс мечтал о ванне.

Наверху слуга отпер полутемную комнату, как две капли воды похожую на ту, в которой Стоупс останавливался в прошлый раз.

Побеленные стены; над туалетным столиком литография с обложки железнодорожного расписания — заросли цветущих алоэ; треснутое зеркало в гардеробе; железная односпальная кровать, наверно купленная в больнице при распродаже.

Слуга поставил чемодан и сумку на пол, подошел к окну, поднял занавеску и распахнул створки. В комнату ворвался нагретый желтоватый воздух. Стоупс усталю плюхнулся на кровать.



— Опустит штору, хочешь, чтобы я здесь изжарился заживо? — Он вытер платком шею. — Принеси мне пива, со льда, слышишь?

Слуга зашаркал ногами, обутыми в сандалии.

— Бар открывается только в половине пятого, маста.

— Господи, — застонал Эдгар Стоупс, — в половине пятого! — Он взглянул на часы. — Ладно, принесешь, как только откроется. Я пока приму ванну. Только не забудь — со льда!

Он запустил руку в карман пиджака, достал кошелек, долго копался в нем и протянул слуге мелкую монетку.

— Это вот тебе. Не забудь про пиво.

— Не забуду, маста, — слуга, ослабившись, несколько раз поклонился. — Как можно!..

Оставшись один в затемненном номере, Стоупс поставил чемодан на кровать и распахнул его. «Если бы колымага не подвела, я добрался бы сюда к обеду и вечером уже выехал назад. Опять застрял в глуши среди этих дикарей — буров. Они не такие, как мы, отстали от времени. Черта с два пойду я на их дурацкую службу!» Эх, сколотить бы по-быстрому несколько тыщенок, и тогда он пошлет куда подальше эту идиотскую работу, начнет все заново.

Вывалив на кровать содержимое чемодана, он достал из-под вороха грязного барахла последнюю чистую пару белья и чудом уцелевшую свежую сорочку. Хорошо хоть нет здесь безмозглой Мейзи с ее ехидным языком. Что может быть гаже второразрядной хористочки, возомнившей себя звездой и мечтающей купаться в лучах славы! Приятный сюрприз — в чемодане он наткнулся на полбутылки коньяку, о котором совсем забыл. Вечером будет весьма кстати!

Раздевшись догола, он запахнулся в тонкий купальный халат и, прихватив бритвенные принадлежности, вышел в коридор. Снизу донесли резкие, пронзительские вопли хозяйки. Он заперся в тесной клетушке ванной комнаты с заляпанными стенами. Вода, которую качали с вокзала, была не прохладной, как он рассчитывал, а тепловатой и ржавой. Всклопоченный, он сел на край ванны, горько скривил рот, покусывая ус, и предавался невеселым думам. Что за жизнь собачья, как отвратно устроен мир! Его мелкие страстишки обретали для него масштабы мировых, вселенских проблем.

Контора комиссара по делам туземцев помещалась в одном из административных зданий, стоявших в ряд: тут и торговая палата, и комиссия по электроснабжению, и водопроводное управление. Всюду двойные стеклянные двери, завешенные выгоревшими до неопределенного цвета шторами. В конце ряда красовался полицейский участок с кирпичным фасадом и лакированными дверями из тика, хотя лак, впрочем, почти весь облупился. Соединяла административные службы веранда, над которой помещался зал суда. Учреждения глядели окнами на пыльную площадь с церковью и лавками.

Горячий воздух струился над гравием мостовой. Двое черных мужчин стояли на самом солнцепеке перед входом в контору по делам туземцев. Один из них поправил на голове пожелтевшую от времени соломенную панаму и сказал:

— Я наперед знал, они и слушать нас не станут.

— Зато ты ему все выложил, — похвалил его второй. — Комиссар корчит из себя белого бога. Важный, как слон. — Он заразительно рассмеялся. Стайка птичек вспорхнула с засохших дубов, пересекла площадь и усеялась на перила веранды. — Им до нас столько же дела, сколько этим вот пичугам.

Оба были уже в летах, одеты бедно, в руках — посохи, выструганные из веток. По такому случаю они повязали засаленные галстуки, застегнули пиджаки на все уцелевшие пуговицы. Убогость их костюмов бросалась в глаза — бахрома на брючинах, мятые, застиранные сорочки; тот, в панаме, нацепил еще булавку на воротничок. Жалкие потуги на респектабельность перед лицом белых хозяев.

Прежде чем войти в комиссариат, они тщательно отерли пот с лица — ведь им пришлось проделать долгий путь пешком. С улицы они попали в комнату для посетителей: голые стены, никакой мебели, только деревянная скамья, придвинутая к стене возле матовой стеклянной двери. За железным барьером у стола с пишущей машинкой сидел клерк. Он печатал что-то, перечитывал написанное и хмурился, посасывая костяшки пальцев. На нем была спортивная рубашка с расстегнутым воротом, и виднелись завитки светлых волос на груди. Он даже не взглянул на вошедших. На полке в уг-

лу жужжал электрический вентилятор, размеренно поворачиваясь из стороны в сторону. Двое черных не сели на скамью, как им бы следовало, а подошли к барьеру, сжимая посохи. Сняв шляпы, они застыли в бесстрастных позах, ожидая, чтобы клерк обратил на них внимание.

Минутная стрелка настенных электрических часов беззвучно скакнула, и тогда мужчина в соломенной панаме, старший из них, с умыслом уронил посох.

Клерк злобно воззрился на пришельцев. Он учуял, как запахло потом и пылью — особый запах черномазых. Ему и в голову не пришло, что они проделали долгий путь по жаре; клерк был убежден, что все кафры воняют. Он собирался помуржить черных, прежде чем заговорить с ними, — эти дикари другого обхождения не заслуживают.

— Почему вы не ждете, когда вас подзовут? — процедил он. — Что у вас за дело? Пропуска? Вы должны были уплатить налоги еще в прошлом месяце.

Старший наклонился за посохом, потом выпрямился и сказал:

— Дело не в пропусках и не в налогах. Мы пришли по поводу переселения.

— Так вы из деревни Хлангени? Но ведь большой начальник уже объяснил все вашему старосте.

— Мы получили письмо, — продолжал старший. — Ответ из столицы. Нам велено явиться в вашу контору.

— Письмо? — переспросил клерк хмурясь. — Ты что, умеешь читать?

— Умею, — ответил черный мужчина, невесело улыбувшись. Снаружи солнце закатывалось за церковный шпиль.

— Подождите здесь, — буркнул клерк, вставая из-за стола. Он вышел в стеклянную дверь, а двое посетителей снова застыли в ожидании. Муха, застрявшая между оконным стеклом и занавеской, жужжала как пила; прыгала минутная стрелка на стенных часах. Наконец дверь распахнулась, и клерк пропустил вперед самого комиссара.

Комиссар, являвшийся также мировым судьей, устался на черных. Он старался держаться на расстоянии, побаиваясь запаха, приставшего к ним в пути. Если не считать пиджака из альпаки, в который он облачался, приходя в контору, комиссар был воплощением накрах-

маленной чистоты и изысканной элегантности, от напомаженных волос до начищенных башмаков. Жара, казалось, на него не действовала, он выглядел неутомимым и выносливым, как аравийский верблюд. Воротник сорочки слепил белизной, восковато-розовые щеки с сеточкой кровяных сосудов тщательно выскоблены. Он глядел на двух оборванцев с презрением — как они смели явиться перед ним в этих неописуемых лохмотьях!

И заговорил он с ними, как с непослушными, провинившимися детьми:

— Ну, с чем пожаловали?

— Письмо, — терпеливо ответил старший.

— Какое еще письмо?

— Ваша милость, мы получили письмо, где говорится, что вы дадите ответ на поставленные нами вопросы. — И прибавил бесстрастно: — Так уж заведено столчными властями. Мы обращаемся к ним, они отсылают нас за ответом к комиссару. Довольно странный способ: ответ доходит до нас окольным путем, но не нам судить об этом.

— Ты не имеешь права говорить так, — изменив тон, перебил его комиссар, все еще стоя на пороге. — Как твое имя?

— Кобе, меня зовут Кобе.

Комиссар, держа в руках картонную папку, посмотрел на черного и что-то записал на листке.

— За ответом пусть приходит Хлангени. Он ваш староста. — Комиссару стоило немалых усилий не сорваться на крик, в голосе его сквозил оттенок праведного возмущения. Туземцы как дети, их надо время от времени ставить на место, напоминать, кто хозяин в стране, кому принадлежит власть. Но черный снова заговорил, и комиссар вытаращился на него, отказываясь верить своим ушам.

— Хлангени, вечно он! Но на этот раз выбрали меня.

— Выбрали? Да кто вам дал такое право? Как это так?

— Все в один голос высказались за то, чтобы послать меня.

Голова белого, тщательно расчесанная на пробор, задержалась от нетерпения.

— Никогда вы ничего не поймете, ничему не научитесь. Я и говорить с тобой не стану, потому что ты не староста. Скажи спасибо, что не выставил тебя за

дверь. — Папка в его руках заходила, он поднял ее, будто целясь в пришельцев. — Так вот, заявляю вам в последний раз: вы обратились в правительственный департамент с прошением отменить указ о вашем переселении, поскольку земля, на которой вы живете, якобы испокон веку принадлежала вам. Вы написали три письма и даже наняли в городе адвоката. Где это вы берете деньги на такую роскошь? Но правительство приняло окончательное решение, и я уполномочен сообщить его вам. Переселение состоится, как и было намечено. Это все. — Снисходительная сдержанность сменилась острой как бритва, неумолимой суровостью. — Так и передайте своим землякам, а старосте скажите, что я на него сержусь за то, что он не пришел ко мне сам.

Кобе, вертя ветхую панаму в расплюснутых пропыленных пальцах, негромко ответил:

— Мы передадим Хлангени все слово в слово. Но и вы, ваша милость, послушайте, что мы вам скажем от имени тех, кто нас прислал. — Он сделал паузу, перевел дыхание, взгляд его стал серьезным. — Нам объявили, что мы должны покинуть свою землю, землю наших предков. Нелегкое это дело — свалить вековой дуб. Корни у него глубокие. Можно, конечно, взять топор и срубить ствол — проще простого, но только корни все равно останутся, их не выкорчуешь. Так что дуб по-прежнему будет жить на старом месте.

— Что ты такое мелешь? — сузив глаза, прошипел комиссар.

— Это все, что нам поручено сказать.

— Ну вот что, — отрезал комиссар, — с меня довольно, не желаю слушать этот вздор!

— Мы пойдем теперь, — сказал Кобе. — Всего доброго, ваша милость. — Он нахлобучил пожелтевшую панаму, его спутник шагнул в сторону, пропуская старшего вперед, и они вышли из конторы на площадь, освещенную косыми лучами солнца.

— Ты ему все сказал, — проговорил тот, что был помоложе.

— Да, — вздохнул Кобе, — я все сказал. — Приложив палец к ноздре, он высморкался в пыль. Мимо, озорно звеня, промчался белый мальчишка на велосипеде, окутав их клубом бурый пыли, и злорадно рассмеялся через плечо. Они отряхнули пыль с ветхой одежды, и второй мужчина проворчал:

— Никакого уважения к старшим.

— Какой с ребенка спрос, — отозвался Қобе. — Пойдем-ка, путь неблизкий, надо быть в деревне к закату.

— Пойдем, ты ему все сказал.

Они пересекли площадь, вздымая фонтанчики пыли; оседаая, она затягивала следы их дырявых башмаков.

\* \* \*

Человек, который сидел на обочине, разувшись и опустив ноги в канаву, снова натянул ботинки и тщательно зашнуровал их. Он встал во весь рост в сухой канаве, пошевелил пальцами обутых ног, затем поднял с земли куртку и вскарабкался по склону канавы к проводочной изгороди. За нею в послеполуденном зное колыхались пропеченные солнцем поля. Он нагнулся и подлез под проволоку, стараясь не зацепиться за ржавые кольца. На нем была застиранная рубаша цвета хаки, прохудившаяся у воротника, и добела вылинявшие вельветовые брюки с бахромой на манжетах, покрытые въевшимися пятнами. Только грубо сколоченные ботинки были в порядке, и, когда он зашагал по вельду, ломкая корка бесплодной земли крошилась под их подошвами. Впереди и вокруг него простирались длинные сухие наделы красновато-желтой земли, окаймленные на горизонте невысокими скалистыми буграми, поросшими терном. Перекинув куртку через плечо, он шагал вперед, не замечая палящего солнца над головой, окрасившего дневной свет зловещей медью. Куртка была из саржи, армейского образца, один погончик оторвался, на сгибе рукава — дыра. Ткань была слишком плотной — днем, по жаре, в куртке не походишь.

Прокладывая себе путь в пыли, человек узнавал редкие, памятные ему приметы. Здесь мало что изменилось, думал он. Плоская, скучная равнина, поросшая чахлым кустарником, хрустящим под ногами, как валежник; вокруг сплошной базальт и известняк. Когда-то здесь водились куду с ветвистыми рогами и леопарды, а сейчас среди колючих кактусов и железняка лишь изредка проскользнет зеленая или коричневая мамба; красные тараканы сливаются с потрескавшейся красной землей, из которой, точно наперекор безжалостному светилу, торчат побеги боярышника. Местные жители, должно быть, все еще охотятся на антилоп и газелей. Но в основном

пастбища заняты домашним скотом: коровы той породы, что белые называют «африканер», местные толстозадые овцы щиплют жесткую траву вместе с завезенными сюда из Европы испанскими эскориалами и саксонскими мериносами. В сезон дождей, точно по велению добрых духов, ливни обрушиваются на низкорослые деревья и длинные стебельки молочая, напоминающие лезвия копий; на хлебные деревья — ровесников каменного века. Дождь кончается, и наступает время медового канюка, птицы дринго, трясогузки; время цветения колючих алоэ, саговника и подсолнухов.

Человек вспоминал хорошие времена, когда вставляли на полях колосья в человеческий рост, пастбища покрывались сочной травой, а овцы — густой шерстью. Белые помыщики, жившие в далеких городах, приезжали на фермы — посудачить об урожае, ягнятах, ценах на овчину и каракуль. Черные слуги обносили хозяев и гостей шипящим, поджаренным на огне мясом.

«Но я сюда ненадолго, — думал он, — не задержусь здесь». Он глядел на подрагивающую в знойном мареве землю и шагал вперед, время от времени меняя направление. От ходьбы он вспотел, рубаха потемнела на спине и под мышками. Он накрыл голову курткой, рукава свисали на спину. Впереди показались росшие в ряд карликовые деревья. Он вспомнил, что растут они вдоль старого русла, туда-то ему и надо. Солнце шпарило в спину, в голове слегка шумело. Странно, как это наряду с важными вещами память хранит всякие мелочи, хранит вечно. Бурая пыль взметалась из-под подошв, забивалась в ноздри и рот, но он привык и не замечал ее, пыль — это пустяки, ему не до нее, у него совсем другие заботы.

Ботинки скрипели по сухой земле, и он подумал: прямо удивительно, как человек может привязаться к своей обуви. Все детство он проходил босиком, да и юность, пожалуй, тоже. Ступни затвердели, заскорузли. Когда его впервые обули, он испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Конечно, поначалу было непривычно, ботинки натирали ноги, но потом не мог понять, как это раньше без них обходился.

Солнце клонилось все ниже к западу, постепенно приобретая четкие очертания, превращаясь из расплывшегося, бесформенного пятна в оранжевый диск. От колю-

чего кустарника и покрытых пылью валунов поползли удлиняющиеся тени.

Наконец он достиг деревьев. «Ну и ну, — подумал он с ухмылкой на пересохших губах, — они и не изменились вовсе. Эти деревья вечные. Если их не трогать, простоят и тысячу лет». Под корявыми стволами было прохладно, пятнистая тень пестрела пурпурными бликами. Деревья росли на краю длинной впадины, вдоль русла высохшего ручья. Он съехал по склону вниз, отчего пыль красным туманом повисла в воздухе, и, плюхнувшись на землю в тени деревьев, прислонился спиной к крошащемуся береговому выступу. Стянув с головы куртку, он вытер ею потное лицо, свернул ее в комок, подложил под голову вместо подушки, вытянул ноги, устраиваясь поудобнее на песчаном ложе, расслабился и затих.

Среди пучков осоки копошились насекомые. Муравьи и красные пауки пошли на него в атаку; рассекая желтый воздух крылышками, скакали кузнечики; черные жуки с блестящими круглыми спинками косолапо взбирались на горки мелкого, точно просеянного песка. Муравьишка торопился спрятаться от солнца в тени колючей веточки. Он полз так ловко, что на песке не оставалось следа. «А ведь эта букашка не просто так ползает, — подумал путник, — знает, куда и зачем ей надо. Вот и я, как этот муравьишка, знаю, куда иду и что мне делать. Полагалось бы по прибытии отметить у комиссара по делам туземцев. Об этом специально предупреждали, вручая железнодорожный билет третьего класса. Но мне осточертели комиссариаты, осточертели белые! Я сделаю то, зачем приехал, и плевать мне на все остальное!» Муравей взобрался на кучку песка и юркнул в едва заметную норку, не больше спичечной головки.

Путник поднялся на ноги, постоял, отряхнул пыль с одежды и зашагал вдоль высохшего русла. Куртку он теперь накинул на плечи. Он был черный, лет тридцати, с широкими выступающими скулами и короткой бородкой. Пропотевшая рубаша плотно облегала могучие плечи, из закатанных рукавов торчали мускулистые руки с шишковатыми пальцами, загрубевшими от ссадин. Шел он слегка сутулясь, словно сгибаясь под тяжестью плеч и рук. Ботинки, ступая по слежавшемуся песку, вздымали шлейф пыли.

Русло петляло, то сужаясь, как щель, то расширяясь в складчатые отмели, сохранявшие волнистый отпечаток



высохшего потока. Из-под ног катились камешки, хрустели сухие водоросли. Подошвы оставляли смазанные, нечеткие следы. Неглубокие ложбинки на другом берегу начали розоветь, по мере того как солнце катилось вниз, к горной гряде на горизонте.

Впереди слышалось блеяние овец, резкий, пронзительный свист, а за ним крик. Но он не поспешил на шум, шел все тем же размеренным шагом, следуя изгибу русла, вновь раздавшегося в ширину. На берегу, сбившись в кружок, стояли колючие деревья. Дно мертвого ручья заросло сорняками, кактусом опунцией, шершавой бурой травой. Несколько отощавших овец, припудренных красноватой пылью, щипали жесткую, лишенную влаги растительность распухшими от жажды губами. Маленькая отара негромко блеяла, овцы жались друг к другу. Лежавшая в тени берегового утеса собака — дворняга с порванными ушами и колючками в жесткой шерсти, — учуяв незнакомца, ошетичилась, часто задышала, вскочила на ноги.

Человек поравнялся с отарой, овцы, испугавшись, пустились наутек. Собака глухо зарычала, шерсть на ней встала дыбом. Но тут кто-то окликнул собаку, и, обернувшись на голос, путник увидел на противоположном берегу дырявое одеяло, накинутое на ветви терновника, и сидящего в его тени на корточках пастуха. Сложив руки на коленях, пастух глядел в его сторону. Свернув, путник еще издали разглядел подобие фетровой шляпы и протертые штаны. Пастух был костляв, но, несмотря на худобу, казался жилистым и крепким, точно вяленое мясо. Испещренное морщинами лицо было покрыто слоем пыли, будто разлиновано красными штрихами. Яркие и влажные глазки как две вымытые изюминки; курчавые седые волосы закрывают сморщенные уши; редкая бороденка тоже припущена пылью; сквозь прохудившиеся штанины торчат костлявые колени. Посасывая пустую трубку с высокой чашечкой и длинным мундштуком, он следил за путником, взбиравшимся вверх по крутому берегу. Зрачки в пропыленных глазных впадинах точно застыли, зубы сомкнулись на мундштуке.

Путник подошел к нему вплотную, отер потный лоб рукавом куртки, большая, тяжелая тень упала на пастуха.

— Как живешь, старина? Я тебя узнал, ты Мадонеле.

— И я тебя узнал, — отозвался пастух. — Твое имя Муриле, а белые фермеры дали тебе кличку Шиллинг. Шиллинг Муриле.

— Ох уж эти белые, — буркнул тот, кого звали Шиллинг Муриле, и сплюнул в сторону ручья.

— Белый нехорошо обошелся тогда с тобой и твоим братом, — глядя перед собой, сказал пастух. — Тебя отпустили? — Он вскинул глаза на молодого человека. — Садись, не стой на солнце, ты проделал долгий путь.

— Со станции иду. — Шиллинг Муриле присел на корточки возле старика.

Мадонеле, пососав трубку, спросил:

— Ты сейчас прямо оттуда?

Шиллинг порылся в карманах военной куртки, поглядывая в сторону овец, рассыпавшихся среди песчаных кочек русла. Собака, снова распластавшись в тени, следила за отарой сонными глазами.

— Да, прямо оттуда, — ответил Муриле, доставая из кармана уже распечатанный бумажный пакет с табаком. Обертка была оранжевого цвета. — Кури, — сказал он, протягивая пакет старцу. — Что за радость сосать пустую трубку?

— Хоу, — удивился пастух, подставляя сложенные совком ладони, — табак! Уж и не вспомню, когда видел его последний раз. — Он захихикал, как ребенок, и, развернув пошире упаковку, запустил в пакет тонкие пропыленные пальцы. Насыпав табак в высокую чашечку трубки, он тщательно, не торопясь примял его, предвкушая радость первой затяжки. — Добрый возили когда-то табачок из Магалиесберга, — сказал он с грустью в голосе.

— Эта марка называется «Боксер». — Муриле протянул пастуху коробок, тот чиркнул спичкой, затянулся, пуская клубы дыма, все не гася спичку, так что она, догорев до конца, едва не обожгла ему пальцы. Наконец бросив ее, он вынул трубку изо рта и замурлыкал от удовольствия.

— Хоу, хоу, хоу, вот это табачок! — отвернувшись, он сплюнул, и Муриле увидел натянутые сухожилия и шелушащуюся кожу на дряблой шее старика. Пастух заворочался, устраиваясь поудобнее, зарыл в сухой прибрежный песок мозолистые, разлапистые ступни с короткими пальцами и поломанными, похожими на ракушки ногтями. Он все попыхивал трубкой и молчал, пьянея от

затяжек, задумчиво уставясь в подернутую дымкой даль. Так они и сидели рядышком. Шиллинг Муриле не докучал старику расспросами. Достав из истончившихся штанов аккуратно сложенный листок оберточной бумаги, он оторвал от него полоску с неровными краями, остальное спрятал в карман, свернул самокрутку, лизнул ее по всей длине, чтобы ровно горела.

По ту сторону пересохшего ручья выжженная земля покрылась багровыми и лиловыми узорами, тени заползли в ложбины, горизонт плавился в розовом мареве.

Первым нарушил молчание пастух, задумчиво попыхивая трубкой.

— Плохо обошелся с вами белый человек, особенно с твоим братом.

Муриле не повернул головы, но глаза его сузились, он поднял камень и швырнул им в овец.

— Уж эти белые, — отозвался он негромко. — Я с ними больше не желаю знаться, нет мне до них дела.

Овцы, блея, медленно бродили по песчаному руслу, купаясь в пыли.

— Они — сила, — вздохнул пастух.

— Там, где я сидел, были такие — их тоже туда белые уpekли, — что призывали нас сражаться. Я часто слушал их речи.

— Сражаться с белыми? — переспросил пастух. — У нас тут тоже появилась одна...

Шиллинг Муриле, затянувшись дымом, сказал:

— Я-то сделаю свое дело. Затем и пришел сюда, отец.

— Что ты замышляешь? А я решил — парень домой вернулся.

— Да есть одно дельце, — повторил Муриле, вращая черными, как жуки, глазами. — А дома у меня теперь нет.

— Раз брата не стало, так и дома нет? А как же родственники, соседи? — возразил пастух. — Все мы твои братья. Я и тебя помню, и брата твоего. Вы были парни не промах, все делали вместе. И за скотиной приглядывали, и все прочее по хозяйству делали. Помню, когда вы должны были проходить обряд посвящения в мужчины, вас так и не дождались из леса, отправили даже охотников на розыски.

— Мы наткнулись на следы леопарда и пошли по ним. Но мне неохота вспоминать те времена.

— Почему бы нет? Может, и предков забыть прикажешь?

— Я ничего не забыл, все помню, просто говорить об этом не хочу.

Солнце приближалось к узкой гряде бурых гор на западе, и земля подернулась рыжеватым цветом, синими, лиловыми, муаровыми полосами; тут и там торчали серые глыбы железняка и колючий кустарник; тени все удлинялись. Пастух поднялся на ноги, и его худоба стала еще явственнее, под запыленной кожей проступали ребра.

— Пойдем — старый Хлангени собирает на закате сходку. Правда, сходки теперь не то что раньше. Его ведь турнули, назначили обычным старостой.

— Хлангени, значит, теперь уже не вождь?

Пастух цокнул языком, покачал головой.

— Не вождь. Во всяком случае, белые его не признают. Для них он — только староста деревни, хотя мы-то по-прежнему считаем его вождем. — Пастух снова покачал головой. — Сегодня будет о чем поговорить, не опоздать бы. Да и поесть пора, хотя не знаю, осталось ли что в котелке.

— Ни семьи, ни родни у меня нет, — сказал Муриле, вставая с земли. — Но я пойду с тобой — нам по пути.

— Хоу, — сказал пастух, — вроде память у тебя хорошая, а забыл, что оставшиеся без отца дети усыновляются деревней?

— Свое дело я сделаю сам, без посторонней помощи, — огрызнулся Муриле. Пастух тем временем снял с ветвей одеяло, надел его, как пончо, просунув голову в дыру посредине. Он отер пальцем пот с подкладки шляпы и снова нахлобучил ее на голову.

— Все равно пойдем в деревню. Мы ведь свои люди. А там поступай как знаешь. — Пастух ухмыльнулся и добавил с хитринкой: — К тому же, молодой человек, у тебя водится табачок.

Он съехал с берега к реке на босых пятках, свистнул собаке и, помахивая прутиком, погнал овец вперед. Овцы не торопясь, с ленцой семенили вдоль русла, и облако пыли тянулось вслед за ними. Собака, высунув язык, прыгала вокруг старика. Шиллинг Муриле подобрал с земли свою куртку и пошел следом, зарываясь подошвами в мягкий песок. Пройдя немного вдоль русла, пастух, все так же попыхивая трубкой, произнес:

— Я слышал, там, где ты был, с нашим братом обходятся круто.

— Это так, — подтвердил Муриле и посуровел. — Но там учишься ждать и помнить. — Старая ярость забурлила в нем. — Лучше ждать и помнить, чем языком трепать. Там живо попадешь в беду, если сболтнешь лишнее. Так что оставалось ждать.

— Если тебе неприятно, можешь об этом не говорить, — сказал пастух и тут же спросил смущенно, точно не в силах был совладать с искушением: — А табак вам давали?

— Это я купил, когда вышел оттуда. Но и там давали такой же, редко правда. Ботинки тоже мне выдали...

— Хоу, — изумился старик. — Таких ботинок здесь не видывали, даже у белых фермеров похуже. Мы тут и жрем-то не досыта, а уж об обуви и не мечтаем. Дожда давно не было, вот дела и пошли из рук вон. Видишь, это все деревенские овцы. Молодежь ушла на заработки, и пасти отару, кроме меня, некому.

Над пологими берегами ручья, на всем пространстве до самого горизонта подрагивали, переливаясь, коричневые, бежевые, бурые полосы, прочерченные бледными линиями. Солнце садилось и жгло уже не так свирепо; стучавшая в виски жара спала, хотя воздух еще не остыл.

— Почему колодец не отрыли? — спросил Муриле. — Под высохшим руслом есть вода. Если копнуть поглубже, сама хлынет наверх.

Пастух выдохнул дым, поглядывая в сторону собаки, загонявшей в стадо отбившуюся овцу.

— Одно время поговаривали о ветряке и насосе, но вдруг комиссар велел переселить нас отсюда. Кто бы дал кредит такой деревне, как наша? Да и не сеяли мы ничего из-за комиссарского приказа. Пришла бумага со списком, чиновник пометил краской дома. Об этом-то и будет говорить сегодня старый Хлангени.

— Люди живут здесь со времен наших дедов, — возмущился тот, кого звали Шиллинг Муриле, — да и раньше жили. — Он помолчал, точно прислушиваясь к тому, как гложет его старая ярость. — Разве мой брат не похоронен здесь?

Пастух согласно кивнул и щелкнул языком, стегая на ходу песок прутиком.

— Да, это так. Твой брат похоронен здесь.

Дальше они шли молча. Потом собака, хорошо знавшая дорогу, взбежала по едва заметной тропинке на косяг. Овцы, блея, повернули вслед. Люди тоже вскарабкались наверх и оказались среди низких дюн и каменистых холмиков. Колючие деревья и томимые жаждой ивы припадали ветвями к иссушенной земле. Вдали клубился дымок от костра; судя по всему, поля вдоль берега когда-то возделывались, теперь же здесь торчали только редкие сухие колоски. Они побрели по крошащимся дюнам, принюхиваясь к запаху дыма; где-то неподалеку перекликались дети. Овцы медленно свернули к загону из столбов и колючих веток, устроенному на пологом склоне холма.

\* \* \*

Когда Эдгар Стоупс сошел вниз, солнце уже ушло из холла; засохший сад, видневшийся в прямоугольнике задней двери, тоже был в тени. Из кухни доносился обычный перезвон кастрюль, стук ножей. Навозная муха сердито жужжала у стены. Где-то вдали прогудел поезд. Но все эти звуки не доходили до сознания Эдгара Стоупса, он направлялся к бару, ни о чем постороннем не думая. Ванна не принесла облегчения, желанной прохлады: тело снова было липким. Ему пришлось долго ждать в тесной ванной комнате, прежде чем в теплой воде, льющейся из крана, исчезли махры ржавчины. Черт, застрять в такой дыре из-за проклятого молебна, будь он неладен!

В крохотном холле со старинным комодом и портретом экс-президента на стене Эдгар наткнулся на Фани, собравшегося подмести переднее крыльцо. Из бара слышалось звяканье расставляемых стаканов.

— Эй ты! — напустился Эдгар на слугу. — Я велел тебе принести пива. Ты что, совсем безмозглый? Я жду — и никакого пива! Что с тобой стряслось, черт тебя побери!

Слуга явно оробел, смутился, зашелкал языком, завертел соломенным веником.

— О маста, я начисто забыл. Простите, забыл, как о смерти. Миес Кронер дала другое поручение, и ваше пиво вылетело у меня из головы.

— К черту! — в сердцах выпалил Стоупс. — А я еще дал тебе пять центов на чай!

— Маста, совсем забыл, — шаркая ногами в сандалиях, скулил слуга.

Стоупс сокрушенно покачал головой. Распахнулась дверь, ведущая в столовую, и в холл впорхнула госпожа Кронер, птичья головка настороженно завращалась от одного к другому. Сжимая в кулачке салфетку, она завизжала:

— Что такое? О, это вы, менир Стоупс! Что-нибудь не так?

— Да вот, — хмуро буркнул Стоупс, — попросил этого увальня принести мне бутылку пива, а он, конечно, забыл. Я прождал без толку.

— Осел! — взвизгнула хозяйка. — Этим болванам хоть кол на голове теши! Целый день с ним мучаюсь. Не можешь запомнить, что тебе велит баас?

Слуга выглядел пристыженным, несчастным, и Стоупс сказал:

— Да ладно уж, выпью пива в баре. — Он поморщился, когда мерзкая баба внезапно разразилась своим дурацким смехом.

— Ох уж эти мужчины, часа без пива прожить не могут!

Стоупс прошел через завешенную кругляшами дверь в бар, а хозяйка снова напустилась на слугу, коря его за глупость и нерасторопность.

Оказавшись в тенистой комнате с жалюзи на окне и низким потолком, Эдгар отер пылающее лицо чистым носовым платком — это последний. Снаружи солнце таяло, но было еще довольно светло. Из-за жалюзи и распахнутого входа с улицы в баре было достаточно прохладно, хотя подвешенный к потолку электрический вентилятор едва вращался, лениво разгоняя воздух. Пол только что подмели, и медный желобок, уложенный вдоль стойки, сверкал чистотой. У стены стояло два столика, а под окном — длинная скамья. На стенах — картины, полки, уставленные бутылками. Над стойкой — зеркало и увеличенная фотография в старинной золоченой раме, запечатлевшая группу мужчин подле крытого фургона. Одни стояли, другие сидели на корточках. Почти все с бородами, одеты в старомодные костюмы, опоясаны патронташами, кое у кого в руках ружья. При увеличении черты лица расплылись, мужчины походили

на призраки. Эдгар Стоупс уже знал, что это отряд лазутчиков, героев Бурской войны. На противоположной стене — портрет Кооса де ля Рея примерно такого же формата, что и фотография, борода лопатой, застегнутый на все пуговицы сюртук. Рядом с ним два окантованных эстампа, напечатанных отделом железнодорожной рекламы, — ландшафты работы художника Пирнифа.

Угасающий свет дня, пробивавшийся в щели жалюзи, расчертил пол блеклыми линиями. За стойкой возился сам Кронер в одной сорочке, без пиджака. Заученными движениями он вытирал прилавок тряпкой, как это делают все бармены на свете. Это был крепкий на вид мужчина с толстой шеей, чисто выбритыми красными щеками и затылком. Стоящие торчком русые волосы были похожи на соломенную крышу туземной хижины; пухлые руки, бегающие по прилавку, — в коричневых пятнышках, точно обсыпаны гречкой. Как это такой верзила, недоумевал Стоупс, мог жениться на своей кудахчущей пигалице? Еще хуже Мейзи, хотя, казалось бы, хуже не бывает! Но в голубых глазах Кронера ни намек на тоску и смирение, присущие подкаблучникам. Напротив, когда он протянул Стоупсу влажную пятерню через прилавок, в них вспыхнуло озорное лукавство.

— Менир Стоупс, снова в наших краях? Какими судьбами?

— Обычная поездка и, как всегда, остановился у вас. Мечтаю о ледяном пиве.

— Что там моя половина разворчалась? — спросил Кронер, доставая из-под прилавка бутылку. Он ловко откупорил ее о специальный крючок, привинченный к деревянной колонке, и налил пенистого пива в высокий стакан.

— Ах! — Стоупс блаженно вздохнул и надолго припал к стакану, потом отер пену с усов. — Вот чего мне недоставало! Ваша супруга распекала бóa. Я заказал пива, когда приехал, а этот болван забыл принести. Пришлось на него пожаловаться. Кстати, почему бы и вам со мной не выпить, угощаю!

— О, спасибо, с удовольствием, — ответил бармен и продолжал, качая головой: — Видите, на этих чертей совершенно нельзя положиться. Все на свете забывают. Нет, правда, они не такие, как мы. Постоянно приходится водить их за руку, все показывать и разжевывать. У жены просто иссякает терпение. Но ведь от них не из-



бавишься. — Он налил себе пива, поднес стакан к губам. — А как ваш бизнес?

— Нормально, — ответил Стоупс. — Главное — завети постоянных клиентов, а дальше все идет само собой, предлагай новые образчики и собирай заказы, сами знаете. Ну а как ваши успехи?

— Потихоньку. В нашем захолустье все по-старому, никаких особых событий не происходит. Слыхали о за-втрашнем молебне?

— Да, мне, видно, придется задержаться. Моя колымага рассыпается, а гараж завтра закрыт.

— Ну, передохнете. — Кронер ухмыльнулся тонкогубым ртом. — Здесь у нас уютно, спокойно, ничего не происходит.

«Уютно, спокойно, ничего не происходит, — повторил про себя Эдгар Стоупс. — Торчи тут с этой деревенщиной, такие же тупые, как их овцы!» В бар вошли двое мужчин и направились к стойке, пересекая бледные линии света на полу. Стоупс улыбнулся им, они кивнули в ответ и встали в дальнем конце бара. На них были рубахи с открытым воротом, шорты цвета хаки и сыромятные сапожки со шнуровкой, покрытые дорожной пылью. Облокотившись о стойку, они поздоровались с Кронером, который уже ставил перед ними стаканы, зная наперед, что они закажут, — это были завсегдатаи. А вот Стоупс здесь чужой, посторонний. Господи, думал он, отирая пену с усов, держатся со мной так, словно я черномазый. Чертовы буры, у них только волю и плуги на уме! В конце концов, чья эта страна, кто ею правит? Он стоял поодаль от вновь пришедших, наедине со своим стаканом, чувствуя себя всеми покинутым, заброшенным, и вспоминал ярко освещенные бары в его городе, рев музыкального автомата, разговоры о скачках, зазывный смех женщин... И снова подумал о Мейзи. Чертова кошка, всегда хмурая, вечные капризы, точно балованный ребенок. Ничего не хочет понять! Они могли бы отлично ладить, но ей невдомек, что он из кожи вон лезет, чтобы содержать ее, чтоб жить не хуже людей. Не его вина, что приходится заниматься таким делом. Он ведь не миллионер, не богатый наследник, кому-то надо быть и коммивояжером, сбывать лавочникам всю эту дребедень. До свадьбы Мейзи была шелковой, а теперь пилит его без передышки, особенно когда выпьет. Все ей не так. Надо что-то предпринимать — может, развестись?.. Поз-

воню-ка ей, предупрежу, что задерживаюсь. А к чему? Можно подумать, она тебя ждет не дождется. Держи карман шире! Небось сидит сейчас в киношке, пялит глаза на Стива Маккина и жалеет, что у нее не такой муж... Поначалу они находили общий язык, все было нормально, а теперь прямо сучка злая! Да ну ее к черту!

Маленький бар между тем заполнялся, мужчины говорили на африкаанс; на их лицах — следы небывалой жары: бронзовый загар, облупившиеся носы, потрескавшиеся губы. Почти все в рубашках без пиджаков, в брюках либо шортах цвета хаки. Ни одной женщины — в этих краях их в бары не водят. Слыханное ли дело, чтобы мать семейства пила спиртное в общественном заведении! Эти парни держат своих баб взаперти, почтенных бурских матрон прячут от нескромных глаз, хранят под семью замками. Зато в церковь завтра все как одна явятся.

Он не случайно вспомнил о церкви — двое мужчин рядом с ним обсуждали завтрашний молебен.

— Нынешняя засуха прямо из ряда вон. Наказание господне! Чем мы только провинились перед ним? — Говорящий был в клетчатой спортивной рубашке, редкие пряди светлых волос зачесаны на затылок. Шея над воротничком обгорела, покрасневшая кожа шелушилась.

— Я вложил деньги в овец, — отхлебнув пива, вступил второй. — Пастор наш, преподобный Виссер, надеюсь, не подведет. Только бы проповедь не была чересчур длинной. Мне надо отогнать отару на север, путь не близкий!..

— Преподобный обычно говорит долго, но в его проповедях много толковых мыслей. Послушаем, что он завтра нам скажет.

Стоупс подозревал Кронера и заказал двойную порцию коньяку. Стоявший к нему спиной фермер обернулся на звук незнакомого голоса, посмотрел на Стоупса, потом вновь перевел взгляд на собеседника, и оба перешли на полупшепот, словно бы опасаясь чужих ушей. И опять Стоупс почувствовал себя отверженным и поспешил укрыться за поношенной кольчугой своего цинизма, проклиная про себя этих дураков, их овец, затеянный ими молебен — всю эту показуху и лицемерие.

Однако кто-то из собравшихся в баре узнал его.

— Менир Стоупс, — раздался за его спиной голос, — добрый вечер! — Это был Класс, рыжий механик из га-

ража, сменивший замасленный комбинезон на чистую рубашу цвета хаки и брюки, едва сходящиеся на внушительном животе. Обветренное лицо, казалось, долго драили щеткой, розовый череп свежо посверкивал сквозь подстриженные бобриком рыжие волосы. — Я еще разок слазил под капот. — Он покачал головой. — Придется с ней повозиться, мистер. Само собой, я постараюсь, чтобы все было в лучшем виде.

— Лишь бы мне до дому добраться, — сказал Стоупс. — Езды тут от силы полдня. Буду вам очень благодарен.

— Не могу ничего обещать заранее, посмотрим, как пойдет дело. Но дома вам придется основательно ею заняться. — Он отпил глоток из стакана, который сжимал в огромной ладони. — Примусь за нее завтра после молебна, как условились.

Он собрался было что-то добавить, но дружки с хохотом оттащили его за рукава рубахи.

— Айда, Клаас, — закричал один из них, — Дирк Нелс хвастается, что он сильнее тебя. Не подкачай, мы на тебя поставили дюжину пива. Дирк утверждает, что припечатает твою руку в две минуты.

Рыжий Класс загоготал, обнажив прокуренные зубы, и, отвернувшись от Стоупса, потопал за дружками.

Половину стойки очистили от стаканов и придвинули к ней два высоких табурета. На один плюхнулся толстяк с круглым как блин, румяным лицом и бритой головой, добродушно улыбаясь столпившимся вокруг мужчинам. Клаас сел на второй табурет. Эдгар Стоупс, потягивая из рюмки, протиснулся поближе. От коньяка внутри сделалось тепло, захотелось быть приветливым, общительным. Мужчины, похлопывая силачей по плечам, подбадривали своих любимцев. Соперники обменялись рукопожатием.

— Клаас, старина, готов ли ты помериться силой?

— К твоим услугам, Нелс, — осклабился рыжий, — к твоим услугам.

— В прошлом году на празднике ты, говорят, одолел того парня из Марицдорпа. Только смотри, со мной у тебя этот номер так легко не пройдет, во мне веса побольше.

— Может, и так, старина, только не в весе дело.

— Сейчас узнаем, кому раскошелиться на пиво для всей честной компании,

Уставив левую руку на бедро, они сомкнули правые, сцепили пальцы, и поединок начался. Зрители окружили их плотным кольцом, оттеснив Стоупса. Он встал на цыпочки, пытаясь заглянуть через головы сгрудившихся болельщиков, потом с напускным равнодушием отошел в сторонку, думая про себя: «Дети, ну прямо как мальчишки!»

На свободном конце стойки высокий светловолосый мужчина беседовал с Кронером.

— Этот Нелс — крепкий орешек. Однажды на соревнованиях он одолел всех.

У говорящего была осанка игрока в регби, и держался он с завидной непринужденностью. На нем были тщательно отутюженные брюки и легкая куртка. Гладкое, красивое лицо; ясные глаза излучали жизнерадостность. Он учтиво улыбнулся Стоупсу, вставшему рядом с ним у стойки, обнажив при этом ровные белые зубы.

— Вы, как видно, гость в нашем городке, — произнес красавец, и Стоупс сразу уловил знакомую профессиональную интонацию. Коллега, тоже из тех, что лезет людям в душу, хочет всем понравиться. Небось ломает голову, зачем я сюда пожаловал и нельзя ли меня использовать в своих целях. Интересно, чем он торгует, что всучает простофилям? Вечный страх перед конкурентами научил Стоупса подозрительности, он не верил приветливым излияниям, обезоруживающим улыбкам и похлопываниям по плечу. Но этот парень местный, и воспевание зубных щеток фирмы «Смайлбрайт» или взбывалок для яиц явно не его бизнес.

Стоупс кивнул, ответил улыбкой на улыбку, в то время как Кронер, стараясь перекричать болельщиков, представил ему красавчика.

— Это менир Меулен, Ханнес Меулен, наш кандидат в парламент.

«Ага, — подумал Стоупс, — так это себя он хочет сбить местному быдлу!» Протягивая руку, он вслух сказал:

— Рад с вами познакомиться, сэр. Моя фамилия — Стоупс. От души желаю удачи на выборах.

Эдгар ощутил крепкое, уверенное рукопожатие, в ясных глазах играла улыбка, белые зубы пленительно сверкали.

— Данки, — поблагодарил Меулен, — спасибо!

— Что вы выпьете? — предложил Стоупс.

— Благодарю вас, пожалуй, пиво. — Стоупсу понравилось, что этот тип принял угощение не кочевряжась. Я для него не соперник, догадался Стоупс. Сегодня здесь, а завтра и след мой простыл, и никаких споров насчет того, чьи пластмассовые чашки лучше.

— Мистер Стоупс снабжает наш городок товарами, — пояснил Кронер, потягивая пиво, — следит за тем чтобы в магазинах всего было в избытке.

На другой половине бара поединок продолжался под аккомпанемент взволнованных выкриков болельщиков.

— Самое главное, мистер Стоупс, — изрек Меулен, — это не отрываться от простых людей, таких вот фермеров, как мы. Вам повезло, что по роду своей деятельности вы бываете у нас. Я придаю особое значение контактам между населением, говорящим по-английски и на африкаанс. В нынешние нелегкие времена нам, как никогда раньше, необходимо быть вместе, держаться заодно.

Отерев пену с усов, Эдгар Стоупс ответил:

— Я с вами совершенно согласен.

— Вы принадлежите к какой-нибудь партии, мейнри? — спросил красавчик.

— Сказать по правде, нет, — ответил Стоупс. — Видите ли, при моем занятии...

— Я прекрасно понимаю. Партии лишь разделяют людей. У всех у нас одна общая забота — будущее и целостность нашей нации. Мы живем в тревожные времена. Если вы следите за газетами...

— Верно, верно, — тряся русой копной, поддакивал Кронер за стойкой.

— ...лишнее доказательство того, что нам следует забыть старые обиды и помышлять только об общем благе, о сохранении нашего уклада жизни. Наш народ не поскупился на жертвы, чтобы сделать эту страну столь гордой и великодушной.

— Целиком разделяю ваше мнение, — ввернул Стоупс. — Сам я далек от политики, но вам желаю всяческих успехов.

— Как долго вы у нас пробудете?

— Мой автомобиль в гараже, э-э... нуждается в ремонте. Очевидно, придется задержаться здесь на день, другой.

— Может быть, у нас будет случай поговорить поподробнее. — Меулен вытер губы белоснежным плат-

ком.— Я тоже остановился у Кронеров, завтра пойду на молебен. Надеюсь, мы еще встретимся. Спасибо за пиво.

— Не стоит благодарности.

Белозубо улыбнувшись Стоупсу, Меулен обратился к бармену:

— Если меня будут спрашивать, скажите, что я в Стинхаузе.

Он направился к толпе болельщиков, поединок все еще продолжался. Стоупс заметил, что мужчины расступаются перед красавчиком, улыбаются, кивают, пожимают руку своему кандидату.

— Мистеру Меулену принадлежит одна из овцеводческих ферм в округе,— заговорил Кронер.— Вернее, владелец — его дед, а Ханнес ведет дела. Старику это уже не под силу.— Он ткнул пальцем в сторону фотографии с ветеранами Бурской войны.— Вот тут старый Джоханнес Меулен. Он ушел из дому подростком, вступил в отряд конницы де ля Рея. Когда вернулся с войны, англичане едва не расстреляли его за измену, но потом отпустили, оставили в покое.

Эдгар Стоупс уставился на фотографию, но не мог, как ни старался, разглядеть лица на мутном снимке. Видны были лишь бороды, патронташи и ружья системы «маузер». Он отыскал глазами Ханнеса Меулена, который перешучивался с болельщиками, и подумал: «Напыщенный, самовлюбленный осел. «Англичане и буры, соединяйтесь!», а сам по-английски и слова не сказал. Ему небось это кажется унижительным». Стоупс решил, что его первое впечатление о Меулене было ошибочным.

— Да уж, правильный человек,— положив толстые веснушчатые руки на прилавок, говорил Кронер.— Во всей округе лучшего депутата не сыщешь. Искренне печется о нас. Несколько лет назад у него приключилась неприятность с черномазым, и Меулен был условно осужден, но дело не стоило выеденного яйца, сейчас о нем никто и не вспоминает. Этот парень далеко пойдет!

Снаружи день догорал, и бар погружался в полумрак. Стоупс подумал, что настало время отведать наперченных котлет госпожи Кронер. Он допил свой стакан, помахал бармену рукой и пошел к стеклянным дверям. Позади него раздались крики, улюлюканье, хохот — поединок завершился,— но он даже не обернулся, чтобы узнать, кто же победил.

Вокруг шахтных терриконов испокон веку валялись груды ржавых обломков, темные скелеты отработавших свое подъемников. Отсюда начинались захламленные улицы, застроенные одноэтажными домишками и грязными гостиницами с железными балкончиками. После на шумевшей стачки жившие здесь белые шахтеры почти все уехали, но ее отец остался, словно было бы предательством бросить крошечную лавку, загромажденную батареями банок с джемом и бутылей с подсолнечным маслом, пирамидами зловонных кусков стирального мыла.

Память о том, как правительство при помощи артиллерии одолело бунтовавших горняков, вооруженных долотопными обрезами и динамитными шашками, сохранилась лишь в учебниках истории, а лавка все стояла. Отец иногда показывал дочери отверстия от пуль в наружной стене с таким видом, словно принимал участие в перестрелке. На самом деле он запер тогда лавку и укрылся в своей квартирке наверху. В то время как он отважно поглядывал на улицу сквозь щель в оконном ставне, его супруга в ужасе забилась в платяной шкаф.

Впоследствии он мог с гордостью утверждать, что видел все своими глазами, от начала до конца, более того, сам принимал во всем участие. Иногда даже хвастался, будто был лично знаком с Таффи Лонгом,— заведомая ложь! В действительности же дело обстояло иначе. Незадолго до бурных событий он приобрел лавчонку со всеми припасами и потрохами у наследников ее бывшего хозяина — сирийца. Ему было начхать на забастовщиков, бросивших вызов правительству. Он решил, что ему здесь ничто не угрожает и незачем отсюда уезжать.

Белые постепенно оставили этот район, поселившись в других частях города, но Барендс точно прирос к лавке, хотя сюда переехали «кули», цветные и китайцы, и он оказался в их плотном кольце. Но ведь им тоже надо есть, не так ли? Он бойко торговал сгущенным молоком, пряностями, сеточками для волос и прочей мелочью.

И все же здесь стало не так, как было прежде. С нынешними клиентами душу не отведешь. О чем говорить с этими косоглазыми? Потом от какой-то желудочной хвори умерла его жена, и Барендсу все опостылело, он забросил лавчонку. Товары на полках покрывались

пылью, дела шли все хуже — «кули» пооткрывали собственные лавки. Стройные ряды консервных банок и бутылок исчезли под обрывками бумаги, пустыми картонными ящиками, наваленными до потолка; на полках сыр лежал вперемешку с мылом, табак — с коробками сардин. Лавка напоминала укрепления, зарастающие травой в мирное время. Квартирка наверху пришла в запустение, на замызганном буфете выстроилась батарея пустых бутылок из-под шерри.

— Тебе надо взять себя в руки, — увещевал Барендса приезжавший погостить брат. Сам он работал на железной дороге. Начинал стрелочником. Потом правительство решило постепенно заменить всех черных служащих белыми или, как тогда говорили, «цивилизованными кадрами». Так он стал бригадиром, а со временем вырос до десятника.

— Годы идут, дела у всех поправляются, а ты прозябаешь тут, в этой богом забытой дыре. Посмотри на чумазных индусов и китайцев — даже они тебя обскакали.

— Как-никак, а лавка-то еще моя. Значит, я сохранил свой бизнес.

— Да твой бизнес гроша ломаного не стоит. Знаешь что, старина, тебе просто необходимо жениться. Бог свидетель, в этом твое спасение.

Брат и познакомил его с Элизабет Грей. Втроем они провели несколько вечеров в холле гостиницы за праздной болтовней. Она носила вставные челюсти и громко клацала ими при разговоре. Ее муж помер от чахотки; она, как и Барендс, страдала от одиночества, но по-своему. Грандиозная дамочка, с рыжими волосами и лицом, похожим на меловую гору. Хлебом ее не корми — дай покомандовать, навести порядок. Барендс не успел оглянуться, как оказался у нее под каблуком, она проглотила его вместе с лавкой.

Под ее неусыпным оком бизнес пошел на поправку. Она быстро прибрала все к рукам, навела образцовый порядок, и лавка стала снова процветать, невзирая на конкурентов. Она рассталась с большинством бакалейных товаров — их ведь можно купить где угодно; освободившееся место заняли бутылки с прохладительными напитками, стопки свежих газет, в том числе специально издававшихся для цветных; журналы мод, комиксы, развлекательные книжонки, киножурналы. Кроме того, всякая всячина, необходимая в хозяйстве: ножи, чайные



ложки, наборы гребешков и расчесок, пробочники — индийские лавки таких товаров не держали. Наняли нескольких туземцев — прибирать в лавке, разносить покупки. Раз в неделю приходила черная толстуха прачка. Со всем остальным бывшая вдова, а ныне миссис Барендс управлялась сама. Она заказывала товар, оформляла витрину, сидела за кассой, вела учет. Ее супруг, оттесненный на задний план, проводил все больше времени наверху. Он стал похож на тень, привидение в замке — жалкий, замкнувшийся в себе человек, скорее незваный гость, чем хозяин.

Каково же было его изумление, когда супруга вдруг подарила ему дочь! Не меньшим сюрпризом явилась эта новость и для знакомых, с которыми поддерживала отношения миссис Барендс. Все было обставлено ею таким образом, словно речь шла о доставке партии телятины.

— Назовем ее Мейзи, — не терпящим возражений тоном объявила она мужу, лежа на больничной койке. — Мне нравится это имя.

Барендс был другого мнения, но спорить не стал. Он робко сидел на краешке кровати, смущенно держа на коленях пакет с бананами и коробку печенья «Ассорти». Ребенок на старости лет! Его появление на свет пугало Барендса. Лиззи, можно сказать, тоже уже не девушка, хотя фигура ее хорошо сохранилась, держится прямо, как амазонка.

Когда кончилась война, город снова захлестнула стачка. Теперь бастовали уже черные углекопы. Барендс жадно читал газетные отчеты, вспоминал былые времена. На сей раз все пошло иначе. Солдаты выступили против забастовщиков с примкнутыми штыками, у черных же не было ни ружей, ни динамита. Их нетрудно было сломить, и полиция арестовала зачинщиков-коммунистов.

— Мне нет дела до политики, — заявила миссис Барендс. — Пусть правительство разбирается с кафрами. Для нас важнее всего наш бизнес.

Ребенка держали наверху, в комнатах, обставленных по последней моде. Старинный буфет и платяной шкаф, в котором пряталась покойная миссис Барендс, новая хозяйка выбросила. Соседские дети не компания для нашей дочери! Когда настало время учить Мейзи, мамаша определила ее в отдаленную школу «только для белых», отец каждый день провожал и встречал дочь, они ездили в сегрегированных трамваях. После уроков де-

вочка сидела с матерью в лавке. Отец охотно показывал ей пулевые пробойны в стене. То и дело позвякивал кассовый аппарат, мать отпускала товары черным покупателям. Девочка накачивалась лимонадом, листала комиксы, журналы мод, альбомы с фотографиями кинозвезд. Среднюю школу она не кончила, одолела только начальную ступень. Потом учение ей наскучило, она забросила учебники и провалилась на экзаменах.

— Будет помогать мне в лавке,— решила миссис Барендс.— Не такая уж премудрость — подсчитать сдачу, хотя арифметика и не ее конек.

Мейзи поначалу новое занятие нравилось. Отпустив покупателя, можно было читать про кинозвезд, разглядывать последние модели платьев для девочек. Но и это ей вскоре приелось. К счастью, по субботам лавку закрывали к обеду, и Мейзи отправлялась в киношку — «только для европейцев». Она знала назубок всю подноготную кинозвезд, особенно мужчин; делала прическу, как у самых знаменитых актрис. Одну неделю она была Элис Фэй или Джун Оллисон, следующую — Гриир Гарсон, Элис Смит или Ланой Тернер.

Наверху, в тесной, заставленной мебелью комнатенке, она раздевалась донага и часами вертелась перед зеркалом. Господи, неужто это я! Упругий бюст был предметом ее особой гордости. Я, пожалуй, смахиваю на Ронду Флеминг, решила Мейзи.

За занавесками из вошеного ситца виднелись трущобы, крытые ржавым гофрированным железом, простиравшиеся до самого горизонта, до прямоугольных коробок небоскребов, воздвигнутых в центре города. В отдалении громыхали сегрегированные трамваи.

— Дуреха!— все чаще бранилась мать.— У тебя все мысли о кино да чертовых актрисах. Приглядывала бы за лавкой, это же в твоих интересах. Когда нас с отцом не станет, она ведь тебе достанется.

— Большая радость,— позволяла себе огрызаться Мейзи,— всю жизнь прислуживать черномазым!

Она грезила яркими огнями и неоновой рекламой центральных улиц.

— Ты такая же неблагодарная, как твой отец.

За окнами лавки шныряли цветные и черные, в воздухе вечно носился запах восточных пряностей.

Со временем у нее стали появляться ухажеры, киношные знакомства. Поцелуи в затемненном зале. Все

зависело от того, на кого из киногероев смахивал очередной парень. Сначала она втрескалась в «Тони Кэртиса», но потом каждый второй мальчишка завел себе такую стрижку. Другой был вылитый Алан Лэдд, третий — точь-в-точь Оди Мэрфи.

По субботам ей, как правило, удавалось стянуть фунт-другой из кассы: после дневного сеанса можно было зайти в молочный бар или сосисочную, украдкой выкурить сигаретку и даже пропустить джина с лимоном. Мятная жевательная резинка отбивала запах спиртного. Мейзи стала возвращаться домой все позже, затемно, к вшему неудовольствию матери.

Однажды она лихо прокатилась в автомобиле с компанией подростков. Сплетенные ноги, ищущие руки, игривый хохоток. Мальчишки с длинными напomaженными волосами припасли вина. Запахло весельем, самодельными сигаретами. Мейзи помнила, что они доехали до Зоологического озера уже в темноте, помнила смех, визг и кутерьму; потом она захмелела, вела себя чересчур фривольно. Ее парень был копия Роберта Митчема.

— Эй, не очень-то!..

Ее высадили недалеко от дома. Прежде чем войти, она кое-как привела в порядок смятое платье. Запершись в своей комнатке, она подошла к зеркалу, стала разглядывать себя со смутным беспокойством. Вроде ничего не заметно. Слава богу, ничего и не было. Она дала себе слово — таким прогулкам конец!

— Придется взять тебя в ежовые рукавицы, юная леди! — не раз и не два грозила тучнеющая, вечно хмурая миссис Барендс, щелкая вставными челюстями. — Изволь прямо из кино возвращаться домой. Дождешься — подкараулят тебя кафры! Если у тебя завелся парень, приведи его сюда, покажи матери. Так поступают приличные девушки. Нечего нас бояться, мы его не съедем. — Она говорила о себе «мы», на королевский манер, вовсе не имея в виду безгласного старика, который слонялся по дому, словно призрак.

Господи, кого сюда приведешь! Ведь они живут на самом краю гетто для черномазых. Днем белые забулдыги распивают вино в проулках прямо из горлышка, индианки в сари трещат с соседками на тротуарах. Она никому не разрешала себя провожать, бежала одна несколько кварталов от трамвайной остановки до дома, чтобы, не дай бог, кавалеры не узнали ее адреса.

А потом на сцене появился Эдгар Стоупс. Их прежний поставщик ввалился с ним как-то к вечеру в лавку и весело затараторил:

— Добрый день, леди, познакомьтесь с моим коллегой, теперь он будет обслуживать ваш район. Зовут его Эдгар, Эдгар Стоупс. Уверен, вы будете им довольны так же, как были довольны мной.

Малость смахивает на Вана Джонсона, решила Мейзи Барендс, разглядывая нового коммивояжера поверх раскрытого журнала. Или нет, скорее, на Брайана Донлеви, а впрочем, и на того, и на другого. Она подошла поздороваться. Стоупс пожал руку матери и дочке, распуская лучезарные улыбки: пусть клиенты видят, что он всегда в прекрасном настроении! А эта куколка хоть куда, блондинка, бюст, словом, все на месте! Отец семейства к гостям не вышел, сидел наверху и слушал репортаж о регби.

Стоупс стал регулярно наведываться к ним. Раз в месяц миссис Барендс делала ему заказы, пополняя запасы товаров в лавке.

— Славный у вас бизнес, леди, — улыбался он, смачивая во рту кончик химического карандаша. — Что еще человеку надо! Деньги в кассе, значит, и в банке — счет. Сразу видно, хозяйева вы крепкие, с головой! — Он постучал по своей каштановой шевелюре. — Мой девиз — «Верим мы только богу, с остальных берем наличными!..»

— У этого молодого человека есть хватка, — высказала свое суждение Элизабет Барендс. — Я ее выше всего ценю в мужчинах. Он далеко пойдет, вот увидишь! Не то что твой папаша.

— Пойдет — из одной лавки в другую! — съязвила Мейзи.

— Ты не разбираешься в людях, — заклацала вставными челюстями мать. — Точь-в-точь как отец. Вспомнить страшно, что здесь творилось до меня — ну прямо индийская забегаловка. Помяни мое слово — Стоупс не век будет собирать по лавкам заказы. Быть ему управляющим или директором.

Пышные формы Мейзи произвели должное впечатление, и однажды Эдгар Стоупс пригласил все семейство провести вечер в холле одной центральной гостиницы.

— Черт побери, — с напускной веселостью начал он. — Нельзя же в лавке век вековать. Работа, работа, а раз-

влекаться когда?— Стоупс делал вклад, как бы помещал капитал под будущие проценты: Мейзи достаточно смазлива, но ведь надо задобрить и толстуху, и старого монстра.

— Пожалуй, быть по-вашему,— заклацала миссис Барендс, звук этот всегда возникал, когда она была взволнована или же источала редкие улыбки.— Можно и отдохнуть вечерок. Но вы, конечно, понимаете, наша девочка совсем не приучена к спиртному.

— Ничего,— засмеялся Стоупс,— в крайнем случае отнесем ее домой.

В переполненном шумном зале с лампами в синих абажурах им был оставлен столик. Известковое лицо мамы зловеще голубело в полумраке. Она чопорно цедила имбирную шипучку. Отец семейства отрешенно горбился над стаканом пива, и Эдгар испытал жалость к несчастному старику. Сам он пил виски, прижимаясь коленом к колену Мейзи; та лукаво улыбалась ему, потягивая шенди, заказанное с соизволения старой фурии. Родителям было, конечно, невдомек, что дочь предпочла бы джин с лимоном. Прямо куколка, думал Стоупс, только вот глаза странные, точно зеленые камушки. Улучив момент, он поймал под столом ее ладонь, делая при этом вид, что внимательно слушает мамыны благоглупости.

Несколько дней спустя, застав Мейзи одну в лавке, он сказал ей серьезным тоном:

— Послушай, такой красотке, как ты, не место в этой дыре. Что за жизнь — торчать целый день за прилавком. Тебе надо удирать отсюда, повидать мир. Понятно, не одной.

— О, мир повидать,— ответила она с ехидством, холодно посверкивая зелеными глазами.— Думаешь, я нигде, кроме этой лавки, не бывала? Да у меня полно знакомых парней!

— Не сомневаюсь,— засмеялся он.— Хочешь, я попрошу старуху, чтобы она отпустила нас вдвоем в субботний вечерок. Хочешь?

— Куда пойдем? В киношку, кафе, бар?

— Бар!— воскликнул он с беззлобным сарказмом.— Эка невидаль! Можно махнуть на танцы в Загородный клуб. Роскошное местечко, прямо создано для тебя.— Он подмигнул ей.— Ну, что ты на это скажешь?

— Загородный клуб? Ты что же, состоишь в нем?

— Спрашиваешь! Стал бы я тебя иначе звать!

— Ладно, я подумаю. Вот заказы — мать оставила, ей надо было уйти, родню провести.

Стоупс все не уходил, глазел на ее волосы. В тот раз они были модного пепельного цвета.

— Я не возражаю, — сказала миссис Барендс, оскалив зубы, похожие на миниатюрные надгробия. — Полагаю, вам можно доверить нашу девочку.

— Еще бы, вы же меня знаете, — хихикнул Стоупс, в очередной раз записывая ее заказы в свой блокнот. — Мне доставит несравненное наслаждение сопровождать очаровательную мисс Барендс. — Он украдкой бросил взгляд на манящий бюст девушки. — Ну а как ваш бизнес, дела идут?

— Ничего, ничего, грех жаловаться.

— Ну и прекрасно. Вы продаете людям то, в чем они испытывают потребность, и они довольны. Это главное. Только не давайте клиентам чрезмерных поблажек. Вы не можете себе этого позволить. Не советую, например, отпускать товары в кредит. — Он захлопнул блокнот, надел на обложку аптечную резинку. — Люди не ценят доброго отношения. Посмотрите на этих, извините за выражение, безмозглых туземцев. Они отказываются ездить в городском транспорте. Им, видите ли, не нравятся автобусы «только для черных», они их бойкотируют, и цена билетов их не устраивает! А мы платим за проезд и не жалуемся. Ну и чего же они добились? Ходят пешком и натирают себе мозоли.

— Но они вроде бы бедные, — вступила Мейзи, отрываясь от иллюстрированного журнала. — А цены за проезд подскочили, я в газетах читала.

— Бедные? — пожал плечами Стоупс. — А кто им велит быть бедными? Вот вы бедные или я бедный? Нет, потому что мы обладаем инициативой, у нас котелок варит. «Всегда и во всем стремись быть первым!» — вот мой девиз. Если бы не мы, эта страна никогда не стала бы цивилизованной. Кому охота натирать мозоли? — Он игриво потрепал Мейзи по руке. — Тебе, девочка, это, во всяком случае, не грозит, поскольку у меня есть машина...

— Он производит самое благоприятное впечатление, — рассуждала вслух миссис Барендс, расставляя коробки с жевательной резинкой «Ригли». — У него блестящие перспективы. Подумать только, такой молодой, а

думает о будущем. В тот вечер, когда мы ходили в гостиницу, он рассказал мне, что оформил пожизненную страховку. Умница, не хочет, чтобы его вдова на старости лет осталась без куска хлеба.

— Господи, что мне надеть?— простила Мейзи.— Плевать мне на страховку, у меня нет приличного платья, а ведь он ведет меня в Загородный клуб!

— Так и быть, в субботу с утра поедem в центр, что-нибудь присмотрим. Надеюсь, отец управится в лавке один. Правда, он стал совсем рассеянным, а этот чертов негритос, Исмаил, ворует конфеты... Надо же, если он умрет естественной смертью или, не дай бог, погибнет в аварии, его вдова будет обеспечена. А в фирме у них свой пенсионный фонд... Платье тебе подберем, по такому случаю можно и в дорогой магазин сходить...

Когда Эдгар Стоупс подкатил к лавке на своем «шевроле», Мейзи уже ждала его разодетая в пух и прах. Губы в оранжевой помаде призывно улыбались; правда, цвет помады не очень гармонировал с отбеленными, тщательно уложенными волосами. Зато платье в обтяжку подчеркивает юную крутизну бедер, на груди — низкий вырез. Как эта ведьма мать только разрешила? Стоупс остался доволен туалетом Мейзи. «Готов поспорить, — сказал он себе, распаляя воображение, — она еще девственница!»

Они миновали трущобный район и оказались в запруженных машинами городских каньонах, среди гигантских каменных махин: учреждений, отелей, жилых домов, расцвеченных скачущим неоном. На тротуарах толпы людей, разодетая публика у театральных подъездов. Мейзи пожирала глазами «настоящую жизнь».

— Скоро поменяю свою телегу, — говорил тем временем Эдгар, — фирма дает мне дотацию.

В раскрытом перчаточном ящичке лежал блокнот для заказов.

Загородный клуб был расположен на окраине, среди зеленых лужаек и деревьев. На стоянке для машин — гирлянды разноцветных лампочек. Из здания доносилась музыка, оркестр играл самбу. В вестибюле Стоупс повел ее к дамской комнате — пусть зайдет поправит прическу, а он тем временем договорится о столике. Ему надо было ее спровадить, чтобы она не видела, как он покупает билеты, — он ведь бахвалился и вовсе не был членом клуба. Потом они прошли в бальный зал, снова

разноцветные гирлянды, китайские фонарики. На эстраде — музыканты в золотых и серебряных блестках, за стеклянной дверью — веранда. Индус-официант в красном смокинге и белых перчатках проводил их к столику у стены.

— Нравится тебе здесь? — спросил Стоупс, заказав ей джинс с лимоном, а себе бренди.

— Мм, еще бы! Никогда не бывала в таком местечке. — А про себя подумала: «В кино показывают ночные клубы и пошкарнее. Взять хотя бы тот фильм, с Ритой Хейворт и Джин Килли...»

— Что за жизнь у тебя, дорогуша, — начал он, когда принесли спиртное, — целый день в лавке, и видишь-то одних черномазых. Ты стоишь бóльшего.

— В самом деле?

— Истинная правда! Надо позаботиться о будущем. Ну, как тебе джинс с лимоном?

— То что надо, спасибо! — Она повела обнаженными плечами. — Разве это от меня зависит, видно, уж так на роду написано.

Он заказал еще выпивки.

— Вот-вот, я так и думал. У тебя в корне неверный подход. Торопись урвать от жизни кусок пожирнее, каждый за себя, к черту сомнения!

— А ты парень не промах. — В ее зеленых глазах сквозила насмешка.

Он хихикнул и лукаво подмигнул в ответ.

— Хочешь, потанцуем?

Встав из-за столика, они протиснулись на середину зала, оказавшись в плотном кольце танцующих пар.

— Значит, я, бедняжка, стою бóльшего? — переспросила она, припав к его плечу. От джина ей сразу сделалось весело.

— Я хотел сказать одно — тебе надо чаще бывать на людях.

— И это все?

Он провел ладонью по ее спине, теснее прижался к ней.

— Гадкий шалунишка. — Она притворно надула губки. — Знаю я, что ты имел в виду под жирным кусочком.

Они вернулись за столик и допили спиртное.

— Здесь чересчур шумно, — сказал он. — Пойдем на воздух, я покажу тебе парк.

— Зачем? Чего я там не видела?



— Пойдем — я так хочу.

Она покорно поплелась за ним мимо веселящихся за соседними столиками компаний к стеклянной двери.

На веранде было еще больше цветных огней, чем в зале, словно забыли снять рождественские украшения, — кричащая, безвкусная мишура. Они спустились к теннисным кортам; среди зеленых лужаек с ветвистыми деревьями находились бассейн и площадка для гольфа.

— Пройдемся, — вкрадчиво сказал он, обвив рукой ее талию.

— Куда еще? Мы уже все видели.

— Просто так, прошвырнемся. Разве обязательно на что-то глазеть?

Она улыбалась накрашенным ртом, холодно посверкивала зелеными глазами.

— Ох и проказник! Думаешь, накачал девочку джином с лимоном? Нет, меня не проведешь, приятель!

— К черту, Мейзи. — Он даже покраснел от злости. — Могла бы смекнуть, что я не из таковских.

— Откуда мне знать? Можно сказать, первое свидание, ты многого от меня хочешь. Лучше дай-ка Мейзи сигаретку. — Оранжевые губы улыбались с лукавой надменностью.

— Я ведь в тебя втрескался, — осклабился он. — Как увидел в первый раз, сразу подумал — эта девчонка по мне!

— Ах, мистер Стоупс, все мужчины говорят одно и то же.

— Нет, правда, Мейзи, поверь...

Оркестр в танцевальном зале наярывал твист. Она уставилась в темноту изумрудными глазами. Площадка для гольфа, теннисные корты, силуэты деревьев, точно притаившиеся драконы, напомнили ей Зоологическое озеро, ту возню в машине, первый грубый, безрадостный опыт...

— Если тебе здесь надоело, — неуверенно предложил он, — поедem ко мне, выпьем чего-нибудь.

Все точь-в-точь как в старых фильмах. Она представила себе огромный многоквартирный дом, холостяцкую квартиру, мебель модерн. Только Эдгар Стоупс вовсе не Кэри Грант, а задрипанный приказчик, жалкий коммивояжер, хотя вроде и с будущим. А, все лучше, чем возвращаться домой к этой старой калоше с клацающими зубами, как у динозавра из фильма ужасов...

Его конура оказалась на задах чьего-то бунгало. Они прошли к ней по выложенной плитами дорожке через поросшую жесткой травой узкую лужайку. Он жил в пристройке, явно предназначавшейся для слуг. Комнатушка доверху забита всякой дребеденью, на которую так падки холостяки: непременный бар на колесиках, кофейный столик с испорченной окурками полировкой; на стене эстамп, скорее всего доставшийся Стоупсу от предыдущего жильца. Не сам же он купил эту картинку — фургон, запряженный волами, катит по вельду. В нише стояла смятая, незаправленная кровать, на ней груда несвежих рубашек и грязных носков.

Он выставил заранее приготовленный джин с лимоном, и вскоре она уже была в его объятиях.

— Только не обмани меня, ладно? — услышала она собственный голос, звучавший отстраненно, непривычно, точно чужой.

У него же осталось свербящее ощущение, будто не он одержал над ней победу, а скорее наоборот.

Миссис Барендс не возражала против их регулярных встреч. Мейзи давно пора обзавестись постоянным другом — пусть развлекает ее, лишь бы отвечал за свои поступки. У Стоупса есть цель в жизни и сила воли, он далеко пойдет: сначала коммивояжер, потом районный представитель фирмы, а там и управляющий. В один прекрасный день он, глядишь, и директором станет, почему бы нет? Его распирало самодовольство: с этой куколкой нигде не стыдно появиться, правда, голова у нее набита ерундой, роскошь ей подавай, всякие там фейерверки. Зато темперамент зверский, ее порывистость подчас даже казалась ему чрезмерной. Ну ничего, зато клиент доволен!..

И вот достукался! Она сидит рядом с ним в машине, на переднем сиденье. Убогая, неосвященная улочка, лавка давно заперта.

— Я наверняка подзалетела, — объявляет Мейзи, — что скажешь, как ты собираешься поступить?

«Господи, господи», — про себя взмолился он, а вслух сказал:

— Как же так, ведь мы предохранялись?

— Ну и что? — перебила она. — Нельзя же вечно об этом думать.

— Что ты предлагаешь? — простонал он,

— Интересно! А сам не догадываешься? Представляешь, что устроит старуха, если пронюхает? Ты ее плохо знаешь — она может пожаловаться твоему боссу.

— О дьявол!

— Ты что, не рад? Я думала, у нас это всерьез, всякие там планы строили. В конце концов, какая разница — сейчас или потом? Короче, нам надо поторопиться со свадьбой.

— Ну и дела,— промямлил он.— Боже праведный!

Она улыбулась — в тот вечер помада была не очень ядовитой, но в глазах все те же зеленые льдинки — и передразнила его:

— «Торопись урвать от жизни кусок пожирнее, каждый за себя!» Выходит, я твой жирный кусок? «Что за жизнь у тебя, дорогуша, целый день в лавке, отпускаешь товары черномазым, скучища!»— Говорила она дерзко, вызывающе.— Думаешь, мне охота гробить здесь молодость? И я тоже хочу чего-то добиться. Я не сомневалась, что мы поженимся, а раз так — не беда, если у нас будет ребенок. Я давно мечтала о парне вроде тебя, чтобы увез меня из этой гнусной лавки, от моей старой коровы и высохшего сморчка. А ты хочешь смыться и бросить меня!..

Миссис Барендс недоумевала, почему они так торопятся со свадьбой. Первая мысль, конечно, была, что Мейзи в интересном положении, но дочь отчитала ее за подозрительность и объяснила, что дело вовсе не в этом. Просто Эдгар со дня на день ждет повышения по службе, перевода в другой город. Вот они и решили оформить брак. Эдгар говорил то же самое. Надо, мол, смотреть в будущее, под лежащий камень вода не течет, они хотят идти по жизни вместе, рука об руку, ну и так далее.

Матери ничего не оставалось, как признать их правоту. Разумный подход, ничего не скажешь! И все же им не удалось до конца развеять ее сомнений. Оказалось, однако, что они беспочвенны. Прошло несколько месяцев после свадьбы, а у Мейзи — никаких признаков беременности.

— Не пори вы такую горячку, мы бы устроили все как подобает, поместили ваше фото в «Вимэнз мейл»,— ворчала старуха и почему-то при этом даже не клала зубы.

Некоторое время спустя Стоупса действительно перевели в другой город, правда, без всякого повышения.

Внешне они с Мейзи как будто ладили, супружеская пара не хуже других, но вся эта история произошла помимо его воли, опрокинула все планы...

\* \* \*

Они достигли места, где сухое русло делало излучину. Показались первые хижины. Деревья, росшие здесь, еще не потеряли листву, горбатые, причудливые кроны выделялись на фоне муарового, сумеречного неба. Дома стояли под деревьями, прячась днем в их тени. Некоторые постройки были круглые, с соломенной кровлей, но преобладали дома прямоугольной формы; их ставили по мере того, как приходили в ветхость стародавние хижины с каркасом из ветвей и глинобитными стенами, расписанными узорами по еще сырой глине. Вокруг них виднелись грядки с чахлыми побегами, загородки кое-где обвалились, точно мор перекинулся с растений на бурую глину. В жалких пустых двориках от сложенных из камней очагов поднимался дым. Оставив детей приглядывать за огнем, взрослые потянулись на лужайку перед домом Хлангени.

Вдоль дорожек, точно туман, повисла пыль, оседая на цветастые платья старух, припорошивая шерсть собак, подрагивающих в тени, ложась — слой за слоем — на ржавые крыши. На околице стайка детей с ведрами, кастрюлями и жестянками ждала под деревом телегу, на которой возили воду в бочках со станции.

Тот, кого звали Шиллинг Муриле, заметил, как много домов построили в его отсутствие; многое из того, что он помнил, исчезло. Кое-кто вместо уличных очагов готовит теперь на плитах, во дворах видны кухонные столы, городская утварь. Восемь лет — немалый срок, сказал он себе. Но ненависть осталась, как ссадины на коленях, как мозоли на загрубелых пятках от многолетнего хождения босиком по шершавой земле. Это его ненависть, чувство сугубо личное, отъединявшее его от земляков, у него с ними нет теперь ничего общего. И он зашагал в обход, мимо ветхих хижин на околице, словно опасаясь — а ну как встреча с кем-то из бывших знакомцев притупит горечь его ненависти.

Пастух семенил за ним в сгущавшихся сумерках, край рваного одеяла хлопал его по ногам.

— *Индаба* может затянуться, — бормотал он, — речь

вождя, наверно, будет долгой, так что надо набить трубку доверху. Табачок, он и мысль прочищает, и слух.

Мадонеле боялся отстать и лишиться доброго курева. Денег ни гроша, а лавочник дает в кредит только тем, у кого родня в городе на заработках. Слов нет, парень этот со странностями, да и немудрено свихнуться за столько лет неволи. Бывало, братья Муриле своими проделками потешали соседей. А теперь он вроде чужак, от прошлого осталась одна тень.

— Будет тебе старый, табак,— ответил Муриле сухо, но без злобы, и пастух обрадовался.

Они шли в сторону лужайки, где была назначена сходка. Вдруг молодой человек остановился, прислушиваясь к детским голосам. За покосившимся забором ребяташки сгрудились вокруг очага. И у Шиллинга Муриле в памяти всплыло прошлое: девичий смех, туго заплетенная косичка, застиранное платышко, коленки, серые от остывшей золы; протертые до дыр шорты цвета хаки с бахромой; детские прибаутки и загадки.

«У одной матери детей сто и пятеро. Они бродят по пустыне, мать идет посередине. А как выглядит папаша, прячется семейка наша».

«Ну, это просто! Луна, звезды и солнце».

«А вот отгадай: черный ворон с белой грудью».

«Миссионер!»

«Почему?»

«Они же ходят в черной сутане с белым воротничком. Я этих птиц хорошо знаю».

«Ну а про такую птаху слышал — сорокопут, «мясник»?»

«Знаю, птица-охотник, она воюет со злыми колдунами и чародеями, истребляет вредных насекомых...»

— Мы так опоздаем, брат,— окликнул его пастух с легким беспокойством в голосе.

— Послушай, старик,— нахмурился молодой,— мне дела нет до вашей *индабы* и речей Хлангени. Я приехал просто потому, что жил здесь когда-то, дай, думаю, гляну на знакомые места, а там уж пойду дальше.

— Куда же ты путь держишь?— спросил пастух, когда они достигли гребня холма, у подножия которого собирались жители деревни.

— Не знаю,— Шиллинг Муриле пожал плечами, не вынимая рук из брючных карманов.— Мне все равно. Только б покончить сперва со своим делом.

— Что за дело такое?

— Ты, старик, слишком говорлив, точь-в-точь как ваш вождь. — Он горько ухмыльнулся, скривив рот, и снова посерьезнел, стуча по пыльной земле толстыми подошвами ботинок. Старая солдатская куртка плотно облегал его широкие плечи. Он посмотрел вниз, на лужайку.

Люди заполняли пропыленный пустырь перед усадьбой Хлангени. Дом, стоявший на невысоком бугре в тени старых эвкалиптов, возвышался над соседними постройками. Крыльцо, сложенное из камней, покосилось. Когда-то двор был окружен забором, но глина потрескалась, рассыпалась, от забора уцелели лишь жалкие остатки, ворота исчезли. И все же это был дом вождя, и толпа хранила уважительное молчание. Люди расселись прямо на земле. Пришли все больше женщины с малыми детьми да старики. Когда Хлангени появился на крыльце и с ним двое советников, его приветствовал нестройный хор голосов.

Вождь, сухонький старик, несмотря на жару, был в темном костюме, сорочке со стоячим воротничком и в смятом галстуке. С годами квадратные прежде плечи его ссутулились, выглядел он жалким. Широкое лицо обмякло, изборожденное, словно оползнями, темными складками. Белая шапка волос точно заснеженная вершина. Казалось, старик прячется в старом костюме, ищет в нем убежище. Правительственный указ, превративший его в простого старосту, совсем подкосил его. И пусть земляки по-прежнему считали его вождем, предписание белых начальников словно выбило у него почву из-под ног. Он застенчиво переминался, как бы тщаь удержать съезжавшую с плеч тогу былого величия, истончившуюся до дыр. Его карие глаза, похожие на пожухлые прошлогодние листья, шурились от солнца. В них тлели сомнения, неуверенность. «Я теперь вождь над женщинами», — с грустью подумал он. Эта мысль напугала его, он попытался прогнать ее, вспомнив другое, далекое время, юношеские мечты о ратных подвигах.

— Пора, — шепнул один из советников.

Вождь вскинул на него изумленные глаза и спросил:

— Разве не ты начнешь, Кобе?

Тот, кого звали Кобе, потупил взор. По обычаю ему полагалось представить Хлангени, произнести величальные слова в его честь. Так обставлялось всегда публич-

ное появление вождя перед соплеменниками. Кобе — толмач при правителе, его глашатай — не испытывал нынче особой охоты расточать похвалы жалкому, перепуганному старцу. Поэтому он был краток:

— Вот Хлангени, ваш вождь. — Потом добавил: — Мы снова побывали у комиссара, и он подтвердил, что приказ окончательный, нам придется уехать отсюда.

Прошли те времена, думал Хлангени, когда у вождя была власть и сила, когда племя величало его во весь голос. Мысль эта задела его за живое, и он заговорил так громко, что сам удивился собственному голосу.

— Видите, день кончается, солнце уходит на покой. — Он повел черным рукавом в сторону запада, где за околицей на горизонте заходящее светило плавилось в оранжевом, розовом и золотом мареве. — Похож ли один день на другой? Я еще помню, когда вся земля здесь была нашей. Как наши отцы и деды, мы выращивали на ней зерно и пасли овец. Наши предки погребены тут, в этом холме. Здесь танцевали наши парни и девушки. Бывали и добрые и дурные дни, обильные и худородные годы. В хорошие времена смеялись дети, тучнели овцы, зеленела трава, золотились колосья, сверкали бусы и звучали веселые песни. Но и в лихолетье предки не оставляли нас — мы выживали. Плохо ли, хорошо ли жилось нам здесь, в довольстве ли, в голоде — это был наш дом. Здесь мы делили друг с другом и радость, и горе. Увы, злой жребий, выпавший нам нынче, невозможно отвести. Его навлек на нас белый человек со своими законами, ружьями и деньгами. Белый человек твердит, будто закон одинаков для всех, но это его, а не наш закон. Белые отняли у нас наших юношей, заставили их батрачить на себя, а мы глядели на это молча, ибо таков закон белого. Наши поля поросли чертополохом, чахнет наш скот, потому что черные мужчины гнут спину на полях белого, стерегут его стада. У белых несметные урожаи, гладкие коровы. Таков их закон, но не наш.

Теперь же их закон гласит, что наши дома и земля наша больше нам не принадлежат, они понадобились белым. Их воля — закон для нас, и мы обязаны повиноваться. Когда-то вся эта земля была нашей. Потом пришли белые, они разгромили наших предков, отняли у них землю, оставив нам лишь жалкий ее клочок. На нем жили мы с вами, наши отцы и деды. А теперь они

намалевали крест на наших дверях и повелели нам: «Убирайтесь прочь!» Дверь — это вход в жилище человека, в его дом. Разве любовь к своему дому — преступление? Однако таков закон белых, который, по их словам, одинаков для всех. Но нет, это не наш закон!

Мы на горьком своем опыте убедились, что закон их, их ружья, их деньги сеют не братство, а вражду между людьми, разлагают их. Нам остается лишь склонить головы перед ними, встать на колени и кануть в небытие, как канет сейчас во мрак дневное светило.

Голос его дрогнул, и он умолк, стараясь зарыться поглубже в свой выдавший виды черный костюм. Гордость, возродившаяся на миг, вновь покидала его. Толпа безмолвствовала, слышалось лишь сухое покашливание, шарканье босых ступней по пыльной земле. Где-то залаяла собака. Постепенно люди пришли в движение, зашевелились, толпа распалась.

— Что за речь! — раздался женский голос. — Такие слова хороши на похоронах. Разве завтра солнце не взойдет снова?

— Женщина! — сурово одернул ее Хлангени, стоя в тени на крыльце, — опомнись, кто дал тебе право...

— Право? Ведь мы собрались на сходку, и я буду говорить. Дайте мне слово.

— Пусть говорит! — вступился за нее Кобе, стоявший за спиной Хлангени. — Это же твоя родная сестра, вождь.

— Не пойму, при чем тут солнце! — продолжала женщина, протиснувшись вперед, но не взойдя на крыльцо. — Солнце садится и восходит. Стоит ли нам из-за этого лить слезы? Люди рождаются и умирают, но роду человеческому нет конца.

Сестра Хлангени словно вырастала на глазах толпы, затмевая, отодвигая на задний план своего брата. Дородная, приземистая, будто вытесанная из мореных бревен. Лицо словно на скорую руку сработано резчиком по дереву: глазные впадины, переносица, ноздри, скулы, широкий, как на отполированной до блеска маске, рот. На голове пропыленная косынка; просторное, словно шатер, платье перехвачено старым сыромятным ремнем; на ногах стоптанные, потрескавшиеся мужские ботинки.

— Долго ли будем мы все терпеливо сносить? — восклицала она, как лопатой, рубя ладонью воздух. —



Мы боимся их, как овцы стригалю, как коровы дояру.

Обращалась она к Хлангени, но слова ее предназначались всем собравшимся, голос разносился над толпой, как барабанный бой.

— Что и говорить, закон белого человека, его ружья, его деньги ожесточили его душу. Жаль, конечно, но он и впрямь променял на них людское братство, он в самом себе убил человека. В себе, но не в нас! Мы-то остались людьми. Законы, ружья и деньги застили ему глаза, он слеп и не видит за ними человека, попирает человеческое достоинство. Слепота вводит его в заблуждение, сбивает с толку. Где ему понять самые простые вещи? И потому терпит он поражение. Знайте же, в нем не осталось ни сердца, ни достоинства, ни чести. Все непонятное пугает, страшит его. Он старается заглушить свой страх громким смехом и издевками. Но это смех побежденного, делающего вид, будто у него все идет как надо. Зло тшится прикрыть смехом свое бессилие, оно бряцает оружием, упивается мнимой своей властью над людьми. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и зло отступает, ибо ему не дано ничего понять. А значит, мы можем совладать со злом. Человеческая воля и достоинство — вот наше оружие. Людские сердца живут надеждой. Поверьте, еще настанут добрые времена, придут изобильные годы...

Тот, кого звали Шиллинг Муриле, стоя с пастухом на вершине холма, внимательно следил за происходящим внизу.

— Хоу! — буркнул он. — Я ее помню. Это Ма-Тау, львица, такая же свирепая, как прежде.

— Опасная женщина, — эхом откликнулся Мадонеле. — Я стараюсь держаться от нее подальше.

Пастух, заметив, что его собеседник снова достает из кармана брюк пачку табаку, кашлянул и затоптался на месте. Парень, искусно свернув самокрутку, облизнул бумагу и, не сводя глаз с лужайки, передал пакет пастуху.

— Не раз мне от нее доставалось, — сказал он, чиркнув спичкой и закуривая. — Уж она-то своего добьется, одним своим рыком заставит всех повиноваться.

Мадонеле, счастливый, набивал трубку.

— Да, Ма-Тау такая, — заговорил он, пуская клубы дыма. — Она уехала было в город, и у нас наступила

тишь и благодать. Жаль, видно, город ее не усмирил, сам небось рад был от нее избавиться...

А внизу, у подножия холма, поросшего колючками, женщина продолжала свою речь:

— Счастье их призрачно, они живут под охраной своего закона и ружей, смеются невеселым смехом, деланный это смех. Да понимают ли они, что происходит, как непрочно их благоденствие? А суть дела вот в чем: все люди на свете делятся на бедных и богатых. Бедняки своим потом создают все земные богатства; богатым бездельникам все дается даром. Бедные требуют своей законной доли плодов земли, а белые господа отказывают им в этом. Когда же бедняки настаивают на своем, их лишают работы, выселяют из домов, и чуть что — белые господа велят своим послушным солдатам стрелять в бедняков из ружей.

Все, кто способны видеть и слышать, знают — в жизни есть и хорошее, и плохое. Женщины, мужчины, дети, столкнувшись с их законом, натыкаются на их ружья, томятся в их лагерях и тюрьмах и чувствуют, как вскипает гневом кровь в жилах. Это гнев покоренного, обездоленного народа против кровопийц и поработителей. Гнев — он в крови народной, а в законах и ружьях кровь не течет.

Да, все зло — в законах и ружьях. С их помощью грабят наши дома, пугают до смерти наших детей, бесчестят женщин, оскорбляют стариков, бросают в тюрьмы наших кормильцев и защитников. И теперь вопрос в том, подчинимся ли мы злу или прислушаемся к голосу нашей кипящей крови?

Мой брат Хлангени говорит: повинуйтесь закону, склонитесь перед ружьями, перед силой зла. Но нет, это недостойно человека...

Деревенские жители зароптали, загудели. Над толпой быстро опускались сумерки. Старики поднимались на ноги, отряхивая ладонями пыль с одежды. Опершись на корявые посохи, они уставились на женщину. Люди проталкивались вперед, спорили, размахивая руками. Хлангени наблюдал за ними, ощущая горечь измены и поражения. Он знал: люди пойдут за Ма-Тау, а не за ним. Даже его советник Кобе, стоявший сзади, не удержался:

— Хоу! Вот так львица!

— Это неслыханно!— вырвалось у Хлангени.— Женщина позволяет себе такое...

— Но ведь прошлого не вернешь,— возразил старый Кобе.— Разве нет? Былого не воротишь!

— Опомнись,— закричал Хлангени с крыльца.— Белый комиссар сказал, что на станцию подадут поезд, который отвезет нас на новое место. А сюда пришлют грузовики — довести нас до вокзала.

— В грузовиках возят скот,— вырвалось у кого-то. Ма-Тау обратила свое круглое лицо к Хлангени, во взгляде ее промелькнуло подобие сочувствия.

— Брат мой, мы с тобой родились от одной матери и прожили здесь всю жизнь.— Большие руки ее широким жестом как бы обняли всю деревню, низкорослые чахлые деревья, пропеченные солнцем хижины, подернутые пылью холмы на горизонте.— Ты сам сказал — это наша земля. Разве преступна любовь к собственному дому? Не твои ли это слова? Вспомни, не наши ли предки были вождями до тебя? Не ты ли потомок воинов?

— Времена теперь другие,— воскликнул Хлангени.— Мы у белых в яреме.

— Да, времена другие,— согласно кивнула женщина.— Но в твоих словах есть иной смысл, о котором ты не догадываешься. Скажу без обиняков — я с этой земли никуда не уйду. Вот как я понимаю другие времена!

— Никто тебя не поддержит, ты останешься здесь одна!

— Нет, брат, одни последуют твоим советам, но найдутся люди, которые пойдут за мной.

— Ты всегда была упрямой, противилась обычаям и традициям. Я запрещу людям слушать тебя!

— Брат, люди слушают не меня, они прислушиваются к голосу крови в своих жилах. Ты вождь и должен вести нас не назад, а вперед. Да, двинувшись вперед, мы можем погибнуть, но ту же участь мы уготовим себе при отступлении. Так лучше уж умереть, наступая.

— Ты подрываешь уважение ко мне.

— Брат, вождем не становятся лишь по наследству, в силу обычая. Уважение надо заслужить. Докажи нам, что ты вождь и в тебе течет еще кровь наших предков-воинов.

— Одна ты такая безумная, белые сотрут тебя в порошок.

— Ты сам сказал: времена теперь другие. Скоро все это поймут, помогут же людям открыть на это глаза.

— Слушайте меня, люди,— обратился Хлангени к собравшимся, пропустив мимо ушей призыв сестры,— глупо бросать вызов белому человеку. Завтра мы уходим отсюда, какую бы чушь ни городила эта женщина, называющая себя моей сестрой. С белыми шутки плохи. Обдумайте мои слова — лучше нам покориться.

Толпа опять забурилась, все говорили разом, перебивая друг друга; пыль, вздымаемая ногами, засверкала в косых предвечерних лучах. И снова над толпой вознесся голос Ма-Тау, заставивший всех умолкнуть и прислушаться...

— Она своего добьется,— сказал Мадонеле попутчику. Табачный дым, приятно щипавший нёбо, привел его в состояние совершенного блаженства.

— Это ее забота,— сухо отозвался тот, кого звали Шиллинг Муриле, меся пыль толстыми подошвами.— А у меня свое дело.

«Странный парень, но я доволен, что с ним встретился»,— думал пастух, семена рядом в рваном своем одеяле и невообразимой шляпе, зарываясь сухими узкими ступнями в теплую землю. Они шли в сторону старого кладбища на вершине холма.

\* \* \*

...И вот теперь это бунгало из бурого кирпича, крытое гофрированной жестью, с двумя одинаковыми окнами на фасаде, походившем на человеческое лицо, покрасневшее от досады, с надвинутым на глаза железным козырьком. Район, в котором они жили, был, если можно так сказать, средних лет и лежал между бетонными машинами юности и дряхлыми трущобами старости. Улицы по обеим сторонам были обсажены джакарандой, но ярко цветущие ветви не создавали ощущения покоя и уюта, потому что на окнах домов сурово щетинились мрачные железные решетки. Истерические обитательницы их жили как в осажденном лагере: они видели в черных слугах и кухарках лазутчиков надвигающихся орд кровожадных варваров. За нарядными занавесками царило беспокойство — возня мышей в погребе, каждый скрип половицы звучал как тревожный набат. До северной границы было рукой подать, а ведь португалцы

в приступе медвежьей болезни пустились оттуда наутек. Страх перед безликой массой туземцев охватил юг континента, свербил, точно зуд в паху.

Мейзи все на свете осточертело. Скуке не было предела, она сводила с ума. Господи, сколько еще лет маяться? Тюремные решетки на окнах, словно пояс целомудрия из старой книжки о менестрелях, игравших на лютнях, и дамах, падавших от их игры в обморок. Был еще старый фильм об этом же с Эрролом Флинном и Оливией де Хавиленд. А теперь экран заполнили Клинт Иствуд и Роберт Редфорд, но ее любимец — Стер де Люкс, до чего же он хорош в «Мести мафии»!

Мейзи и соседка госпожа Мюллер держали одну черную служанку на два дома. Звали ее Полли, и Мейзи часто срывала на ней свое дурное настроение. Слава богу, старая карга — ее мамаша — теперь далеко, не мешает жить как хочется, думала Мейзи, сидя под полосатым тентом в кафе на открытом воздухе и лениво разглядывая прохожих поверх стульев из нержавеющей стали и пластмассовых столиков. Мать продала лавку, когда новый закон об этнических районах вынудил всех цветных и индийцев покинуть близлежащие кварталы. Там было решено создать промышленную зону. Старуха, конечно, смекнула, что дом лучше загнать в самый последний момент, когда все уедут и одна она будет задерживать строителей. Так что ей отвалили хорошую цену за ее развалюху. «Если этим воротилам нужен мой участок, пусть раскошеляются!» — рычала миссис Барендс и злобно клала вставными челюстями. Подлая сучка, загребла все себе, до последнего пенни, и теперь жила в безвкусно обставленном приюте для старух, изображая из себя этакую светскую львицу, ушедшую на покой.

«Пусть не рассчитывает на визиты доченьки по воскресеньям! — зареклась про себя Мейзи и отхлебнула молочного коктейля. — Господи, неужто всю жизнь нести мне этот крест — томиться среди бесчувственных, неотесанных болванов?»

Под корсетом ручейками заструился пот. На тротуары и мостовую, на бетон и стекло зданий желтой пылью падал яркий солнечный свет. За спиной Мейзи кто-то включил радио, передавали программу «Анни, где твой револьвер?» — диктор объяснял домашним хозяевам, как обращаться с оружием. «Кольт «Вудсмен» —

пистолет калибра два-два,— бубнил диктор,— пожалуй, великоват для дамской сумочки...» Одно время Мейзи посещала стрелковый клуб, занятия вел гнуснейший тип — полицейский инспектор. От него пахло залежалым табаком, на скуле вечно цвел очередной фурункул. Показывая, как целиться из пистолета, он придвигался вплотную, что-то там объяснял про «Смит и Вессон», а ее всю передергивало от смрадного его дыхания.

— Не дергайте курок, опускайте плавно, — гундосил он с сильным бурским акцентом. Он был так омерзителен, что она перестала ходить на тренировки. И вообще, она не ковбой, чтобы таскать повсюду кольт, как Джон Уэйн. Все же она купила миниатюрный пистолетик, его можно сунуть в лифчик или за чулочную подвязку. «Никогда не знаешь наперед, что может взбрести в башку какому-нибудь кафру», — с притворным испугом твердила одна из женщин в тире. А у самой резиновые затычки в ушах — просто умора! «Ты бы небось обрадовалась, старая шлюха, если бы на тебя напали, кому ты нужна», — подумала тогда Мейзи и все же приобрела себе «беретту», прямо как у Джеймса Бонда. «Ну, если дойдет до худшего, можно и в армию вступить», — рассуждала она про себя, вертя в руках соломинку.

«Когда наводите оружие, цельтесь не в голову, а в грудь — эта мишень удобнее. Следует привыкнуть к отдаче...» — продолжал диктор, но Мейзи не слушала. Ее вниманием целиком завладел мужчина, вошедший в кафе и усаживающийся за столик. Длинноволосый брюнет, модная прическа, лицо как будто знакомое, где она его видела?

— Дональд, Дональд Харрис! — окликнула она.

Мужчина обернулся, посмотрел на нее с легким недоумением, потом улыбнулся, как на рекламе зубной пасты. Мейзи по привычке начала прикидывать, на кого из звезд экрана он смахивает.

— Мейзи, не может быть, это ты, крошка Мейзи!

Он направился к ней, продираясь сквозь футуристический подлесок из нержавеющей стали и пластмассы. Официант-индеец маячил где-то у стенки, точно в засаде.

— Бог свидетель, это Мейзи из киношки «Плаза», — выпалил мужчина. — Только вот я не Донни Харрис, а Уолли Бессон.

— Конечно же, Уолли Бессон! Я рада, что ты меня узнал.

— Как же тебя не узнать?— Сверкающие белизной зубы, летний костюм спортивного покроя, ладно сидящий на сухопарой фигуре. Так и есть, Уолли Бессон.

Он подсел к ней, не спрашивая разрешения. Держался игриво, даже развязно, лихой флибустьер из фильма о пиратах. Подлетел официант в перчатках, подал меню и винную карту, словно повестку в суд, но Уолли театральным жестом осадил его: меня, мол, не проведешь!

— Ради бога, никаких молочных смесей, приятель! Принеси-ка нам рому со льдом.

— Ром в такую жару?— взмолилась Мейзи.

— Плевать нам на жару. Я и сам могу поддать такого жару, что солнце позавидует, ты меня понимаешь?

Рекламная улыбка, глумливый взгляд. Мейзи пошла припудрить нос и щеки. Парень не промах, сразу видно. Она старалась припомнить, каким он был тогда. Господи, неужто это она сживала с мальчишками на ступеньках кинотеатра, сколько времени прошло!

— А я-то приняла тебя за Дональда Харриса, — сказала она, вернувшись. — Кстати, ты давно его не видел?

— Да пошел он к черту! Ты-то как поживаешь, Мейзи, крошка? Выглядишь, между прочим, отлично.— Его глаза, лучистые, страстные, были похожи на игральные кости, в них сквозила дерзость, бравада, вызов.

— У меня все в порядке. Помнишь, мы всегда держались вместе в «Плазе» — ты, я, Донни, другие ребята. Так что же все-таки с ним?

На противоположной стороне улицы в тени, прямо на земле, сидела черная женщина с младенцем, прихваченным к ее спине шалью. Проезжавшие машины сверкали на солнце, точно усыпанные драгоценными камнями. Мейзи заметила полицейского: белый шлем, бриджи, ботинки, кобура, темные очки. Точно космонавт из фантастического фильма «Пришельцы с Марса», рассеянно подумала Мейзи. Поравнявшись с черномазой, он склонился над ней, ткнул дубинкой — этаким механическим продолжением своей руки. Женщина тяжело поднялась, поправила шаль, удерживающую ребенка, и заковыляла по тротуару среди пешеходов в темных очках и летних рубашках с короткими рукавами. Робот-полисмен зашагал дальше. Все так же искрились на солнце хром и никель автомобилей.

— Чертов дурак, угодил в каталажку,— буркнул Уолли Бессон, протягивая ей пачку сигарет.

— Что-что? Это ты о ком?— переспросила Мейзи, беря предложенную сигарету и любуясь его золотой зажигалкой.

— Да о твоём Донни Харрисе. Сидит в тюрьме, бог свидетель.

— Не может быть! Такой приятный, воспитанный мальчик.

— Связался с черномазыми ублюдками. Решил помочь им с профсоюзами, что-то в этом роде. Им, видишь-ли, живется несладко. Политика! Я в газетах читал, но подробностей не знаю. Нелегальная организация, коммунистическая деятельность. Словом, схватил десятку, точнее, даже двенадцать лет.

— Связался с черными?— повторила она, задохнувшись от отвращения.— Но ведь он же белый, как мы с тобой!— Она вспомнила черную мать с ребенком, которую только что видела.— Что у него общего с ними?

— В чужую душу не влезешь,— пожал плечами Уолли.— Все это попало в газеты.

— Я такие вещи пропускаю, просматриваю лишь страницы для женщин и комиксы в воскресных номерах. Надо же, Донни Харрис, славный Донни, сморозил такую глупость!

Подошел официант с их заказом, и незадачливый друг детства был тут же забыт, зачем думать о неприятных вещах! От рома Мейзи быстро захмелела, она хихикала невпопад, зеленые глаза холодно посверкивали, как фольга.

— Э, да ты хочешь меня напоить!..

Так все и началось. Теперь, когда Эдгар бывал в отъезде, они с Уолли ходили в роскошные кинотеатры, бары, дискотеки; ездили в соседнюю провинцию к морю. «Сулящие прохладу волны, первоклассный отель на самом берегу, золотые пляжи». Мотались через границу в Свазиленд — сыграть в казино. А вот в Мозамбик, как раньше, теперь не съездишь! Уолли устраивал у себя на квартире вечеринки: самая дорогая выпивка, хоть залейся, ну а потом кое-что еще. Все произошло стремительно, прямо-таки молниеносно, но Мейзи было наплевать. Чертов ублюдок Эдгар! Ей так хотелось порвать с прошлым: лавка, родители, отгороженное от мира бунгало с решетками на окнах. Она все средства от скуки перепробова-



ла. Даже хаживала на ведьмовские шабаши в покинутых домах-развалюхах. Заправлял ими бывший студент университета. «Сатана на самом деле существует. У меня полно друзей, которые только в него и верят». Но вскоре и это ей опостылело. У студента была необставленная комнатенка, конура с продраным матрасом на полу, усеянным хрустящими крошками жареного картофеля. «Есть ли загробная жизнь?» — вопрошала воскресная газета. Да кому до этого дело?..

И вот появился Уолли Бессон со своей ослепительной улыбкой — точь-в-точь реклама зубной пасты «Маклин», которую сбывает Эдгар.

— Мейзи, нам надо держаться друг за дружку, и мы далеко пойдем.

— Куда, например? — Зеленые глаза буравили его, она подозревала, что Уолли влип в какую-то передрагу.

— Все выше и выше, крошка. Единственное, чего нам не хватает, — это небольшого первоначального капитала, ты понимаешь?

— Вот оно что! Значит, ты банкрот?

— С чего ты взяла? Ничего подобного. Просто я маленько продулся в эту новомодную рулетку.

— Нечего было садиться, ведь ты в нее не играл никогда.

— Никаких особых премудростей в ней нет, надо только набить руку.

— Я ничем не могу тебе помочь. Все семейные деньги прикарманила старуха.

— Да я знаю, знаю, крошка.

Ей стало страшно, вдруг он собирается ее бросить! Видно, она ввела его в чрезмерные расходы. Так что никаких теперь казино, скачек, роскошных отелей, где собираются сливки общества; никаких поездок в сверкающем лаком «мстителе». Ее охватила безысходная тоска, прямо-таки отчаяние при мысли о зарешеченном бунгало, чемоданах с образцами товаров, разглагольствованиях Эдгара. «Деловому человеку необходимо расти, каждый за себя!» Он-то не вырос, не преуспел, ничего путного не добился. Да и тебе, Мейзи, кукла чертова, похвастаться нечем! Как ты живешь? На подачки улыбочивого игрока. Хоть бы ее Эдгар, подонок этакий, очучурился, она бы получила четыре тысячи рандов страховки. Это же две тысячи фунтов!

— Надеюсь, все обойдется? — спросила она.

— Конечно, Мейзи, не сомневайся! — бодренько ответил Уолли, уцепив ее за руку. — Но мы должны работать вместе, сообща.

— Ты же знаешь, Уолли, я с тобой.

— Ну и умница. У меня такие планы — закачаешься! Бог свидетель!

— Планы?

— Только послушай. Мы с тобой любим красивую жизнь. Так или не так? Рестораны, клубы, поездки за границу.

— Естественно.

— Но это стоит денег, верно? Стало быть, надо изобрести какой-то способ прикопить их.

— Пожалуй, так.

— Вот видишь! Мы понимаем друг друга. Ты вообще понятливая девочка, бог свидетель. — Он разгладил складку на газете. — Вот как я себе это мыслю. В тех местах, где мы бываем, полно тугих кошельков, верно? Богатые ублюдки наверняка не прочь еще и дополнительно поразвлечься, и мы можем им это обеспечить.

— Что ты имеешь в виду?

— Взять нас с тобой. Ты такая хорошенькая, можно сказать, красотка. А у меня есть эта вот квартира. Предположим, кому-то охота провести тихий вечерок, по-семейному, наедине со славной девочкой. Вот и на здоровье, я мог бы отлучаться.

— Господи! — Ее голос стал ледяным, шершавым.

— Ну что ты, дорогая, — продолжал он, — ведь это ради нас обоих, верно? И потом, такие солидные, респектабельные придурки, разные бизнесмены, может, даже члены парламента, заезжие толстосумы...

— Неужели ты всерьез?

— Как тебе сказать, не совсем, конечно. Просто идея, бог свидетель. Ты... я хотел сказать — мы, мы с тобой можем ее обмозговать. Беды нет — прикинуть сообща.

Он как ни в чем не бывало развернул газету и углубился в программу скачек, водя по строчкам пальцем с перстнем из оникса. Мейзи бросился в глаза заголовок: «Угроза забастовки».

Она прошла из спальни в гостиную с пушистым ковром на полу. С полосатых обоев улыбалась индийская девочка — портрет работы Тречикова, — ее восточные глаза взирали с легким презрением на буфет, используемый вместо бара; кофейный столик, уставленный лип-

кими стаканами; чулки, похожие на сброшенную змеиную кожу. За стеклянной дверью, ведущей на узкий балкон, над дымчатым горизонтом янтарным камнем висело солнце. На севере раскинулись богатые пригороды — низкие и широкие коттеджи, утопающие в зелени лужаек; по ночам разноцветные огни отражались в глади бассейнов.

Она вышла на балкон и глянула вниз с высоты одиннадцатого этажа. Тропическая жара, такое чувство, точно к телу прикоснулись раскаленным железом. Небо дрожало и подергивалось. На крыше соседнего девятиэтажного дома играли дети в шортах, плавках и игрушечных касках, отливавших бронзой. Прячась за будочкой для прислуги, они палили друг в друга из пугачей. Цветным слугам недавно было запрещено проживать на крышах, и поднебесные гетто превратились в площадки для игр. Ватага мальчишек метала «водяные бомбы» на тротуар, прислушиваясь к разрывам бумажных пакетов.

Если бы он сыграл в ящик, она бы отхватила четыре тысячи рандов. Держи карман шире — Эдгар здоров как бык... Тут ее словно осенило: в одном фильме показывали, что компания выплачивает двойную сумму, если застрахованный погибает при несчастном случае. И так, две тысячи фунтов помножить на два. Господи, с такими деньгами, девочка, ты могла бы ни от кого не зависеть. К черту никчемного пустомелю Эдгара, к черту старую жадину мать. К черту этого подонка Уолли Бессона — у тебя и без него будет красивая жизнь. Независимость! Эдгар вечно твердит, что своя рубашка ближе к телу... Стало быть, несчастный случай. Ее прошиб пот, но она не уходила с балкона. Боже, время идет впустую, пора делать что-то. Внизу, на расстоянии одиннадцати этажей, бурлила, шумела улица. Они-то с Эдгаром живут в одноэтажном бунгало. И вообще, что это за жизнь: бурые джакаранды, без умолку трещащие соседки, дети возятся на тротуарах, черные служанки на задних дворах лопают хлеб со сгущенкой. С соседней крыши снова донеслись хлопки игрушечных ружей... А за случайную смерть от огнестрельного оружия тоже дают двойную страховку? Надо все сначала разузнать, внимательно изучить страховой полис.

У нее сохранился пистолетик еще со времен стрелкового клуба. Можно притвориться, что она не знает, как обращаться с ним, попросить Эдгара помочь, и тут, со-

вершенно случайно, пистолет выстрелит. Что-нибудь в этом роде... Нет, нет, прочь дурацкие мысли! Несмотря на жару, ее зазнобило от страха, она с трудом оторвалась от перил, точно примерзла к ним, и пошла в ванную одеваться.

Уолли, голый, липкий от пота, все еще листающий программу скачек, крикнул ей из спальни:

— Что за спешка, куколка? Твой старик приедет только завтра.

— Нам бы следовало сходить в церковь. — Она засмеялась надтреснутым смехом, в горле что-то дрожало, точно у лягушки. — Вспомни-ка, сегодня молебен.

— К черту, найдем себе занятие повеселее.

— Да я шучу.

Она взглянула в зеркало и, как обычно при этом, задвигала лицевыми мускулами. Стареем. Без косметики вид у нее как у застиранной полинявшей скатерти. На скулах прорезались складки. Она провела пальцем по подбородку, наткнулась на вмятинку. Вот так это начинается. Ямочка превращается во впадину, у рта ложатся морщины, и все, ты — старуха. Старость крадется за тобой, как оборотень, точно ненасытный вампир. От жалости к себе на глаза навернулись слезы.

— Включи радио, крошка, — крикнул Уолли.

«Поденок, раскомандовался, — подумала она, — точно в армии... Кстати, не записаться ли ей в добровольцы? Такие времена настали, что и женщин берут. И не надо ни над чем ломать голову, там все решают за тебя».

По радио передавали концерт О'Салливэна. На песню напоззла рекламная вставка: «Автопокрышки фирмы Келли! Самые прочные и долговечные...» Вот и тебе, девочка, надо быть твердой, иначе — крышка...

\* \* \*

На улице было темно, редкие электрические фонари не рассеивали тяжелого мрака. В окнах домишек, стоявших по одной стороне, кое-где горел свет, но он не достигал мостовой. Ночь была теплой, из-за домов, с задних дворигов, доносился хор цикад, в воздухе мерцали светлячки. Когда-то Агтерстраат была главной улицей городка. Было это давно, еще до того, как проложили железную дорогу и построили гостиницу, лавки с пластмас-

совыми ставнями и уродливыми витринами, коттеджи для семей железнодорожников, комиссариат по делам туземцев, почту, полицейский участок, гараж. Но началась застройка именно отсюда, с Агтерстраат.

Шагая в вязкой темноте, Ханнес Меулен подумал, что надо бы заняться городским освещением, поставить этот вопрос в административном совете. Сжимая крепкими зубами мундштук пустой трубки, он направлялся к Стинхаузу, легко ориентируясь во мгле. Негромко поскрипывали по гравию резиновые подошвы туфель для гольфа. Очень уж неприглядна улица без огней. Старики скажут ему спасибо, можно будет без опаски прогуливаться по вечерам. Но общественные заботы могут подождать. Сейчас его переполняло предвкушение встречи с Риной. Даже уезжая ненадолго, он болезненно переживал разлуку. Ханнес не мог дожидаться дня, когда они наконец поженятся. Решено — они сыграют свадьбу еще до выборов: член парламента должен быть женат.

Они знали друг друга с детства, вместе росли и разлучились только на время учебы в колледже. Потом встретились вновь и сразу сблизились. Все восприняли их помолвку как нечто совершенно естественное. Они всюду бывали вместе, ходили на регби, занимались в кружке народных танцев. Он с волнением вспоминал их детство: мальчишка в шортах цвета хаки с копной нечесаных волос; она стройная, как газель, с длинной бронзовой косой, в голубых глазах веселые чертики, на щеках веснушки; лазила по деревьям, ни в чем ему не уступала.

Он был фермерским сыном, она же — дочерью самого Каспера Стина. Ее отец рано удалился от дел, получив огромное наследство. В молодости Стин тоже занимался разведением овец, но без особого энтузиазма, и, как только стал богатым наследником, продал ферму и поселился с дочерью в старинном особняке. Ханнес Меулен жил с отцом и младшей сестрой на ферме. Мальчик во всем подражал отцу, человеку многогранному и даровитому.

После того как умерла при родах дочери его жена, Кристофель Меулен с головой окунулся в общественные дела. Городок рос, прибывали новые поселенцы, семьи железнодорожных служащих. Строилась церковь, возникла локация для цветных. Меулен-старший внимательно следил за новостями из столицы, участвовал в пред-

выборных кампаниях, добиваясь того, чтобы интересы местных жителей представлял в парламенте достойный человек. Политика на первый взгляд не была непосредственно связана с заботой об овцах, овчинах и стрижке шерсти. На самом же деле она влияла на закупочные цены, стоимость перевозок, отражалась на мировой конъюнктуре.

Еще мальчишкой Ханнес постиг все секреты овцеводства и внимательно ловил каждое слово отца, вникая во все дела и заботы этого крепкого мужчины с обветренным мясистым лицом и проседью в черных волосах. Отец любил землю, для него родина была не только географическим понятием, не только национальным гимном, Днем Дингане и годовщиной битвы при Кровавой реке\*. Родина — это плоские желтые равнины, кудрявые холмы, трава и вода. Это наследство завещано предками, полито их священной кровью, даровано милостью божьей. Деды и прадеды завоевали ее мушкетом и Библией. Подобно воинам Иисуса Навина, пришли они на эту землю. Любое иное толкование истории предавалось анафеме.

Каждое воскресенье семья отправлялась в церковь. Ханнес, облаченный в черный сюртучок, искал глазами Рину. Она приходила в нарядном платье с низкой талией и бантом в волосах, ее мать — вся в черном. Отец Ханнеса надевал стоячий воротничок и галстук-бабочку. После церковной службы мужчины собирались на площади. Дети порхали вокруг монумента памяти Бурской войны.

По субботам в помещении школы устраивались собрания. На них ходили одни мужчины, политика — не женское дело. Приходили фермеры и городские жители, все были одеты одинаково — в жокейские бриджи и серые рубахи. Отец на этих собраниях всегда выступал. Мужчины были против войны с Германией. Немцы ратовали за чистоту расы божьих избранников. Война против Германии будет лишь на руку тем, кто призывает к кровосмесительству. Эти либеральные идейки проповедуют англичане и евреи. Другьям отца импонировали взгляды Гитлера. «Африканеры — божьи избранники, — выкрики-

---

\* Битва при Кровавой реке состоялась 16 декабря 1838 года; бурские переселенцы разгромили войско зулусов, возглавлявшееся Дингане, верховным правителем зулусского народа. До сих пор в ЮАР этот день отмечается официально — белые расисты видят в нем символ торжества над африканским населением.

вал отец, и лицо наливалось краской от обуревавших его страстей. — Мы победим!» Мужчины громко аплодировали, вскидывали правый кулак.

Когда Ханнесу исполнилось пятнадцать, отец погиб. Лошадь, чего-то испугавшись, встала на дыбы и скинула седока. Батраки, посланные на поиски, когда хозяин не пришел к обеду, нашли его бездыханным, распластавшимся в красной пыли, с переломанной шеей. На похороны съехались фермеры со всей округи. Соратники отца, точно бросая вызов остальным, надели бриджи, серые рубахи и салютовали над могилой сжатым кулаком. После гибели отца фермой снова стал управлять дед, но тому все было безразлично, он с тоской вспоминал добрые старые времена, не заботясь о сегодняшнем дне. Постепенно дед окончательно замкнулся в себе, живя в мире грез, существовавшем лишь в его старческой слабоумной голове.

«Мне почти сорок, — думал Ханнес Меулен, — настанет мое время». Ферма занимала его все меньше, правда, вот засуха нынче, но так и раньше бывало. Сестра давным-давно вышла замуж и ни в чем не нуждалась; сам он шел вперед семимильными шагами. После окончания колледжа, следуя заветам отца, вступил в националистическую партию, и вот теперь он единственный претендент на место в парламенте от их округа. Впереди — женитьба на любимой, незаурядная политическая карьера.

Вот и дом Стаинов: высокое крыльцо с каменными ступеньками; белый островерхий фасад, украшенный лепными пилястрами; широкие окна с переплетами; надежная соломенная кровля — старый Стин сам регулярно проверял ее. За шторами горели огни, играла музыка. Ханнес постучал бронзовой колотушкой и стал ждать, сердце учащенно забилося. Нет, Рина не пошлет служанку открывать, ведь она знает о его приезде. Каспер Стин наверняка развалился в кресле, слушает радио. Раздались торопливые шаги, дверь отворилась — на пороге стояла Рина.

— Дорогой, это ты!

Он взял ее за руку, нежно поцеловал в подставленные губы, потом в щеку.

— Нехороший, — переводя дыхание, сказала она, — почему не приехал к нам прямо с вокзала? — Она увлекла его в прихожую, громко возвещая на весь дом: — Папа, это Ханнес, Ханнес пришел!

— Я решил закинуть вещи в отель, отмыться от паровозной сажи и дорожной пыли.

— Жара невыносимая, правда? Ну пойдем, ты должен рассказать нам все по порядку.

Он все держал ее за руку, с восхищением разглядывая девушку. Упругая грудь, ни унции лишнего веса, подросток превратился в великолепно сложенную женщину. Кудри отсвечивают бронзой; нос немного облупился от загара; чистая, целомудренная линия рта. Словом, прекрасный образчик благовоспитанной бурской девушки из хорошей семьи.

Из нее получится отменная жена, подумал он радостно. Он любит ее, она станет матерью его детей. Они поселятся на ферме, будут путешествовать по стране, вместе совершать деловые поездки. В остальное время Рина будет приглядывать за фермой, копаться в огороде, разводить цветы — это ее любимое занятие, — стряпать блюда по замысловатым рецептам, готовить сухарики, вяленое мясо, варить варенье, устраивать генеральные уборки в доме.

Лучась радостью, она провела его в гостиную. Несмотря на вечернюю духоту, девушка благоухала свежестью.

— Вот и папа.

Большая комната, куда они попали из прихожей, была заставлена креслами, пуфами, огромным резным буфетом работы прошлого века; над камином — зеркало в золоченой раме; с высокого потолка, покоящегося на балках, свешивалась старинная люстра.

Каспер Стин, отложив чтение, поднялся навстречу гостю. Он был небольшого роста, коренастый, редкие седые волосы зачесаны назад, тяжелые челюсти, мясистый нос, под влажными глазами мешки. Взгляд как у матерого волка. Несмотря на жару, на нем был строгий темно-серый костюм; крахмальный воротничок и манжеты сверкали белизной. Весь его вид говорил о том, что он решительно порвал со своим фермерским прошлым. Я, мол, вам не деревенщина, овчар, пропахший навозом! Он ежедневно читал газеты на африкаанс и книги, оставшиеся у дочери еще со школьной поры. Будущий тесть сдержанно улыбнулся Меулену, показав искусственные зубы. Он избегал чрезмерных проявлений чувств — они нарушили бы то впечатление, которое он желал производить на людей.



— Вот и ты, Ханнес, — произнес он. — Как поживаешь?

— *Оом* Каспер! — отвечивал молодой красавец, пожимая руку будущему тестю. Ему бы впору называть его «отец», как делают женихи, уже принятые в доме, но Ханнес не мог решиться на подобную фамильярность. Традиционное обращение «оом» (дядя) к пожилым людям — единственная вольность, которую он покуда себе позволял. Хорошо бы поторопиться с формальностями, поскорее увезти Рину к себе на ферму, чтобы не приходилось терпеть общество этого сухаря всякий раз, когда хотелось повидать ее.

— Рина, — обратился Стин к дочери, — принеси-ка нам персикового бренди.

— В жару, да еще перед ужином? Духота такая, что вороны зевают.

— А, пустяки, уверен, твой молодец не прочь пропустить стаканчик. — Рина пошла к буфету, а он снова с улыбкой обратился к Меулену. — Поездка прошла удачно?

— Как будто все складывается для нас весьма благоприятно. Что вы читаете, дядя?

Стин покосился на книгу, которую держал в руке.

— Роман Потгитера, остался у Рины еще со школы. — Он указал Меулену на кресло. — Усаживайся поудобнее. Ты ведь знаешь — здесь ты у себя дома.

Он опустился в свое кресло, где читал до прихода гостя. Меулен сел рядом, скрестив ноги.

— Можно мне закурить? — Он всегда спрашивал разрешения, тщательно скрывая свою неприязнь к старику. Подошла Рина, поставила на столик бутылку и рюмки. Ханнес улыбнулся девушке.

— Ужин будет скоро готов, я позову вас.

Легкой походкой она направилась к двери, потряхивая бронзовыми кудрями. Меулен проводил ее исполненным томления взглядом и, налив себе и старику бренди, поднял рюмку.

— Ваше здорье! — воскликнул он, пригубив, поставил рюмку и принялся набивать трубку табаком из кожаного кисета. — Так вот, корпорация одобрила выводы геологов. Они не сомневаются в том, что земля, о которой идет речь, содержит залежи ценных минералов.

— Отлично, отлично, — закивал Стин. — Благодарение богу!

Меулен поднес зажигалку к трубке, раскурил ее.

— Они создадут акционерную компанию. Пятьдесят два процента акций оставит за собой правительство, а сорок восемь процентов будут пущены в продажу. Я, естественно, поставил их в известность, что мы с вами заинтересованы в приобретении значительной доли.

— Превосходно, ты просто молодчина, сынок.

— Как только переселят кафров...

— Их теперь следует называть «банту», сынок, — хмыкнул Стин, — времена другие...

— Как только переселят банту, — понимающе усмехнулся Меулен, — начнется освоение района. По просьбе наших сограждан я побывал у верховного судьи и потребовал, чтобы переселение ускорили. Он передал дело главному комиссару, и тот затребовал полный список имен. Список был составлен, и вопрос рассматривается теперь в департаменте по делам этнических общин. Нет нужды говорить, что авторы геологического отчета сыграли нам на руку.

Тут Меулен спохватился — он взял слишком уж официальный тон, впрочем, умение четко излагать мысли и факты — необходимое качество для парламентария.

— Эти черные твари, я полагаю, подчинятся? — изрек Стин.

— Ну конечно же! Департамент договорился с управлением железных дорог о специальном составе для них. Местные фермеры предоставят грузовики, чтобы довезти туземцев до станции. Отъезд назначен на завтра.

— Ну и слава богу! — воскликнул Стин и подлил в рюмки бренди. — Эта акция, несомненно, поднимет твою популярность, сынок. Как видишь, оппозиция даже не решилась выставить своего кандидата в нашем округе.

— Мои предки поселились тут одни из первых, нашу семью все знают.

— Верно! Кстати, как твой дед? Я что-то не слышу о нем в последнее время. — Бренди сделало свое дело, мужчины расслабились, повеселели.

— Да все по-прежнему. Ни за что не желает перебираться в Новый дом, и я решил оставить его в покое. Когда мы с Риной поселимся на ферме, ей, наверно, придется приглядывать и за стариком, но он больше всего дорожит одиночеством и не будет ей обузой.

— Увы, он и впрямь не молод.

В гостиную, широко улыбаясь, вошла Рина.

— Прошу, ужин уже на столе.

Мужчины поднялись. Меулен выколотил пепел из трубки, Стин слегка раскраснелся. Рина взяла Меулена под руку, и вслед за отцом они прошли в столовую.

Такой же потолок с балками. Солидная громоздкая мебель из местного ореха сверкала полировкой, на столе искрилось серебро. Две картины в дорогих рамах, изображавшие цветущий вельд, подсвечивались особыми лампами. Сквозь настежь распахнутые стеклянные двери, ведущие на веранду, в столовую вливался свежий ночной воздух, стрекот насекомых. За раздвинутыми тяжелыми портьерами лежал сад, и яркий свет луны играл на увядших стеблях гренадиллы.

Мужчины уселись в разных концах стола друг против друга. Рина заняла место посередине. Цветная служанка внесла супницу.

— Возблагодарим бога всемогущего, — произнес Стин. Они склонили головы над тарелками, старик пробормотал молитву, потом налил вина Меулену и себе. — Винцо недурственное, белое, но не слишком сухое. В Западном Кейпе отменные виноделы, от импортного не отличишь.

— Ханнес, — в разгар трапезы обратилась к жениху Рина, — ты должен мне помочь.

— С удовольствием, моя девочка.

— Департамент охраны природы обратился ко мне с просьбой возглавить кампанию по спасению растений и цветов от засухи.

— Задача, достойная тебя, — улыбнулся Меулен. — Я не сомневаюсь — ты справишься. Продолжай, пожалуйста.

— Ты же знаешь, в вельде сотни и даже тысячи видов диких цветов, они погибнут от засухи, если не перевезти их в специально оборудованные места. Предстоит пересадить алоэ, саговник, орхидеи. Необходимо снарядить экспедицию в вельд, отыскать растения и цветы, над которыми нависла угроза, и перенести их в общественные сады и парки. Только так их можно сохранить.

— Чрезвычайно интересно! Я уже читал об этом в газетах. Итак, дело поручено тебе?

— Одна я не справлюсь. Хочу вовлечь знакомых, созвать специальный комитет. Понятно, вам, мужчинам, достанется самая тяжелая работа — копать землю, та-

скасть тяжести. Представляешь, сколько весит, например, хлебное дерево?

— Мужчинам к тяжелой работе не привыкать, — хмыкнул старый Стин, — у нашей молодежи крепкие мускулы.

— Кроме того, — продолжала Рина, вытирая рот салфеткой, — понадобятся грузовики, джипы. Можно ли рассчитывать на тебя, Ханнес?

— Пару грузовиков я вам подкину, — ответил Меулен. Служанка внесла второе. — Но не сейчас, а позже, когда у вас все будет готово. В настоящий момент мой транспорт перевозит овец на дальние пастбища, где еще осталась вода. Кроме того, я обещал комиссару два грузовика на завтра, чтобы довести кафров до станций.

— Время еще есть, но я хочу выяснить заранее. Значит, так и запишем: менир Ханнес Меулен дает грузовики. Твой пример поможет раскачать других.

— Берегись, сынок, — вставил ее отец. — Твоя будущая жена еще заткнет тебя за пояс — видишь, какой общественный деятель!

— Будет речи за меня писать, — пошутил Меулен.

— Про дикие растения — охотно! — подхватила Рина, и все рассмеялись.

На второе были котлеты, вареный желтый рис с изюмом, овощи, салат из свеклы, острая абрикосовая приправа. Стин велел служанке принести из гостиной початую бутылку персикового бренди.

— Не сомневаюсь, — сказал он, накладывая себе салат, — ты станешь членом парламента, и произойдет это в ответственный момент нашей истории. Мир изменяется, и мы должны изменяться вместе с ним.

— Все дело в том, как понимать перемены. Мы могли бы взглянуть на вещи по-новому, если это не нанесет ущерб нашей культуре, нашему достоинству и чести. В городах зашевелились черные, они недовольны зарплатой, жалуются на несправие. Туземцы не ценят того, что мы для них делаем.

— В колледже, — заговорила Рина, — находились студенты, предлагавшие всякие несуразицы. Они утверждали, что, поскольку белых в стране всего три миллиона, нам не удастся вечно держать банту в узде и потому следует передать им власть, а самим приспособливаться к новым условиям.

— Эти либеральные идеи, импортированные из-за границы, получили теперь хождение даже среди бурской молодежи, — заметил Стин, потягивая бренди. — Возможно, это знамение времени, не берусь судить. Но на что способен народ, еще сто лет назад не знавший колеса? Страны, где к власти приходят варвары, обречены на гибель. Мы знаем это из истории. Вспомните, что было на севере Африки, когда оттуда ушли европейцы. Хаос приближается к нашим границам — португальцы дрогнули. Неужто теперь наша очередь? Ты верно сказал — черные бунтуют, несмотря на все, что мы для них делаем. Только сила и преданность великой цели могут спасти наш народ и нашу цивилизацию. — Он достал из нагрудного кармашка свежий носовой платок, вытер вспотевший лоб. За стеклянной дверью мерцали светлячки.

— Жаль, наши заморские друзья, которых мы пустили на готовенькое, не понимают, что здесь их подход неприемлем, мы не можем принять их рецептов, — сказал Ханнес Меулен. — Они, как говорится, хотят и невинность соблюсти, и капитал приобрести. — Подцепив вилок котлету, он посмотрел на сидящего напротив Стина. — Нам ни в коем случае нельзя подпадать под влияние того, что происходит в других странах. У нас свой путь. Любые отступления и колебания, вроде тех, которым были подвержены однокашники Рины, носят, я уверен, сугубо поверхностный характер. В конечном счете идейные и нравственные устои нашего народа прочны, как цемент, как тот памятник, что воздвигнут в столице в честь наших предков. Расовая, культурная и религиозная чистота наша нерушима.

— Сдается мне, — сказал Стин, отодвигая тарелку, — что проблема, стоящая сегодня перед нами, не из легких. Я имею в виду безудержное стремление к так называемой свободе от всех запретов и норм, дисциплинирующих человека. Дух либерализма, как эпидемия, охватил миллионы людей во многих странах, симптомы этой болезни проявляются и у нас.

Ханнес Меулен улыбнулся Стину через стол, заставленный тарелками. Он вспомнил своего отца, его мясистое лицо, наливавшееся кровью от волнения; вспомнил мужчин в серых рубашках у могилы за церковной оградой и то, с каким любопытством поглядывали на них из толпы, шедшей за гробом; он, мальчишка, не пролил ни

слезинки, стараясь не спасовать в присутствии взрослых...

— Африканеры — богом созданный народ, — воскликнул он, поглядев на Рину. — Мы своего добьемся!

— Аминь! — гаркнул Стин. Служанка поставила перед ними фруктовый салат и сливки.

Рина больше в разговоре не участвовала, слушала молча, зная, что политика — мужское дело. Она носила кольцо, надетое ей Ханнесом при помолвке. Стало быть, она всегда рядом с ним, во всех его начинаниях. Это ее долг. Ей спокойно подле него; ее образование тоже послужит ему службу. Она будет ему верной женой и доброй матерью его детям, будет гордиться его положением в обществе, радоваться его успехам.

— Ну так, — произнес Стин, покончив с пудингом и отодвигая стул. — Пойду к себе, почитаю, оставляю вас, голубки, вдвоем.

— Не выпьешь ли чашечку кофе? — спросила Рина.

— Вели служанке подать кофе в мою комнату.

— Мы, конечно, увидим дядю на завтрашнем молебне? — спросил Меулен.

— Заезжай за нами, — предложила Рина, — и отправимся в церковь вместе.

— Прекрасная мысль! Ханнес, налей-ка себе еще бренди. Спокойной ночи, дети.

— Доброй вам ночи, дядюшка!

Рина поднялась и, как подобает, чмокнула отца в щеку, проводила его до двери. Распорядившись насчет кофе, она вернулась к Меулену, стоявшему у стола с полной рюмкой в руке.

— За тебя, мое сокровище! — Свободной рукой он обнял ее за талию, ощутив трогательную хрупкость девушки, уловив, как бьется ее сердце. Лицо Рины покрылось робким румянцем, его пальцы коснулись ее груди...

— Мой милый, — шепнула она, откинув со лба бронзовые кудри, — это ты мое сокровище!

\* \* \*

На буром склоне, среди колючек, валунов и чахлого подлеска, похожего на клочки обуглившейся бумаги, виднелось кладбище. Его можно было распознать по невысоким холмикам сухой земли, покосившимся кре-

стам и разбитым табличкам, по кучкам камней, пустым банкам и потрескавшимся горшкам для цветов. Свежие могилы сразу бросались в глаза, земляные холмики не успели высохнуть, букеты полевых цветов не совсем еще завяли, с деревянных табличек, где были тщательно выписаны имена покойников, еще не облупилась краска. Валуны и кресты отбрасывали теперь длинные тени. Над могильными холмиками сумерки развернули свое алое покрывало.

Пастух Мадонеле, присев на корточки в пыли подле куста кару, безмятежно посасывал длинный мундштук, наслаждаясь вкусом табака, набитого в высокую чашечку трубки. Время от времени он блаженно почесывался, запуская костлявые пальцы под прохудившееся одеяло; маленькие глазки задумчиво глядели из-под старой шляпы. Вокруг него уже завели свои песни цикады, но он не обращал на них внимания, давно привыкнув к их треску. Он не глядел в сторону Шиллинга Муриле, понимая, что в такие минуты человеку надо побыть наедине с собой.

Шиллинг Муриле, оседлав небольшой валун, расшнуровал ботинки, скинул их и, вытянув ноги, шевелил вспотевшими ступнями. Отсюда вся окрестность была как на ладони: далекие мазки гор, над ними в сгущающейся мгле уже бледно мерцали первые звезды; низкие желто-бурые холмы в складках и трещинах подернулись тенями, деревья в станционном поселке, водокачка, церковный шпиль, приземистые строения фермы Меулена. Первая волна ночи плавно накатывалась на землю, измученную долгим знойным днем.

«Я сделаю свое дело», — думал он, смакуя горечь во рту. В помутневших карих глазах сквозила ненависть; ненависть была другом, нуждавшимся в надежном убежище. Он лелеял ее, как заклинатель ядовитую кобру. Ненависть, точно леопард, припавший к земле, изгибаясь для прыжка, замерший, но живой, со стучащей кровью, подгоняемой горькими воспоминаниями. Муриле как бы слился воедино с осыпающимися могилами и выцветшими табличками. Смерть лежала у его ног, ожидая, когда он окликнет ее.

Когда-то тут в одну из могил закопали любовь; любовь сгнила, истлела, остались лишь оскаленные в мстительной ухмылке зубы. То, что было его братом, превратилось в кучку костей и пепла, без души, без имени —

только отдельные буквы на сгнившей, покосившейся дощечке.

Кровавая капля солнца зависла над краем неба, удлинилась, качнулась вниз и исчезла. Горизонт вспыхнул пламенем в том месте, где она канула в темноту, тьма поползла по небу, упала на землю. Холмы медленно попрятались за кусты кару и терновника, за бастионы из базальта и известняка, и земля казалась гладкой и ровной под мягким покрывалом ночи.

Мы часто здесь гуляли, вспоминал Шиллинг Муриле. Они выросли вместе, вместе пасли овец на шершавых склонах, вместе прошли обряд посвящения в мужчины, выдержав нелегкие испытания. Они присматривали и за стадами белых фермеров, ставили изгороди, не отдавая себе отчета в том, что таким образом у их народа отбирают землю.

Иногда они варили пиво, устраивали веселые попойки. Мать бранила их, а они закрывали рты руками, чтобы не приснуть. Ходили на охоту с белыми, таскали за ними ружья и добычу.

Брат всегда был слабогрудым, вспоминал Шиллинг Муриле, таскать тяжести ему было не под силу. Зимой он вечно бывал простужен, надрывно кашлял, кутался, носил башмаки. Нет, Тими не стал крепышом и нуждался в защите и покровительстве брата.

Когда внучка старого Меулена выходила замуж, кафров позвали помочь с приготовлениями к свадьбе. Шиллинг Муриле привел на хозяйскую усадьбу брата. Им велели зарезать баранов, привезти со станции ящики с вином, вымыть окна в доме, разбить большой полотняный шатер. Черные работали весь день и всю ночь накануне свадьбы, и к утру все было готово к торжеству.

Центром праздника стал Новый дом, построенный отцом невесты, умножившим богатство семьи. Но старый Меулен ни разу не переступил его порога. Дряхлый, высохший, он сидел на полуразвалившемся крыльце Старого дома, который он сам поставил давным-давно, когда только поселился в этих краях. Забившись в старинное кресло, укрытый пледом, он внимательно наблюдал за всем полуслепыми, слезящимися глазами. Старик не любил нововведений, но не перечил решениям и поступкам сына, Джекоба. Пережив его, он как бы лишний раз доказал порочность и несостоятельность совре-



менного уклада. В свое время он сражался против англичан и по сей день не примирился с их присутствием в стране. Он допускал к себе лишь слугу по имени Коос из племени нама, такого же дряхлого и высохшего, как он сам. Коос жил в лачуге на задах Старого дома. Меулен-дед был жилистым и жестким, как вяленое мясо, которым он питался в молодости, и, судя по всему, не то-ропился покинуть эту грешную землю.

Внуки Ханнес и Берта пошли не в него, не стали его продолжением, плотью от плоти. Одно название — родня, а на поверку чужие. Что им до его хрупких воспоминаний о далеких годах? Он знал от Кооса, что молодая хозяйка намерена после свадьбы переехать в город. Ничего другого он не ждал; девчонке следовало хотя бы испросить его соизволения. Но не эта новость привела его на крыльцо. Сами приготовления к свадьбе подогревали его любопытство, они раздували угольки в его едва тлеющей памяти, воскрешая совсем было забытые события собственной молодости.

Гости начали съезжаться с утра. Они проделали длинный путь, кое-кто приехал даже из дальних городов. Подкатывали легковые машины, пикапы, грузовики; на некоторых были столичные номера; лак потускнел от бурой пыли. Старик, сидевший в одиночестве на ветхом крыльце, видел лишь размазанные силуэты, но его уши улавливали громкие приветствия, смех, нарастающий гул голосов. От открытых жаровен потянуло запахом мяса. Для гостей было припасено капское вино, бренди, пиво, заморское виски и шампанское.

Черные, кому не выпала честь прислуживать за столом, наблюдали за весельем со стороны, через распахнутые настежь широкие двери амбара, и потихоньку накачивались краденым вином:

— Что это за свадьба, — икая, сказал один, утирая рот рваным рукавом. — Почему нет танцев? Так не веселятся!

— Танцы будут потом, — отозвался Тими. — Хозяин пригласил оркестр из города.

— А почему заправляет всем молодой баас? Ведь ферма-то все еще принадлежит деду. Посмотри, вон он сидит, точно ворон на ветке! Нет, не похоже на свадьбу, танцев нет...

После нескольких бутылок капского шерри кое-кто из черных, вороша и раскидывая люцерну, пустился в пляс, решив исполнить обрядовый свадебный танец.

— Да и выкупа не видать, — рыгая, снова заговорил ворчун. — Что за свадьба без выкупа, без танцев? Эти белые все делают не так!

— Хватит вам, задохнемся от пыли, — крикнул Шиллинг Муриле танцующим. — В конце концов, это не ваша свадьба!

Тими захихикал, приложился к горлышку бутылки, пустил ее по кругу и сказал весело:

— Повезло жениху — отдают невесту без выкупа! Помните Ндалу, он уехал в город на заработки, чтобы расплатиться с родителями своей будущей жены.

— Говорят, в городе наши женщины тоже теперь выходят замуж без выкупа, — сообщил ворчун, — и к тому же в белых платьях.

— Другие времена, — заплетающимся языком вставил еще кто-то. — Свадьба без танцев — неслыханное дело!

— Говорят же вам, — повторил Тими, — будут танцы, вон там, в шатре, даже пол специально настелили, вы сами его клали.

— Не нравится мне это, — с пьяным упорством твердил ворчун, — белые платья...

Старые добрые времена. Это о них с болью думал сейчас Меулен-дед. И тогда гости тоже начали съезжаться с восходом: экипажи, фургоны, телеги; всадники, расседлав лошадей, повесили сбруи в ряд на стену дома. К полудню все собрались... Гостей немного — в округе пока лишь горстка белых семей, — все пожимают друг другу руки, угощаются кофе; пожилые женщины, большие и грузные, как ломовые лошади, потеют под капорами; девушки щебечут, обмениваются новостями. Дети держатся стайкой, порхают, как голуби, слуги приглядывают за ними. Все с нетерпением ждут, когда вернутся из дальней церкви молодые. От очагов долетает запах праздничных блюд, слуги разносят кофе в кружках. И вот наконец появляется он с молодой женой. Гордо восседая в фургоне, запряженном парой лошадей, они въезжают во двор среди криков, восклицаний, улюлюканья, ружейной пальбы. В воздухе пахнет порохом, жарящимся мясом и пылью, вздымаемой копытами.

Старик пробуждается от сладких грез и наяву слышит похожие крики и возгласы — прибыла его внучка с мужем, — но слепнувшие глаза не видят кортежа машин, подвенечного платья с волнистым шлейфом и фатой. Подружки невесты в неярких нарядах, мужчины — в строгих городских костюмах. Но для старца все это только расплывчатые призраки, в памяти же снова возникает он сам и его невеста. Они торжественно поднимаются на крыльцо, входят в дом. Вот и спальня молодых, брачное ложе утопает в цветах. Их подводят к стульям. Гости в выходных нарядах старинного покроя, хранящихся в деревянных сундуках и извлекаемых лишь по таким торжественным случаям, подходят к ним по очереди, поздравляют, желают счастья.

Пиршество — барашек с тыквой, бобы, варенье, домашняя наливка. Гуляют гости за столом в парадной зале, а танцуют во дворе, очищенном от навоза, при свете сальных свечей под аккомпанемент скрипки и концертины. Кто же играл тогда? Молодые пары кружатся и подпрыгивают; бородатые старцы и матроны в капо-рах любят ими, притопывая ногами. Подошвы взбивают землю, точно масло; все кашляют от мелкой пыли.

В полночь пожилые родственницы невесты отводят ее в спальню и гасят свечи. Его самого, изнывающего в тесном костюме и галстукешнурке, провожает до дверей спальни дружок, недавно отпустивший бороду и бакенбарды. Вид у Карела, вспоминает его имя старик, напыщенный, торжественный. Бедняга погиб при Спиункопе несколько лет спустя... Заперев за собой дверь на засов, он стоит в темноте, прислушиваясь к веселью снаружи. Гулянье продлится до утра...

Вот и теперь веселье в самом разгаре. Звучат тосты. Толпа гостей осаждает бар, устроенный прямо на лужайке у входа в шатер. Прибыл из города нанятый там оркестр «Гендрик Смит и его парни». Послеполуденный зной оглашают музыка, крики, смех, счастливые возгласы. Нет ни скрипки, ни концертины, вместо них труба, саксофон, аккордеон, контрабас, ударные. Всех птиц распугали... Играют старинные танцы вастреп и тикердждраай вперемежку с рок-н-роллом и ча-ча-ча. Кружащиеся гости в испарине, лужайка усеяна пустыми бутылками и банками из-под пива. Под деревьями устроили состязания в перетягивании каната и метании колец.

Старику, свернувшемуся калачиком в кресле, является видение. Из облака ржавой пыли возникает девушка в широком белом платье; он не может разглядеть счастливого румянца на ее щеках, лица стоящего рядом молодого человека, его смущенной улыбки, вежливого, слегка чопорного поклона. Девушка подходит ближе, старик слышит ее учащенное дыхание. Он не знает их — должно быть, кто-то из новоселов. Где Карел? Почему он не представит гостей? Как мило с их стороны, что они пожаловали к нему на свадьбу, о них позаботятся, на славу угостят.

— Дедушка, — мягко говорит видение в белом, в ее голосе смешались любовь и грусть. Она берет его за руку, похожую на высохшую куриную лапку.

— Детка моя, — каркает старик, почти узнав ее теперь, — внученька.

Длинные тени ложатся на лужайку, снова раздаются приветственные крики. Раскрасневшиеся жених и невеста садятся в машину, отправляясь в свадебное путешествие. После их отъезда веселье вспыхивает с новой силой, теперь уже гуляют без удержу.

Почти все черные батраки в амбаре, накачавшись вином, спят вдоль стен на раскиданном сене, среди покосившихся кип люцерны. Спят, точно рухнувшие на землю чучела. Одна из служанок стянула со свадебного стола две бутылки бренди, их мгновенно распили, и вот теперь мужчины храпят и бормочут что-то в тяжелом забытьи. Из шатра, пересекая обширный двор, сюда доносятся веселый гул, слышатся глухие удары шаров с площадки для игры в *юкскей*, голоса ребятни, резвящейся на автомобильной стоянке.

— Пойдем. — Шиллинг Муриле, пошатываясь, расталкивает заснувшего брата.

— Где? Что? Куда? — спросонок бормочет тот, тяжело дыша и сплевывая.

— Надо пройтись после такой выпивки, и музыка мне эта осточертела.

— У меня голова кружится. — Тими прячет лицо в колени. — Лучше здесь поспать. А у тебя, я вижу, еще бутылка в кармане.

— Остатки вина. Пошли, нечего нам тут делать. У меня тоже башка трещит и в горле пересохло. Если молодой Меулен пронюхает, что мы свистнули вино и бренди, нам несдобровать. И этим всем болванам достанется.

— Ого, ну и крепкая же у них выпивка! Злая, как *токолоше*, верно? У меня в голове точно дүхи бегают наперегонки.

— Айда, проспимся где-нибудь в другом месте.

— Только держи меня покрепче, брат.

Они выбрались из амбара через лаз в задней стене и, качаясь из стороны в сторону, потащились вверх по склону холма босиком, звуки свадебного веселья остались позади. Пройдя немного, они присели передохнуть, рыгая и сплевывая. Тени уже густели в холмах. Приложились по очереди к бутылке. Для них вино было редкостью, с непривычки им сделалось дурно, зато обуяла безудержная отвага. Кое-как поднявшись на ноги, они, спотыкаясь, побрели дальше. Тими вдруг запел:

«Ой, женщина, ты чем гремишь так громко?»

«Я выколачиваю пыль из одежки!» — заплетающим языком подхватил брат.

— Что это? — спросил Тими, разглядев впереди движущиеся тени.

— Овцы, — ответил Шиллинг Муриле.

Прислонившись к столбу, они устались на овец, мирно топчущихся в обнесенном колючей проволокой краале. Из-за хлебных деревьев и колючих алоэ в предвечерней тишине все еще слышалась музыка и смех гостей. Овцы насторожились, учуяв близость людей.

«Что у тебя за одежка, которая гремит так громко?» — пропел Тими дурным голосом и захихикал: — Бедные овцы, на свадьбу вас не позвали, поплясать не смогли.

— Айбо, — поддержал брат. — Как только не стыдно хозяевам!

— Ну, мы это сейчас исправим. — Тими еле ворочал языком. — Раз все танцуют, то пусть и овцы тоже. — Он погрозил кому-то пальцем. — Все — так все!

— Верно, пусть повеселятся, — захохотал Шиллинг Муриле, распахнул ворота и, размахивая полупустой бутылкой, врезался в середину отары.

— Пляшите, пляшите, овечки, все пляшите!

Захмелевшие парни закружили по краалю, хохоча, размахивая руками, и овцы, налетая друг на друга, устремились в открытые ворота. А оба парня подгоняли их криками: «*Эйапи! Эйапи!*» Пыль столбом взметнулась над загонном, братья зашлись кашлем, а овцы бросились врассыпную между деревьев и кактусов. Разогнав ота-

ру, братья побрели прочь, гогоча, качаясь, хлопая друг друга по плечу, горланя обрывки песен.

Солнце зашло, поднялся холодный, пронизывающий ветер. Усевшись передохнуть на обочине проселочной дороги, братья мелко дрожали в своих дырявых рубашках. Вдоль дороги были вкопаны столбы для строящейся изгороди. Издалека доносились звуки оркестра, пламенел закат, звезды еще не зажглись; ветер ерошил жесткую траву, гнал клубки колючек по темнеющим полям.

Младший из братьев, Тими, чихнул, высморкался в пыль, снова чихнул.

— Выпей еще, — предложил Шиллинг Муриле. — Сразу согреешься, это лучшее лекарство. — И сам отпил, запоркинув бутылку.

— С меня хватит. — Тими неуклюже покачал головой. — У меня мозги кружатся. — Он снова покачал головой, и она зашаталась так, словно вместо шеи у него развязавшийся конец веревки. Из носа текло, ему хотелось одного — забиться куда-нибудь в тепло, заснуть и спать долго-долго. Подтянув колени, он обхватил их и застучал зубами.

— Тогда я ее прикончу. — Икнув, Шиллинг Муриле допил вино.

На дороге вдруг закипела пыль, взвиваясь вслед за автомобилем, засверкали, приблизившись, фары. Они слышали гул мотора, лязг передач, зажмурились от яркого света, зачихали от пыли. Маленький фермерский пикап, проехав юзом, затормозил — водитель заметил их.

Оставив включенными фары, из кабины выскочили двое мужчин и подбежали к братьям. Шиллинг Муриле, узнав их, помахал бутылкой.

— Мои господа, вот и вы, — захихикал он. — Очень раз вас видеть.

— О боже! — сказал один из белых. — Вот эти подонки. Они выпустили овец, — сказал Опперман, управляющий с фермы, грузный, краснолицый, с усами, в чистом спортивном костюме. — Вон, у одного из них бутылка.

— Дерьмо! — выругался Ханнес Меулен. — Все кафе-ры напились до бесчувствия краденым вином, а бедные овцы так и будут бродить до завтра. Ищи их потом. Это вы разогнали отару? — закричал он. — Сознавайтесь!

— Баас, — отозвался Шиллинг Муриле, — господин молодой хозяин, мы хотели, чтобы они поплясали.

— Они оба пьяны, — нагнувшись, чтобы лучше их разглядеть, с отвращением воскликнул Опперман. Он выхватил бутылку из руки Муриле и разбил ее оземь. — Что с ними делать? — Он оглянулся на Меулена. — Надо бы отвезти мерзавцев в полицию.

— Ну и денек, — вздохнул Меулен. — Я сегодня выдаю замуж сестру, в доме полно гостей. Некогда мне возиться с этими ублюдками. Пускай побудут здесь, утром свезем их в участок.

— Здесь?

— У тебя найдется веревка в кузове? Свяжем их — никуда не денутся.

Опперман пошел к пикапу, а Меулен, стоя в свете фар, глазел на двух оборванцев, сидящих на обочине. На нем был выходной костюм с белой, уже увядшей гвоздикой в петлице. Гнев и ярость исказили его красивое лицо, налившееся темной кровью.

— А ну вставайте, кафры, — сжав кулаки, заорал он, — не смейте сидеть в присутствии белого.

— Баас, — повторил Шиллинг Муриле, — мы только хотели, чтобы они поплясали.

— Вы у меня сами попляшете. — Меулен повернулся и зашагал к пикапу — Опперман все копался в кузове, — залез в кабину и появился вновь, держа в руке ружье.

— У, обезьяны проклятые! — Он ткнул дулом в лицо Муриле, помахал им перед Тими, который все трясся и чихал. — Встать, живо, вы, мразь!

От вида оружия и боли в щеке Шиллинг Муриле сразу протрезвел, он встал на ноги, держась за столбик ограды, и, качая головой, забормотал:

— Нехорошо это, баас.

Опперман вернулся с мотком электрического провода.

— Думаю, подойдет. А ты, черная образина, — напустился он на Муриле, — попридержи-ка язык, твое дело — помалкивать.

Издали все еще доносилась музыка вперемешку со стрекотом цикад и резкими порывами студеного ветра. Меулен навел на них ружье.

— Вы, кафры, совсем обнаглели, сперва вино украли, а потом и овец.

У Тими голова от выпитого была тяжелой, ноги не держали его, вдобавок он все чихал и шмыгал носом.

— Опперман, вяжи этих макак, — велел Меулен своему управляющему. — Ничего с ними до утра не случится.

Опперман уставился на братьев, краснея от гнева — охота была мараться о черномазых!

— Баас, вы же знаете меня, — обратился Муриле к Ханнесу Меулену. — Не поступайте с нами так, баас. Помните, я нес подстреленную вами антилопу, чистил ваши ружья.

— Не знаю тебя и знать не хочу, — процедил с презрением Меулен. — Дерьмо, с каких это пор я вожу знакомство с кабрами! По мне — все вы на одно лицо. — Он перевел взгляд на Оппермана. — Ну, давай живее!

Опперман, когда злился, делался жестоким. Он подтолкнул братьев к изгороди и, ругаясь последними словами, накрепко привязал их к столбам; электрический провод впился в тело, сдавил кости. Меулен держал карабин наготове.

Пикап подал назад, развернулся и покатил прочь по проселочной дороге; песком из-под колес обдало обоих пленников. Автомобиль с грохотом канул в ночь, красный огонек мигнул и растаял в облаке пыли.

Братьев душил кашель. Тими харкал мокротой и стонал, бессильно повиснув на проводе, притянувшем его к столбу. Шиллинг Муриле отчаянно извивался, стараясь освободиться от пут, но свирепый Опперман не поленился, затягивая узлы, и провод в резиновой оболочке вонзался в кожу, сдавив жилы, мускулы и кости. Каждое движение отзывалось мучительной болью. Поняв, что все усилия тщетны, он стал ждать утра.

Ветер усилился, нагоняя стужу. Непроглядная ночь окутала вельд, застывший серебряный слиток луны не мог рассеять невероятный мрак.

— Тими, как ты там? — спросил Шиллинг Муриле в темноте и испугался собственного голоса — карканье какое-то.

Брат издал странный звук, что-то среднее между хрипом и шипением. Провод препятствовал притоку крови, все тело затекло. Шиллинг Муриле прислушивался к похожему на стон дыханию брата: тяжелые свистящие звуки — так хрипит поломанный насос. зуб на зуб не попадал, он трясся от холода. Муриле знал: к утру будут заморозки, поэтому спать нельзя. Он совсем протрезвел, хотя голова раскалывалась и мучила жажда.



— Брат, — окликнул он Тими, стуча зубами, — не спи, нельзя спать, ты уж постарайся!

Но в ответ услышал только мучительный присвист, заглушаемый воем ветра...

Муриле сам не заметил, как задремал, и теперь, очнувшись, скулил и трясся от холода. Рваная рубаха и штаны стали жесткими от ледящей сырости. Его бил озноб, а в груди точно бушевало пламя. Он различил силуэт Тими, неподвижно висящего на столбе.

На востоке забрезжила серая заря, тусклый свет пасмурного утра разлился по плоскому вельду, окрасив его в розовый цвет.

Послышался гул мотора, и на дороге показался пикап. Роса еще не высохла, пыли было немного. Машина плавно затормозила у изгороди, из кабины выскочили Меулен и Опперман и подошли к двум чучелам, привязанным к столбам.

Выпутавшись из высокой густой травы, на дорогу выполз красный паук, Опперман раздавил его каблуком. Оба были теперь в костюмах цвета хаки: Меулен в куртке и брюках, а управляющий в шортах и рубахе с закатанными рукавами. Меулен курил трубку и держал ружье наперевес.

— Ладно, развяжи этих обезьян, — велел он Опперману, тот вытащил из кармана кусачки и подошел к пленникам.

Электрический провод ослаб и сполз; Шиллинг Муриле повалился на землю, как манекен. Когда кровь снова побежала по телу, он застонал от боли. Тими упал в траву без звука, как подкошенный, неуклюже подвернув застывшие конечности.

Опперман пнул его ботинком, качнулся, заглядывая в лицо, потом сказал Меулену:

— Господи, менир, этот загнулся.

— Черт возьми, одни неприятности от этих кафров!

Лежа в дорожной пыли, Шиллинг Муриле ждал, когда голова прояснится. Смутно уловив смысл слов Оппермана, он посмотрел налитыми кровью глазами мимо двух белых туда, где лежал Тими, похожий на поломанную куклу. Потом, преодолевая боль, встал на ноги. Он хотел подойти к Тими, узнать, что с ним. Неожиданно он нагнулся, и в его руке заблестело отбитое горлышко винной бутылки со зловеще ощерившимися острыми зубринами. Меулен крикнул: «Берегись!», и оба белых

повернулись к нему, упреждая неуклюжее нападение.

Все-таки острое стекло успело пропороть левое предплечье Оппермана до самой кости, он закричал от боли, с ужасом уставясь на бившую фонтаном кровь; и тут подоспевший Меулен уложил Шиллинга Муриле ударом приклада по голове.

— Господи, он едва не убил меня, — визжал Опперман, сжимая локоть, чтобы приостановить кровотечение...

Окружной судья снял с банту по имени Шиллинг Муриле обвинение в краже овец, зато нашел его виновным в покушении на жизнь Оппермана и приговорил к десяти годам каторжных работ.

Касаясь обстоятельств смерти банту Тими, судья отметил, что менир Меулен был спровоцирован хулиганской выходкой покойного. В намерения Меулена не входило лишать этого банту жизни, но ему, однако, следовало поступить с ним более благоразумно. В наше время белые граждане должны во всем являть собой пример для черного населения, а действия менира Меулена не послужат этой цели. Либеральные элементы и коммунисты могут раздуть этот инцидент; внешние враги: социалистические страны, Организация африканского единства, ООН — не преминут воспользоваться им для новых нападков на нас. Менир Меулен — добропорядочный, всеми уважаемый человек, и ему следовало проявить больше осмотрительности. Справедливый и нелицеприятный суд обязан вынести Меулену суровое порицание и оштрафовать его на значительную сумму...

\* \* \*

В хижину долетали голоса соседей, жалобное блеянье овец в краале. Жители были заняты домашними делами, в окнах горели огни. Кого-то окликал женский голос, залаяла собака, донесся чей-то хриплый говор. В темноте надрывались сверчки. Ночь была душной, с заходом солнца не наступило облегчения. Темнота упала на землю тяжелым покрывалом, от пота щипало глаза. Круглая луна, заняв место солнца, казалось, палит, как дневное светило; в небе далекими кострами мерцали звезды.

Хижина пастуха была круглой, с деревянным каркасом, снаружи к стене привалены камни. Так строили в старые времена. Сквозь прорехи в стенах залетал сквоз-

нячок, чуть смагчавший духоту. В центре глинобитного пола в холодной золе очага стояла почерневшая кастрюля. Мадонеле, орудуя деревянной ложкой, ел из нее застывшую кукурузную кашу. Он сбросил с себя одеяло, снял фетровую шляпу и в свете наполовину сгоревшей свечи, поставленной на камне, казался волшебным гномом — дряблое высохшее тело, морщинистое лицо, седые патлы, сморщенные уши.

— Поешь и ты, — сказал он с набитым ртом, указывая на вторую ложку, торчащую из загустевшей каши.

— Не хочется, — отозвался Шиллинг Муриле. Он был занят тем, что связывал порвавшийся шнурок.

— Хватит обоим, — уговаривал пастух. — Женщины дают мне несколько горстей крупы за то, что я пасу овец. Времена сейчас тяжелые, хлеб из-за суши не растет, а белый лавочник ничего не отпускает в долг. Зерна нет — нечего продать перекупщику. Только те семьи, где мужчины на заработках в городе, могут кое-что покупать в лавке. Хотя эта львица Ма-Тау утверждает, будто и в городе теперь дела не лучше.

— Она, видно, много чего знает, — сказал Шиллинг Муриле.

— Ей приходят письма даже из столицы, она и сама там жила. А ты бывал в тех краях?

— Случалось. Жить там здорово, не соскучишься.

— Думаешь туда вернуться?

Шиллинг Муриле пожал широкими плечами, натянул мозолистыми пальцами шнурок, пробуя, крепок ли узел.

— Кто знает? — ответил он. — Может, и вернусь, когда здесь с делами управлюсь.

— Поешь, — снова предложил пастух.

— Сам ешь досыта, — отказался Муриле. — У тебя такой вид, словно ты недоедаешь.

— Я стар, — вздохнул пастух, счищая кашу с ложки о край кастрюли. — Много ли мне нужно?

— Был бы табачок, — ухмыльнулся Шиллинг Муриле и продел шнурок в ботинок. — У тебя же овцы, лопал бы их.

— Айбо, женщина не позволит, их надо сохранить.

— Какая женщина? Ма-Тау?

— А кто же еще? Она здесь у нас сила, главное Хлангени. Говорит, если съедим овец, ничего не останется на развод, когда снова пойдут дожди. В засуху столько овец полегло, а что нам делать без отары?

— Ну а если все околеют, что тогда?

Старая собака пастуха, лежавшая у стены, встрепенулась и глухо зарычала, повернув исполосованную шрамами морду к двери. Они слышали звук шагов по сухой земле, потом зычный женский голос, заглушивший звон цикад:

— Эй ты! Выходи!

— Ма-Тау, легка на помине. — Морщинистое лицо пастуха нахмурилось. — Что ей от меня надо? Небось отчитывать пришла. Львица, не могла до утра подождать!

— Выходи! Мне не влезть в твою жалкую конуру.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Шиллинг Муриле, поднялся на ноги и, пригнувшись, шагнул к порогу. Мадонеле успокаивал собаку.

Лунный свет превратил кроны терновника в затейливые кружева. В краале на склоне ближнего холма щипали траву овцы. Внизу, в деревне, все еще продолжалась возня. Выйдя за порог, Шиллинг Муриле увидел грузную женскую фигуру на фоне дальней зарницы. Она заслоняла звезды, в черной канве неба образовалась как бы прореха.

— Вот и ты, — сказала она. — А я по твою душу, не нужен мне пастух — это жалкое пугало. *Сакубона*, я рада тебя видеть.

— *Кунжани*, как поживаешь, Ма-Тау? — ответил Шиллинг Муриле.

— Ты узнал меня?

— Разве львицу можно забыть?

Женщина гулко рассмеялась, сверкнув мелкими зубами, сделала шаг вперед. Теперь он мог разглядеть ее: широченное платье, как палатка, перехвачено кожаным ремнем, массивные руки, глазищи в пол-лица.

— Пришлось взбираться в гору, — сказала она, чашто дыша. — А я уж не так легка на ногу, как прежде. — Она оглянувшись, заметила валун, подошла к нему и села. — Погоди, дай дух перевести. — Большое лицо было залито лунным светом, широкий рот улыбался. — Я видела, как вы с пастухом шли к кладбищу, и сразу тебя узнала.

На пороге хижины показался Мадонеле. Прищурившись, он вглядывался в темноту.

— Уходи, пастух, — прикрикнула на него Ма-Тау, — не то раздавлю тебя как блоху. Я пришла поговорить с этим парнем.

— Что тебе от меня надо? — настороженно спросил Шиллинг Муриле.

Женщина опустила свои ручищи на могучие колени.

— Как же, ты ведь наш, деревенский. Сколько лет прошло с тех пор, как ты здесь куролесил? Привязывал пустые жестянки к собачьим хвостам, яйца воровал. Почему же мне не поздравить тебя с возвращением в родные края? Жаль, не осталось у нас жирных телят, а то бы зарезали в твою честь, как учит Библия.

— Думаешь, я насовсем вернулся? — Шиллинг Муриле тоже сел, прислонившись спиной к стене хижины, глядя на женщину тяжелым взглядом. — Погляжу на могилу и пойду дальше.

— О да, мы ведь превыше всего чтим предков, покойных родичей, братьев, сестер. А я-то увидела издаleка, как ты шагаешь рядом с этим убогим пастухом, и подумала: «Нет, он вернулся не для того, чтобы побывать на могиле брата. Они ведь так любили друг друга, он не простил его смерти — пусть теперь кое-кто ждет беды».

— Беды?

— Уж я эти вещи чую издаleка, — сказала женщина с серьезным видом. — Говорят, месть сладка. Ты здесь, чтобы насладиться ею?

— Тебе-то что? — огрызнулся Шиллинг Муриле. — Просто хочу вернуть один должок.

— Вот-вот, — согласилась Ма-Тау. — А сколько таких неоплаченных долгов. Я тебе не помеха, только послушай сперва. Народ решил взыскать долги, близится время сводить счета. По всей стране люди чувствуют это. Тебя долго не было, вот и не знаешь, как бурлит каша в горшке. Конечно, долг, за которым ты пришел, важен для тебя, но много ли он значит в сравнении с общим нашим главным долгом.

— Не суйся в мои дела, — перебил ее Шиллинг Муриле. — Разве не моего брата убили?

— Так-то оно так, ты имеешь полное право на возмездие.

— Я восемь лет просидел в тюрьме у белого человека.

— Все знаю, парень, только наш народ томится в этой тюрьме всю жизнь. Наши вожди в застенках, все мы в заточении. Вся страна — сплошная тюрьма. Люди мрут с голоду, их убивают, стреляют и вешают.

— Зачем ты говоришь мне это?

— Ты можешь принести пользу. В тебе сидит злоба, крутая ненависть, желание добиться справедливости. Но мало справедливости для одного себя, даже если твой замысел удастся. Это пустяк, нужна справедливость для всего народа. Человек с твоей жаждой мести может всем сослужить службу.

— Да на что вы мне дались! — буркнул Шиллинг Муриле. — У меня свое дело, покончу с ним и пойду своей дорогой.

— Куда?

— Все равно, куда глаза глядят.

— У тебя есть пропуск?

— Плевать мне на их пропуски, обойдусь без бумажек.

Женщина рассмеялась, крупное тело ее заходило ходуном.

— Вот видишь! В тебе сидит дух неповиновения. — Она покачала головой. — Айи, только без этих бумажек далеко не уйдешь. Когда женщин впервые заставили носить их, я была среди тех, кто устроил поход протеста в столицу. Тысячи женщин шли с нами, это придавало сил. Чем нас будет больше, тем трудней совладать с нами.

— Ты, видать, опасная женщина. Тебе место в городе, а не здесь.

Она снова рассмеялась.

— Ба, белые сочли меня слишком опасной, поэтому я снова тут. Поехала в столицу учиться на медсестру, а они рассудили иначе. Им же хуже, сами лезут в капкан, смутьянов из города отправляют по деревням. Но разве тут царит покой и местные жители всем довольны? Голодных африканцев, сидящих без работы, выпроваживают из города — пусть голодают в деревне. Если крестьяне и рабочие объединятся, выступят заодно, капкан захлопнется — и белым крышка!

— Ты опасная женщина, а еще сестра вождя! — сказал Шиллинг Муриле. Он не придавал особого значения ее словам, просто слушал из вежливости, чтоб не обидеть собеседницу.

— Сестра вождя, — повторила она грустно, не меняя позы, сложив тяжелые руки на коленях. — Он незлой человек, но не такой, как ты. Свято верит в силу правительственных бумажек, склоняет голову перед законом, и они заметили это. Его понизили, сделали старостой, но не лишили жалованья. Он благодарен им и не смеет послушаться. Но даже ему они не доверяют до конца — потому-то и низложили.

— Вождь из него никудышный, — мрачно сказал Муриле. — А еще в школе учился, даром потратил столько лет.

— Школа! — ухмыльнулась женщина. — И я в нее походила. Вышагивали оба шесть миль туда, шесть обратно — школа-то была при миссии. — Она покачала головой. — Нет, там не научат быть вождем. Он ведь и в колледже учился... И все же я не теряю надежды, он образумится...

— Ты долго жила в городе?

Женщина снова рассмеялась:

— Вот где жизнь бьет ключом! Шум, суета, все мечутся, спешат. А мне в городе нравилось. Что мы там выделявали! — Глядя куда-то мимо хижины, в непроглядную тьму без звезд, она погрузилась в воспоминания. — Я вступила там в организацию взаимопомощи и в профсоюзную ячейку. Когда мне пришлось уехать, друзья в складчину устроили вечеринку в мою честь. Хоу, вот это был праздник! Веселились всю ночь и весь следующий день. Собралась целая толпа, одни гости уходили, другие приходили — я жила в пригородной локации. Никто не являлся с пустыми руками. Хочешь танцевать — клади монетку на поднос, оркестр играл только за деньги. Хочешь выпить или рассказать забавную историю — гони монету. От пива и бренди все разгорячились, языки развязались, деньги текли потоком. Хоу, песни и танцы чередовались с тостами. Знаешь, как затягивается *индаба*. Парочка драчунов затеяла было потасовку, но я живо привела их в чувство. Один старик — его звали, кажется, Молвене — рассказал притчу о крокодиле. Не помню ее всю — очень уж длинная была притча, но его пример соблазнил многих — у каждого была наготове история. Старика прервали, он разобиделся и ушел. Рассказчики состязались во дворе, а танцы устроили в доме. Об этом вечере долго еще говорили. Я до сих пор получаю письма. А собранные деньги пошли в фонд нашей

организации, и скажу тебе... Ну ладно. Разболталась, как старуха. С чего мы с тобой начали?

«И впрямь несет окоlesiцу, — подумал Шиллинг Муриле, — стоило тащиться на край света, чтобы слушать ее трескотню; мне пора».

Но женщина не умолкала:

— Ах да, мы толковали о Хлангени, моем брате. — Она прищелкнула языком и посерьезнела. — Иногда мне бывает стыдно за него. Вот, например, пожаловал сюда комиссар по делам туземцев со списком подлежащих выселению, а с ним его помощник. Так именно мой братец повел их по деревне — указать нужные дома. Помощник комиссара метил краской двери, а Хлангени молча наблюдал за ним, хотя вид у него был жалкий, да и не позорно ль участвовать в таком деле!

— Чего ты добиваешься? — неохотно спросил Шиллинг Муриле. Он не хотел вступать в чужие дела, но любопытство взяло верх. — Я слышал твою речь на сходке.

Женщина развела большими руками, точно обнимая темноту.

— Вся эта земля была нашей, она завещана нам предками. И в этом мой брат прав. Поля, пастбища, холмы — все это наш дом, несмотря на законы белого человека. Так вот, мы избрали комитет, выслушали всех и приняли решение.

— А твой брат? Он знает о комитете? Это ведь подрывает его власть.

Женщина пожала похожими на две горы плечами.

— Может, знает, а может, нет. Мы держим это в секрете, но не исключено, что кто-то из женщин или стариков проболтался. Впрочем, если бы брат донес на нас, здесь бы уже были войска. Скорее всего, он знает, но не решается предать, боится вконец осрамиться, прослыть гиеной; его плечи и без того согнулись под бременем стыда. — Она пристально глядела на Муриле, белки ее глаз выделялись на широком темном лице. — Я и тебе сперва не думала открывать секрет, но в тебе я уверена. Ты — наш, даже если на словах и отрицаешь это. Твоя ненависть к белым делает тебя нашим сообщником. — Она улыбнулась, мелкие белые зубы сверкнули в свете луны. — Ты неплохой парень, только вот хмурый очень. Если думаешь...

Она смолкла на полуслове — внутри хижины снова



зарычала собака, послышался треск раздвигаемых веток, хруст подлеска. Из темноты выбежала девчушка в дражном платье, с туго заплетенными косичками.

— Это ты, малышка, что еще стряслось? — спросила Ма-Тау, и голос ее заметно смягчился.

— Ма-Тау, скорее, тетка Тсоане зовет...

Женщина не торопясь встала, тряхнула тяжелыми руками.

— Йох, не вовремя. Иду-иду, детка. — Она взглянула на Шиллинга Муриле, девочка тем временем снова исчезла во мраке. — У роженицы начались схватки. — Она покачала головой, прищелкнула языком, сказала сухо: — Ее муж ушел на заработки. Великодушный закон позволяет жене раз в год погостить у мужа, провести с ним семьдесят два часа, трое суток, чтобы понести. Так было и с Тсоане. Что ж, пойду помогу явиться на свет ее чаду. — Повернувшись к двери хижины, она повысила голос: — Мадонеле, ты слышишь меня, старый? Не забудь, что я тебе велела!

Пастух появился на пороге и поклонился ей.

— Как можно, Ма-Тау, как можно! — Седая голова его засверкала в лунном свете. — Все сделаю, как ты наказывала.

Тяжелая рука похлопала Шиллинга Муриле по плечу, парень встал, он все еще был босиком, не успел обуться.

— Ну что же, прощай! Возможно, мы больше и не увидимся... — Она покачала крупной головой, обнажила в улыбке зубы. — Бог с тобой, ты парень что надо!

Тяжко ступая в темноте, она направилась в деревню, где все еще не затихала жизнь. Шиллинг Муриле вернулся в хижину пастуха. Огарок, совсем оплыв, светил еле-еле, круглые стены окутал полумрак. Он сел поближе к свету, отряхнул пыль с босых ног. Пастух, согнувшись в три погибели, наблюдал за гостем.

— Уходишь? — жалобно спросил он.

— Давай покурим с тобой напоследок, — сказал Муриле, надевая ботинки.

— Львица эта кого хочешь заговорит, — хмыкнул Мадонеле, думая о табаке. — Ишь раскомандовалась: «Сделай то, сделай это!» Никак ей не угодишь. Хоу, рычит все время...

— Трубит, как слониха, — подхватил Муриле, — и весит небось не меньше.

— Айи, что за женщина! Как тебе понравились ее речи?

— Да я слушал вполуха. — Не глядя на старика, Шиллинг Муриле достал из кармана куртки табак и папиросную бумагу. — У меня своих дел хватает.

Он вызывающе глянул на пастуха, ожидая, что тот начнет ему возражать, но Мадонеле молчал, пряча похожие на изюминки глаза и вода тощей пятерней по собачьей шерсти. Муриле, присев на корточки, свернул самокрутку. Тщательно облизнув ее, придал нужную форму и передал пакет с табаком пастуху. Тот принял его в сложенные чашечкой ладони, вежливо поблагодарил, стараясь скрыть волнение и радость. Молча набив трубку, он вернул пакет Муриле, не мешая гостю перебирать свои мрачные мысли. Вдруг молодой человек вскочил на ноги.

— Я теряю здесь время, старик, — выкрикнул он. — Ночь надвигается, мне давно уж пора идти.

— Ну извини, — простодушно сказал пастух.

Шиллинг Муриле зыркнул на него глазами, щурясь от табачного дыма, пожал плечами и, подхватив куртку, вышел через низкую дверь хижины.

— Иди с миром, — пробормотал пастух, — доброго тебе пути.

Муриле натянул на себя куртку, она затрещала на его могучих плечах. Было по-прежнему душно, зажглись звезды, далекая луна катилась по нависшему небу, как плоский камешек, запущенный ввысь великаном. Вокруг трещали сверчки, в деревне догорали головешки в очагах. Тяжелые ботинки поскрипывали по мелкому песку и редкой сухой траве.

Пастух, сидя в хижине, прислушивался к удаляющимся шагам гостя. Жилистая пропыленная рука поглаживала спину собаки. В другой он сжимал трубку с длинным мундштуком и высокой чашечкой. Задумчиво похихивая, он глядел вдаль. Огарок дрогнул и угас, старик повернул белую голову и успел разглядеть пакет с табаком, оставленный ему Шиллингом Муриле.

\* \* \*

Тяжелые доски потолка провисли, в нем появились трещины. И все же — какая ни есть, а крыша над головой! В комнате был старинный буфет с литыми чугунны-

ми ручками на дверцах и ящиках, опоясанный поверху фарфоровым орнаментом. В хрустальной вазе пылились искусственные цветы. На побеленной стене в облупившейся багетной раме — большая выцветшая фотография мужчины в старинном мундире, похожем на адмиральский. Это был отец Хлангени, который сподобился однажды побывать на аудиенции у самого генерал-губернатора. Рядом еще одна фотография — на ней Хлангени, совсем еще юный.

Хлангени забился в потертое кресло, отдаленно напоминавшее трон. В нем трудно было узнать юношу, который позировал фотографу на фоне пальмы в кадке, облокотясь о высокую тумбу. Он сидел без пиджака, накинув на сутулые плечи старый плед из овчины. На резном столике горела керосиновая лампа с бронзовой подставкой, хранившаяся в доме еще со времен его матери. Свет лампы играл в его седых волосах; в глазах табачного цвета видны были гнев, заботы, усталость и печаль. Темные пальцы перебирали ворсинки пледа, глаза, прикрытые складками кожи, уставились в пространство. Обеденный стол и стоявший на нем графин с водой тонули в полумраке. Несколько дверей вели в другие помещения; из-за зашторенного окна доносились приглушенные голоса, стрекот сверчков и стук топора. Хлангени удивился — и кому это приспичило работать среди ночи?

Входная дверь внезапно отворилась, в комнату проник отблеск звездной ночи, запах костра. Потом на пороге выросла дородная фигура его сестры. Хлангени разглядел ее сверкающие белизной мелкие зубы.

— Можно к тебе? — спросила она, затворяя за собой дверь.

— Ты и так уж вошла, — ответил он не без раздражения и потупился. — Приходишь и уходишь, когда пожелаешь, говоришь, что тебе вздумается.

Тяжело ступая, она приблизилась к нему, мужские ботинки застучали по утрамбованному земляному полу.

— Тсоане родила двойню, нашла время! Муж-то ее в городе.

— Близнецы? — буркнул Хлангени. — Раньше бы все радовались доброму предзнаменованию. А теперь это два лишних рта. Твоими ерундовыми проповедями их не накормишь.

Она грузно опустилась на кушетку рядом с его креслом.

— Придется поручить Тсоане с новорожденными твоим заботам.

— Мне теперь только и дел, что стирать пеленки да возиться с младенцами...

— И стариками! — сурово закончила за него сестра. — Ни на что другое ты не годен. Кто знает, может, двойняшки, когда подрастут, станут твоими послушными подданными. Роженица не в состоянии идти с нами; те, кто остается, должны будут приглядеть за нею.

Он посмотрел на сестру, подпоясанную мужским ремнем, и губы его скривились в ухмылке.

— Ты их всех приведешь прямиком в преисподнюю, вот увидишь!

— А не лучше ли, — резко перебила его Ма-Тау, — угодить в ад, но сохранить достоинство, чем терпеть унижения в ихнем раю? Если они хотят прогнать нас отсюда, пусть явятся и побегают за нами по горам.

— Что это там рубят? — спросил Хлангени, пальцы его все бегали по пледу.

— Мужчины строят баррикаду, — ответила сестра. — Мы не пропустим сюда их грузовики.

— Какая глупость! — вскричал Хлангени. — Что это вам даст?

— Найди наконец в себе хоть каплю мужества, — ответила она, печально глядя на брата. — Твои предки выходили с копьями против ружей.

— И были истреблены. — Внезапная вспышка гнева прошла, голос его снова стал тусклым, бесстрастным.

— Да, они были разбиты, но не истреблены. Ты знаешь это не хуже меня. Настанет день, когда и у нас будут ружья.

Лампа закоптила, запахло гарью. Протянув большую руку, она привернула фитиль.

— Глупости, — повторил Хлангени в сгустившемся мраке. — Все этой ерунды ты нахваталась в городе. Уж оставалась бы там. Ты наш злой дух.

— Меня, как тебе известно, оттуда выслали. — Она уставилась в дальний угол, окутанный мраком, словно увидела там кого-то. — Я полюбила город. Мне не хватает его шума, ощущения кипучей жизни. — На мгновение она словно отключилась, погрузившись в свои мысли. Калейдоскопом мелькали воспоминания...

Вот она едет в пригородном поезде, длинная вереница вагонов третьего класса грохочет на стыках. Как

обычно, вагоны битком набиты черными рабочими; после трудового дня их развозят по локациям и отдаленным поселкам. На жестких деревянных скамьях и в проходах яблоку негде упасть, люди сидят даже в окнах, выставив наружу задy. Смельчаки едут на буферах и сцепах, держась за каждый выступ. Поезд раскачивается на стыках, пассажиров швыряет из стороны в сторону, они толкают друг друга, цепляются за соседей, стараясь удержать равновесие, чертыхаются, хохочут, лица блестят от пота, воздух в вагоне тяжелый, спертый, пахнет немытыми телами. За окнами проносятся богатые предместья, чистенькие коттеджи под черепичными крышами, с аккуратно подстриженными живыми изгородями; иногда попадаются особняки, окна в них сияют, вокруг лужайки и клумбы. За предместьями начинаются пустыри, городская свалка, автомобильное кладбище, похожее на поле битвы. Поезд сбавляет скорость возле покосившихся барачков и лачуг, прижавшихся друг к другу, словно боясь упасть. Вечернее солнце играет на ржавых крышах и бочках для воды под уродливыми навесами. Трущобы остаются позади. Раскачивающиеся вагоны, набирая скорость, пересекают акр за акром, точно лесной пожар, несутся мимо застывших сомкнутых рядов унылых двухкомнатных коробок из прессованных блоков, крытых асбестом и жестью; серые, безликие геометрические фигуры под нестираным покрывалом туманной дымки, повисшей в сумеречном небе.

У замусоренной станционной платформы двери вагона распахиваются, точно раскрывшиеся раны, люди темными сгустками вываливаются наружу и, переводя дух, устремляются к выходам. Топот множества ног заглушает смех. Работяги торопятся засветло добраться до своих лачуг.

Женщина с сумкой, набитой каким-то хламом, толкает Ма-Тау в бок; впереди мужчина в драном комбинезоне балансирует с грузом досок на плече. Он свистит и покрикивает, требуя, чтобы ему уступили дорогу. Все спешат, людской поток обтекает ее, словно речной валун.

Людям сегодня повезло — нет проверки пропусков, и толпа растекается во все стороны к разбросанным черным гетто под недреманным оком двух дежурных полисменов, сидящих в кабине «лендровера». Стекла машины затянуты толстой проволоочной сеткой. Черный кон-

стебель с копьём в руке стоит снаружи, поставив ногу на бампер.

Она игриво здоровается с констеблем, но толпа уносит ее мимо патрульного автомобиля, увлекая в улицу, образованную двумя рядами совершенно одинаковых кубиков. Она частица толпы, ее дом — в одной из этих конурок с пыльным клочком земли перед входной дверью, обнесенным изгородью из прутьев и проволоки. Вдоль дорожки кучки сланцевой золы, битая черепица, пустые консервные банки. Внутри — копоть и сажа по углам, стены в трещинах.

Иные из работяг плетутся следом за голопузыми малышами, которые тянут их за руки. Дети постарше — в отрепье с родительского плеча, купленном в свое время на дешевой распродаже. Толпа бурлит — точь-в-точь беженцы, спасающиеся от наводнения.

Это ее кровное: усталость, смех, возвращение домой; печеное тесто, размякший рубец, кислая каша, ломти вчерашнего хлеба; дети в лохмотьях за заборами; запах дыма с пропыленных дворов.

Людям все это до смерти надоело. Они устали от усталости, вечного безденежья, постоянных облав и проверок. Изголодавшийся человек среди бела дня зашел в лавку в центре города, схватил с прилавка цыпленка, выскочил за дверь и слопал его тут же, на тротуаре, на глазах у обалдевших от неожиданности покупателей и продавца. «Они устали голодать», — думала она. Об этом говорят в замызганных заводских столовках, у фабричных ворот, во дворах, на митингах; пишут об этом на стенах кровоточащей краской...

— Вождя положено слушаться, — сказал Хлангени, прервав ее мысли.

Она очнулась, вновь услышала стрекот сверчков и стук топоров, поглядела на брата с кушетки, на которой едва умещалась. Он маячил перед ней в полумраке, забившись в кресло, беспокойно поводя руками, словно пытаясь собрать в кулак остатки мужества, гордости, достоинства. Осунувшееся лицо подергивалось от напряжения, на нем не осталось и следа былой величавости.

— Вождь, конечно, вправе рассчитывать на послушание, — сказала она с оттенком сострадания. — Но ведь сам ты смирился, когда тебя назначили старостой. Позволил им отнять твой титул вождя. Сначала тебе

дают права и власть над людьми, потом отбирают. И ты ждешь от них послушания.

— Времена изменились.

— Эве, это так, теперь другие времена. Раньше вождь прислушивался к словам своих советников. Потом пришли белые, и вождь стал в их руках кнутом, чтобы стегать людей. Вот народ и говорит: «Если вождь — это только кнут, отшвырнем его!»

— Я ограждаю их от неприятностей.

— Вот как? Почему ж мы тогда не вылазим из бед?

— Но нам дают новую землю взамен этой, — беспомощно пробормотал Хлангени.

— Новая земля? А ты видел ее? Растет ли на ней трава? В ней ли зарыты кости наших предков? Там ли прах нашей матери? Что, если ты захочешь посидеть и поразмыслить у могилы отца — он ведь тоже был вождем? Пойдешь к ним за разрешением? «О великий хозяин и господин, — скажешь ты смиренно, — я хочу побывать на отцовской могиле, дайте мне клочок бумаги, который доведет меня туда». А еще твердишь: я — вождь! — Она резко поднялась, хоть ей это стоило немалых усилий. Учащенно дыша, она посмотрела на него сверху вниз. — Найди же в себе мужество, хоть каплю!

Тяжело ступая, она подошла к двери, опустила руку на засов и оглянулась на брата. Его силуэт расплывался в мерцающем свете лампы. Приоткрыв дверь, она сказала:

— Я велела пастуху отогнать овец в горы. — И, прежде чем выйти, еще раз пристально взглянула на ссутулившегося в кресле старика. — Чудеса, — хмуро произнесла она, точно рассуждая вслух. — Когда мы поем гимны богу дождя, белые нас высмеивают, а теперь сами устраивают молебен...

\* \* \*

Луна была похожа на серебряную монету, брошенную на черное сукно неба, звезды погасли и попрятались. В воздухе разлилась предутренняя прохлада, смягчив слегка духоту ночи. Вокруг старого покосившегося фермерского дома все еще пели на разные голоса сверчки; в ломкой траве шевелились ночные насекомые. Фермерская овчарка, проснувшись в подполе, насторожила уши и глухо зарычала. По гравию заскрипели шаги,

собака неслышно поднялась, принюхиваясь. Шаги замерли в темноте, но запах человека усиливался, и овчарка, оскалив клыки, бросилась на пришельца, распоров лаем ночную тишину.

Лежа на широкой допотопной кровати, старик заворочался, забормотал, не желая расставаться с недосмотренным сном. В прогнившей соломенной кровле шуршали крысы, балки перекрытия поскрипывали от дряхлости и перепада температур. Несмотря на душную ночь, старик был укутан в одеяла; жизнь незаметно ускользала из тела, и истонченным костям недоставало тепла. Беззубый рот на сухом как пергамент, морщинистом лице судорожно ловил воздух. А за старыми глинобитными стенами в жесткой спутанной траве все громче лаяла собака.

Задремав, он снова видел себя мальчишкой. Другая собака беспокойно мечется в высокой траве. Бородатые, обветренные всадники в одеждах из шкур и парусины, пахнущие сыростью кожей и потом, едут по вельду, сняв ружья с натертых плеч и держа их на луке седла, зорко поглядывая по сторонам из-под широких полей старых фетровых шляп. Подстреленная лань перекинута через хребет лошади, ее поводья доверили ему.

Перед ними волнистая, поросшая желтой травой равнина уходит вдаль, к самому горизонту. Осадив лошадей, всадники чутко прислушиваются. Он, рядом с ними на гнедой кобылке, держит поводья выючной лошади. Беспокойные собаки скачут между ними, едва уворачиваясь от копыт. Далеко позади осталось их селение: лавка, домики под цинковыми крышами. Отряд взял с собой мальчишку, выучившегося стрелять и ездить верхом, чтобы испытать его в настоящем походе — пусть наберется у старших опыта и сноровки.

Один из всадников сплюнул табачную жижу и сказал:

— Это бывшая страна бушменов; их давно уже загнали в пустыню, но изредка они охотятся здесь.

Остальные промолчали; это были люди неразговорчивые, более склонные к решительным действиям, чем к пустым словопрениям. Беседы уместны у костра на привале, на крыльце или веранде, в праздники. Они заселили и освоили эту землю, вплоть до самых отдаленных границ, где теперь кочевали со скотом отважнейшие из пионеров.



Мальчик в новенькой жесткой касторовой шляпе, сидя в седле, наблюдал за темным пятном, маячившим на горизонте, — стадом антилоп-гну. Вдруг, сорвавшись с места, оно ринулось на восток, и стук копыт донесся отдаленной барабанной дробью.

Собаки, оторвавшись от всадников, помчались к волнистым, поросшим травой буграм.

— Назад! — крикнул им жующий табак мужчина и отдал приказ отряду: — Врассыпную!

Всадники пришпорили сбившихся в кучу коней, и тут один из них, издав короткий стон, повалился с седла — маленькая стрела вонзилась ему под лопатку. Мальчик, испугавшись, отпустил поводья вьючной лошади, все поскакали в разные стороны, стрелы падали рядом с ними. Мужчины вскинули однозарядные ружья; выцветшие от солнца глаза припали к прицелам. У мальчика заколотилось сердце, в высокой траве он увидел крошечные фигурки с луками в руках. Обе собаки замертво рухнули на колючую траву.

Луки дрогнули — расстояние было велико, и звона тетивы не слышно, — всадники дали ответный залп, пустили коней галопом, на скаку перезаряжая ружья.

Мальчик заметил, как голые фигурки пустились наутек. Всадники, обгоняя их, окружали налетчиков и стреляли с седел. Фигурки неуклюже падали, дергаясь, катались по траве. Отряд мчался вперед, обшаривая высокую траву, топча трупы крошечных людей в набедренных повязках и накидках из шкур. Внезапно на флангах отряда снова поднялись маленькие фигурки, и в этот раз он услышал пение тетивы. Рядом с ним, захрипев, рухнула лошадь, увлекая всадника за собой, и опрокинулась кверху брюхом, подминая седока. Еще один бородастый воин, перепоясанный патронташами, упал с седла навзничь. Полуголые лучники ростом были не больше детей. Настигнутые пулями, они падали, дергаясь всем тельцем. Некоторые туземцы успели добежать до леса, и вожак окликнул всадников, прекращая погоню.

Упавшая лошадь околела, ей в холку угодила отравленная стрела, погиб и всадник — у него был переломан позвоночник. Мужчина, которого ранило первым, промучился еще час — яд действовал не сразу.

— Дьявол! — чертыхнулся вожак, сплевывая табачную жижу. — Они спугнули стадо, чтобы отвлечь наше внимание. Наверно, охотились здесь, а мы им помешали.

— Собак убили, — с грустью сказал мальчик.

Один из мужчин носком сапога перевернул крошечный труп туземца, из раны вывалились внутренности, и мальчика стошнило. Невидящие маленькие глаза убитого уставились в небо, на его шее болталось ожерелье из скорлупы страусинового яйца.

— Возьми себе, — сказал мужчина, протянув ожерелье трясущемуся от страха подростку, — на память о первом бое.

— Маленькие дьяволы с отравленными стрелами, — сказал кто-то. — Мы-то думали, с ними давно покончено.

Над свежими могильными холмиками в высокой желтой траве вожак прочел подходящую к случаю страничку из старой Библии, которую возил в переметной сумке вместе с вяленным мясом и кофейными зернами. Потом они снова пустились в путь, ведя в поводу лошадей убитых товарищей. Вожак выставил дозорных, и мальчик обрадовался, когда на него пал выбор. Он отъехал в сторону, и взрослые не заметили ни его трясущихся рук, ни землистой бледности его лица под широкополой касторовой шляпой. Мужчины насупились, скорбя о погибших, думая о скорой неизбежной войне с англичанами.

В подернутых паутиной уголках его старческой памяти хранилась груда лоскутов и обрывков прожитой жизни, и лишь изредка в ней возникало какое-то подобие порядка. Но сейчас он снова погрузился в черную трясину сна. Смерть притаилась, ждала в ногах кровати, терпеливо снося упрямство старика, цеплявшегося за жизнь, позволяя ему иногда роскошь сновидений. Неизбежная вечность надвигающегося безмолвия будет суровой расплатой за вереницу неясных образов и видений, возникших на дырявом, мутном экране памяти.

Ворочаясь в измятой постели и безуспешно пытаясь согреться, он бормотал сквозь сон: «Они убили собак». Скорее всего, воспоминание это было невеяно предсмертным хрипом овчарки, донесшимся со двора. Когда она метнулась из-под дома, руки Шиллинга Муриле ловко сомкнулись на горле собаки и прервали ее лай, сжимаясь все крепче. Овчарка забилась, роя когтями песок, и замертво повалилась на землю.

Бледный свет луны заливал двор дома Меулена-деда, построенного хозяином много лет назад. Крысы возились в соломенной кровле, на крыльце догнивало плетеное кресло — старик настолько ослаб, что был уже не в со-

стоянии до него добраться. Изрытый колдобинами двор граничил с широким газоном и клумбами перед Новым домом.

Новый дом в плане напоминал букву «Н». В старину фермерские постройки обычно были Т-образные, но у Нового дома было еще одно двухэтажное крыло с башенками по бокам. Наверху помещались спальни, внизу — большая кухня и кладовая. С фасада к этому крылу была пристроена веранда с красными полированными перилами и остроконечной крышей в стиле барокко; по бокам изгибались высокие своды. Входные двери были из мореного тика, по обе стороны от них — окна просторной прихожей, вернее, переднего зала, украшенного инкрустированными панелями из ореха. Справа находилась парадная гостиная, где принимали посетителей, и столовая. По другую сторону — кабинет хозяина, его библиотека (будущему члену парламента необходимо иметь под рукой подшивки правительственных ведомостей) и оружейная (Ханнес Меулен, несмотря на занятость, выкраивал время для охоты).

Новый дом неслышно плыл в белом лунном свете, отражавшемся в оконных стеклах второго этажа. Где-то в траве трещали ночные насекомые, и старик, ворочаясь в провисшей кровати, кулдыкал, как индюк, отхаркивая мокроту.

— Пусти меня к нему, — захныкал Коос, услышав стариновское кряхтенье. Он был сморщенный и маленький, точно пигмей, обезьяньего личика почти не было видно в темноте под шапкой седых курчавых волос. Он корчился в тисках — огромная рука крепко держала его за шиворот заношенной шинели.

— Иди, иди! — ехидно сказал тот, кого звали Шиллинг Муриле. — Раб, следовало бы и тебе свернуть шею, как хозяйской овчарке.

— Зачем ты убил собаку? Она состарилась тут вместе с господином...

— Всех бы вас так, — буркнул Муриле и затряс слугу, точно пустую тыкву.

Услыхав предсмертный хрип овчарки, Коос вышел из своей конуры при кухне на задах Старого дома, и тут его сграбастала возникшая из тьмы рука.

— Ты не убьешь его? — скулил он. — Пожалуйста, не трогай старого господина!

— Господин! А ты его раб и был рабом всю жизнь!

За темным окном снова закашлялся старик.

— Он и так скоро помрет, — зашептал Коос. — Мы с ним свое отжили, наше время пришло, оставь его в покое.

— И ты будешь сидеть у его постели, пока он не испустит дух, а потом омоешь его слезами. — Внезапно вскипев, Муриле грубо ухватил за ворот трясущегося Кооса, едва не придавив дряхлого слугу. — Так и останешься рабом до конца! Забыл, что они вытворяли? Как обошлись с твоим народом? — Последнее слово, неприличное для его языка, он выговорил с трудом, ощутив во рту странный привкус.

— Это было давно, зачем ворошить старое? А со мной хозяин был добр. — Хрупкие пальцы, как сухие веточки, забегали по могучей руке Муриле. — Что ты тут ищешь? Муриле невесело ухмыльнулся.

— Не для того проделал я долгий путь, чтобы свернуть шею паре старых петухов. Говори, раб, молодой господин спит в том красивом доме?

— Он в городе. Должен вернуться завтра к вечеру. В городе он ночует в гостинице для белых.

— А Опперман?

— Он уже несколько лет как умер.

— Умер, говоришь? Что ж, ему повезло. Значит, в том доме никого?

— Никого, — прошамкал беззубый рот. — И взять тут нечего. Новая мебель, но ничего такого, что можно унести. Женится молодой, э-э... господин, тогда накупит дорогих вещей.

— Собака, раб! — процедил Муриле. — Ты принял меня за вора? — Он зловеще оскалился, и его зубы засверкали в лунном свете. — Неужто не помнишь — я работал здесь много лет назад.

— Сдается мне, что я тебя видел когда-то, но никак не припомню где, — пробормотал Коос, с беспокойством поглядывая на темное окно Старого дома.

— А ты вспомни, — продолжал Муриле, — нет ли и моей заслуги в том, что эта ферма стала такой, как теперь? Не ходил ли я по пятам за молодым Меуленом? Мальчишкой я таскал его ружья, когда он шел на охоту.

— Потом ты исчез, — пискнул старик со сморщенным, как у мумии, лицом. — Зачем ты вернулся?

— Увидеть места, где прошло детство. Никому не заказано вернуться на землю своей юности. А тебя не тянет в родные места, старик? Ах да, ты ведь раб, следующий

как тень за хозяином, до самой могилы. Но я, я проделал этот путь, чтобы... — И снова в нем что-то закипело. — ...Чтобы побыть со своим народом.

Вдруг тон его резко изменился, и, приблизив свое лицо к сморщенной маске над стянутым в узел воротом шинели, он гаркнул:

— Пришел полюбоваться на тутошнюю красоту, давненько ее не видел. Что, молодой господин не выкинул ружья, с которыми охотился? А чучела куда? Взглянуть бы одним глазком, вспомнить, как таскал их...

— Меня выпорют, если узнают, что я тебя впустил. Мне доверяют все ключи. Я убираюсь, мету полы, вытираю пыль. Но если впущу тебя, порки мне не миновать. — Сморщенное личико искривилось, как у ребенка, из глаз покатались слезы.

— Ба! — сказал Шиллинг Муриле. — Я могу сломать тебе хребет, словно ветку, кто тогда будет у постели твоего обожаемого господина, когда он отдаст богу душу? Я могу силой отнять ключи, могу поджечь дом. Вот будет потеха, станет светло, как днем. — Он хохотнул. — Устроим пикничок, баранинку поджарим...

Старый слуга застонал, а внутри покосившегося дома за зашторенным окном снова зашелся кашлем старик, забормотал во сне:

— Карел, эй, Карел, прости меня. Я буду за тебя молиться... Странно, почему Карел в том же костюме, что и тогда на моей свадьбе? Только лицо чужое, мертвое, пустой, невидящий взгляд, на шее ожерелье из скорлупок страусинового яйца, и трава вокруг вся в крови...

Старик проснулся и, лежа в темноте, все вспомнил. Карел, его закадычный друг, неуклюже распластался среди подлеска на северо-восточном склоне горы Спиункоп. И был он тогда не в выходном костюме, а в комбинезоне из чертовой кожи и жилете в горошек, перехваченном патронташем. Одежда на нем, казалось, была с чужого плеча, потому что лежал он неуклюже, как тюк, убитый пулей «ли-метфорда», угодившей ему в голову. На светлых волосах запеклась кровь. Склон был сплошь усеян трупами, но старик, совсем еще юный солдат, не замечал их, рыдая над другом; слезы застилали взор, стекали по коротко подстриженной бородке. «Карел, ах, Карел, мне так тебя жаль, я буду молиться...» Он бормотал молитву на староголландском языке, а вокруг все еще шел бой. Потом другие солдаты оттащили его от

трупа, и он снова пополз вверх по склону под огнем ланкаширских стрелков.

Они с Карелом участвовали во многих кампаниях, сражались с туземцами и англичанами. Лунный свет, проникнув в тесную комнатку через щель в шторах, повис над ним, как костлявая пятерня безжалостной смерти. Когда же она опустит свою длань? Он готов, он не раз смотрел ей в лицо... Бедный, бедный Карел... Река Моддер. На ней была искусно устроена засада. Англичане держали правый берег Риета, притока Моддера, полагая, что дороги и город неприступны. Левый берег занимали буры, он был изрезан окопами, в каждом по шесть человек, брустверы замаскированы камнями и ветками. Раньше, у Эслин-Хогте, они выстояли, несмотря на ураганный обстрел, заставили англичан выйти на открытое место и смяли их. И сейчас они снова ждали под огнем британских пушек, паливших с противоположного берега. Никто не знал замысла генералов — у буров был Коос де ля Рей и несколько германских советников; англичанами вроде командовал Метуен. Всю ночь просидели они в окопах, ожидая противника с восходом.

Едва забрезжило утро, появились шотландские гвардейцы. Буры потешались над ними — вояки в юбках! Старик вспомнил, как вспорхнули птицы над вельдом, когда шотландские цепи пошли в атаку.

Противник не видел их. Припав к прикладам ружей «маузер», буры ждали их приближения. «Подойдите ближе, милые дамы, смелее, девочки! Пожалуйте на бал!»

Во главе рот скакали верхом brave офицеры, подкованные каблуки пехотинцев мяли траву. Восемьсот ярдов, ближе, еще ближе, и вот — залп! Землю покрыли мертвые и раненые. Но уцелевшие шотландцы шли и шли вперед, как безумные, под смертоносным огнем. Старик и Карел были ранены. Их вынесли из окопа еще до окончания боя под грохот ружейных выстрелов и уханье «пом-помов»...

Карела убили. Может, оно и к лучшему — он так и не узнал, что войну они в конце концов проиграли. Веселый Карел, закадычный друг! Старик уже не плакал — у него больше не было слез. Осталось лишь одиночество, такое же беспросветное, как эта посеребренная луной темнота. Даже проклятого Кооса рядом нет. Куда он запропастился? Не дозовешься, когда нужно!..

Джаап Опперман считал, что никаких привидений, заклинаний и прочей чертовщины не бывает, но его покойная мать, тетка Фелипа, свято в них верила, и волей-неволей кое-какие суеверия внушила сыну. Она была набожной христианкой и не пропускала церковных служб, пока ревматизм не приковал ее к постели. Однако вера в бога не мешала ей верить и в черта, дьявольский промысел, колдовские чары, наговоры и проклятья, в злых духов и добрых фей. В конце концов, это оборотная сторона той же медали! Она была не единственной среди белых, рассуждавшей так, и, если речь заходила о чудодейственной силе африканских знахарей, колдунов и прорицателей, отбрасывала расовые предрассудки, без колебаний обращалась к ним за советом, когда что-нибудь случалось с нею или с кем из родни или когда заболела корова; да и сама она знала множество снадобий.

Джаап в детстве страдал от желудочных колик, и мать уверяла всех, что это она вылечила его, зарезав и и освежевав коту и наложив сыну на живот еще теплую шкурку. Средство хоть и не слишком гигиеничное, но действенное!

Слов нет, травы и коренья, которые тетка Фелипа собирала и высушивала, могли обладать целебными свойствами. Но мало кто готов был поверить ей на слово, когда она утверждала, будто можно предсказать будущее, заглянув в потроха только что зарезанного цыпленка.

Стоило самой тетке Филипе занемочь, она обряжалась в свое лучшее платье и ехала поездом, туда, где принимал страждущих знаменитый черный ведун. Среди его пациентов не было недостатка в представителях избранной расы. У дома теснились автомобили с номерными знаками всех провинций, двор был забит толпами паломников, стремящихся узнать судьбу при помощи куриных косточек.

— Не смейся над чародейством кафров, — наставляла сына тетка Фелипа. — Они могут сотворить такое, о чем мы даже не подозреваем. Не дай бог причинить черному вред. Помни, он и с того света сведет с тобой счеты.

И вообще, тому, кто верует во всемогущего господя,

нельзя отмахиваться и от языческих тайн. А уж черные-то наверняка в родстве с князем тьмы, оттого у них и кожа такая.

— Кафры умеют приручать змей, — утверждала тетка Фелипа. — Они со змеями закадычные друзья. Как говорится, спят на одной подушке. Черные вечно таскают с собою обезьяний хвост и змеиную кожу. А ведь змея — символ первородного греха, в ее обличье дьявол прокрался в сад Эдема и совратил прародительницу Еву. Запомни мои слова!

Преподобный Виссер, естественно, не соглашался с тем, будто черные наделены особой сверхъестественной силой. Напротив, бескультурие этих язычников является вызовом просвещенным народам. Но на мелкие проступки членов своей паствы он закрывал глаза и лишь смиренно вздыхал по поводу предрассудков и суеверий тетки Фелипы.

— А еще держись подальше от Оврага, — твердила она сыну.

— Какого оврага? — спрашивал с любопытством мальчик.

— Того, что виден с дороги. Ближе к нему не подходи. Это заповедная земля черных. Говорят, их великий вождь похоронен там. Кафры утверждают, что его призрак стережет Овраг, не спуская глаз с потомков. Даже черный слуга старого Меулена не смеет к нему приближаться. Пастух из деревни кафров всегда обходит его стороной. А белым там и подавно делать нечего. Так что держись от того места подальше.

Овраг, как потом узнал мальчик, был темой многих местных преданий. С виду ничем не примечателен, просто расщелина в каменистых холмах. Вход в него издавна походил на бурый шрам, зараставший с годами терновником и карликовыми деревьями. В преданиях упоминались племенные распри, которые белые называют «кафрскими войнами», но при чем тут Овраг, толком никто не мог сказать. Историй было множество, одна причудливее другой.

Тетка Фелипа не любила сидеть на одном месте и вечно торчала у соседей. По воскресеньям Джаап возил ее в городок, впрочем иногда в будни он занимался делами, а мать тем временем судачила с госпожой Кронер, хозяйкой привокзальной гостиницы, и другими знакомыми.



А Овраг все время напоминал о себе, незримо присутствовал в его жизни. Черные, Джаап заметил еще в детстве, никогда не пасли в той стороне свой скот. Мальчик посматривал на узкую расщелину в холмах с суеверным страхом: мать, пожалуй, права, это место и впрямь заколдовано. От черных детей, с которыми он играл, доводилось ему слышать все новые небылицы про Овраг. Ребенком он мог общаться с африканскими сверстниками, но, когда подрос, этому пришел конец: каждый взрослый должен знать свое место.

Опперманы были мелкими фермерами — клочок земли, несколько коров, овцы, куры. Когда старшего Оппермана втоптал в пыль разъяренный бык, ферма отошла его вдове и сыну.

— Должно быть, его напугала змея, не иначе, — утирая слезы, объясняла происшествие тетка Фелипа, имея в виду быка.

Работа на ферме помешала учебе. Хозяйство требовало слишком много забот, а доходы все падали. В конце концов ферму продали Меуленам, и те присоединили ее к своим владениям, а юный Джаап поступил к новому хозяину на службу и стал у него со временем управляющим. Работа эта была ему не в тягость — собственно, все, что приходилось делать, — это присматривать, чтобы черные батраки не лодырничали и все шло своим чередом.

— Будь с ними строг, но справедлив, — советовала Джаапу мать. — Никогда не знаешь, какую беду они могут на тебя накликать.

Тетка Фелипа быстро сдавала, водянка сделала ее совсем беспомощной. И до последнего дня за ней ходила молодая цветная служанка из локации.

Джаап имел веские причины не возражать против постоянного присутствия черномазой в доме. Самочка с круглыми бедрами, прыгающим выменем, выющими волосами и пустым взглядом. Если не выставять ее напоказ, никто ничего и не узнает. Но вскоре вышел закон, запрещающий межрасовые половые отношения, и обстоятельства осложнились. Он стал отсылать ее на ночь домой, в локацию. Приходилось быть начеку: в газетах писали о белых мужчинах, попадавших в передраги из-за черных женщин, кое-кто даже кончал самоубийством.

— Ты с этой бушменкой лап не распускай, — по-

станывая, бубнила мать с постели. — Я все вижу. Бро-  
сишь ее потом, а она найдет на тебя порчу. Уж я-то их  
знаю.

Когда тетка Фелипа умерла, держать девчонку в до-  
ме стало неудобно, пришлось распрощаться с ней, от-  
править насовсем в локацию.

— Ты знаешь что-нибудь о привидении в Овраге? —  
спросил он ее однажды, уединившись с ней в амбаре.

— А, все это рассказы старух, — рассмеялась она. —  
Неужто и ты боишься призраков?

— Тебе и твоим собратьям туда ходить не положи-  
но, верно?

— Предубеждения, — махнула она рукой. — Суеверия.  
А белому и совсем уж негоже в это верить.

— Баас, — напомнил он ей, нахмурившись. — Не за-  
бывай называть меня баас.

Джаап рассердился — черномазая осмеливается ему  
перечить! Но если даже она не верит в колдовство, мо-  
жет, и впрямь нечего думать об этом. И он все реже  
вспоминал про Овраг. Девчонка вопреки опасениям ма-  
тери не была ворожеей и, когда он ее оставил, не нашла  
на него порчу. Дело у Джаапа хватало — Меулен за-  
теял строительство Нового дома.

В день свадьбы молодой хозяйки произошел тот са-  
мый случай с напившимися до чертиков братьями.  
Джаап с Меуленом привязали их к столбам изгороди  
и оставили на ночь в открытом поле. И надо же — млад-  
ший взял и окочился. А второй распорол Джаапу ру-  
ку. Ну, помер кафр, его не воскресить, да и невелика  
потеря, но судья был чересчур уж суров с Меуленом.  
Зато второму ублюдку впаяли срок — и поделом! Ведь  
он покушался на его, Джаапа Оппермана, жизнь! Врачи  
наложили двенадцать швов на рану, несколько недель  
он носил руку на перевязи, не мог работать в полную  
силу, а чертовы кафры еще глядели на него исподлобья,  
с укором.

Как будто Джаап виноват. Разве он знал, что черный  
околет? Он ведь не забыл, как суеверная мать, вечно  
возившаяся с травами и кореньями, поучала его: «Будь  
с ними строг, но справедлив! Ты и не знаешь, какую бе-  
ду они могут на тебя накликасть».

Все это чепуха, ни один черномазый не может причи-  
нить ему никакого вреда. Привидения, призраки — все  
это дурацкие рассказы. И все же ему становилось не

по себе от хмурых взглядов батраков. Он ведь начальник над ними, они должны ему в рот смотреть.

— Черные дружат со змеями, — бывало, твердила мать. — Можешь мне поверить!

Так оно и случилось: черная змея ужалила его в руку; разбитая бутылка, можно сказать, сыграла роль жала. И когда рука зажила, он решил отправиться в Овраг, так долго распалывший его любопытство, чтобы раз и навсегда покончить с этой пыткой. Джаап никого не посвятил в свой план — к чему ненужные кривотолки.

День обещал быть жарким, он облачился в шорты цвета хаки, старую фетровую шляпу и сыромятные сапожки, прихватил флягу с водой и бутерброды. Путь был неблизкий, землю украсила весна, повсюду в вельде распускались цветы.

К полудню он достиг невысоких отрогов бурых гор, приплюснутых плоским бледно-голубым небом, и вскоре отыскал тропу, покрытую рыжеватым песком и мелкой галькой, ведущую ко входу в расщелину. Ничего сверхъестественного он пока не обнаружил и снова, в который раз, подивился — откуда все эти суеверия и страхи!

Одинокий коршун лениво покружил над ним и улетел прочь. Вход в Овраг зарос пурпурным вереском и колючими кактусами, пробившимися из каменистой земли между валунами. Тропинка не обрывалась, а полого спускалась на дно. Словом, решительно никаких оснований для беспokoйства. Птица с длинным хвостом выпорхнула из зарослей вереска и стала парить над землей, точно аэроплан, идущий на посадку. Раздвигая кусты, Джаап спускался по хрустящей под ногами гальке все ниже. Нет никаких следов древних захоронений. Разве что эта вот куча камней на плоской плите — чья-то могила. Самая обычная расщелина, усеянная камнями, поросшая вереском, колючками и дикими цветками.

«К черту все эти басни о призраке черного вождя!» — подумал он, отер пот со лба и напился из фляги. Потом прошел еще немного вперед, поглядывая по сторонам. Жаль, он не прихватил с собой кого-нибудь, одному ему могут и не поверить...

Сделав еще несколько шагов, он скovyрнул ногой небольшой камень и вдруг услышал леденящее душу

шипение: старая кобра, дремавшая за камнем, проснулась, и в мгновение ока ядовитые зубы впились в его обнаженную голень...

\* \* \*

Лишь тем, кто встает затемно, дано любоваться этим несравненным зрелищем. Небо становится похожим на огромную перевернутую чашу, до краев наполненную пенящимися розовыми волнами. Волны катятся к западу, разбиваясь на горизонте у скалистых отрогов невысоких гор, и земля, окутанная крупитчатой дымкой, встречает зарю нового знойного дня.

Когда Эдгар Стоупс проснулся, солнце уже сплело решетчатые узоры на грязно-серых стенах тесной комнаты, на шкафу, на вылинявшем эстампе. Он лежал на узкой железной кровати в вязкой и липкой испарине. Доносившиеся с первого этажа звуки лишь смутно доходили до его сознания. Накануне он допил свою бутылку бренди — это после пива, — и голова теперь была словно чугунная. За окном вскрикнула птица — точно рапилом провели по нервам. Превозмогая головную боль, он вспомнил: госпожа Кронер просила спуститься к завтраку раньше обычного, она торопилась на молебен.

Безвольно распластавшись на влажных от пота простынях, он думал: «К черту завтрак, могут скормить его свиньям!» Ему и рот открывать неохота. В памяти замелькали дешевые гостиницы, где он обычно останавливался, горы тарелок с кукурузными хлопьями, жирный бекон, пережаренная яичница, точно отлитая из пластмассы. Что ему действительно нужно сейчас, так это опохмелиться. Пиво вмиг бы поставило его на ноги. Но чертов бар внизу, конечно, закрыт. Вот и валяйся в этом отвратном номере, как в одиночке, за решеткой из желтых солнечных лучей. Тяжелый ком в голове таял мучительно медленно. Донесся резкий голос хозяйки, отдающей какие-то распоряжения насчет майсовой запеканки к обеду. В довершение всего в церкви на площади ударили в колокола.

Их металлический перезвон спугнул птиц, сидевших на крыше собора, они поднялись в небо, пронзительно крича, и перелетели на карнизы лавок, стоявших рядом напротив. Площадь и главная улица постепенно запол-

нялись пикапами, «лендрове́рами», пропыленными легковыми машинами, фургонами, телегами. Под деревьями выстроились в колонну грузовики, отряженные фермерами для перевозки выселяемых туземцев. Полицейский сержант, оставив вместо себя в участке констебля, соби́рался лично сопроводить колонну. Но сначала он по́йдет в церковь — все сановные лица городка примут участие в молебне о дожде.

Гравий на площади заскрипел под подошвами прохожих; горожане и жители близлежащих ферм потянулись к красным бетонным ступеням паперти.

Женщины в отутюженных выходных платьях, дети в нарядных костюмчиках, вынутых из нафталина. Пожилые матроны в старомодных шляпах, какие носили в начале века, под руку с мужьями, потевшими в строгих парах из флотской саржи погребально-черного цвета. Приподнимая твердые фетровые шляпы за широкие поля, они раскланивались со знакомыми. Черные галстуки-бабочки стягивали загорелые шеи. Мужчины помоложе в модных смокингах робели, опасаясь вызвать нарекания хмурых, чопорных старцев. Кое-кто из женщин достал из сундуков свадебные наряды, хранившиеся для подобных случаев. Девушки в скромных ситцевых платьях и соломенных шляпках от солнца, загорелые, свежие и бодрые; отмытые дети с прилизанными вихрами изнывали от жары в плотных костюмчиках и тесных башмаках.

Прихожане задерживались у входа, обмениваясь приветствиями, любезностями, последними новостями, полезными советами. Горожанки приглашали фермерских жен после службы к себе на чай с сухариками; взрослые покрикивали на детей, затеявших возню у монумента памяти Бурской войны. Мужчины подавали друг другу сильные, загрубевшие от работы руки, испещренные белыми как мел складками.

— Доброе утро, тетушка!

— Что за погода, просто наказание. На какие только хитрости не приходится пускаться, лишь бы спасти урожай.

— Вон, Пиет пробурил артезианскую скважину и поставил насос, чтобы напоить бедных овец.

— Засуха отразится и на ценах, вот увидите.

— Доброе утро, Ханнес, как твоя предвыборная кампания?

— Полагаю, все пройдет без сучка без задоринки. Голосование будет лишь простой формальностью.

— Как поживаешь, Рина? Господи, ты так похорошела. Жаль, Ханнес, что твой дед не смог приехать.

— *Иа*, он слишком стар для этого. Я, пожалуй, попрошу настоятеля навестить его.

Рина висела на руке Меулена, заливаясь краской от сыпавшихся на нее комплиментов. Будущая супруга будущего члена парламента! Их окружили плотным кольцом, все кивали, улыбались, пожимали руки.

Подошел полицейский сержант, тяжелый и грузный, точно мешок с песком, в щеголеватой форме, которую он явно предпочитал штатскому одеянию.

— Менир Меулен, я вижу, ваши грузовики уже здесь. Большое спасибо!

— Достаточно ли у вас транспорта?

— *Иа*, должно хватить, у кафров не так уж много барахла.

— Называй их банту, — поправил Каспер Стен. — Так их теперь положено величать.

Сержант перевел взгляд на старика.

— Совершенно верно, менир, банту.

— Знаете, до чего они додумались? — вставил присоединившийся к ним комиссар по делам туземцев. — Вчера прислали ко мне двух бездельников. Несли окоlesiцу про «глубокие корни» и прочую чепуху. «Глубокие корни» — как вам это нравится?

— Что они имели в виду?

— Одному богу известно.

— Неужто замышляют недоброе? — спросил Стен.

— Не беспокойтесь, ваша честь, — заговорил сержант, — мы полностью контролируем положение, да и что эти болваны могут предпринять? Горстка стариков и старух. Предоставьте их мне, они приучены уважать закон.

— Хочется верить в это, — сказал комиссар. — Итак, положимся на блюстителей порядка.

Церковный колокол все звонил, дьякон распахнул широкие белые двери, и прихожане медленно и чинно потянулись внутрь, радуясь, что наконец-то могут укрыться от зноя.

В церкви на них обрушилась торжественная, всепоглощающая тишина. Толстые ковровые дорожки заглушали шаги. Все совершалось здесь по издревле заведен-

ному порядку: женщины сидели отдельно от мужчин, передние скамьи отводились самым влиятельным семействам, щедро жертвовавшим на храм. Строгое и дорогое убранство, стены отделаны полированным орехом, высокие стрельчатые окна; впереди дубовые скамьи; простой же люд довольствуется сосной.

Служба началась. Затрубил орган, точно возговорили ангелы небесные. Проповедник в траурно-черной рясе с двойным рядом кистей поднялся на кафедру, словно мрачный посланец, пришедший возвестить о смерти господа. Птицы на площади вновь вспорхнули и улетели в опаленные солнцем поля.

Органист сыграл первый гимн. Проповедник дождался, когда страдавший одышкой инструмент стихнет, уляжется движение и шум. Его бесцветные тевтонские, слегка навывкате, глаза изучали лица прихожан. Он знал, что паства ловит каждое его слово с благоговением и что в местной иерархии ему отводится место чуть ли не полубога. Он для них выразитель воли господней; истина в последней инстанции, непреложная для всех, глаголет его устами. И вот воцарилось безмолвие, изредка нарушаемое лишь приглушенным покашливанием. За окнами желтое, как кадмий, знойное солнце терзало городок...

*«О цари Иудейские и жители Иерусалима!.. Я наведу бедствие на место сие, — о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, — за то, что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу... чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; за то вот, приходят дни... когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения».*

Прочтя отрывок из Ветхого завета, преподобный Виссер отложил Библию и посмотрел поверх пенсне, потом снял его и судорожно уцепился за края кафедры, точно выжимая из нее духовную поддержку.

— Дети мои, все вы знаете, зачем мы собрались здесь, в этом святом месте, в столь знаменательное утро. Вот уже несколько месяцев, как господь всемогущий лишил эту землю благодатного дождя, от которого зависит наш хлеб насущный, сама наша жизнь. Он отнял у нас животворящую влагу. Земля измучена жаждой,

гибнет скот. За что, задаемся мы вопросом. Скажи нам, господи, за что? Мы молимся тебе.

*«О цари Иудейские и жители Иерусалима! Я наведу бедствие на место сие, — о котором кто услышит, у того зазвонит в ушах...»* — так говорил господь Иеремии, и так он говорит нам. Ибо мы отвернулись от господа. *«Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господень!»*

Но что за грех мы совершили? — вопрошаем мы. Разве не шли мы денно и ночью по стезе господней? Могу ли я указать на вас перстом и заявить: ты и ты впал в грех? Дети мои, каждый из нас исполнен богоугодных намерений, но разве этого достаточно? Оглянемся вокруг, присмотримся к себе и ближним. Мы как жители Иерусалима, и эта возлюбленная нами земля — разве она не наш с вами Иерусалим?

А ведь города наши разъедает скверна. Суды завалены делами; из алчности и похоти совершаются вопиющие преступления. Недавно в одном из городов была выставлена для публичного обозрения непристойная и богохульная мазня, именуемая «произведениями искусства». В ночном клубе, где бывает наша молодежь, некая, с позволения сказать, женщина танцевала нагишом со змеей — воплощением греха! наших подростков захлестнула волна самоубийств — пятьдесят пять тысяч смертей за последние пятнадцать лет! Многие молодые люди употребляют наркотики. Женщины, злонамеренно оскверняя целомудрие, носят обнажающие их тело платья.

Говорят ли подобные примеры о нашей праведности и богобоязни? Делает ли это честь нашей цивилизации? Чего ж удивляться, если господь бог не спешит даровать свои милости нашей земле. Добрый ли пример подаем мы тем, кого бог вверил нашим заботам и кого надлежит нам наставлять на путь истинный?

*«Горе Нево! Он опустошен...»* Никто не может почивать на лаврах самодовольства, говоря: «Я этого не совершал, я без вины». Мы все в ответе за прегрешения ближних. Или не сторож я брату своему?

Проповедник в порыве чувств молотил по кафедре кулаком, как бы ставя ударение на каждом своем слове.

— Разве грехи отцов не падают на детей? Упадок цивилизаций, размывание общественных устоев не всегда лишь следствие проигранных войн и одержанных по-



бед. Язычники, с которыми мы здесь сосуществуем, бросали нам вызов, они испытывают нашу веру еще со времен дедов наших, завещавших нам эту землю. Победители грешили, нарушая непреложный завет чистоты крови. Кровосмешение — столь же великое зло, как грехопадение Адама, вкусившего запретный плод. Оно ведет к вырождению расы, а в нем причина гибели всех прежних цивилизаций. Дело не в проигранных войнах, а в неспособности сохранить незапятнанной расовую чистоту. Только взгляните на север, помогла ли португальцам их хваленая «ассимиляция туземцев»?

Залог успеха нашей исторической миссии в чистоте нашей крови. Наш общий долг — свято и бесповоротно служить великой духовной цели: сохранить для наших детей эту богом данную нам землю. Лишь в этом наше искупление за содеянные грехи. Очистим же кровь нашу во имя господа и народа нашего! Наши отцы сражались за эту землю с язычниками не на жизнь, а на смерть. У нас есть одно лишь оружие, чтобы уберечь ее ныне и вовеки, — слово божье!

Преподобный Виссер сделал паузу, чувствуя, что утратил логическую нить. Впрочем, успокоил он себя, его слушателям стройная логика ни к чему, они и без того ловят каждое слово, точно замороженные. Это все люди простые, принимающие его откровения на веру.

— Мало прийти сюда и молить господа, взывать к его доброте. Бог воздает нам по делам нашим. Язычник стучится копьём в нашу дверь. Филистимляне вновь навязывают нам своих идолов, требующих страшных жертвоприношений. Они бросают вызов нашей цивилизации, затуманивают самые просвещенные умы, от них исходит смертельная опасность. Мы же закрываем на это глаза. Вот господь и наслал на нас засуху, это — напоминание. Господь жив, а мы забыли о нем! Бог справедлив, он карает нас за леность и распущенность.

*«Радость и веселье отнято от Кармила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах; не будут более топтать в них с песнями; крик брани будет, а не крик радости».*

Дети мои, я призываю вас: воспряньте из лени и невежества. Поднимите вновь меч ваших предков и защитите землю от неверных во имя господа и народа нашего. Лишь тогда он вернет нам изобилие. Так помолимся же о его милосердии и всепрощении...

На площади водители сели в кабины грузовиков, за-  
тарахтели моторы. Полицейский сержант вместе с клер-  
ком из комиссариата по делам туземцев забрался в бро-  
нированный «лендровер». Преподобный Виссер, стоя на  
паперти, пожимал прихожанам руки. Шурясь от мерца-  
ющего, слепящего солнечного света, мужчины провожа-  
ли взглядом выруливавшие из тени грузовики.

Пожилой фермер с красной чешуйчатой кожей поздо-  
ровался с Ханнесом Меуленом.

— Замечательная проповедь, — сказал он, — весьма  
своевременное предупреждение. По мне — пусть уж я  
лучше слышу закоснелым расистом, чем предателем бе-  
лой цивилизации. — Приподняв шляпу, он поклонился  
Рине, та весело улыбнулась в ответ:

— До свидания, дядюшка!

Старик зашагал через площадь, ступая осторожно,  
нащупывая дорогу тростью из красного дерева, а Рина,  
обмахиваясь платком, как веером, сказала Меу-  
лену:

— Не забудь, дорогой, ты обедаешь у нас.

Грузовики повернули с площади на главную улицу и,  
оставив городок позади, покатали по шоссе, подымая  
шлейф бурой пыли, медленно оседавшей на зеркальные  
стекла в окнах, двери и стены придорожных домов и за-  
пертых лавок.

\* \* \*

На площади вновь взревели моторы, заскрежетали  
передачи, фермеры, приехавшие в городок на молебен,  
разъезжались по домам. Некоторые собирались еще за-  
держаться, навестить знакомых, посплетничать на ве-  
ранде за чаем с творожным тортом, обсудить разbere-  
дившую всех проповедь, посудачить о погоде. Непривыч-  
ная одежда стесняла их, отглаженными носовыми плат-  
ками они то и дело утирали потные лица. Родители,  
пожалев детишек, позволили им сбросить тесные, нераз-  
ношенные башмаки и побегать босиком по пыльной тра-  
ве. Остаток дня будет отдан визитам. Раз уж выбрались  
в город, как не воспользоваться случаем!

Владельцы городских лавок и иных заведений спе-  
шили возвратиться к обычным делам: открылись неболь-  
шие кафе, лавки, гараж, зерновой склад, конторы мест-  
ной администрации.

С улицы в окно доносились голоса, точно птичий гомон. Эдгар Стоупс сидел на смятой, незаправленной постели, убеждая себя, как только лавки откроются, обойти их и собрать заказы. Он надеялся, что к тому времени, когда он с этим покончит, механик отремонтирует его колымагу. Все равно надо как-то убить время, топчась некуда; подмазываясь к лавочникам, он поболтает о засухе, о делах, осведомится о здоровье их жен, посоветует взять у него оптом партию чайных ситечек — на них можно недурно нажиться.

«Никуда тебе от этого не деться», — думал он. Ощущение краха, безнадежности пристало к нему, как въедливый запах средства для рашения волос. «Покупайте новый аэрозоль для неудачников, оптовая цена — тридцать пять центов за штуку! Торгуя им в розницу, можно здорово погреть руки на чужом несчастье!» Безнадежностью веяло от замызганных стен гостиничных номеров, от эстампов с цветущими алоэ, от девиц на календарях, от рассохшихся створок шкафов. Безысходность и крах всех надежд глядели на него из треснутых зеркал над пыльными туалетными столиками; свербил зудом на влажных простынях, отороченных горечью и залатанных отчаяньем.

Плавающее золотом солнце заливало увядший и сморщенный от зноя сад под окном. Он сидел заросший щетиной, невымытый, хмурый, в затхлой комнате, увешанной железнодорожной рекламой. Чемодан был доверху набит грязным бельем, в сумке — скоросшиватели с каталогами взбивалок для яиц и будильников.

Потом прежний дух, стремление преуспеть вновь зашевелились в нем, поверхность заросшего тиной стоячего пруда подернулась рябью от налетевшего ветерка, и он сказал себе, потягиваясь: «Ну-ну, вперед, старина, под лежащий камень вода не течет! Эти простофили тебя заждались, жить не могут без твоих вешалок для одежды!» Он кисло ухмыльнулся и сказал вслух:

— Черт возьми, я все тот же старый добрый Эдгар Стоупс!

Накинув халат, он отыскал сумку с бритвенными принадлежностями и вышел в коридор, направляясь в ванную.

Чуть позже, выбритый, пахнущий одеколоном, он вышел из номера в отутюженном костюме, с каталогами и блокнотом для заказов под мышкой. Внизу гремели

кастрюлями на кухне, пронзительно кричала госпожа Кронер: «Ах, боже, чудо что за проповедь!.. Опять этот чертов Фани куда-то подевался, будь он неладен!» Голова все еще была тяжелой, но, несмотря на это, его обуяло злое веселье.

— Всех к черту — дылд, коротышек, тощих и толстых, — замурлыкал он себе под нос. Дверь соседнего номера отворилась, и на пороге показался давешний смазливый бур. Заперев дверь, этот шут обратился к Стоупсу:

— Это вы, менир, доброе утро!

— Привет, мистер Как-вас-там! — улыбнулся Стоупс в приливе обычной для него профессиональной общительности, искрометной и легкой, как связка разноцветных воздушных шаров. — Как себя чувствуете? Я слышал, молебен удался на славу.

— О, его преподобие был в ударе, — ответил Ханнес Меулен. — А вы отправляетесь по делам?

Эдгар Стоупс постучал пальцем по блокноту, который держал под мышкой.

— Лавки, должно быть, уже открылись. Мой долг — обеспечивать местных жителей всем необходимым, не так ли? Чтобы, не дай бог, не было перебоев. — Он засмеялся. — А вы, я полагаю, решили задержаться до обеда и отведать запеканку нашей дорогой госпожи Кронер?

Меулен в свою очередь улыбнулся, ровные белые зубы напомнили Эдгару Стоупсу браслет из искусственного жемчуга, «изящное украшение вечернего туалета».

— Нет, я обедаю в городе, приятель, так что не видать мне запеканки. Да и в любом случае сегодня я еду домой.

— Давно пора. Этот клоповник не подходящее место для такого человека, как вы.

— Надо все-таки отдать должное госпоже Кронер — она не жалеет сил.

У лестницы, ведущей вниз, Эдгар Стоупс склонился с шутливой почтительностью, пропуская Меулена вперед.

— Честь превыше красоты, мой петушок! — воскликнул он, а внутри его так и распирало: «К черту их всех — длинных, коротких, тощих и толстых! Из него член парламента, как из меня король! Что в нем такого особенного, чего во мне нет?»

— Надеюсь снова видеть вас в наших краях, — сказал Меулен. — Вы, должно быть, уже всех тут знаете?

— Только торговцев, — ответил Стоупс, спускаясь вслед за ним по ступеням. — Хотя, впрочем, этого достаточно, чтобы составить представление о городе. По местным дельцам можно судить об экономике, объем поступающих заказов говорит о многом....

Достигнув первого этажа, они никак не могли разминуться в узком коридоре.

— Ну что же, до свидания, сэр, — снова улыбнулся Меулен. — Я выйду через черный ход, мне так ближе.

«Иди ко всем чертям, — подумал Стоупс, — тоже мне, корчит из себя невесть что! Наверно, наше непросвещенное общество утомило вас». Но вслух сказал:

— В таком случае желаю всего наилучшего!

«Ты картошку почистил?» — снова донесся из кухни визг госпожи Кронер.

За спиной Меулена в конце короткого коридора ярко горел на солнце прямоугольник распахнутой двери, ведущей в изнывающий от жажды сад. Меулен повернулся, зашагал к выходу, и в этот момент в дверном проеме, заслонив солнечный свет, возник силуэт черного мужчины. Меулен не узнал его.

Не узнал Ханнес Меулен, вернее, не успел разглядеть и своего автоматического карабина самой последней модели, не успел удивиться, откуда у черного ружье, ведь им запрещается носить оружие! Эдгар Стоупс через плечо Меулена увидел искаженное злобой лицо кафра, тотчас сверкнула яркая вспышка, грохнул выстрел и послышался глухой стук падающего тела. Что-то влажное коснулось щеки Стоупса. Голова Меулена разлетелась, как разбитая тыква, побеленная стена заалела кровавыми лепестками, покрылась кусочками мозга, осколками костей и зубов, похожими на семечки граната.

Эдгар Стоупс с каталогами и блокнотом под мышкой, обалдев, уставился в жерло карабина, из которого вился дурно пахнущий дымок. Вновь раздался скребущий нервы птичий крик, вызвавший беспокойное ощущение под ложечкой, в голове родился вопль — он звал Мейзи, — но в ответ снова услышал птичий стон, и тут второй выстрел уложил его наповал.

Конвой фермерских грузовиков с полицейским «лендровером» впереди катил по проселку, колеса шуршали по сухому мелкому песку, песчинки стучали в лобовые стекла и днища. Сбоку от дороги, в полях, торчали терновые деревья с ветвями, похожими на скрюченные руки. У неровного, скомканного горизонта, окутанного голубой дымкой, знойное марево отплясывало джигу. Грузовики, точно под хмельком, покачивались вдоль осыпающегося берега высохшего ручья, пока не произошла вынужденная остановка. На окраине деревни, недалеко от крайних домов, дорогу преградили поваленные камедные деревья.

Сержант, ехавший впереди, разглядел за баррикадой несколько сгорбленных старческих фигур — точно грубо, наспех вырезанные из дерева, они сидели на порогах глинобитных построек. Но тут прямо на его глазах в тени деревьев выросла толпа, привлеченная шумом моторов. Сержант с беспокойством подумал, что все это неспроста.

— Пошли, — буркнул он клерку из комиссариата по делам туземцев и выскочил из «лендровера». Клерк, успевший переодеться после молебна, был уже не в строгом костюме, а в спортивной рубашке и шортах цвета хаки. Он с некоторой опаской взглянул на сержанта, затем выбрался из машины с другой стороны, прихватив папку с официальными бумагами.

При виде двух непрошенных гостей толпа под деревьями затянула песню, сразу взбесившую сержанта. Ему было не по нутру их пение. Если черномазые горлопаны, непременно жди беды. Грузной походкой он подошел к поваленным деревьям, глаза, как две росинки, посверкивали злобой из отвисших складок кожи, похожих на использованные пакетики для заварки чая.

— Что это все значит? — крикнул он туземцам.

Полная женщина в домотканом платье, перехваченном кожаным ремнем, — он узнал в ней сестру старосты — замахала большими черными руками, и толпа смолкла. До него донесся ее зычный голос:

— Не советую вам подходить ближе.

Сержант как вкопанный застыл у баррикады. Он невольно подчинился ей и сразу осознал, что допустил ошибку: ему надлежало при любых обстоятельствах со-

хранять присутствие духа и невозмутимость, одним своим видом внушать уважение к закону. Чтобы исправить положение, он притворился, будто не узнал женщину.

— Ты кто такая? Я с тобой говорить не желаю. Где Хлангени? Разве вам не известно, что сегодня вы должны покинуть деревню? Почему навалены деревья на дороге? Мы пригнали за вами грузовики.

— Они не понадобятся, — крикнула женщина, и шаг не сделав в его сторону. — Никуда мы отсюда не уедем. Ваш судья предупрежден.

— Я не буду тебя слушать, — холодно процедил сержант. — Где староста, где Хлангени? — спрашивал он уже у толпы. — Не обращайтесь внимания на эту женщину, она только сеет смуту и неприятности.

Ему ответил черный мужчина, которого звали то ли Кобе, то ли как-то еще в этом роде.

— Нет больше Хлангени, мы отказываемся его признавать.

Толпа пришла в движение, зароптала, потом черные снова запели.

— Что здесь происходит? — Сержант едва не шагнул вперед, но спохватился. — Вам не раз и не два было сказано: сегодня вы перебираетесь на новое место. — Он ткнул пальцем в сторону клерка с папкой. — Со мной приехал начальник с правительственной бумагой. Хлангени уже читал ее.

— Начальник, — глядя на клерка без всякого почтения, заметил Кобе. — Молод еще для начальника!

— Ты обязан уважать представителей правительства, — резко одернул его сержант. — Хватит валять дурака, вели своим людям грузить вещи в машины.

И тут женщина громко расхохоталась.

— К чему эти лишние разговоры. Убирайтесь-ка сами отсюда!

Толпа снова запела, раскачиваясь в такт мелодии. Сержант, выйдя из себя, схватился за кобуру, стал ее расстегивать.

В толпе поющих вдруг раздался воинственный клич, улюлюканье, какой-то юнец запустил в сержанта камнем. Камень пролетел мимо, но клерк трусил и побежал, роняя бумаги из папки, официальные документы разлетелись во все стороны по песку. Выхватив револьвер, сержант пальнул в воздух, в ответ на него обрушился град камней. Клерк как ужаленный вскочил в кабину

«лендровера», и в этот миг увесистый камень угодил в проволочную сетку на лобовом стекле. Водители впопыхах заводили моторы, заскрежетали рычаги передач. Толпа подалась вперед, и камни застучали по кабинам и крашеным кузовом.

Сержант, красный как рак, вложил револьвер в кобур и, повернувшись, заковылял к «лендроверу». Одному ему с ними не справиться, надо вызывать подкрепление. Кто мог подумать, что проклятые кафры так обнаглеют! Он спасовал перед этими бабуинами в отрепьях. До чего же мы докатились!..

Камень сбил с его головы форменную фуражку, и она покатилась в пыли вместе с бумагами клерка. Он добежал до «лендровера» и тяжело плюхнулся на сиденье, прячась в бронированной кабине. А камни летели из-за поваленных деревьев, звонко стуча по металлическим частям грузовиков, которые неуклюже разворачивались, меся песок. Колонна покатила назад в город.

Толпа грянула вслед причудливую, чуждую уху белого песню.

\* \* \*

Кока-кола выплеснулась через край стакана, но Мейзи, погруженная в свои мысли, и бровью не повела. Одно дело — когда видишь такое в кино, думала она, но в жизни это, знаете, уж чересчур.

Она сидела в кафетерии, официанты позвякивали приборами, убирая со столов остатки поздних завтраков: бумажные стаканчики, недоеденные эклеры, кусочки поджаренного сыра; на скатертях пятна от пролитого чая. Музыкальный автомат негромко наигрывал популярные мелодии, посетители в летних рубашках, коротко стриженные переговаривались за столиками, источая запах дезодоранта.

— ...Я ей высказал все, что о ней думал...— донесся до Мейзи чей-то голос.

Ее цветная служанка — чертова кукла! — не явилась утром и не подала Мейзи завтрак в постель. «Это уже ни в какие ворота!» — возмущалась ее соседка, миссис Мюллер.

Напротив кафетерия была установлена красочная реклама, приглашающая совершить воздушное путешествие в Европу; на перекрестке, за светофором, стояло



угрюмое, давящее здание фирмы «Понте», похожее на бочку. Вокруг него колыхалась знойная дымка. Где-то в отдалении нестройно ударили церковные колокола. Кафетерий помещался на втором этаже универсального магазина, выстроенного на самой границе старой части города. Отсюда был виден железнодорожный мост и кусок загородки из колючей проволоки вдоль полотна, верхушки рекламных щитов на насыпи.

«Господи, ты должна гнать от себя эти мысли,— думала Мейзи.— Тебя вздернут за убийство — женщинам не делают снисхождения. Повесят, как миссис Ли... Нет, с нее довольно — она порвет с этим подонком Уолли Бессоном, достаточно он помыкал ею! Хотя до поры до времени ей с ним было не так уж плохо. Эдгар ведь ее никуда не возил, не развлекал. Ну и что же ты намерена дальше делать? Может быть, всерьез подумать об армии? «Страна в опасности, сомкнем ряды». Она посмеивалась над собой. Нет уж, старушка, ни за что на свете! Ах, черт, если б Эдгар сам откинул копыта, без посторонней помощи, скончался бы, как говорится, естественной смертью...»

За столиками парочки, одетые по-летнему, потягивали охлажденный сок. Жара тряслась и плясала за балконом, вся выпитая влага немедленно проступала через поры. В дальнем конце улицы, покрыв гул машин, возникло пение, словно бы церковный хор грянул псалом.

Что и говорить, она не колеблясь променяла бы этого жалкого, никчемного трепача на две тысячи фунтов. Рассеянно водя глазами, она наткнулась на свое раздвоенное, искаженное отражение в стекле, две пары зеленых фальшивых камешков-глаз, два ярко-красных на помаженных рта. Два кукольных личика с горечью взирали на нее на фоне затылков тех, кто сидел в квадратной загородке за стеклом.

Шеренга полицейских в бледно-голубой с черным форме нестройно промаршировала по мостовой мимо входа в универмаг, направляясь к перекрестку. А дальше, в самом конце улицы, как будто возник затор, виднелись размазанные расстоянием человеческие фигурки, сбившиеся в кучу.

«Итак, ты снова одна, если не считать Эдгара, — думала Мейзи. — Ничего, авось ненадолго, надеюсь, кто-нибудь еще подвернется». Она рассеянно потягивала кока-колу, вспоминая Загородный клуб, джин с лимоном,

оркестр под гирляндами разноцветных лампочек. Люди за соседними столиками, оставив на стульях свертки с покупками, выходили на балкон.

— Это, наверно, процессия в связи с сегодняшним молебном, — предположил кто-то.

Дорожный регулировщик в белом шлеме и крагах останавливал машины, расчищая путь грузовику, в кузове которого рядами сидели полицейские в пятнистых маскировочных комбинезонах и тропических шлемах. Объехав застывшие по жесту регулировщика легковые автомобили, грузовик затормозил у тротуара, и полицейские в своей мешковатой форме, с автоматическими винтовками через плечо прыгнули на мостовую. Подъехали еще один такой же грузовик и «лендровер» с железной сеткой на стеклах. В нем оказались овчарки с проводником.

Там, где образовалась пробка, скопище голов вдруг приобрело четкие очертания, и пение стало внятным.

Люди, вышедшие на балкон, заметили еще одну колонну поющих мужчин и женщин, приближавшуюся с другого конца улицы. Шествуя стройными рядами, черные слаженно пели марш. Полицейский офицер на перекрестке выслал несколько констеблей навстречу второй колонне. Появились солдаты особого отряда для разгона демонстраций, в шлемах и с длинными дубинками.

— Дамы и господа, — обратился к посетителям кафе-терия запыхавшийся от быстрой ходьбы управляющий, — пожалуйста, покиньте балкон. Оставаться на нем в возникшей ситуации, э-э, небезопасно.

— Ни за что не уйдем, — засмеялся кто-то в ответ. — Разве можно пропустить такое зрелище!

На балконе уже яблоку негде было упасть, все смотрели вниз. Мейзи сама не заметила, как оказалась зажатой со всех сторон зеваками, пахло пудрой и одеколоном. «Мне здесь нечего делать, — подумала она, — не люди, а быдло...»

— Извините, позвольте мне пройти, — говорила она, выбираясь из окружения.

— Надо же, в день молебна, — сказал кто-то, — устроили чертову кутерьму! Проклятые негритосы совсем распоясались.

— Может, они просто-напросто идут в церковь?

— Ничего, полиция живо наведет порядок!

— Хочется в это верить, не зря же мы платим налоги.

— Дамы и господа, — взмолился управляющий, — пожалуйста, вернитесь за столики. — Он повторил свой призыв на африкаанс, для того, очевидно, чтобы придать ему большую официальность.

Колонна поравнялась с балконом, впереди нее шагал черный мужчина с флагом. У светофора демонстрантов поджидала цепочка полицейских в зеленом и хаки. Колонна, спускавшаяся с другого конца, уже сцепилась с блюстителями порядка, улица взорвалась, замелькали дубинки, рычащие овчарки метнулись на людей. Оставив свои наблюдательные посты на тротуарах, зеваки бросились наутек.

Управляющий, придя в совершенное отчаяние, завопил:

— Администрация снимает с себя ответственность за все последствия, в случае если посетителям будут нанесены увечья.

Казалось, он читает вслух объявления, которыми пестрят железнодорожные платформы.

Не успел он договорить, как полицейские бросили несколько гранат со слезоточивым газом. Гранаты прыгали по мостовой, плюясь белой, похожей на вату пеной. Отряд по разгону демонстраций в причудливых масках, размахивая длинными дубинками, атаковал колонну.

— Вот видите, вас же предупреждали! — закричал управляющий, перекрывая игру музыкального автомата и шум битвы на улице.

Мейзи протиснулась к выходу. Через треугольник, образованный чьим-то шелушащимся от загара локтем, она разглядела, что строй черных сломался: одни обратились в бегство, другие насаждают на полицейских, несмотря на ядовитый туман, повисший над улицей. Раздался звук разбитого стекла, точно кто-то уронил колокольчик. Вдали завывали полицейские сирены. В сточных канавах и на тротуарах она увидела, как ей показалось сперва, ворохи тряпья; потом разглядела — из них торчат руки, ноги, лица, похожие на размалеванные алой краской маски. Мейзи вспомнила почему-то ряженных на святки, над которыми потешалась в детстве. По мостовой проковыляла женщина, прикрывая ладонью кровоточащую рану на щеке. Пробившись наконец сквозь толпу у входа, Мэйзи подумала без всякой связи с происходящим: «Бедный старый Эдгар, видно, никуда мне от него не деться!..» В ней, словно червь, зашевелилась жалость

к нему, к себе самой. Она смирилась с незавидной своей судьбой. «Видно, это надолго!»

Зевак на балконе стал разбирать кашель, а управляющий все твердил:

— Я же говорил, предупреждал вас — мы не несем никакой ответственности!..

Откатившись к железнодорожному мосту, черные люди, кружась, как в водовороте, построились в ряды и снова пошли вперед. Полиция в маскировочных комбинезонах со слезоточивыми гранатами наготове решительно двинулась им навстречу.

\* \* \*

Давным-давно ветер, дождь и журчащие ручьи изрезали землю сетью лощин — где узких, а где и широких, похожих на переплетение вен. Сухие как пергамент поля по обоим берегам высохшего русла переливались в знойной дымке. Лощины и трещины в твердой, каменистой почве убегали к подножию дальних гор. Похожий на засохшую рану Овраг, перед которым местные жители по неясным причинам испытывали благоговейный ужас, был виден издалека. Существовало множество историй, связанных с ним. Одна из них, пожалуй самая давняя, родилась несколько поколений тому назад. Со временем она обросла другими легендами, люди всякий раз добавляли кое-что от себя, и первооснова была утрачена, точно береговая галька, погребенная под толстым слоем нанесенного ветром песка. И теперь никто толком не знал, почему именно эта расщелина в скалах стала объектом мифотворчества — с виду она ничем не отличалась от множества других. Так уж случилось, на нее было наложено табу, и с тех пор никто не смел к ней приближаться.

Пастух Мадонеле, гоня тощих овец в горы по песчаному ложу высохшего ручья, увидел вход в Овраг сбоку, он словно сместился по склону скалы в сторону, и это навело его на мысль, что недурно бы и самому придумать какую-нибудь историю про это заповедное место. Помахивая хлыстиком, он не позволял овцам разбредаться в разные стороны. Позади отары бежала вприпрыжку старая собака, зорко наблюдая за порядком. Они ушли уже далеко от деревни, пустившись в путь еще затемно, огибая холмы и кручи сильно пересеченной мест-

ности. Подходящая история, однако, не шла в голову — слишком заняты были его мысли другими заботами. Он запрятал зернышко, росток легенды, в дальние закрома памяти до тех пор, пока не выпадет случай посидеть спокойно у костра и предаться неторопливым раздумьям.

Овцы месили и взбивали песок копытцами, там и сям облачками взлетала бурая пыль. Красновато-желтая земля вокруг запеклась, стала твердой и жесткой из-за засухи. На горизонте виднелись отроги гор, невысокие скалистые холмы, сложенные из песчаника и базальта, поросшие чахлым терновником. Высокий клиновидный утес с обнажившейся породой был похож на огромный ломоть зачерствевшего слоенного пирога.

Пастух знал место, где в тени ветвей когда-то плескался водоем. Стоит разломать верхнюю запекшуюся корку и копнуть, как наткнешься на воду, собиравшуюся над слоем глины. В сезон дождей это углубление в земле всегда наполнено до краев. Просачиваясь сквозь песок и гравий, влага накапливалась в глиняной чаше на сравнительно небольшой глубине.

Мадонеле, думая об этом, заметил вдруг человека, сидящего в полупрозрачной тени карликового дерева на берегу высохшего ручья.

— Опять ты со своими овцами, — насмешливо приветствовал Муриле пастуха, напуская на себя веселость. Он сидел, прислонившись спиной к шершавому стволу, подтянув колени к груди. На его рубаше проступили темные пятна пота, у него был такой вид, словно он долго бежал без передышки. Скинутые ботинки стояли рядом, босые ступни он зарыл в сыпучий песок.

Мадонеле свистнул, приказывая собаке остановить отару, и, помахивая прутиком, заковылял в пыли к осыпающемуся берегу. Глазки его ярко засверкали под изорванной шляпой.

— Это ты, — сказал он, присев на корточки рядом с парнем, покачал головой и похожим на сучок пальцем смахнул пыль, забившуюся в уголки его маленьких карих глаз. — Обогнал меня, вон куда забрался.

— Еще бы, я ведь налегке, без овец, — отозвался Шиллинг Муриле, — и шел напрямик.

— Видать, не забыл ты эти края.

— На то и дана человеку память, чтобы помнить...

Пастух запустил руку под истончившееся одеяло и

извлек бутылъ с водой — на горлышке затянута была бечевочная петля, чтоб легче было ее носить, — не спеша откупорил ее и протянул парню.

— Промочи горло. Небось все в тебе пересохло, пока шел.

— Сначала ты, старик, — натянуто улыбнулся Муриле.

— Экий ты уважительный!

Пастух запрокинул бутылъ, забулькал водой, икнул и сказал:

— Я рад, что ты цел и невредим.

— Невредим? — Муриле взял бутылъ, пополоскал рот и проглотил воду, потом вернул бутылъ старику. — Смотри не сглазь!

Пастух заткнул горлышко пробкой и спросил, отведя глаза:

— Ну, сделал дело, ради которого пришел?

— Неохота сейчас говорить об этом. Одно скажу: мой брат Тими может спать спокойно.

Из трещины вылез муравей и потащился по песку. Узкая полоска, которую ему надо было пересечь, наверняка казалась бедняге бескрайней пустыней.

— Они устроят за тобой погоню.

— С чего бы? Разве кто-нибудь знает обо мне?

— Хм! Тогда возвращайся к нам, живи среди своих земляков, мы тебя не выдадим. Впрочем, в деревне теперь добра не жди. Ма-Тау говорит, на нас нашьют войска и даже летающие машины.

Муравей обогнул сломанную травинку и исчез из виду, забившись в песчаную складку.

— Где они теперь — наши люди?

— Ма-Тау ведет их в горы.

— Им там долго не продержаться, полиция всех переловит, — сказал Шиллинг Муриле. — Так что зря они устроили весь этот балаган.

— Люди хотели показать, что не желают больше быть рабами. — Пастух нахмурился, и его старческое, морщинистое лицо под дырявой шляпой погрустнело. — В конце концов, это наша земля.

— Если вернусь, эта баба заездит меня, — вздохнул Шиллинг Муриле. Он протянул руку и достал из-под брошенной на землю куртки новенькое автоматическое ружье, еще недавно принадлежавшее Ханнесу Меулену. — А с этим что делать? — спросил он.

Мадонеле вытаращил глаза на блестящее в лучах солнца оружие.

— Хочу! — В его голосе был благоговейный трепет, он робко выставил пропыленный палец. — Можно потрогать? — Коснувшись винтовки, он тут же отдернул руку, словно металл жегся, и сунул палец в рот. — Хочешь оставить его себе?

Муриле положил ружье поверх куртки и стал натягивать ботинки.

— А почему бы и нет? — пожал он плечами. — Мы еще найдем ему работенку, у меня есть несколько патронов.

— Тогда припрячем его до поры, — сказал Мадонеле и добавил, пристально глядя на молодого человека: — Ты сказал «мы». Значит, ты пойдешь с нами, со своим народом?

Шиллинг Муриле поднялся, держа в руках винтовку, завернутую в куртку, посмотрел на пастуха, и его широкое, лоснящееся от пота лицо озарила лукавая улыбка.

— Скажем так, я пойду с тобой, старик. Ты не забыл, ведь у тебя мой табак!

Пастух хихикнул и, обернувшись, свистнул собаке. Овцы снова побрели по пыльному руслу. Шиллинг Муриле съехал с берега вниз — рыхлая земля кусками обваливалась под тяжестью его тела — и зашагал вслед за пастухом, скрипя подошвами по сухому песку.

\* \* \*

Неистовое солнце печет изо всей мочи, при каждом шаге пыль взлетает ввысь, как дым от костра. Земля вокруг оцепенела под гнетущим зноем. Вдали за синим маревом видны расплывчатые очертания гор. Бронзовый солнечный блин окрашивает весь мир в резкий цвет плавящегося в домне металла. Наступает самое жаркое время дня. Выжженные засухой поля излучают белое свечение, сполохи его достигают дымчатого марева на горизонте, безжалостно превращая все живое в обуглившийся прах.

Постепенно воздух, отяжелевший от зноя, как будто приходит в движение, сначала медленно и беззвучно, словно собираясь с силой, потом жаркое покрывало опадает под его крепнувшим напором. Горячий воздух пробивается наверх, уступая место у земли более прохладным

потокам. С тихим стоном поднимается ветер, на глазах крепчает, разнося острые, как жала, песчинки. Вуаль из пыли накрывает землю, как дым артиллерийских разрывов; стенания ветра переходят в рев: так шумит раскаленная домна, извергая мириады огненных игл. Земля прогибается и оседает под гнетом пришедшего в движение жара. Потом порывы ветра ослабевают, и снова можно жить, дышать; рев утихает.

Послеполуденное солнце золотит поля. Стая птиц, рассекая крыльями воздух, устремляется вниз, к воде.



## ГОДЫ ПОЗНАНИЯ, ГОДЫ ДРУЖБЫ

Не так просто и не сразу познают люди друг друга. Порою на это уходят долгие годы. Но бывает и так, что находятся пути, которые как-то сразу сближают людей. Думается, что путь взаимного познания особенно плодотворен, если человек, который интересуется тобой, — литератор, писатель. К тому же писатель крупный, радующий тем, что открывает тебе не только новые земли и страны, но и — что особенно важно и что захватывает тебя — новых людей. Я говорю о замечательном южноафриканском писателе Алексе Ла Гуме, имя которого уже хорошо знакомо советским читателям.

Конечно, для каждого из нас всегда бывает приятно произносить добрые слова в адрес друзей. Но, может быть, особое удовольствие испытываешь не только в связи с тем, что тебе оказана честь представить книгу своего друга, отличного писателя, африканского коммуниста, но и оттого, что этот сборник является еще одним своеобразным подарком советским читателям от нашего друга Алекса Ла Гумы.

Это не первая книга Ла Гумы, выходящая у нас в стране. Отдельными изданиями печатались его повести, в библиотеке «Огонька» вышла книжка рассказов «Портрет в гостиной», в нашей печати публиковались его статьи и публицистические выступления.

Включенные в настоящий сборник произведения писателя: «И нитка, второе скрученная», «Каменная страна», «В конце сезона туманов», «Скитания в ночи», «Время сорокопута» — повествуют о жесточайшей расовой дискриминации на Юге Африки. Борьба южноафриканцев за свои права, за свою землю показана Ла Гу-

мой с той обнаженностью и правдой, которые вообще характеризуют этого своеобразного писателя, занимающего достойное место в современной мировой литературе.

Каждый писатель приносит с собой в литературу крупицы своей биографии, свой личный опыт наблюдения жизни. И чем острее, чем глубже эти наблюдения — тем глубже и интересней, социально острее творчество самого писателя. В этом отношении Алексу Ла Гуме «повезло». Он родился в 1925 году в Южной Африке, в Кейптауне, в семье одного из основателей Южно-африканской коммунистической партии Джимми Ла Гумы. В далеком 1927 году Джимми Ла Гума приезжал в Москву на празднование 10-й годовщины Октябрьской революции. Маленькому Алексу в ту пору было всего два года...

Можно безошибочно сказать, что политические взгляды и активная деятельность коммунистической партии Южной Африки оказали решающее влияние на формирование личности молодого Ла Гумы. С самых юных лет он становится активным борцом за свободу и социальное равенство в Южной Африке, продолжая дело отца. Он работал в организации коммунистической молодежи, в профсоюзах, активно сотрудничал в прогрессивных органах печати и наконец, что является абсолютно логичным для молодого Ла Гумы, вступил в коммунистическую партию.

Жизнь Алекса Ла Гумы на родине становилась от года к году все труднее. Его много раз арестовывали, предавали суду. Пять лет он находился под домашним арестом без малейшего права общения с кем-либо из своих друзей. Его книги и даже само упоминание имени Ла Гумы в южноафриканской печати были решительно запрещены расистским правительством ЮАР. Руки писателя-борца оказались связаны, рот закрыт.

И в 1966 году Ла Гума вынужден эмигрировать из ЮАР. Долгое время он как политэмигрант жил в Лондоне...

Наш друг не многоречив. Это свойство и его характера, и, я бы сказал, его писательского таланта. Проза Алекса Ла Гумы, его публицистика лаконичны, жестки и вместе с тем глубоко страстны и эмоциональны. Трудно объяснить, откуда у Ла Гумы этот творческий почерк. Может быть, оттого, что у себя на родине ему приходилось быть скупым на слова, сдержанным...

Есть у писателя небольшая новелла «Портрет в гостиной» — она выходила у нас в уже упоминавшемся одноименном сборнике, — рассказ ведется от первого лица, и, судя по всему, он автобиографичен. Автор повествует о том, что когда-то отец героя новеллы привез из России, «далекой-далекой страны», портрет человека «в скромном костюме и матерчатой кепке, со взглядом, устремленным в будущее». Пока ребенок подрастал, вокруг этого портрета никогда не затихали споры, несмотря на то что человек, изображенный на нем, родился «на другом конце света». А затем мальчик превратился в юношу, включился в борьбу, а портрет Ленина по-прежнему висел в гостиной. И когда юноша женился, то среди свадебных подарков, полученных от отца, он получил и портрет Ленина, который повесил в своем новом доме.

«...когда нас принудили покинуть родную землю, мы смогли увезти в изгнание лишь самое необходимое. Портрет был упакован в ящик с книгами, одеждой и домашней утварью.

Теперь мы живем в Лондоне, вдали от родины. Портрет Ленина, который подарили отцу в Москве в 1927 году, снова висит на стене в гостиной. Тот же человек в скромном костюме и матерчатой кепке, пристально вглядывающийся в будущее...

Недавно мой девятилетний сын, сидя в кресле, задумчиво и долго смотрел на портрет, а потом сказал звонким голосом:

— В школе нам задали приготовить выступление на вольную тему. Скоро моя очередь.

— Какую же тему ты выбрал? — спросила жена.

— Я буду говорить о Ленине, — ответил сын».

Так пишет Алекс Ла Гума, наш большой друг, товарищ, замечательный писатель.

В годы эмиграции творчество Ла Гумы, его литературная и общественная деятельность становятся все более известными. Алекс Ла Гума принимает активное участие и в работе Ассоциации писателей стран Азии и Африки. Общественная деятельность способствует формированию личности писателя и его мировоззрения. Все более популярными становятся произведения Алекса Ла Гумы. И поэтому закономерно, что в числе первых писателей, удостоенных высокого звания лауреата премии «Лотос», оказался Алекс Ла Гума.

У меня до сих пор жив в памяти рукоплещущий зал в

Дели, где происходила IV конференция писателей стран Азии и Африки. Спокойное и мудрое выступление премьер-министра Индии Индиры Ганди, а затем вручение трех премий «Лотос»: одному из старейших индийских литераторов поэту Баччану, узбекской поэтессе Зульфие и Алексу Ла Гуме. Церемония награждения заключала в себе глубокий символ. Делегаты конференции, приветствуя лауреатов, представлявших самые разные страны, рукоплескали в этот момент как бы двум великим континентам — Африке и Азии.

Кто из нас уже в зрелом возрасте может с первой встречи войти в откровенные товарищеские отношения друг с другом? Но когда этих встреч становится все больше, когда они происходят в различных концах планеты — в Бейруте, в Дели, в Москве, в Алма-Ате, — когда на плечи ложится одна общая ответственность не только за судьбы литературы, но и за судьбы народов своих стран, всех тех, кто находится в одном ряду борцов с империализмом и колониализмом, — тогда люди широко открывают друг другу сердца и души.

Может быть, нигде так не раскрывается личность писателя и общественного деятеля, как во время больших событий; пусть они уже в прошлом, но память сердца хранит их как самую дорогую реликвию.

В январе 1974 года во время заседания бюро Ассоциации писателей стран Азии и Африки мы были в Каире. Каир в то время праздновал победу над израильскими агрессорами. Жители столицы Египта часами толпились вокруг выставки трофейного оружия, добытого в боях по ту сторону Суэцкого канала. Чумазы каирские ребятишки часами сидели на танках и зенитных орудиях английских и американских марок, которые стояли под голубым каирским небом, привлекая бесчисленные толпы египтян. Я видел, как Алекс Ла Гума смотрел на это оружие. Торжество, чувство удовлетворения от того, что вот здесь, на этом участке фронта, на длинной линии Суэцкого канала, агрессоры потерпели поражение, — вот что можно было прочесть в глазах Алекса Ла Гумы...

Ассоциация писателей стран Азии и Африки по достоинству оценила общественный и литературный авторитет Ла Гумы. На подготовительной встрече афро-азиатских писателей в Аддис-Абебе, предшествовавшей VI конференции, его кандидатуру выдвинули на главный руководящий пост в Ассоциации писателей стран Азии и

Африки, а уже на самой конференции — в столице Анголы Луанде в 1979 году — Алекс Ла Гума избирается генеральным секретарем этой крупной двухконтинентальной писательской организации. В ту пору писатель жил и работал на Кубе, в Гаване, представляя коммунистическую партию своей родины.

Осенью 1983 года Ассоциация отмечала двадцатипятилетие со дня I конференции писателей стран Азии и Африки в Ташкенте. Большой творческий и политический путь прошла эта организация. Четверть века! И снова, теперь уже на VII конференции, генеральным секретарем был избран Алекс Ла Гума, один из крупнейших современных африканских писателей. Закрывая конференцию и благодаря Ташкент и советских писателей за гостеприимство, Алекс Ла Гума сказал:

— Сделать нам предстоит много. Будем работать!

Да, будем работать — это чувствовали все делегаты конференции, представлявшие прогрессивные литературы двух великих континентов!

...Конечно, всегда трудно найти слова, дающие полное представление о творчестве большого писателя. Но когда читатель возьмет в руки эту книгу Алекса Ла Гумы, перелистает ее, он не сможет не почувствовать, какую грозную силу держит в руках.

*Анатолий Софронов*

## СОДЕРЖАНИЕ

СКИТАНИЯ В НОЧИ	
<i>Перевод С. Гутермана</i> . . . . .	5
И НИТКА, ВТРОЕ СКРУЧЕННАЯ	
<i>Перевод А. Мартыновой</i> . . . . .	95
КАМЕННАЯ СТРАНА	
<i>Перевод И. Гуровой</i> . . . . .	207
В КОНЦЕ СЕЗОНА ТУМАНОВ	
<i>Перевод В. Рамзеса</i> . . . . .	345
* ВРЕМЯ СОРОКОПУТА	
<i>Перевод В. Рамзеса</i> . . . . .	487
Анатолий Софронов	
Годы познания, годы дружбы	618

Алекс Ла Гума  
СКИТАНИЯ В НОЧИ

ИБ № 2032

Художник *А. П. Купцов*  
Художественный редактор *А. П. Купцова*  
Технические редакторы *И. К. Дергунова,*  
*О. Н. Черкасова*  
Корректор *Н. А. Лукахина*

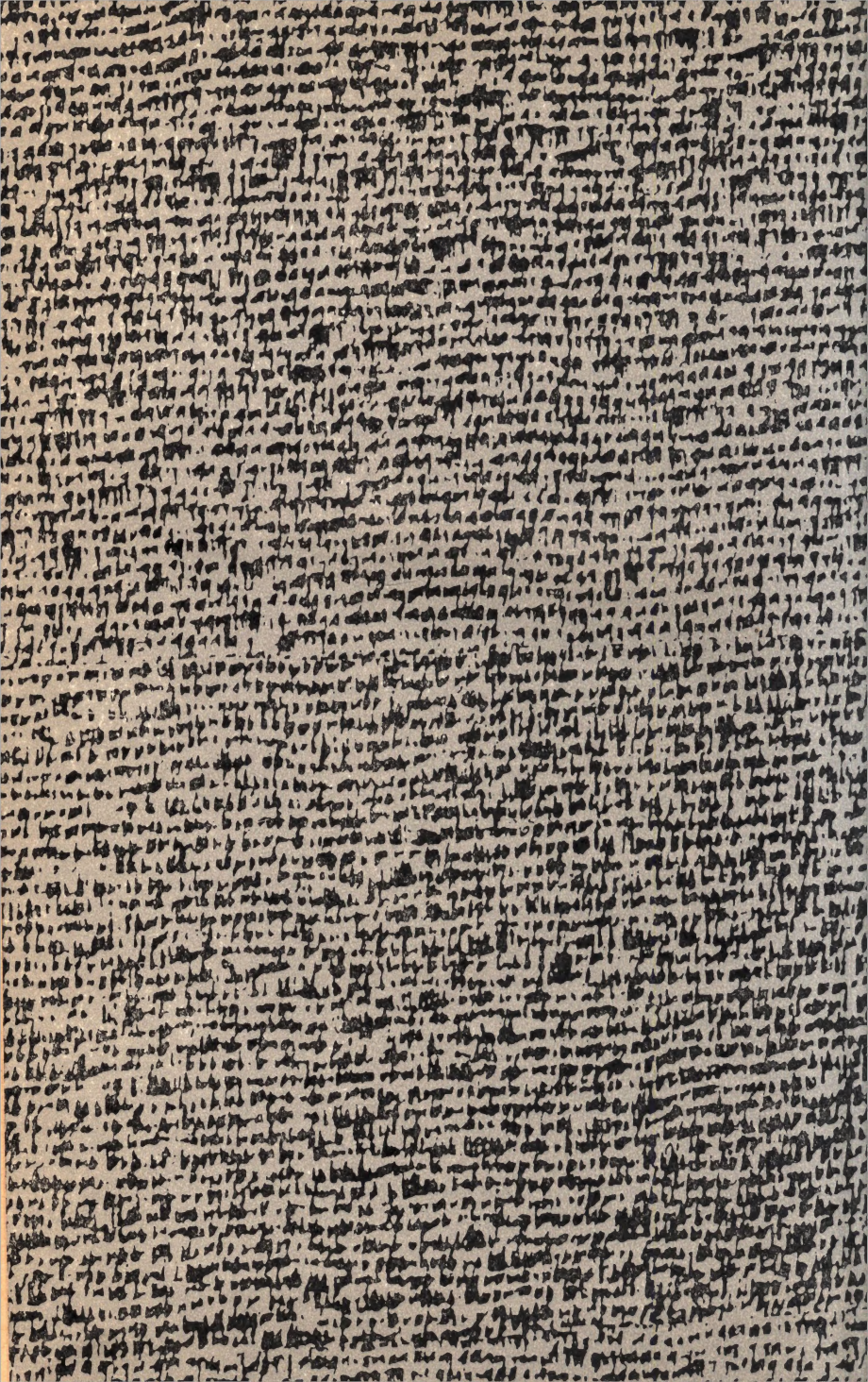
Сдано в набор 04.10.1983. Подписано в печать  
31.05.1984. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага кн. журн.  
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.  
Условн. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,18.  
Уч.-изд. л. 34,13. Доп. тир. 50 000 экз. Заказ № 634.  
Цена 3 р. 80 к. Изд. № 1159

Издательство «Радуга» Государственного комите-  
та СССР по делам издательств, полиграфии и  
книжной торговли  
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Владимирская типография Союзполиграфпрома  
при Государственном комитете СССР по делам  
издательств, полиграфии и книжной торговли  
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7















ANTHROPOLOGICAL JOURNAL